

Владимир Дашинский

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 5898712 3

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО



В л а д и м и р В о й н о в и ч

**ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ДЕЛО**

МОСКВА
«ЭКМО»
2006

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
В 65

Войнович В.
В 65 Персональное дело. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. —
800 с.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-14571-0

© Войнович В., 2005
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2006

Копия
Секретно
экз. 2
5 апреля 1975 г.
784-А
ЦК КПСС

О НАМЕРЕНИИ ПИСАТЕЛЯ В. ВОЙНОВИЧА
СОЗДАТЬ В МОСКВЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР специальных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация Пен-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским национальным Пен-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ, МАКСИМОВ (до их выезда из СССР), КОПЕЛЕВ, КОРНИЛОВ, ВОЙНОВИЧ (исключен из Союза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных «обращений», в начале октября 1974 года обсуждал с САХАРОВЫМ идею создания в СССР «отделения Пен-клуба». Он намерен обратиться в Международный Пен-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделение» Пен-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников «отделения» обсуждались кандидатуры литераторов ЧУКОВСКОЙ, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность, — ДАНИЭЛЯ,

МАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВА, МОРОЗА. ВОЙНОВИЧ считает также, что принимать можно будет «необязательно диссидентов», но и «молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом, ВОЙНОВИЧ намерен противопоставить «отделение Пен-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемом американским Пен-центром, значится в числе прочих и фамилия ВОЙНОВИЧА, о котором в провокационных целях сообщается, что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует действительности.

В настоящее время ВОЙНОВИЧ встал на путь активной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США Л. ШРОТЕРА, ранее выдворившегося из СССР за сионистскую деятельность. ВОЙНОВИЧ поддерживает контакт с неким И. ШЕНФЕЛЬДОМ, одним из функционеров польского эмигрантского центра «Культура», и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции (СТРУВЕ, МАКСИМОВ, НЕКРАСОВ, КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ), через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке «роман-анекдот» ВОЙНОВИЧА «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», в аннотации к которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накануне и в первые дни Второй мировой войны», что автор передает «трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, ВОЙНОВИЧ вступил в члены так называемой «русской секции» Международной амнистии, организованной в Москве ТУРЧИНЫМ и ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ, являющимися активными участниками антиобщественных акций.

В конце января 1975 года ВОЙНОВИЧ заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспе-

чить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его «коллизию с официальной советской доктриной социалистического реализма». ВОЙНОВИЧ подчеркнул, что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ.

*Председатель Комитета госбезопасности
Ю. АНДРОПОВ*

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ,
ИЛИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ТОГО

Не знаю, как насчет других искусств, а в литературе молодому дарованию очень важно, делая первые шаги, встретить поклонников, поощрителей, которым можно читать написанное днем и ночью, при встрече и по телефону и рассчитывать на их искреннее и щедрое восхищение. У меня в начале моего писательства таких поклонников было два. Один — Камил Икрамов, о нем разговор когда-нибудь отдельно, и второй, о ком расскажу сейчас.

В литературном объединении «Магистраль» я читал что-то из своих первых стихов, а когда обсуждение кончилось, ко мне подошел человек в красном пальто с желтым шарфом и протянул руку:

— Меня зовут Владимир Лейбсон.

— Вы тоже член «Магистрала»?

— Нет, просто любитель. Давай перейдем на «ты». Возьми мой телефон, звони, заходи.

У меня когда-то была исключительная память на телефоны. Я их никогда не записывал. Просто совсем никогда. Но всегда запоминал. Впрочем, не все надолго. Некоторые телефоны как входили в голову, так и выходили. А телефон Лейбсона застрял в памяти навсегда, и сейчас я его помню: К-9-44-11. Кстати, он практически никогда не менялся. Просто буква «К» была заменена на соответствующую цифру, а потом ко всему номеру спереди приставили двойку. Получилось 299-44-11.

Так и оставалось до самой смерти Владимира Ильича. Сочетание его имени и отчества было причиной многих нехитрых шуток и розыгрышей. Я ему, бывало, звонил и говорил с грузинским акцентом что-нибудь вроде: «Владимир Ильич, с вами говорит начинающий поэт Сосо Джугашвили, хотелось бы посоветоваться по поводу...»

Повод был обычно один: написав очередной опус, я хотел его немедленно прочесть и услышать, что это здорово, потрясающе или даже гениально. Просто гениально, и все. И получал предвкушаемое.

Лейбсон жил с родителями в старом доме на Патриарших прудах, как раз почти на том самом углу, где трамвай отрезал голову булгаковскому Берлиозу. Отец Володи был старый большевик, с какими-то заслугами перед советской властью, за что сын его не уважал, а власть поощрила разнообразно, в том числе и отдельной трехкомнатной квартирой, что тогда было крайней редкостью. Подавляющее большинство моих тогдашних московских знакомых жили в коммуналках, одна комната на семью любого размера. Сейчас это трудно бывает представить, а тогда казалось нормальным, что в комнате человек, скажем, на шесть каким-то волшебным способом размещались диваны, кровати (часто кресла-кровати), раскладушки, огромная библиотека, концертный рояль посередине да еще кадушка с каким-нибудь кактусом или фикусом. А тут три комнаты на троих. Причем средняя — самая большая гостиная — всегда пуста. Родители, которых я редко видел, сидели в своей комнате, а Володя — в своей со стенами ярко-красного цвета.

— Как ты думаешь, по какому принципу подобрана

моя библиотека? — спросил он меня при первом моем посещении.

Я стал рассматривать книги, пытаюсь по авторам понять принцип. Русская классика? Советская? Западная?

— По цвету, — сказал Лейбсон. — Я покупаю книги только трех цветов: красного, желтого и зеленого. Остальные цвета не признаю.

— А если какая-то очень нужная книга будет синяя?

— Значит, для меня она будет ненужной.

И в подтверждение своих слов подарил мне полное собрание сочинений Пушкина старинного издания только потому, что переплет был серого цвета. Только тогда я сообразил, что и одежду он себе не покупает готовую, а шьет, и задорого, именно ввиду цветовых пристрастий. Костюм у него был зеленый, пальто красное с оранжевой подкладкой, ботинки желтые.

Его цветовая прихотливость и видимое безразличие к противоположному полу были причиной всяческих предположений относительно его сексуальной ориентации, но интереса такого рода к мужчинам он тоже не проявлял. Впрочем, выпивши, он мне однажды признался, что постельные отношения с одной женщиной у него когда-то были, но они его травмировали и шокировали своей очевидной бессмысленностью (если не для производства детей).

— Очень глупое занятие, — сказал он и этим исповедь свою завершил.

Высоко ценя мои тогдашние (надо признаться, скромные) достижения в поэзии, он все-таки в некоторых моих способностях сомневался. Я, как большинство начинающих стихотворцев, относился с некоторым презрением и даже высокомерием к поэтам-песенникам, считая, что их работа к настоящей поэзии отношения не имеет.

— Ты так говоришь, — сказал Лейбсон, — потому что так принято говорить. А на самом деле написать песню, такую, чтобы ее вообще пели люди, не так-то просто. Любой поэт, который ругает песенников, был бы счастлив написать хотя бы одну песню, чтобы ее запели. Но не каждый это умеет. И ты вряд ли сможешь.

— Смогу, — сказал я.

Но доказать, что смогу, никакой возможности не было. Для доказательства надо было не только написать текст, но найти еще подходящего композитора. Композиторов знакомых у меня не было, и наш спор несколько лет оставался нерешенным.

1960 год я встретил в своей новой комнате в большой коммунальной квартире так называемой коридорной системы. То есть главной ее особенностью был именно коридор, по обеим сторонам которого располагались 25 комнат с проживавшими в них двадцатью пятью семьями.

На всех жильцов — одна кухня (четыре плиты) и одна уборная (три «толчка»). Ванной, конечно, не было, был умывальник на кухне, с несколькими кранами и длинным цинковым корытом под ними. На стене у входа на кухню висел телефон, из-за которого между соседями велись бесконечные споры по поводу платы за него, кстати сказать, не очень большой. Поскольку никакого закона по этому поводу не было, жильцы пытались установить собственные правила. Одни предлагали платить посемейно. Но семьи были побольше и поменьше, и возникал спор, как же так, вас четверо, а я одна, почему же я должна платить столько, сколько вы? Хорошо, говорили другие, тогда будем брать плату по количеству членов семьи. Ну уж нет, возражали третьи, у нас грудной ребенок, он по телефону не говорит. Тогда будем брать плату, начиная с детей школьного возраста. Однако в процессе спора выяснилось, что возраст у детей бывает один, а рост разный и не все дети школьного возраста могут дотянуться до телефона. Было внесено предложение ввести плату за каждый звонок, после каждого звонка честно расписываться на стенке, когда кто звонил. Этот вариант тоже не прошел, потому что встал вопрос, как считать звонки, они бывают короткие и длинные. Споры эти велись бесконечно, иногда вяло, а иногда страстно, но до драк все же не доходило.

В те годы я писал очень много, упорно и фанатически. Писал, когда работал на стройке и когда ушел с нее, писал, когда поступил учиться в институт, в общем, писал все время, когда оно у меня было. Но часто писал

лежа. Наша соседка пенсионерка Полина Степановна всегда все подмечала, а потом сообщала на кухне:

— Этот-то все лежит. Больной, что ли?

И она же иронизировала по поводу жалоб моей тогдашней жены:

— Клопы, говорит, замучили. И откуда у их клопы? Это у мене клопы, у мене ж мебель.

Лежал я все-таки не всегда. Иногда вставал и перепечатывал написанное на дряхлой машинке, у которой не было вопросительного и восклицательного знака, что, как считал Лейбсон, влияло на мой стиль, делало его спокойным и уравновешенным, без лишних вопросов и неуместных восклицаний. Перепечатав написанное, я разносил свои сочинения по редакциям, из которых потом на красивых бланках приходили вежливые ответы, что тему я затронул интересную и значительную, но исполнение, к сожалению, не достигло уровня замысла. И в конце следовали советы трудиться, учиться у мастеров, читать статью Маяковского «Как делать стихи» и книгу Исаковского «О поэтическом мастерстве». (Я впоследствии советовал самодеятельным стихотворцам то же самое.)

Однажды я шел в очередную редакцию со своим тогдашним приятелем Костей Семеновым, и в каком-то из переходов метро встретился нам приятель Семенова Ян Полищук, известный в те годы писатель-юморист. Он работал заместителем главного редактора редакции сатиры и юмора Всесоюзного радио. (Не представляю, как сказать это короче.) Редакция выпускала в эфир юмористические программы «Веселый спутник» и «С добрым утром».

— Слушайте, ребята, — сказал Полищук, — мне нужен срочно младший редактор. Нет ли у вас хорошего молодого талантливоего человека без больших претензий?

— А вот, — отреагировал Костя, показывая на меня, — вот хороший, молодой, талантливый без претензий.

— Ты бы пошел младшим редактором? — Полищук смотрел на меня с недоверием.

Боясь упустить возможность, но в то же время наде-

ясь не уронить себя, я сказал лениво, что, в общем, мог бы поработать.

— Да, — сказал он, — но зарплата, к сожалению, только тысяча рублей. Потом, может быть, прибавим. А пока только тысяча.

Тысяча рублей! Каждый месяц тысяча рублей! Этот человек даже не представлял, какой баснословной казалась мне тогда эта сумма. (Это было накануне денежной реформы, после которой тысяча превратилась в сто.)

На следующий день, чуть в начале одиннадцатого утра, я вошел в новое, только что построенное здание радиокомитета у метро «Новокузнецкая». У входа милиционер проверял пропуска.

— Ты что опаздываешь, — накинулся на меня Полищук, нетерпеливо вышагивавший по коридору этажа, на котором мы условились встретиться. — Я тебе сказал в десять, значит, в десять. Ладно, пошли.

Я не успел пробормотать что-то в свое оправдание, как он распахнул обитую черной кожей дверь, на которой было написано: «Н.Т. Сизов».

Мы оказались сначала в большой приемной, а потом еще через две черные двери попали в кабинет, в каких я до того никогда в жизни не бывал.

Самый большой кабинет, в котором мне приходилось бывать, был кабинет председателя Приморского райисполкома в Крыму, но разве можно сравнить то помещение с тем, которое я увидел сейчас?

Паркет, старинная мебель, хрустальная люстра, за широченным столом сидит какой-то, видимо, очень важный начальник и пишет что-то, наверное, тоже безумно важное.

— Здравствуйте, Николай Трофимович! — радостно приветствовал начальника Полищук. — Вот, пришли.

Я оробел и невольно скосил глаза на свою одежду. Пиджак у меня был, в общем, более или менее еще ничего, но брюки, брюки... Даже сейчас страшно вспомнить. Внизу бахрома, колени пузыряются. Ботинки стоптаны. Подобно герою одного из рассказов О'Генри, я быстро пересек широченное пространство кабинета и стал перед начальником, загородив свою нижнюю часть столом, готовый перегнуться через крышку и пожать ру-

ку, если она мне будет протянута. Впрочем, я бы не удивился, если бы сидящий за столом просто кивнул мне головой, как это делали другие начальники, например, тот же председатель райисполкома.

Но этот повел себя совсем неожиданно. Что-то там дописав, он отложил ручку и, цветя дружелюбнейшей улыбкой, поднялся и стал медленно оглядывать стол, чтобы приблизиться ко мне. Демонстрируя свою демократичность, он при этом выглядел очень внушительно и даже показался мне немного похожим на Сталина, хотя был без усов и без трубки.

— Ну здравствуйте, — сказал он, сердечно пожимая мне руку. — Мне о вас уже говорили. Значит, вы согласны у нас работать?

— Ну да, — сказал я, — мне это было бы интересно.

— Но вы знаете, что зарплата у нас небольшая?

— Да, я слышал, но меня зарплата не интересует, — сказал я, давая понять, что явился сюда исключительно ради высших идейных соображений.

Кажется, я попал немного впросак. Услышав мои слова, он слегка нахмурился и посмотрел на меня внимательно.

— Ну почему же не интересует? — сказал он. — Мы материалисты, и нам незачем лицемерить.

Я смутился. Мы, конечно, материалисты, но когда я, работая на стройке, выражал (очень редко) недовольство оплатой труда, меня попрекали отсутствием коммунистической сознательности и говорили, что мы, советские люди, Родине служим не за деньги.

Я попытался переориентироваться и сказал, что зарплата меня, конечно, интересует, но и творческая сторона дела мне тоже не безразлична, тем более что я сам склонен к сатире и юмору, и тут я выложил на стол два своих весьма убогих стишка, у которых были, однако, те достоинства, что один из них был опубликован в «Юности», а другой — в «самой» «Правде».

Тот факт, что я печатался в главной партийной газете (это было один раз в подборке «Стихи рабочих поэтов»), убедил Сизова в том, что он имеет дело с «нашим» человеком, он опять заулыбался и вопросов анкетного характера почти не задавал. Только спросил, кто

мои родители. Я сказал: мать — учительница, отец — журналист, работает в городской газете в Керчи.

— Коммунист? — спросил Сизов.

Я замялся.

Мой отец когда-то был коммунистом, но только до тридцать шестого года, когда его перед арестом и посадкой в тюрьму исключили из партии за преступление, заключавшееся в том, что он не верил в построение полного коммунизма в одной отдельно взятой стране, считая, что это может случиться только во всех странах одновременно после мировой революции.

— Ну это вовсе не обязательно — вашему отцу быть членом партии, — заметив мои колебания, опять демократично улыбнулся Сизов.

— Владимир Николаевич имеет в виду, — пришел мне на помощь мой Полищук, — что если его отец работает в газете, то, конечно же, он коммунист.

— Да, да, да, — торопливо подтвердил я, хотя, конечно, это была неправда.

На этом прием был окончен.

Мое дальнейшее оформление на работу прошло почти гладко, если не считать, что начальник отдела кадров пытался выяснить у моих будущих сослуживцев происхождение моей фамилии, которая имела подозрительное окончание на «ич». Ему объяснили, что на «ич» оканчиваются не только еврейские фамилии, но и нееврейские, например Пуришкевич. «А кто этот Пуришкевич?» — заинтересовался кадровик. «Известный дореволюционный антисемит», — объяснили ему. Кадровик успокоился, и на следующий день я приступил к своей новой работе.

Хотя евреев принимали на радио неохотно, тем не менее (правильно замечали бдительные товарищи) они там были. В нашей редакции сатиры и юмора из десяти примерно человек не меньше чем половину составляли евреи и, как принято было тогда выражаться, полукровки вроде меня.

Один из полукровок, сейчас известный писатель и режиссер Марк Розовский, при поступлении на работу тоже принимался высоким начальством. На вопрос о

национальности родителей Розовский ответил, что его мама — гречанка.

— А папа? — спросило начальство.

— А папа инженер.

Так что позднейшее сообщение Жириновского о том, что у него мама русская, а папа юрист, некоторым образом является плагиатом.

Само собой разумеется, мое поступление на работу было всесторонне обсуждено на нашей коммунальной кухне.

— Нет, — сказала Полина Степановна, — этот долго работать не будет. Зачем ему работать? Лежать-то лучше.

Ее скептицизм был основан не на пустом месте. Дело в том, что незадолго до того я уже поступал на работу в газету «Московский водопроводчик» — орган трестов Мосводопровод и Москанализация. Редактором газеты был алкоголик (фамилию не помню), которому зарплаты на пьянство и на семью не хватало, поэтому он не только редактировал газету, но еще шил модельную обувь. Запирался в своем кабинете, пил водку и шил обувь, как ни странно, довольно хорошую и имевшую спрос. Газетой же он практически не занимался, все дела передоверил ответственному секретарю Всеволоду Абрамовичу Лившицу. А тот дал большую свободу мне. А я писал фельетоны на местные темы. О том, что где-то кому-то недопоставили трубы. Или поставили, но ржавые. Или не запасли дров на зиму. Или оставили на дороге открытый колодец. Или выпили спирт, отпущенный на лабораторные цели.

Писал я, между прочим, под разными псевдонимами. Иногда под псевдонимом В. Нович. Порой в качестве псевдонима брал фамилию кого-нибудь из своих реальных друзей. Одним из моих псевдонимов был О. Чухонцев. (С ныне знаменитым поэтом Олегом Чухонцевым я учился вместе в педагогическом институте.)

Иногда на мои фельетоны поступали опровержения (напрасные, потому что факты я всегда тщательно проверял), что товарищ Чухонцев не понял, товарищ Чухонцев не разобрался. Эти опровержения я пересылал Чухонцеву с сопроводительным письмом на редакцион-

ном бланке, в котором предупреждал, что, если товарищ Чухонцев и дальше намерен писать, не разобравшись, редакция будет вынуждена рассмотреть вопрос об отказе от услуг товарища Чухонцева. Конечно, это было с моей стороны некоторым хулиганством, но меня уволили не поэтому. А потому, что управляющему трестом Мосводопровод понадобилось устроить в газету племянника, а редактор газеты управляющему, естественно, отказать не посмел. Как всякий регулярный пьяница, он был трусоват, пил и знал, что его самого, чуть что, если не будет покладистым, выгонят. Поэтому он выгнал меня — как не выдержавшего испытательный срок, несмотря на сопротивление Лившица, который советовал мне жаловаться, а потом, когда слышал по радио мои песни, говорил редактору: «Видишь, пьяная рожа, кого ты выгнал». И редактор терпел, зная, что если выгонит Лившица, то и сам вряд ли долго в газете удержится.

На радио я тоже был взят с испытательным сроком и тоже волновался, что больше месяца не продержусь.

Юмористические передачи нашей редакции составлялись из сочинений авторов, писавших в основном скетчи, фельетоны и юморески для эстрады и цирка. Материалов было очень много, но трудность для меня заключалась в том, что мои коллеги одни материалы выбрасывали в корзинку, а над другими хохотали, как сумасшедшие. Мне же все эти тексты казались одинаково ужасными, и я никак не мог понять, в чем состоит разница между плохим и хорошим. Готовя первую передачу «Веселого спутника», я пытался ориентироваться на господствующий в редакции вкус и выбрал из кучи материалов то, что, как я думал, должно понравиться другим редакторам и начальству.

— Какой кошмар! — сказал, прочтя этот текст, мой ближайший начальник Валентин Козлов. — У тебя что, совсем нет чувства юмора?

Одна из наших редакторов, Наташа Ростовцева, готовила в это время передачу из стихов африканских поэтов и предложила мне написать вступление. Я взял стихи, прочел их и приуныл. Это была просто какая-то абракадабра, во всей подборке я не нашел ни одной живой строчки. Что хорошего мог я об этом написать? Тем

не менее я отнесся к заданию очень ответственно, трудился два дня и в конце концов выдавил из себя полстраницы текста, который по бездарности мог вполне соперничать с этими самыми стихами. «Черная Африка, спящая Африка пробуждается от вечного сна» — так, помню, начиналось это мое творение.

Испытательный срок подходил к концу, и я с тревогой ожидал момента, когда мне объявят, что в моих услугах редакция сатиры и юмора больше не нуждается. Судьба, однако, на этот раз оказалась ко мне более благосклонной, чем раньше.

Как-то к концу рабочего дня я заметил, что другая наша Наташа — Сухаревич — обзванивает подряд всех известных поэтов-песенников и просит их написать песню на «космическую тему». На вопрос, через какое время нужна эта песня, Наташа отвечала: «Через две недели».

Поэты были возмущены. Очевидно, что к этому жанру наша редакция относится несерьезно. Настоящая песня впопыхах не пишется, она должна быть задумана, выношена, выстрадана. После того как ее обругал последний из знаменитостей поэт Лев Ошанин, Наташа совсем расстроилась и продолжала листать справочную телефонную книгу Союза писателей уже почти без всякого смысла. И тут я решился сказать ей, что если у нее под рукой все равно никаких поэтов нет, то я могу попробовать написать эту песню.

— Ты? — Она посмотрела на меня с недоверием. — А ты что, пишешь стихи?

— Пописываю, — признался я.

— Но ведь песни ты никогда не писал?

— Не писал, — согласился я, — но могу попробовать.

Она смотрела на меня, долго молчала, думала.

— Ну, хорошо, — произнесла наконец. — А сколько времени тебе нужно?

— Завтра принесу, — сказал я.

— Завтра? — не поверила она.

— Если тебе нужно, могу постараться сегодня.

— Сегодня не надо, — сказала она, — а завтра... Неужели к утру напишешь?

— Но ты же все равно ничего не теряешь, — резонно заметил я.

— Ну да, ты прав. Ну что ж, дерзай.

И я дерзнул. Не только в надежде удержаться на работе и убедить в чем-то Лейбсона. Мне было важно доказать самому себе, что не зря я взялся вообще за перо, что люди, не принявшие меня в Литературный институт и отвергавшие мои стихи в журналах, не правы, я не графоман, я поэт и могу работать в этом жанре на достаточно высоком профессиональном уровне.

Утром следующего дня я принес обещанный текст и, пока Наташа читала, следил за ее реакцией со страхом. А реакции никакой не было. Она читала текст, словно проходную газетную заметку, без всякого выражения. А потом придвинула к себе телефон и набрала номер:

— Оскар Борисович, у меня для вас есть потрясающий текст. Пишите: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Записали? Диктую припев: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды...» Что? Рифма? У вас, Оскар Борисович, испорченное воображение. Наши слушатели люди чистые, им такое и в голову не придет. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Оскар Борисович, следы, а не то, что вы думаете.

Оскар Борисович Фельцман был уже очень известный к тому времени композитор, автор шлягеров, распеваемых в кино, на улицах, в поездах и ресторанах. Неужели он в самом деле напишет музыку и превратит мои слова в настоящую песню? Я настолько привык к неудачам, что еще одну принял бы со смирением...

К концу дня Фельцман позвонил: музыка готова, кто будет петь? Я сказал:

— Предложите Бернесу.

Бернеса не нашли, нашли Владимира Трошина. Песню записали на пленку, пустили в эфир, и она сразу стала знаменитой.

Мое материальное положение резко переменилось.

Я потом имел повод шутить, что денежная реформа

1961 года, когда стоимость рубля возросла в десять раз, меня никак не коснулась. Я как зарабатывал пятьсот-шестьсот рублей до реформы, так продолжал зарабатывать и после нее. А потом и побольше.

Стремительный рост моего материального благополучия на нашей кухне незамеченным не остался.

— Интересно, — говорила Полина Степановна, обращаясь к своей постоянной аудитории, — как люди исхитряются на одну зарплату столько всего покупать. Ну пусть он даже сто пятьдесят получает. Так все равно ж столько не купишь. А он себе пальто купил, жене пальто купил, вчерась телевизор пронес, как сундук.

Когда же я купил и для начала поставил в коридоре смазанный тавотом мотоцикл (впрочем, довольно скромный — «Ковровец»), Полина Степановна замолчала и пренебрегать мною уже не решалась. Наоборот, при каждом моем появлении заискивающе улыбалась и торопилась поздороваться первой. И другие соседи тоже, воспринимая меня теперь как большого начальника, вели себя не без подобострастия, особенно если моему отражению удавалось мелькнуть в телевизоре. Когда я (обычно поздно и в некотором подпитии) возвращался домой и шел по нашему длинному коридору, двери на моем пути поочередно приоткрывались, и из них шелестело почтительное «здравствуйте». А я, не замедляя движения, кивал налево и направо и отвечал:

— ...ссте... ссте... ссте.

И так было до самого того момента, когда в газете «Известия» появилась разгромная статья по поводу моей повести «Хочу быть честным». Статья называлась «Точка и кочка зрения». Она была подписана каким-то инженером из города Горького, но соседи правильно поняли (все-таки советские были люди), что такие статьи простые инженеры по своей воле не пишут, а значит, есть определенное указание сверху. Статья была внимательно прочтена и всесторонне обсуждена. Итог обсуждению подвела Полина Степановна.

— Ничего, — сказала она с таким чувством, словно мой ошеломительный и незаконный успех приносил лично ей крупные неприятности. — Ничего. Скоро Хрущев погонит его из писателей.

Но времена, как мы помним, были либеральные, оттепель, меня из писателей пока еще не погнали (через десять лет еще как погонят!), моя фамилия где-то продолжала мелькать. Полина Степановна примирилась с суровой реальностью и однажды, приблизившись ко мне в коридоре, утешила:

— Ничего. Хрущев тоже напустился на Жукова. И что? Ничего. Хрущев злобится, а тот себе ходит, побряхтывает, попердывает, живет.

Но это она мне скажет года через четыре после описываемых событий, а тогда, осенью 1960 года, у меня все шло хорошо. Это был год сплошного везения. В сентябре я написал первую песню, стал очень хорошо зарабатывать, и тогда же в «Новом мире» у меня приняли (и можно сказать, на ура) мою первую повесть «Мы здесь живем». На радио я уже не боялся, что меня выгонят с работы, к своим редакторским обязанностям относился чем дальше, тем безответственней и, по существу, скоро вообще от исполнения их отказался. Я писал тексты песен и в этом качестве оказался очень удобным кадром. Любой редактор нашего отдела, составляя ту или иную программу, мог всегда заказать мне песню на нужную ему тему и мог не сомневаться, что она будет готова в нужный срок. Если надо — завтра. Если надо — даже сегодня. В день, когда был запущен в космос Юрий Гагарин, мне позвонили через несколько минут после старта. Когда Гагарин спустя девяносто минут вернулся на Землю, Оскар Фельцман уже писал музыку к моим словам, посвященным этому событию.

Я проработал на радио около полугода и за это время написал десятка четыре песен. Были среди них однодневки, были и широко известные. Но сам я, едва начав работать в этом жанре, сразу же потерял к нему интерес. Я доказал себе, что могу писать и так, и теперь меня волновало другое.

Однако история моей «космической» песни на этом не кончилась. Несмотря на то что она действительно очень скоро стала популярной и скоро ее стали даже называть «Гимном космонавтов», многие люди продолжали ее редактировать и переделывать.

С самого начала один редактор заменил в песне эпи-

тет, вместо «планета голубая» написал «планета дорогая». На вопрос, почему он это сделал, он сухо ответил, что так лучше. Потом мне позвонили из музыкальной редакции.

— Владимир Николаевич, мы хотим вашу песню про космонавтов записать на пластинку.

— Очень хорошо, — сказал я. — Давно пора.

— Но у нас к тексту есть одна претензия. Там у вас написано: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Почему эти тропинки пыльные?

— Видите ли, — взялся я объяснять. — На этих планетах дворников нет, а пыль оседает. Космическая пыль.

— Ну да. Может быть, оно и так, но вы как-то этим снижаете романтический образ. Давайте лучше напишем «на новых тропинках».

— Нет, — возразил я. — Это никак не годится. «На новых» можно написать, только если имеется в виду, что там еще были и старые.

— Ну хорошо, тогда напишите «на первых тропинках».

— Не напишу я «на первых тропинках».

— Почему?

— Потому что на пыльных тропинках — это хорошо, а на первых — это никак.

Советские редакторы удивляли меня всегда не своей политической бдительностью, а способностью находить в тексте и убирать из него как раз те слова, строки и абзацы, которые делают его выразительным.

Я отказался менять эпитет, музыкальная редакция отказалась издавать пластинку. Но потом, летом 1962 года, песню дуэтом спели в космосе космонавты Николаев и Попович. А Никита Сергеевич Хрущев устроил им грандиозную встречу и, размахивая руками, прочитал с выражением с трибуны Мавзолея:

— На пыльных тропинках далеких планет останутся... — Тут он запнулся, подумал и исправил ударение: — Останутся наши следы.

Быть процитированным советским вождем — это больше, чем получить самую высокую премию.

Вокруг песни и ее авторов начался ажиотаж. «Правда» напечатала песню в двух номерах подряд. Сначала

красным шрифтом в вечернем экстренном выпуске и затем будничным черным шрифтом в утреннем номере. После этого мне позвонила та же дама из музыкальной редакции: «Владимир Николаевич, мы немедленно выпускаем вашу пластинку».

— Что значит немедленно выпускаем? — сказал я. — А вы спросили разрешения у автора?

— А вы можете не разрешить? — удивилась она.

— Нет, почему же. Я разрешаю, но у меня есть поправка.

— Какая поправка? — спросила она настороженно.

— Небольшая, — сказал я. — Там есть строчки насчет пыльных тропинок, так я бы хотел их как-нибудь переделать.

— Вы смеетесь! — закричала она. — Вы знаете, кто цитировал эти строки?

— Я знаю, кто их цитировал. Но я также знаю, кто их написал. Так вот написавшему кажется...

Конечно, я над ней издевался. Но поиздевавшись, разумеется, уступил. Пластинка была выпущена, но покушения на текст на этом не кончились. После встречи на Красной площади и в Кремле Николаеву и Поповичу было устроено чествование и на телевидении. Героев приветствовала толпа, состоявшая из так называемых передовиков производства, артистов, военных, поэтов, композиторов и секретаря Чувашского (Николаев — чуваш) обкома КПСС. Космонавты совсем ошалели от свалившихся на них почестей. Но вели себя по-разному. Николаев как будто даже стеснялся, а Попович в упоении славой выпячивал грудь, принимал импозантные позы и строил глазки актрисе Алле Ларионовой. А когда Владимир Трошин спел теперь уже специально для них песню о пыльных тропинках, он решил показать, что и в этом деле тоже кое-что понимает.

— Вот у вас там поется «закурим перед стартом», — сказал он, — а мы, космонавты, не курим¹.

¹ Между прочим, недавно из телевизионной передачи я узнал, что некоторые нынешние космонавты на земле все-таки курят, и перед стартом им разрешают выкурить по последней сигарете.

— Это мы исправим! — закричал кто-то.

И исправили.

Хотя я доказывал исправителям, что писал вовсе не о Поповиче, который до пыльных тропинок не долетел, а о космонавтах отдаленного будущего, для кого полеты в космос станут делом обычным, будничным. Покурил, растоптал окурочек, полетел. Тут уж меня никто не послушал, потому что космонавты тогда заживо причислялись к лику святых. Их критиковать было нельзя, а они могли себе позволить многое, в том числе, естественно, могли и сколько угодно вмешиваться в литературу, и давать указания авторам, что, впрочем, позволялось делать всем кому не лень — партийным функционерам, кагэбэшникам, сварщикам, банщикам, токарям, пекарям и дояркам. Песню исправили и вместо «Давайте-ка, ребята, закурим» пели «споемте перед стартом».

Как-то, будучи в Доме литераторов, я услышал, что в одном из залов перед писателями выступают Николаев и Попович.

Я пошел туда и у ведущего Евгения Рябчикова попросил разрешения сказать кое-что. Тот, думая, что я, очевидно, пришел сказать гостям что-то приятное, охотно предоставил мне слово. Я выступил и сказал, что когда-то учился в аэроклубе и умею летать на самолете По-2 (знаменитом «кукурузнике»).

— Так что, — сказал я космонавтам, — я в вашем деле понимаю примерно столько же, сколько вы в моем. Но я же вас не учу, как надо летать на космических аппаратах, а вы меня учите, что и как я должен писать.

Разумеется, космонавтам, привыкшим только к похвалам, мое замечание не понравилось, и песня продолжала звучать в исправленном виде.

За полгода своих усилий в песенном жанре я был весьма продуктивен, но из всех сочиненных мной песен самой знаменитой оказалась самая первая. Успех ее меня немного смущал, но это продолжалось недолго. Когда меня начали наказывать за плохое поведение, то мои книги, пьесы и киносценарии сразу запретили. А песни разные, но эту, дольше других, продолжали исполнять. Правда, без упоминания имени автора текста. А потом и вовсе убрали слова, оставили только музыку. Лет через

двадцать, когда я стал опять разрешенным писателем, на песню эту тоже опала окончилась. Но уже наступили новые времена. И народ запел новые песни.

А за два года до написания песни случилась история, которую я впоследствии описал и назвал:

| СОВЕТСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Многие люди, попав из Советского Союза на Запад, испытывают на новом пути известные трудности, нуждаются в помощи и стараются как-то обратить на себя внимание местного общества. В этом смысле, как я заметил, выгоднее всего быть бывшим работником КГБ. Если человек, явившись в полицию, сообщает, что он служил в Комитете государственной безопасности, был там капитаном, майором или подполковником (чем выше, тем лучше), он может рассчитывать на самое благосклонное к себе внимание. К нему тут же сбегаются агенты разных спецслужб и журналисты, его возят на военных самолетах, его показывают по телевидению, а издатели шлют ему чеки с пяти-, а то и с шестизначными числами. Если человек не сумел представить достаточно убедительных доказательств своей службы в Комитете государственной безопасности, он может, по крайней мере, сказать, что был стукачом, то есть доносчиком, подслушивал чьи-то разговоры, а затем встретился с каким-нибудь профессионалом в шляпе где-нибудь в скверике, или на частной квартире, или в отделе кадров и там сообщил, кто-где-чего сказал. Таким людям на очень большое внимание публики рассчитывать не приходится, но и из этих признаний можно что-то извлечь. А кто не хочет признаться, что был стукачом, может ограничиться признанием в том, что был дураком. Я был дурак, я верил в марксизм-коммунизм, в Ленина-Сталина и так далее. Верил, а потом разуверился, стал сразу умным. Один поумнел после доклада Хрущева, другой после венгерских событий, третий после Чехословакии, четвертый дожидался Афганистана.

Мне в этом смысле похвастаться совершенно нечем. Дураком я, может, и был, но Сталина ненавидел лет примерно с четырнадцати, в Ленине сомневался, в КГБ не служил и даже стукачом, честно признаться, не был. Но встречаться и разговаривать с чекистами приходилось.

О первой встрече с ними я и хочу сейчас рассказать.

Туманным и морозным утром в январе пятьдесят девятого года я был разбужен громким и истеричным стуком. Выглянув за дверь, я увидел полуодетую хозяйку, бывшую танцовщицу Большого театра Людмилу Алексеевну.

— Володя, — сказала она ужасно встревоженным голосом, — какой-то человек ломится с черного хода и говорит, что он ваш товарищ.

Я посмотрел на часы, было половина девятого. Я вставал обычно гораздо позже, потому что очень поздно ложился.

Мои хозяйки — мать Ольга Леопольдовна Паш-Давыдова и ее дочь Людмила Алексеевна, обе в прошлом артистки Большого театра, а теперь обе пенсионерки, (матери было за восемьдесят, дочери под шестьдесят), сохраняли старые привычки и раньше трех часов ночи никогда не ложились. Я тоже привык к их распорядку, и если случайно засыпал раньше, то приходила Ольга Леопольдовна, долго стучала в дверь и, достучавшись, говорила:

— Володя, вы не спите? Я пришла пожелать вам спокойной ночи.

Покойный муж Ольги Леопольдовны был одним из первых в СССР народных артистов Республики, поэтому они были редкими среди москвичей счастливыми, обладавшими отдельной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы. В одной комнате жили они сами и большой королевский пудель, в другой дочь Людмилы Алексеевны с мужем, новорожденным ребенком и овчаркой Нелькой, третья комната стояла пустая, если не считать маленькой и злобной собачонки (тибетский терьер), которая там сидела постоянно в углу. Четвертую комнату занимал я. Комната моя, если ее можно так назвать, была размером меньше четырех метров. Из мебели в ней были только большая, от стены до стены, железная кро-

вать и стул, который между кроватью и подоконником можно было поставить лишь боком. Подоконник был глубокий и служил мне письменным столом. На нем стояла моя, купленная за бесценок, пишущая машинка и лежало наваленное грудой все собрание моих ненапечатанных сочинений. Собрание это медленно, но неуклонно росло, потому что я еще был молод, полон сил и надежд и работал каждый день, помногу и фанатично.

Я снял эту комнату совсем недавно, никто не знал моего адреса, включая самых ближайших друзей. Никакого товарища, который мог бы прийти ко мне ни с того ни с сего, у меня не было.

Вместе с хозяйкой я пошел к черному ходу. Все три собаки, вырвавшись в коридор, отчаянно лаяли.

— Кто? — спросил я.

— Владимир Николаевич, — послышался смущенный голос, — откройте, пожалуйста, я к вам на минутку.

Я удивился и заподозрил неладное. Хотя мне было уже двадцать семь лет, я был всего лишь студентом и по имени-отчеству меня тогда еще не называли.

Вместо того чтобы пригласить незваного гостя пройти через нормальный подъезд, мы с Людмилой Алексеевной стали разгребать тамбур черного хода, вытаскивая из него какие-то корыта, ведра и картонные ящики. Наконец открыли дверь и увидели перед собой сравнительно молодого человека в очках, который сразу стал просить:

— Только, пожалуйста, уберите собак.

— А кто вы такой и что вам нужно?

— Я сейчас вам все объясню.

Всех трех собак убрали, Людмила Алексеевна удалилась, мы с пришедшим остались в гостиной один на один.

— Что вам нужно? — спросил я его.

— Сейчас, сейчас все объясню, — торопливо закивал он своей головой с большими залысынами. И понизив голос, быстро спросил: — Нас никто не слышит?

— Нас никто не слышит.

— А собачек убрали? Они не могут сюда ворваться?

— Нет, не могут. Они еще сами двери открывать не научились.

— А, ну да, дверь открывается в ту сторону. А нас никто не слышит?

— Я не знаю, — я повысил голос, — слышит нас кто или не слышит, я с вами шепотом разговаривать не собираюсь. Что вам нужно?

— Сейчас, сейчас. Сейчас все объясню. Так вы думаете, что нас никто не слышит?

До того я ни разу не сталкивался с работниками КГБ, не представлял себе, как они выглядят, честно говоря, в то время вообще не думал о них, но сейчас я даже не сомневался в профессии моего гостя.

— Владимир Николаевич... Нас никто не слышит?

— Нет, нас никто не слышит.

— Очень хорошо, хорошо, хорошо. Я вам верю, что нас никто не слышит. Я к вам пришел по поручению студенческого литературного общества.

— Это что еще за общество? — спросил я.

— А просто студенческое общество. При... при... при Московском университете. Мы собираемся, читаем стихи, обсуждаем. Нас никто не слышит?

— И что же вы хотите от меня?

— А ничего, ничего. Ничего особенного. Мы просто хотели бы, чтобы вы у нас выступили. Мы читали ваши стихи в «Вечерней Москве», и, кроме того, некоторые наши товарищи слушали ваше выступление в Измайловском парке. И вот мы хотели бы... Нас никто не слышит?.. вас пригласить.

— Когда? — спросил я.

— А прямо сейчас, сейчас.

— Прямо сейчас? — переспросил я. — В половине девятого утра? Ваши студенты, они что же, по утрам не учатся?

— Ну что вы, Владимир Николаевич, конечно, учатся, учатся. Но у нас есть наши общественники, которые хотели бы поговорить с вами предварительно. Нас никто не слышит? Может, мы пройдем, это совсем рядом.

— А зачем я туда пойду?

— Ну мы договоримся. Может, вы согласитесь у нас выступить. Я надеюсь, вы не против?

Он внушал мне и какой-то непонятный страх, и отвращение, и желание как-то от него отвязаться, и не-

ожиданно для себя я вдруг сказал, что выступаю только за деньги. Это было чистое вранье, потому что хотя я и выступал несколько раз перед публикой в составе литературного объединения «Магистраль», но денег мне за мои выступления никто никогда не предлагал.

— Как за деньги? — опешил он. — Мы же студенческое общество, у нас нет никаких денег.

— Ну раз нет, значит, нет, а я бесплатно не выступаю.

— Нет, нет, нет, Владимир Николаевич... Нас никто не слышит? Ну как же так, за деньги?

И у нас начался длинный и бессмысленный торг, во время которого он никак не мог понять, почему я, студент и всего лишь начинающий поэт, а не профессионал, проявляю такую алчность, а я тоже почему-то стоял на своем и требовал денег и, видя, что это требование смущает его, настаивал еще решительнее, на самом деле вовсе не из меркантильных соображений, а пытаюсь таким иррациональным способом отстранить от себя непонятную, но ощущаемую мною опасность. Надо сказать, что мое пристрастие к деньгам как-то, видимо, сбилось его с толку, он даже перестал интересоваться, слышит ли нас кто-нибудь, и долго, но невразумительно настаивал на бесплатности моего выступления, хотя мог бы и согласиться, он ничего не терял. Почему он так сбился с толку, я сказать не могу, скорее всего потому, что разговор сошел с предусмотренного предварительной разработкой направления. Наконец мне этот разговор надоел, я встал и довольно грубо предложил ему выйти и пошел к двери, чтобы ее открыть.

— Подождите, подождите, подождите, — зашелестел он почти в истерике. — Владимир Николаевич, нас никто не слышит? Я надеюсь, нас никто не слышит. Я вам не совсем правильно представился. Сейчас я вам представлюсь иначе.

Он тут же преобразился. На его лице появилось выражение надменности и самодовольства. Царственно он сунул руку в боковой карман, где лежат документы.

— Не трудитесь, — сказал я ему, — я и так вижу, кто вы такой. — На лице его смешались выражения боли и разочарования. Ему, видимо, казалось, что он так ловко и артистично вел свою роль.

— Как вы догадались? — спросил он упавшим голо-
сом.

— Это было нетрудно, — сказал я. — Я не очень час-
то, но все-таки читаю детективные книжки, и в них все
сыщики похожи на вас.

— Да?

Я видел, что мои слова его покоробили. Он обиделся.
Впоследствии, когда я познакомился еще с нескольки-
ми его коллегами, я заметил, что кагэбэшники, как лю-
ди ущербные, в большинстве своем очень обидчивы.
В этой обидчивости проявляются остатки того челове-
ческого, что было в них заложено от рождения. Какими
бы общими или личными теориями они ни руководст-
вовались, чем бы ни оправдывали свою деятельность,
они чувствуют, что она презренна. Впрочем, есть и не
обидчивые, они — самые опасные.

— Ну что ж, ну что ж, — сказал мой собеседник раз-
очарованно. — Ну догадались, так догадались. Ну тогда
пойдем, — предложил он, не то прося, не то приказывая.

— Тогда пойдем, — согласился я.

Надо сказать, что, хотя я и разговаривал с ним весь-
ма непочтительно и насмешливо, я ужасно испугался.
Пожалуй, я никогда так не пугался ни до, ни после.
Я был начинающим поэтом. Мне казалось, что из меня
должно что-то получиться. Но в то же время во мне по-
стоянно жило ощущение, что что-то должно произойти
роковое, что помешает мне осуществиться. То ли обна-
ружится быстрая и неизлечимая болезнь, то ли попаду
под машину, то ли что-то еще.

Между тем я был настоящим советским человеком.
Советскость моя проявлялась вовсе не в том, что я лю-
бил советскую власть или верил в марксизм-ленинизм-
коммунизм. Во все это я как раз совершенно не верил и
всю советскую пропаганду считал пустыми словами для
дураков. Как подавляющее большинство людей, кото-
рых я встречал в своей жизни, я ненавидел всю совет-
скую словесную трескотню, презирал политзанятия, со-
брания, митинги, демонстрации, выборы и субботники,
старался от всего этого уклоняться, но на рожон не лез.
Много лет спустя я осознал, что именно в этом и прояв-
лялась моя советскость. Я был тот пассивный член об-

щества, от которого власть не ждет никогда для себя особенной пользы. Где бы я ни работал или ни служил, начальство административное и партийное всегда знало, что никакой идеологической активности от меня ожидать нечего. Меня никогда не приглашали вступить в партию и даже не пытались завербовать в стукачи (даже в этом случае, о котором я сейчас рассказываю), но в то же время как член общества я был совершенно безвреден. Как раз молодые люди, которые всерьез интересовались теорией коммунизма, погружались в Маркса, Ленина или Сталина, были для режима гораздо опаснее, и советская власть это в конце концов осознала. Человек, всерьез воспринимающий теорию, рано или поздно начинает ее сравнивать с практикой и в конце концов отвергает или то, или другое, а затем и то и другое. Человек же, не обольщенный теорией, к существующей практике относится как к привычному и неизменному злу, к которому, однако, можно кое-как приспособиться.

Итак, я утверждаю, что я был вполне советским человеком. Советскость моя проявлялась, кроме того, в том, что я вполне ожидал от власти чего угодно, но именно поэтому неспособен был к протесту в самом главном. Мое правосознание было равно нулю. Хотя с пришедшим ко мне человеком я говорил в несколько ироническом и неприятном ему тоне, но в главном я с ним тут же вступил в негласное соглашение.

Я испугался и вполне допускал, что меня сейчас уведут навсегда и никто никогда не узнает, куда я делся. Представления о том, что, не совершив никакого преступления, я могу против такого увода протестовать, у меня не было. Я не проверил документы пришедшего, не оспаривал его права вести меня туда, куда он хочет.

Когда мы вышли с ним в коридор, там стояла хозяйка, уже одетая.

— Володя, — спросила она меня, стараясь не глядеть на моего провожатого, — вы надолго уходите?

Я повернулся к нему и спросил громко, давая понять хозяйке, кто он:

— Я надолго уйду?

— Нет, нет, нет, что вы! — вернулся он к своей как бы смущенной манере. — Он очень, очень скоро вернется.

Я потом думал, как хитро дал я понять хозяйке, куда я ухожу.

Я думал, что на улице меня ждет «черный ворон», куда меня втащут, заламывая руки. Но никакого «ворона» не было, и мой провожатый предложил мне пройти пешком. Это меня удивило, но я пошел.

Дорогой он разговаривал со мной уже не заискивающе, а снисходительно. Он спросил меня, почему я пишу такие грустные стихи, и я, понимая, что меня можно расстрелять за то, что я пишу грустно, стал возражать, что стихи мои хотя и грустны, но содержат элементы внутреннего оптимизма. По его лицу я видел, что мои утверждения не кажутся ему убедительными. И он поглядывал на меня, как на заблудшего молодого человека, которого жаль, но придется все-таки расстрелять.

Мы шли очень долго какими-то кривыми переулками, и я насмешливо (во всяком случае, мне казалось, что я был насмешлив) спросил провожатого, не заблудились ли мы.

— Да, да, возможно, — сказал он с видимым беспокойством. — Может быть, заблудились. А впрочем, нет. Кажется, не заблудились. — И он указал на вывеску, на которой было написано:

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

— Вот видите, — сказал он еще раз, как бы гордясь своим знанием прилегающих переулков. — Все-таки не заблудились.

Совершенно не помню, через какие двери мы вошли, спрашивали ли у него или у меня документы, какие там были лифты или коридоры. Помню только, что мы вошли в какой-то кабинет, где за большим, но скромным столом сидел обыкновенный человек небольшого роста в сером костюме. Он подал мне руку, назвал себя по имени-отчеству, назвал и меня по имени-отчеству. Он предложил мне стул и сразу спросил:

— Владимир Николаевич, как вы думаете о себе, вы советский человек?

У меня немного отлегло от сердца. Если они еще не

решили, советский я или не советский, значит, может, и расстреляют не сразу. Я тут же горячо заверил его, что я, конечно; советский.

— Правильно, — сказал он, — я в этом нисколько не сомневался. Вы советский человек, и вы нам должны помочь. Вы нам поможете, мы вам поможем, а вы поможете нам — и мы вам поможем. — Он потер руки и, предвкушая удовольствие, уставился на меня. — Ну рассказывайте.

— Что рассказывать? — спросил я, искренне недоумевая.

— Расскажите, что знаете.

— Я ничего не знаю.

— Ну Владимир Николаевич, — заулыбался хозяин кабинета и переглянулся с тем, который меня привел (тот сидел в углу). — Ну что-то же вы знаете!

— Что-то я, может быть, знаю, но я не знаю, что именно вас интересует.

— Нас все интересует.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Владимир Николаевич, — всплеснул он руками в некотором даже как бы отчаянии. — Ну вы же советский человек?

— Ну конечно, советский, но я не понимаю, чего вы от меня хотите.

Тогда он мне сказал, что он хочет от меня, чтобы я ему откровенно (вы нам поможете, мы вам поможем) рассказал, с кем я общаюсь и где бываю.

Я не сомневался в его праве спрашивать, но и точно знал, что надо уклоняться от ответов на любые вопросы. И сказал, что ни с кем не общаюсь и нигде не бываю.

— Но как же, как же, как же, — встрепенулся тот, который меня привел. — Но вы же были на художественной выставке и там смотрели абстрактные картины.

Ах вот оно что! Хотя это была выставка совершенно официальная и никто не предупреждал, что ходить на нее не надо, но как советский человек я должен был понимать, что на абстрактные картины лучше все-таки не смотреть. Я не спросил своих собеседников, откуда они знают, что я был на выставке и что от абстрактных картин не отворачивался, но их осведомленность вселила в

меня надежду, что они знают и то, что картины эти абстрактные мне самым решительным образом не понравились. Я им и сейчас охотно сказал, что мне эти абстрактные картины не понравились.

— Да, они никакому нормальному человеку не могут понравиться, — глубокомысленно заметил старший, и младший тут же его поддержал:

— Да, да, да, это профанация искусства.

— А что вы думаете о Пастернаке? — спросил старший.

Я сказал, что о Пастернаке ничего не думаю, и это было чистой правдой, читать Пастернака и думать о нем я стал гораздо позже. А в то время из всех советских поэтов я выделял Симонова и Твардовского, а из прозаиков Шолохова, и это совпадало с их представлениями о здоровом вкусе нормального советского человека.

Но они все же были чем-то недовольны, и старший сначала вроде случайно обронил, а потом стал все чаще повторять эту фразу: «Ну смотрите, а то пеняйте на себя».

Однажды он вдруг прервал разговор и куда-то выскочил. Как только он исчез, младший подошел к его столу, взял обыкновенную деревянную линейку, вернулся на свое место и, держа линейку в виде пистолета, стал целиться в меня, загадочно ухмыляясь, но ничего не говоря.

Прибежал старший, и опять началось: «Вы нам можете, мы вам поможем, а если вы нам не можете, пеняйте на себя».

И опять ничего конкретного.

— Ну хорошо, а с кем вы дружите?

— Я ни с кем не дружу.

— А Литовцев и Польский¹?

С Литовцевым и Польским мы вместе учились в институте и читали друг другу свои стихи. Отрицать, что я с ними общаюсь, было бы глупо.

Я сказал:

— Ах да. Литовцев и Польский. Мы вместе учимся, мы все трое пишем стихи, ну и общаемся.

— А о чем вы разговариваете?

— Ну о стихах, например.

¹ Фамилии изменены.

— А еще о чем?

— А больше ни о чем.

— Как это — больше ни о чем? — Он все чаще повышал на меня голос. — Даже о девушках не разговариваете?

— Нет, не разговариваем, — разозлился я. — Я человек женатый, у меня дочка родилась, и я ни о каких девушках не разговариваю.

— Ну, ну, ну, ну! — иронически отозвался из своего угла младший.

— Ну хорошо, — сказал старший, — оставим девушек. А о политике вы разговариваете?

— Не разговариваем, — сказал я.

— Как это вы не разговариваете? Вас что же, политика не интересует?

— Не интересует, — сказал я, и в то время это было чистой правдой.

— Как же это вы советский человек, а политика вас не интересует?

— А вот так, — сказал я, все больше выходя из себя. — Я советский человек, а политика меня не интересует.

— Ну хорошо, девушки вас не интересуют, политика не интересует. А какие у вас отношения с иностранцами?

Тут я совсем вышел из себя и закричал:

— Какие иностранцы? Что вы глупости мелете? Я вообще ни одного иностранца не знаю.

— Как же, как же, как же, — забормотал из своего угла молодой. — А израильский дипломат?

Тьфу, черт! Я даже сплюнул с досады. Или мне сейчас кажется, что я сплюнул.

А история была такая.

Как-то проходя с Игорем Литовцевым по Кузнецкому мосту, мы зашли в книжный магазин, и Литовец обнаружил, что дают сборник стихов Аврама Гонтаря.

— Кто это — Гонтарь? — спросил я.

— Ты разве не знаешь? Очень хороший еврейский поэт. Надо купить.

Мы стали в очередь в кассу и выбили чеки на два сборника. Но когда подошли с чеками к прилавок, оказалось, что сборник уже распродан, кучерявый гражданин перед нами взял последние четыре экземпляра.

Услышав наш разговор с продавщицей, кучерявый

немедленно обернулся и сказал, что, если мы интересуемся Гонтарем, он нам с удовольствием подарит по экземпляру, и тут же стал эти экземпляры вручать. Мы стали отнекиваться, он пристал, вшестером (с ним были двое маленьких и тоже кучерявых от четырех до шести лет мальчишек) вышли на улицу. Книжки мы у него взяли, но он тут же надел на Литовцева и стал спрашивать его, зачем СССР проводит антисемитскую политику. Литовцев начал что-то мямлить. Я, будучи действительно советским человеком и действительно не разбираясь в политике, ринулся на помощь Литовцеву и сказал, что никакой такой политики СССР не проводит. Кучерявый сказал, что как секретарь израильского посольства он точно знает, что говорит. И продолжал наседавать на Литовцева, полностью меня игнорируя. Стал стыдить Литовцева, что он не знает еврейского языка и еврейской культуры. Я ему сказал, что Литовцев не еврей, а чистый русский и для русского человека он еврейскую культуру знает достаточно.

Не знаю, за кого принимал меня израильтянин, может быть, за комиссара, приставленного к Литовцеву, но он явно говорить со мной не хотел и все время поворачивался ко мне спиной, а Литовцева, несмотря на мои уверения, продолжал стыдить за то, что тот не признается в своем еврействе. Литовцев что-то мямлил в ответ, из чего было видно, что он действительно стыдится. Дети дипломата тащили его за руки, он долго сопротивлялся, но в конце концов сдался, сел в свою машину и уехал. А мы с Литовцевым пошли дальше пешком.

Я все чаще срывался и сказал старшему:

— А зачем вы спрашиваете, вы же подслушивали и сами все знаете.

— Почему это, почему это вы думаете, что мы подслушивали? — донеслось из угла.

— А откуда же вы знаете про этого израильтянина, если не подслушивали?

— Ну ладно, — сказал старший раздраженно. — Откуда знаем, отсюда знаем. А почему вы сами к нам не пришли и не рассказали?

— А почему я должен к вам приходиться?

— Как это почему? Вы же советский человек?

— Да, — сказал я гордо, — советский. Но я не думал, что если я кого встретил, то тут же немедленно должен к вам бежать.

— Как же вы не думали. Вы же видите, что это провокационная сионистская пропаганда. Ну да, вы же политикой не интересуетесь. Вы интересуетесь только стихами. А какие у вас в литобъединении «Родник» стихи читают?

— В каком литобъединении? — спросил я.

— Ну как ваше объединение в институте — «Родник» называется? — спросил старший и посмотрел на младшего.

— «Родник», «Родник», — подтвердил тот авторитетно. И тут мне совсем полегчало. Я-то думал, что они действительно обо мне все знают, а оказывается, кое-чего все же не знают.

— А вы знаете, — сказал я злорадно, — что я на этом «Роднике» ни разу в жизни не был?

Тут я заметил, что мой ответ чем-то их сильно обескуражил. Старший строго посмотрел на младшего, тот как-то съежился, виновато, как мне показалось.

— И вы даже не знаете, кто староста этого кружка? — спросил старший.

— Понятия не имею, — ответил я совершенно чистосердечно.

— Ну хорошо, — смутился старший, — тогда скажите, а о чем говорят ваши профессора на лекциях?

— А вот на этот вопрос, — съехидил я (и до сих пор вспоминаю свой ответ с удовольствием), — мне бывает трудно ответить даже на экзамене.

— Почему? — не понял моей шутки старший.

— Потому, — сказал я злобно, — что если уж вы следили за мной, то должны были бы заметить, что в институте я бываю очень редко, да и то прихожу в основном за стипендией. И если бы вы проверили список у старосты нашей группы, то вы бы увидели, что против моей фамилии у него написано: не был, не был, не был.

На этом допрос закончился, но не совсем. Старший еще сказал мне, что, с одной стороны, он верит, что я настоящий советский человек, а с другой стороны, сомневается. И если я что-нибудь им не сказал или сказал не

так, то я должен буду пенять на себя. И что я должен пойти еще и подумать и прийти к ним в следующий вторник.

— И заодно, — сказал он, — принесите ваши стихи. Мы почитаем, и мы вам поможем. Вы нам поможете, а мы вам поможем. А если вы нам не поможете, то пеняйте на себя.

После чего мне было предложено дать подписку о неразглашении, что я, как советский человек, сделал безропотно. А выйдя из КГБ, как советский человек, тут же побежал к своим приятелям и все рассказал. И уже от них узнал вот что.

Оказывается, не бывая в институте, я пропустил сенсацию. Староста нашего литобъединения «Родник» арестован за то, что писал антисоветские стихи. И я этого старосту знал, но не знал, что он староста. И даже знал некоторые его стихи. Однажды, прижав меня в угол, он читал мне стихи, из которых я запомнил две строчки:

...И те, кто нынче нами возвеличен,
Завтра задрожат на фонарях.

Стихи эти мне не понравились.

Будучи советским человеком, я такие стихи не любил. Будучи несоветским, не люблю тоже.

Сейчас, вспоминая эту свою первую встречу с КГБ, я думаю, какой я был невежественный в правовом отношении человек! Всякий, в ком есть хоть капля правосознания, скажет мне, что я допустил кучу элементарнейших промахов. Во-первых, еще на квартире я, как только узнал, что передо мной работник КГБ, должен был проверить его документы. Во-вторых, я должен был отказаться идти в КГБ без повестки. В-третьих, на допросе я должен был потребовать сообщить мне, по какому делу я вызван, и настоять на ведении протокола. Ну и насчет подписки — я не знаю, кажется, требование ее незаконно.

Но если бы я был такой умный, продемонстрировал кагэбэшникам знание законов и высокий уровень правосознания, они бы уже тогда взяли меня на заметку, и как бы сложилась моя судьба, никому не известно. Но я был самый настоящий советский человек, который не верит ни в марксизм-ленинизм, ни в законы, ни в прав-

ду, ни в право. В своих тогдашних отношениях с КГБ я выбрал самую идиотскую линию поведения, и именно она оказалась самой правильной.

Прошло несколько лет. Мое положение резко изменилось. Из самого нижнего социального слоя я передвинулся не в самый высший, но все же довольно высокий: стал членом привилегированной касты советских писателей. Постепенно стало меняться мое мироощущение. Я начал осознавать, что у меня как у личности и члена общества есть какие-то обязанности и какие-то права. Я уже больше разбирался в советских законах и прибегал к их помощи в практической жизни. Но чем скрупулезнее я соблюдал эти законы, тем большими становились мои неприятности. В конце концов я из писательской касты был изгнан и лишился даже тех мизерных возможностей (например, возможности устройства хотя бы на самую низкооплачиваемую работу), которые у меня были, когда я был плотником или студентом. Меня сначала практически, а затем и официальным указом лишили звания советского человека и объявили врагом советской системы. И совершенно справедливо. Потому что, дойдя умом до того, что законы в Советском Союзе все-таки существуют, я забыл то, что раньше знал инстинктивно: никаких законов в Советском Союзе нет. Важны, как я уже говорил, вовсе не писанные законы, а неписанные правила поведения.

Слушали, постановили.

А когда я решил уважать советские законы и пренебрег неписаными правилами поведения, тогда и начались у меня неприятности и персональные дела. Первое дело в 1968 году за подписание коллективных писем в защиту сначала Синявского и Даниэля, потом Гинзбурга и Галанскова кончилось строгим выговором с занесением в личное дело и запретом (это добавлялось автоматически) всех публикаций, второй выговор (строгий с последним предупреждением) я получил два года спустя, после того как первая часть «Чонкина» сперва в виде рукописи ходила по рукам в Самиздате, потом попала в эмигрантский журнал «Грани» и была там опубликована без моего разрешения. Тогда меня обрабатывали долго и нудно, а потом, в июле 1970-го, произошло вот что.

Очередной раз позвонил Виктор Николаевич Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР, бывший генерал КГБ.

— Ну как матушка?

— Сделали операцию.

— И что оказалось?

— Не рак.

— Слава богу! — закричал он в трубку с большим чувством и слишком уж фальшивя. — Слава богу! Но теперь-то вы можете прийти?

— Когда?

— Ну, скажем, завтра.

— Нет, послезавтра.

Сам не знаю для чего, но я взял манеру всякий раз назначать не ту дату, которую называл он, и хоть этим хоть чуть-чуть отстаивать видимость своей независимости.

Всякий раз он легко соглашался, и сейчас тоже:

— Ну хорошо, приходите послезавтра.

Послезавтра я пришел в назначенное время, часа в два или три дня. Прихожу, Ильин сидит за своим столом, напротив у стены расположился Лазарь Карелин, рядом с Карелиным какой-то неизвестный мне человек по фамилии, как я потом узнал, Болдырев.

— Садитесь, где вам удобно, — сказал Карелин. — Как, жарко сегодня?

— Да, — говорю, — не холодно.

Сию, жду, когда они уйдут, но они не торопятся. Больше того, вошел еще некий Тельпугов с бритой наголо головкой пятьдесят четвертого размера. Еще появился некто мне неизвестный по фамилии, тоже узнал потом, Брагин.

Сидят просто так, говорят кто о чем.

— А вот я слышал по Би-би-си, — сказал Болдырев, — какой-то человек организовал альпинистскую школу для детей. Мне бы дали, я бы тоже с удовольствием такую школу организовал.

Я удивился, что это он в таком официальном кабинете так спокойно говорит про Би-би-си. Правда, другие, мне кажется, тоже удивились, потому что никак на его сообщение не отреагировали и кто-то опять сказал, что очень жарко.

Вдруг Ильин, кончив возиться со своими бумагами, поднял голову и, не глядя на меня и никак не объявляя названия происходящего действия, сказал:

— Товарищи, мы собрались, чтобы обсудить повесть Владимира Войновича, — он заглянул в бумажку, — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Эту повесть...

— Не повесть, это часть романа! — закричал я с места.

— Эту повесть Войнович предлагал советским изданиям, — продолжал Ильин, пропустив мимо ушей мою реплику, — которыми она была отвергнута...

— Не была она никем отвергнута! — крикнул я.

— ...и некоторое время спустя она появилась в издающемся во Франкфурте-на-Майне антисоветском журнале «Грани». Нам, товарищи, предстоит обсудить идейно-художественное содержание повести Войновича и высказать свою оценку. Кто хочет высказаться?

Совершенно не ожидавший такого развития событий, я, тем не менее, сказал, что именно я и хочу высказаться. Ильин согласился, но с большой неохотой.

— Виктор Николаевич, — сказал я, — я пришел сюда, чтобы поговорить с вами. А вас здесь так много. Кто вы?

— Вы разве нас не знаете? — обиделся Карелин.

— По отдельности некоторых знаю, а кто вы все вместе? Бюро? Комитет? Совет?

— Владимир Николаевич, это комиссия, — объяснил Ильин. — Комиссия, созданная секретариатом для расследования, как и при каких обстоятельствах ваша повесть...

— Да не повесть...

— ...попала в белогвардейский антисоветский журнал «Грани» и была там опубликована.

Я обрадовался. Вот сейчас я их выведу на чистую воду.

— Ну и как? — спросил я не без ехидства. — Что комиссия выяснила? Каким образом моя рукопись попала в «Грани»?

Они отвечать не торопились.

— А я, между прочим, заявлял вам, Виктор Николаевич, что я эту рукопись сдавал в секретариат для подготавливавшегося альманаха, а она именно из секретариата пропала. Так что для выяснения вам не надо сразу ехать во Франкфурт, а надо поискать здесь.

Мне казалось, что я их здорово прижал к стене и они не найдутся даже, что и сказать. Сколько раз я слышал о других, которые в подобных случаях ловко находили аргументы, и о том, как их противники терялись, и отвечали невпопад, и иногда, или почти всегда, или, точнее, всегда пороли глупости. И все это очень наивно. На самом деле, готовясь к подобным заседаниям, они и не рассчитывают на ловкость во всех случаях. Им важно гнуть свою линию, им, в общем-то, все равно, будут они выглядеть умными или полными дураками, при случае они ответят впопад, при случае они будут радоваться, если жертва окажется ненаходчивой, но если все будет наоборот, то и это не имеет значения, они же пришли не истину выяснять, они пришли с дубиной, и они ее употребят.

Из моих записей того времени:

Виктор Тельпугов сказал, что это неважно, как повесть (вопреки моим протестам они называли часть романа повестью, чтобы считать ее законченным антисоветским произведением) попала за границу, неважно, кем она была напечатана, важно то, что она вообще была написана. «Если бы я даже знал, — сказал Тельпугов, — что эта повесть нигде не напечатана, а просто лежит в столе у автора или даже только задумана, я и тогда считал бы, что автором должны заниматься не мы, а те, кто профессионально борется с врагами нашего строя. И я сам буду ходатайствовать перед компетентными органами, чтобы автор понес заслуженное наказание».

После Тельпугова выступил некто Михаил Брагин, полковник. (Как я заметил, среди членов Союза писателей полковников и генералов сконцентрировано не меньше, чем в Генеральном штабе. Причем сами о себе они часто говорят: «я генерал» или «я полковник», но никогда не говорят «в отставке» и никогда не говорят, к какому роду войск принадлежат. Я думаю, что в основном к КГБ.)

Так вот, этот полковник выступил очень взволнованно и сказал, что таких ужасных, так оскорбляющих его любимую армию людей он еще не встречал, и спро-

сил, действительно ли мне в его любимой армии приходилось видеть что-нибудь подобное мною описанному. Я сказал: «Да, видел кое-что и похлеще». Эти мои слова так оскорбили святые чувства полковника, что он вскочил, покраснел, стал сучить ногами и кричать: «Это ложь! Ложь! Наглая ложь!»

На что я, уважая седины и звание этого человека, сказал, что, если он припадочный, ему следует как можно чаще посещать доктора и как можно реже участвовать в столь нервных мероприятиях вроде этого.

«Но ведь вы же говорите ложь!» — не успокаивался Брагин. «Я предупреждаю вас, — сказал я, — и предупреждаю всех, кто здесь есть. Если я еще раз услышу слово «ложь», я немедленно отсюда уйду».

Слово это, однако, было произнесено снова, и я ушел, сопровождаемый страстными призывами присутствовавших (как в греческом хоре): «Товарищ Войнович, вернитесь!»

ПРОТОКОЛ №13

Распорядительного заседания Секретариата Правления
Московской писательской организации СП РСФСР

13 июля 1970 года

Присутствовали — Секретари Правления — гг. Карелин Л.В., Винниченко И.Ф., Ильин В.Н., Фоменко Л.Н.

Приглашен на заседание Секретариата — член СП
т. Войнович В.Н.

От творческого объединения прозы и члены Комиссии — гг. Болдырев С.Н., Тельпугов В.П., Брагин М.Г.

СЛУШАЛИ:

1: О рукописи члена СП В.Н. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», опубликованной в зарубежном антисоветском журнале «Грани» за 1969 г. № 72.

(т. Ильин В.Н.)

В обсуждении приняли участие — гг. Болдырев С.Н., Тельпугов В.П., Карелин Л.В., Винниченко И.Ф., Брагин М.Г., Фоменко Л.Н., Ильин В.Н., Войнович В.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заслушав сообщение членов Комиссии, образованной решением Секретариата Правления для выяснения обстоятельств, при которых рукопись В. Войновича оказалась достоянием зарубежного антисоветского журнала «Грани», а также намереваясь выяснить в ходе обсуждения этого вопроса отношение самого автора к факту опубликования в этом журнале его рукописи, Секретариат Правления считает необходимым отметить:

1) Рукопись члена СП т. Войновича по своему содержанию и направленности носит явно клеветнический и откровенно враждебно-антинародный характер, и именно в силу этого она и была широко использована журналом «Грани» в его идеологической борьбе, которую он ведет против Советского Союза.

2) Член СП т. Войнович фактом написания подобного пасквиля, носящего явно антинародный характер, и не желая признать идейно-порочную направленность, тем самым вступил в резкое противоречие с действующим Уставом Союза писателей СССР, определяющим роль и место советского писателя в борьбе за построение коммунизма и социальный прогресс.

3) Члены Секретариата и члены Комиссии в ходе обсуждения этого вопроса преследовали своей целью помочь осознать т. Войновичу не только политическую вредность его рукописи, но и рассчитывали, что т. Войнович сам даст оценку произведению, не отвечающему духу и целям, стоящим перед нашей страной.

Секретариат и члены Комиссии полагали, что в результате проведенного обсуждения чл. СП т. Войнович придет к решению выступить на страницах советской печати с резкой отповедью в адрес враждебного нам органа, публикующего без согласия автора его рукопись, попавшую в руки агентуры, скрытно действующей в нашей стране.

К сожалению, Секретариат и члены Комиссии должны констатировать, что т. Войнович не только не пожелал воспользоваться предоставленной ему возможностью внести ясность в занимаемую им общественно-политическую и литературную позицию, но, искусственно

создав ситуацию инцидента, воспользовался этим, чтобы покинуть заседание и тем самым уйти от дальнейших объяснений.

4) Секретариат Правления не может пройти мимо таких фактов, как неоднократное подписание т. Войновичем коллективных писем в защиту осужденных за антисоветскую деятельность Синявского и Даниэля и затем — Гинзбурга, Галанскова и др. Если раньше, предполагая, что подписание подобных коллективных писем в защиту лиц, осужденных Советским Судом (оба слова с большой буквы. Так же, впрочем, как Секретариат, Правление и Комиссия. — *В.В.*) за антисоветскую деятельность, являлось следствием политической незрелости т. Войновича, ввиду чего Секретариат ограничился вынесением т. Войновичу выговора с занесением в личное дело, то сегодняшнее его поведение свидетельствует о том, что т. Войновича ничто не связывает с Союзом писателей и достоинство советского писателя для него утратило надлежащее значение.

5) Секретариат Правления Московской писательской организации считает, что т. Войнович поставил себя своими действиями и своим «творчеством» вне рядов Союза писателей, и только отсутствие кворума не дает возможности решить этот вопрос в настоящее время.

Секретариат считает необходимым поставить вопрос о невозможности пребывания т. Войновича В.Н. в рядах членов Союза писателей на первом же расширенном заседании Секретариата Правления Московской писательской организации.

СЛУШАЛИ:

2: Письмо детской писательницы т. Воскресенской-Рыбкиной З.И. с просьбой помочь выехать ей в Польскую Народную Республику с творческими целями (для сбора материала к книге о жизни и деятельности Н.К. Крупской, над которой она работает по договору с издательством «Детская литература»). Выпуск этой книги предполагается к 50-летию пионерской организации имени В.И. Ленина.

(Л. Карелин)

ПОСТАНОВИЛИ:

Ходатайствовать перед Секретариатом Правления Союза писателей СССР о предоставлении т. Воскресенской-Рыбкиной Зое Ивановне поездки с творческими целями в Польскую Народную Республику для сбора материала в партийных и государственных архивах ПНР документов, относящихся к пребыванию Н.К. Крупской в г. Гроеце и др. местах Польши. Просить Секретариат СП СССР предоставить возможность выехать т. Воскресенской З.И. по линии иностранной Комиссии СП СССР по плану поездок 1970 г.

СЛУШАЛИ:

Письмо-заявление члена СП т. Насибова А.А. о предоставлении ему поездки (вместе с женой Брусиловской И.С., старшим редактором изд-ства «Детская литература») в Венгерскую Народную Республику сроком на один месяц с творческими целями (сбор материала к новому роману, где действия разворачиваются не только в нашей стране, но и, в частности, в Венгрии).

(Л. Карелин)

ПОСТАНОВИЛИ:

Просить Секретариат Союза писателей СССР предоставить возможность тов. Насинову Александру Ашотовичу творческой командировки в Венгерскую Народную Республику (по плану поездок Иностранной Комиссии на 1970 г.). Срок поездки — один месяц. Поездка жены т. Насибова — Брусиловской И.С. — за счет личных средств.

СЛУШАЛИ:

Заявление Секретаря Правления Московской писательской организации СП РСФСР тов. Якименко Л.Г. об улучшении его жилищно-бытовых условий.

(Л. Карелин)

ПОСТАНОВИЛИ:

Учитывая активную творческую и общественную деятельность т. Якименко Л.Г., являющегося первоочередником на получение жилищной площади, а также

принимая во внимание тот факт, что т. Якименко является инвалидом Отечественной войны, имеющим боевые награды, — просить Секретариат Правления Союза писателей СССР предоставить тов. Якименко Льву Григорьевичу однокомнатную квартиру для совершения обмена.

(Л. Карелин)

Верно: секретарь Романова

Меня в этот раз не исключили не из-за отсутствия квотума, а потому, что они еще хотели со мной поработать и добиться от меня того, чего хотели. И работали. Меня вызывали в секретариат СП Ильин, Карелин, Наровчатов, потом в дело вступили работники ЦК Юрий Кузьменко и за кулисами Альберт Беляев. Одни мне угрожали, другие уговаривали, третьи льстили, но все клонили к тому, что я должен написать журналу «Грани» протест против публикации «Чонкина» без моего разрешения. На меня давили и с другой стороны. Жена, близкие друзья уговаривали меня не жертвовать благополучием семьи, помнить, с кем я имею дело, «кинуть им кость». Главный режиссер театра Маяковского Андрей Александрович Гончаров говорил: «Подумайте, с кем вы боретесь. Их же 18 миллионов человек. Это же армия во время полной мобилизации. Ну покрывите немножко душой. Помните, как говорил пушкинский Савельич Петруше Гриневу: «Барин, поцелуй злодею ручку».

В конце концов осенью 1970 года я написал протест, которым некоторые люди попрекали меня много лет. Что и говорить, писать подобные протесты под давлением властей — дело довольно унижительное, но будь я в то время свободным человеком, мой протест был бы гораздо резче. Эта публикация выбила меня из колеи и помешала закончить работу над романом (он не закончен до сих пор). Текст «протеста» утверждался и редактировался в секретариате Союза писателей и в ЦК КПСС и был опубликован с добавками, истинным автором которых являлся генерал Ильин.

В декабре 1970 года состоялось второе заседание секретариата, на котором мне был объявлен еще один

строгий выговор с «последним» предупреждением. После чего в моем положении ничто не изменилось.

Руководители Союза писателей считали, что одного протеста «Граням» недостаточно, и призывали меня найти «удобную форму», чтобы осудить свое недостойное поведение и свою идейно-порочную повесть. Поскольку ни одна из возможных форм мне не казалась удобной, меня не печатали и лишали куска хлеба еще два года (до конца 1972 г.), после чего власти, полагая, что я уже прочно стою на коленях, решили меня простить и даже издали одновременно две мои книги. И это была их большая идеологическая ошибка, потому что за прошедшее время я как раз с колен поднялся, властям ничего не простил и собирался предпринять новые действия, совершенно «несовместимые с высоким званием советского писателя».

На жизненной сцене, однако, события не всегда развиваются по плану, намеченному автором. Только я стал разворачиваться для нанесения давно задуманного удара, как под руку мне подвернулся полковник КГБ Иванько. Ничего не зная о моих враждебных намерениях, он всего-то хотел отнять у меня квартиру, чтобы поставить в ней свой заморский унитаз. И начался третий акт драмы или, может быть, интермедии, которую я подробно описал в своей книге «Иванькиада».

Мне никак не хотелось связываться с Иванько, я предпочел бы даже и до сих пор не знать, кто он такой. Но он продолжал упорствовать в порочном своем заблуждении, и мне пришлось весь запас накопленной ярости обрушить на него. Выставив против меня превосходящие силы, Иванько утверждал, что, выступая против него, я тем самым выступаю против советской власти. Должен сказать, что он был совершенно прав. Иванько — это и была советская власть. Тем не менее он на данном этапе потерпел сокрушительное поражение и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, позорно бежал в Соединенные Штаты. (Впрочем, потом вернулся, сразу после того, как агент ГРУ Владимир Резун — он же писатель Виктор Суворов — разоблачил Иванько как резидента советской разведки в США.)

А я уже не останавливался. В том же семьдесят тре-

тьем году я, на этот раз сам, передал тем же «Граням» свою повесть «Путем взаимной переписки». Потом подписал письмо (вместе с Сахаровым, Максимовым, Галичем) в защиту Солженицына. Потом передал на Запад продолжение «Чонкина». Потом стал следить за действиями советской власти, ища, к чему бы еще придрататься. И придрался к созданию Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП). Когда мое сатирическое письмо Панкину было передано западными радиостанциями, моей жене позвонил генерал Ильин и осторожно поинтересовался, не повредился ли я в уме. Но вот само письмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВААП

г. Б. Д. Панкину в ответ на его интервью, опубликованное «Литературной газетой» 26 сентября 1973 года

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше.

А за рубежом...

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они и вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин¹, я сразу отмел это предполо-

¹ Борис Стукалин. В описываемое время председатель Государственного комитета по делам печати, издательств и книжной торговли.

жение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков и т.д. С другой стороны, непонятно: почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав? Ведь на их авторские права за пределами нашего отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создали небывалые по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в Самиздат, в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих авторских прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность Вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сферах человеческого духа — дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Кем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав «хлопотно и неэкономично». В подтексте Вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монопо-

лии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение Вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку Ваше агентство обещает гражданам государств — участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли Вашему агентству риск самому быть подвергнутым уголовному преследованию? Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать¹.

И еще одно предложение.

Поскольку Ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП — Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

¹ Как я потом узнал, этот абзац моего письма учредителей агентства как-то смутил. Считаюсь формально общественной организацией, они де-юре не имели права заниматься внешней торговлей. Но законом они легко пренебрегли, тем более что де-факто были не общественной организацией, а спецслужбой КГБ.

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем Ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (и, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Владимир Войнович
5 октября 1973 г.

А вот вам и персональное дело. Третье, и последнее.

СТЕНОГРАММА
ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЗЫ
МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 января 1974 года
Председательствует Г.Г. Радов

Г.Г. РАДОВ: Открываем заседание бюро. Поскольку Б.М. Зубавин болен, я беру сегодня на себя обязанность быть председателем.

Сегодня у нас стоит вопрос о поведении члена Союза писателей В.Н. Войновича. Поступок его известен членам бюро. Речь идет об опубликовании материала в антисоветском издательстве «Посев» в номере 11 за прошлый год. Члены бюро с этим материалом знакомы, поэтому надобности в чтении нет.

Не вдаваясь в оценку этого документа, хочу сообщить, что вопрос о поведении В.Н. Войновича разбирался на секретариате Московской писательской организации в 1968 году. Речь шла о подписании Войновичем коллективного письма в защиту антисоветчиков, за что он получил выговор. 20 декабря 1970 года решением секретариата он был предупрежден, что заслуживает исключения из Союза. Речь шла о публикации за границей клеветнического, как утверждалось в решении сек-

ретариата, антисоветского произведения. Войнович был предупрежден, что заслуживает исключения из Союза, но ввиду того, что он опубликовал протест против напечатания его незавершенного произведения «Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина», он получил только строгий выговор с занесением в личное дело. Секретариат надеялся, что Войнович сделает для себя соответствующий вывод. И вот перед нами третий факт — публикация в «Посеве» в ноябре 1973 года.

Поскольку товарищи знакомы с материалом, я думаю, мы попросим сейчас Войновича разъяснить свое отношение к этому вопросу.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: То, что это было напечатано в «Посеве», я не знал. Я узнал это только от т. Стрехнина. Но вообще это письмо открытое, я его не скрывал, и его могли послать куда угодно. Сейчас вы будете обсуждать это письмо. Я уже говорил Юрию Федоровичу, что я считаю это письмо сатирическим произведением, оно похоже даже на гротеск, но гротеска в нем нет, потому что в нем содержится все то, что содержалось в интервью Панкина. Я представил это только в деталях. Я написал это письмо потому, что Панкин заявил, что отныне правами писателей будет весть агентство ВААП — оно будет определять, какие произведения подлежат печатанию, какие не подлежат, какие можно печатать, какие нельзя. У меня в письме говорится насчет Бутырской и Лефортовской тюрьмы. Панкин это имел в виду: он писал, что автора, который не обратится в ВААП, ждет тюрьма. Он не написал адреса — эти адреса уточнил я.

Я считаю, что права писателей и так у нас урезаны и отнимать у писателя последнее право распоряжаться своей рукописью по своему усмотрению нельзя. Я считаю, что основание этого агентства на таких условиях возмутительно, и выразил свое к этому отношение.

Г.Г. РАДОВ: Есть вопросы?

Г. БРОВМАН: Все-таки интересно: каким образом это письмо могло попасть на страницы контрреволюционного, фашистского издания?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я послал это письмо Панкину в «Комсомольскую правду». Он мог его напечатать там.

Г.Г. РАДОВ: Что вы имеете в виду под открытым письмом?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я имел в виду, что это не секретное письмо. Я его послал Панкину и давал читать всем, кто меня об этом просил.

Г.Г. РАДОВ: Я же не могу просить у вас то, чего я не знаю.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вы приходите ко мне в гости, я говорю — я написал письмо Панкину. Вы берете, читаете и, если хотите, — переписываете.

Г.Г. РАДОВ: Вас не огорчал факт публикации этого письма в «Посеве»?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Нет, потому что это письмо открытое.

Г.Г. РАДОВ: Обычно, если человек пишет открытые письма, он их посылает в нашу печать.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я и послал Панкину в «Комсомольскую правду».

Г.Г. РАДОВ: Значит, официально вы в органы советской печати не обращались. А то, что оно опубликовано на Западе, вы считаете случайным?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Нет, не считаю. Но в принципе оно должно было быть здесь напечатано.

Г.Г. РАДОВ: Как же оно могло быть напечатано, если вы никому не посылали?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вы же знаете, что оно не могло быть напечатано потому, что вы считаете, что это письмо плохое.

Г.Г. РАДОВ: Вы же не давали ему оценку, что это плохое письмо.

Г. БРОВМАН: Войнович не молодой писатель, он прекрасно отдает себе отчет, что «Посев» издание контрреволюционное, фашистское, черное издание на современном издательском горизонте за рубежом. Это не буржуазная газета, не социал-демократическая правая, а это контрреволюционное издание, призванное вести антисоветскую деятельность. Почему же он считает естественным опубликование этого письма там?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: То, что я пишу, я не считаю анти-

советским, а если я не считаю это антисоветским, то значит, они тоже не сделали ничего антисоветского. Я хотя там печатался, но в отличие от вас я не знаю этого издательства, я не выписываю книги, которые оно издает. Я знаю только из каких-то источников, которые для меня не являются достоверными. Они могут печатать все, что им попадает в руки, — это уже забота не моя, чтобы им не попадало.

Но им попадает в руки очень многое, и за это я ответственность на себя не беру, а руководство Союза писателей совместно с другими организациями создали такую обстановку, что многие наши вещи не могут быть здесь опубликованы и, таким образом, они попадают туда.

Я могу вам предложить разорить издательство «Посев» моментально: все, что попадает туда, печатать здесь.

Г.Г. РАДОВ: Но это, к вашему сожалению, не произойдет.

У меня еще два вопроса. Вы пишете, что хотели видеть в числе учредителей этого агентства прежде всего тех, кто больше других там издается. Вероятнее всего, Солженицына, Максимова и Сахарова.

Вы убеждены, что больше всего издаются на Западе из всей огромной литературы именно эти три человека? Вы не знаете о миллионных тиражах за границей Шолохова, Леонова, Федина, Симонова и других? Вы убеждены, что Солженицын издается там больше, чем упомянутые мною писатели?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я убежден, что Солженицын издается там больше, чем все названные вами писатели.

Г.Г. РАДОВ: Второй вопрос. Вы иронизируете по поводу того, что членами-учредителями этого Общества являются гг. Марков, Верченко и Сартаков. Вы читали интервью Панкина о том, что агентство создает целый ряд творческих организаций, в том числе и Союз писателей. В данном случае Верченко, Сартаков и Марков вошли в состав учредителей от нашего Союза, представляющего всю советскую литературу. Вы же это знали! Три официальных секретаря Правления, представляющие творческий союз целиком. Мы их избрали на съезде писателей демократическим путем. Они осуществляют защиту на-

ших интересов и выступают как юридические члены нашей Всесоюзной организации. Вы же это знали?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Знал, но не все они являются писателями, тем более крупными.

Г.Г. РАДОВ: Мы не говорили о крупности и авторитетности. Там написано, что они представляют Союз писателей, Верченко — не член Союза писателей, а работник Союза писателей, избранный нами. Со дня организации Союза писателей в течение всего времени им руководили не только писатели, но и общественные работники — Щербаков, Поликарпов, Воронков и целый ряд других. Они являются привлеченными работниками, мы платим им деньги и т.д.

Я хотел выяснить вашу точку зрения на эти два вопроса, но она осталась неясной.

т. ПАДЕРИН: Владимир Николаевич! Ознакомившись с письмом, я почувствовал, что у вас есть определенное уважение к Солженицыну. Что вы о нем прочитали и читали ли его последний роман «Архипелаг ГУЛАГ»?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: На этот вопрос я отвечать не буду.

Г.Г. РАДОВ: Вы пока что член Союза писателей, пришли на заседание Бюро, и забывать это не следует.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я пришел не вступать в Союз писателей, а уходить из него!

Г.Г. РАДОВ: По-моему, отношение Владимира Николаевича к вопросу осталось нам неясным. Есть ли еще вопросы к нему? Прежде чем приступить к обсуждению, я все-таки хотел бы задать последний вопрос.

Своим поведением вы ставите нас в очень легкое положение по отношению к вам и очень трудное для себя.

Я хочу спросить хотя бы по праву возраста — достаточно ли серьезно осознаете вы обстановку, в которую попали, и достаточно ли серьезно взвешиваете то, что говорите и как себя ведете перед большой группой писателей? По-видимому, они проявляют к вам интерес, раз пришли сюда.

Достаточно ли серьезно вы к этому относитесь или это дань бравате? Объясните! Я даю возможность сказать по-серьезному.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Мне трудно это объяснить. Дело

в том, что, когда я писал это письмо, я вполне представлял, что за этим последует. Я знал, что могу быть исключенным из Союза писателей. Я делал еще кое-что, за что я мог бы быть исключен из Союза. Это не значит, что я сделал плохо. Я считаю, что положение в нашей литературе очень тяжелое (Г.Г. РАДОВ: Мы не обсуждаем этот вопрос. Дискуссии по поводу положения в литературе мы не ведем).

Хорошо. Я думал, как мне себя вести...

Г.Г. РАДОВ: Положение в литературе такое, что человеком, который дважды нанес моральный ущерб государству, в последнее время были изданы две серьезные книги, и было проявлено беспокойство Союза писателей в том направлении, чтобы они были изданы. Так что о положении в литературе можно судить и по этому факту — забота Союза писателей и общества о каждом отдельном литераторе, несмотря на то что выступления этого литератора и в первом и во втором случае нанесли моральный ущерб. Ведь любое выступление за границей наносит нам моральный ущерб. У вас вышли в последнее время две книги: одна новая и вторая — переиздание. Не было массовых просьб читателей о переиздании — вам шли навстречу.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Во-первых, у меня есть читатели, и их немало, которые ждут моих книжек. Мои книжки на полках не валяются. Поэтому мои книжки надо издавать. Если не будут издавать, то будет неправильно — есть читательский спрос, и, независимо от моего поведения, они должны издаваться. Я ведь ничего плохого, нечестного не сделал. За что я получил первый выговор? Я написал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Я не руководствовался никакими корыстными соображениями. Мне никогда не нравилось и не понравится, что писателя судят за то, что он написал. Но я думал о том, какой вред это наносит нашему государству. И, когда выступал судья Смирнов на этом процессе, я подал записку, ища выхода из положения, который удовлетворил бы все стороны: нельзя ли Синявского и Даниэля взять на поруки? Мне казалось, что это хороший выход из положения. Другие люди, не считавшие их преступниками, ру-

гали меня и говорили, что «таким образом ты вроде признаешь, что они преступники». Я тоже не считал, что они преступники. Но я считаю, что с этого началась длинная цепь неприятностей для нашего государства.

Как вы заявляете, вы руководствуетесь интересами государства. Я тоже руководствуюсь интересами этого государства.

Была сделана ошибка. И я думаю, что ошибку эту поняли, потому что Синявский освобожден раньше срока и гуляет в Париже. А меня наказывали уже после того, как он не сидел, — он уже гуляет по Парижу, а я расплачивался за это письмо.

Вы говорили, что Союз писателей сделал одолжение мне, напечатав мои книги... (Г.Г. РАДОВ: Нет, проявил элементарную заботу.)

Я написал письмо с протестом против публикации в журнале «Грани». Журнал «Грани» (а не «Посев») напечатал часть моего романа без моего разрешения — я такого разрешения не давал¹.

При этом я считал, что виноват в этом не только журнал «Грани», а опять-таки та обстановка, которая сложилась у нас.

¹ В марте 1969 года журнал «Грани» напечатал первую часть «Чонкина» действительно без моего разрешения. После чего все мои книги в очередной раз были запрещены и было затеяно второе персональное дело. На меня оказывалось сильное давление, чтобы я осудил сам себя и журнал «Грани». Давление было с двух сторон: со стороны начальства (об этом есть ниже) и со стороны близких друзей, которые умоляли меня уступить им, чтоб отвязались. В конце концов я написал (выдавил сквозь зубы) протест «Граням» в относительно мягкой форме, а В. Ильин без моего разрешения усилил его словами вроде «грязная провокация» и что-то в этом духе.

Несмотря на это, начальство считало мой протест недостаточно полным («Чонкина» и себя я не осудил). Тем не менее меня из Союза не исключили, «ограничившись» строгим выговором с последним предупреждением. Но реальное мое положение несколько не улучшилось. Меня по-прежнему не печатали и следили за тем, чтобы я не мог зарабатывать деньги на жизнь.

Секретарь МГК Алла Шапошникова говорила: «Мы знаем, что он зарабатывает деньги под чужими фамилиями, но мы и до этого доберемся»...

Потом здесь, в Союзе писателей, у нас велись длинные разговоры. Я не хотел писать письмо, мне тяжело было писать это письмо по моральным соображениям, потому что хотели, чтобы я сказал только об одной стороне дела, а я хотел сказать о двух сторонах. Но мне сказали — так нужно, ты нам помоги.

Я сказал — вы просите, чтобы я помог, а почему все мои пьесы, которые шли по всей стране, сняты, книги мои закрыты. Мне ответили — вы сделайте сейчас, а потом мы сделаем.

У меня тогда было двое детей, сейчас трое, я должен был их кормить, и это соображение для меня было тоже существенным. И я пошел на это и написал то, что хотели. После этого я пошел в Союз писателей, обращался к некоторым писателям и видел, что все довольны. Но после этого два года мою фамилию вычеркивали из всех списков. Например, если Свердловская студия просила у меня сценарий, я посылал заявку, а потом узнавал, что приехал референт из Москвы и эту заявку прикрыл. Вы хорошо знаете, что так бывает. Мои пьесы были по-прежнему запрещены, мне не давали ходу нигде, два года я просто нищенствовал, нечем было кормить детей.

Я уже не говорю о литературной деятельности руководства Союза писателей, с которой я не согласен, но и политически это глупо: сначала руководство предлагает — давайте сотрудничать на какой-то разумной основе, а потом я увидел только сведение счетов, месть и т.д.

Г.Г. РАДОВ: Я попросил Войновича взвесить серьезность ситуации, и вот мы получили такой ответ. Есть еще вопросы? (Нет.) Я хочу прочесть один параграф Устава: (Читает.) Когда обсуждалось его произведение, напечатанное за границей, имелся в виду именно этот пункт. Письмо в «Литературную газету» его действительно просили написать, потому что писатель, состоящий в Союзе, обязан выразить свое отношение к тому, что его произведение напечатано на Западе во враждебном нам органе. И просьба эта была к нему для того, чтобы не применять этот пункт полностью. Раз он сде-

лал такое заявление печатно, к нему отнеслись снисходительно.

Кто желает взять слово?

В. КРАСИЛЬЩИКОВ: В течение последних нескольких лет по своей работе я регулярно читаю все антисоветские, контрреволюционные издания со дня их изначального выхода, с момента Октябрьской революции. Я работал в ИМЭЛ и хорошо знаком с литературой этого рода — от «Социалистического вестника», основанного Мартовым в Берлине, до монархических махровых, реакционных газет, выходивших в Париже и Брюсселе и бережно хранимых сейчас, как своего рода документы эпохи, в Институте марксизма-ленинизма. Журналы это разные, часто между ними возникает полемика, они пикируются, препираются, уличают друг друга, анализируют события Октябрьской революции со своих точек зрения.

Иногда, когда появляется, допустим, новый претендент на русский престол, как это случилось в 1922 г., когда появилась лже-Анастасия, бурные дебаты разворачиваются вокруг этой проблемы и страшная драка раздирает всю эмигрантскую прессу.

Но одно их объединяет. Их объединяет страстная ненависть к Советскому Союзу, к нашей партии, к любым успехам нашего социалистического строительства и махровый антисемитизм. На этой почве все они сходятся и все находят общий язык.

Еще один момент, который роднил их тогда. Это предсказание близкой гибели советской власти.

Тогда эти предсказания делались с помощью провидцев. Теперь эти журналы приняли несколько иное лицо, осовременились. Я не могу к ним отнести ту внешнюю характеристику, которую я дал в отношении их исторических прародителей, но их по-прежнему роднит звериная ненависть к нашему народу, вернее, к нашим людям, строящим социализм, к любым нашим успехам и непрерывные предсказания гибели нашей социалистической системы. Только теперь эти предсказания делаются с помощью ЭВМ и по ходу дела отодвигаются с пятилетки на пятилетку. Среди этих «любезных» и «ми-

лых» изданий есть такое издание, как «Посев», которое мне приходилось, правда, нерегулярно, читать, потому что оно не входило в сферу моих интересов. И в этом издании появляется открытое письмо нашего товарища Владимира Николаевича Войновича. Письмо названо открытым. Очень странное обстоятельство выяснилось по ходу дела. Открытые письма обычно пишутся в какой-то орган. Я не знаю, как в «Комсомольской правде» рассчитывали такое письмо напечатать, но для меня это не имеет значения. Это чепуха, и вообще не имеет значения, для кого оно было написано. Важно то, что оно было написано и было напечатано там, где его напечатали. Почему-то большое произведение Владимира Николаевича не было там оттиснуто, а оттиснули это маленькое письмо.

В этой связи меня удивила фраза: «там все попадает им в руки». Попадает в руки все, но не все печатается. В этом как раз корень вопроса.

С этой точки зрения мне очень не понравилось ваше поведение. Весной в таком же заседании творческого объединения мы обсуждали поведение В. Максимова. При всем моем неприятии этого творчества, я должен сказать, что он вел себя достойно. Он не говорил: я не знаю, чего он хотел, и т.д., а открыто сказал, что он ненавидит наш строй, ненавидит нас и будет бороться. Он честный, настоящий противник. Вы же юлите, изворачиваетесь...

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Здесь большая разница.

Г.Г. РАДОВ: Мы терпеливо вас слушали и не перебивали. Давайте условимся вести заседание спокойно. Тогда мы добьемся ясности.

Я не претендую на то, чтобы олицетворять строй. Это вы претендуете на то, чтобы выражать мнение советских писателей, какой-то их части. Я говорю за себя. Мы обсуждаем вас как нашего творческого товарища. Мне ваша личная позиция крайне несимпатична, потому что вы ведете себя как нашкодивший школьник — вы изворачиваетесь, придумываете аргументы, которые самому вам не кажутся вескими и убедительными.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Кажутся.)

Я говорю то, что мне кажется. Нигде, как на трибуне и в выступлении, человек не старается представить себя самим собой, и в то же время нигде, как на трибуне, человек не открывается так окончательно, так полностью. И это случилось с вами.

Если говорить о вашем письме по существу, а не по форме, то в вашем письме проглядывает неприязнь, непринятие нашего строя, ненависть ко всем завоеваниям нашей революции, которая пронизывает все творчество столь любимого и защищаемого вами Солженицына.

Я хотел еще сказать вот о чем. Вся эта история — весьма поучительный урок для нас. Мы часто не чужды обывательского брюзжания. И вот — начинается с обывательского брюзжания, а кончается тем, к чему пришел Владимир Войнович в произведении, опубликованном за рубежом, и в своем письме, в связи с которым мы обсуждаем его поведение.

Я считаю, что сейчас, когда так ожесточилась борьба двух миров, особенный урон наносят такие выступления, какое позволил себе Войнович. И, естественно, это не совместимо со званием советского писателя, и пребывание Войновича в нашем Союзе я считаю недопустимым.

А. ВОИНОВ: У меня возник вопрос. Мы прочитали это письмо — все ли мы остро и серьезно отнеслись к нему? Я думаю, что каждый из нас, бывая за границей, знает, как выискивают наши идеологические противники всякие факты и фактики, которые могут нам нанести тяжелый урон. Должен оказать, что я недавно был в Берлине и видел передачу западногерманского телевидения. Я смотрел и думал о том, что они совершенно сознательно принижают ужасную роль фашизма, они идеализируют сейчас Гитлера. И в то же самое время — интересная деталь: после того как личный садовник Гитлера восхвалял своего шефа, тут же было пристроено интервью, которое корреспондент западногерманского радио брал у Синявского.

Я думаю, что Войнович, сочиняя это письмо, не мог не понимать, что оно наносит ущерб нашей стране. И я не верю Войновичу, что он не знает, каким образом это письмо оказалось напечатанным. Кто-то приходил к Вой-

новичу в гости, кто-то переписывал это письмо, и оно таинственным способом оказалось напечатанным там.

Я вам скажу прямо, Войнович, вы писали это письмо специально для того, чтобы напечатать его там, потому что вы прекрасно понимали, что это клеветническое письмо не может быть напечатано здесь. Вы несли это письмо Панкину, заметая следы ...

(ВОЙНОВИЧ: Какие следы? Я же его подписал.)

Да, вы его подписали и передали какому-то иностранному корреспонденту, а потом копию понесли Панкину. И не надо прятаться.

Когда я слушаю вас, я думаю вот о чем: у нас действительно есть писатели трудной судьбы, у нас действительно есть писатели, которым трудно подчас пробиться в издательствах. Не так давно мы обсуждали творчество одной замечательной писательницы — Яновской, книги которой надо помочь издать. По вашей логике Яновская должна была взять свои книги и отдать печатать за границу. Это логика, простите меня, антисоветская.

Мы в своей среде сами должны исправлять все, что нам кажется нужным исправить.

Я считаю, что в данном случае речь идет просто о контрреволюционной контрабанде.

Контрабандистски это письмо было передано на Запад с желанием нанести ущерб и нашему Союзу, и нашему обществу.

Я считаю, что Войнович должен быть исключен из Союза писателей.

Л.Н. ФОМЕНКО: Несколько лет тому назад, когда мы обсуждали на Секретариате книгу Войновича, напечатанную в «Гранях», Войнович был все же другим, чем сегодня. Сегодня он просто нетерпим, сегодня он просто продолжает то, что у меня вчера сорвалось с языка, когда я прочитала это письмо. Я бы это рассматривала как политическое хулиганство. Он обижает, оскорбляет товарищей, идет ва-банк.

Вообще, как сказал один умный человек сегодня, пусть бы миллионеры заботились об авторском праве. Я, например, никогда не думаю об авторском праве.

Но здесь совершенно о другом речь. Тогда мы гово-

рили очень серьезно о его творчестве, вспоминали с болью хорошие его дела и старались понять, что это такое. Просили, чтобы он доказал своим творчеством и поведением, каков же он на самом деле — тот ли, который пишет стихи о космонавтах, тот ли, который написал о Вере Фигнер, или тот, который написал «Солдата Чонкина». Пусть это начало большого романа, но тенденция этой вещи тогда была названа антинародной, а она такая и есть, не говоря о страшном натурализме, который не дает ее читать спокойно.

Вот это какое-то двойственное, очень непонятное человеческое крайне неприятно. Это обижает и оскорбляет.

Правильно сказал Войнович, что у нас много людей, которые трудно печатаются, и что много людей, которым трудно кормить своих детей.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: А почему?)

По разным причинам. Не потому, что они бездарны, — этот вопрос мы снимаем. Бывают разные причины, может быть, и неуважительные. Могут сидеть бюрократы. В нашем доме все может быть, как и в моей, так и вашей семье. У одного такой характер, у другого — другой, бывают столкновения, люди могут расходиться, на что-то идут, но никому не приходит в голову так столкнуть разные личности. Я говорю, что это хулиганство. Вы берете Верченко. Нам нет смысла его защищать — я его мало знаю. Но почему нужно было здесь столкнуть это имя с именами уважаемых писателей Маркова и Сартакова? Верченко не писатель и не лезет в писательскую среду. Почему же нужно было столкнуть его имя с другими именами?

То, что написано, я рассматриваю как хулиганство, но должна сказать: то, что вы наговорили сейчас — сгоряча или не сгоряча, — просто нас оскорбляет. Говорю это честно. Здесь сидят люди, которые прошли большой жизненный путь. У вас тоже седины достаточно. Пора хулиганства и заигрывания должна уже пройти.

Я смотрела вашу книгу, прочитала ее. Думала — как хорошо написали такую книгу. Если писал, чтобы поправить свои дела, то ведь он жил в этом материале не

меньше трех лет. Думаю, дело пошло на лад. И хлоп — он пишет это письмо — миллионер, которому ущемляют его права. Это письмо доконало, если бы и не ваше поведение сегодня. Если вы себя подготовили, это не дело — так Союзом писателей играть нельзя. Не знаю, кто вас уговорил написать письмо в «Литературную газету», кто вас умолил.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я никого не упрекаю!

Л.Н. ФОМЕНКО: Все секретари, которые были тогда на заседании, высказались, и каждый желал вам только добра, желали дать понять, что вы споткнулись на этой вещи.

И вы, как будто бы, пытались что-то подумать. А сегодня я вижу человека, который хочет, чтобы о нем пошла слава.

Я считаю, что чаша переполнена.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Может быть, я что-то по отношению к присутствующим неосторожно выскажу, — не хочу, чтобы кто-то воспринимал это на свой счет, тон моего разговора и т.д.

Я не оправдываюсь и не считаю, что я виляю. Я знаю, чем это кончится, — на этот счет у меня сомнений нет.

Г.Г. РАДОВ: Ваш опыт общения с Союзом должен вас научить, что к вам подходили с гуманностью и терпимостью.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Когда я писал письмо, я выступал не против строя, а против агентства ВААП. Я считаю, что агентство ВААП и советский строй не одно и то же. Мне мои права нужны. Если вам не нужны — откажитесь от них. Я не отрекаюсь от своего письма. Поэтому мне ясно, чем кончится дело. Я просто не хочу, чтобы себя считали оскорбленными.

С.С. ЛЕСНЕВСКИЙ: Я хочу, чтобы Володя (я называю его Володя потому, что давно знаю его, хорошо отношусь к нему, только недавно узнал об этом письме, и это меня очень огорчило) заметил, что мы все больше переживаем, чем он сам. Никто не пришел сюда с такой мыслью, с таким мнением, чтобы принимать определенное решение. Но надо сказать, что у нас нет времени, — не у нас буквально...

(Г.Г. БРОВМАН: Исторического времени нет.)

Я, конечно, не возвожу это событие в историческое событие, но какое-то движение истории мы обязаны чувствовать. Что касается данной ситуации, то, вероятно, этот вопрос нельзя считать историческим. Думаю, что у Володи есть еще время подумать и что-то сказать, так как окончательное решение будет выносить еще секретариат. Подумать не о том, как себя вести, — это термин прагматический, а о том, что это означает.

Хочу сказать, что я думаю по существу.

Относительно самой проблемы печатания. Как я понимаю, это психологически связано с теми трудностями, которые Войнович по тем или иным причинам, зависящим от него или не от него, испытывал в своей писательской судьбе. Это дело понятное. Может быть, это какая-то легенда, но я слышал, что когда молодые поэты приходили к Мандельштаму и жаловались, что их не печатают, то он их спускал с лестницы и спрашивал: а Христос печатался? Он хотел сказать, что это не первое, о чем должен думать писатель. И, размышляя над этим, я пришел к выводу: я стал замечать — когда я думаю, печатают меня или нет? Это приходит в те моменты, когда я творчески менее состоятелен. Это какой-то симптом известной неполноценности писательской, когда поднимаются такие вопросы: как человек печатается, кого больше печатают, кого меньше, почему меня не печатают и т.д.

Если человек думает, почему мне не пишется, — вот это существенный писательский вопрос, а если мы начинаем думать, почему не печатают, то можно отойти от всякого творчества.

Теперь по поводу Агентства. Мне кажется, в этом письме действительно есть элемент сатирического хулиганства. Но если рассматривать это всерьез, то создание Агентства является громадным шагом вперед в труднейшем деле общения нашей страны, социалистического мира со всем человечеством. Это наладить очень трудно, есть мир социалистический, капиталистический, есть третьи страны. При этом нам надо выжить, нам надо победить, и при этом нам надо общаться. Мы должны вести нашу борьбу новыми, более гибкими мерами.

Создание Агентства — это громадный шаг к общению с миром, последствия его трудно предсказать. Это глубоко прогрессивный шаг, и партия и правительство пошли на это очень дальновидно. Я не знаю, кого будут больше издавать, кого меньше, — какая чепуха. Важен сам факт, что создана организация, которая будет общаться со всем миром. Войнович упомянул Галлимара — это почтенное издательство, которое печатает и прогрессивных писателей, и даже коммунистов.

Теперь о Панкине. Панкин уже несколько лет член нашего Союза. Это необычайно светлый человек. Я учился с ним на одном курсе, знаю его со студенческих лет. Потом я его знал много лет как редактора «Комсомольской правды». Это одна из самых интересных наших газет, одна из самых смелых в хорошем смысле слова. И это обращение к Панкину — просто неуважение к замечательному, прекрасному человеку.

У нас работает В.Н. Ильин. Его должность адекватна в рамках нашей организации должности Ю.Н. Верченко. Я знаю, что этот человек высокой, рыцарской чести, он грудью бросается добывать людям больницу, деньги. В этом проходит его деятельность.

В суде есть такое понятие — презумпция невиновности, но это и моральная категория. Я верю в искренность Володи и верю, что он просто запутался, заобиделся, переобиделся. Можно обидеться на издателя, но нельзя переносить свою обиду на Родину, а так объективно получилось. Это выступление против наших организаций.

Г.Г. РАДОВ: Давайте уточним факты. Письмо написано в октябре 1973 г. У Войновича вышли сразу две книги. У меня за пять лет вышла одна книга. Так что нечего говорить, что он обиделся. Вы ищите другие доводы.

С.С. ЛЕСНЕВСКИЙ: Я лично хочу исходить из того, что человек искренен, но объективно это письмо против нашей жизни, против партии, а ни нашей жизни, ни нашей Родины нет без партии.

Мы знаем судьбы писателей. Знаем судьбу Ахматовой, которая не была членом партии и марксистом, но в 1946 г., когда к ней пришли иностранные корреспон-

денты после того, как ей было очень тяжело, она выгнала их. Она рассказала мне, как была в Италии и в какую там пришли ярость, что она не просит политического убежища.

Знаем трагическую судьбу другого писателя, который всеми силами стремился пробиться к Родине, к пониманию. И сейчас, когда читаешь вышедшую книгу о мученической судьбе ряда людей, это ценишь.

(Г.Г. РАДОВ: О ком вы говорите?)

Я говорю о Мандельштаме. Он попал в тяжелейшее испытание.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Колючая проволока помешала ему пробиться!)

Я призываю Володю подумать о том, что, объективно говоря, его выступление — это выступление против партии, против народа, что вовлекается он в очень мутную, грязную волну людей, которые вообще готовы тебя за пятак продать. Я прошу тебя обо всем этом подумать.

Г.С. БЕРЕЗКО: Должен сказать, что, когда я прочитал ваше письмо, стало мне очень огорчительно, тяжело. Вы написали ужасное письмо. Мне даже не совсем понятно, как вы могли так написать. Вы назвали это письмо гротеском.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я сказал, что оно похоже на гротеск.

Г.С. БЕРЕЗКО: Это больше похоже на литературное хулиганство. С большим душевным огорчением мы относимся к этому письму.

В молодости я долго жил в коммунальной квартире и запомнил одного «шалуна», который забавлялся тем, что, когда на кухне никого не было, бросал мусор и окурки в чужой суп, а потом ходил по квартире с горделивым видом. Ваше письмо напомнило мне этого «шалуна» из коммунальной квартиры. Это ужасное письмо! Вы приводите там сравнения с Бутырской тюрьмой, говорите об уголовной ответственности. В каком страшном духовном мраке вам это привиделось?

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Этого нет в письме. Там намекается на уголовную ответственность. В интервью Панкина говорится, что автора ждут известные последствия...

Г.Г. БРОВМАН: Слова «уголовный» там нет.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: А какое?

Г.С. БЕРЕЗКО: Я вспоминаю, как мы на секретариате в свое время обсуждали ваш очень плохой роман «Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина»...

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я тогда с вами не согласился.

Г.С. БЕРЕЗКО: Я прекрасно помню все, что мы говорили. И у меня лично создалось такое впечатление, благоприятное для вас впечатление, что вы хотя бы задумались над тем, что вы сотворили. А сотворили вы сатиру, но сатиру на народ. Такой сатиры я не понимаю.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: А Салтыков-Щедрин?

Г.Г. РАДОВ: Он не на народ писал.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: А город Глупов?

Г.Г. РАДОВ: Это о самодержавии, чиновниках.

Г.С. БЕРЕЗКО: Во-первых, не на народ писал, во-вторых, Войнович, помните, что времена были другие.

Я согласен с Лесневским, что создание агентства ВААП — это прогрессивная мера, принятая и в интересах писателей, и в интересах советской власти. И как это можно было не понять — это поразительно!

Здесь все правильно говорилось. Зачем этот ернический, издевательский тон по отношению к людям, писателям, честно работающим, интересно работающим? Вам могут не нравиться книги, но вы имеете возможность выступить со своей точкой зрения.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Где?

Г.С. БЕРЕЗКО: Хотя бы на перевыборном собрании секции прозы.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вы так же соберетесь и исключите меня из Союза, если я выступлю.

Г.С. БЕРЕЗКО: Что вы говорите?

Я начал говорить о чтении вашего романа, плохого, дурного романа, и у меня создалось такое впечатление, что вы о чем-то задумались. Оказывается — нет. Оказывается, все это прошло мимо, не задело вас ничем, не изменило вашего отношения, вашей большой обиды на Союз, на всех нас.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Она стала еще больше.)

И вы пришли к нам после этого ужасающе, необычайно воинственно настроенным. Вы напомнили мне того шалуна в коммунальной квартире, который сыпал пепел в чужие супы и был глубоко удовлетворен. Так и вы. Я вспомнил этого шалуна не случайно, я вспомнил его, послушав вас. И это очень грустно, и оскорбительно то, что вы себя считаете единственным болельщиком за советскую литературу.

Уверяю вас, советская литература не нуждается в вашем сочувствии, обойдется. Вы не обойдетесь без советской литературы, не обойдетесь без нас, без Родины. А Советский Союз как-нибудь обойдется.

Ю. КОРОЛЬКОВ: Сначала о расстановке сил.

Я немного больше знаю, в частности об НТС, чем знает Войнович. Дело в том, что с организацией НТС мне приходилось сталкиваться 20 лет назад, еще будучи в Германии, и даже еще раньше — во время войны.

Я являюсь членом Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, получаю газету «За Родину», которая очень много говорит об НТС и рассказывает, что из себя представляют эти люди. Я не буду повторяться, но это наши враги, и враги без кавычек. Это предатели и не только власовцы, но и старая эмиграция. После войны это шпики, гестаповцы, полицаи. Мне доводилось бывать в лагерях перемещенных лиц. Матерые полицаи являются заправилами в НТС.

Мне пришлось работать над книгой о Мусе Джалиле, и я нашел документ о том, кто предал подпольную молодежную организацию. Он сам пишет — по заданию НТС и германской разведки — абвера, я вошел в организацию, раскрыл и т.д.

Это провокаторы, шпики, полицаи, палачи — с кем вы начинаете солидаризироваться?

Вы поймите меня правильно, я не хочу вам зла. Задумайтесь только над тем, с кем и как вы солидаризируетесь.

Когда я прочел ваше письмо, я сразу подумал: а зачем оно написано?

Вот подписали конвенцию, ограничение в выступ-

лениях. Ведь мы не все можем напечатать, антисоветчину мы не будем поддерживать. Раз и навсегда запомните — идет борьба двух лагерей.

Не идет ли это от желания написать и попытаться как-то помочь Солженицыну, чтобы он свободно выступал?

Если с этой точки зрения подойти к вашему выступлению, я бы очень хотел, чтобы вы подумали и, может быть, что-то решили. Я хочу считать, что вы честный человек, а в вашем письме и вашем выступлении сегодня есть элемент провокации — вызвать скандалчик и вокруг этого дела пошуметь. Так нельзя.

Г. БРОВМАН: Я хочу поддержать высказанную мысль о нашем «доме». Многим присутствующим здесь и тем, кто сейчас говорит, было трудно. Были обстоятельства сложные, были обстоятельства критические, приводившие к тому, что детей нечем было кормить. Но никому из советских людей, оказавшихся в таком положении — позвольте мне это вам заявить, — кроме отдельных отщепенцев, не пришло в голову искать защиту в той среде, которую обрисовал Ю. Корольков.

Есть неправильные действия, есть бюрократ-издатель, есть плохой рецензент, недоброжелательный, бездарный и ограниченный человек, — надо искать на них упору в нашем «доме», в партийной организации. Можно обратиться в органы народного контроля, в Секретариат Союза, в Районный комитет и даже Центральный комитет партии — это не возбраняется никому. Но писать надо, желая остаться в собственном доме и разобраться в делах собственными усилиями с помощью товарищей. Писать надо так, чтобы можно было напечатать в советской газете.

Два слова о нашем председателе. Г. Радов отнес в «Литературную газету» статью, которая вызвала большое движение умов, по поводу безответственности, которая задела министров и даже членов правительства. Он сделал большое дело. Но каким был бы Радов, если бы он понес эту статью, предварительно размножив ее и показав «товарищам» в кавычках. А почему они товарищи Владимиру Николаевичу? Потому что он печатается

у них. Там, где печатают автора, его считают товарищем. Если он печатается в НТС, его воспринимают как коллегу.

Можно и нужно критиковать наши недостатки. Я не хотел бы, чтобы наше обсуждение поведения Владимира Николаевича было воспринято так, что мы, писатели, чуждаемся критики. Но здесь не критика, а идейная борьба, особенно острая в наши дни. На фоне шумихи с «Архипелагом ГУЛАГ» все это выглядит ужасно. Именно на фоне этой шумихи вы выглядите как жалкий подпевала, убогий человек, простите меня за эти слова! Вы не идете вровень с крупными, большими антисоветчиками, сидящими в тылу, а действуете из подворотни, как тот человек на коммунальной кухне.

Вы презираете нас — мы разные литераторы. Вы пишете, что Маркова не будут печатать и издавать. Если Маркова не будут печатать НТС и «Грани», это правильно. У нас большая литература. Вы недооцениваете наши таланты. И вдруг вы высказываете как Моська...

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: Вас недооцениваю!)

Я критиковал вас, но критиковал вас с расположением, с уважением. Я ценил вас за ваши правдивые повести — повесть о колхозе, повесть о жилищно-строительном кооперативе. Там был материал для критики. Вы были правы, критикуя многие явления современной жизни на страницах наших журналов и газет. Это была товарищеская литературная работа, формирующая советское искусство. А сегодня — другое дело. Вы стали нашим врагом.

Я считаю прозвучавшее здесь предложение об исключении В.Н. Войновича из членов Союза абсолютно правильным. Для меня, для литератора уже не молодого, прошедшего войну, много видевшего, бесспорно, что сегодня мы имеем дело с нашим противником и в одном Союзе с ним нам быть не к лицу.

И.Р. ГУРО: Я не знаю В. Войновича, не знаю его творчества. Волей-неволей поэтому я составила свое мнение по его выступлениям и по тому, что, имея уши, я слышала. Несколько фактов повлияли на мое мнение о нем и безусловно повлияют на то решение, которое я

внутренне принимаю в отношении Войновича как члена Союза.

Я не верю в астральные, потусторонние силы и не верю, что каким-то неземным путем этот документ мог оказаться в грязной газетенке наших врагов. Этот документ был передан таким образом, чтобы найти адресата, и адресат был найден. Это — первое.

Второе. Очень большой политический вес имеет любое заявление писателя, обнародованное в нашей прессе. Поэтому, когда мы прочли письмо Войновича о том, что он считает гнусным поступком печатание помимо его желания его произведения, мы восприняли это как искреннее заявление. Как же можно было иначе это воспринять?! Но я слышала своими ушами, что это письмо было вызвано соображениями материальной выгоды, облегчения своего положения и т.д.

(В.Н. ВОЙНОВИЧ: И желанием сохранить добрые отношения с Союзом писателей.)

Следовательно, заявление двурушническое, заявление обманное. Как мы можем иначе расценить его? Не могу поверить, что кто-то из наших товарищей умолял Войновича: «помоги нам». Мы не нуждаемся в нем. Прежде всего он сам этим себе помогает.

Здесь было произнесено слово «провокация». Я человек немолодой, имею жизненный опыт и могу оценить атмосферу. И вот этот плохой, дрянной запах провокации меня сопровождает все время. Мы его слышим в этих репликах Войновича. Я считаю, что Войнович сам себя поставил вне рядов советских писателей.

В. АМЛИНСКИЙ: Я знаю творчество Войновича. Я относился к его творчеству и таланту с уважением. Когда я прочитал это письмо, я, честно говоря, был поражен. Мне казалось, что это непохоже на него. Я не знал истории с повестью о приключениях солдата Чонкина. Я считал, что непохож на него тон этого письма: ернический, развязный, странно грубый тон.

Когда речь идет о судьбе писателя, который написал интересную книгу, выразил себя, то не так просто бросаться этой судьбой, и мы все это понимаем. И в ряде выступлений, например у Лесневского, проступала ка-

кая-то боль за Войновича. Я не думаю, что он человек, который сознательно рассчитывал на провокационность, но объективно так получилось. Тем людям, которые такие вещи печатают, нет дела ни до Войновича, ни до его прозы, ни до литературы вообще. Им нет до него дела — они хотят делать свой политический бизнес на этом, и это далеко от литературы.

Он в данном случае объективно сработал на них.

Меня удивили также в этом письме какие-то оскорбительные выпады против Бориса Панкина — человека серьезного, объективно делающего свое дело, и против Ю.Н. Верченко, который много доброго делает людям. Он не чиновник-бюрократ, насколько я его знаю.

Мне кажется, если бы Войнович нашел в себе силы, мужество, желание решительным образом отмежеваться от своей позиции, от этого письма, это было бы каким-то выходом. Есть ведь еще Секретариат. Войнович должен очень тщательно, по-человечески продумать всю создавшуюся ситуацию. Не хочется говорить грубости в его адрес. Тут есть люди, которые его знают, читают, и нас это письмо страшно огорчило. Я даже думаю, что это не он писал, на него непохоже. Вообще все это очень тяжело и грустно. Я не хочу говорить каких-то проработоческих фраз. Речь идет о художнике, о его судьбе. Но это действительно совершенно недопустимо и невозможно. Ведь антисоветчикам, которые использовали его произведение, нет дела ни до какого дарования. Может быть, он найдет в себе силы и мужество свою ложную позицию пересмотреть.

А. СТАРКОВ: Тут уже много было сказано. Все, что здесь происходит, я воспринимаю как личную неприятность.

Когда-то я читал письмо в «Литературную газету», читал роман о народовольцах, который прекрасно называется «Степень доверия». Применил ли к себе Войнович это прекрасное название, подумал ли он о той степени доверия, с какой отнеслись к нему читатели письма в «Литературную газету», те, кто издавал его книги?

Не хочется об этом говорить, но я никак не могу от решиться от мысли, которая всех тревожит, что это все-

таки какой-то маневр, какая-то конъюнктура, избрание какого-то момента для нанесения неприятности, удара — то, что в футболе называется финтом. Но почему избран ВААП?

Так получилось, что мой зять — молодой дипломат получил назначение в ВААП. Он пришел и с гордостью об этом сказал — вот мы теперь будем помогать издавать советскую литературу за рубежом.

И вот я никак не могу представить себе моего зятя в качестве надзирателя Бутырской тюрьмы. Мне кажется, эти слова не от головы, а от какого-то маневра.

Я очень хорошо относился к тому, что я читал («Чонкина» я не читал), о народовольцах хороший роман. Но теперь я уже ничему не верю, я запутался в ваших маневрах. Литератор вы хороший, а человек какой-то «финтующий».

Мы все очень переживаем. Очень печально, что мы вынуждены обсуждать не ваше творчество, не ваш роман, а ваш поступок, а еще более печально, что вы рассматриваете нас всех как надзирателей Бутырской тюрьмы. Это для меня очень оскорбительно и огорчительно.

Г.Г. РАДОВ: Высказалось уже много товарищей. Есть предложение заканчивать, тем более что позиция ясна. Разрешите мне сказать несколько слов.

Мне показали из нового сочинения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» то место, где он презрительно отзывается об Иване Бунине за то, что тот не принял гитлеровцев. Вы помните трагический эпизод, когда к голодному умирающему Бунину пришли гитлеровцы и предложили свою помощь, и Бунин с негодованием от нее отказался. То, что проделал Солженицын, — это крайняя степень падения: презирать Бунина, не принявшего помощь гитлеровцев!

Я хочу продолжить мысль Ю. Королькова. Понимает ли Войнович, что здесь сидят люди, прошедшие, независимо от дарования, большой жизненный путь. Они честно жили, были в рядах армии, не только выступали на литературном фронте, но и сражались на фронтах войны, в том числе в разведке. Эти люди вот здесь сидят. Они пришли с единым желанием разобраться,

потому что наше гражданское чувство глубоко уязвлено вашим тоном. Мы проявили максимум выдержки с единственной целью — помочь разобраться свихнувшемуся человеку, потому что человек живет на нашей земле, он моложе многих из нас. У меня, как председательствующего, было единственное желание — дать возможность человеку обдумать свои поступки, объяснить их. Речь идет не о раскаянии, но хотя бы дать нам понять, что он всерьез над этим задумался. Я этого не увидел.

Я тоже увидел в этом политический маневр. Когда Г. Бровман сказал, что В. Войнович выглядит жалким подпевалой в хоре гораздо более крупных и изошренных антисоветчиков, — это не оскорбление, это та роль, которую вы сыграли. Вольно или невольно, но вы поставили себя в жалкую, смешную, унижительную роль подпевалы. И кого же?!

Вот сегодня мне сказали, что редактор забраковал целиком мою книгу. Что же, у меня будет с ним спор. У меня бывали споры с противниками, с бюрократами. Это стоит много крови, но это нормально — это жизнь, это борьба в нашем собственном «доме» за его улучшение и очищение.

Теперь давайте взвесим — с кем вы рвете и к кому идете. Вы рвете с Панкиным, хорошим, доброжелательным человеком, который первым выступил в защиту Абрамова, оградил от неправильных нападок на Ч. Айтматова и его «Белый пароход» блестящей статьей в «Комсомольской правде».

Когда вы говорите о последствиях, которые вы вычитали, — мы же не дети, никакого намека нет. А вы говорите, что писатели материально ущемлены.

Мы приобрели огромный международный престиж благодаря этому агентству, получили возможность охватить труды прогрессивных литераторов Запада, которых будем у нас печатать. Мы идем в этих целях на большое расходование валюты. А вы оплевали этот шаг!

Вы отказываетесь от своих товарищей. Вы отказываетесь, в общем, от своей Родины. Вы выразили свое отношение к ней здесь, сейчас и выразили его в этом письме.

У меня возникло огромное недоумение: как можно

писать о Фигнер, честнейшей душе, и таить такое мрачное в себе. Это двурушничество. Во имя чего?

Мы имеем дело, мне кажется, с обдуманым, сознательным, политическим шагом. Создание ВААП здесь ни при чем. Просматриваются здесь совсем другие вещи. Атакуется партийное руководство литературы, политическая направленность литературы, защищающей коммунизм, имеющей только в таком качестве право на жизнь, а не в других качествах, как хотелось бы автору. Потому что он говорит о сочинениях, направленных против советской власти. Это заявление явно активное политическое заявление. Мы не дети, не наивные дети. Если я не хочу, чтобы мое произведение было опубликовано, я приму меры. Я не верю в невидимку, который шагает с письмом в «Грани».

И вот, исходя из того, что Войнович не внял двукратному предупреждению секретариата, исходя из того, что здесь говорили, что он достоин исключения из Союза. Я присоединяюсь к тому, что говорили товарищи.

Теперь я обращаюсь к вам — к вам отнеслись с высшей терпимостью, не трогая вашего человеческого достоинства. Постарайтесь выступить обдуманно, серьезно, постарайтесь говорить взвешенно.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Я еще раз подчеркиваю, что я не увиливаю от своей ответственности за это письмо. И хотя его не передавал в «Посев», но что оно могло попасть и попадет туда — я не сомневался. Я его никаким корреспондентам не передавал.

Теперь то, что я писал. Я писал о колхозе, о целине, писал о Фигнер, писал о приключениях Чонкина, писал это письмо. Это писал один и тот же человек. Он не двурушничал. Этот человек писал, мне кажется, одно и то же, в какой-то степени развивался. Вам кажется, что я развивался не туда. Мне так не кажется.

Здесь говорили много слов. Говорили, что я подписал, что я антисоветчик, чуть ли не служу в НТС. Это у нас практика (сказали, что Каплан стреляла в Ленина и что Чуковская могла бы стрелять в Ленина, потому что она как Фанни Каплан) — такое передергивание. В нашей литературе много недостатков. И вам, вместо того

чтобы обсуждать меня, надо бы всерьез поговорить об этом, обратиться к высшим советским органам, к высшим партийным органам и сказать, что так нельзя.

Много говорили о Солженицыне. Многие из здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно в один голос говорили другие слова, когда обсуждали здесь, в Союзе писателей, роман его «Раковый корпус». Солженицыну создали все условия для того, чтобы сделать его не советским писателем. Солженицын пытался сотрудничать. Он все время взывал к разуму, говорил — не это, так то.

Сейчас говорят об «Архипелаге ГУЛАГ». Я отвечаю на вопрос Падерина — я «Архипелага ГУЛАГ» не читал, но я верю Солженицыну. Я верю, что это писатель честный, мужественный, не верю, что он власовец. Я знаю, что он боевой офицер, гражданин, патриот своей Родины. И за все, что вы говорите, — постыдитесь, побойтесь бога.

Г.Г. РАДОВ: У меня имеется проект постановления. Разрешите его зачитать. (Читает проект постановления.) Есть замечания по проекту?

Л.Н. ФОМЕНКО: Это писалось заранее, после всех разговоров и переговоров, а сегодня выявился целый ряд вещей, в частности последнее слово Войновича. Я считаю, что это должно быть учтено в постановлении.

Г. БРОВМАН: А также его поведение на собрании.

Г.Г. РАДОВ: Есть предложение добавить: несмотря на старания членов Бюро убедить Войновича в несовместимости его поведения с пребыванием в Союзе, Войнович упорно отстаивал свою точку зрения, высказанную в письме, чем подтвердил верность своим убеждениям.

Мы это сформулируем, но смысл такой. Нет возражений? (Нет.)

Есть добавления? (Нет.)

Я голосую — кто за этот проект постановления с добавлением? Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно.

В.Н. ВОЙНОВИЧ: Голосуют только члены Бюро или все присутствующие?

Г.Г. РАДОВ: Члены Бюро, и у нас здесь есть члены Правления, они тоже голосуют.

Г.Ф. СТРЕХНИН: В порядке справки Войновичу: у нас присутствуют 9 членов Бюро. Из 9 никто не голосовал против. И 6 членов Правления.

Г.Г. РАДОВ: На этом разрешите закончить обсуждение.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Бюро и Партбюро Творческого
объединения прозаиков

от 31 января 1974 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Г. Радов, Ф. Колунцев, В. Амлинский, Л. Фоменко, Г. Березко, В. Ковалевский, В. Красильщиков, А. Старков, М. Колосов, Т. Фомина, Г. Бровман, И. Гуро, М. Колесников, С. Лесневский, А. Воинов, И. Арсентьев, А. Медников, Ю. Стрехнин, А. Смирнова, И. Осипов, И. Падерин, Ю. Корольков, В. Войнович, Н. Медведева.

Председатель: Г. РАДОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Персональное дело члена Союза писателей СССР В.Н. ВОЙНОВИЧА.

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Персональное дело В.Н. ВОЙНОВИЧА.

В обсуждении приняли участие: Г. Радов, В. Красильщиков, И. Падерин, А. Воинов, Л. Фоменко, С. Лесневский, Г. Березко, Ю. Корольков, Г. Бровман, И. Гуро, В. Амлинский, А. Старков, В. Войнович.

Г. РАДОВ зачитывает проект решения Бюро:

Бюро Творческого объединения прозаиков, рассмотрев вопрос об «открытом письме» В.Н. Войновича и выслушав его объяснения, отмечает следующее:

1. Фактом написания «Открытого письма» и опубликования его в антисоветском журнале «Посев» (11, 1973 г.)

В.Н. Войнович сознательно берет под защиту Солженицына, Максимова и других литераторов, отдавших свое перо на службу зарубежной антисоветской пропаганде. «Открытое письмо» В.Н. Войновича, написанное в издательском тоне, явно направлено на дискредитацию нашего общественного строя, оно используется антисоветчиками как их политическое оружие.

2. Написав и распространив «Открытое письмо», В.Н. Войнович продолжает ту свою политическую линию, за которую он в свое время, вследствие написания им клеветнического, антинародного произведения «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», опубликованного затем в зарубежной антисоветской печати, решением Секретариата от 15 июля 1970 г. и от 29 декабря 1970 г. был предупрежден, что он заслуживает исключения из Союза, но ввиду того, что он опубликовал в «Литературной газете» свое заявление с протестом против использования его произведения в антисоветской печати, получил только строгий выговор с занесением в личное дело (до этого В.Н. Войнович имел выговор с занесением в личное дело за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков — Постановление Секретариата МО СП РСФСР от 20 мая 1967 г.).

Бюро считает, что В. Войнович, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны писательской организации, не осознал несовместимости таких своих поступков, как написание «Открытого письма», с обязанностями члена Союза писателей СССР. Бюро расценивает это письмо как сознательную политическую акцию со стороны В. Войновича, определяющую его политическое лицо; акцию, которая ставит под сомнение возможность его пребывания в СП. Дав использовать свое перо антисоветским силам, В. Войнович тем самым сознательно нарушил положение Устава СП СССР, обязывающее писателей «всею своей творческой и общественной деятельностью активно участвовать в строительстве коммунизма».

Бюро считает, что В.Н. Войнович, написав и опубликовав «Открытое письмо», совершил действия, не совместимые со званием советского писателя.

На все попытки членом бюро Творческого объедине-

ния прозаиков, которые проявили максимум терпения и настойчивости, чтобы разъяснить В.Н. Войновичу его антиобщественное и антисоветское поведение, убедить его в необходимости признать и исправить свои ошибки, В.Н. Войнович заявил, что он не считает своих действий ошибочными и, совершая их, заранее знал, что они не совместимы с пребыванием в Союзе писателей СССР. На заседании вел себя вызывающе. Исходя из этого, а также из того, что В.Н. Войнович имеет упомянутые выше выговор с занесением в личное дело и строгий выговор с занесением в личное дело за свои политические выступления, наносящие ущерб советскому обществу, бюро считает невозможным дальнейшее пребывание В.Н. Войновича в рядах Союза писателей и просит Секретариат принять решение об исключении Войновича В.Н. из Союза писателей СССР.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проект решения Бюро Творческого объединения прозаиков (единогласие) и просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР принять решение об исключении В.Н. ВОЙНОВИЧА из рядов Союза писателей СССР. (Стенограмма обсуждения прилагается.)

1. **СЛУШАЛИ:** Заявление члена Союза писателей СССР Н.А. РАВИЧА с просьбой об оказании материальной помощи в размере 200 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР ходатайствовать перед Литфондом СССР об оказании члену Союза писателей СССР РАВИЧУ Н.А. материальной помощи в размере 200 рублей (без сокращения этой суммы), вследствие болезни, не позволяющей ему закончить работу над книгой, и учитывая то обстоятельство, что с подобной просьбой Н.А. РАВИЧ в Литфонд СССР никогда не обращался.

2. **СЛУШАЛИ:** Заявление члена Союза писателей СССР М.И. БАРЫШЕВА о предоставлении ему творческой командировки в г. Мурманск и Мурманскую область.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР предоставить М.И. БАРЫШЕВУ творческую командировку в г. Мурманск и Мурманскую область сроком на 20 дней для сбора материалов к новой книге о трудовых буднях северян и знаменательных свершениях, которые происходят в Заполярье.

3. **СЛУШАЛИ:** Заявление члена Союза писателей СССР А.С. ИВАНЧЕНКО о предоставлении ему творческой командировки в гг. Ташкент и Ашхабад.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР предоставить А.С. ИВАНЧЕНКО творческую командировку в гг. Ташкент и Ашхабад сроком на 30 дней в марте с.г. для сбора материалов к новой повести о становлении советской власти в Туркестане.

4. **СЛУШАЛИ:** Заявление члена Союза писателей СССР Е.О. БЕЛЯНКИНА о предоставлении ему творческой командировки в г. Батуми в апреле месяце с.г.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Секретариат Правления московской писательской организации предоставить Е.О. БЕЛЯНКИНУ творческую командировку в г. Батуми в апреле с.г. для сбора материалов к новой книге о пограничниках.

*Зам. председателя Бюро Г. РАДОВ
Ответственный секретарь Н. МЕДВЕДЕВА*

Секретариат был назначен на 20 февраля. Но за несколько дней до него я заболел воспалением легких. 20-го утром мне позвонил Ильин: «Я хотел бы, чтобы вы пришли до секретариата, нужно поговорить. Мы помним, что вы хороший писатель, мы не хотим с вами расставаться, никто не желает вашей крови, приходите, пожалуйста, я вас очень прошу».

Это были новые ноты, раньше он разговаривал со мной не так.

Я сказал: «До заседания нам встретиться не удастся,

потому что я к вам не приду. У меня две причины. Первая — неуважительная — я болен...»

«Очень хорошо, — радостно прервал Ильин, — в таком случае я отменяю заседание».

«Не нужно отменять, — сказал я. — Я, когда выздоровею, тоже не приду. У меня есть еще одна причина, уважительная: нам не о чем говорить».

Ильин продолжал меня уговаривать. Я должен прийти. Со мной поговорят, исключать не будут. В крайнем случае объявят еще один выговор.

Я спросил, какой же выговор, когда у меня уже два строгих, причем второй с последним предупреждением.

«Пусть вас это не волнует, это процедурный вопрос, мы с ним как-нибудь справимся».

«Меня ваши процедуры больше не интересуют, — сказал я. — Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор».

«Вот очень хорошо, — сказал Ильин. — Приходите. Вы нас покритикуете, мы вас покритикуем».

Я еще раз сказал, что не приду, а свою критику сегодня же пришлю в письменном виде.

К началу заседания моя жена отвезла в секретариат следующее письмо:

В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСР

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении. Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга — вы же сами не знаете, что пишет сидящий рядом с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно доподлинно, что они ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес и поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники отечества и патриоты! Не слишком ли дорого обходится отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлеборобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы — союз единомышленников... Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку... За двенадцать лет своего пребывания в Союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести-триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогали, а он...» Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас, я сам был рабочим. Одиннадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаете-

теть! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду.

В. ВОЙНОВИЧ

19 февраля 1974 г., Москва

В тот день жизнь моя круто переменилась. Я физически почувствовал, что теперь я свободен. Меня можно убить, раздавить, но душа моя уже вырвалась из их когтей и им неподвластна больше.

В два часа ночи меня разбудил звонок московского корреспондента агентства Рейтер. Ему только что звонили из Лондона и просили проверить сообщение, правда ли, что я арестован. Я сказал, что, может быть, я арестован, но мне об этом пока еще ничего не известно. Повернулся на другой бок и спокойно заснул. И, кстати сказать, после этого быстро выздоровел.

А пока я выздоравливал и приходил в себя, товарищи работали.

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СП РСФСР

20 февраля 1974 года

1. Персональное дело В.Н. Войновича

Г. Г. Радов

В.П. Тельпугов

М.Н. Алексеев

А.Е. Рекемчук

А.М. Медников

А.А. Самсония

Н.В. Томан

А.А. Михайлов

В.Л. Разумневич

Ю.Ф. Стрехнин

2. Прием в члены Союза

- 1) Горенштейна Ф.Н.
- 2) Камянова В.И.
- 3) Копыловой Л.В.
- 4) Кузнецова А.А.
- 5) Леоновича В.Н.
- 6) Прудникова М.С.

3. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии

Председательствует Ю.Ф. Стрехнин

Ю.Ф. Стрехнин: Товарищи! Сегодня у нас в повестке дня предлагается следующее:

1. Персональное дело Войновича. Докладывает т. Радов.

2. Прием в члены Союза писателей. Докладывает т. Михайлов.

3. Отчет о проделанной работе Бюро творческого объединения прозы за 1973 год и об основных мероприятиях, намечаемых на 1974 год. Докладывает т. Амлинский.

4. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии. Докладывает т. Ильин.

5. Разное. Докладывает т. Ильин.

Поступило предложение — ввиду серьезности вопроса о проведении конференции поставить его первым после приема в Союз. Возражений нет? По первому вопросу должен сообщить следующее.

Войнович В.Н. был приглашен на заседание Секретариата заблаговременно письменно и устно, но сообщил письмом, что он болен, но что, если бы даже и был здоров, он все равно на заседание Секретариата не намерен являться, просит решать вопрос без него, так как считает, что в Союзе ему находиться незачем.

Это письмо будет прочитано в порядке обсуждения вопроса.

Я думаю, что все-таки в порядке хронологии сначала

мы заслушаем т. Радова, который доложит о том, как рассматривалось это дело на Бюро творческого объединения прозаиков, затем В.Н. Ильин прочитает нам письмо Войновича, после чего мы приступим к обсуждению.

Пожалуйста, Георгий Георгиевич.

Г.Г. РАДОВ: Бюро творческого объединения прозаиков совместно с активом, точнее с членами Правления Московской писательской организации, рассмотрело поступки члена Союза В.Н. Войновича.

Перед нами был документ, напечатанный в 11-м номере антисоветского журнальчика «Посев», — письмо Войновича председателю Всесоюзного агентства авторских прав Панкину, письмо, которое было нами расценено, мягко говоря, как политическое хулиганство, а если говорить серьезнее — явная антисоветская выходка, направленная, естественно, не против этого агентства, не против Панкина, а против всей советской литературы. Это письмо клеветническое.

Мы имели в виду, рассматривая это заявление, и предыдущие поступки Войновича. Во-первых, тот факт, что он в 1967 году имел выговор за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков, а в 1970 году состоялось два решения Секретариата в связи с опубликованием за границей его произведения, которое называлось «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Как вам известно, это произведение рассматривалось по существу его и было признано антинародным и клеветническим. Было сказано в Секретариате, что за это он заслуживает исключения из Союза писателей.

В связи с тем, что Войнович В.Н. выступил в «Литературной газете» с письмом, в котором отказывался от причастности к факту публикации его за границей, он получил только выговор. Но мы обратили внимание на то, что Войнович в этом письме в «Литературную газету» никакого отношения к самому роману своему не высказал, не осудил, не дал оценки. В «Литературной газете» он только протестовал против того факта, что его незавершенное произведение публикуется за границей.

Несмотря на это, удовлетворившись только полумерой, Секретариат снизошел к Войновичу и оставил его в

рядах Союза писателей. После этого роман появился в журнале «Посев».

На Бюро отделения, несмотря на очевидность проступка Войновича, несмотря на то что этот проступок не имеет ничего общего с пребыванием в Союзе, со всем терпением, которым располагали, мы давали Войновичу возможность высказать свое отношение к этому факту, оценить, взывали к его благоразумию, говорили, что он зарвался, недостаточно ясно представляет себе положение, в котором он очутился, недостаточно ясно представляет себе, с кем он рвет и к кому присоединяется... Тем не менее Войнович вел себя непримиримо, никакие увещевания товарищей, членов Бюро на него не действовали, он отстаивал свои позиции, несколько раз пытался выступить с провокационными выступлениями, провоцируя нас на скандал. Мы этого не позволили.

После этого обсуждения, в котором активно участвовали члены Бюро, которые единодушно осудили позицию Войновича, мы дали ему последнее слово, в котором он сказал следующее: что много говорили о Солженицыне, многие из здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно говорили иначе, когда обсуждали его первые произведения, Солженицыну создали все условия для того, чтобы сделать его несоветским писателем, Солженицын пытался сотрудничать, взывал к разуму и совести, сейчас говорят об «Архипелаге ГУЛАГ», я отвечаю: я не читал этого романа, но верю Солженицыну, верю, что это писатель честный, патриотичный, смелый, я знаю, что он боевой офицер, заслуженный человек, и за все, что вы здесь говорите, — постыдитесь, побойтесь Бога... — вот заключительное слово Войновича, свидетельствующее, что он ничего не осознал, действовал обдуманно, хотя сначала он говорил, что не собирался печатать это открытое письмо за границей. Мы спрашивали, давал ли он это письмо в нашу печать, он отвечал, что, конечно, это письмо не могло быть там напечатано.

Вопрос совершенно ясен. Никакие наши попытки склонить его к тому, чтобы он серьезно обдумал свое положение, не привели ни к чему. Он был непримиримым и, в сущности, определил сам вопрос о пребывании

своим в Союзе писателей. Поэтому было единодушно решение Бюро творческого объединения. Бюро творческого объединения просит исключить Войновича в связи с несовместимостью пребывания его в Союзе писателей.

В. Ильин зачитывает письмо Войновича.

Ю.Ф. СТРЕХНИН: Будут вопросы к докладчикам?

Г.Г. РАДОВ: Должен дать одну справку. Несмотря на его поведение в 1967—1970 годах, после выступления в «Литературной газете» стараниями Союза писателей ему было устроено переиздание его повестей. В прошлом году вышли его две книги: одна новая и одно переиздание.

Так что жаловаться на материальный зажим он не имеет права.

В.П. ТЕЛЬПУГОВ: Когда обсуждалось в тот раз дело Войновича, моя позиция была такой. Он тогда присутствовал, и я ему прямо сказал: «Для меня лично не имеет никакого значения, напечатано ваше сочинение в «Гранях» или в «Посеве» или не напечатано, передавали вы его или они сами его разыскали, — для меня существенным и самым главным является факт, что из-под пера советского писателя вышло антисоветское сочинение. Вот это для меня важно. А где оно после этого было напечатано — по воле автора или без его какого бы то ни было участия — это вопрос второй, если не десятый...

Я читал повесть «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина»¹ и говорил об этом конкретно и со знанием дела.

Что это за повесть? Это повесть о Советской армии, в которой армия оболгана снизу доверху и сверху донизу. Все командиры — идиоты, кретины, тупицы, и такие же их подчиненные. Это проходит через всю эту повесть — единственный мотив, самый главный и единственный.

Есть один положительный персонаж — это дворцовая собачка, в которой что-то человеческое иногда вдруг проявляется.

Вот такое это сочинение.

¹ Оратор пугает название повести, равно как и все остальное. (Прим. ред.)

Тогда Войнович все-таки упорствовал в своей позиции, защищаясь, говоря: «Я это не передал зарубежным издателям, и если это было напечатано, то без моей санкции», — и даже тогда такого рода письмо появилось в нашей литературной печати.

Я считаю, что мы были в тот раз слишком мягкосердечны и недостаточно последовательны.

Я выступаю с тем, чтобы еще раз подтвердить свою позицию по отношению к Войновичу. Он, будучи членом Союза писателей, поступил не как советский писатель, не как советский гражданин, идейно нам с ним не по дороге. Он для меня уже с того момента перестал быть членом Союза писателей.

Что изменилось за время, которое прошло с тех пор? Никаких улучшений в его позициях я не вижу, наоборот — он становится еще более ожесточенным, непримиримым, нахальным противником всего того, что мы будем считать всегда достойным в нашей советской жизни и литературе.

Я считаю, что Войнович поставил себя сам вне рядов Союза советских писателей.

М.Н. АЛЕКСЕЕВ: Настолько все ясно, что распространяться особенно нет необходимости и желания. В высшей степени наивно было бы предполагать, что Солженицын в течение многих лет действовал в некоем вакууме, у него была благоприятная духовная питательная среда, ярчайшим представителем которой является Войнович. Трудно было и тогда рассчитывать после «Жизни и необыкновенных приключений солдата Ивана Чонкина», который он написал, что он пересмотрит что-то в своих взглядах: уж больно была гнусна та штука. А теперь... ну что же.

Я не хочу быть предсказателем, но в течение нескольких лет нам, очевидно, придется иметь дело с такими явлениями. Эта среда будет давать себя знать, к этому нужно быть готовыми, мужественными и стойкими перед лицом таких совершенно наглых, распоясавшихся так называемых членов Союза советских писателей.

Вы посмотрите: в каждом его сочинении, я имею в виду заявления, сколько самомнения, это пишет прямо Лев Толстой, убежденный в своем величии, непоколе-

бимый, а все вокруг него, кто стоит на позициях советской власти, — пигмеи, а он — гигант. Если бы было время и место заглянуть в собственное его творчество, то там гигантом-то и не пахнет, это гипертрофированное мнение о себе самом у него налицо. Тщеславие.

Мне кажется, очень спокойно мы должны исключить его из Союза писателей и раз и навсегда отделить его от нашей среды. Да! И сам он себя отделил самым убедительным образом.

А.Е. РЕКЕМЧУК: Я имел возможность ознакомиться с протоколом стенограммы Бюро прозаиков и хочу на нашем секретариате отметить очень зрелый партийный уровень разговора, который Бюро прозаиков провели с Войновичем. Несмотря на все хулиганские заявления, которые он позволил себе на Бюро, товарищи не вышли из рамок присущей писателям корректности, дали должную оценку его поведению и его поступкам и приняли верное решение, которое я считаю необходимым поддержать.

По существу вопроса. Вот эти потуги кучки людей, литераторов во главе с Солженицыным, поставить себя над советской литературой, — я уже не говорю о том, что Солженицын Горького объявил вне литературы в своем «Архипелаге ГУЛАГ», не больше и не меньше, Маяковского...

(М.Н. АЛЕКСЕЕВ: Горького, перед которым преклонялся весь просвещенный мир!)

И преклоняется.

Но эта позиция и Войновича и Максимова. Задает Радов на Бюро совершенно справедливый вопрос Войновичу по поводу письма к Панкину:

— Почему вас особенно беспокоит вопрос учреждения Всесоюзного агентства по охране авторских прав?

— Потому что за границей печатают Солженицына, Сахарова.

Ему говорят:

— За границей печатают Ленина, Шолохова — вот что дает статистика.

А у него уже такая позиция — Сахаров уже оказался писателем.

В своем заявлении, тоже хулиганском, которое сего-

дня нам зачитал Виктор Николаевич, он еще раз показал — хочу подчеркнуть — абсолютную нетерпимость этой маленькой кучки людей к советским писателям и к Союзу писателей. Это объединяет и то, что Максимов нам сказал на прощание, и это письмо.

Никаких колебаний по отношению к Войновичу, к людям, которые сейчас — прямо скажем — в довольно острый идеологический момент ринулись на нас, пользуясь теми же солженицынскими трудами, мы проявить не можем, и вышвырнуть надо Войновича из рядов Союза.

А насчет того, что мы его тогда не исключили, — это будет опытом для нас, для Секретариата. Мы Максимова, например, исключили — он с политическими заявлениями выступает после исключения. Войнович это делает перед исключением.

А.М. МЕДНИКОВ: Может показаться на первый взгляд, что у нас идут литературные споры, но я думаю, что литература тут давно кончилась и речь идет совсем о другом. Это политические споры, это самая острая, самая непримиримая политическая борьба. Послушайте, что писал Максимов, что писала Чуковская, -- ведь это атака не только на литературные принципы, на социалистический реализм, это атака на все, чем мы живы: на наш образ жизни, на нашу государственность и, главным образом, на руководство партией и литературой. Он даже в этом письме пишет: «Не стойте между нами» — то есть между ним и читателями. Уберите наши государственные институты, и тогда Войнович будет общаться с читателями...

И совершенно естественна вспышка антисоветских писаний наших диссидентов — этого зарубежного фронта, который смыкается с такими людьми. Это борьба не стилей, а борьба идеологий, самая откровенная, самая неприкрытая классовая борьба.

Войнович в этой обстановке, когда разоблачен Солженицын действительно как чудовищный власовец, опоздавший родиться белогвардеец, как сказал правильно о нем Сурков, враг революции, в нашей писательской среде имеет наглость заявить, что это величайший гражданин русской земли и т.д.

Все, что делают Войнович, Максимов, Чуковская, — это самые откровенные спекуляции, самая откровенная, самая жестокая идейная борьба. Причем я обратил внимание, очевидно, в силу своей специальности, что все они любят рядиться в тогу рабочего, представителя рабочего класса. Максимов говорил, что он тоже, хотя было известно, что он жулик, трижды менявший фамилию, уголовник и психопат, Войнович тоже, оказывается, представитель рабочего класса... Они пытаются представлять чуть ли не рабочий класс нашей страны, хотя фактически они представляют жалкую кучку людей с гипертрофированным самолюбием, кучку людей, которые настроились покинуть нашу Родину и смотрят на то, как они будут устраиваться на Западе, тем более что пример есть. Три года мы уже имеем опыт, и уже вырисовывается групповой портрет.

Я вспоминаю: в этой комнате сидел Галич, Максимов здесь махал руками и кричал, здесь была Чуковская. Интересно, что эта оголтелая злоба лишила их творческой индивидуальности: одни и те же приемы, одни и те же оскорбления. Когда люди теряют разум и пускаются по волнам ненависти, она стирает с них даже признаки художественной индивидуальности, если можно так сказать, они говорят одно и то же, одни и те же упреки, одни и те же мнимые обиды.

Михаил Николаевич (Алексеев) прав: очевидно, нам придется еще расхлебывать кашу, это не последний случай. Но относиться к этому нужно спокойно. Это есть проявление классовой идеологической борьбы, которая идет в мире.

Ясно, что нам нужно исключить Войновича из Союза, выгнать с позором из наших рядов.

А.А. САМСОНИЯ: Я тоже хочу вспомнить наше заседание в 1968 году, разделяя все положительные высказывания, это было действительно очень показательным для биографии — эти два Секретариата, в том числе сегодняшнее, мы сидели очень долго, и при всем том, что он написал эти дрянные, скверные и преступные для человека, который живет на этой земле, ест ее хлеб, заявления, было проявлено максимальное терпение, максимальная выдержка, и каждый из нас, и Виктор Петрович

(Тельпугов) в своем выступлении старался помочь человеку вылезти из этого, мы убеждали его, долго бились. Заседание тянулось долго, мы надеялись, что капля рационального добра в этом человеке сохранилась и мы не вправе, соблюдая советские гуманистические принципы отношения к людям, не правы будем, если ему не будет дано возможности исправиться. И он как будто внешне поддался...

Теперь — это делает еще более честной позицию Секретариата и еще более бесчестной позицию Войновича, потому что такое разнузданное его письмо, ничего не давшее, кроме того же зла в поведении за последние годы, — только подтверждает, что он действительно является врагом и человеком, который не может оставаться в составе нашего Союза писателей, в составе честных людей нашей страны.

Мы должны очень иронически относиться к этой группе людей. В прошлый раз я говорил, что это жалкая кучка людей, жалких маленьких людей, которые около громады света и тепла ничтожны. Их удел — это презрение. Их потуги на величественную позицию смешны и забавны.

Тут нужно очень спокойно и четко обсудить и решить.

Н.В. ТОМАН: Трудно добавить что-нибудь к тому, что было сказано, но мне вспоминается то заседание Секретариата, которое было шесть лет назад. Для меня это было совершенно ясно, что его надо исключить, потому что его ссылки на то, что напечатали его гнусную повесть в «Посеве» без его ведома, несостоятельны, потому что такую вещь можно было написать, только находясь в полном презрении ко всему, чем живет советский народ. Он только оклеветал Советскую армию, оклеветал колхозы. Один председатель колхоза, спивающийся и кончающий самоубийством, написал только одно слово: «Эх!» И агроном, представитель интеллигенции, его опыты, которые он проводит, — все это пропитано ненавистью и презрением. Это было трудно читать, это все зловонно.

Надо сказать, что эти люди умеют найти гнусные слова, которые даже на порядочного человека произво-

дят впечатление, и это, конечно, не такое безобидное писание, и здесь я не согласен, что нужно относиться иронически, — здесь с презрением нужно относиться, и сомнений никаких не может быть, и, конечно, может быть только одно решение: исключение. И отсюда — какой-то у нас должен быть опыт.

Сколько я помню наше либеральное и многотерпимое отношение к делам такого рода — финал был такой: исключали. И все отсрочки, наши пожелания, надежды на то, что они поймут, не оправдывались. Уже была ясна сложившаяся идеология антисоветчиков, и нам, очевидно, нужно решать не с такими большими интервалами, а в более решительных случаях, когда это просматривается довольно свободно, без каких-то подтекстов — что это за деятельность этих людей. Надо не тянуть с такими резкими, не очень приятными решениями, но проявить такую хирургию.

Я — за то, чтобы исключить Войновича из членов Союза.

А.А. МИХАЙЛОВ: Я прочитал стенограмму обсуждения этого вопроса на Бюро творческого объединения прозаиков и очень согласен с Рекемчуком, что это было проведено на достойном уровне, без крика, без истерики, с желанием помочь человеку осознать, что он делает что-то не то, противопоставляет себя не отдельным лицам, а целому творческому союзу, который объединяет тысячи людей. Ведь все обвинения, которыми он костит Секретариат, я хотел бы так понимать, что это нам, несколькими человекам, адресовано, потому что мы не будем друг друга оценивать и говорить комплименты, все мы люди небезгрешные, и, в отличие от Войновича, никто себя не считает Львом Толстым, но наши товарищи нам доверили это дело, и у меня впечатление, что никто из здесь сидящих не рвался занять место за этим столом на заседаниях Секретариата.

Письмо его по сути своей, содержанию тоже очень знакомо. На одной международной встрече летом прошедшего года после моего доклада меня забросали всякими каверзными вопросами, и среди прочих такой: скажите, господин Михайлов, зачем ваша страна вступила в Женевскую конвенцию по охране прав и не хоти-

те ли вы ужесточить вашу цензуру по ряду писателей? Поскольку мне приходилось слышать разные вопросы, я ответил, что не совсем их понимаю: неоднократно приходится слышать вопросы, почему мы не вступаем в эту конвенцию, примерно в таком же духе, с такой же долей непонимания, и, не успели мы вступить, не прошло еще и месяца, 27 мая мы вступили, встреча, о которой я говорю, состоялась в июне, как задается вопрос уже этот, где же логика? Такой мой ответ вызвал аплодисменты и смех, углубляться я не стал. Примерно то же самое было у нас, когда мы не вступали в конвенцию, оппозиционные голоса раздавались, что нам, мол, не разрешают, локализируют... а после вступления мы встречаемся с такого рода заявлениями, вызванными явно личной ущемленностью, хотя особых поводов для ущемленности нет. То, что я читал Войновича, не представляет никакого события в нашей прозе и литературе, чтобы он мог чувствовать себя на пьедестале выше всех остальных и разговаривать в таком тоне с товарищами по профессии.

Что касается конкретных выводов, я считаю, что эти выводы за нас сделал сам Войнович, противопоставив себя народу, противопоставив себя большому коллективу московских писателей; заявив свое нежелание сотрудничать с Союзом, он предрешил вопрос о своем пребывании, а его позиция воинствующего, озлобленного противостояния дает правовое и моральное обоснование нашему решению об исключении его из Союза.

В.Л. РАЗУМНЕВИЧ: Вопрос, по-моему, ясен. Все товарищи говорили о невозможности дальше жить в одном Союзе с человеком, по сути дела продающим наше государство и нашу литературу. Даже письмо, которое здесь было зачитано, адресовано не нам, сидящим здесь, оно адресовано по своей тональности для радиостанции «Свобода» и журнала «Посев», и я ощущаю там желание как можно лучше угодить им и заплевать тех, кто здесь сидит. Он, как сказал Медников, под рабочего себя рисует, но спросите у любого рабочего, кто знает его и кто знает Катаева, Рекемчука, Алексева. Он как литератор ничтожество, мелочь по сравнению с теми, кого хотел здесь оплевать. Нужно показывать этих людей не с иронией — Самсония неточно выразился, — нужно показы-

вать, что они к людям честным не имеют отношения. Они рисуют из себя наполеончиков в литературе, а если присмотреться — это пигмей литературный.

И мне особенно хочется, говоря о том, как проходит обсуждение, особо хочется отметить зрелость партбюро в единодушии, смелости, стойкости, я не могу здесь ничего высказать; но как показали себя беспартийные и как мудро вел Радов собрание — это надо подчеркнуть, потому что, как сказал М. Алексеев, нам придется еще иметь дело с такими пигмеями. Некоторые из них вполне очевидны, и, когда мы обсуждали Чуковскую, некоторые сплывали вокруг себя группу незрелых людей и требовали права присутствовать на Секретариате. И чем раньше мы покончим с пребыванием этих людей в нашем Союзе, тем незначительнее будет их влияние на писательские массы. В нашем коллективе им делать нечего, потому что они сами себя вычеркнули. И я считаю, что беспартийным нужно продолжать это дело. Поэтам нужно заняться Владимиром Корниловым, который делает заявления, недостойные советского поэта. Копелев тоже сколачивал вокруг себя группу давным-давно. Его бы тоже нужно было вызвать на собрание, чтобы все почувствовали, что эти люди чужды нам. Каждый день приходят в партком коммунисты и говорят: «До каких пор мы будем терпеть выходки Евтушенко? Он является членом правления Союза писателей, и к нему тоже нужно меры принять».

Нам нужно быстрее реагировать на вещи, которые мы замечаем внутри нашей организации.

Ю.Ф. СТРЕХНИН: Я думаю, что высказано довольно единодушное мнение, которое подтверждает, что очень хорошо, что мы подобные вопросы, в частности вопрос с Войновичем, решаем демократическим путем, начиная с творческих объединений. Это говорит о том, что мы уверены в наших товарищах в смысле того, как они смогут разобраться в таких явлениях, как творчество Войновича. Хорош бы был Войнович, если бы его действительно поставить перед лицом рабочего коллектива на Красной Пресне, как он требует в письме! Я представляю себе, как бы ему долго приходилось очищаться после такого собрания там, где люди читают советскую

литературу и понимают, что к чему и кто является настоящим писателем.

Перед нами не наполеоны, а голые короли, которые очень активно самораздеваются, и мы видим это самораздевание Войновича, в котором — явное желание выйти из Союза. Что же нам здесь особенно выговаривать?..

Я не совсем согласен с тем, что это жалкая кучка... Капля дегтя много портит вокруг себя, и, когда эту каплю вычищаешь, приходится много меду выбросить. Может быть, нам сейчас приходится слушать последнее такое дело, но вряд ли...

Я считаю, что дальше обсуждать этот вопрос не стоит. Войнович заявил о своем несогласии быть в Союзе, исходя из политических убеждений. Даже если бы он не заявил об этом, мы должны были бы поддержать предложение Бюро объединения прозаиков.

Поэтому во всех выступлениях ставится одно предложение: поддержать решение Бюро объединения прозаиков и исключить Войновича из Союза писателей за те проступки, которые довольно точно сформулированы в решении Бюро и в выступлении товарищей, которые были сделаны сейчас.

Наша точка зрения — исключить Войновича. У нас есть соответствующий проект резолюции.

В.Н. ИЛЬИН: На основе выступлений, которые были застенографированы, будет дано развернутое политическое решение. Сейчас стоит вопрос так: исключаем мы или нет, выносим взыскание, откладываем рассмотрение вопроса до его выздоровления... Если решили исключить, то решение будет сформулировано.

А. Барто, Катаев и Наровчатов присоединяют свой голос за исключение Войновича.

А.Е. РЕКЕМЧУК: Есть просьба, чтобы в решении по Войновичу, которое мы принимаем сегодня, был включен пункт о его попытках защищать Солженицына. Это в его письме есть, и не единственный раз. Солженицын настолько политически сфокусировал в себе антисоветские силы, что выступление в поддержку Солженицына есть проступок, причем недостойный. Просьба включить такой пункт в решение.

Ю.Ф. СТРЕХНИН: Не только поддерживает, но прославляет: «величайший гражданин»...

Поскольку Войнович прислал заявление, что он просит рассматривать вопрос без него и фактически его письмо можно рассматривать как заявление о выходе из Союза, мы должны принять решение.

Есть предложение исключить Войновича из Союза писателей. Других предложений нет? Нет.

Кто за это предложение? Есть ли против? Нет. Кто воздерживается? Нет.

Решение принято единогласно.

1974

Потом персональное мое дело превратилось в дело оперативной разработки КГБ, о чем вы, любезный читатель, можете прочесть в конце книги, а мы пока отвлечемся от этой печальной истории. Ниже следуют тексты моих выступлений с которыми я, оказавшись на Западе, регулярно по субботам выступал по радио «Свобода» с 1983 до 1990 года. Темы некоторых из них (к сожалению, не всех) устарели, но мне кажется — они могут представлять интерес для читателя, интересующегося недавним прошлым своей страны.

| МОЛОТКАСТЫЙ-СЕРПАСТЫЙ

Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтоб завидовать, это, пожалуй, слишком.

Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том горбатом, который, по уверению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на «Запорожце-968», более новой конструкции. Он, конечно, красивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее мы на нем всю Прибалтику исколесили.

Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились.

«К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как в афишу коза. Ну а что касается советского паспорта, то к нему, молоткастому-серпастому, отношение, и правда, самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортинкой к окошечку даже и не суется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.

Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев».

Вылез гражданин несолоно хлебавши из очереди и говорит мне, шепотом, разумеется. «Я, — говорит, — здесь в Минске во время немецкой оккупации был, и на этой же гостинице было написано: «Только для немцев». И сейчас выходит — только для немцев. Кто ж кого победил?»

Ну я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, но достаточно. Много дашь — себя обидишь, мало дашь — администратор обидится и скандал подымет и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки — это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета, — это совсем другое. В этом смысле хорошо быть Героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значит, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.

Так вот в Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом — какой она марки. А я, по свойственному мне простодушию, говорю: «Запорожец». Администратор даже вздрогнул от нанесенного ему оскорбле-

ния, вижу, рука у него застыла, само слово это «Запорожец» выводить не хочет.

Жена поняла мою оплошность и, прикинув к окошку: «Новый, — кричит, — «Запорожец», новый!»

А администратору, конечно, все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше, чем на «Жигулях», не ездят.

Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выписан и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня волком, пока я, как бы извиняясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.

Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей власти к маркам автомобилей. Каждый милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обращаться повежливей, владелец «Волги» вообще может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «Чайкам» и «ЗИЛам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.

Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Так вот этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и прошел к своим дружкам безо всяких препятствий. Ну посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой, без закуски, почесали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Метрополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает.

Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запихивают в серый автомобиль.

— Что? — кричит Рабинович. — Кто вы такие и по какому праву?

— А вот это мы тебе скоро как раз объясним, — обещают молодцы многозначительно.

Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так, мол, и так, захвачен доставленный гражданин с поличным при посещении в гостинице «Метрополь» американских туристов».

— Ага, — говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. — Как твоя фамилия?

Рабинович говорит: «Рабинович».

Само собой, от подобного обращения немного струхнул.

— Ах, Рабинович! — говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.

— Да ты что, — говорит, — Рабинович! Да кто тебе разрешил, Рабинович? Да я тебя, Рабинович!

И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой смирил и, прежде чем в морду заехать: «Паспорт, — говорит, — предъяви!»

Рабинович, само собой, руки дрожат, достает из не очень широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненная птица, вроде орла.

Начальник взял это в руки, ну точно по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. Ну и, само собой, как гремучую в двадцать жал змею двухметроворостую.

— А, так вы, стало быть, Рабинович, — говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. — Господин Рабинович! — делает он ударение на слове «господин» и краснеет под цвет советского паспорта. — Извините, — говорит, — господин Рабинович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.

Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.

— Нет, — говорит с облегчением. — Слава богу, я не ваш Рабинович. Я — их Рабинович.

Советский паспорт, советское гражданство... Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В советских тюрьмах и лагерях, помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те, кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый писатель Гелий Снегирев несколько лет назад послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжелобольной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.

На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не своей воле оказались за пределами своего Отечества. Не буду сейчас касаться темы, почему так много оказалось их на Западе, почему так мало захотели вернуться. Многие из оставшихся здесь уже состарились, у них здесь родились дети и внуки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А Советское государство все их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать их при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между теми, кто действительно когда-то совершал преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином Страны Советов.

И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что этому наказанию были подвергнуты знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою Родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных граждан-

ства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И приходящим к нему гостям говорит:

— Читайте, завидуйте, я — НЕ гражданин Советского Союза.

1983

| ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

Довольно много пишут сейчас в советской прессе о хлебе. Не надо его есть слишком много, будете толстыми. Впрочем, и мясо, говорят, чересчур потреблять не следует, и тоже во избежание полноты. Хотя волки, скажем, мясо едят, а особо толстыми не бывают. Впрочем, волки едят по-дикому, не научно. А у нас все на научную ногу крепко поставлено. И как только нехватка того или иного продукта возникает, тут же находятся доктора соответствующих наук, которые пишут в центральной печати большие научные статьи, что вредно кушать то, чего нет. С чем, понятно, трудно не согласиться.

В одной советской газете я читал об искусном поваре, который готовит пятьсот блюд из картофеля. Это, конечно, если есть картофель (я помню, даже в Москве и с картофелем перебой бывали). Пятьсот блюд — это, надо прямо сказать, немало. Я, как ни ломал голову, больше пятнадцати придумать не сумел. А если этот повар такой изобретательный, что придумал пятьсот, то я могу ему предложить пятьсот первое.

Во время войны наша семья жила некоторое время под городом Куйбышевом. Лето сорок третьего года было еще ничего, а с осени пошло к худшему. В нашей семье было трое рабочих, которые работали на военном заводе и получали пайки по семьсот граммов хлеба, тетка, служащая, получала то ли пятьсот, то ли четыреста граммов (точно не помню), и мы с бабушкой, иждивенцы, по двести пятьдесят. И толстыми не были.

С нами жил еще кролик, которого мы приобрели, чтобы потом съесть, но потом (так у нас всегда было с нашими животными) мы с ним так сжились, так его по-

любили, что убить его было просто невозможно. Так вот мы совсем не были толстыми. И даже наоборот, изо дня в день худели более интенсивно, чем при соблюдении самой строгой современной диеты. И кролик наш тощал вместе с нами. А потом, когда наступила совсем уже полная голодуха, кролик этот от нас сбежал, видно, предпочтя быструю смерть от руки решительного человека медленной голодной смерти вместе с такими гуманистами, как мы. Правду сказать, пока этот кролик был с нами, мы его порядочно объедали, а когда пропал, спекулировали его честным именем. Дело в том, что я ходил к расположенным рядом с нами солдатам и на кухне просил картофельные очистки «для кролика». И солдаты все удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?» Они не знали, что у кролика было шесть нахлебников. Если бы мы не стеснялись и попросили картошку, солдаты вряд ли бы нам отказали, потому что у них ее было много, чистили они ее неэкономно. Из этих толстых очисток мы пекли на каком-то чуть ли не машинном масле блины. И они мне тогда казались безумно вкусными. Так что искусному повару я мог бы предложить и это пятьсот первое блюдо на всякий случай.

Но вернемся, однако, к хлебу. Время от времени вся советская печать буквально захлестывается научными статьями, публицистическими выступлениями, фельетонами, стихами, поэмами и даже романами о хлебе.

Ну и в самом деле. Слово «хлеб» говорит нашему уху и сердцу гораздо больше, чем название любой другой пищи. Хлеб содержит все необходимые для поддержания жизни компоненты: белки, углеводы и прочее. Если у человека есть хлеб, его уже нельзя считать голодным. Даже в молитве человек прежде всего просит у Бога: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Почти все мы, выросшие в условиях советской действительности, испытали в раннем или не раннем возрасте войну, голод и привыкли относиться к хлебу чуть ли не свято. Несмотря на недостаток мяса, никто вас не осудит, если вы выкинете в мусорный ящик протухшую котлету, но кусок хлеба...

Сколько читал я гневных строк в стихах и в прозе о людях, которые забыли войну и блокаду Ленинграда и

швыряют хлеб в мусоропровод буханками. Я думаю, стихов об этом гораздо больше, чем самих подобных поступков.

Но если бы речь шла только о буханках! Печать и гневно, и лирически, и романтически призывает народ беречь и использовать каждый кусочек, каждую корку, каждую крошку. Уронил кусок на пол, подуи на него, поплюй, съешь. Засох этот кусок, не по зубам, размочи в воде, съешь. А если даже и позеленел, то ведь тоже надо помнить, что в плесени содержится пенициллин.

Прочел я как-то в «Неделе», что в каком-то районе города Киева приняты серьезные меры. В магазинах не только развешаны рекомендации по приготовлению блюд из черствого хлеба (сами эти рекомендации достойны отдельной поэмы), но и сбор крошек организован.

Да что же это такое, товарищи? Ну бережное отношение к хлебу, конечно, необходимо, но не подбирать же всякий кусок, на который случайно ногой наступил, не склевывать же каждую крошку, которая под стол залетела. Не воробьи же мы, в конце концов, не кусочники, не крохоборы! И зачем же нас столько лет попрекать войной и Ленинградской блокадой? Уже поселились и облысели люди, которые родились после войны и тем более после блокады.

В Советском Союзе ежедневно показывают по телевизору тружеников села, комбайнеров и трактористов с покрытыми пылью лицами, которые ведут битву за урожай. А я вот живу уже четвертый год на Западе и никаких особых сражений и битв за урожай здесь не замечаю. Никаких комбайнеров и трактористов по телевизору ни разу не видел, в газетах призывов подбирать крошки не нахожу, а в магазинах всего полно.

А куда ж наш-то хлеб девается при таких гигантских усилиях?

Вот, говорят, есть еще несознательные граждане, которые кормят хлебом свиней. Об этих свинодержателях и в газетах пишут, и даже в тюрьму их нет-нет да сажают.

Кстати, насчет свиней. Как-то лет десять тому назад провел я месяц в городе Клинцы Смоленской области.

Ну и, понятно, посещал иногда местные продуктовые магазины. Нормального мяса там, конечно, не было. И колбасу с зеленым отливом можно было достать только по праздникам. Зато в изобилии были свиные хвосты и копыта. Из них местные жители варили холодец.

Ну некоторые критиканы, конечно, и здесь находились, ругались, что их кормят только копытами и хвостами. Другие, благоразумные, говорили: зажрались. И опять поминали войну и блокаду. А я, не поддерживая ни тех ни других, думал: откуда же столько хвостов и копыт? И куда делось то, на чем они произрастали, то есть сами свиньи? Ну, конечно, Клинцы — город советский. И райком, и райисполком в нем имеются. Но не могли же ответственные работники, сколько бы их ни было, слопать всех этих свиней, оставив неотответственному населению только хвосты и копыта! Тем более что район, в общем-то, сельскохозяйственный и свиней в нем при всех условиях должно быть больше, чем руководящих товарищей.

А в другом городе, где уже не было ни хвостов, ни копыт и с хлебом перебои, я и вовсе задумался. Ну хлеба нет, это понятно, его свиньи съедают. А где же все-таки сами свиньи?

И только уже потом, в Москве, меня надоумили. Вез я как-то в троллейбусе кошку к ветеринару. И сам вел себя тихо, и кошка никому не мешала. Так одна агрессивная старушка напала на меня самым зверским образом. «Вот, — говорит, — почему мяса нет, потому что всякие несознательные люди собак и кошек разводят». И другие пассажиры ее весьма решительно поддержали. Я даже забеспокоился, как бы они моей кошке суд Линча не устроили. Да и мне заодно. Подальше от греха, вылез я из троллейбуса и пошел пешком не к доктору, а домой. С кошкой на руках. Дома поругался с женой из-за не сделанной кошке прививки и вовсе расстроился. Расстроившись, выпил, конечно, водки. Водка, само собой, дрянь, сучок, сделана из опилок, потому что если уж свиньям нельзя хлеб скармливать, то не переводить же его на водку. Водку, значит, выпил, стал искать, чем загрызть. Хлеба нет, свиньи сожрали. Свинины нет, кошка съела. Взял огурец, его ни свинья, ни кошка есть не

станут, потому что соленый. А кошка под ногами мяучит, есть просит. Налил ей молока, хорошо, старуха из троллейбуса не видит. Сам выпил еще сучка, снял с полки книгу предреволюционного писателя Власа Дорошевича, лег на диван, стал читать. Пишет Дорошевич, как Шалапин выступал в Италии, а итальянские газеты писали, что возить в Италию певцов из России такая же дикость, как ввозить в Россию пшеницу. Я подумал, надо же! Неужели ввозить в Россию пшеницу действительно казалось тогда диким? А потом подумал: а ведь и правда дико. Ведь Россия, или, точнее, Советский Союз, такая огромная страна, в ней есть земли и засушливые, и болотистые, и промерзшие, но есть неплохие, хорошие и даже отличные. Ну и климат. В сочетании с колхозной системой он, конечно, ужасен. Но сам по себе местами суровый, а местами вполне неплохой. И пищи на этих землях и при этом климате можно выращивать столько, чтобы хватало и для нас, и для свиней, и для кошек.

Конечно, даже и в изобилии хлеб беречь надо как всякий продукт человеческого труда. Но не настолько, чтобы готовить специальные блюда из засохших корок, подбирать крошки или уроненный на пол кусок. Пусть его съест свинья. Не такое уж это кошунство, если помнить, что мы сами эту свинью съедаем. Когда удастся ее достать.

1983

| ЕЛКИ-ПАЛКИ

«Елки-палки! — воскликнул советский летчик, беря на мушку чужой авиалайнер. — Я иду, значит, а у меня З.Г. горит уже».

Потом переводчики в ООН долго ломали голову, при чем тут елки и при чем тут палки, которые находились на десять тысяч метров ниже происходившего.

Я не знаю, что означает «З.Г.»: ЗАПАС ГОРЮЧЕГО или ЗАРЯД ГОТОВ. Я знаю только, что словами «елки-палки» обычно выражают волнение, восхищение, досаду и беспокойство. Есть для этого и другие слова, кото-

рые часто употребляются в обычной жизни, но произносить их по радио категорически запрещено. Даже расстреливая пассажирский самолет, следует выражаться культурно. В крайнем случае можно использовать эвфемизмы, то есть заменять слова неприличные приличными, но близкими по смыслу.

Деспотические режимы всегда отличаются своим неприятием грубых слов и выражений, невероятная жестокость всегда сопровождается словесным ханжеством. В устах нацистов уничтожение миллионов евреев называлось «окончательным решением еврейского вопроса». В СССР массовые репрессии назывались «коллективизацией» или «борьбой с оппозицией», а потом «ошибками культа личности», агрессия против других стран называется и вовсе возвышенно — «оказанием братской помощи».

Когда в 1971 году погибли три советских космонавта, диктор телевидения, вместо того чтобы сказать: «Дорогие товарищи, у нас стряслась беда», торжественным, как всегда, тоном сообщил, что «полет космического корабля успешно завершён, во время полета были достигнуты такие-то и такие-то успехи, своевременно были включены тормозные двигатели, корабль вошел в плотные слои атмосферы, совершил мягкую посадку в точно заданном районе, космонавты были найдены на своих местах... — тут диктор сменил тон с торжественно-триумфального на торжественно-печальный и закончил фразу... — без признаков жизни». Все было прекрасно, только каких-то признаков не оказалось.

Вот так же и в случае с корейским самолетом. Что бы сказать попросту: самолет был сбит. Так нет, ушел в сторону Японского моря. И только под сильным давлением появилась новая формулировка о принятии мер по пресечению полета. Полет был пресечен, самолет ушел в сторону Японского моря. Море это, между прочим, было внизу, вот туда, вниз, самолет и ушел. Крупнейший в мире красавец-лайнера кувыркался беспомощно, как осенний лист. Пассажиры вылетали из сидений, бились о потолок, о спинки кресел и друг о друга. Душеуражающий крик двух с лишним сотен людей не был зарегистрирован наземными службами, но его нетруд-

но вообразить. Наземные же службы слышали только голос советского летчика, который — елки-палки! — волновался, что ему не хватит керосина дотянуть до аэродрома.

Тут я хотел бы сказать несколько слов в защиту советского летчика. Говорят, что он не мог ошибиться, не мог спутать пассажирский самолет с разведывательным, «Боинг-747» с «Боингом-707», тем более что надпись на борту была соответствующая. Все эти доказательства ничего не стоят. Может быть, советский летчик и видел когда-нибудь на картинке «Боинг-747», а может, и нет. И одно дело на картинке, а другое — живьем. А то, что написано «Корейские авиалинии», так написать можно все что угодно. На советских шпионских грузовиках, которые колесят по всей Европе, тоже написано «СОВ-ТРАНСАВТО».

Все советские люди, а уж военные тем более, воспитываются в обстановке шпиономании, всем им внушают, что почти каждый иностранец — шпион, и рассказывают ужасы о кознях иностранных разведок. Когда я был солдатом, нам рассказывали историю (и она даже была напечатана в нашем учебнике) о собаке, которая бегала по военному аэродрому, а потом выяснилось, что вместо одного глаза у нее вставлен фотоаппарат. А в Польше нам внушали, что ни в коем случае ни в какие контакты нельзя вступать с местным населением, что все польские девушки работают на американскую разведку. А еще рассказывали историю, как какой-то недостаточно бдительный офицер помог польской женщине поднять в вагон чемодан и на другой день в западных газетах появилась фотография с объяснением, что здесь изображены советские войска, отправляющие поляков в Сибирь.

Запуганный советский обыватель готов заподозрить шпиона в каждом человеке в темных очках, с фотоаппаратом или тем более с биноклем. В Москве моего соседа, писателя, который диктовал свои рассказы на магнитофон во время прогулок по парку, постоянно задерживали по подозрению, что он с помощью передатчика выходит на связь со своим шпионским центром.

В шестидесятых годах советские газеты писали о

каком-то старике, который, закаляясь, ходил зимой по снегу босиком и в трусах. Таким образом он намеревался укрепить свое здоровье и продлить жизнь, что ему, однако, не удалось. Как-то в трусах и босой он заблудился в лесу и очутился у какого-то военного объекта. Часовой, увидев такого странного человека, сразу подумал: елки-палки, шпион. Правда, он сначала пытался старика задержать и застрелил его только после того, как старик с перепугу кинулся наутек. И газеты, столь усердно рекламировавшие образ жизни старика, об этой его последней прогулке, конечно, не сообщили ни слова.

Между прочим, девятнадцать лет тому назад мне довелось побывать на острове Сахалин. Как раз перед моим прилетом там разбился пассажирский самолет «Ил-18», о чем в газетах, разумеется, не сообщалось. Самолет упал на сопку, и трупы пассажиров были раскиданы по ее склону. Когда мой приятель пытался сфотографировать эту сопку (а вовсе не трупы), бдительные граждане чуть не разбили фотоаппарат об его голову.

На Сахалине я выступал с литературными лекциями во многих воинских частях, возможно, и в той, где сейчас служит майор, сбивший корейский «Боинг». И вот один летчик, тоже майор (может быть, теперь он уже дослужился до генерала), рассказывал мне, как с двумя своими товарищами был в Москве и как у Центрального телеграфа они заметили иностранца, который их — елки-палки! — фотографировал. Они его, конечно, схватили, аппарат вырвали, пленку засветили, а самого фотографа доставили в милицию.

— Зачем вы это сделали? — спросил я майора.

— А ты не понимаешь? — спросил он меня.

— Нет, не понимаю.

— Но мы же были в форме, а он нас фотографировал.

— Ну и что? Что он этими фотографиями мог сделать?

— А ты не понимаешь?

— Не понимаю.

— А если бы он их в газете напечатал?

— Ну допустим, — сказал я, — даже бы напечатал.

И допустим, даже иностранный читатель узнал, что од-

нажды у Центрального телеграфа стояли три офицера. Что из этого?

— А ты не понимаешь?

Я, конечно, не понимал. Я и сейчас не понимаю. И понять это вообще невозможно без психиатра, но майор, хотя и не мог объяснить мне причину своего беспокойства, остался при своем мнении, если считать мнением то, чего нельзя выразить словами.

Так вот представим себе такого майора, который испугался иностранного туриста с фотоаппаратом. Чего можно от него ожидать, если, поднявшись по приказу ночью на высоту десять километров, он видит перед собой огромную махину с не нашими буквами на борту? Елки-палки! Да откуда ему было знать, что это просто пассажирский самолет, который заблудился? И кроме того, он человек военный, его дело выполнять приказы, а не рассуждать. И как поется в песне: «А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела».

В гибели авиалайнера виновны многие. И сам корейский летчик, совершивший роковую ошибку, и те наземные службы, американские и японские, которые не уследили за сбившимся с пути самолетом, ну и, конечно, тот советский генерал, который, тоже воспитанный в духе шпиономании, отдал приказ открыть огонь. В ряду виновных советского летчика я бы поставил на самое последнее место. Он всего лишь выполнял приказ.

И все-таки...

В сорок пятом году американский майор Клод Изерли, выполняя приказ своего командования, был среди тех, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Эта бомба была одной из двух, решивших исход войны. Если бы не эти бомбы, сопротивление Японии могло затянуться и количество жертв было бы еще больше. Так что стратегически и арифметически все было правильно. А то, что в результате взрыва погибли тысячи ни в чем не повинных людей, так что тут поделаться? Война есть война, а бомба правых и виноватых не различает (конечно, было бы справедливее, если бы она уничтожила выборочно только японских генералов).

Все правильно. Но совесть Изерли не посчиталась

ни с логикой, ни со стратегией, ни с арифметикой. Когда летчик узнал, что именно произошло внизу после того, как была нажата кнопка, он сошел с ума¹.

А что же советский майор? Мучает ли его совесть, когда он, может быть, узнает, что у берегов Японии выловлен обезглавленный труп ребенка? И труп женщины тоже без головы. И еще какой-то труп без головы, без рук, без ног. И просто кусок человеческого мяса, вымоченного в морской воде.

Ведь на земле майор, я думаю, обыкновенный мирный человек. Читает газеты, ходит с женой в офицерский клуб, помогает детям по арифметике или берет их с собой на рыбалку. Ведь не бандит какой-то. Ведь не стреляет ночью во встреченного на улице заблудшего прохожего и не пыряет его ножом.

Но как бы мне ни хотелось его оправдать, я бы все же спросил: «Елки-палки, майор! Неужели под охраняемым тобою небом ты спишь спокойно и тебе никогда не снится обезглавленный тобою ребенок?»

Сентябрь 1983

| КОЕ-ЧТО О СВЯЩЕННЫХ КОРОВАХ

Советское гражданство, рубежи нашей Родины — довольно много подобных слов и понятий считаются у нас священными. Давайте поговорим немного о них. Я в этом деле вроде даже как специалист. Меня в одной американской газете назвали как-то «The kicker of sacred cows», если прямо перевести на русский, то придется употребить несколько необычное слово «лягатель» или,

¹ Когда моя книга «Антисоветский Советский союз» была в 1987 году опубликована в США, один американский читатель написал мне, что Клод Изерли (Claude Eatherly) никогда с ума не сходил, а после демобилизации благополучно торговал подержанными автомобилями. Но теперь, пошарив по Интернету, я нашел статью, из которой ясно, что с ума Изерли (к его чести) все же сошел. Дома по ночам вскакивал и кричал: «Прыгай! Прыгай!» Вообще вел себя неадекватно. Будучи национальным героем и вполне обеспеченным человеком, дважды участвовал в вооруженных разбоях и сидел в тюрьме.

что ли, «пинатель» священных коров. И я, честно говоря, таким званием не только не был смущен, а, напротив, очень даже доволен. Потому что в нашем языке (я имею в виду не просто русский, но советский официальный язык) эпитет «священный» прилагается слишком часто иногда даже к вещам, которые священными называть вовсе не обязательно.

Взять хотя б те же «священные границы». Границы эти священны и нерушимы, нельзя их пересекать ни с той стороны, ни с этой. Вот и пример с корейским самолетом был совершенно наглядный. А впрочем, даже и не первый пример. И так этим священным у нас у всех головы задурены, что мы даже не знаем сами, что мелем. Читал я недавно в «Неделе» репортаж о том, как два воздушных пирата собирались священные границы нарушить. В то время как один держал на коленях бомбу, другой приказал пилоту «Ту-134» лететь в Швецию. А тот, разумеется, сел в Ленинграде. А пиратов этих, не успели опомниться, тут же перестреляли. И что сказали пассажиры после такого вот случая? Кто-то из них сказал (и я верю, вполне искренне): «Спасибо экипажу, который спас нам жизнь». Да разве он спас? Он подвергал их жизни опасности, и вовсе не из беспокойства за их благополучие, а только исключительно из беспокойства, что эти самые пираты действительно сбегут на Запад, а у самого экипажа будут серьезные неприятности. Я сейчас оставляю в стороне важную тему, почему вообще люди в Швецию или еще куда-то бегут. Почему они не могут, скажем, просто купить билет и полететь туда, не угрожая ни себе, ни другим, или пересечь эти священные рубежи пешком, с обыкновенным рюкзаком за плечами. Здесь, например, на Западе, переходить священные рубежи совсем просто, надо только показать паспорт. А однажды, пересекая границу между Францией и Швейцарией во время очень важного футбольного матча, я вообще у пограничной будки никого не нашел. Я даже остановился и вышел из машины, надеясь найти какое-нибудь вооруженное лицо, чтобы оно проверило у меня документы и удостоверилось, что я не так просто, а самым законным образом пересекаю эти священ-

ные рубежи. Но не найдя никого, махнул рукой, сел в машину и двинулся дальше.

Так пересекают рубежи в западных странах. Впрочем, внутри Советского Союза границы между республиками пересекаются тоже без всяких препятствий. Но не всегда. Как-то на своих «Жигулях» пытался я проникнуть на территорию РСФСР из Донецкой области, которая находится, как известно, на Украине. Меня остановили, заставили открыть багажник и тщательно его осмотрели. И что, вы думаете, они искали? Нет, не динамит, не наркотики и даже в данном случае не запрещенную литературу. Искали колбасу, которую жители Ростова возили из лучше снабжаемого Донецка. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать, что не ко всяким понятиям следует применять прилагательное «священный» и вообще, чем реже употреблять это слово, тем лучше.

В разных странах есть символы и реликвии, которые относятся к числу почитаемых. Например, в Англии с большим почтением относятся к отечественной монархии и к монархам. Правда, сами англичане чаще всего говорят о своих чувствах с юмором. Они не утверждают, что английская монархия является самым передовым в мире политическим строем. Они говорят обычно: «Да, мы не против монархии, мы к ней привыкли, она к нам привыкла, она нам, в общем-то, не мешает».

Лет пятнадцать тому назад один английский студент рассказывал мне, как к ним в Оксфордский университет приезжал советский литературовед профессор Машинский. Выступая перед оксфордской аудиторией, профессор рассказывал студентам, как живут советские писатели, как работают, какими немислимыми правами по сравнению с западными коллегами пользуются. Советская литература, утверждал он, не только самая великая, но и самая свободная в мире. И тогда студент, который рассказывал мне эту историю, поднял руку и задал вопрос:

— Если ваша литература самая свободная, то почему у вас писатели Синьявский и Даниэл сидят на тюрьме?

Профессор снисходительно улыбнулся, давая по-

нять, что студент еще молод и зелен и ему следует кое-что объяснить.

— Дело в том, — сказал профессор, — что Синявский и Даниэль в своих произведениях оскорбляли Ленина. А Ленин у нас — имя священное. В каждой стране есть, и это естественно, свои священные символы и понятия, которые нельзя оскорблять. В одних странах это флаг, в других герб, а у вас, например, нельзя оскорблять королеву.

— У нас нэльзя оскорблять королеву? — переспросил студент. — Я хочу привести этот старый королева сюда, поставить к стенка и немедленно расстрелять. — Студент выдержал паузу и сказал: — Ну что, вы видите тут польция? Кто меня хватает за руку?

Пересказывая мне эту историю, студент сказал, что, конечно, он вовсе не считает королеву старой короной. Она обаятельная женщина, и он любит ее, как почти все англичане. Но он самым наглядным образом продемонстрировал этому профессору не только реальность свободы слова, существующей в демократической стране, но и терпимость властей и аудитории.

Вот у нас, например, о наших вождях можно сказать все, что угодно, если представить себе невозможное, что в аудитории нет ни одного стукача. Но в сталинские времена сказать такое, например, о Сталине в любой аудитории... Да сама аудитория человека разорвала бы, не дожидаясь товарищей из органов госбезопасности. Потому что имя Сталина, как и Ленина, было священно.

Священные слова. Священные границы, могилы, имена, понятия, камни, знамена.

Советские власти как только могут эксплуатируют само слово «священный», взятое из церковного обихода. Пытаются отменить религиозные обряды и ритуалы, подменяя крест серпом и молотом.

Молодожены в подвенечных одеждах после Дворца бракосочетания, где под портретом Ленина им произнесли напутственные слова, едут на могилу Неизвестного солдата. Какая дикая смесь религиозного и атеистического, и сколько во всем этом ханжества и даже кощунства! Эти молодожены отдают дань не солдату, а варварству и милитаристской пропаганде. Насаждая

этот новый ритуал, власти бессовестно эксплуатируют душевную потребность людей хранить память о погибших и умерших. Каждому из нас дороги наши близкие, которых мы потеряли на войне или в лагерях. У каждого есть родственники, не только погибшие на Курской дуге или на Эльбе, но и похороненные где-нибудь у берегов Колымы или Печоры. И если уж отдавать дань, то хорошо бы не только Неизвестному солдату, но и Неизвестному заключенному. Он тоже не заслужил нашего забвения.

Повторяю, нам всем дороги наши близкие, которых уже нет между нами. И не только погибшие с автоматом или с киркой в руках, но и просто умершие от болезни, от старости, от несчастного случая. Но приходиться на могилы не обязательно в день свадьбы. Есть для этого годовщины смерти, в некоторых странах дни поминовения или, как принято в России, на Пасху. Ведь вступая в брак, люди не воинскую присягу принимают, а собираются жить и растить детей.

С возведением вещей в ранг священных мы вообще уже потеряли всякую меру. Например вот, спасение чего-нибудь. Благородно, когда человек человека спасает и ради жизни другого рискует своей собственной жизнью. Но советская пропаганда поощряет людей не только рисковать, а и жертвовать собой, проявляя героизм при спасении, например, социалистического имущества. В данном случае прилагательное другое, но употребляется в торжественном смысле и легко заменяется на слово «священный».

Сколько написано всякой всячины о людях, жертвовавших собой ради спасения социалистического имущества, которым может быть названо все, что угодно: сельскохозяйственный инвентарь, портянки или запасы стирального мыла.

Или вот еще один священный ритуал. В разных воинских частях Советского Союза на вечерней поверке выкликается какое-то имя и правофланговый заученно отвечает: «Рядовой или сержант такой-то погиб при выполнении боевого задания». Или даже: «Погиб при спасении знамени». И сами эти ритуалы поощряют гибнуть не только ради спасения Родины, свободы или людей.

Но и ради вещей, которые при любом самом сентиментальном к ним отношении не заслуживают того, чтобы за них гибли.

Взять хотя бы то же знамя. Ну конечно, это реликвия. И может быть, даже очень ценная. Но когда речь идет о выборе, пропасть ли знамени или одной человеческой жизни, надо все же помнить, что знамя, каким бы оно ни было, пусть даже пробитое пулями и овеянное славой минувших сражений, оно все-таки только кусок материи, надетой на палку. И жертвовать ради него своей жизнью просто глупо. Потому что как бы ни были священны те или иные реликвии, на свете нет ничего священнее человеческой жизни.

| БЕЗ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

Если бы лет десять или пять тому назад мне кто-нибудь сказал, что я буду жить в немецкой деревне и своим соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свиданья», а «гутен таг», «данке шон» и «ауф видерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил.

А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки — палка. Дорф — деревня. Мы эту деревню называем Палкино, а наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино, по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино.

Так вот, в этом нашем Палкине-Перепалкине живут в основном, конечно, немцы. Но не только. Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Не любил не только тех, кто про-

тив Советской армии сражался или еще чего делал враждебного. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской.

Так вот, побоялась Настя вернуться на родину. Осталась здесь, вышла замуж, родила дочку. Онемечилась. С мужем говорит по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь вот появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Ну язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а какая-то смесь. А теперь еще и немецкие слова наметались. Потому что в русском языке есть много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзеер». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер», там, значит, что-то показывают интересное, по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит: «Отворите фернзеер, там Москву показывают!»

Ну отворили фернзеер, смотрим. Москва. Красная площадь. Портреты вождей, ГУМ. Как раз о ГУМе и передача.

Стоит очередь. Огромная. Вокруг магазина. Растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли чего еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимости выстоять и победить, а на других выражение полной обреченности, эти люди заранее знают, что весь день простоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса, форму не выбивайте! Кончилась форма!» И покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!»

А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет взывать к продавщице: «Да как же, да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специально приехали!» — «Но мне же только одну пару!» И это не аргумент. Всем только одну. А всех тысячи, и на каждого не напасешься.

Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. Сорок восемь лет я прожил в Советском Союзе и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока. Я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны длиннющие очереди у женских уборных. Теперь, по мере повышения благосостояния, стоят очереди за пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика.

Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами.

Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны.

Показали по телевизору все эти очереди, во всех отделах и на разных этажах, а потом показали пожилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она там работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии.

Я смотрел на это, слушал и думал: до чего же задурены советские люди! Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки.

Я вспоминаю анекдот про американца, который, подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали: «Ботинки выбросили!» Он посмотрел и сказал: «Да, у нас тоже такие выбрасывают».

Ну хорошо, эта тетя из ГУМа, она, может, невыеззная, за границей отродясь не бывала и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но вот, например, секретарь Московского отделения Союза писателей товарищ Феликс Кузнецов — точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борь-

бы за мир время немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым ртом. И уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в «Литературной газете», разоблачая зловредных империалистов, он, помимо всего прочего, пишет, что, в то время как на Западе растут психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются (я цитирую) «спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране». И чуть ниже: «Мы спокойно работаем, решаем вопросы Продовольственной программы, совершенствуем социализм».

Если уж иностранцев и удивляет Продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На шестьдесят восьмом году советской власти и через сорок лет после окончания войны.

Есть чему удивляться.

Здесь Продовольственную программу никто не решает. Здесь ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно.

Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что здесь стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидела двенадцать сортов апельсинов. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела семьдесят сортов колбасы. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела сто пятьдесят сортов сыра: «У нас это тоже есть». Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага: белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Обычная, двойная, гладкая и с пупырышками. «У нас, — говорит, — это тоже...» — и потеряла сознание. Пришла в себя, ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это?» — говорит. Ей отвечают: «Скорая помощь». — «А-а, — говорит она успокоенно, — у нас это тоже есть!»

А другой, тоже пожилой человек, прибыл дочку свою навестить, которая замуж за немца вышла. И тоже по-

шел вместе с ней в магазин. Она стала хвастаться: смотри, мол, чего здесь только нет. Он смотрел, хмурился. «Нет, — говорит, — ты мне настоящий магазин покажи». — «А это какой же?» — «А я, — говорит, — не знаю, какой, может, специальный, для иностранцев. А ты мне покажи настоящий, для простых людей». Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, и для простых, и для непростых. А он заладил свое: «Быть этого не может, покажи мне настоящий». Стала она его водить из магазина в магазин, он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. «Какой настоящий? — рассердилась она. — Гастроном вроде вашего на Соколе?» — «Ну хотя бы такой», — говорит. «Но здесь нет таких! Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисейевский, нет! Может, ты хочешь, чтоб я тебе сельпо показала?» — «Покажи», — говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за пятьдесят в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит, вокруг дома редко одно-, чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей, с огромными окнами, с балконами и на всех балконах — цветы. И хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» — спросил отец. «Да, — сказала дочь, — самая заурядная». — «Нет, — говорит отец, — ты мне настоящую деревню покажи».

Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе богатой жизни в несвободном. Но как показывает практика (да и теория, впрочем, тоже), свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс.

Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились, между прочим, безо всякой заботы со стороны ленинской партии.

1983

Лет пятнадцать тому назад мы с женой, возвращаясь с Черного моря в Москву, где-то в районе, кажется, Армавира попали на большую и по советским стандартам довольно хорошую дорогу, соединяющую Пятигорск с Ростовом-на-Дону. В месте нашего въезда на дорогу никаких указателей не было, мы свернули в сторону, которая казалась нам правильной, и покатали, рассчитывая, что доберемся до ближайшего указателя и в лучшем случае поедem дальше, а в худшем развернемся.

Дорога была совершенно пустынна. Очень редко попадались встречные автомобили, а в нашу сторону, казалось, не ехал никто, кроме нас. Впрочем, мы не беспокоились. Главное — доехать до ближайшего указателя. А вот вроде и он...

Большой дорожный щит мы заметили издалека. Но когда приблизились, увидели, что это огромный портрет Ленина, очень доброго на вид старичка с красным скромным бантиком на отвороте пиджака и в кепке. Приложив к кепке полусогнутую ладонь, Владимир Ильич ласково щурился и одобрял выбранное нами направление: «ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!» — крупными буквами было написано под портретом.

Если товарищ Ленин и произнес когда-то эти слова, он, вероятно, имел в виду общий путь народа к коммунизму, но написанные на дорожном щите, слова эти приобретали более конкретное содержание.

Нас, конечно, сообщение вождя мирового пролетариата в данном случае удовлетворить не могло, хотелось бы получить более детальные сведения, но что поделаешь, мы поехали дальше. И опять пустынная дорога без населенных пунктов, без бензоколонок, без указателей, без даже обычных (тоже бессмысленных) фанерных щитов, на которых местные колхозы сообщают, сколько молока или яиц в текущей пятилетке они собираются сдать государству. И только портреты Ленина с той же усмешкой и с теми же словами «ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ» с раздражающей периодичностью появлялись у края дороги.

Проехав около сотни километров, мы наконец дог-

нали какой-то трактор и выяснили у водителя, что дорогой мы идем, конечно, правильной, но в совершенно противоположную сторону.

Развернувшись, мы поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезали портреты Ленина с теми же словами «правильной дорогой...».

Думая о советской пропаганде, я вспоминаю эту дорогу и эти бесчисленные портреты с ничего не значащими словами.

Сравнивать советскую пропаганду с американской или вообще с западной трудно, а может быть, и невозможно, потому что советская пропаганда является основным продуктом советской системы, производство которого значительно превосходит производство продукции сельского хозяйства, легкой, тяжелой и даже военной промышленности.

Понятно, что производством пропаганды заняты прежде всего пропагандистские органы коммунистической партии, комсомола и Комитета государственной безопасности. Этим же заняты все газеты, журналы, телевидение, радио, кино, театры, союзы писателей, художников, композиторов и даже официальная церковь. Но кроме всех этих упомянутых организаций, изготовлением пропаганды заняты все без исключения заводы, колхозы, больницы, строительные управления и воинские части. Каждый директор, управляющий, заведующий, председатель или воинский начальник должен заботиться, чтобы на подчиненной ему территории было необходимое количество портретов Ленина и нынешних членов Политбюро ЦК КПСС (а если кто-нибудь из них смещен с поста, его портрет должен исчезнуть немедленно и навсегда), транспаранты с ничего не значащими лозунгами вроде «Народ и партия едины», «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» или «Победа коммунизма неизбежна», стенная газета, заполненная чем угодно (важно, чтоб она была), Доска почета с портретами так называемых передовиков производства (для того чтобы попасть в «передовики», надо не только хорошо работать, но и самому быть активным изготовителем или, по крайней мере, потребителем пропаганды) и еще всякие плакаты с призывами, цитатами, цифрами и

процентами, обещающими перевыполнение производственных планов. Цифры эти, не имеющие никакого отношения к делу, висят везде. Даже в кабинете зубного врача я видел обязательство работать на сэкономленных материалах.

Каждый руководитель, большой или маленький, знает, что в случае какой-нибудь проверки его деятельности ему еще могут простить невыполнение планов, пьянство, воровство, прогулы и взяточничество его подчиненных или его самого, но непорядок со всеми этими портретами, плакатами, лозунгами, цитатами и цифрами прощен не будет.

Потребителем пропаганды является каждый советский человек, начиная с ясельного или школьного возраста, когда он впервые становится членом коллектива (уже в яслях висят все эти лозунги, плакаты, портреты и стенгазета). В зависимости от возраста, социального положения, партийности и образовательного уровня каждый человек получает пропаганду в том виде, какой, по мнению властей, доступен его пониманию.

Студенты, независимо от их будущей специальности, изучают марксизм-ленинизм и историю КПСС, каждый раз изменяемую в соответствии с изменениями требований пропаганды. Рабочие, колхозники и солдаты должны посещать политические занятия и кружки, на которых они когда-то изучали биографию товарища Сталина, потом объявленные литературными шедеврами «произведения товарища Брежнева». Формально эти занятия добровольны и бесплатны, но каждому советскому человеку известно, что посещение этих занятий или уклонение от них самым непосредственным образом отразится на уровне его жизни, будет учтено при служебных перемещениях, распределении производственных премий, квартир, путевок в дома отдыха или импортных кур к празднику.

Как говорил один начальник своему подчиненному: «Ты работой бескорыстно, а мы тебе за это заплатим».

Давно прошли те счастливые для советской пропаганды времена, когда массы народа откликались на противоречивые призывы партии, с энтузиазмом строили заводы в Сибири или «защищали» свободу в Испании,

на демонстрациях восторженно размахивали флагами и портретами вождей, сходили с ума от счастья, если удавалось увидеть хотя бы издалека Ленина, Троцкого или Сталина, прикалывали к груди красные банты и давали своим детям революционные имена вроде Владилен (Владимир Ленин), Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция), Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи) или хотя бы просто Тракторина или Индустрия.

В те благословенные времена советская молодежь не воротила нос от советских же символов. Юноши украшали свои футболки и косоворотки значками МОПР (Международная организация помощи борцам революции) или «Ворошиловский стрелок», девушки повязывали красные косынки. Я помню, в моде были буденовки, сталинские френчи и даже сталинские усы.

Давно это было да былью поросло.

Теперь люди тоже ходят на демонстрации и размахивают флагами и лозунгами, но только за лишней выходной, отгул или дополнительную плату.

Теперь совсем иная мода. Теперь советский молодой и не очень молодой человек с душевным волнением произносит не революционные лозунги, а названия разных западных фирм и вещей. Слова «Честерфильд», «Панасоник» или «Мерседес» говорят его сердцу гораздо больше, чем «свобода, равенство и братство». Иностранная одежда предпочитается не только благодаря ее истинным достоинствам. Стоимость джинсов резко возрастает в цене, если на заднем кармане есть заметная этикетка с надписью «Мустанг» или «Ли», и резко падает, если такой этикетки нет. В большой моде рубашки и майки с надписями «Кока-кола» или «Ай лав Нью-Йорк». Говорят, в Москве появились даже майки с надписью «Я выбираю Рейгана». Если нет денег или возможности достать настоящую заграничную майку, можно купить подделку (те же слова на майке советского производства). Но попробуйте продать майку, пусть даже самого высокого качества, но со словами, написанными кириллицей: «Я люблю Москву», или «Ленин», или, допустим, «Я выбираю Горбачева». Вас не только не похвалят, но, вполне даже вероятно, отправят на психи-

атрическую экспертизу, потому что в этой надписи усмотрят злую насмешку.

Советские люди тянутся ко всему западному. Виски и кока-кола вызывают большее вожделение, чем водка и квас. На какого-нибудь безголосого американского певца или малоинтересную американскую выставку попасть все равно невозможно. Конечно, это беспокоит советских пропагандистов.

В свое время один из самых правоверных советских писателей, твердолобый сталинист Всеволод Кочетов, написал целый роман о том, как в Советский Союз приезжает по заданию ЦРУ американский джаз с совершенно возмутительной негритянской певицей, которая на сцене так вертит своим толстым задом (тоже, конечно, по заданию ЦРУ), что неустойчивая часть советской молодежи проникается этим растлевающим западным духом, перестает изучать марксизм-ленинизм и отвлекается от выполнения важных народнохозяйственных задач. (И Кочетов был совершенно прав, молодежь отвлеклась и вместо «Широка страна моя родная» запела почему-то идейно порочную и даже кощунственную песню «Распутин, Распутин, грейтест рашен лав мешин».)

А недавно в Лондоне мне удалось посмотреть программу советского телевидения. Выступал некий доктор философских наук. Он рассказывал о том, к каким аморальным и коварным методам прибегают международные империалисты для того, чтобы подорвать монолитное единство советского народа и сокрушить в конце концов несокрушимый советский строй. Во время Гражданской войны они пытались сокрушить советскую власть путем прямой интервенции. Не вышло. Пытались задушить нас всякими экономическими санкциями. Не вышло. Надеялись уничтожить нас с помощью гитлеровских полчищ. Не вышло. Попробовали разложить нас, используя для этой цели диссидентов. Не вышло. Теперь они тратят миллионы долларов для засылки нам всяких джинсов и маек, украшенных буржуазной символикой. Они не гнушаются ничем и даже свой собственный американский флаг налепляют на то место на джинсах, которое прикрывает ягодицы. Этот флаг на ягодицах так возмутил доктора философии, что он по-

святил ему главную часть своей речи, изливая все свое презрение и к американскому флагу, и к тому месту, на которое налепляют его коварные империалисты¹. «Выездные» советские журналисты, дипломаты, депутаты, партийные деятели всех рангов не только сами предпочитают советской одежде заграничную, не только обеспечивают ею своих детей и ближайших родственников, но, пользуясь своими исключительными возможностями, в огромных количествах закупают тряпки на зарубежных распродажах и вагонами, кораблями, самолетами доставляют в Советский Союз и весьма выгодно сбывают на черном рынке.

Но все подобные выступления, как всегда, вызывают противоположную реакцию. За годы своего существования советская пропаганда полностью исчерпала кредит доверия у своих потребителей. Постоянной лживостью и беспринципностью она достигла потрясающего эффекта: ко всему, что она отвергает, советский человек относится с глубоким интересом, ко всему, что превозносит, — с не менее глубоким отвращением. Это относится ко всем сферам культурной и общественной жизни. Например, если советская печать хвалит того или иного писателя, издавать его, конечно, будут, но читать вряд ли. В свое время популярность Зощенко, Ахматовой, Пастернака и Солженицына резко возросла после того, как советская пропаганда подвергла их уничтожающей критике, а Василий Гроссман, вполне заслуживший равного места в этом ряду, мало кому известен только потому, что его душили тихо, без пропагандной шумихи.

Ежедневно советские газеты, радио и телевидение проклинаят Соединенные Штаты Америки, расписывая самыми черными красками безработицу, расовую дискриминацию, преступность, девальвацию и обнищание. Но именно в результате этой пропаганды огромное количество советских людей вообще считают, что в Америке нет никаких серьезных проблем, они думают, что

¹ Между прочим, эти борцы с западной «вешевой пропагандой» сами являются ее первыми поставщиками и распространителями.

деньги там растут на деревьях и можно, ничего не делая, жить в роскошных условиях, играть в казино и ездить на кадиллаке. По этой причине некоторые эмигранты, встречаясь с реальной, а не воображаемой жизнью, разочаровываются в Америке и ругают советскую пропаганду за то, что она их якобы дезориентировала. Это как в анекдоте: один пассажир в поезде спрашивает другого, куда тот едет. «В Жмеринку», — отвечает тот. «Зачем вы меня обманываете? — возмущается попутчик. — Вы говорите, что едете в Жмеринку, чтобы я подумал, что вы едете в Житомир, хотя вы на самом деле едете в Жмеринку!»

Советская коммунистическая пропаганда, потеряв ориентиры, постепенно смыкается с антикоммунистической и антисоветской. Например, антисоветская пропаганда утверждает, что Советским государством со времени его возникновения правили одни преступники. Советская пропаганда утверждает почти то же самое. Десятки высших руководителей государства, от Троцкого до Хрущева, объявлены и до сих пор считаются врагами народа, агентами империализма и иностранных разведок, в лучшем случае — антипартийными фракционерами и волюнтаристами.

И антисоветская, и советская пропаганда утверждает, что никакого социализма с человеческим лицом нет и не может быть.

Всякие предположения западных футурологов о возможной эволюции советской системы советская пропаганда отвергает с крайним негодованием, утверждая, что никакой эволюции нет и не будет. (Это утверждение и ненаучно, потому что эволюция — объективный фактор, она в ту или иную сторону происходит всегда, и антикоммунистично, потому что в результате чего же, если не эволюции, наступит когда-нибудь коммунизм?)

С еще большей враждебностью встречаются попытки западных коммунистов спасти «научное мировоззрение» от полного краха. Советская пресса резко нападает на тех, кто такие попытки предпринимает, как это было, например, с Каррильо и Берлингуэром. Распространение их речей советскими гражданами каралось не менее жестоко, чем распространение «Архипелага ГУЛАГ». Да

что там Берлингуэр и Каррильо! Распространение отдельных статей Маркса, Энгельса и Ленина тоже может кончиться очень большими неприятностями. Я уже не буду говорить о том, что ожидает распространителей документов XX съезда КПСС, разоблачающих Сталина. Но вот пример более показательный. В начале семидесятых годов на Урале, кажется, в Свердловске, была арестована группа рабочих, распространявших не листовки, нет, и не фальшивки ЦРУ, а все еще не отмененную, обещавшую скорое построение коммунизма, само собой разумеется, величественную и грандиозную ПРОГРАММУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

1983

| НАШ ЧЕЛОВЕК В СТАМБУЛЕ

Очень важная вещь в жизни советского человека — анкета. Просто, знаете ли, вещь, достойная быть воспеваемой. Будь я сочинителем од, я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума.

Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возрастает в зависимости от значения того места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую. Вернее, даже и не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но по-моему, там только спрашивали фамилию, имя-отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки, и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы.

Первую подробную анкету мне выдали, когда я поступал в пятидесятом году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, сорок или пятьдесят, но некоторые произвели на меня впечатле-

ние и запомнились до сих пор. Несмотря на то что я родился в 1932 году, т.е. через пятнадцать лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях. Ну само собой, есть ли родственники за границей и, если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе, как кровавой собакой, не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях пять лет. Короче говоря, моя анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час.

Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Три года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят, курица не птица, Польша не заграница, а все же условия нашего существования в этой стране были немного получше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит, и курили мы там не махорку, а папиросы «Беломорканал». И вдруг вызывают меня к командиру полка, и тот говорит: «Слушай, а ты, оказывается, летчик!» — «Да какой там летчик, — говорю, — на планере я летал». — «Но значит, планером управлять умеешь?» — «Да уж чем-чем, — говорю, — а планером управлять умею. Ручку от себя, ручку на себя — дело нехитрое». — «Ну раз ты уже знаешь, как с этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз, будешь учиться на вертолетчика». Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехав в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких

асов, как я, собралось человек сто, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда тоже наши войска стояли. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую.

Так вот меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением. И очень не любил их заполнять.

В конце пятидесятых годов, уже после армии, работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще никто не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. И проходя однажды мимо МХАТа, я увидел объявление, что этому театру требуются рабочие сцены. Ну вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров, меня встречают очень приветливо, я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. «Ну вот вам анкета, — сказали мне, — вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить на работу». Я очень удивился: почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять? «Вы сами должны понимать, — сказали мне, — наш театр особый, наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства, кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубеж».

Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул, и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось.

Я думаю, в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за ней то таинственное лицо, которое будет читать анкету, внимательно сверяя ее с тут же приложенной автобиографией, сопоставляя одни отве-

ты с другими, выискивая, нет ли в них противоречия, и ставя после них плюс или минус. Член партии — плюс, беспартийный — минус. Не был на оккупированной сорок лет назад немцами территории — плюс. Есть родственники за границей — минус. Русский — плюс. Еврей — минус.

В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей, дает небывалый шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием — иногда преодолимым, иногда нет. То же можно сказать о крымских татарах или немцах (у последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать).

Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущества перед всеми, включая русских.

Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и чувствительным к национальному составу своих кадров (то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев), побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я — нанаец».

Но несмотря на то что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны в биографии сотрудников того или иного учреждения, иногда самые невероятные нелепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в Белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вовсе не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор, на самом деле

не осилил в школе и седьмого класса, никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление.

Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине шестидесятых годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Новбари. Этот Новбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении и публикации под своим именем ее пьесы. Разбиравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Новбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и четырех лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил 9 лет от роду, а резидентом стал в 11. Там еще содержались всяческие фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной.

Он родился не в Ираке, а в Азербайджане, за границей никогда не бывал. Оказалось, что в Союз писателей он вступил второй раз. Первый раз — в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки.

И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Новбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал.

Заседание бюро, где разбиралось дело Новбари, происходило, само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, нисколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует, он принес заявление и просит рекомендацию для поездки в Сирию для сбора материалов к книге об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: «Подождите, сначала мы дол-

жны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, чтобы вы вступили в партию в 9 лет?» На этот и на другие вопросы Новбари отвечал уклончиво: «Кому надо, тот знает». — «Но не могли же вы быть резидентом советской разведки в 11 лет?» — «Кому надо, тот знает». — «Где же вы все-таки родились, в Багдаде или в Баку?» — «Кому надо, тот знает».

К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же проявили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик: «А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела?» И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Новбари, в отличие от них, военную тайну хранил, фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое: «Кому надо, тот знает». Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование, все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки, я воздержался, за что сам чуть не получил выговор. (На меня набросились: как и почему я воздерживаюсь? Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбари из Союза писателей за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет, тем более я сам невыездной.) На этом первое заседание бюро закончилось. После этого секретарь московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин, позвал в другую комнату некоторых членов бюро, и в том числе почему-то меня (по-моему, он хотел меня привлечь к более активной «общественной» деятельности), и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбари. «Его надо обложить, как волка!» — сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он перевел взгляд на меня и немного кис: «Но вы, наверное, сбежите?» — «Сбегу», — пообещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание выполнил и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что все кончилось для Новбари благопо-

лучно, потому что он оставался в списке членов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и, как волка, обложить его не позволили.

1984

| КОЕ-ЧТО О БЕГЛЕЦАХ

Особенно важные и подробные анкеты заполняются советскими людьми при выезде за границу. Ах, какие же это анкеты! Поэмы, стихотворения в прозе, а не анкеты! Я-то сам, правда, никогда их не заполнял, до этого дело не дошло. Мне такого доверия товарищи из партии, КГБ и Союза писателей никогда не оказывали. Но от других много про это слышал. И несмотря на это — бежит народ. Со страшной силой бежит. Бежит, как сказал однажды поэт, быстрее лани. Да что там лань! Лань — животное, конечно, быстрое, но все же скорость его ограничена. А вот летчик Виктор Беленко (помните?), он несколько лет назад в Японию на своем «МиГе» быстрее звука бежал. Тогда еще анекдот о новой рекламе Аэрофлота родился: «Один «МиГ» — и вы в Японии».

Ну анекдотов по поводу бегства советских людей и их социалистических братьев на Запад было немало. Помню, когда-то шел вокруг Европы польский туристский корабль «Стефан Баторий». Пассажиры бежали с него чуть ли не в каждом порту, поодиночке и группами, так что корабль почти опустел. Тогда поляки острили, что его надо называть не «Стефан Баторий», а «Летучий голландец»¹. А после бегства некоторых артистов балета родилась шутка: «Что такое Малый театр? Это Большой театр после заграничных гастролей».

Но шутки шутками, а люди бегут. И какие люди! Артисты, дирижеры, режиссеры, гроссмейстеры, заслу-

¹ «Стефан Баторий» оказался верен своей репутации. В следующем плавании 20 ноября 1984 года только в одном Гамбурге с него бежали 192 пассажира.

женные мастера спорта, доктора всевозможных наук, орденоносцы, лауреаты, депутаты, дипломаты и, само собой, работники Комитета государственной безопасности. Ну эти-то бегут, пожалуй, больше других. Из них уже можно было бы создать хорошую команду по бегу с препятствиями. Бегут мелкие сошки и большие чины. Даже заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аркадий Шевченко — и тот сбежал. А совсем недавно, говорят, генерал-лейтенант в полной форме перешел турецкую границу пешком.

Казалось бы, какие люди! Проверенные! И в местной партийной организации их проверяли. И на райкоме характеристику утверждали. И выездная комиссия ЦК и КГБ всю подноготную бдительно изучала. И все, как говорится, было в ажуре. И социальное происхождение, и служебное положение. Политически выдержан, морально устойчив. Производственные задания выполняет. На собраниях выступает. В субботниках участвует. Жене не изменяет. Судимостей, выговоров и венерических болезней не имеет, партийные взносы платит вовремя.

И вот, имея такие прекрасные по всем статьям показатели, человек все же бежит.

У меня вот один знакомый был. Режиссер. В документальном кино работал. Так он однажды фильм о балете снимал. Начал снимать одного солиста, ему говорят: «Нет, этого не надо, он нехороший». Потому что он однажды письмо какое-то нехорошее в чью-то защиту подписал. Так вот режиссеру говорят руководящие товарищи: «Вы этого не снимайте, он плохой, а снимайте такого-то, он — хороший. Он у нас народный талант, национальное достояние, прыгает выше других, писем не подписывает, на политических информациях регулярно присутствует, общественную работу как депутат горсовета ведет и вступил кандидатом в партию». Ну режиссер, конечно, советский и сам тоже политически выдержан и морально устойчив. Что скажут, то и делает. Так он этого нехорошего вырезал, а на хорошего километра два пленки еще извел. Довольный собой, бежит показывать свой шедевр начальству.

Садятся они в темном зале. Гасится свет, играет му-

зыка, на экране почти что голый возникает кандидат в члены КПСС и так подпрыгивает, словно его уже в действительные члены произвели. Режиссер косит взгляд на начальство, начальство косит взгляд на него и даже в темноте видно, хмурится.

А потом и говорит:

— Это кого ж ты нам показываешь?

— Как же кого? Это же этот... — и называет фамилию. — Наш несравненный народный талант и народное достояние, кандидат в члены и депутат горсовета.

— А ты знаешь, что этот депутат не далее как вчера политическое убежище попросил?

— Не может, — режиссер говорит, — быть! Не могу себе даже этого представить.

— Как это ты не можешь представить? Ты что же, «Голос Америки», что ли, не слушаешь?

— Нет, нет, что вы! — говорит режиссер. — Сам не слушаю и детям своим не разрешаю такую дрянь слушать. А насчет артиста, так вы же сами сказали, чтобы не этого снимал, а вот этого.

Это он, конечно, сказал, не подумавши. Лучше бы он возвел на себя напраслину, признался, что слушает одновременно «Голос Америки», «Свободу» и Би-би-си. А он вместо этого намекнул начальству, что оно само в промашке такой виновато.

И дело для него очень печально кончилось. Вышел по его поводу секретный приказ. Картину смыть. Режиссера от работы в кино отстранить, выговор ему за притупление политической бдительности и протаскивание на экран сомнительных личностей залепить.

Режиссер сам после этого стал политически не выдержан и морально не очень устойчив. Запил, опустил, бороду отрастил, радио иностранное стал слушать. Потом, правда, исправился. Пить перестал, бороду сбрил, «Спидолу» свою в комиссионку отнес. Стал опять посещать собрания, по членским взносам всю задолженность уплатил — и никакого радио. Только хоккеем и фигурное катание по телевизору смотрит и, когда наши побеждают, кричит «ура» так, что даже соседям слышно.

Начальство видит: все-таки свой человек. Ну споткнулся в свое время, конечно, но с кем не бывает. Сня-

ли с него опалу, стали работенку подкидывать. А потом уж, войдя в полное доверие, режиссер и вовсе обнаглел и подал заявку на очень необходимый сегодня фильм. «По ленинским местам» фильм должен был называться или как-то в этом духе, я, признаться, точно не помню. А места эти, ленинские, они, как известно, в большинстве своем за рубежами нашей Отчизны находятся. Потому что товарищ Ленин в свое время был тоже как бы невозвращенец. И от царской власти скрывался, как я сейчас от советской, и в Мюнхене, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне.

Начальство, конечно, заколебалось немного. Все же ошибку когда-то допустил. Но потом посмотрели на него так и эдак. И анкета — как стеклышко, и к спортивным нашим успехам равнодушен, и, кто секретарь французской компартии, знает, и в моральном разложении проявляет сдержанность. Ну объяснили ему, чтобы он там на провокации не поддавался, в связи с лицами враждебного пола не вступал, в магазинах на товары не набрасывался, а если спросят про Сахарова, надо отвечать: «Лично с ним не знаком и ничего хорошего о нем сказать не могу». А про Афганистан следует говорить: «Я точно не знаю, где это, но слышал, что временно ограниченный контингент помогает крестьянам в уборке хлопка и ремонте дорог».

Выдали ему в ОВИРе заграничный паспорт, выдали в банке ограниченную сумму валюты, продали в Аэрофлоте билет в два конца. Один конец оказался лишним. Он и до сих пор по ленинским местам передвигается. Мюнхен—Цюрих—Женева—Париж—Лондон.

Так вот я и говорю, за границу-то у нас не каждого пускают. Отбирают самых достойных, самых проверенных, а они-то как раз и бегут.

Правда, когда сбежит такой вот проверенный, тут-то и выясняется, что он, такой-сякой, и доллары любит, и джинсы носит, и на женщин легкого поведения падок, а бывает, даже и к особам собственного пола равнодушен.

Ну конечно, на все больные мозоли невозвращенца нажимают, близких родственников заставляют рыдать на страницах газет, официальные представители

государства ищут с беглецом встречи, поют сладкими голосами: вернись! Родина тебе все простит и к тому, что у тебя было, еще что-нибудь добавит, а не вернешься, такой-сякой (тут следуют шепотом всякие сильные выражения), мы тебя все равно, где б ты ни был, доставим.

И само собой, начинают попрекать его каждым куском, который дала ему партия: и образованием, и воспитанием, и дачами, и автомобилями, и тем, что к распределителю был приставлен. И чего, говорят, ему не хватало? А ему, может, свободы не хватало. Не той, которая осознанная необходимость. А той, которая осознанная или даже неосознанная потребность. А может, он от этого вашего распределителя и сбежал? Может, ему стыдно бывало выходить из вашего секретного заведения с куском салями или осетрины, завернутым в серую бумагу, чтобы не кидалось в глаза? Может, ему противно было проходить унижительную процедуру проверки лояльности, которой подвергается каждый собирающийся выехать за рубеж? Может, у него язык не поворачивался сказать, что он не знает, кто такой Сахаров и где находится Афганистан.

И вот еще что интересно: а почему к нам-то никто не бежит? Если у нас все так хорошо: и безработицы нет, и квартиры дешевые, а медицина и вовсе бесплатная, и человек человеку — друг, товарищ и брат. Но вот приезжают в страну своей мечты то Анджела Дэвис, то Жорж Марше, то Джеймс Олдридж, то еще какой-нибудь иностранный товарищ заявится. А его ведь встречают не то что нашего за границей, его на длинной машине возят, в лучшей гостинице поселяют, красоты всякие показывают, черную икру на красную намазывают. А они покрутятся здесь, покрутятся, да и отправляются восвояси. Не бегут. Хотя их никто не проверял. Хотя в их странах никаких выездных комиссий не существует. А может, как раз поэтому? Может, все эти выездные комиссии и есть одна из причин, по которым люди бегут? Потому что, если вам хочется навестить дядюшку в Лос-Анджелесе или тетюшку в Амстердаме или, скажем, провести пару недель на берегу Средиземного моря, гораздо приятнее просто взять билет на самолет и не клясться, что будешь

бдительным, будешь давать отпор, а к улыбке встречной женщины относиться как к заранее запланированной провокации.

Ну а если уж никак нельзя жить без выездной комиссии, то секретным товарищам, которые там работают, я хотел бы дать очень полезный совет. Надо усилить бдительность. Надо отбирать кандидатов из кандидатов. В первую очередь убежденных коммунистов, активных общественников. Внимательно изучать их анкеты, характеристики, донесения осведомителей. И когда будут отобраны самые преданные, самые достойные, лучшие из лучших, их как раз за границу ни в коем случае и не выпускать. Потому что, как я заметил, именно они чаще всего и бегут.

1984

| ЗЕМЛЯКИ

Вот я уже даже не помню, в каких книжках, но в каких-то во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом: во время войны и особенно на иностранной территории встречаются русские советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» Ну и несутся из разных углов ответы: «Из Воронежа!» «Из Тамбова!» «Из Уссурийска!» Земляки. Хотя и кличут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косопузой Рязанью, а все же нежно друг к другу относятся. Какие ни на есть косопузые, водохлебные и волкастые, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда, земля? Оттедова.

Ну это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца: «Вы откуда?» — «Я из Оклахомы». — «А я из штата Мичиган». — «Файн! Замечательно! Неужели это возможно?»

Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречает немец немца, француз француза, радуются друг другу, как родственники. Потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поде-

литься чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут.

Встретились, допустим, два конголезца, у них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, Московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл.

А вот что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете?

У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта, а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот: товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Ну и вот, идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И само собой, вслух, думая, что нас все равно здесь никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Вдруг подлетает к нам другая пара.

— Вы русские?

— А какие же еще? Конечно, русские!

— И мы русские! Из Москвы!

— И мы из Москвы.

— Надо же, земляки! Мы живем на улице Дыбенко.

А вы на какой?

— А мы жили на Черняховского.

— Ну как же, как же, знаем, это возле метро «Аэропорт». Там писатели живут. Вы, значит, там прямо рядом с писателями и живете?

— Там прямо рядом и жили, а теперь вот переехали.

— Переехали? Из такого хорошего района. И на какой же вы улице теперь живете?

— А теперь мы живем на улице Ханс-Кароссаштрассе.

Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой, до него не сразу это сообщение доходит.

— Как вы сказали... Ханс-Каросса... так вы, значит, извините, эмигранты?

— Вот именно что эмигранты. Отщепенцы.

— А, ну тогда извините.

И — бежать. Только мы их обоих и видели.

Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя. И каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане — люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин замуривались, а от эмигрантов шарахались, как от чумных. Ну они и шарахаются, боясь не столько провокаций со стороны эмигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей.

И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не только не кидаюсь, а, даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова.

Но иногда уклониться трудно.

Совсем недавно решили мы поехать в горы, покататься на лыжах. Здесь в Мюнхене погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули, нам полицейский машет, давай, проезжай, не задерживай. Ну приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу «осторожно!» кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет десяти, красивая, черноглазая. Смотрит на нашу дочку и говорит: «Вы русские?» — «Русские». — «А откуда?» — «А ты откуда?» — «А я из Москвы». Ну конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас где она живет, откуда сюда, на курорт, приехала? Я, естественно, спрашиваю ее об этом, откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена? А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск,

у меня каникулы, вот мы сюда и приехали на пять дней покататься на лыжах».

— Прямо так вот взяли и приехали?

— Ну да. А что? Прямо так вот и приехали.

А в глазах ее, я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно можно поехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует и так бочком-бочком от нас постепенно отходит.

А я смотрю на нее и думаю: каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся?

Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники.

В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые хотя бы иногда могли выезжать за границу, вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню.

Не считая, впрочем, моего бывшего соседа Иванько, который был тогда полковником КГБ, а теперь уже, кажется, дослужился до генерала. Вот этот Иванько, он ездит. И с женой, и с ребенком. И по служебным делам, и так, погулять. Не знаю, как сейчас, а раньше он любил проводить отпуск в Ницце. Нет чтобы, как другие, отправиться с рюкзаком по Подмоскovie или со спальным мешком на Карадаг. Дорвавшись, дослужившись, выслужившись, пользуется он самой немыслимой для советского человека привилегией и ездит куда хочет. Так же примерно, как мы.

Но возвращаюсь к нашей новой знакомой, к Варе. Вот приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков — немецких, французских, итальянских, американских, — которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у

которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста.

Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркое, с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невыездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы, на которые владелец, может, целый год по двадцатке откладывал.

А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А вот эти выездные товарищи вроде Вариных родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыездным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кокка-кола» носят, а надписью «Стройотряд 4» брезгут.

И они же, вот эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А заслышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук: «Вы русские?» И тут же, опомнившись и даже не дослушав ответа, сломя голову кидаемся наутек.

1985

| МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Говорят, что один из клиентов знаменитого дореволюционного адвоката Федора Никифоровича Плевако, будучи очень ему признателен за то, что Плевако выручил его из какой-то беды, сказал: «Не знаю даже, как вас отблагодарить». На что адвокат ответил: «Не беспокойтесь. С тех пор как изобретены деньги, проблема выражения благодарности перестала быть чересчур затруднительной».

Всякому человеку, в том числе и Плевако, очень приятно, когда его благодарят за проделанную им работу, но, кроме благодарности, человек еще хочет получить и материальное вознаграждение, потому что хотя

не хлебом единым он сыт, но и без хлеба жить невозможно.

Денежное вознаграждение за проделанный труд — это самое нормальное и естественное дело. Само собой разумеется, оплата должна зависеть от количества затраченного труда, от количества и качества произведенной продукции. В Советском Союзе, конечно, это все хорошо известно. В Советском Союзе уважение к труду так высоко, что за него не только деньги платят, за него и награждают еще всякими свидетельствами, дипломами, медалями и орденами. Трудовой подвиг приравнивают к ратному, а Герой Социалистического Труда имеет те же привилегии, что и Герой Советского Союза. Как сказал когда-то Александр Твардовский: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

А вот правильно ли это? Я лично глубоко сомневаюсь. Ну медаль за бой — это ладно. На войне человек рискует жизнью или даже отдает ее за свободу или Родину. Его жертву никакими деньгами оплатить невозможно, и потому были введены в разных странах разные символические награды, чтобы просто можно было видеть, что этот храбрый и самоотверженный человек совершил. Ему нельзя заплатить денег достаточно за то, что он сделал. Тогда ему дают орден, чтобы мы, не совершившие того, что он совершил, видели и почитали его.

Ну а вот труд, работа и даже тяжелая работа и работа творческая и всякая другая, заслуживают ли они орденов?

Уже стало традицией, что в Москве 9 Мая перед зданием Большого театра собираются бывшие фронтовики. Собираются весьма уже пожилые люди. Военные мундиры или штатские пиджаки увешаны орденами и медалями. Ищут состарившиеся герои своих однополчан или просто гуляют по улицам, чтобы молодежь, глядя на них, все-таки вспомнила, что эти старики не даром ели свой хлеб, что-то они все-таки сделали в жизни, не зря им выдали эти награды.

Один мой знакомый, назову его Николай Степанович, тоже в этот день надевает свои награды, правда, их у него немного. В отличие от других он победный путь

от Сталинграда до Берлина не прошел. Но прошел путь поражений от Кишинева до Ростова и был тяжело ранен. А остаток войны провел в Ташкенте, в госпитале. Само собой понятно, что во время отступления Советское правительство орденами разбрасывалось не так щедро, как на обратном пути. И во время войны Николай Степанович заслужил только одну награду, желтую нашивку, свидетельство тяжелого ранения. Первую награду получил уже после войны, это была медаль «За победу над Германией». Ну потом дали ему в военкомате еще какие-то юбилейные, как он сам говорит, побрякушки. Ну вот, надевает он их и тоже идет к Большому театру. И чувствует себя там неловко среди героев, у которых ордена и Ленина, и Красного Знамени, и Отечественной войны, а иной раз и Золотая Звезда Героя. Потолкается там, а что толку? Это в конце войны однополчане сговаривались где-то встречаться, а на том горьком пути отступления, когда война казалась проигранной, до договоров ли было? Да и мало кому, кто прошел путь в одну сторону, довелось совершить и обратный путь. Ну потолкается Николай Степанович среди всех этих героев, присмотрится и видит: у одного из них боевое «Знамя», а у другого трудовое, у одного «Отечественная война», а у другого «Знак Почета», и тоже эти трудовые герои среди героев военных расхаживают, выпятив гордо грудь. А чего бы им не гордиться, если из одного металла льют и те и эти медали?

Так вот, у Николая Степановича военных медалей мало, и все жалкие, а трудовых и вовсе нет, не заслужил. Хотя в своем цеху был всегда лучшим токарем. И как какая-нибудь исключительно сложная работа, так начальство — к Николаю Степановичу, и он охотно за эту работу брался, потому что был настоящим мастером своего дела и любил делать что-нибудь необычное. Зарабатывал он не то чтобы очень хорошо, но неплохо. Но насчет всяких орденов и медалей — этого не заслужил. Потому что возле начальства, в парткомах и завкомах не отирался, на собраниях отмалчивался, а во время выборов брал открепительные талоны. За что же ему ордена? Не за что.

А вот его коллега Иван Петрович, тот на фронте во-

енном не был, а на трудовом отличился. Тоже начинал, как и Николай Степанович, токарем, и работал не то чтобы очень уж хорошо, но неплохо. Но помимо трудовой деятельности занимался и общественной. Он и в парткоме, он и в завкоме. На демонстрации ходит, от выборов не уклоняется, на митинге, если надо заклеить международный империализм или еще что-нибудь в этом роде, клеймит, а когда его просят сказать свое рабочее слово, допустим, о Сахарове, он и тут не отказывается. И признание Родины пришло постепенно. Сначала медаль, потом орден, потом другой, а потом и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда. Теперь его в цеху и не увидишь. То он на сессии Верховного Совета, то на пленуме ЦК, то выступает в защиту мира, то совещается с такими же, как он, передовиками производства, то в составе рабочей делегации выезжает за рубеж. Ну и, само собой, ему почет и уважение, проезд в трамвае бесплатный, билет на поезд, на самолет или в кино вне очереди. Гостиницы для него открыты, а отдыхает он в лучших санаториях, где забивает козла с инструкторами обкомов, председателями исполкомов и отставными генералами.

Обычно не все свои ордена он носит, только Золотую Звезду. Но уж на праздник Победы все вывешивает. И ордена, и медали, и все значки, какие имеет. И выходит на улицу с сознанием того, что ему есть чем гордиться.

Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд...

Между прочим, Твардовского, написавшего эти строки, правительство наградами не обходило. И за бой, и за труд у него были и ордена, и медали, и высшие советские литературные премии. А незадолго до смерти, к своему шестидесятилетию, он должен был получить еще одну награду. Но в это время он, по мнению партийного начальства, вел себя не очень хорошо. Отстаивал позицию руководимого им журнала «Новый мир» и защищал опального Солженицына. И разочарованный его поведением секретарь Союза писателей некий Константин Воронков сказал ему примерно так: «Жаль, Александр

Трифонович, что вы себя так ведете. Ведь мы хотели вам дать Героя». На что Александр Трифонович за словом в карман не полез и сказал, что никогда не слышал, чтобы звание Героя давали за трусость. Я думаю, в данном случае Твардовский слукавил. Он хорошо знал, что звание Героя не только Соцтруда, а и Советского Союза дают когда и в самом деле за героизм, а когда и за что-то другое.

За примером далеко ходить не надо. Брежнев, например, был Героем Социалистического Труда и четырежды Героем Советского Союза. Тогда как Сталин, который тоже большой скромностью не отличался, но был, как ни крути, во время войны Верховным Главнокомандующим, званием Героя Советского Союза наградил себя лишь однажды.

Бывают, конечно, случаи, о которых в газетах пишут под заголовком «Награда нашла героя». Какому-нибудь герою дали орден, а он в это время то ли в госпитале лежал, то ли в плену находился, то ли в тюрьме сидел. И нашли его лет через двадцать-тридцать. А товарищ Брежнев находился не в лагере и не в тюрьме, а в политотделах, обкомах, в ЦК КПСС и в самом даже Президиуме Верховного Совета СССР, так что трудно предположить, что заслуженные им боевые награды не могли его разыскать вовремя. Он сам их нашел потом в своих собственных сейфах. И сам вешал их на себя и на других без всякой меры, без вкуса и без стыда.

Но все же боевые награды хотя и сильно обесценились, потому что выдавались кому попало и ни за что, а все-таки некоторые люди носят их заслуженно. А вот трудовые...

Мне сейчас трудовых героев редко приходится видеть.

Потому что здесь, на Западе, за работу никому орденов не дают. К самоотверженному труду не призывают. А крестьян, например, даже просят и даже платят им деньги, чтоб они сильно не перетруждались и не производили столько товаров, сколько население съесть не может.

Здесь передовики производства не заседают на сессиях и партсобраниях, не обмениваются опытом, пото-

му что им некогда, они работают. И за труд свой получают не правительственные награды, а деньги.

Конечно, к деньгам у многих из нас отношение неоднозначное. Я сам не люблю людей, которые никаких других ценностей в жизни не видят. Но все же деньги, заработанные честным трудом, являются не только материальным, но и моральным вознаграждением. Человек может купить ту вещь, которая ему нравится, может поехать туда, куда ему нравится, то есть не прозябать в унижительной бедности и не пользоваться постыдными привилегиями, а вести достойный образ жизни, который заслужил своим трудом.

Из цикла «Рассказы о коммунистах»

| ПРОСТАЯ ТРУЖЕНИЦА

Коммунисты... Об этой необыкновенной породе людей много написано и рассказов, и романов, и пьес, и киносценариев. На образе коммуниста воспитаны поколения. Каждый советский человек знает, что коммунисты — это люди особого склада. Из них можно делать гвозди, можно заливать глотки расплавленным свинцом, можно вырезать на спинах звезды, можно жечь в паровозных топках, а они хоть бы что. Или вообще молчат, или, если уж сильно припечет, выкрикивают какие-нибудь гордые слова о конечном торжестве своего дела, или поют «Интернационал».

Однако до сих пор еще не все читатели хотят быть похожими на Павку Корчагина или Александра Матросова. Некоторым почему-то ближе какие-нибудь беспартийные типы вроде Наташи Ростовской, Пьера Безухова или князя Мышкина. Лично я в литературе вообще предпочитаю положительным героям отрицательных. Мой, например, любимый герой — Собакевич, который говорил, что во всем городе только один прокурор хороший человек, да и тот, если разобраться, порядочная свинья. Или насчет еды: «По мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее все равно есть не буду». Эти слова я бы от-

нес и к образу коммуниста, который уже скоро семьдесят лет как сахаром облепляют, а он от этого съедобней не стал.

Коммунисты... Это, если судить по советской литературе, стойкие, непримиримые борцы за народное счастье. Им свойственны беззаветная преданность своему делу, жертвенность и товарищеское отношение к женщине. И в труде они первые, и в бою они первые. А если случалось так, что надо за что-то отдать свою жизнь, то, как говорилось в стихах, тогда «еле слышно сказал комиссар: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!».

Не знаю, я, конечно, по возрасту в больших сражениях не участвовал, но в обыденной жизни мне чаще всего попадались коммунисты, имевшие мало сходства с изображенными в литературе. Или это серый чиновник с отвислыми щеками, который волком смотрит на нижестоящего и беззастенчиво лебезит перед вышестоящим, или воровато выходящий с туго набитым портфелем из распределителя, или и вовсе какой-нибудь запуганный человечешка, который ни по какому более или менее серьезному поводу и слова никогда не скажет. «Что вы, что вы, я не могу, мне за это попадет, я же коммунист». Я уже не говорю о всяком ворье из тех, кто за казенный счет строил дачи, кто вагонами продавал за границу икру или иконы, кто устраивал притоны разврата. Такими вещами занимаются обычно коммунисты очень высокого ранга, но мне сейчас хотелось бы рассказать об одном из рядовых.

Как-то мы с женой приехали в один южный приморский город. Возле так называемого квартирного бюро на пыльной площади толпился народ. С одной стороны частники, с другой — дикари. Не те дикари, которые ходят в одеждах из перьев, а обыкновенные советские дикари, у которых нет путевок в санатории и которых с их молоткастыми и серпастыми паспортами в гостиницах не пускают и на порог. Мы тоже в этой толпе оказались, и тут же нас атаковали жадные до наживы домо- и квартирновладельцы. «Вам нужна комната? На сколько?» Оказалось, что мы не очень выгодные клиенты, потому что приехали только на неделю, а частники предпочитали

таких, которые на сезон или хотя бы на месяц. Когда уже все от нас отказались, появился еще один, дохлый пожилой мужичонка с впалой грудью и стальными зубами. Он робко приблизился к нам: «Нужна комната? На сколько? На неделю? Нет, на неделю нельзя». И отошел. Но отошел неуверенно, и я понял, что на него можно давить. Я пошел за ним и спросил: «А может быть, можно и на неделю?» Он посмотрел на меня и обреченно кивнул головой: «Ну пожалуйста». Потом увидел, что мы на машине, и сказал опять: «Вы на машине? Нет, на машине нельзя». — «А может быть, можно?» И он опять кивнул: «Ну пожалуйста». Я потом заметил, что он всегда сначала отказывает, а потом говорит: «Ну пожалуйста». Мы его так Нупожалуйста и прозвали.

Мы спросили, далеко ли ехать. Он сказал нет, километра два-три.

— Я вам покажу. Я буду впереди бежать, а вы ежайте за мной.

— Ну почему же вы будете бежать впереди, — сказал я, — садитесь, поедем вместе.

— Да нет, ну зачем я буду садиться, как-то неудобно.

После того как я ему объяснил, что нам еще более неудобно будет, если он побежит впереди, он сел на переднее сиденье (жена перебралась назад) и съезжился, стараясь занять как можно меньше места.

Оказалось, что Нупожалуйста живет на окраине, на пыльной ухабистой улице, по которой после дождя можно проехать разве что на тракторе. Дом, однако, был большой и добротный. На крыльце стояла женщина лет сорока, могучего телосложения, в коротком и рваном сарафане. И со вкусом, звучно шлепала комаров на загорелых плечах и на ляжках.

— Ты кого это привез? — закричала она, глядя то на мужа, то на нас, как будто мы были совсем никчемным товаром.

— Дачников, Егоровна, привез на неделю.

— Дачников? — повторила она. — На неделю? Та шо это за дачники на неделю? Та шо ж там — других не было?

— Не было, Егоровна, — испуганно отвечал Нупожалуйста. — Только эти и были.

— Ну ладно. — Она посмотрела на нас более доброжелательно. — Так шо вы люди богатые, на машине, у меня есть для вас зала за десять рублей.

— В неделю? — спросила моя жена.

— Та не, у день.

— Десять рублей — это дорого, — сказал я.

— Та не дорого, — убивая комара на ноге, сказала она.

— И к тому же у вас комары.

— Та яки комары? — сказала она и шелкнула себя по щеке. — Хиба ж это комары?

— А что же это?

— Та так. Насекомые.

Как-то мы все же поладили и вечером на террасе угощали наших хозяев купленным у них же вином. Ну пожалуйста в основном молчал, говорила Егоровна.

— Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важка, така тяжола работа, Володя. З пяти утра и до самого вечора. Така важка, така трудна работа. Но я люблю важко работать. Когда важко поработаеш, тогда ты собой тоже довольный бываешь.

Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы снимали отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.

Утром мы проснулись не рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не пошла. Видимо, заболела.

После завтрака я опять вышел в сад и увидел: из сарая вышла хозяйка, потягиваясь, как штангист перед взятием веса.

— Вы сегодня не на работе? — спросил я. — Заболели?

— Та ни. У мене ж ото сэссия.

— Сессия? — удивился я. — Сельсовета?

— Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.

Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись — хозяева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу — хозяйка опять спит в сарайчике.

— Опять сессия? — спросил я, когда она вышла.

— Та ни. Ото ж партсобрание.

На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме по-настоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.

Поскольку мы уходили из дома раньше ее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.

Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего теперешнего мужа. В партию вступила недавно.

— Мэне ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, — говорит, — Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобно все же». Ну я ж ото подумала, Володя, шо як шо мы, передовые труженники, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?

Я ей сказал, что я литератор, и она, выражаясь в партийном духе, видимо, рассчитывала, что я о ней что-нибудь напишу. Впрочем, о ней уже и без меня писали. И в местной газете, и в столичном «Огоньке».

А ее муж Нупожалуйста, беспартийный пенсионер, уязвленный своим ничтожным на фоне жены положением, был у них в семье вроде домашнего диссидента. Молчал, молчал, а потом взрывался.

— Правильная политика, говоришь? Правильная? Никто не спорит, что правильная. А почему ж с китайцами-то поссорились? Член партии, а не знаешь. А потому поссорились, что они нам польты по сорок рублей продавали, а потом в наш магазин заходят и видят — те же самые польты висят по сто двадцать.

— Та ты ничего не понимаешь, — махала она руками и просила меня: — Ты, Володя, этого не записывай, потому шо он же глупый и отсталый.

Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.

— Ото ж стыдно сказать, Володя, но мэнэ ж ото орденом наградылы.

— Каким орденом? — Я уже не удивлялся, но все-таки подумал, что орденом каким-нибудь маленьким.

— Та ото ж Лэнина. Меня в Краснодаре Полянский принимал, пальто подавал. Если б, говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак Почета», мы б тебе сейчас Героя дали.

Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить с «шоссы» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» — «Ушла на виноградник», — сказал он.

Это был ее первый выход на работу за все полторы недели. Все эти дни мы провели или дома, или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано:

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА».

И на четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, белой блузке, с орденом Ленина на высокой груди.

1984

| ЧЕНЧЕВАТЕЛЬ ИЗ ХЕРСОНА

Или вот такая история. Сидим мы как-то вечером на кухне у нас, в Москве, моя жена, я и еще одна наша приятельница. Известная, между прочим, актриса. Сидим, пьем чай, разговариваем. Актриса нам о телекинезе что-то рассказывает. О людях, которые взглядом могут даже самые тяжелые вещи передвигать. В последнее время в

Москве такие увлечения очень в моду вошли: телекинез, спиритические сеансы, телепатическое лечение на расстоянии.

Когда общественной жизни нет, критиковать власти или хотя бы рассказывать анекдоты страшновато, развлечения (театр, кино, телевидение) сплошь пронизаны пропагандой, а в книжных магазинах нет ничего, кроме томов скучных, изложенных нечеловеческим языком речей Генерального секретаря и других членов Политбюро, тогда самое время удариться в мистику. Дело вроде бы не совсем советское, но в отличие от, допустим, распространения или хотя бы чтения самиздата безопасное.

Ну так сидим, разговариваем, вдруг звонок в дверь. Иду открывать, мысленно по дороге чертыхаясь: кого еще там нелегкая на ночь глядя принесла? Открываю, на пороге стоит незнакомый мне человек в форме торгового моряка. «Здрасьте, а я к вам!» Оказывается, моряк этот по дороге из Мурманска в Херсон решил в Москве остановиться. А брат его из Херсона раньше со мной в одном классе учился. Несколько лет назад брат этот у меня уже как-то ночевал, очень ему у нас понравилось, а теперь вот и другой брат подъехал. Надо сказать, что в Москве появление ночного гостя из провинции — явление не такое уж редкое. И объясняется это не столько нахальством или жадностью этих самых провинциалов, сколько совершеннейшей невозможностью попасть простому человеку в московскую гостиницу. Посмотрел я на этого моряка, посмотрел, не очень мне пускать его на ночь хотелось, но и отказать не сумел: ночь, погода плохая и все-таки с его братом в одном классе учился...

Короче говоря, ладно, говорю, что же делать, раз уж так получилось, входите, только уж другим своим братьям и товарищам из Херсонского пароходства моего адреса больше не давайте.

Ну сел он с нами за стол, вынул из портфеля бутылку «Посольской» водки, в Мурманске, говорит, достал, банку сайры и на актрису, нашу гостью, с восхищением смотрит. Вчера он ее только по телевизору видел, а тут,

понимаешь, такое везение. Будет о чем рассказать товарищам и в Мурманске, и в Херсоне. И чтобы не ударить лицом в грязь, моряк тут же принялся рассказывать о всяких своих странствиях по белу свету в качестве механика какого-то сухогруза. И как их застиг туман в проливе Лаперуза, и как качало их у берегов Новой Зеландии, и как они на мель сели где-то у берегов не то Марселя, не то Катании.

И как пошел названиями портов всяких сыпать, так не только мы с женой, а и наша актриса рот раскрыла, ошеломленная. Она хоть и выездная была, но и ее опыт заграничных поездок (один раз Париж, один раз Будапешт, два раза Восточный Берлин и четыре раза София) сейчас ей самой чепухой показался.

А моряк, завладев нашим вниманием, и совсем разошелся. Босфор, говорит, Дарданеллы, Джорджес Банка, такие, знаете ли, названия, ну прямо Жюль Верн.

А форма на нем красивая, нашивки блестят, пуговицы золотые, и на руке часы с тройным циферблатом. И он на эти часы довольно часто поглядывает, но не потому, что хочет «Посольскую» водку скорее допить и спать идти, а потому, что догадывается, что мы раньше таких часов и не видели. И когда он в очередной раз на часы посмотрел, я у него все-таки спросил, где же он такие замечательные часы купил. «Это, — говорит, — я в Лас-Пальмасе сченчевал». И тут же зажигалку вынул, а на ней девушка нарисована. Прямо держишь зажигалку — девушка в купальнике, перевернешь — она без. «А это, — говорит он уже без моего вопроса, — я сченчевал в Амстердаме». Очень это было нам все интересно, но только слова этого «ченчевать» я прежде никогда не слыхивал. И спросил, что оно означает.

— Чейндж! — сказал моряк твердо и поставил рюмку на стол. — Английский в школе учил? Чейндж. Обмен, значит. Мы когда в загранку уходим, покупаем в магазинах все, что есть. Часы, духи, матрешек, мыло, булавки, пуговицы, короче говоря, все, что под руку попадет.

— И неужели на эти наши товары можно что-нибудь выменять?

— Еще как можно! Конечно, где-нибудь в Гамбурге

или Ванкувере такой товар не идет. Но мы ж не только туда ходим. Мы и странам третьего мира помогаем. А уж в этих-то странах...

Воспоминание об этих странах почему-то вызвало в нем такой приступ смеха, что он чуть под стол не свалился, но я его вовремя подхватил. Придя в себя, стал он рассказывать, где чего ченчевал. Самые приятные воспоминания были у него связаны с Суэцким каналом.

— Идешь, значит, Суэцким каналом, а на берегу бедуины стоят. Мы всех арабов бедуинами называем. Кричишь ему: «Чейндж!» Он отвечает: «Чейндж!» Ты ему на веревке свой товар опускаешь, он тебе на палке свой поднимает. Тут, знаете, надо быть очень бдительным. Если ты ему раньше свой товар опустил, он его схватил и бежать. Все. Чейндж закончился. Если он раньше поднял, ты схватил, тоже чейнджу конец. Тут надо все с умом делать. А то я помню, везли мы как-то...

И он рассказал историю, как везли они как-то партию «газиков»-вездеходов, опять же для помощи странам третьего мира. Сначала колеса поснимали, сченчевали. Потом спидометры повытаскивали, сченчевали. Фары пооткручивали, сченчевали.

— А как же, — спрашиваю, — те, кому вы везли «газики», они вам претензии не предъявляли?

— Да вы что? Да какие претензии? Это же помощь. Это же бескорыстно, чего дают, то бери. Да «газики» — это что! Мы и с судна всякие вещи ченчуем. Снимешь спасательный круг — чейндж! Прибор какой-нибудь отвернешь — чейндж! А однажды ничего под рукой не оказалось, так и якорь латунный пришлось сченчевать. Думаете, просто было? Его целиком не выкинешь, бедуинам поднять его нечем, он же тяжелый. Так мы его сначала в каюту вташили и там на куски пилили, ножовку смазывали, чтоб не пищала. А потом куски в иллюминатор кидали. А бедуины в аквалангах за ними ныряли.

И рассказывал так до поздней ночи, где был и что на что ченчевал, и нас уморил, да и сам притомился. Стал зевать и на часы поглядывать, но уже не с тем, чтобы видом их поразить, а намекая, что пора и в постель. Но ко-

гда я спросил его, не член ли он партии, он опять встрепенулся, плечи расправил, щеки надул и сказал с достоинством:

— Да-а, коммунист¹.

1984

| ПАРТИЙНАЯ ЧЕСТЬ

Одного кинорежиссера как-то давным-давно, еще при старых деньгах, записали в очередь на квартиру. А жилищного строительства тогда в Москве не было почти никакого. И очередь двигалась ужасно медленно. Но все же двигалась, и режиссер наконец оказался в ней первым. И стал уже с женой воображать, как они получают ордер, как мебель расставят, куда кровать, куда телевизор. Месяц воображают, два воображают, полгода, год, он в очереди первый, а она то ли вовсе не движется, то ли движется как-то боком. Режиссер удивляется, но, в чем дело, догадаться не может. Наконец кто-то, кто поумнее, ему говорит: «Ты, — говорит, — будешь в этой очереди стоять до второго пришествия или до тех пор, пока кому-нибудь нужному человеку на лапу не дашь». А режиссер был человек принципиальный, хотя в партии и не состоял. «Нет, — говорит, — ни за что! Взятки никогда не давал и давать не буду. Взятки, — говорит, — унижают и того, кто берет, и того, кто дает». — «Ну хорошо, — говорят ему, — тогда стой в очереди неуниженный». Ну он и стоит. Год стоит, два стоит, жена, само собой, пилит. Капризная, не хочет дальше существовать в коммуналке, не хочет по утрам стоять в очередь в уборную или к плите, чтобы чайник поставить. И надоело ей, видите ли, следить на кухне, чтобы соседи добрые в суп не наплевали или чего другого не сделали. Пилит она, пилит мужа, принципы его постепенно испаряются. Наконец он решил на преступление. «Ладно, — думает, — раз такое дело, один раз дам все-таки взятку, а больше уж никогда

¹ Ченчеватель на самом деле не из Херсона, а из Керчи, был соседом моих отца и сестры. Как-то попросил у сестры почитать что-нибудь мое, получил просимое и отнес в местное отделение КГБ.

не буду». Был он в этом деле неопытный, но люди добрые помогли, свели его с одним значительным лицом из Моссовета. Сошлись они в ресторане «Арагви». Режиссер заказал того-сего: грузинский коньяк, лобио, сациви, шашлык по-карски. Выпили, закусили, и наконец режиссер этому лицу, которое перед ним после коньяка расплывалось, прямо так говорит: «Знаете, — говорит, — я живу весь в искусстве, от обыденной жизни оторван, взятки еще никому никогда не давал и как это делать, не знаю. А вы, человек опытный, не могли бы мне подсказать, кому чего я должен дать, сколько, когда и где?» Лицо еще коньяку отхлебнуло, шашлыком закушало, салфеткой культурно губы оттерло и к режиссеру через стол пергнулось. «Мне, — говорит, — пять тысяч, здесь, сейчас».

Хоть и шепотом, но четко, без недомолвок.

«Хорошо», — говорит режиссер и достает из кармана бумажник. Но впрочем, тут же несколько засомневался. «А что, — говорит, — если я вам эти пять тысяч вручу, а вы мне квартиру опять не дадите?»

Тут лицо от такого чудовищного предположения опешило совершенно и чуть шашлыком даже не подавилось. Даже слезы на глазах появились. Даже голос задрожал. «Да что ты! — говорит. — Да как ты мог на меня так подумать? Да ведь я ж коммунист!»

И ведь на самом деле честный человек оказался. И месяца не прошло, как режиссеру ордер выписали. И зажили они с женой в новой квартире припеваючи. Пока не разошлись. Правда, к тому времени с квартирным вопросом полегче стало. Так что режиссер эту квартиру оставил старой жене, а с новой женой в кооператив записался. Там, ясное дело, тоже надо было на лапу дать, но режиссер был человек уже опытный и сам к тому времени вступил в партию. Так что он знал уже точно, кому, чего, когда и где.

1984

| КАК ИСКРИВИТЬ ЛИНИЮ ПАРТИИ? |

Ленин когда-то сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века.

Среди современных советских коммунистов есть и такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь. Рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но в основном занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он не принадлежит. Высшая каста — это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от направления и уровня своей подготовки.

Когда я учился в 10-м классе вечерней школы в Крыму, мне было 23 года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком. Звали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме — длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. (Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе.)

У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос — молчит. Задают вопрос наводящий — молчит. Краснеет, потеет — и ни слова. Учительница спрашивает: «Может быть, вы не выучили?» Молчит. А если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть падай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией, а на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил: «В Азии».

Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что ни за что его не выпустит. Другие были более ли-

беральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда, все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».

Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой степени тупости до десятого класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до четвертого, ну до седьмого, а потом или его как-то выпихивают из школы, или сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко, будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведовал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла.

Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе, и тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке «смирно», и он будет стоять хоть два часа».

Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю жизнь: «Да нет, не трудно. В нашей работе главное — не искривить линию партии. А как ее искривишь?»

Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории (она была моложе меня) ушла в декрет, а ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народно-

го образования в том же районе, где начальствовал Еременко.

Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих.

Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме:

— Скажите, товарищ Еременко, когда произошел пятнадцатый съезд партии?

Молчание.

— В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Правильно?

— Правильно, — отвечал Еременко. — В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году.

— Ну что ж, — заключала учительница, — вы подготовились отлично, я ставлю вам пять.

С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался.

— Уж что-что, а историю я знаю, — говорил он мне.

Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом две огромные свиньи по рублю пятьдесят штука на старые деньги. То есть по пятнадцать копеек на нынешние.

В конце концов Еременко школу закончил и полу-

чил аттестат, в котором у него была пятерка по истории и выведенные с большой натяжкой тройки по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего уже специального партийного образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.

1984

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА

Советских людей, выезжающих по каким-то надобностям за рубеж, учат остерегаться провокационных вопросов и находчиво на них отвечать. Проявлять находчивость иногда очень трудно, потому что, какой вопрос ни возьми, все — провокация. Жилищные условия, зарплата, продукты питания, права человека, диссиденты, Сахаров, Афганистан. От ответов на эти вопросы следует уклоняться или противопоставлять им утверждения о преимуществах социалистического строя, среди которых бесплатное образование, бесплатная медицина и почти бесплатные квартиры. Уж эти-то утверждения кажутся настолько бесспорными, что мне во время моих лекций на Западе студенты, симпатизирующие Советскому Союзу, часто и не без ехидства задают один и тот же вопрос: «Скажите, а сколько вам стоило ваше образование?» На что я охотно отвечаю, что оно мне ничего не стоило, потому что я его не получил. Мои родители, интеллигентные и уважающие образование люди, элементарно не могли меня прокормить, и поэтому уже в раннем детстве я, как и миллионы моих сверстников, вынужден был бросить школу и пойти работать ради куска хлеба. В нормальной школе я окончил всего один класс — первый. Во втором и третьем я не учился. Четвертый кончил, работая в колхозе. Пятый пропустил. В шестом и седьмом учился вечерами, после восьмича-

сового рабочего дня. Затем я был призван на четыре года в армию, где учиться не разрешали ни вечером, ни заочно. На все мои обращения по этому поводу к начальству я получал один и тот же ответ: «Вы сюда пришли Родину защищать, а не учиться». После армии, работая, я окончил десятый класс (восьмой и девятый пропустил), учился полтора года в пединституте, но ушел из него по той же причине — вынужден был зарабатывать деньги на жизнь.

Я принадлежу к поколению, детские годы которого пришлось на войну. Сейчас, конечно, полегче и среднее образование молодые люди, как правило, получают. Но дать им высшее образование далеко не каждым родителям по карману.

Образование бесплатное, но еда, одежда, портфели, учебники стоят денег. Школьной подготовки для поступления в более или менее приличный институт недостаточно, и родители вынуждены нанимать своим детям репетиторов. Репетиторы берут за уроки до десяти рублей в час, а не каждый родитель зарабатывает и пять рублей в день.

Есть много институтов, куда нельзя поступить без взятки, а это сразу несколько сот рублей.

Кроме материальных причин, есть другие, специфические. В некоторые высшие учебные заведения (например, МГУ) евреев практически не принимают. В некоторые (например, институт международных отношений) вообще могут поступить только дети партийных бюрократов, дипломатов, высших военных и кагэбэшников.

Официальное отношение властей к образованию — презрительное. Это презрение пропаганда воспитывает и в школьниках. Советская печать полна негодующих статей и фельетонов о молодых людях, которые, вместо того чтобы сразу идти к станку или в коровник, стремятся в институты и университеты. Законы ставят перед выпускником школы препятствие в виде почти обязательного двухгодичного трудового стажа. Отработав два года на заводе или в колхозе или прослужив в армии, бывший школьник забывает, чему его учили, и часто вообще теряет интерес к продолжению образования, тем

более что ничего хорошего оно ему не сулит: зарплата рядового инженера, врача, бухгалтера или учителя гораздо ниже, чем заработок квалифицированного рабочего.

Конечно, даже несмотря на все эти препятствия, некоторые дети простых и малообеспеченных родителей тоже получают высшее образование, но для этого им надо проявить очень большие способности, очень сильную тягу к знаниям и готовность к самопожертвованию. Пять лет в институте они ходят полуголодные и полураздетые, подрабатывая на жизнь разгрузкой вагонов или переборкой на базах гнилых овощей. И только такой ценой получают высшее образование, которым потом их всю жизнь попрекают и требуют благодарности.

Каждый советский человек, заболев, может пойти в поликлинику, может вызвать врача на дом, может вызвать «скорую помощь», это ему ничего не стоит. Если попадет в больницу, ему счета за лечение потом не пришлют. Но...

В семидесятом году ко мне в Москву приехала из провинции моя мать. Выглядела она ужасно: худая, желтая, слабая. Я спросил, что случилось. Она сама не знала что. Какие-то боли в желудке, полная потеря аппетита, вес неудержимо падает.

А что говорят врачи? А врачи ей говорят, что у нее весенний авитаминоз, прописали какие-то витамины и сказали: «Ешьте для поднятия аппетита селедочку».

Я, конечно, в медицине не очень сведущ. Но я жил в Москве, был членом Союза писателей, у меня было много самых разнообразных, в том числе и медицинских, связей, иначе говоря, блата. Мне удалось устроить мать в Боткинскую больницу. Там ей сделали рентген и сразу же увидели то, чего не увидеть было нельзя, — огромную опухоль в желудке. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Мать прооперировали. Она прожила еще восемь лет и умерла от сердечной недостаточности. А если бы у нее не было сына в Москве?

Ну допустим, это случайность. Допустим, в провинции попался плохой, недостаточно квалифицированный или недобросовестный врач, а вообще это нетипично. Но через два года с моим отцом случилось то же са-

мое. За эти два года мои родители переехали из одного города в другой. И там у отца появились боли в районе шеи, с правой стороны. И небольшая опухоль. Врач посмотрел и сказал: «Лимфаденит» — и прописал прогревание. Отца прогревали, опухоль росла, боли усиливались, трудно стало глотать, а его все прогревали и прогревали. Наконец отец по настоянию матери и сестры приехал в Москву. Первый же врач, который его посмотрел, сказал: «Рак». Потом его смотрели другие врачи, делали рентген, брали биопсию. И установили окончательный диагноз: рак корня языка четвертой стадии. То есть последней. Надо было устраивать отца в больницу. Пользуясь всеми возможными знакомствами, я нашел, как говорится, ход на Каширку, так в просторечии называют известный московский онкологический центр. Это целый больничный город с огромными корпусами, выглядит (тут уж ничего не поделаешь) пугающе и производит впечатление фабрики смерти. Ну приехали мы туда, пошли к какой-то даме-профессору с запиской от другого профессора. Дама послала нас к мужчине-профессору. Тот предложил записаться и сдать анализы. Ну записались, ну сдали анализы, ну взяли у отца опять биопсию, вызывают меня в какой-то кабинет. Там очередь. Люди заходят по одному или по два, выходят в слезах, иногда с воплями. Ко мне подошел какой-то человек со значком заслуженного мастера спорта. Стал жаловаться. Он приехал из Ташкента, где его отказались лечить, у него вся надежда была на эту Каширку, а здесь не берут. Ни в какую. «Когда я был им нужен, — сказал он, — тогда меня от насморка лечили лучшие профессора. А теперь я не нужен. А что вы думаете, — спросил он меня, — если я упаду на улице, должна же меня «Скорая помощь» доставить в больницу?» Я не знал, что ему сказать, хотя тоже думал, что должны.

Подошла моя очередь. Я оставил отца в коридоре и вошел в кабинет. Врач говорил со мной торопливо. «У вашего отца, — сказал он, — рак в запущенном состоянии. Он неизлечим. Ему жить осталось месяца три-четыре от силы. Вы должны приготовиться, эти месяцы будут очень тяжелыми и мучительными. Мы его взять

не можем. Безднадежных мы не берем. Лечить их бесполезно, а статистику они портят».

«Но что же делать? — спросил я. — Надо же его все-таки как-то лечить». Врач мне сказал, что я могу попытаться устроить отца в больницу в городе, где он живет, но и там его вряд ли возьмут. Затем он выписал бумагу, в которой было написано: «Нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства».

Мы с женой обошли несколько московских больниц, употребили все связи, подняли на ноги всех друзей и знакомых. Наконец нашли одного врача, который работал в загородной больнице. К счастью, он оказался моим читателем и взял отца на лечение. Отца стали облучать, но не кварцевыми лучами, а радиоактивными. И произошло чудо. Опухоль стала исчезать. Через три недели отец был выписан из больницы под наблюдение врачей.

Через три года у него был рецидив болезни. Мой знакомый врач был в отпуске. Поэтому мы обошли опять несколько больниц, начиная с той же Каширки, и опять отца никуда не брали. Даже несмотря на наши сообщения о первом результате лечения¹. Наконец знакомый врач вернулся из отпуска, мы опять обратились к нему, отец прошел второй курс облучения. С тех пор прошло еще девять лет (всего двенадцать). Отец мой жив. Он старый и часто болеет, но от рака его тогда излечили. Если бы я не жил в Москве, не имел столько связей, не встретил в конце концов врача, который ко мне лично хорошо относился, отца давно бы уж не было.

Лечение бесплатное, поэтому каждого человека им попрекают. А если пенсионер, если отработал и уже государству не нужен, то и насчет лечения государство уже не очень-то беспокоится.

Мой дядя жил в областном городе на Украине. Когда

¹ Профессор Рудерман сказал мне безжалостно: «Вашему отцу осталось жить два-три месяца. Он безнадёжен, и мы его не возьмем. Нам койки нужны для тех, кому мы можем помочь». — «Профессор, — сказал я ему, — но вы однажды уже ошиблись». — «А теперь я не ошибаюсь!» — отрезал профессор и больше говорить со мной не хотел.

ему стало плохо, родственники позвонили в «Скорую помощь». Там спросили, а сколько ему лет. Семьдесят. Мы к таким не ездим, сказали в «Скорой помощи». Правда, после устроенного им скандала они приехали, но было уже поздно.

А вот бабушке моей повезло. Когда ей перевалило за девяносто, врачи стали уделять ей внимание. Участковый врач ей сказала: «Вы уж, пожалуйста, не болейте, а если что, вызывайте, я сразу приду. Вы у нас теперь должительница, вы мне нужны для статистики».

Медицина бесплатная, но лекарства — нет. Некоторые из них стоят очень и очень дорого.

А на сколько-нибудь серьезную операцию бедному человеку лучше вообще не ложиться. Под подушкой надо всегда иметь разменённые рубли. Человек только что он наркоза очнулся, лезет под подушку и протягивает нянечке рубль. Губы смочить — рубль, простыню поправить — рубль, судно принести — рубль.

А в иных больницах, где персонал избалован, и трешку. А иначе никто не подойдет и человек, перенесший сложнейшую операцию, может не перенести послеоперационного ухода.

Подавляющее большинство врачей ограничивается мизерной зарплатой и мелкими подачками от больных (например, бутылкой коньяка за серьезную операцию). Не только государство, но и пациенты труд врача оценивают крайне низко. Вот хотя бы такой пример. Полупьяный автомеханик, чиня мою машину, рассказал, что его отец тяжело болен, лежит в больнице, предстоит операция, но врачи на успех ее не надеются. Автомеханик говорил с хирургом и узнал, что тому нужно починить «Запорожец» — сломалось сцепление. Не сомневаясь в своей широте, механик сказал хирургу так: «Вот вылечишь отца, я тебе сцепление поставлю по госцене» (то есть не по спекулятивной).

Некоторые врачи, видя всеобщую коррупцию, взяточничество и воровство, тоже не хотят жить как нищие и начинают брать взятки. Одни умеренно, но появились неумеренные, и даже очень. Я знаю одного профессора, который в государственной больнице за операцию

меньше пятисот рублей не берет. И никаких страховок против таких разбойников у советского человека нет.

Так что медицина в Советском Союзе бесплатная, но доступна не каждому.

1984

| ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ

То, что квартиры в Советском Союзе стоят дешево, это всем известно. Квартиплата мизерная и чуть ли за всю историю советской власти ни разу не поднималась.

Но что это за квартиры и стоят ли они больше того, чем берет за них государство?

Сейчас, конечно, с жильем стало лучше. Вот уже лет двадцать пять, как государство стало проявлять реальную заботу о решении так называемого жилищного кризиса. Теперь в Москве большинство моих знакомых живут в отдельных благоустроенных квартирах со всеми удобствами. А вот когда-то... Впрочем, расскажу по порядку.

Я приехал в Москву в пятьдесят шестом году. Я писал стихи и надеялся, что в Москве мне легче удастся их напечатать, чем в провинции. Но что значит в Советском Союзе приехать в Москву? Надо же где-то остановиться, где-то жить. А с пропиской в Москве и вообще — трудно. Люди, чтобы прописаться, к каким только ухищрениям не прибегают. И взятки дают, и женятся фиктивно. А мне взятку давать было не из чего и жениться фиктивно не на ком, потому что за фикцию эту тоже деньги надо платить, и немалые. Но у меня зато другой козырь был: мои рабочие специальности. С ними я на стройку плотником или слесарем устроиться мог бы. Но, оказывается, не тут-то было. Как раз перед моим приездом Хрущев выступил с панической речью, что Москва перенаселяется, народу слишком много в нее приезжает и правдами-неправдами в ней остается. И надо от дальнейшего нашествия ее как-нибудь оградить. Правила прописки и раньше были строгие, а тут и совсем зверские стали. Ну и, понятное дело, стал я ходить от одного отдела кадров к другому. Прихожу: «Вам плотник или слесарь нужен?» Ну конечно же, нужен. Любой началь-

ник отдела кадров меня готов, как брата родного, обнять. Но он же знает, что неспроста я пришел, не с чистыми намерениями. И спрашивает: «А прописка у вас московская есть?» А у меня вот уж чего нет, того нет. Ну и до свиданья. А в милицию пойдешь, там и вовсе волком смотрят. Справки с места работы нет? Нет. Ну и ка- тись отсюда.

Ну и качусь.

Жил я тогда в помещении довольно обширном. Несколько тысяч квадратных метров. Я имею в виду Курский вокзал. И между прочим, за жилье это не платил ни одной копейки. Правда, были некоторые неудобства. Народу много, скамейки заняты. Ну пристроишься где-нибудь под стенкой на гранитном полу, только заснешь, милиционер будит и на улицу вытаскивает — без билета здесь спать нельзя. Ну если дождя нет, уйдешь куда-нибудь в скверик, чтобы на скамейке ночь провести, но и со скамейки гонят.

Промаялся я так несколько суток и вдруг однажды смотрю — объявление: «Принимаются рабочие для работы на железной дороге. Одинокие и семейные обеспечиваются общежитием. Прописка не обязательна. Адрес: станция Панки, ПМС» — путевая машинная станция, значит.

Через полчаса я был на этой самой ПМС, а через час уже числился там рабочим. Прописывали там немосквичей, потому что ПМС вообще-то числилась в Рязанской области, а под Москвой была вся целиком в командировке.

Но я не об этом. Я о жилье. Оно было очень дешевое. На нынешние деньги копеек, может быть, семьдесят. Но что за жилье?

Все, кто работал на станции, жили в вагончиках. Рабочие в теплушках, начальство — в пассажирских, старого, впрочем, может быть, даже дореволюционного образца. Начальство, надо сказать, было, в общем-то, небольшое. Наши вагончики были разделены пополам. В каждой половине четырехместное купе с двухъярусными полками и кухня, в которой не было ничего, кроме дровяной печки. Удобства (деревянная уборная с дырками), вода — все за углом. Надо сказать, что на этом

предприятию была большая текучка кадров. И я тоже оказался кадром очень текучим. Но начальство с этой текучкой боролось и, желая привязать к себе рабочих надолго, обеспечивало жильем не только одиноких, но и семейных и браки всячески поощряло. А жилью их, этих семейных, были те же полвагона. Я очень хорошо помню эти семейные жилища. Они отличались от наших тем, что были поаккуратнее. Занавесочки висели, герань на окошке цвела. Пеленками пахло. А теснота хуже, чем у нас. У каждого из нас всего-то имущества было, что по чемодану на брата, да и те в камере хранения. А семейные люди норовят обзавестись лишним: шкаф какой-нибудь хотят иметь, люльку для ребенка, а еще всякие тазы, кастрюли. Но поставить все это было нелегко. Поэтому и семейные жили без мебели, украшая свои жилища занавесками да дешевыми ковриками деревенского производства. С лебедями и пышногрудыми красавицами. Но и это жилье для некоторых было пределом мечтаний.

Я помню, у нас была одна девушка, очень хотела замуж. И вот во время перекуров она подсаживалась к кому-нибудь из нас, холостых парней, и заводила разговор о том, как трудно молодому мужчине жить одному, самому за собой ухаживать, самому стирать и готовить. А потом, заглядывая в глаза, улыбалась и вздыхала мечтательно: «А женатым-то полвагона дают!»

Я в этой железнодорожной организации проработал недолго. Москве нужны были строительные рабочие, и для них правила прописки вскоре были облегчены. Я перебрался в Москву и жил в общежитии. Общежитие было неплохое. Большие, по 32 квадратных метра, комнаты на восемь человек. Просторная кухня, газ, цивилизованные туалеты. Правда, горячей воды, а тем более ванной или душа, не было. Но все-таки условия по сравнению с теми, которые мне пришлось испытать до тех пор, были вполне приличными.

Здесь начальство не только не поощряло браки между рабочими, но, напротив, всячески им препятствовало. Борьба начиналась загодя. Наши воспитательницы, две здоровые и физически развитые тетяшки, бегали по этажам и вокруг дома, вылавливали влюбленные пары в

коридорах, на лестницах, в кустах, а некоторых вытаскивали и из постелей. Кричали на них, позорили их на собраниях и в стенгазете. Но все-таки инстинкт перевозмогал, и воспитательницы за всеми его проявлениями уследить не могли. Девушки и парни вступали чаще всего во временные отношения, но иногда и женились. Муж обычно поселялся у жены. Жилплощадь новой семьи ограничивалась размерами кровати. Эту кровать молодые отгораживали от остальной части комнаты простынями. Воспитательницы, а иногда и начальство, врываются в эти комнаты, срывают простыни, скандалили, гнали мужей прочь. Когда молодые спрашивали, а что же им делать, начальство отвечало: «Что хотите, то и делайте. Не надо было жениться».

Надо было или не надо, но люди все же женились, производили на свет детей. Начальство в конце концов сдалось и образцовое холостяцкое общежитие переоборудовало в так называемое семейное общежитие. Комнаты были поделены пополам. В каждую шестнадцатиметровую половину вселяли по две семьи. Одна семья у окна, другая в проходной половине — у дверей. Отгораживались друг от друга теми же самыми простынями. И так, попутно размножаясь, совершенно чужие друг другу люди жили годами.

Я в то время посещал литературное объединение, познакомился со многими москвичами-литераторами, ходил к ним в гости читать свои стихи и слушать чужие. И почти все мои новые знакомые, большинство которых родилось и выросло в Москве, жили в коммунальных квартирах. По две, по три, по четыре семьи в одной квартире, а то и побольше. Я первый раз получил комнату в квартире с коридорной системой. В нашей квартире жили двадцать пять семей. С одной кухней, с одной уборной на всех. Ну какая там была жизнь, какие скандалы внутри комнат между членами семьи и на кухне между соседями, описывать не буду. Всем жителям советских городов это все хорошо знакомо. Эти кошмарные жилищные условия, в которых существовало подавляющее большинство городского населения страны, объяснялось не только объективными трудностями, но и полным равнодушием властей. А еще и тем, что жиль-

цов общей квартиры гораздо легче контролировать. Кто варит самогон, кто рассказывает политические анекдоты — все известно. Если не ответственный квартиросъемщик, то кто-нибудь другой непременно был стукачом.

Последнее время с жильем стало легче. Вот уже лет двадцать пять, как власти решают жилищный кризис. Построено много домов. Миллионы семей получили отдельные квартиры. Другие миллионы, впрочем, доживают свой срок в общих квартирах. Очереди на отдельную квартиру дождаться не могут, а в кооператив вступить не на что. Потому что кооперативные квартиры стоят не так уж дешево и не всякому по карману. Например, моя двухкомнатная квартира стоила семь тысяч рублей. Я ее купил, потому что одно время получал довольно приличные гонорары. А рядовому рабочему, учителю или врачу где взять такие деньги?

Конечно, в отдельной квартире жить намного лучше, чем в коммунальной. Но и отдельные, как правило, довольно-таки скромны. В Москве норма на человека — 9 квадратных метров, и райисполкомы следят, как бы кто не получил лишнего. Значит, семья из трех человек редко имеет квартиру больше двух комнат. Большинство советских квартир — одно-, двух-, трехкомнатные. Я знал одну семью, у них было четыре комнаты, но семья состояла из тринадцати человек.

Такие понятия, как гостиная, столовая, спальня, детская, в языке советских людей практически отсутствуют.

У некоторых людей есть отдельные дома. Но они уж и вовсе не всякому по карману. Дом может стоить и десять, и двадцать, и тридцать, и триста тысяч рублей. А такие деньги водятся только у самых поощряемых властью писателей, академиков, у директоров магазинов, ресторанов и у воротил подпольного бизнеса.

Но у рядового советского человека, который не ворует, не спекулирует и живет на одну зарплату, таких денег нет.

Потому что труд в Советском Союзе — тоже почти бесплатный.

1984

Конечно, главные принципы в нашей советской жизни — это свобода, равенство и братство. Это каждому известно. А если кто забудет — может выйти на улицу и сразу обязательно вспомнит, потому что сейчас же где-нибудь неподалеку будет висеть большой такой транспарант, и на нем что-нибудь такое будет написано большими буквами: СВОБОДА, например, или РАВЕНСТВО, или БРАТСТВО. Так что даже если хочешь забыть, то тебе об этом напомнят.

А все-таки случаются еще иногда в нашей повседневной жизни отдельные случаи проявления неравенства, что вызывает, конечно, нарекания со стороны трудящихся масс. Некоторые даже проявляют недовольство, брюзжат, создавая вокруг себя нездоровые настроения. Почему, мол, одному то-то и то-то, а другому ни того, ни того-то. Но при этом не понимают, что у нас еще полного коммунизма нет, а есть только социализм. А при социализме, как известно, никакой уравниловки нет и быть не должно. От каждого по способности, каждому по чину. Это еще Маркс сказал. Или Ленин. А может, я и сам так придумал, я уже точно сейчас не помню. Во всяком случае, я вам так скажу, что привилегии — это дело хорошее. Конечно, для тех, у кого они есть. Но тоже я бы сказал — дело хорошее, но не всегда. На почве разницы в этих привилегиях иногда такие неприятности случаются, что иной раз задумаешься, может, этих привилегий лучше и совсем не иметь.

Ну вот хотя бы такой случай.

Один большой, очень большой писатель из одной не очень большой азиатской или, может, кавказской даже республики приехал однажды в Москву по делам. Само собой, привез подарки всякие своим московским собратьям по перу и всему другому. Собратья его — люди важные. Один — секретарь Союза писателей, другой — главный редактор журнала, третий — директор издательства, четвертый — в комитете по Ленинским премиям шишка. И каждому же надо привезти сувенир какой-нибудь, что-нибудь такое из местных народных промыслов, какой-нибудь, скажем, ковер или блюдо серебря-

ное, или еще что-нибудь недорогое, рублей, скажем так, за пятьсот-семьсот. Ну само собой, всякие сладости восточные, кишмиш, дыни, чурчхелу или что-то подобное. Коньяку ящик тоже привез. Поскольку он был действительно большой писатель и даже чуть ли не основоположник своей национальной литературы, то поселился он, как всегда, в гостинице «Москва», куда, между прочим, кого попало не пустят. Ну как он там с братьями со своими встречался, кого сам посещал, кто к нему в гостиницу приходил, сейчас подробно описывать не буду. Скажу только, что много было выпито и много закусено, много было тостов всяких произнесено. И за дружбу народов, и за расцвет нашей многонациональной литературы, и за дорогого гостя, и за дорогих хозяев, так что того ящика коньяку, который он с собой привез, даже и не хватило, пришлось второй закупать уже здесь, на месте. И к тому времени, когда уже и второй ящик к концу подходил, до того наш герой допился и до того докушался, что однажды ночью стало ему нехорошо. Проснулся писатель среди ночи, чует в груди: бу-бух, бу-бух. А потом что-то ка-ак саданет, будто сердце шампуром, как барана, проткнули. И чувствует писатель, что вроде он как-то бледнеет и как-то вроде слабеет, — помирает, короче.

А был приезжий этот писатель хоть и большой, да глупый. И с такими людьми в Москве общаясь, многого еще в столичной жизни не освоил. Лежит он себе на кровати, одной рукой за сердце хватается, другой телефон к себе придвигает и дрожащим пальцем набирает 03.

Ну это, как известно, наша «Скорая помощь», самая скорая в мире. Не успел писатель концы отдать, а она уже тут как тут.

Открывается дверь, врывается в номер доктор с чемоданчиком, врывается санитар с ящиком, которым кардиограмму пишат, врывается другой санитар с носилками: две палки, а между ними парусина. И коридорная испуганно в дверь тоже заглядывает. Доктор, понятно, спросил, на что больной жалуется, а тот даже не жалуется, только мычит и пальцем себя в левую сторону

тычет. Доктор время терять не стал, кардиограмму сделал, давление смерил, пульс посчитал.

— Ну что? — спрашивает больной еле слышно и при этом волнуясь, конечно.

— А ничего, — говорит доктор. — Ничего определенного пока сказать не могу, но думаю, что у вас такой это небольшой обширный инфаркт. А больше совсем ничего.

Больной, слыша такие слова, глаза закатил и лежит, не дышит. Сердце дергается, больно, ноги холодеют, язык пересох, писатель волнуется, а волноваться ему как раз и нельзя.

— Да вы ничего, — говорит доктор, — вы, аксакал, не волнуйтесь, мы вас доставим в больницу, а для начала укольчик.

Достает из чемоданчика шприц со здоровенной иглой, и иглу эту куда надо, то есть в мышцу, засаживает. А затем переваливает нашего писателя с дивана на носилки, дает знак санитарам, те носилки подхватывают и волокут их к дверям. А в это время двери эти распахиваются, и в номер врывается дежурный администратор и за ним опять коридорная. Как увидел администратор санитаров и доктора, встал перед ними, руки раскинув в стороны. «Кто, — говорит, — вы такие и куда его тащите?» Доктор вежливо объясняет, что они — «Скорая помощь», а тащат они больного вниз к машине для доставки к месту лечения.

Администратор говорит: я его выпустить не могу, ставь носилки обратно на пол. Доктор объясняет, что на пол носилки поставить не может, потому что больной срочно нуждается в помощи.

Администратор говорит: нуждается не нуждается, не вашего ума дело, а я товарища выпустить не могу, поскольку он — ДВС.

— Дэвэ кто? — переспрашивает доктор.

— Дэвээс, — повторяет администратор и объясняет доктору, который не понял, что ДВС — это значит депутат Верховного Совета.

Доктор говорит, я не знаю, ДВС он или ДОСААФ, меня это не касается, для меня все люди равны, и ссылается на клятву Гиппократу, которую он, между про-

чим, не давал, потому что у наших врачей своя есть клятва, советская.

Администратору, само собой, на Гиппократа этого с высокого дерева наплевать и на его эту клятву тоже.

Врач в конце концов сдается и звонит в центральную, сообщает, что администрация гостиницы препятствует исполнению врачебного долга. Центральная сначала думает, а потом говорит, черт с ним, с этим администратором, если больного не отдает, пусть даст расписку, что за возможные фатальные последствия он берет ответственность на себя. Администратор расписки не дает, больного не выпускает и сам звонит по какому-то номеру. «Пришлите, — говорит, — карету специальной «Скорой помощи», у меня тут ДВС загибается».

Время идет, больной лежит, администратор сидит, врач стоит, коридорная смотрит в окно, санитары вышли в коридор покурить.

Часу не прошло, врывается еще один врач, кремлевский, с медсестрой и четырьмя санитарями. Носилки, между прочим, уже не брезентовые, а кожаные.

Пошептался кремлевский врач с приехавшим ранее, выяснил, какие меры были приняты, вкатил еще один шприц больному и приказал санитарам перевалить его с парусины на кожу.

Администратор помягчел, выдал ранее приехавшему справку, что в его помощи никакой необходимости нет, и тот со своими санитарями и носилками отправился к лифту.

А вновь приехавший врач придвинул к себе телефон и звонит в свою центральную, в какой из филиалов Кремлевской больницы доставить больного.

Те спрашивают, а как его фамилия. Врач спрашивает у администратора, администратор отвечает врачу, тот отвечает центральной. Потом небольшое молчание, потом врач говорит: «Понятно», — потом поднимается и администратору холодно так говорит: «Что вы глупости, говорит, городите, что вы панику поднимаете и занятых людей в заблуждение вводите, когда больной ваш вовсе не ДВС, в списках ДВС его фамилии нету».

Администратор слегка бледнеет, смотрит вопроси-

тельно на больного, тот слегка очухивается и говорит слабым голосом: «Давай сыр!»

Кремлевский врач слегка рассердился, какой, говорит, тебе сыр, когда тебе о Боге пора подумать. И говорит администратору: «Где там этот ваш врач для простых людей, пусть он этого больного теперь себе берет, а нам с ним возиться некогда».

Администратор посылает коридорную за простым врачом, та вниз по лестнице летит быстрее скоростного лифта. Перехватывает доктора на самом выходе, загоразживает дорогу. «Вертайтесь, — говорит, — обратно, поскольку больной оказался не ДВС». Доктор отказывается, потому что ему это дело надоело, справка от администратора у него есть, а клятву Гиппократа он не давал.

Но коридорная подзывает швейцара, и вдвоем они доктора кое-как уговаривают, обещая ему и санитарам по полкило охотничьих сосисок из ночного буфета.

Доктор и санитары возвращаются в номер и опять перекалывают больного с кожи на парусину. А тот уже совсем плох, глаза закачены, щеки серые, губы синие, изо рта пена идет коричневая, коньяком пахнет. Больной сучит ногами и хрипит, и слова все те же выхрипывает: «Давай сыр! Давай сыр!»

— Что это он говорит? — спрашивает обыкновенный врач необыкновенного. — Какой еще сыр? При чем тут сыр?

— Восточный человек, — говорит врач необыкновенный. — Привык есть сыр. Без сыра и помирать не желает.

— Пойдите, — говорит администратор обоим врачам, — он, может быть, не про сыр говорит, а про что-то другое. — Наклоняется к больному и спрашивает его как-то непонятно: «Дэвэсээр?»

— Дывысыр, дывысыр, — хрипит больной, соглашаясь.

— Ну вот видите, — говорит администратор кремлевскому доктору. — Я же вам говорил. Он депутат Верховного Совета республики. Не ДВС, а ДВСР. Кладите его обратно. — И сам хватает больного за ноги, чтобы перетащить с парусиновых носилок на кожаные.

— Стоп! Стоп! Стоп! — говорит кремлевский доктор,

отрывая администратора от больного. — Мы перевозим только депутатов Верховного Совета СССР, а для давай-сыров другая «Скорая» есть.

В это время обыкновенный доктор кивнул своим санитарам, и они вместе с парусиновыми носилками и с ящиком, которым кардиограммы делают, не дождав-шись обещанных ночных сосисок, сбегают.

А больной уже и вовсе глаза закрыл, не хрипит и не дергается. Дергается администратор, понимая, что больной — депутат хоть и не СССР, а республики, а и за него отвечать придется. И требует администратор от кремлевского доктора, чтобы тот вез больного куда хочет, лишь бы из гостиницы. А доктор, поупиравшись, звонит снова в свою центральную и говорит: так и так. А те сначала с кем-то связались, с каким-то ночным начальником этот вопрос согласовали, проявили гуманность и говорят: хорошо, в порядке исключения разрешаем использовать перевозку для дэвэсээр.

Так что в конце концов писателя вытащили наружу и повезли в Кунцево. Если бы был он ДВС, может, его успели бы довести. Если бы был простой человек — тем более. А он был ни то ни се. Так что привилегии дело, конечно, хорошее, но иногда лучше без них.

1985

| ЭТО ЧТО ЗА РАЗДОЛБАЙ?

Утверждение, что в Советском Союзе нарушаются права человека, не совсем правильно, потому что нельзя нарушать то, чего нет.

Все провозглашенные Советской Конституцией права и свободы являются фикцией. Право на труд на самом деле является обязанностью. Человек, уклоняющийся от так называемого общественно полезного труда, то есть от работы в колхозе, на заводе, в государственном учреждении, подлежит уголовному наказанию «с обязательным привлечением к труду». Закон о тунеядцах власти самым циничным образом используют против инакомыслящих. Их лишают работы, а потом судят за то, что они не работают. В лагерях их калечат непосильной

работой, а в местах ссылки они тоже не имеют права, а обязаны заниматься неквалифицированным трудом (физик с мировым именем Юрий Орлов работает сторожем, а математик Татьяна Великанова банщицей).

В Конституции записано, что каждый человек, достигший определенного возраста, имеет право выбирать и быть избранным. Но избирают только тех, кого назначает партия. А право выбирать также является обязанностью. Ежегодно советские люди участвуют в «выборах» в верховные или в местные органы власти. Их участие состоит в том, что человек идет на избирательный участок, берет бюллетень, в котором указана только одна фамилия, и опускает его в урну. На избирательных участках стоят, правда, задернутые шторами кабинки для «тайного» голосования, куда человек может зайти, вычеркнуть эту одну фамилию, написать другую или неприличное слово, но даже сам по себе заход в эту кабинку будет кем-нибудь отмечен, и в досье совершившего этот «антиобщественный» поступок гражданина появится соответствующая отметка. Всякое уклонение от осуществления этого «права» будет также отмечено и учтено при распределении премий, квартир, путевок в дом отдыха и, без всякого сомнения, при решении вопроса о заграничной поездке. Вся эта процедура, называемая выборами, может показаться совершенно бессмысленной: 99% граждан выбирают не четверть, не половину, а все 100% назначенных партией кандидатов. На самом деле она вовсе не бессмысленна: она является регулярно проводимой всеобщей проверкой готовности советских граждан играть в эту игру, проверкой их лояльности.

То же происходит со всеми провозглашенными свободами: печати, собраний, демонстраций и т.д. Действительно свободные собрания и демонстрации наказуемы как уголовные преступления, а на собрания и демонстрации, организуемые властями, людей гонят насильно. Уклонение от них рассматривается как проявление нелояльности.

Говоря о нарушении прав человека, мы имеем в виду обычно какие-то религиозные, национальные, социальные группы, мы говорим, что нарушаются права верую-

щих, рабочих, писателей. Это тоже неправильно. В Советском Союзе есть много людей, обладающих теми или иными привилегиями, но бесправны все, включая самых высших советских руководителей. Я бы даже сказал, что высшие руководители в некотором смысле еще бесправнее рядовых советских граждан. Они не только обязаны неукоснительно соблюдать все правила и ритуалы, принятые в их среде, не только живут в постоянном страхе друг перед другом, но и от самих привилегий отказаться не могут. Если даже представить себе, что высший партийный чиновник вдруг захотел отказаться от пользования распределителем, можно не сомневаться, что этот жест будет воспринят как протест против существующей системы и чиновник наверняка потеряет свой пост. А потеряв его, он сразу становится никем.

Расскажу такую историю.

Станция метро «Аэропорт», возле которой я жил последние свои годы в Москве, находится на Ленинградском проспекте. По этому проспекту я часто гулял. Однажды шел я по одной стороне проспекта, а затем решил перейти на другую. Приблизился к перекрестку, вижу, посреди милиционер знакомый стоит. (Я его часто встречал, гуляя.) В зубах сигарету держит, в руке — палку. На плече — приемник-передатчик «волки-толки» висит. Приближаюсь я к милиционеру, собираюсь с ним поздороваться, вдруг замечаю, что с ним происходит метаморфоза. Прикладывает он свои «волки-толки» к правому уху, потом бросает, сигарету изо рта выплевывает, вставляет вместо нее свисток и свистит, как полоумный. Тем, которые еще не выехали на шоссе, чтоб не выезжали, а тем, которые уже там, чтобы свернули в сторону. Палкой машет, и кулаком грозит, и в свисток свистит. А затем слышу приближающийся воющий звук: ууу-у-у-у!

И вот несется кавалькада. Впереди немецкая «БМВ» канареечного цвета, за ней черная «Волга», за ней длинный и черный «ЗИЛ», за ним еще такой же с кузовом универсал, реанимационный, за ним еще «Чайка» и две «Волги» — все черные. Сирена воеет, шины шуршат, мигалки мигают, а канареечная машина вылаивает:

— Граждане, воздержитесь от перехода! Водители, освободите проезжую часть!

Милиционер отскочил в сторону, вытянулся, руку к виску прилепил, пожирает глазами машины, а они летят, как снаряды, километров сто пятьдесят в час, не меньше, одна за другой.

Наконец милиционер расслабился, за сигаретами полез, перекресток оглядывает и меня видит. «А, привет», — говорит.

— Кто, — спрашиваю, — проехал? Не Брежнев ли?

— Да нет, — говорит, — не Брежнев, а Кириленко. Сам-то я его не видел, за занавесками разве углядишь?

Оказалось, у него спички кончились. Я ему дал прикурить, он сигаретой к огню тянется, а рука дрожит.

— Чего, — спрашиваю, — ты так волнуешься? Первый раз, что ли, у тебя тут такой переполох?

— Первый не первый, — говорит, — а каждый раз страшно. У нас тут один стоял тоже, пуговицу забыл застегнуть. Так этот, который за занавесками там был, на скорости сто пятьдесят километров в час углядел. Машины еще из виду не скрылись, а на столе у начальника городской ГАИ уже вертушка звонит: «Что это за раздолбай у тебя там стоит напротив «Динамо»?»

А начальник городской ГАИ не спрашивает, в чем дело, почему раздолбай. Он боится. Он начальнику нашего отделения сразу звонит и спрашивает тоже: «Что там у тебя за раздолбай стоит напротив «Динамо»?» И хорошо еще, что начальник наш ничего мужик оказался. Он этого, которого раздолбаем назвали, с Ленинградского проспекта на Масловку перевел, чтоб глаза не мозолил. А мог бы и премии лишить, и звание задержать, и пойдти, жалуйся кому хочешь. Какие у милиционера права? Вот у него, который за занавесками, у него права...

Это милиционер так думал. И в самом деле. Кто он, этот милиционер? Никто. А Кириленко?

Когда я жил в Москве, Кириленко был еще на вершине власти. Он занимал в партии второй пост после Брежнева. И когда Брежнев ездил за границу или принимал лечебные процедуры, Кириленко вел заседания

Политбюро и вообще управлял государством. И пока находился он на своем высоком посту, пока ездил на нескольких машинах, чего у него только не было. И квартиры, и дачи с отгороженными от людей лесами, полями, реками и километрами морских побережий. Как-то был я в Сочи и увидел там на причале корабль. Не то крейсер, не то эсминец, я в этом не очень разбираюсь. Помню только, что корабль был военный, пушки из него и пулеметы торчали, и местные жители мне сказали, что это прогулочный корабль Кириленко. Он когда сюда приезжает, на этом корабле в море выходит. Но приезжал Кириленко редко, а матросы драили палубу часто. Вдруг хозяин придет да захочет проветриться. Короче говоря, важный был человек Кириленко, не нам с вами чета.

А вообще я о Кириленко об этом и не вспомнил бы, если б не случай один. Фатальный, между прочим, случай. Я имею в виду тот случай, когда Брежнев скончался. А я его похороны смотрел в Америке по телевизору. Смотрел, как везли его на лафете орудия, как прусским гусиным шагом вышагивали наши советские солдаты. А за лафетом процессия: члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, маршалы, вдова, дети, родственники, прихлебатели, кагэбэшники. И вдруг в толпе этой, смотрю, бочком как-то, робко передвигается странный какой-то человек, который вроде и участвует в этой процессии, и в то же время как будто он здесь совсем чужой. Одет, правда, неплохо. Зимнее пальто, каракулевый воротник, лапаха тоже каракулевая. По виду, повадкам похож на председателя колхоза, который из глубокой провинции приехал хоронить именитого родственника. «Что еще за раздолбай?» — думаю. А потом пригляделся: да это же совсем не раздолбай, а лично товарищ Андрей Павлович Кириленко.

Я даже глазам своим не поверил. Как это, второй человек в государстве, а идет так демократично, не в первых рядах и не в задних, идет как бы вместе со всеми и отделенный от всех незримой чертой, как прокаженный.

Тут, правда, все и разъяснилось: телевизионный комментатор подтвердил мою догадку, что Кириленко

месяц или два тому назад на чем-то погорел и места своего в Политбюро лишился.

И стало мне интересно, о чем думает сейчас товарищ Кириленко, какие антисоветские мысли роятся под его папашой. Ведь не может же он не чувствовать себя оскорбленным! Ведь пятьдесят лет служил партии и за страх, и за совесть, сорок пять лет на руководящей работе, двадцать с лишним лет заседал в Политбюро, а по праздникам стоял рядом с Леонидом Ильичом на трибуне Мавзолея и милостиво приветствовал ликующие толпы демонстрантов, над головами которых покачивались бесчисленные его портреты. Эти самые люди, которые идут сейчас рядом с ним в похоронной процессии, встречали его появление аплодисментами, лъстивыми улыбками, сломя голову кидались выполнять любое его желание. А теперь они его не замечают, и даже тот, который зонтик над его головой держал, теперь от товарища Кириленко морду воротит.

Ну не обидно ли?

А родственникам его какво?

Ну вот умри он, скажем, вовремя. И его бы сюда привезли на лафете. И над ним бы речи произносили печальные. И родственникам было бы приятно получать потом персональные пенсии. А теперь ему-то, конечно, персональная, а им шиш. Потому что они теперь родственники не выдающегося деятеля партии и государства, а всего лишь — персонального пенсионера.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что судьба Кириленко или его родственников меня как-то особенно заботит. Заботит меня другое: почему в этой стране даже ее руководители не имеют никаких прав? Теперь, конечно, не то, что раньше, раньше таких-то просто отстреливали. А теперь им дожить дают, но в забвении и позоре.

«Не место красит человека, а человек место», — гласит русская народная мудрость. Но как же неприменимо это к сегодняшней советской жизни. Сегодня — вообще никто ничего не красит. Не о том речь. Важно только место — за занавесками, в несущейся и пугающей народ кавалькаде, на трибуне Мавзолея и, наконец, в Кремлевской стене...

Очень хорошо понимают это и сами руководящие работники. Рассказывали мне как-то про другого члена Политбюро, товарища Полянского Дмитрия Степановича. Приехал к нему однажды друг из Краснодара, может, они в ВПШ вместе учились, а может, какие-то другие подвиги в своей комсомольской юности совершали, этого мне, правда, не сказали, но приехал он к своему преуспевшему товарищу, пришел на квартиру с подарками, а хозяина дома нет. Жена говорит: «Митя выступает сейчас перед коллективом фабрики «Трехгорная мануфактура». Наконец приходит и сам хозяин — с отрезом сукна под мышкой. Перехватил недоуменный взгляд гостя и говорит: «Это мне работницы фабрики подарили». Гость удивился: «Митя, — говорит, — да зачем же тебе этот отрез? Ты же член Политбюро нашей партии, у тебя же есть все, чего ни пожелаешь». — «Да, — говорит Митя, — пока я член Политбюро, у меня есть все. А вот когда меня выгонят, тогда неизвестно, что будет. Может, еще придется этот отрез на рынок нести, чтобы прожить». И как в воду глядел, выгнали-таки его. Но все-таки судьба его столь печальной не оказалась, сначала его послом куда-то отправили, а уж потом на пенсию перевели, на персональную. Надеюсь, что на жизнь ему хватает и отрез на рынок нести пока не пришлось. Хотя и новых ему уже никто на дарит. Кому он нужен теперь, зачем?

Вот я вам скажу, смотришь здесь, на Западе, телевизор, читаешь прессу и что видишь? То бывший американский президент Никсон мемуары пишет про свой Уотергейт, то, мало ему этого, так еще по телевизору на пресс-конференции выступает, то бывший немецкий канцлер Хельмут Шмидт часовую речь по телевизору держит от своей социал-демократической партии, а другие ему, понимаете ли, еще овации устраивают, и всякие там конгрессы, митинги, дискуссии, да что же это такое?

А несправедливость, вот что. Из наших — один только Хрушев написание мемуаров решил, а потом сам же в газете отрекся и свое собственное сочинение враждебной фальшивкой называл. Или как-то еще, я точно

не помню. А другие молчат и доживают свои дни в забвении и даже напомнить о том, что они живы, боятся. И мы не всегда и знаем, кто из них жив, а кто умер. Ну вот про Молотова недавно узнали, что жив и на девяносто четвертом году вернулся в родную партию. А где сейчас его боевые соратники? Где Маленков, Каганович, Шепилов, Шелепин, Шелест? В советской печати их имен не найдешь. В советских энциклопедиях упоминаются разные люди, не всегда даже советской власти приятные. Там есть и Гитлер, и Гиммлер, и Геринг, и Геббельс, но этих, наших, которых я перечислил, их нет нигде.

Хрущев в свое время пытался демократизировать партию и ввел в устав пункт о постоянной сменяемости высших партийных кадров. Это и стало одной из причин его собственного падения. Свергнув Хрущева, его преемники этот неприятный им пункт из устава немедленно вычеркнули. И сами себя обрекли на то, что сойти с политической сцены с почетом можно, только умерев на посту.

Какие уж тут права человека?

Вот уж, действительно, не могу себе даже вообразить людей более бесправных, чем бывшие руководители Советского государства.

| НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО

Последние годы моей жизни в Москве меня время от времени навещал приезжавший из провинции начинающий писатель. Он жаловался, что его не печатают, и давал мне на отзыв свои романы и рассказы, которые он писал в большом количестве. Он был уверен, что его сочинения не печатают из-за их слишком критического содержания. Они и в самом деле содержали в себе критику советской системы, но у них был и еще один существенный недостаток — они были безнадежно бездарны. Приходя ко мне, этот человек иногда просил, а иногда просто требовал, чтобы я отправил его рукописи за границу и там их напечатал. Я отказывался. Тогда он решил пойти в КГБ и предъявить им ультиматум: или они отда-

дуг приказ немедленно опубликовать его произведения, или он немедленно покинет Советский Союз.

Свой разговор в КГБ он пересказывал так.

Как только он вошел в здание КГБ, к нему подошел какой-то человек и сказал ему:

— Ах, здравствуйте, наконец-то вы к нам пришли!

— Разве вы меня знаете? — спросил писатель.

— Ну кто ж вас не знает, — развел руками кагэбэшник. — Садитесь. С чем пришли? Хотите сказать, что вам не нравится советская власть?

— Да, не нравится, — сказал писатель.

— А чем именно она вам не нравится?

Писатель сообщил собеседнику, что, по его мнению, в Советском Союзе нет никаких свобод, в том числе и свободы творчества. Права человека подавляются, уровень жизни неуклонно падает. Высказал и другие критические соображения, всего примерно лет на семь.

Выслушав его очень вежливо, кагэбэшник спросил:

— А зачем вы мне это рассказываете?

— Я хочу, чтобы вы это знали.

— А мы это знаем. Это все знают.

— Но если все это знают, надо же что-то делать!

— Вот в этом вы ошибаетесь, ничего делать не надо.

Удивленный таким разговором, писатель замолчал и продолжал сидеть.

— Вы мне все сказали? — вежливо спросил кагэбэшник.

— Все.

— Так чего же вы сидите?

— Я жду, когда вы меня арестуете.

— А, понятно, — сказал кагэбэшник. — К сожалению, сегодня арестовать вас никак невозможно, у нас очень много дел. Но если это желание у вас не пройдет, приходите в другой раз и мы сделаем для вас все, что сможем.

И выпроводил писателя на улицу.

Писатель этот навещал меня еще пару раз, а затем исчез. Я думаю, что в конце концов он своего добился и теперь его где-нибудь лечат от инакомыслия.

1984

Сколько я его знаю, он ходит в одном и том же осеннем пальто, с одним и тем же потертым портфелем.

— Олег, — спрашиваю я его, — почему вы на этот раз не взяли деньги со своего пациента?

— Понимаете, он оказался очень интересным собеседником, — смущенно улыбается Олег. — После осмотра мы целый час проговорили, а после этого деньги брать было совершенно неудобно.

— Ну да, конечно. Зато очень удобно после целого дня работы в больнице тащиться к этому пациенту в трамвае и давиться в метро. Взяли бы за визит хотя бы десятку, как это делают другие. Ведь это же работа.

— Ну да, десятку. А если у него нет десятки?

Пациенты, к которым он ездил, всегда казались ему или бедными, или чрезвычайно приятными собеседниками, у одного из них как раз перед его визитом ушла жена, у другого были неприятности на работе. Разве можно с таких брать деньги?

— Вот попадетсЯ какой-нибудь богатый клиент, с него обязательно возьму.

Я ему говорю, что я как раз и есть богатый клиент, потому что у меня только что приняли киносценарий. Правда, тут же после принятия его зарубили, но получить деньги за него я успел.

— Если вы не будете брать деньги у меня, я у вас принципиально не буду лечиться. Пойду в поликлинику и буду стоять там в длинной очереди.

— А вам вообще лечиться не надо, потому что вы здоровы как бык.

— Если я здоров, зачем же вы меня только что прослушивали?

— Я вас прослушивал, потому что на работе мне выдали новый стетоскоп и мне хотелось его проверить.

— Это очень остроумно, но когда вас приглашают пациенты, они хотят получить квалифицированную помощь, не выходя из дома, и готовы за это платить.

— А я, признаться, думал, что им интересно поговорить с умным человеком.

— Если бы вы были умным, вы бы не сидели два-

дцать лет на должности рядового врача, а давно защитили бы диссертацию и получали бы не сто тридцать рублей, а по крайней мере двести пятьдесят.

— Вы хорошо знаете, что никакой диссертации я защитить не могу. Для диссертации нужно иметь положительную характеристику от парткома и месткома больницы, а у меня репутация отсталого и общественно пассивного человека. Я не хожу на собрания и политзанятия, не участвовал в обсуждении книги Брежнева «Малая земля», не был на митинге солидарности с народом Чили и на субботнике в честь дня рождения товарища Ленина, а в парткоме больницы имеются сведения, что я регулярно посещаю церковь, хотя это неправда, я посещаю ее нерегулярно.

Я очень хорошо его понимаю, но мне жалко, что такой прекрасный доктор прозябает на должности рядового врача, хотя при его способностях он мог рассчитывать на гораздо большее. И я говорю ему опять то, что он уже тысячу раз слышал от других. Что все эти собрания, митинги и политзанятия не более чем идиотский ритуал, который люди исполняют, не вдумываясь, и который дал бы ему возможность успешно заниматься медициной на более высоком уровне. Если же он совершенно не может соблюдать этот ритуал, тогда он должен сосредоточиться на частной практике и зарабатывать деньги таким образом, благо в нашем обществе для врачей эта лазейка еще существует.

Он улыбается, кивает головой и даже отчасти со мной соглашается. Как-то он рассказал мне о хирурге, докторе наук, профессоре, члене бюро райкома и депутате райсовета. Делая операцию в казенной больнице, этот депутат берет за нее не меньше пятисот рублей.

— Ну вот, — говорю я, — вот видите!

— Неужели вы хотите, чтобы я стал таким же бандитом?

— Стать таким бандитом вам не грозит, но можно же быть хоть чуть-чуть попрacticalней. С какой стати вы должны ходить в этом потертом пальто и экономить каждую копейку, если вы все-таки ездите к вашим клиентам?

— Ну вот попадетсЯ действительно богатый клиент, с него уж обязательно возьму. — Этим обещанием обычно заканчивался наш разговор.

Один раз попался-таки ему генерал, который не подходил ни под одну категорию людей, с которых невозможно было взять деньги за лечение. Генерал не был беден, не выглядел слишком несчастным, его генеральша не собиралась от него уходить, и особенно приятным собеседником его, очевидно, тоже назвать было трудно. Генерала мучили какие-то странные колики, о причине которых ни военные, ни кремлевские врачи не могли никак догадаться. Посетил наш доктор этого генерала в его квартире, набитой коврами, хрусталем и старинной мебелью, определил, от чего колики, назначил лечение, собрался домой. Тут генеральша вынесла ему конверт с вложенной в него купюрой.

— Но вот тут, — рассказывал мне потом Олег, — посмотрел я еще раз на все их ковры и вазы и подумал: «А вот с вас-то, господа, я как раз и не возьму».

И не взял.

И когда я думаю об этом докторе, мне приходят на память встреченные в жизни другие люди: учителя, врачи, архивисты в засаленных пиджаках, машинистки, музейные работники, которые работают часто всю жизнь на самых низких должностях за самую низкую плату (помню даже одну старушку, которая, окончив в молодости Сорбонну, со знанием шести языков работала в санатории уборщицей). Постоянно уклоняясь от участия в общей лжи и лицемерии, они ухитряются сохранить свои души в неприкосновенности и рассеивают вокруг себя свет добра, человечности и душевного благородства. В них нет того тщеславия, которое толкает иногда людей на гражданскую деятельность, они совсем не похожи на героев, но их трудно развратить подачками, запугать угрозами и даже сломить тюрьмой. Тихие, застенчивые, незаметные, они никогда не произведут никакого переворота, не возглавят никакого движения, никого никуда не призывают и ни в чем не уличают. Таких людей немного, но благодаря им не горят рукописи, не стирается память о прошлом и сохраняется атмосфера, в которой понятия чести и совести еще не утратили совсем своего значения.

Сахарова я «рассекретил» раньше, чем это сделали советские власти, и вот каким образом.

Году, я думаю, в 1964-м сидел я в редакции одного московского журнала и в ожидании вышедшего куда-то редактора листал лежавший у него на столе справочник Академии наук СССР. Все действительные академики, а может быть, и члены-корреспонденты были помещены в этой книге, указывались их фамилии, имена-отчества, должности, адреса и телефоны, домашние и служебные. Помню, я удивился, узнав, что у академика Шолохова есть два адреса — в станице Вешенской и московский, которого не было, например, в справочнике Союза писателей. Исключительно ради любопытства стал я выискивать разные известные мне имена и вдруг увидел, что, оказывается, адреса и телефоны не всех академиков здесь обозначены. Например, против фамилии «Микулин» не было ни одного адреса и ни одного телефона, там стояли только загадочные три буквы «ОТН». И все. Поскольку я когда-то служил в авиации и знал, что Микулин — известный авиаконструктор, я подумал, что, наверное, он так сильно засекречен, потому что имеет дело с ракетными двигателями, и, значит, самые секретные академики — это те, у которых нет адресов и телефонов. Для проверки я нашел Королева (все знали, что он самый секретный), против этой фамилии тоже стояли эти три загадочные буквы. Ага, сказал я себе самому, сейчас мы вычислим самых секретных. Кажется, во мне пропадает совсем неплохой детектив. Стал листать справочник дальше и дошел до неизвестного мне имени: САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — ОЯФ. ОЯФ оказалась мне еще более загадочной аббревиатурой, чем ОТН, может быть, поэтому и сам Сахаров показался более загадочным, чем другие. Поэтому, встретив знакомого физика, я спросил его, кто такой Сахаров. Физик объяснил мне, что Сахаров изобрел водородную бомбу, что он гений и, как все гении, слегка чудаковат, например, сам ходит в магазин за молоком. То есть не совсем сам, его постоянно сопровождают несколько «секретарей» (так на специальном жаргоне называют телохрани-

телей), которые держат в карманах руки, а в руках пистолеты со снятыми предохранителями. Этим «секретарям» спокойнее было бы бегать за молоком самим, но гению, создавшему водородную бомбу, почему бы и не почудить? В рамках, допускаемых специальной инструкцией. Сразу оговорюсь, что я этого физика не проверял и за достоверность изложенных им сведений ручаться не буду.

В 1968 году имя Сахарова стало известно всему миру, после выхода его сочинения «Размышления о мире, прогрессе и мирном сосуществовании». Он вызывал любопытство многих и мое тоже.

Прошло еще лет пять, Сахаров стал уже и вовсе легендарной фигурой, некоторые из моих знакомых знали его лично, мне же встречаться с ним не приходилось, а идти знакомиться специально, чтобы «выразить восхищение» или «пожать руку», я не умею (и не люблю, когда кто-нибудь с подобной целью приходит ко мне).

Но за тем общественным делом, которым Сахаров занимался, я следил постоянно и о нем самом думал много.

Однажды в Театре на Таганке давали премьеру чего-то. И, как всегда на премьерях этого театра, было очень много важных людей (как говорят по-английски: *very important people*), включая члена Политбюро товарища Полянского. Одним из довольно важных был мой товарищ, известный писатель А. (беру специально первую букву алфавита, чтобы не мучить любопытных в напрасных догадках). Он стоял с каким-то высоким человеком, а когда я подошел, сказал: познакомьтесь. Мы с этим высоким пожали друг другу руки, я пробурчал свою фамилию, он свою, я, ее не расслышав, сказал пару слов о спектакле и отошел. Спектакль был утренний, потом у меня были еще какие-то дела, а вечером гости, и, только ложась спать, я вспомнил театр, людей, которых там встретил, писателя А. и его собеседника. Что-то в нем было странное, чем-то он отличался ото всех остальных (включая товарища Полянского), что-то было в нем такое... Да это же Сахаров! — вдруг понял я.

А как же я догадался? Я знал, конечно, что А. знаком с Сахаровым, но мало ли с кем он знаком. А ведь Саха-

ров ничего мне такого особенного не сообщил, не высказал никаких гениальных мыслей, только пробурчал фамилию, которую я не расслышал. Почему же я теперь понял, что это он?

Объясняю: потому что на нем был отпечаток очень незаурядной личности.

Мне приходилось встречать в жизни нескольких выдающихся людей. И я берусь утверждать, что среди них не было ни одного с заурядным и постным лицом. Заурядные и постные лица бывают только у заурядных и постных людей.

На другой день я позвонил А., чтобы проверить свою догадку.

— Что же ты, — сказал он с упреком, — сразу повернулся и пошел. Андрей Дмитриевич был очень удивлен.

Мне стало ужасно неловко. Положение Андрея Дмитриевича уже было такое, что многие опасались с ним общаться, а мне быть в их числе не хотелось.

Короче говоря, я воспользовался первым предложением, позвонил и стал время от времени бывать в знаменитой квартире на улице Чкалова.

Не могу сказать, что я дружил с Сахаровым, и даже не уверен, что мои посещения бывали ему необходимы, но все свои выходившие уже за пределами Отечества новые книжки (благо, их было немного) приносил ему первому.

Одну из них Сахаровы дали кому-то почитать, у этого читателя она была при обыске конфискована и теперь с моей дарственной надписью хранится в архивах КГБ.

Выше я сказал, что мне пришлось встретить в жизни нескольких выдающихся людей, но людей знаменитых, и иногда на весь мир, я знал больше.

Надеюсь понятно, что знаменитый и выдающийся не всегда одно и то же. Я знал выдающихся людей, которые были известны только узкому кругу знакомых, я знал знаменитых, которые стали такими по воле случая или благодаря своим особым способностям использовать исторические или личные обстоятельства и не стеснялись, говоря словами Пастернака, «ничего не знача, быть притчей на устах у всех».

Сахаров славы специально не добивался. Я даже не

знаю, кто может с ним сравниться в попытках умалить собственные заслуги. С кремлевской трибуны академик Александров говорит, что достижения Сахарова слишком преувеличены, и Сахаров говорит, что слишком преувеличены. Советские пропагандисты говорят, что Сахаров ничего интересного в науке не делает, и Сахаров говорит, что, вообще-то говоря, физикой надо заниматься до тридцати пяти лет, а поскольку ему самому больше, понимаете, как хотите.

А между тем один известный физик говорил мне, что и сейчас все главные опыты управления термоядерной реакцией основаны на идеях Сахарова. И говорят, даже академическое начальство не может не признать, что и в последние годы в тесной квартирке, с ежедневными толпами ходоков, диссидентов, корреспондентов, занятый своей главной борьбой, постоянно травмируемый, он регулярно выдавал новые работы с новыми идеями. Как это ему удавалось, я лично представить себе не могу.

Я слышал рассуждения, что права человека, о которых так много говорит Сахаров, — дело второстепенное, гораздо важнее национальное или религиозное возрождение. Но ведь без прав человека никакого возрождения быть не может. Без них может быть либо загнивание, либо, в лучшем (а вернее, в худшем) случае, смена идеологии и поспешное движение масс из одного болота в другое.

Про Сахарова часто говорят: мужественный. Но этого определения, если оно не содержит в себе нравственной оценки, я не признаю. Что такое мужество? Физическая храбрость? Ею может обладать любой искатель приключений. Сахаров на искателя приключений не похож. Совесть и ясное понимание грозящей человечеству беды толкнули его на путь, на котором одного мужества мало.

Как-то мы с покойным Константином Богатыревым приехали к Андрею Дмитриевичу на дачу. Он встретил нас на перроне электрички. Вечерело. Солнце, уже краем зацепившее горизонт, было большое и красное. «Это солнце, — сказал Сахаров, — напоминает мне взрыв водородной бомбы». Я представлял себе взрыв иначе: как море огня, в котором все плавится и течет. Но мое пред-

ставление было основано на моей же фантазии, а его — на том, что он видел своими глазами. Он передал свое представление мне, и теперь всякий раз заходящее красное солнце возбуждает во мне тревогу. Я вижу его равнодушно висящим над безжизненной нашей планетой. Сахарова выслали из Москвы, заткнули рот. Это не только жестоко по отношению к нему, это бессмысленно. Где бы Сахаров ни находился, проблемы, названные им (но поставленные не им, а историей), никуда не денутся. И чем дольше люди, держащие в руках судьбу человечества, будут избегать решения этих проблем, тем неуклоннее мы будем катиться к бездне, в которую Сахаров уже заглянул.

1985

| В МАСКЕ КРОЛИКА

Последние свои годы в Советском Союзе я жил довольно странной и для некоторых, прямо скажем, не очень понятной жизнью. Исключенный из Союза писателей, я был объявлен как бы вне закона. Люди, которые раньше общались со мной вполне охотно, теперь не только забыли номер моего телефона, но даже при случайной встрече на улице шарахались как от чумного. Не все, конечно. Далеко не все. У меня были друзья, которые не покидали меня даже в самые тревожные дни, хотя некоторым из них намекали, что, если они по-прежнему будут поддерживать со мной отношения, у них могут быть очень серьезные неприятности. Они эти угрозы игнорировали вовсе не из стремления к героизму, а просто потому, что были порядочными людьми.

Но мне приходилось встречать и таких, которые, как только я попал в немилость у советских властей, сразу перестали меня узнавать. Некоторые из них пережили сталинские времена, когда даже за шапочное знакомство с кем-нибудь можно было поплатиться головой. Они, кстати, может, и выжили только потому, что умели вовремя отвернуться от своего друга или знакомого, а иногда от папы и мамы. Понять и пожалеть таких людей можно, но уважать трудно.

Помню такую встречу. Пришел я как-то в писательскую поликлинику на улице Черняховского. Из Союза писателей меня уже исключили, из Литературного фонда тоже, но в поликлинике почему-то еще держали. И врачи даже настаивали, чтобы я прошел очередную диспансеризацию, проверил свое здоровье. Я долго уклонялся, но потом все же пришел.

И вот сижу перед кабинетом врача.

Идет мимо писатель Л.¹ Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения: подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то что-то забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически делают шаг за шагом, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела, хотя дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик З., а сзади на стульчике сидит драматург И.² Проходя мимо, Л. кивает мне головой и даже делает рукой незаметный «но пасаран», как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Но «но пасаран» свой он делает так, чтобы критик З. и драматург И. не сомневались — это всего лишь проявление обычной вежливости, которая может существовать между людьми разных взглядов. И ничего больше.

Идет мимо в другую сторону переводчица Д.³, дама довольно преклонного возраста. Познакомились мы с ней в шестидесятом году, когда мне было еще под тридцать, а ей уже за шестьдесят. Я тогда дописывал свою первую повесть, главы из которой читал своей новой знакомой. А она потом в шутку говорила, что мы с ней вместе начинали наш путь в литературе.

¹ Теперь его можно назвать. Это был Леонид Лиходеев.

² З. — Феликс Светов. И. — Исидор Шток.

³ Теперь можно назвать и ее: Рита Яковлевна Райт, переводчица Сэлинджера, Воннегута и многих других. Когда-то дружила с Маяковским.

И вот она идет мимо.

— Здрасьте! — говорю я ей.

— Здрасьте! — отвечает она мне как малознакомому, но, пройдя несколько лишних шагов, останавливается и возвращается: — Ах, Володичка, милый, здрастьте, здрастьте, я так плохо вижу, я вас не узнала. — И с надеждой, что говорить со мной не опасно: — А вас из Литфонда все-таки не исключили?

— Исключили. Но в поликлинике оставили. Вот даже заставляют пройти диспансеризацию, хотя я не хочу.

Она почти в ужасе.

— Неужели вы и против диспансеризации выступаете? Почему? Здесь же нет никакой политики. Здесь просто врачи. Они вас проверят, сделают кардиограмму, возьмут анализы. Я понимаю, когда вы боретесь за какие-то права, но против диспансеризации!

— Бог с вами, — говорю я, — я так далеко не зашел, чтобы бороться против диспансеризации. Мне просто лень.

— Ах, Володичка, мне семьдесят шесть лет, я хочу легкой смерти. Меня сейчас пригласили в Америку. Я бы хотела туда полететь, а потом на обратном пути... — Жестом она изображает падение самолета.

— Не надейтесь, это не так легко, — говорю я. — Самолет летит высоко и падает долго.

— Володичка, не отговаривайте меня, я все выяснила. Там сразу теряешь сознание и потом уже ничего не чувствуешь. Вы знаете, я о вас часто думаю, но никогда не звоню, не потому, что я вас забыла, а потому, что меня сейчас надо беречь. Да, да, Володичка, меня надо беречь, потому что у меня выходит очень большой перевод с английского.

Идет мимо известный юморист Е.¹ Здоровается с моей собеседницей, замечает меня и тоже здоровается.

— Здравствуйте, Толя, — говорит переводчица, — очень рада вас видеть. Мы с Володей разговариваем просто о жизни. Никакой политики, совершенно никакой. Мы с ним вместе начинали наш путь.

¹ На самом деле Зиновий Паперный.

— Зато порознь заканчиваете, — нашелся юморист и пошел дальше.

Своим поспешным уходом он как бы напоминает старухе, что сидеть со мной не совсем безопасно, но предлога просто так подняться и уйти нет, а уйти без предлога все-таки неудобно.

— Вы знаете, Володичка, мне семьдесят шесть лет, но я еще не в маразме. Я все помню. Помню, как мы жили в Переделкине, как сидели на терраске, как вы привезли мне первые экземпляры моей гослитовской книжки. Почему вы мне никогда не позвоните? Мой телефон очень легко запомнить (говорит номер). Но меня надо беречь. Вы же знаете, я их боюсь. Я все пережила: голод, разруху. Я в политике ничего не понимаю, я никогда не читала ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина.

— Я тоже.

— Вы по вашему возрасту должны были читать. Ой, Володичка, если б вы знали, как я их боюсь! Однажды мне пришлось посидеть там у них в коридорчике, и мимо меня водили одного человека под револьвером. Это так страшно!

— Это безусловно страшно, — соглашаюсь я, — но не страшнее, чем в падающем самолете.

— Нет, нет, Володя, вы мне не говорите. В самолете, я же вам сказала, сразу теряешь сознание, а потом все просто.

— Здесь тот же эффект. На вас наводят револьвер, вы теряете сознание, а потом все просто.

— Ах, Володя, вы все шутите. Неужели у вас еще есть силы шутить?

— Нет, я без шуток. Как только на вас наставляют револьвер, вы...

— А ну вас, Володя. Вы мне обязательно позвоните. На днях ко мне приедет один сумасшедший американец, он хочет вас переводить. Но не забывайте, что меня нужно беречь.

— Тогда лучше я вам не буду звонить.

— Да, пожалуй, лучше не звоните. — Переходит на шепот: — Вы приходите просто так, без звонка. Хотя да... у нас ведь лифтерши.

— Насчет лифтерши не беспокойтесь, я приду в маске.

Встревожилась.

— В какой маске?

— Ну помните, как у Высоцкого: «Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков...» Так вот, у меня есть как раз маска кролика. Я дочке купил к Новому году. С такими большими ушами. Я надену ее и приду. Если у лифтерши спросят, кто приходил, она скажет: «Приходил кролик».

— Володя, не смейтесь надо мной, я старая. Вы знаете, этот американец, которого я сейчас перевожу, пишет мне, что ему постоянно приходится выступать в защиту каких-то русских, которых преследуют. А я ему написала: «Только, ради бога, никого не защищайте, а то будет еще хуже».

— Кому это будет хуже?

— Всем, всем.

— Да, но есть люди, которым уже сейчас так плохо, что хуже, пожалуй, не будет.

— Володя, всем будет хуже, поверьте мне. Вы не забываете, у них армия, флот, у них эти... как они называются... ядерные боеголовки.

— Да что нам с вами их боеголовки? Для нас достаточно одного револьвера или одного падающего самолета...

Я не договорил, меня позвали к врачу. Когда я вышел, старушки у дверей уже не было.

После этого я прожил в Москве еще несколько лет, но переводчицу эту больше ни разу не встретил. Из поликлиники меня все-таки исключили, а зайти к старухе или хотя бы позвонить я не решался. Тем более что она просила ее беречь. Не зашел к ней, когда ей исполнилось восемьдесят лет. И когда уезжал, не зашел проститься.

А она, между прочим, все еще жива и, как я слышал, даже побывала в Америке. И самолет, на котором она летела, не разбился. Ни по дороге туда, ни по дороге обратно. И я лично этому очень рад, потому что, как я думаю, не все пассажиры этого самолета прожили свои во-

семь десятков лет. Так пусть поживут, сколько еще придется. И старушке я желаю, пусть еще поживет, пусть работает. Она, между прочим, переводчица очень талантливая.

1985

А это написано еще в Советском Союзе

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!

Министру связи СССР тов. ТАЛЫЗИНУ Н.В.

Уважаемый Николай Владимирович!

С глубочайшей тревогой довожу до Вашего сведения, что в возглавляемой Вами отрасли народного хозяйства скрывается враг разрядки международной напряженности, захвативший ответственный пост начальника Московской городской телефонной сети.

Вот как мне удалось его обнаружить.

20 сентября сего года, решив воспользоваться услугами, предоставляемыми телефонной сетью своим абонентам, я позвонил в г. Бостон (США) своему личному другу, поэту Науму КОРЖАВИНУ, и провел с ним разговор, содержание которого передаю приблизительно.

— Алло, — сказал я поэту Коржавину.

— Хеллоу, — отозвался он.

— Как живешь?

— Ничего. А ты?

— И я ничего.

В столице нашей Родины был день. Светлый день десятой пятилетки. Наши люди в порыве трудового энтузиазма возводили новые здания, управляли различными механизмами, варили сталь и давали стране угля.

В то же самое время в городе Бостоне была, естественно, ночь. Под покровом темноты орудовали шайки гангстеров, пылали факелы ку-клукс-клана, дымилась марихуана, неудержимо падал курс доллара, потерявшие надежду безработные загодя выстраивались к бирже труда в такие длинные очереди, какие у нас бывают только за коврами и колбасой.

Очевидно, подавленный этой гнетущей обстановкой,

а может, просто спронеся, поэт Коржавин на мои вопросы отвечал вяло и невпопад.

— Как Люба? — справлялся я о здоровье его жены.

— Люба? — переспрашивал он с бестолковостью, соответствовавшей его отсталому мировоззрению. — Люба спит. А как Ира?

Думаю, Вам приятно будет узнать, что руководимая Вами система связи работала превосходно. Слышимость была такая, как будто сонный поэт Коржавин сидит не на противоположной стороне планеты, а где-то совсем рядом. Наш разговор, сам по себе не представлявший никакого интереса для постороннего уха (так мне казалось), был, тем не менее, красноречивым подтверждением того, что мы живем в эпоху разрядки международной напряженности, когда сближаются континенты, когда контакты и обмен информацией (пусть даже пустяковой) между людьми стали не только доступны, но и поощряются странами, подписавшими соглашения в Хельсинки.

Увы, торжество разрядки длилось недолго.

Утром следующего дня, сняв телефонную трубку, я с огорчением отметил, что она молчит, как рыба. «Что-то сломалось», — сказал я себе и пошел к ближайшему автомату.

— 151-28-53? — очаровательным женским голосом переспросило бюро ремонта. — Это ваш телефон?

— Мой.

— Выключен за хулиганство.

Я растерялся и положил трубку. Но потом позвонил опять.

— Простите, может быть, я ослышался... за что выключен?

— Это ваш телефон? — снова спросили меня.

— Нет, не мой, — ответил я на этот раз.

— Выключен за неуплату.

Вопреки репутации хулигана я старался быть вежливым.

— Только что вы назвали другую причину. Пожалуйста, подумайте и ответьте поточнее, за что выключен мой телефон.

Кажется, она была смущена. А может, и нет.

— Ваш телефон выключен по распоряжению сверху.

— С какого примерно верху?

— А то вы не знаете?

— Я не знаю.

— Странно. — Она мне явно не верила. — Тогда позвоните по телефону такому-то, там вам скажут.

Я позвонил по телефону такому-то, а потом еще по какому-то, а потом еще, еще и еще. Лица, с которыми я говорил, отказывались называть мне свои должности и фамилии, отвечали загадками и намеками на то, что я сам все хорошо понимаю (хотя я не понимаю), и вообще у меня было такое ощущение, что я звоню не на телефонный узел, а в какую-то подпольную организацию. С невероятным трудом мне удалось все-таки выяснить, что телефон мой отключен по распоряжению начальника Московской городской телефонной сети Виктора Фадеевича ВАСИЛЬЕВА. Но за что?

Вот сижу я, любезнейший Николай Владимирович, в своей отрезанной от всего мира квартире и задаюсь этим самым вопросом: за что?

Ну насчет неуплаты это, конечно, ложь. Услуги, оказываемые мне органами связи, я оплачиваю всегда самым аккуратнейшим образом. Мой портрет, как одного из самых примерных плательщиков, Вы могли бы смело повесить в своем кабинете или даже на улице перед зданием Вашего министерства.

Хулиганство? Но почему тогда меру наказания определяет не суд, а телефонный начальник? И что будет, если его примеру последуют начальники электричества, лифта, газа, водопровода, канализации? Это же курам на смех! Это же может просочиться в газеты. Это может стать достоянием падких на сенсации западных «голосов» и армянского радио.

И в чем выразилось мое хулиганство? Поэту Коржавину я ничего хулиганского не сказал. Вы можете позвонить ему и проверить, если, конечно, не боитесь, что и Ваш телефон после этого замолчит. (Впрочем, я думаю, у Вас есть несколько телефонов, и, если даже один из них окажется отключенным, Вы сможете временно пользоваться другим.) Может быть, хулиганством считается сам факт разговора с другой страной? Для чего же тогда

предоставляются абонентам подобные хулиганские услуги?

Ответ «сами знаете» также не кажется мне удовлетворительным. Я не знаю, Николай Владимирович.

Даже при свойственной мне самокритичности я не могу усмотреть в своих действиях ничего хулиганского. А вот то, что Ваш подчиненный Васильев подслушивает чужие разговоры, лжет сам, заставляет лгать других и лишает людей возможности общаться между собою, это и есть самое настоящее хулиганство. Ну можно подобрать и другие определения: беззаконие, произвол, самодурство — не знаю, что Вам больше по вкусу.

Дело, однако, не в определениях. Дело в том, что существуют (может быть, Вы слышали) так называемые права человека, согласно которым человек имеет право не только, как поется в песне, «на ученье, отдых и на труд», но также и на другие мелочи. В частности, и на такие, как свободно выражать чего кому вздумается, обмениваться информацией, идеями и вступать друг с другом в контакты. Я с Вами или с поэтом Коржавиным, или Вы с поэтом Коржавиным, или еще с кем Вам захочется, не испрашивая на то разрешения подчиненного Вам Васильева. И вот эти наши с Вами права считаются в цивилизованном мире настолько неотъемлемыми, что соблюдение их является одним из важнейших условий международной разрядки. Они упомянуты в различных международных соглашениях и торжественно провозглашены в тех самых Хельсинкских, подпись под которыми от имени Советского государства поставил лично Леонид Ильич БРЕЖНЕВ. Поэтому, отключая мой телефон, Васильев не только себя позорит, как хулигана, но пытается посеять сомнения в искренности усилий Советского Союза по развитию процесса разрядки и ставит в неловкое положение лично товарища Брежнева.

Не мне Вам говорить, Николай Владимирович, что врагов разрядки во всем мире еще немало. Хорошего же они помощничка нашли себе в нашей стране! Ведь никому из них, даже пресловутому Джорджу МИНИ, не удалось еще выключить ни одного телефона. А Васильеву удалось. Слышал я, что делает он это не впервые, что

телефонный террор под его руководством достиг небывалых масштабов.

Не знаю, как Вам, Николай Владимирович, а мне положение кажется угрожающим. Захватив телефонную сеть, враги разрядки могут пойти и дальше. А если они возьмут в свои руки еще и почту, телеграф, радио и телевидение, то тогда... Вы сами знаете, что бывает в подобных случаях.

Чтобы уберечь нашу страну от столь неприятных последствий, я прошу Вас безотлагательно отстранить Васильева от занимаемой им должности, а новому начальнику МГТС приказать включить мой телефон.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

10 октября 1976 года
Москва

Владимир Войнович

| НО ПАЗАРЫТЫ НИКОГДА...

В те годы у меня было много разнообразных неприятностей, связанных с тем, что я был исключен из Союза писателей СССР за действия, несовместимые с высоким званием советского писателя. Но действия мои оказались несовместимыми с этим высоким званием, во-первых, потому что я писал не совсем то, чего ожидали от меня партия и правительство, во-вторых, я защищал людей, которых сажали, как принято выражаться, за убеждения, или, иначе говоря, ни за что. Ну и само собой разумеется, советские власти таких преступлений мне простить никак не могли и, мало того, что исключили из Союза писателей, грозили всякими другими карами, например обвинением в туеядстве. То есть в том, что я нигде не работаю и живу за счет народа, который таких паразитов кормить не желает.

И вот повадился ко мне ходить наш участковый милиционер Иван Сергеевич Стрельников. Такой высокий, седой, очень вежливый, между прочим, человек. Вот, приходит он ко мне, нет, не вламывается, а вежливо звонит в дверь, вежливо спрашивает: «Можно, Владимир Николаевич?» — «Ну, — говорю, — можно, ко-

нечно. Кому-нибудь другому, может быть, и нельзя, а уж вам-то всегда можно». А он человек не только вежливый, а даже застенчивый, в комнату входит, шапку снимает. «Садитесь, — говорю, — Иван Сергеевич!» — «Ничего, — говорит, — я постою». Ну я тоже человек вежливый, все-таки настаиваю на своем, садится Иван Сергеевич на краешек стула, и начинается у нас глупый такой разговор. «Вот, Владимир Николаевич, — мнется участковый, — вы уж извините, я, конечно, к вам не сам пришел, меня послали, но хотелось бы узнать: вы где-нибудь работаете?» — «А вот тут, — говорю, — прямо и работаю». — «И как это вы тут работаете, кем это вы тут работаете, если не секрет?» — «Совсем не секрет, — говорю, — Иван Сергеевич, не только для вас, но и ни для кого не секрет, писателем я здесь работаю». — «Да, — говорит, — писателем? А я слышал, Владимир Николаевич, что вас, извините, из Союза писателей исключили». — «Да, — говорю, — исключили, а Льва Толстого в свое время даже из церкви исключили, ну и что?» — «Ну Владимир Николаевич, я не знаю, откуда там Толстого исключали, но вам надо бы трудоустроиться». — «Да я, — говорю, — в общем-то, трудоустроен. У нас в Конституции записано, что каждый имеет право на труд по избранной специальности, а я специальность себе избрал и как раз по ней и работаю». — «Это все, — говорит, — хорошо, но если вы работаете, должно же быть какое-то доказательство». — «Ну доказательств-то, — говорю, — у меня сколько хотите. Вот, — говорю, — книги, видите, и на них моя фамилия написана, книги-то, — говорю, — не работая, не напишешь». Ну он смотрит на книги, уважительно, надо сказать, смотрит, со мной в душе даже вроде согласен, что тунеядцы книги не пишут, и очень даже смущается, но все-таки говорит: «Но Владимир Николаевич, книги — это, конечно, хорошо, но мне справка нужна». Ну я дальше ему объясняю, что в Конституции нашей, чересчур демократической, насчет справок вообще ничего не сказано, там сказано, что человек имеет право на труд, между прочим, тоже, если уж придирааться, право, а не обязанность (между понятиями право и обязанность очень большая разли-

ца), ну а насчет того, что каждый человек обязан справку иметь, там и вовсе ничего не сказано...

Разговоры эти с участковым продолжались года четыре, иногда с большими, впрочем, перерывами. И не всегда протекали так спокойно, как я описал выше. Иногда я сильно раздражался. «Иван Сергеевич, — говорил я, — а вам вот не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на три десятка с лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовно население Советского Союза! Если, по-вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может, вас убедит в том, что я не паразит, хотя бы тот факт, что я с одиннадцати лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, четыре года служил солдатом в Советской армии. Или вам и этого недостаточно?»

Участковый смущался и сам начинал нервничать. «Но Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением. Но что я могу сделать, меня же послали».

В конце концов все эти наши разговоры кончились для меня, можно сказать, без последствий в том смысле, что власти так и не решились объявить меня официально паразитом. Но неофициально я вошел в разряд паразитов задолго до того, как лишился справки с места работы.

Когда я служил солдатом, нас довольно плохо кормили. А если мы жаловались, нам говорили, что мы паразиты, никаких материальных ценностей не производим и не заслуживаем даже тех восьми рублей (восьмидесяти копеек с шестьдесят первого года), которые народ ежедневно на каждого из нас тратит. А мы, будучи, как говорится, солдатами сознательными, с этой точкой зрения соглашались, хотя сейчас она кажется мне идиотской. Потому что, если народ нуждается в солдатах для своей защиты, он должен содержать их как нормальных членов общества. А если он в них не нуждается, зачем их иметь вообще?

А уж про писателей и говорить нечего. Писателя все-

гда попрекают тем, что он паразит, живет за счет народа, должен быть благодарен народу и должен служить народу, должен писать книги для народа и о народе. То есть прежде всего о рабочих и крестьянах. Но все это чушь.

Я сам писал и о рабочих, и о крестьянах, но я знаю, что человек, читающий книги, оценивает их не по классовому составу героев, а по тому, интересно читать написанное или нет.

Нормальный читатель, независимо от того, рабочий он, колхозник или академик, лучше прочтет увлекательный роман о графе Монте-Кристо или о королеве Марго, чем что-нибудь занудное о своих братьях по классу вроде братьев Ершовых.

Если буквально следовать логике тех, кто учит писателей, как и для кого они должны писать, что и кто должен читать, то шпионские романы должны читать только шпионы, а рассказ Чехова «Каштанка» — только собаки.

Но я хотел бы сказать еще вот что. Конечно, нормальный писатель всегда живет с ощущением своих обязанностей перед народом, обществом и страной. Но эту обязанность он берет на себя добровольно. Писатель, который исполняет обязанности, спущенные ему сверху по партийной разрядке, не писатель, а писарь.

И исполняя свои обязанности, писатель вовсе не должен быть все время кому-то благодарным за то, что его кормят. Он создает необходимые обществу духовные ценности, стоимость которых не измеряется рублями. А впрочем, измеряется и ими. Потому что книга, кроме всего, это и реальный товар, который можно взять в руки, можно купить, а можно и продать, и иногда довольно успешно. Многие книги издаются огромными тиражами и приносят их издателям огромные прибыли. Приносили бы советской стране огромные прибыли и книги некоторых изгнанных из нее тунеядцев.

Современное общество устроено сложно. Ему нужны и крестьяне, и рабочие, и инженеры, и врачи, и учителя, и ученые, и артисты, и писатели, короче говоря, ему нужны все. Жизнь показывает, что, чем больше того или иного народа занято непосредственно производст-

вом продуктов питания, тем меньше в стране этих самых продуктов питания. И еще: чем больше правительство этой страны борется с искусством, тем опять же меньше в ней этих самых продуктов питания.

Повторю еще раз: современному обществу нужны все. И никто никого не кормит. Или — все кормят всех. С одним, правда, исключением. Как уже было сказано выше, есть в Советском Союзе одна категория людей, которая не производит ни материальных, ни духовных ценностей, а только сидит на собраниях, хлопает в ладоши и издает указания, как крестьянину сеять хлеб, а писателю писать книги. Вот эти-то люди, по моему непростешенному мнению, и есть настоящие паразиты.

| СТО ЛЕТ ЖЕЛЕЗНОМУ ФЕЛИКСУ

Году в девяносто первом где-то, кажется, в Тбилиси стаскивали с пьедестала каменного Ленина. Гранитные ноги подорвали динамитом, и статуя, прежде чем свалиться, рухнула на колени. Зрелище оказалось неожиданно страшным и жалким. Жалко стало Ленина, как живого. Казалось, он просил пощады, но безжалостные люди не снизили.

Зато у Железного Феликса, когда его свергали, вид был не жалкий. Напротив, более зловещий, чем у стоявшего на постаменте. Оторванный от своего основания, он вращался на тросе, поднимаясь все выше и выше, взгляд его был пронзителен и злобен. Казалось, бушующая в нем дьявольская энергия вспыхнет, закрутит его и пойдет он вверх, ввинчиваясь в небо и утаскивая за собой кран, к которому был привязан, площадь, прилипшую к крану, и людей, оцепеневших на площади. Что и говорить, я безусловно был рад свержению этих истуканов, но сам процесс расправы вызывает странное чувство.

Между прочим, с памятником Дзержинскому у меня связано занятное воспоминание.

Однажды, а точнее 11 сентября 1977 года, находясь в положении выслеживаемого государственного преступ-

ника, вышел я однажды из дому с очень неординарной целью. Мне надо было заехать к знакомому, у которого в это время, ожидая разрешения на эмиграцию, гостил его ленинградский друг Владимир Сандлер. По официальной профессии Сандлер был литератор, по увлечению радио- и фототехник, а по скрываемой деятельности самиздатчик. Для умножения самиздата он создал замечательную полуавтоматическую фотоустановку и переснимал разные тексты на пленку. Качество было исключительно хорошее. Сандлеру я и доверил переснять рукопись Василия Гроссмана, полученную мною от Семена Израилевича Липкина. Это была третья моя попытка переправить роман на Запад. (Первые две, принятые за три года до того, к публикации Гроссмана не привели.) Через несколько дней Сандлер передал, что работа готова. Я собрался за ней поехать. Вышел из дому и сразу увидел, что слезка по сравнению со вчерашним сильно уплотнилась. Я сел в машину, проехался, зеленые «Жигули» и серая «Волга» прокатились со мной.

Я вернулся домой и спросил у жены, нет ли хозяйственных поручений. Она сказала: есть. Я взял ящик с пустыми бутылками, поехал к метро «Сокол» и в магазине «Минеральные воды» стал в очередь за «Боржомом». Часть сопровождавших меня лиц стала за мной, очередь заметно растянулась. Привез домой воду, спросил: что еще делать? Жена сказала: починить пылесос. Взял пылесос, посмотрел по справочнику, нет ли ремонтной мастерской неподалеку от нужного мне места. Нашел одну, на Кутузовском проспекте. Поехал туда. «Волга» и «Жигули» болтаются то сзади, то сбоку — не отстают. Я все время думаю, как бы от них оторваться. На самом деле это почти невозможно, потому что у них радиосвязь и сколько угодно машин и людей на подхвате, а я один, открыт и беспомощен, как таракан в стеклянной коробке. Но у меня есть одно преимущество, я могу собою рискнуть, а они не готовы. Приближаясь к Триумфальной арке по одной из средних полос широкого проспекта, я увидел, что там впереди движение перекрыто — светофор. Но вот красный свет сменился

на зеленый, лавина автомобилей хлынула мне навстречу, я крутанул руль влево и под прямым углом ринулся пересекать встречную полосу. Визжали тормоза, ревели клаксоны, я, въезжая в противоположащий переулочек, глянул в зеркало и злорадно отметил, что серая «Волга» и зеленые «Жигули», уже не скрывая своего родства и нетерпеливо мигая подфарниками, приткнулись к осевой линии. Но жизнями своими ради торжества коммунизма их экипажи рисковать не решились.

Улица, в которую я влетел, была пуста и просторна. Я нажал на газ, но откуда ж мне было помнить, что впереди, параллельно Кутузовскому проспекту, идет Киевская железная дорога и все улицы, ведущие к ней, — тупики?

Не успел я разогнаться, как улица стала сужаться, потекла под гору, покрылась крышей и втянула меня в подземное сооружение с оторопевшим автоматчиком у ворот. Видимо, это было что-то военное или как раз кагэбэшное. Понимая, что мой въезд сюда может повлечь непредвиденные последствия, я тут же (места хватило) с поросычьим визгом всех шин развернулся, выскочил наружу, свернул налево в Студенческую улицу и здесь остановился передохнуть и посмотреть, что будет дальше. Слишком томиться в ожидании не пришлось: из переулка выкатилась черная «Волга» с частным номером, с двумя антеннами и зевающим от скуки водителем. Проезжая мимо, он так старательно от меня отворачивался, что никаких сомнений в цели его появления не было. Понимая, что деваться некуда, я завел мотор и поехал. Мои спутники ждали меня на проспекте у выезда из переулка и опять покатали со мной, то отходя в сторону, то отставая, то выскакивая немного вперед.

У гостиницы «Метрополь» был небольшой затор. Здесь сопровождавшие распределились так: «Волга» стала чуть впереди справа, а «Жигули» чуть позади слева. Там и там сидели по четыре человека — и все, как мне помнится, в шляпах. Никто из них будто на меня не смотрел. Я погудел тем, которые в «Волге». Они не шелохнулись. Я стал гудеть еще, еще и еще. Уже все водители и пассажиры других машин смотрели на меня с

удивлением, наконец повернули шляпы и эти. Я показал водителю, чтобы он понапрасну не прятался и становился мне в хвост. Потом долго взывал к водителю «Жигулей» и показал ему то же самое. К моему удивлению, они на мое предложение охотно согласились и после поворота на проспект Маркса перестроились. Но для начала стали не в хвост, а параллельно — справа и слева. Мы поднялись к площади Дзержинского, и тут состоялось зрелище, пригодное для голливудского фильма. Прямо перед моим радиатором появился регулировщик, замахал палкой и засвистел в свисток. Я думал, что эти движения посвящаются лично мне, но тут же мне пришлось припомнить слова одного из моих приятелей: «Ты преувеличиваешь свое значение, старичок».

Милиционер перекрыл движение и при этом бегал, дергался, суетился. Чего он ожидал, было неясно. Я покосился на своих спутников, они все — четверо справа и четверо слева — смотрели только вперед. И вдруг от метро выплыла на площадь странная процессия: высшие чины милиции — генералы, полковники — и штатские серой раскраски. Прижимая к животам венки с лентами, эти в основном толстые люди двигались к памятнику, приседая и поднимая кверху благоговейные лица, словно в расчете на то, что Феликс Эдмундович с высоты своего постаamenta отметит их любовное к себе отношение. Я не знал, что это значит, и, лишь вернувшись домой, выяснил, что страна отмечала столетие со дня рождения первого чекиста. Как только все делегации пересекли площадь, милиционер взмахнул палкой, свистнул, я поехал дальше, мои сопровождающие за мной, но теперь они уже не скрывались, а, наоборот, всячески показывали, что они здесь со мной. «Жигули» вышли вперед и стали прямо передо мной, «Волга», наоборот, пристроилась в хвост, и они стали проверять крепость моих нервов. Передняя машина резко тормозила, задняя угрожающе наезжала. Они меня пугали, но без большого успеха, потому что делали это не первый раз, и я постепенно привык.

А что касается рукописи, то на другой день я ее забрал и, несмотря на плотную слезку, передал на Запад,

где она и была вскорости опубликована. Так что следившие за мной зря ели свой хлеб и расходовали казенный бензин. И их железный идол им не помог, за что его в конце концов и убрали. Ну убрали, и пусть стоит там, где есть сейчас, и пусть его навешают там те, кому он особенно дорог.

1986

| ДЕМОНТАЖ

Конец 1979 года мы проводили на даче, в ста километрах от Москвы. 31 декабря моя шестилетняя дочка Оля, едва проснувшись, спросила, когда придет Дед Мороз. Я сказал: очень скоро. Она спросила: а когда скоро? Я сказал: очень скоро. Она спросила: а когда очень скоро? Я сказал: вечером. Она спросила: а когда будет вечер? Я сказал: когда пройдет день. Она спросила, а когда пройдет день? Я сказал: к вечеру как раз и пройдет. Она спросила: а как пройдет день? Разве у него есть ноги?

Наш разговор был прерван наружным шумом, и, подойдя к окну, я увидел красные «Жигули» с ржавым багажником на крыше. На багажнике возлежало нечто завернутое в мешковину и обмотанное веревками. Все четыре дверцы распахнулись одновременно, и из них на снег вывалилось семейство Зайцевых в полном составе: муж Саша, жена Варвара, их дочь Наташа, Олина ровесница, и их сын Даня, толстый мальчик шести лет по прозвищу «наш жених».

Гости вылезали с шумом и с криком. Варвара, по своему обыкновению, рассказывала обо всем сразу в таком примерно смещении: в Москве исчез напрочь стиральный порошок, у свекрови на локте обнаружилась странная опухоль, директора института вчера вызвали в ЦК, а оттуда с инфарктом увезли в Кремлевку, пирог, кажется, слегка подгорел, по Би-би-би сказали, что русские в Афганистане завязнут надолго, в такой гололед по нашим дорогам могут ездить только самоубийцы, а Сашка вчера до двенадцати ночи стоял в очереди за елками и притащил сами увидите что, только не падайте в обморок. Когда Саша снял с багажника и развернул то,

что должно было называться елкой, в обморок никто не упал, но Оля заплакала, и, когда мы ее спросили, почему она плачет, она сказала: елочку жалко, зачем же ее побрили? В самом деле, это была не елка, а какие-то сросшиеся вместе кривые палки, облепленные иголками, редкими и короткими, не больше, чем щетина недельной небритости.

Признаюсь, меня всегда удивляло, и этот раз не стал исключением, как это советские торговые организации, имея в своем распоряжении самые обширные в мире лесные массивы, включая тайгу, ухитрялись брать или специально выращивать елки такие кривые и голые, что бывало непросто отличить их от саксаула.

Дети от привезенного растения впали в уныние, взрослые тоже, короче, было решено идти в лес и добыть елку настоящую, чтобы ей самой не стыдно было так называться. Тем более что мы жили в таком государстве, где лес, как и другие природные ресурсы, принадлежал народу, и мы, как часть народа, имели право взять часть принадлежавшего нам богатства в виде одной маленькой елочки.

Но тут незнающему читателю стоит сказать, а знающему напомнить, что в стокилометровой зоне вокруг Москвы тогда располагалось (а про сейчас говорить не будем) одно из трех самых важных колец обороны Москвы, то есть там, в лесах, скрывались ракетные установки и всякие вспомогательные сооружения и службы и, разумеется, обслуживающий персонал. И в нашем лесу тоже что-то такое присутствовало. Тут я, очевидно, прикоснулся к теме, составлявшей в свое время тщательно охраняемую военную тайну, которая была известна только Генеральному штабу Советской армии, американскому Пентагону и жителям окрестных деревень.

Как только стемнело, мы с Сашей нарядились в дубленки и валенки. Саша при этом перевязался веревкой, а за веревку заткнул топор, и мы двинулись в путь, крадучись, словно ночные разбойники.

А у меня, между прочим, были тогда еще для российской жизни диковинные приемопередатчики типа «Walky-Talky», которые мы называли «волки-толки». Мне их

привез однажды мой американский издатель, не понимая, что подвергает меня риску больших неприятностей. Частному лицу нельзя было иметь собственные средства радиосвязи, а владение ими в нашей стране, где бдительность в списке человеческих добродетелей стояла на первом месте, неизбежно влекло за собой подозрение в шпионаже. Меня даже и без всяких волков-толков самого несколько раз задерживали как возможного вражеского лазутчика только потому, что я ходил в темных очках, фотографировал какой-то мост или смотрел в бинокль из окна вагона. А когда я обзавелся маленьким диктофоном и стал пользоваться им во время прогулок, наборматывая приходившие в голову мыслишки, бдительные граждане несколько раз доставляли меня в милицию. Из милиции с диктофоном меня в конце концов отпускали, но пойманному с приемопередающей аппаратурой рассчитывать на снисхождение было бы трудно. Но в глуши, где находилась наша деревня, я милиции не опасался и один аппарат «волков-толков» взял с собой, а другой оставил нашим женам и детям с обещанием подробного репортажа по ходу дела.

Было ясно, звездно, морозно, снег, как ему в таких условиях полагается, скрипел под ногами.

Мы вышли за околицу, и я сделал первую передачу: «Покинули базу, движемся точно по курсу, видимость приемлемая». Затем я вышел в эфир на подходе к лесу: «Приблизились к месту проведения операции». Следующая радиограмма была: «Проникли на территорию беспрепятственно, продвигаемся вглубь». Через некоторое время мы добрались до знакомого ельника, выбрали на ощупь более или менее красивую елку, и я доложил «базе»: «Обнаружили подходящий объект». Саша ударил под корень топором. В эфир полетело: «Приступаем к демонтажу объекта». Потом: «Объект демонтирован. Приступаем к транспортировке».

Когда мы рассмотрели елочку дома, она оказалась даже лучше, чем мы думали. Густая, стройная, пропорционально сложенная. Мы установили ее в сделанную крестовину, навешали на нее игрушек, обмотали ее разноцветными лампочками, елка засветилась и засверкала, дети были счастливы и мы тоже. Мы уже садились за

стол провожать старый год, когда Саша решил принести дров для камина. Вдруг он вернулся с улицы чем-то озабоченный и поманил меня пальцем. Я вышел следом за ним наружу и увидел, что по единственной улице нашей деревни медленно движется военный микроавтобус, а на крыше у него крутится что-то наподобие хулахупа.

— Ты понимаешь, — спросил Саша, — что это значит?

— И дураку ясно, — сказал я. — Пеленгатор.

— А понимаешь, зачем он ездит?

— Понимаю. Ищет наши «волки-толки».

— А почему ты говоришь шепотом? — спросил он.

— А ты почему? — спросил я.

И мы оба засмеялись, сообразив, что перешли на шепот инстинктивно, боясь быть запеленгованными, хотя даже наших скромных познаний в технике было достаточно для понимания, что пеленгуется не просто человеческий голос, а радиосигналы, которые в данный момент от нас никак не исходят, наши «волки-толки», лежат на подоконнике мирно, как два котенка, и не мяукают.

— Что случилось? — спросила моя жена, когда мы вернулись в дом. — Чем вы озабочены?

— Тем, что время идет, хочется выпить и закусить и можно уже провожать старый год.

С этими словами я взял «волки-толки», снес их в подвал и сунул в старые резиновые сапоги, которыми пользовался, когда подвал заливало водой. Потом я сбежал на соседнюю дачу, где жил переводчик и германист Сеня Смирнов с женой Аллой. Сеня обещал нам быть Дедом Морозом, и как раз сейчас Алла пришивала пуговицу к его атласному одеянию. Я сказал Сене, что он через полчаса может уже приходить, но есть просьба бороду не наклеивать, а прийти в своей, которая у него была достаточно пышная и седая.

— Хорошо, — сказал Сеня и спросил: — К вам военные не заходили?

— Какие военные?

— К нам какие-то приходили, — сказал Сеня. — Спрашивали про какой-то объект.

На обратном пути я увидел, что машина-пеленгатор

возвращается с другого конца деревни. С вращающейся на крыше антенной она быстро проехала мимо меня и скрылась за околицей. Я облегченно вздохнул и вошел в дом. Все сидели уже за столом, и рюмки были наполнены. Ну, выпили, закусили, налили по второй, и в это время раздался стук в дверь.

— Дед Мороз! Дед Мороз! — закричали дети в волнении.

Я, ругая мысленно Сеню за то, что слишком рано пришел, распахнул дверь и отпрянул: передо мной стояли два рослых военных в белых полушубках, подпоясанных ремнями, старший с майорской звездочкой на погонах, младший с тремя лычками сержанта. Они поздоровались, и майор спросил, можно ли войти, но, получив разрешение, дальше порога не двинулся и вместе с сержантом топтался на месте.

— С наступающим вас! — сказал наконец майор неуверенно, обводя взглядом и собравшихся за столом, и всю комнату.

— Вас также, — отозвался я.

— Значит, уже приготовились к встрече? — спросил он, не зная, видимо, с чего начать.

— Пока провожаем, — уточнил Саша и предложил: — Может, выпьете с нами?

— Нет, нет, — сказал майор поспешно и явно борясь с искушением. — Мы на службе. Между прочим, елка у вас красивая.

— Мы ее привезли из Москвы, — на всякий случай сказала Варвара.

— А мне разницы нет, — пробормотал он, — я не лесник, и мне все равно, привезли вы ее из Москвы, из Парижа или в лесу срубили. Меня интересует не елка, а кое-что посерьезнее. Это вся ваша компания? Больше никого нет?

— Больше никого, — сказал я. — А кого вы ищете?

— Ну хорошо, ладно.

Не ответив на мой вопрос, толкнул сержанта, оба повернулись к дверям, и майор уже взялся за ручку, но задержался и спросил:

— А скажите, вы тут не видели в деревне подозри-

тельных людей, которые ходили или ездили с какими-нибудь приспособлениями или большими предметами?

— Или с объектом, — сказал сержант.

— С какой-нибудь такой крупной вещью, — сказал майор, — которую можно назвать объектом.

— А как выглядит объект? — проявил интерес и Саша. — Какой он?

— Ну какой-то такой, — сказал майор и изобразил руками нечто абстрактное округлой конфигурации.

— А на что похож? — допытывался Саша — На бомбу? На пушку? На корову? А может быть, — он вдруг рискованно пошутил, — на эту вот елку?

— Что за глупости? — вспыхнул майор. — Неужели вы думаете, что в новогоднюю ночь мне больше нечего делать, как заниматься поисками коров или елок?

Кажется, он сильно рассердился. И когда Саша еще раз предложил выпить, отказался решительно. Но все-таки, уходя, сообщил нам, что служба радиоперехвата засекала переговоры каких-то шпионов или, может быть, даже диверсантов, которые где-то в пределах данной местности вели по радио кодированные переговоры и демонтировали какой-то объект. Так что если вдруг мы заметим в деревне каких-то подозрительных людей, или какой-нибудь автомобиль, или трактор, или что-то такое... — тут опять была изображена руками абстракция... — то большая просьба... — И майор написал на клочке бумаги телефон дежурного по части. После чего военные удалились, а нам с Сашей обоим, но мне особенно, крепко досталось. За шутки, которые могли бы дорого обойтись.

Вскоре явился с подарками и ожидаемый Дед Мороз, которого недоверчивый Даня дернул за бороду так, что Дед Мороз взвизгнул. И закричал на Даню: «Ты что, сумасшедший?» А девочки запрыгали и захлопали в ладоши, радуясь, что Дед Мороз оказался с настоящей бородой, а не приклеенной.

Раздав подарки, Дед Мороз ушел, а через некоторое время явились соседи Сеня и Алла и тоже сели за стол. Сеня время от времени поглаживал бороду, а Даня поглядывал на него пытливо, но за бороду не дергал, боясь снова опростоволоситься.

Тем временем стрелки часов приблизились к своей высшей точке, и новогодняя телевизионная передача началась с поздравления Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева советскому народу, который, как было сказано, уверенно смотрит в будущее. Затем по телевизору был новогодний огонек, а у нас хоровод вокруг елки и розыгрыш домашней беспроигрышной лотереи. После отправки детей в постель Сашке пришло в голову позвонить ракетчикам и поздравить их с Новым годом. Но телефона у нас не было, а использовать для этой цели «волки-толки» мы побоялись и решили без всякого радио выйти на прямую связь с потусторонними силами. Мы провели сеанс спиритизма, во время которого вызванный из мест своего пребывания дух Марины Цветаевой нагадал мне дальнюю дорогу, а на вопрос, куда именно, ответил по-немецки словами Генриха Гейне: «Der dumme Fuss will mich gern nach Deutschland tragen». Что значило приблизительно: «Глупая нога хочет привести меня в Германию».

Что вызвало в нашей компании большое веселое оживление, и напрасно. Ибо несуразное прорицание странным образом сбылось, и следующий, 1981 год мы встречали в отеле «Сплендид» на улице Максимилианштрассе города Мюнхена.

1992

| ТОЛИК ЧУЛКОВ

Субботними вечерами обитатели общежития одевались во что получше и спускались вниз в Красный уголок (он же — Ленинская комната), где начинались танцы под радиолу. Обстановка была обычная. Парни, чаще всего подвыпившие, приглашали девушек или стояли просто так, разглядывая танцующих. Девушки бросали на понравившихся им парней тайные взгляды, надеясь с кем-нибудь из них соединить свою жизнь, для чего они и приехали сюда из своих деревень. Две воспитательницы, Тамара Андреевна и Надежда Николаевна, застывшие у входа, бдительно следили за порядком, зная, что

танцы — это всегда такое место, где разгоряченные водкой, движением и кружением парни могли затеять драку, а то даже и пырянье ножами.

В общем, все шло обычным порядком, но вдруг по залу и особенно среди девушек проносился легкий шелест, и, если прислушаться, в этом шелесте можно было слышать передаваемое по цепочке имя: Толик. И девушки, даже танцующие, теряли интерес к своим кавалерам и поворачивали головы к дверям, в которых только что появился он, говоря нынешними словами, секс-символ нашего общежития Толик Чулков.

Это был молодой человек двадцати пяти лет в форме флотского офицера, без погон. Роста немного выше среднего, широкоплечий, с темными слегка вьющимися волосами, с темными аккуратно подстриженными и, наверное, с точки зрения девушек, привлекательными усиками. Когда он оглядывал переодевшихся в крепдешин наших крановщиц, электросварщиц и подсобниц, у них у всех, я думаю, сердце замирало в тайной надежде, что пригласит хотя бы на танец. Не говоря обо всем прочем. Не замирало только у тех, кто на такое чудо и не надеялся.

В морской форме Толик ходил не для форсу, а потому что действительно еще несколько месяцев тому назад был лейтенантом флота и другой выходной одежды пока не имел. А из флота он был уволен, как все в общежитии знали, за разврат. В чем проявился этот разврат, никто не знал, но сама эта легенда лелеяла слух и делала личность Толика загадочной и еще более для девушек привлекательной, так, я думаю, девицы предыдущих эпох когда-то относились к гусарам наказанным, а тем более разжалованным за участие в дуэли.

Я с Толиком познакомился в очереди перед отделом кадров, куда мы оба явились для устройства на работу. У тесной прихожей перед кабинетом сидели тогда несколько человек, включая Толика и Сюзанну (у меня о ней отдельный рассказ). Толик спросил меня, кем я собираюсь устроиться. Я ответил: «Плотником. А ты?» — «А я не знаю, кем лучше, — сказал он, — каменщиком или маляром». — «Что значит — не знаешь, кем луч-

ше? — не понял я. — А ты кто по профессии?» — «А никто, — пожал он плечами. — Был морской офицер, а теперь никто. Но мне говорили, что тут все без профессии, записываются кем придется, а потом по ходу дела учатся». Толик ошибался. У некоторых из поступавших профессия была, а у меня даже и с избытком — я был столяром-краснодеревщиком, то есть по Чехову плотник против меня был, как Каштанка супротив человека. Тем не менее я объявил себя именно плотником, а Толик записался маляром и, как впоследствии выяснилось, вполне для этого дела оказался пригоден.

Нас в комнате общежития было восемь человек, из них пятеро — провалившиеся при поступлении в институты. Я не прошел творческий конкурс, другие срезались на приемных экзаменах и решили зацепиться в Москве до следующей попытки. Трое из нас метили в престижные вузы (я — в литературный институт, Володька Кузнецов — в МГИМО, Алик Гришин — в ГИТИС). Сашка Шмаков считал своим призванием медицину, а Толик готов был учиться чему попроще и выбрал себе целью строительный институт, который, между прочим, располагался от нашего общежития через улицу.

Когда я сошелся с Толиком поближе, он оказался скромным бесхитростным парнем, неприхотливым, уживчивым со всеми и услужливым. Несмотря на колоссальный успех у наших девушек, он ими, кажется, совсем не интересовался. На танцы приходил, танцевал то с одной, то с другой, но не заигрывал и никаких намеков не делал, отчего казался еще более загадочным. Может быть, потому проявлял он такое равнодушие к девушкам, что собирался учиться, стать инженером и не хотел обременять свою жизнь тем, что могло помешать исполнению планов.

Он был обыкновенный молодой человек из простой рабочей семьи, со средним в прямом и переносном смысле образованием, ни особых способностей, ни ярких черт характера я за ним не замечал. Сам он разговорчивостью не отличался, но с большим интересом слушал других. Если было смешно, смеялся. В свободное время, надеясь на поступление в институт, занимал-

ся понемногу математикой и что-то читал. Особого интереса к литературе не проявлял, но пару раз ходил со мной в литобъединение «Магистраль», слушал стихи молодых поэтов.

Вообще мало что мог я о нем сказать. Славный, добрый, скромный, застенчивый человек, и загадки в нем не было вроде бы никакой. А вот чем-то он кого-то привлекал, и, может быть, не только морской формой.

Летом у нас у всех был отпуск, я навестил своих родителей в Керчи, он — своих в Пятигорске. Вернулись. Через некоторое время он по секрету рассказал мне странную историю. Уезжая в Пятигорск, он, как обстоятельный человек, приехал на вокзал задолго до отправления поезда и сидел в зале ожидания на собственном чемодане, когда подошел к нему прилично одетый мужчина, представился Михаилом Борисовичем и стал расспрашивать Толика, кто он, откуда, где живет, чем занимается, куда направляется. До отхода поезда времени все еще оставалось достаточно, а тайн у Толика не было никаких. И он новому своему знакомому рассказал всю свою жизнь, включая и службу, и теперешнюю работу, и так далее. Тот ответил взаимной откровенностью и рассказал о себе. Что работает в Министерстве культуры, ведает театрами, живет на Арбате, один со старенькой мамой. Была у него жена, известная киноактриса, но жизнь у них как-то не сложилась, оказалось, что слишком разные интересы, пришлось разойтись. Но остались друзьями. Теперь он чувствует себя очень одиноким и будет рад, если Толик когда-нибудь его навестит. Да и Толику, может быть, будет небезынтересно посетить его, выпить хорошего вина, послушать интересные пластинки. Он продиктовал Толику свой адрес, номер телефона и предложил сообщить телеграммой, когда будет возвращаться. Пообещал, что встретит его на вокзале. Толик этим знакомством был несколько заинтригован. Ему было непонятно, чем он мог привлечь внимание столь важного и занимающего высокий пост человека. В серьезность предложения Михаила Борисовича встретить его на вокзале Толик не поверил, телеграмму не послал, приехал сам. Но не успел приехать, как пришла открыт-

ка: Михаил Борисович приглашал к себе на ужин. «Как ты думаешь, — спросил меня Толик, — что бы это значило?» Я ничего про это не думал. Через несколько дней пришла вторая открытка: Михаил Борисович повторял приглашение очень настойчиво и в таких выражениях, которых я теперь уже не помню, но что-то там было о первом взгляде, о возможном соединении одиноких душ. Письмо было такое страстное, что я заподозрил самое худшее.

— Толик, — сказал я. — Он хочет тебя убить.

Толик и сам склонялся к той же мысли, но не понимал (и мне было непонятно), зачем его жизнь понадобилась этому незнакомому человеку. Мы даже обсудили, не обратиться ли ему в милицию, но после следующего послания решили разобраться сами, и я вызвался быть при Толике сопровождающим.

Помню, был морозный и ветреный вечер. Мы долго блуждали по каким-то околоарбатским переулкам, наконец нашли этот бревенчатый двухэтажный дом с высоким крыльцом, со старинным звонком, при котором была ручка-барашек с надписью, прочитанной при свете спички: «Прошу покрутить». Мы покрутили, и едва слабый звонок продребезжал внутри, как послышались торопливые шаги по лестнице, дверь распахнулась, на пороге стоял мужчина лет сорока пяти в темном костюме с бабочкой.

— Вы не один? — спросил он разочарованно.

— Да вот с товарищем, — смущенно сказал Толик. — Я ему рассказал про вас. Он тоже хочет с вами познакомиться.

Я не заметил большой радости на лице нашего хозяина.

Но, человек вежливый, он провел нас внутрь и сначала на первом этаже представил нас своей маме, полной женщине в темном платье с пуховым платком на плечах, сидевшей в углу у телевизора КВН с экраном размером чуть больше пачки сигарет. Вид этой мирной старухи меня слегка успокоил, мне трудно было представить, чтобы сын в ее присутствии умерщвлял заведенных им в свои сети людей. Хотя потом, много лет спустя, посмотрев фильм Хичкока «Психо» о сумасшед-

шем молодом хозяине гостиницы, убивавшем своих постояльцев как бы по повелению своей мертвой матери, я почему-то вспоминал этот дом на Арбате и его хозяев.

Старушка спросила, как на дворе погода. Мы ответили, что погода неважная, после чего были приглашены Михаилом Борисовичем наверх, где среди большой комнаты стоял покрытый скатертью стол с приборами на две персоны и со свечой в серебряном подсвечнике посередине.

— Извините, — сказал мне хозяин, — я на вас не рассчитывал.

И выждал паузу, может быть, ожидая, что я пойму, что я здесь лишний, и удалюсь. Но я не понял, и третий прибор был вынут из серванта и неохотно поставлен на стол. В комнате было еще два стула: на одном — стопка книг, а другой — пустой.

— Извините, — сказал хозяин, — этот стул сломан, если позволите, у меня есть еще вот это...

Из темного угла он принес и поставил мне крашеную табуретку. Я потом, но не сразу, а спустя годы подумал, что табуретка вместо стула — это была попытка меня унижить, несостоявшаяся, потому что испытать унижение — это значит его осознать. Но я не осознал.

Стали говорить о том о сем. Я расспрашивал нашего хозяина о его работе, он отвечал неохотно. Толик, чтобы повысить интерес его ко мне, сказал ему, что я поэт, посещаю литературное объединение и иногда даже печатаюсь. После этого представления я хотел, чтобы Михаил Борисович попросил меня прочесть стихи, он не попросил, а сам навязаться я постеснялся. Он говорил со мной вежливо, но со скрываемым раздражением. Раздражение я все-таки заметил и потом думал, что оно вызвано тем, что я мешаю ему спокойно убить Толика. Я вернулся к своим подозрениям, несмотря на то что у него была мать. У него была мать, но она была глухая, а кроме того, я все-таки не исключал мысли, что и мать может быть пособницей в таком деле. Тем не менее благодаря моему присутствию убийство не состоялось, и мы около полуночи ушли с билетами в ВТО на концерт юмориста Виктора Ардова.

Мы были люди наивные, сейчас, наверное, любой четырнадцатилетний мальчик догадался бы об истинных целях Михаила Борисовича, но я только через несколько лет, вспомнив эту историю, понял, какими мы были дураками.

Нина Голева, как большинство деревенских девушек, работала разнорабочей. Она была высокая, некрасивая, с лошадиным лицом, шумная. Любила выпить, а выпивши, бузила. Бегала по этажам, что-то громко кричала, громко хохотала и вообще вела себя экстравагантно, но именно поэтому мужчин не привлекала. Однажды влипла в историю тем, что решила подзаработать. Кто-то, кажется, Сюзанна (о ней речь все еще впереди) подговорила Нину заняться проституцией, а конкретно стать где-нибудь недалеко от входа в гостиницу «Метрополь» и, сложив на груди руки, два пальца правой руки выставить как сигнал для возможного покупателя.

— Ну что, пойдём? — спросил молодой человек, взяв ее за эти два пальца.

— Пойдем, — согласилась Нина, наверное, с волнением, поскольку продать себя пыталась впервые. Молодой человек привел ее туда, где числился секретным сотрудником, то есть в милицию.

Разразился скандал. Мелкий, но для бесправной лимитчицы достаточный. Над Ниной возникла угроза лишения московской прописки и отправки ее назад в деревню, откуда она, может быть, с невероятным трудом когда-то вырвалась. Но за нее заступились Тамара Андреевна и Надежда Николаевна. И она осталась в общезжитии с предупреждением, что еще раз — и остаться в Москве ей уже не удастся.

Наши ребята ходили на четвертый этаж, где жили девушки. Там обнимались, целовались и занимались любовью, стоя или сидя, или в каких-нибудь еще неприметных позах. Как-то на четвертом этаже рядом с Ниной Голевой был замечен и Толик. Он стал появляться там каждый вечер, и в конце концов я его спросил, не завел ли он с Ниной роман.

— Нет, — сказал он, — у меня с ней ничего нет, но я решил ее повоспитывать. Я ее ругаю, я ей сказал: как те-

бе не стыдно, ты молодая женщина, а пьешь водку, материшься, бегаешь за мужиками и даже готова была сама себя продать за деньги. Тебе еще только двадцать три года, а что с тобой будет лет через десять?

— А что она? — спросил я.

— Она меня слушает, — сказал он, довольный собой. — И сказала, что больше пить не будет. У нее в тумбочке было полбутылки водки, она отдала мне, и я вылил ее в туалет.

Нина постепенно исправлялась, но процесс воспитания не закончился: Толик каждый вечер пропадал на четвертом этаже.

В конце концов отношения его с Ниной продвинулись далеко, и однажды он спросил меня, немного смущаясь:

— Знаешь что, ты не можешь мне сказать, а где у женщины п...?

Наш разговор услышал Сашка Шмаков, который засмеялся и сказал:

— На животе.

Меня вопрос насмешил еще больше, я долго смеялся, а потом спросил:

— Толик, за что тебя уволили из флота?

— За разврат, — повторил он не без гордости уже известную мне формулировку.

— А в чем этот разврат проявился?

— Понимаешь, я на корабле был интендантом, и в моем распоряжении был весь корабельный спирт. У меня офицеры просили спирт, и я им давал. Двадцать третьего февраля я дал им шесть литров, все перепились, устроили драку, а замполит оторвал ухо штурману. И во всем оказался виноват я, хотя сам я не пил.

Теперь выяснилось, что Толик был не только не развратник, а вообще девственник. Тем временем его роман развивался и однажды принял драматический оборот. К Нине пришел ее бывший любовник и на глазах Толика стал ее домогаться. Она ответила отказом, он вынул из кармана самый настоящий пистолет «ТТ», такое оружие в те времена даже у отъявленных бандитов водилось нечасто. Когда он навел пистолет на Нину, Толик кинулся на него, выбил пистолет у него из рук, а

самого его скрутил, положил лицом к полу и сидел на нем, пока не появился вызванный наряд милиции. После чего авторитет Толика в нашем обществе возрос еще выше, тем более что большинство все еще считало Толика уволенным из флота за разврат.

Через некоторое время с помощью Нины Толик познал ее анатомию и, как честный человек, вскоре на ней женился.

Никакой свадьбы не было. Нина хотела отметить событие вдвоем, купила и выставила на стол четвертинку.

— В нашей семье никаких выпивок больше не будет, — сказал Толик и вылил водку за окно. После такой свадьбы он достал из-под кровати свой чемодан со всем своим тогдашним имуществом и перенес на четвертый этаж к Нине. Где они и зажили тихой семейной жизнью, отгородившись от других обитательниц комнаты занавесками из простыней. С тех пор я его встречал редко. Но, встречая, спрашивал, как течет семейная жизнь и можно ли ожидать продолжения рода.

Оказывается, нельзя. Поскольку в результате сексуальной жизни в организме Нины никаких изменений не происходило, молодые супруги обратились к гинекологу, которая им обоим объяснила, что у Нины отмечено что-то вроде загиба матки, при котором сперматозоиды не могут достигнуть яйцеклетки. Врач посоветовала сделать Нине небольшую операцию по открытию матки, но молодые решили, что сделают это попозже. Пока наслаждаются друг другом, а потом сделают операцию и заведут потомство. Я Толика потом встречал еще несколько раз в течение нескольких лет, чем дальше, тем более печальным он выглядел. Кажется, жизнь его не удалась. Нина оказалась дамой скандальной, ругала его, что он мало зарабатывает денег, и не допустила поступления его в институт. Она не пила, но он запил. И крепко. Она, как многие другие, в день полочки бегала в каску и требовала, чтобы деньги отдавали ей, и ей отдавали. Но он был маляр, имел возможность иногда «подхалтуривать» и на это покупал водку. И пил. А она его била. В институт он так и не поступил. Но, соблазненный моим примером и, должно быть, отчаяния, когда-то ре-

шил стать поэтом. А я к тому времени уже кое-что написал, напечатал и даже стал членом Союза писателей. И вот Толик пришел однажды ко мне со своими стихами. Очень плохими. И я ему сказал, что стихи ему писать не стоит.

— Я тоже так думаю, — сказал он и ушел.

| ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА

Прощание длилось несколько дней, и меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад и они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или это была одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, и они ушли очень разочарованные и, кажется, мне не поверив.

Доступ к телу был открыт, и поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили поодиночке или небольшими группами, вели себя тихо, сидели со скорбными лицами и разговаривали вполголоса, как и полагается в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался, все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверях квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами, но толкотня, многолюдность и вод-

ка делали свое дело, и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках.

Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой Ахмадулиной и Борей Мессерером в его огромной мастерской на Арбате, и наступил последний день.

В седьмом часу утра измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью Ира, Оля и я спустились вниз, в темноту московского декабрьского утра, к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоронах выноса тела. Толпа, как и полагается в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, с кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет, а теперь вот пришел проститься.

Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полуодетые соседи. Были среди прочих повзрослевшие Ирины ученики.

Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приблизился актер «Современника» В. Семь лет назад, когда меня исключили из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время, но не пришел (да и не обязан был, наше знакомство было шапочное), а теперь вот появился, и мы обнялись торопливо.

Но для объятий времени уже не оставалось, захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоящий из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево.

Закончился период странного и противоестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплат вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб.

И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки (мы взяли с собой всего четыре чемодана, один из них с дочкиными игрушками) проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский ап-

парат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посоветовались с кем-то, пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил уже к концу, и два наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному транспортеру, когда меня вдруг подозвали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться.

— В том, что ваша рукопись конфискована.

Я удивился: какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в одну из моих задолго до того опубликованных книг и которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но, наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес недуманные слова:

— Хорошо, в таком случае я возвращаюсь домой.

Я выхватил у рабочего третий чемодан, который он волок к транспортеру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших. Какой-то тип в штатском распростер руки:

— Стойте, подождите!

Я поставил чемодан и подошел к старшему таможеннику.

— И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное?

И вдруг, что это? Я не поверил своим глазам и ушам. Таможенник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам произнес:

— Ваши отношения с таможенной закончены. У таможенника к вам нет никаких претензий.

Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь кагэбэшники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из них. Я отошел. Какой-то кагэбэшник в плаще побежал в дальний угол с карманным приемни-

ком-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье, раннее утро...

Жена сказала другому кагэбэшнику, который стоял рядом:

— И что вы суетитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите.

— А вот и не отдадим, ни за что не отдадим, — сказал тот злорадно. Приблизился тот, который бежал с передатчиком. Я встал у него на пути.

— И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?

— А я ни при чем! — закричал он нервно.

— Врешь, — сказал я, — уж ты-то при чем. Это он, — я показал на таможенника, — может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем.

— Я ни при чем, — еще раз повторил он и кинулся от меня бежать.

Мне показалось, что и ему стало как-то неловко.

Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем два первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий и, как мне показалось, злорадно сказал, что двигатели запущены и самолет отправляется. Из толпы провожающих, молчаливо наблюдавшей эту последнюю сцену, раздался голос одного из друзей:

— Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет.

Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том, что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правил у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или что-то не сделаю, если я не уверен, что поступлю именно так, как говорю. И второе правило прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит, я свое слово должен держать. А слово-то глупое, но ничего не поделаешь. Сейчас, задним числом, я думаю, что у кагэбэшников даже и шанса не было не сдать. Вопрос о моем отъезде был решен на

каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал и, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Но деваться было некуда...

Им тоже деваться было некуда, и рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унижить, а унижил их я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание.

Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей и иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего обыска, нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможенница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможенник с большой звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможенника худой, с коричневым дубленным лицом, и я.

— Выньте все из карманов! — приказал таможенник. Я решил подчиниться.

Я вынул из карманов все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможенника мои деньги нисколько не заинтересовали. Потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унижить. Я это понял. Но я знал, что унижить меня он не может, потому что я к нему отношусь, примерно как к корове. Я знал, что могу сопротивляться, и, возможно, даже без особого риска, но я мог и полностью подчиниться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил — подчиниться. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь и что-то там шарил. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а немолодой человек, толстый и страдающий одышкой.

— Слушай, — сказал я ему нарочно на «ты», — а что ты там ищешь? Бомбу?

— Нет, — сказал он хмуро, — не бомбу.

— А что? Совесть свою?

— Снимите второй сапог, — сказал он и протянул руку.

Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол. И приказным тоном сказал: «Подними!» Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять отказаться от полета (хотя это было бы все-таки глупо), сказал:

— И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель.

— А я ваших книг не читал, — сказал он, как мне показалось, агрессивно.

— И стыдно, что не читал, — сказал я. — И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Я бы на твоём месте лучше застрелился, чем делал эту работу. Что тебе еще от меня нужно?

И вдруг он закричал: «Ничего! Ничего!» — и выскочил из кабинки.

Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, но потом понял, что он просто сбежал. Потому что ему стало стыдно.

Я стал надевать сапоги и вдруг встретился взглядом со стоящим надо мной милиционером, который смотрел как-то странно, не понимая, что происходит.

— А куда он ушел? — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне заискивающе, как к начальнику.

— А я не знаю. Наверно, пошел стреляться. Пойди и ты застрелись.

Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил:

— А вы надолго уезжаете?

— Не надолго, — сказал я. — Я скоро вернусь.

Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикивал какие-то проклятия, а служащая аэропорта бежала за нами и истерически восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась. Ей тоже было стыдно.

Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет. Только мы вошли, дверь закрылась и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту, и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные

напитки: пиво, водку, коньяк, виски, джин... Я взял чекушку водки и спросил, сколько стоит. Она мне сказала: в долларах столько-то, в западногерманских марках столько-то.

— А в рублях? — спросил я.

— Отечественную валюту не принимаем, — сказала она и покраснела.

Вот говорят: стыд не дым, глаза не ест. А я думаю, что все-таки ест. И покуда в людях еще существует чувство стыда, они живы, они еще люди. И значит, еще не все потеряно.

1985

| ЭЛЕКТРОННЫЙ ВРАГ НАРОДА

Пару лет назад в городе Чикаго зашел я в гости к своему другу, американскому писателю. Он как раз закончил работу над очередной книгой и вносил в нее последние поправки. Причем делал это не гусиным пером, не карандашом, не авторучкой и даже не на пишущей машинке, а на компьютере — весьма незамысловатом на вид агрегате, похожем, как многие, вероятно, знают, на какой-то гибрид телевизора с пишущей машинкой. Рядом с этой штукой стоял еще какой-то ящик, размером не больше чемоданчика типа «дипломат». Друг мой нажимал на кнопки, и на экране возникала страница только что законченной рукописи. Друг исправлял опечатки прямо на экране. Где-то убрал восклицательный знак, где-то вставил запятую.

Какую-то часть текста он решил напечатать курсивом, нажал кнопку, и нормальные прямые буквы на экране немедленно превратились в наклонные. Какую-то строчку решил выкинуть, нажал кнопку — и строчка исчезла, а другие строки подтянулись, подравнялись, и как будто ничего не случилось. Захотел вставить новый абзац — вставил. И сразу текст всей его довольно большой рукописи в памяти компьютера передвинулся должным образом.

— Все, — сказал мой приятель, — хватит. Теперь пойдем попьем кофе, а он пускай пока сам поработает.

Мы пошли на веранду, попили кофе, поговорили о том о сем, а когда вернулись, рукопись моего приятеля объемом примерно в триста страниц, аккуратнейшим образом перепечатанная, лежала на столе рядом с закончившим свою работу компьютером.

Я заинтересовался, стал расспрашивать приятеля, как он на этой штуке работает, не раздражает ли его необходимость видеть свои слова не на бумаге, а на экране, и, конечно, спросил, сколько это примерно стоит. Он сказал, что вообще компьютеры бывают разные и стоят по-разному. Его компьютер вместе с печатным устройством обошелся ему в две тысячи долларов.

— А как ты думаешь, сколько может стоить такой компьютер в Москве? — спросил меня он.

— Ну в Москве, — сказал я, — цены, как известно, стабильные на все и на компьютеры тоже. Такой компьютер стоит, я думаю, не меньше трех и не более десяти лет заключения.

Этот разговор я припомнил сейчас, когда узнал, что в Советском Союзе принято постановление о широком внедрении компьютеров и о том, что обучать работе с ними теперь будут уже в школе. А незадолго до того я следил за дискуссией, или, вернее, псевдодискуссией, которая развернулась на страницах «Литературной газеты» на тему, что такое персональный компьютер, нужен он или не нужен советскому человеку. Участники дискуссии как будто в основном сошлись во мнении, что компьютер, в общем-то, нужен, и перечисляли некоторые его возможности. Все возможности такого компьютера участники дискуссии не перечислили, да и не смогли бы перечислить даже при очень большом желании. Дело в том, что возможности этих маленьких ящиков поистине безграничны. С их помощью можно прокладывать курс кораблей, наводить на цель ракеты, варить сталь или борщ, производить любые математические вычисления, ловить преступников или честных людей, играть в шахматы и так далее. Кажется, нет уже теперь ни одной области человеческой деятельности, где можно было бы без них обойтись.

То есть обойтись, конечно, можно не только без компьютеров, а и без многих других достижений современ-

ной цивилизации. Можно и сейчас писать гусиным пером при сальной свече, ездить на перекладных, таскать воду из колодца и ходить до ветру. Может, так оно даже и романтичнее. Но прогресс есть прогресс, от него никуда не денешься. А поскольку советское общество — самое прогрессивное в мире, оно в достижениях современной техники очень нуждается. И в компьютерах нуждается тоже. Потому что сейчас эти электронные негодяи заняли в жизни такое место, что та страна, которая отстанет в их производстве, отстанет вообще во всем. В промышленности, в сельском хозяйстве и, что совсем обидно, в производстве самого совершенного оружия.

И поэтому людям, которые руководят Советским государством, очень хочется, чтобы в Советском Союзе было много самых совершенных компьютеров и достаточно специалистов, которые могли бы на них работать. Но с одной стороны — хочется, а с другой стороны — колется. Потому что у этих самых компьютеров, кроме очевидных достоинств, есть еще и ужасные, я бы сказал, недостатки. Дело в том, что эти компьютеры слишком много знают и своими знаниями охотно делятся. И будучи политически незрелыми, говорят только правду. Не только ту правду, которая нам нужна, а и ту, которая нам не нужна совершенно.

Я помню, еще на заре развития этих чудовищ, когда самое маленькое из них было размером с четырехэтажное здание, в ЦК КПСС обсуждались достоинства и недостатки этих волшебников. И тогда академик Митин сказал вроде бы так: «Я слышал, что если в электронно-вычислительную машину заложить «Капитал» Маркса, то она, эта машина, может точно сказать, правильное это учение или нет. Но мы, — сказал Митин, — конечно, никогда такого эксперимента не допустим». Ну и правильно! Это говорит не только о том, что академик Митин чувствовал себя недостаточно стойким марксистом, но и о том, что машина никакого почтения перед авторитетами не испытывает и любого из них, хоть Митина, хоть самого Маркса, может вывести на чистую воду. Чем вам не диссидент?

Это было давно, машины были большие, их было ма-

ло, возле каждой можно было приставить начальника секретной службы со взводом автоматчиков.

Но положение меняется к худшему. Электронные правдолюбцы со временем становятся все совершеннее. Размеры их уменьшаются, способности увеличиваются, а цены на них падают. Они так плодятся, что в мире их стало уже больше, чем в Австралии кроликов. И могут они не только читать или считать. Они умеют кое-что еще. И это кое-что кое-кому очень не нравится.

Вернусь опять к этой дискуссии в «Литгазете». Участники дискуссии обсудили вопрос, нужен или не нужен советскому человеку персональный компьютер. Подошли к опасной черте и задались вопросом: а можно ли пользоваться компьютером в нашем сочинительском деле? Корреспондент газеты, проявляя очень большую эрудицию, цитируя Анатоля Франса, Байрона и какого-то английского ученого, который жил за четыреста лет до появления первого компьютера, выражает свои сомнения так: «А как литератору работать в «мире быстрых мыслей»? Как поспевать за компьютерным веком с прежней мозговой мощностью? Да еще под диктовку: короче! точнее! конкретнее! Что останется от искусства в этой спешке? Не слишком ли мы торопимся?»

А собеседник — специалист по этим самым компьютерам, вместо того чтобы спросить корреспондента, что за чушь вы, извините, плетете, тоже демонстрирует свою эрудицию, цитируя некто Козьму Прутков и какого-то канадского журналиста. И хотя он как-то вроде бы мямлит, что персональный компьютер дело все-таки не такое ужасное, но и прямо на вопрос не отвечает.

А впрочем, прямо на этот вопрос ответить нельзя, потому что он задан неправильно, некорректно, в самом вопросе заключена попытка поставить отвечающего на ложный путь. И в самом деле, какую картину рисует эрудированный корреспондент? Он изображает несчастного литератора, который сидит перед мерцающим экраном и пытается изложить свою прозаическую или поэтическую мысль в виде логарифмов, которые он забыл еще в школе. А этот электронный нахал еще понукает: давай, мол, побыстрее, да покороче.

На самом же деле все выглядит вовсе не так трагич-

но. Компьютер устроен сложно, в его конструкции может разобраться не каждый. Но ведь, если правду сказать, далеко не каждый из нас знает, как устроены электрический утюг или кофемолка. А еще есть всякие там стиральные машины, холодильники, телевизоры, телефоны, об их устройстве мы тоже порой имеем смутное представление. Но зато почти все мы знаем, что, если нажмешь такую-то кнопку, возникнет такой-то результат. Точно так же дело обстоит и с компьютером. Возможности его безграничны. Если вы математик, вы можете оперировать большими числами. А если вы в этом деле не самый большой специалист и хотите пользоваться им как пишущей машинкой, он и в этом вам охотно поможет. Между прочим, самого процесса творчества он не облегчает. Если вы пишете роман или поэму, компьютер ни одной строки за вас не придумает. Вам самому вашим собственным пальцем придется нажать на клавиши компьютера ровно столько раз, сколько букв и знаков содержит ваша поэма или роман. Его возможности велики, но вам с ним соревноваться вовсе не обязательно. Если вы можете написать в день тысячу страниц, он вам охотно перепишет всю тысячу. Но если вы по совету Юрия Олеши пишете только одну строчку в день, он вам перепечатает одну эту строчку. А если вы вообще писать ничего не хотите, он и в этом случае от вас ничего не потребует. Стоит, молчит, каши не просит.

Возможно, когда-нибудь компьютеры сами будут писать романы. Но пока что, к счастью, до этого они не дошли. Они не писатели, они переписчики. Но переписчики идеальные.

И в самом деле. Не будем вспоминать времена, когда, скажем, сидел монах в своей келье и годами переписывал один экземпляр «Слова о полку Игореве». После изобретения Гутенберга в такой работе необходимость отпала. Но все-таки и сейчас, прежде чем сдать рукопись в печать, надо перепечатать ее на машинке раз другой-третий. Я сам пишу свои книги на машинке и могу сказать, что дело это тоже достаточно хлопотное. Написал один раз, вычитал, почеркал, что-то вставил, что-то выбросил, опять перепечатал. Потом еще раз и

еще. Нет, тут не может быть двух мнений: компьютер — наш идеальный помощник. Вы вносите исправления, подтягиваете строчки, меняете имена и, нажав кнопку, печатаете столько экземпляров, сколько вам нужно. Что можно сказать плохого об этом замечательном изобретении? Если бы меня пригласили на эту дискуссию, я бы так просто все и сказал. Но в том-то и дело, что не так просто.

Конечно, в любой нормальной стране от этих чудопереписчиков никакого вреда нет. Если не жалко денег на бумагу, перепечатавай все, что тебе вздумается. Но как быть с ними в стране, где за листовку, написанную на листке ученической тетради, можно получить срок, где пишущие машинки конфискуются и где большинство населения никогда не видело простой копировальной машины? Как в такой стране можно мириться с появлением подобных машин? Пока они, как я сказал, имеются только в самых секретных заведениях и охраняются самым строжайшим образом. Но, повторяю, их становится все больше и больше. А размеры их уменьшаются, а в изготовлении они все проще и проще. Недавно я видел электронное печатное устройство размером не больше коробки сигарет. И стоит оно не так уж дорого. А работает так тихо, что если даже у вас за стеной живет очень чуткий стукач, то и он ничего не услышит. И в связи со всем этим вот что я думаю.

Советское общество, как известно, построено на строго научной основе. Науку оно всегда ценило выше всего. А также научный прогресс. И вот этот самый научный прогресс прогрессирует. Происходит пресловутая научно-техническая революция. И бороться с ней становится все трудней и трудней.

Новые средства информации все больше и больше вступают в вопиющее противоречие со всей советской системой. Вот уже лет двадцать советские люди, не дожидаясь разрешения цензоров, «издают» на своих магнитофонах миллионными тиражами песни Окуджавы, Высоцкого, Галича. Вот уже появились и все больше плодятся новые распространители идеологической заразы — видеомэгнитофоны (но о них полна тревожных и лирических раздумий советская пресса). Уже жители Восточ-

ной Германии, Чехословакии, Венгрии и даже советских Прибалтийских республик смотрят западное телевидение, которое тоже развивается. Уже сегодня и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке можно, присоединив довольно-таки нехитрую, но пока еще дорогую антенну, смотреть Москву. А значит, и в Москве можно, при некоторых усилиях, смотреть Мюнхен, Лондон, Париж и Нью-Йорк. Скоро все так и будет, потому что все эти средства коммуникации развиваются бурно, не по дням, а по часам. Ничего не скажешь, хоть только научно-техническая, а все-таки революция.

Нет слов, Советское государство выдержало много испытаний.

Оно устояло перед натиском стран Антанты, разгромило белогвардейские полчища, сокрушило гитлеровский вермахт. О внутренних врагах и говорить нечего — с ними Советское государство справлялось всегда. Кулаков, троцкистов, художников-абстракционистов, ученых вейсманистов-морганистов, генетиков и кибернетиков, которые, кстати, и придумали вот эти зловредные компьютеры, полчища так называемых диссидентов, вооруженных автоматическими ручками и пишущими машинками, — всех разгромила советская власть.

Но этот новый враг, по моему мнению, гораздо страшнее всех предыдущих. Я имею в виду все эти достижения в области радио, телевидения и, конечно, этих маленьких негодяев, эти компьютеры. Они отвечают на самые провокационные вопросы. Они готовы распространять любую информацию, независимо от того, нравится она кому-нибудь или не нравится. Причем они не робеют перед следователями и прокурорами. Они не боятся ни пытки, ни расстрела. Их становится все больше и больше, они подступили вплотную к границам Советского Союза, а некоторые даже сквозь нее уже и проникли.

Я помню расцвет эпохи «Самиздата». Когда самоотверженные люди отбарабанивали на пишущих машинках романы Солженицына, книги Сахарова, Джиласа, Авторханова, «Хронику текущих событий».

Сколько они могли напечатать? Четыре, пять, шесть копий за раз. Даже при тех скромных возможностях Мо-

сква, Ленинград, Киев и другие большие города наводнялись ходившими по рукам рукописями, которые не мог выловить весь личный состав КГБ. Но что будет, когда по всей стране распространятся маленькие компьютеры с еще меньшими печатающими приставками к ним? Там уже дело несколькими копиями не ограничится.

Компьютер — слово иностранное. Советские ревнители русского языка, избегая этого слова, заменяют его тремя своими, из которых два тоже нерусских. Они называют его электронно-вычислительной машиной, или сокращенно ЭВМ. А я бы лично его назвал совсем иначе. Учитывая его зловредную сущность и склонность к изготовлению и бесконтрольному распространению опасной информации, я бы его назвал ЭВН, то есть Электронный Враг Народа. Так, мне кажется, было бы намного точнее. И поближе к русскому языку. Все-таки из трех слов остается только одно иностранное: электронный.

Повторяю, за время своего существования Советское государство успешно справилось со многими врагами, а с этим, электронным врагом, боюсь, не справится.

1986

| МЕТРО «АЭРОПОРТ»

Почти в центре Москвы, недалеко от метро «Аэропорт», стоят несколько восьми- и десятиэтажных домов высшей категории, то есть сложенных не из железобетонных панелей, а из кирпича. И квартиры здесь не малагабаритные «хрущобы», а попросторнее, с большими комнатами и кухнями, с широкими коридорами и высокими потолками. У каждого подъезда сидит и вяжет носок лифтерша. Всякого незнакомого ей человека она непременно остановит вопросом: «А вы к кому?» А потом проверит, действительно ли вы идете к тому, кого назвали, или к кому-то другому.

Начиная с послеобеденного времени или чуть раньше можно увидеть и обитателей этих домов. Вот идут два пожилых полнощеких гражданина в джинсах, в голубых водолазках, в темных очках, в каких раньше обычно изображали иностранных шпионов. Идут не спеша, заложив руки за спину, снисходительно поглядывая на окружающую их местность, которая как бы существует благодаря им.

— Вы не читали мой последний роман? — спрашивает один гражданин другого.

— Нет, еще не успел, — виновато отвечает другой.

— Напрасно. Прочтите, получите огромное удовольствие. Между прочим, я там их разнес в пух и прах, сказал все, что я о них думаю.

— О ком? О них? — шепотом переспрашивает собеседник.

— Именно о них, — громко настаивает первый. — Я имею в виду американских империалистов.

И, судя по его самодовольному виду, не сомневается, что, прочтя его роман, американские империалисты придут в ужасное смятение.

По их разговорам нетрудно понять, что это писатели. Но опытный глаз отличит писателей от прочих людей без всяких разговоров. По их самодовольному и в то же время испуганному виду, по очкам, джинсам и водолазкам, по их женам, собакам и автомобилям. Есть тысячи неуловимых примет, по которым советского писателя можно отличить от советского человека любой другой профессии.

В СССР восемь тысяч членов Союза писателей. Половина из них живет в Москве. Три четверти этой половины прописаны в кооперативных домах у метро «Аэропорт». Здесь живут в основном рядовые писатели. Правда, не самые бедные, а те, у кого есть или были когда-то деньги. Те, у кого денег не было никогда, живут в казенных квартирах похуже. Выдающиеся писатели, то есть секретари Союза писателей, живут в казенных квартирах получше. А здесь... Впрочем, и здесь попадаются важные люди, которые ездят на службу на государственных «Волгах», а то и на «Чайках», но это большая редкость. В основном здесь живут все-таки рядовые. Которые ездят на своих «Жигулях» или вовсе на метро. Например, вот эти два старичка, что сидят на лавочке перед домом. О чем они говорят? Тоже о своих романах или поэмах? Нет, они никаких романов или поэм давно не пишут. Они живут на пенсию — сто двадцать рублей в месяц, кое-что подрабатывают по мелочам на внутренних рецензиях для какого-нибудь издательства или журнала, ну, и наверное — кто же сейчас этим не занимается? — пишут втихомолку мемуары о своих встречах в прошлом с выдающимися людьми. Однако, пожалуй, и мемуарами не злоупотребляют и уже с двенадцати часов сидят здесь на лавочке, разговаривают вполголоса, поглядывая по сторонам, не сел ли рядом кто-нибудь подозрительный с тонким слухом.

Они говорят о том, что вчера услышали от знакомых или по Би-би-си. Говорят, новый секретарь парткома сделал то же, что в свое время сделал старый, то есть украл партийную кассу. И теперь нового ожидают те же

неприятности, которые постигли когда-то старого, то есть ему объявят какой-нибудь выговор. А на его место поставят опять старого, с которого выговор за это время уже сняли. А Марков пытался похоронить свою племянницу за счет Литфонда, но какой-то правдолюбец ему помешал. А Вознесенский после скандала с «Метрополем» опять улетел в Америку. Говорят, Союз писателей был против и товарищ Верченко лично в ярости топал личными своими ногами, но Вознесенский все равно улетел. Потому что сенатор Кеннеди его личный друг. И Артур Миллер тоже его личный друг. Но ни сенатор Кеннеди, ни Артур Миллер не могут приказать товарищу Верченко, чтобы он не топал ногами. Значит, у Вознесенского и в Москве есть какой-то влиятельный друг, который поважнее, а может, и пострашнее товарища Верченко.

Сидят старички, чешут языки, переливают из пустого в порожнее, судачат о чем ни попадя, и нет, кажется, такой темы, важной или неважной, которой бы они не уделили внимания. Говорят о Польше, о диссидентах, об отъезжающих евреях, об остающихся антисемитах, которые теперь вошли в моду настолько, что одна поэтесса в Доме литераторов спросила известного поэта: «Евгений Михайлович, а почему вы против антисемитизма?»

А вчера в Литфонде распределяли шапки. Выдающимся писателям — пыжиковые, известным — ондатровые, видным — лисьи, а рядовым — из кролика. Один считал себя известным и требовал ондатру. А ему говорят: «Товарищ, ваше место в литературе определяется не вами, а секретариатом, идите жалуйтесь». Он пошел в секретариат, а там ему сказали: «Нам ондатры, конечно, не жалко, но вы слишком мало принимаете участия в общественной жизни». Он хотел возразить, но ему стало плохо, и его увезли в больницу. Теперь ему не до шапки. А по радио передавали, Солженицын сказал, что в Советском Союзе есть семь писателей, которые о деревне пишут не хуже Тургенева и даже Толстого. Кого же он имел в виду? Абрамова, Белова, Распутина, Можаяева... Кого еще? Солоухина? Нет, Залыгина. А скорее всего, и того и другого. «Как вы думаете, — спрашивают они по-

дошедшего к ним пьяного человека, — кого имел в виду Солженицын — Солоухина или Залыгина?»

Пьяный смотрит на них печальными глазами, ему их спор вовсе не интересен, у него большое несчастье. Он надеялся, что к его шестидесятилетию «Литературная газета» даст о нем полсотни строк с портретом, а теперь выяснилось, что заметка будет только в «Московском литераторе», и не пятьдесят строк, а восемь, и без портрета. А в Литфонде ему предложили шапку из кролика, но он отказался.

Так и не ответив на заданный ему вопрос, он идет дальше, домой, и пишет заявление «самому Маркову»: «С сего числа прошу не считать меня более членом Союза советских писателей...»

Жена в ужасе. Опомнись, что ты делаешь! Ведь у тебя дочка. Ее выгонят из института. У тебя книжка, над которой ты работал четыре года. Теперь ее не напечатают. Ничего, пошлю в «Ардис» или в «Посев», там напечатают! Он выталкивает жену из своей комнаты, звонит по телефону своему другу и с выражением читает свое заявление: «С сего числа прошу не считать меня более...» Врывается жена. «Петя, что ты делаешь? Ведь телефон прослушивается!» Он замахивается на нее трубкой. Вон отсюда! Не смей входить в эту комнату. Здесь живут мои прекрасные герои! Жена с плачем вылетает за дверь. Он прерывает разговор с другом. Ладно, я позвоню тебе завтра. Завтра, проснувшись с больной головой, он своего заявления не находит, жена давно изорвала и спустила в канализацию. Ну что ж, может быть, она и права. Дочка еще не получила диплома. И над книжкой он работал четыре года. А в «Ардисе» то ли напечатают, то ли нет. А если напечатают, то что делать потом? И все-таки «Московский литератор» его юбилей отметил. А товарищ Кобенко, которого писатели зовут Кагбенко, все-таки прислал телеграмму. В общем, жить можно. Конечно, вчера он наболтал по телефону лишнего, но он же сказал это не на собрании и не иностранным корреспондентам. Раньше бы и за это голову сняли, а теперь ничего, теперь времена либеральные, теперь все всё понимают. Ну обиделся человек, ну напился, ну побил жену, ну

сболтнул лишнее, ну не любит он советскую власть, а кто ж ее любит?

Говорят, как-то за обедом малолетний сын Муссолини спросил своего отца: «Папа, а что такое фашизм?» На что папа буркнул, нахмурясь: «Жри и молчи!»

Жри и молчи! Да это же разгул либерализма!

В прошлые времена сидишь, бывало, на собрании, помалкиваешь, никому ничего плохого не делаешь. И вдруг слышишь, председательствующий произносит твое имя. «А теперь послушаем, о чем молчит товарищ Такой-то». И ослабевшие ноги несут товарища Такого-то к трибуне, и коснеющий язык лепечет что-то о преданности партии и правительству и лично товарищу Сталину... А ему говорят, нет, что-то мы вам не верим, что-то вы ваши слова неохотно говорите, как бы по принуждению, а мы вас вовсе не принуждаем, ну что ж, не любите вы советскую власть, так так и скажите, советская власть и без вас обойдется, мы вас выкинем, и ваш труп будет гнить на мусорной свалке истории.

Перед отъездом своим из Москвы попал я как-то на Новодевичье кладбище. Сначала был на старой половине, где Гоголь, Чехов, Булгаков, потом перешел на новую, где, по выражению Владимира Корнилова, «стоят, словно попки на вышке, маршала, маршала, маршала...». Мне эти маршалы показались не попками на вышке, а окаменевшим почетным президиумом во главе с лично дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Громоздятся одни выше другого безвкусные памятники. С натуралистически вырубленными или отлитыми морщинами, бровями, ресницами, орденами, погонами, петлицами, пуговицами, с надписями, перечисляющими чины и должности усопшего. Есть здесь писатели, которые остались в литературе и нашей памяти. Твардовский, Эренбург, Смеляков... Но в основном... Лежит под собственным громоздким изваянием бывший литературный маршал, посмертно разжалованный временем в неизвестные солдаты.

А ведь когда-то заседал в президиумах, громил своих неудачливых собратьев, требовал их крови, издавался огромными тиражами, сыпался на него золотой дождь наград, денег и привилегий, и сам он, должно быть, по-

верил, что заслужил это своим выдающимся вкладом в литературу. А теперь остановится возле памятника пара случайных зевак...

— Кто это?

— Писатель какой-то.

— А-а.

Если в рамках обязательной программы им не пичкают насильно школьников, кто его знает теперь?

Никто, исключая отдельных знатоков вроде меня.

Я ходил и думал: вот она и есть, мусорная свалка истории.

Теперь и на собраниях в Союзе писателей, как на кладбище, тихо и скучно. Займут свои места в зале рядовые писатели, сядут за стол президиума литературные генералы, выйдет на трибуну товарищ Кузнецов и начнет жевать свою жвачку.

За отчетный период писатели, окрыленные решениями такого-то съезда партии и указаниями лично товарища... трудились плодотворно и вдохновенно. За это время вышли из печати... Перечисляются книги, качество которых оценивается в соответствии с должностью, занимаемой автором. Значительно пополнилась наша Лениниана, получил дальнейшее развитие образ коммуниста, к сожалению, наши писатели еще мало уделяют внимания рабочей теме. Однако есть сдвиги и в этой области. Руководство Союза постоянно заботится об укреплении связей писателей с жизнью. Писательские бригады посетили строителей Байкало-Амурской магистрали, читали свои произведения в чумах оленеводов, принимали участие в коммунистическом субботнике на заводе имени Лихачева. И все дальше от литературы, все о каких-то поездках, митингах, борьбе за мир и прочей чепухе, которая большинства сидящих в зале никак не касается, большинство к борьбе за мир, связанной с международными поездками и привозимыми оттуда тряпками, магнитофонами или кухонными комбайнами, не допускается. Но и для большинства у товарища Кузнецова есть кое-что утешительное. Секретариат и партийная организация постоянно заботятся о быте и здоровье писателей. За отчетный период построен новый Дом творчества, улучшено медицинское обслуживание, намеча-

ется строительство дачного кооператива, расширены льготы инвалидам войны, столько-то писателей получили безвозвратные денежные пособия.

Посидишь, послушаешь, кладбище не кладбище, но и не Союз писателей, а какая-то богадельня.

Подтекст этой речи каждому ясен. Веди себя тихо, смиренно, слушайся начальников, не умеешь писать про секретарей обкомов, райкомов, директоров заводов и председателей колхозов, пиши что-нибудь про комсомольцев, пионеров, про природу, про милицию, про рабочий класс, в нужном духе, скучно и оптимистично, и все у тебя будет в порядке, и книжку когда-нибудь напечатаем, и дадим бесплатную путевку в Дом творчества, и по больничному что-нибудь заплатим, а там, глядишь, и до пенсии дожил.

Жри и молчи!

Собрания заканчиваются выборами. Выборы происходят так. Председательствующий объявляет, что теперь пора выбрать новое правление. Секретариат, партийный комитет и московский городской комитет партии рекомендуют следующих товарищей. Кто за? Поднимаются руки. Дальше скороговоркой: кто против, кто воздержался? Никто не против, никто не воздержался. Раньше такие попадались, но теперь либо осознали прошлые ошибки, либо исключены из Союза писателей и считаются нигде не работающими паразитами, либо, как я, живут за границей.

Но ведь писатели не только заседают, не только занимаются распределением шапок или машин, они еще, наверное, пишут книги. Ну, строго говоря, это вообще не обязательно. И среди руководителей Союза есть такие люди, которые ничего не пишут. Но почему бы и не написать книгу, если за нее много платят?

Как нужно писать книгу, чтобы получить за нее много денег?

«Я своему Толику, — говорит жена одного писателя, — еще когда он только начинал, сказала: «Толик, пиши как можно скучнее. Чем скучнее ты будешь писать, тем меньше у тебя будет завистников, тем легче тебя будут печатать».

Мудрая женщина. И муж тоже не дурак. Послушался совета жены, пишет что-то то ли про геологов, то ли про рыбаков, пишет скучно, на общем фоне не выделяясь, никого не раздражая, и без особой борьбы с редакторами и цензурой издает в год по книге. А книга в Советском Союзе не то, что здесь. Там за нее платят деньги независимо от того, читает ее кто-нибудь или нет. Деньги платят за толщину и тираж. При определении тиража начальство учитывает, насколько книга правильна с партийной точки зрения. Чем она правильной, тем скучнее и тем больше ее тираж. Самые толстые и самые скучные книги пишет Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

Живя в Москве среди образованных и следящих за литературой людей, я однажды решил провести небольшое социологическое исследование и всех своих знакомых стал спрашивать, прочел ли кто-нибудь из них хоть одну книгу Маркова. Я опросил не меньше ста человек, и оказалось, что никто из них не прочел ни одной строчки Маркова. Первого человека, прочитавшего одну книгу Маркова, я встретил в Мюнхене.

Чем писатель интереснее, чем большим успехом пользуется он у читателей, тем с большей осторожностью его печатают.

Если же писатель вообще резко отличается от других индивидуальной манерой письма и глубиной содержания, то есть талантом, с ним редакторы много работают, стараясь довести его книги до общего среднего уровня. Чем меньше это удастся, тем меньшим тиражом будет издана книга. Если это не удастся совсем, книгу совсем не печатают. Писателю это, конечно, не нравится, он начинает жаловаться и протестовать. Чем больше он протестует, тем большее недовольство на себя навлекает, и его шансы на то, чтоб напечататься, становятся все меньше и меньше. Если он на этом остановится и будет сидеть тихо, ему в конце концов предоставят возможность полуголодного существования, то есть дадут какую-нибудь черную работу, например рецензировать рукописи начинающих авторов или переводить с подстрочника

какой-нибудь туркменский, якутский или монгольский роман. Если же он будет протестовать дальше, а хуже того, отдаст в конце концов свою рукопись за границу, тогда его объявят врагом советской власти, поджигателем войны, агентом ЦРУ, фашистом, контрабандистом, гомосексуалистом, выкинут из Союза писателей, и тогда им вплотную займется другая организация — Комитет государственной безопасности.

1982

| ГЛАВНЫЙ ЦЕНЗОР

Летом 1980 года, незадолго до моей эмиграции, по Москве разнесся слух, что на телевизионных экранах скоро появится только что снятый многосерийный фильм по книге Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе». Но тут же распространился и второй слух, что фильм запрещен и положен «на полку», а создателям его объявлены выговоры за то, что они пытались протащить на экраны это идейно порочное произведение. Это было странно, потому что «Записки о Шерлоке Холмсе» в Советском Союзе уже десятки раз издавались и переиздавались, трудно было даже представить, к чему там можно придраться. Вскоре, однако, все прояснилось.

Крамола содержалась уже в первых кадрах первой серии. Встретились впервые Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

— О, — говорит Шерлок Холмс, — я вижу, что вы были в Афганистане.

И в ответ на изумленный вопрос доктора, как он догадался, знаменитый сыщик отвечает:

— Ход моих размышлений был такой. В этом докторе заметна военная выправка. Судя по загару, он только что вернулся из тропиков. Он прошел через большие испытания и болезнь, что ясно видно по его изможденному лицу. Его левая рука повреждена. Он держит ее в неестественном положении. Где в тропиках английский военный доктор мог получить такую рану? Конечно, в Афганистане.

Так сочинение давно умершего английского класси-

ка стало вдруг злободневным и совершенно непроходимым с точки зрения советской цензуры.

Через некоторое время, однако, начальство от гнева остыло и разрешило создателям фильма переозвучить крамольное место, в котором Шерлок Холмс теперь говорил: «Я вижу, что вы приехали из одной восточной страны».

Но чисто политическая поправка отразилась и на художественном уровне произведения. Шерлок Холмс поражает нас абсолютной точностью своих умозаключений. А до таких приблизительных догадок, как «одной восточной страны», мы при некотором напряжении интеллекта могли бы и сами додуматься. Это маленький, но характерный пример того, как цензура, изымая из текста негодную ей информацию, разрушает художественный образ.

Когда говорят о цензуре, то имеют в виду прежде всего специальное учреждение, Главлит, в задачу которого входит не допускать разглашения военной и государственной тайны органами печати, радио и телевидения, а также в художественной литературе, кино и театре. У цензоров Главлита есть длинейший и с годами все удлиняющийся список воинских частей, географических точек, промышленных объектов, стихийных бедствий, катастроф и несчастных случаев, произошедших на территории СССР, научных открытий, а также фамилий, которые или вовсе запрещено упоминать в печати, или разрешено упоминать частично, по особому распоряжению партийных или карательных органов. В него входят фамилии деятелей самой коммунистической партии (от Троцкого до Хрущева), фамилии некоторых писателей, диссидентов и ученых, занятых особо секретной работой. Например, имя Сахарова было запрещено упоминать в печати, когда он активно работал в советской науке и получал самые высшие советские награды. Потом его имя стало запретным, потому что он стал диссидентом; теперь его поминают довольно часто, но всегда только с одобрения самых высших партийных инстанций. Список запрещенных фамилий достиг таких катастрофических размеров, что цензоры все хуже справляются со своей работой, что они и продемонстрирова-

ли недавно, пропустив в печать научно-фантастическую повесть Артура Кларка, в которой все советские космонавты были названы запрещенными именами советских диссидентов.

Подобные ошибки, допущенные цензорами или редакторами, на советском редакционном жаргоне называются «ляпами», и такие ляпы проскальзывают на страницы советской печати не первый и, надеюсь, не последний раз. Лет десять тому назад математик Юрий Гастев выпустил «хулиганскую» книгу по математической логике. В предисловии к книге он выражал особую благодарность за помощь в работе над книгой докторам Чейну и Стоксу. Чейн и Стокс не были ни математиками, ни логиками и никак не могли помочь доктору Гастеву в работе над его книгой. Но они были врачами, и их именем было названо Чейнстоксово дыхание, которое является у людей в предсмертной агонии. Такое дыхание было перед смертью у Сталина, на что и намекал Юрий Гастев в своем предисловии. В сталинские годы Гастев был арестован, и только смерть вождя позволила ему продолжить и закончить свое образование. Но на этом Гастев не остановился и в списке использованных материалов указал работы по крайней мере десятка диссидентов, также в большинстве случаев не имевших к его теме никакого отношения.

Примерно в то же время подобный же «ляп» был пропущен цензорами и в журнале «Аврора». В одной из статей был помещен положительный отзыв о Сахарове, за что, как это всегда бывает в таких случаях, в первую очередь попало главному редактору.

Надо сказать, что Главлит — это только одна из инстанций, осуществляющих цензуру, да и то только на последней стадии подготовки того или иного издания, кинофильма или спектакля в свет. Первым цензором произведения, еще находящегося в процессе работы, является, как известно, сам автор. На следующем этапе произведение попадает к рецензентам, потом его редактируют несколько человек (младший редактор, просто редактор, старший редактор и главный редактор). В задачу этих людей входит довести рукопись до того, чтобы

она отвечала определенным идейно-художественным требованиям, хотя требования идейные и художественные почти во всех без исключения случаях друг другу явно противоречат. Вот примерный круг обязанностей первого редактора рукописи, которая принята к печати и включена в план: 1) Сделать ее более или менее удобочитаемой, если нужно — поправить сюжетное построение, стиль, язык, исправить грамматические ошибки (среди признанных советских писателей большой процент элементарно неграмотных людей), в некоторых случаях даже полностью переписать рукопись. 2) Проследить за тем, чтобы рукопись отвечала основным канонам социалистического реализма, то есть чтобы в ней обязательно был положительный герой, чтобы добро (с коммунистической точки зрения) побеждало зло, чтобы общий тон будущего произведения был непременно оптимистическим. 3) Не пропустить не только критики существующей системы, но даже намек на нее, советская действительность в целом должна описываться в светлых тонах, капиталистическая действительность, наоборот, в самых мрачных. Последнее требование соблюдается даже более строго, чем первое, поэтому почти все путевые заметки людей, побывавших за границей, если в них не упоминаются безработица, инфляция, преступность и другие пороки капитализма, подвергаются, как правило, разносной критике. Кроме того, редактор дублирует цензора и так же, как цензор, обязан бдительно следить за тем, чтобы в книге не появилось какое бы то ни было упоминание не подлежащих разглашению тайн и нежелательных фамилий. Само собой, если фамилия самого автора состоит в списке запрещенных к упоминанию, то о публикации его книги, какого бы содержания она ни была, не может быть и речи.

Редактор является первым ответчиком за любые ошибки, допущенные в изданной книге. В большинстве случаев, когда книга вызывает недовольство партийных органов, автора просто критикуют в печати или на каких-нибудь (часто закрытых) собраниях, но редактору достается гораздо больше, ему объявляют выговор, а то и вообще снимают с работы.

Причем, конечно, самым страшным грехом редактора является политическая ошибка, которой может быть признано все, что угодно: изображение того или иного неугодного партии лица или явления в положительном свете, намек на те или иные события (как в случае с упоминанием войны в Афганистане), даже похвала или недостаточная критика того или иного направления в искусстве.

Иногда политической становится обыкновенная грамматическая ошибка. Во время и после войны во всех газетах печатались приказы Верховного Главнокомандующего Сталина. Было несколько случаев, когда в слове «главнокомандующий» по недосмотру была пропущена буква «л». При Сталине такие ошибки приравнивались к саботажу. Мне лично известен случай, когда, допустив эту ошибку, ответственный редактор областной газеты «Большевик Запорожья» (на Украине) немедленно застрелился. Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала мне о редакторе газеты, которому во время войны по ночам снились кошмары. Ему снилось, что в свежем номере его газеты напечатано И.В. Ленин и В.И. Сталин (перепутаны инициалы).

Страх перед ошибками подобного рода настолько велик, что в редакциях больших газет всегда выделяется специальный дежурный сотрудник (его называют «Свежая Голова»), который после всех редакторов и корректоров еще раз внимательно вычитывает всю газету.

Наказания, как я уже сказал, в сталинские времена были особенно крутыми, но и теперь за подобные ошибки наказывают весьма строго. Например, герой моей книги «Иванькиада» Сергей Иванько еще во времена дружбы с Китаем, будучи «Свежей Головой» газеты «Литература и жизнь», был уволен с работы после того, как газета сообщила читателям, что «большого подъема достигла экономика США и Китая» (надеюсь, понятно, что вместо США должен был быть СССР).

Такие ошибки чаще всего случаются в газетах, которые делаются в спешке.

Но в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть о сознательно протаскиваем-

мых автором намеках или ассоциациях, которых автор не предвидел. По этой причине даже немецкие концлагеря являются темой почти постоянно запретной (некоторые книги вышли по специальному разрешению), потому что безусловно напоминали читателю о лагерях отечественных. По этой же причине находится почти под полным запретом тема фашизма и гитлеризма. В шестидесятых годах подвергся партийному разному документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», потому что искусство Третьего рейха, показанное в этом фильме, слишком напоминало советское.

Вообще редакторы заслуживают более полного изображения (что я и постараюсь когда-нибудь сделать). Пока скажу только, что, будучи запуганными и бесправными, они ищут намеки даже там, где их нет. Например, в свое время одно из обвинений, предъявленных кинорежиссеру Андрею Тарковскому по поводу его фильма «Андрей Рублев», было, что крестьяне в его фильме слишком плохо одеты и напоминают советских колхозников. А как же эти крестьяне должны были быть одеты в России XIV века?

В 1968 году на экраны вышел довольно глупый детский фильм «Внимание, черепаха». Центральный эпизод фильма: черепаха, за которой ухаживали ученики одной из московских школ, убежала и оказалась на дороге. А по дороге как раз в это время проходила колонна советских танков. Увидев черепаху, головной танк остановился. За ним остановилась вся колонна. Командир колонны (он находился где-то сзади) запросил по радио головного танкиста, в чем дело. Тот ответил, что на дороге черепаха. Переговоры по радио ведутся очень долго, и затем командир передает благородный приказ: сойти с дороги и обогнуть черепаху (вместо того чтобы, скажем, кому-нибудь из танкистов выскочить и отбросить черепаху в сторону). При обсуждении фильма один из редакторов, хитро поглядывая на сценаристов и режиссера, сказал: «Значит, вы имеете в виду черепаху? Че?» — «Че?» — переспросил один из сценаристов. «Ну да, маленькая Че и большой советский танк». То есть он считал, что под черепахой создатели фильма имели в виду

Чехословакию, хотя в фильме советские танки «маленькую Че» обогнули, а в жизни случилось, как известно, совсем обратное.

Инструкции устные и письменные предписывают редакторам и цензорам выискивать не только обыкновенный, но и «неконтролируемый подтекст». Кроме того, они должны бороться с так называемыми аллюзиями, то есть с возможностью возникновения у читателя мыслей, вообще никак не связанных ни с текстом, ни с подтекстом. На вопрос, что такое аллюзии, один известный советский режиссер сказал так: «Это когда вы, например, сидите в кино, смотрите какой-нибудь видовой фильм, видите какие-нибудь, скажем, Кавказские горы, вершины, покрытые снегом, облака и думаете: «А все-таки Брежнев сволочь».

Помимо профессиональных цензоров и редакторов, цензурные функции осуществляют самые различные ведомства, как бы далеки они ни были от литературы и искусства.

Так, прежде чем выпустить в свет книгу о геологах (пусть это будет даже роман), издательство направляет ее в геологическое ведомство, о пограничниках — в КГБ, о революционерах — в Институт марксизма-ленинизма и т.д. Причем все эти учреждения не только следят за тем, чтобы не было допущено фактических ошибок, но и делают замечания (часто очень грубые и невежественные) по поводу художественных достоинств сочинения, которые автор должен принять (или сделать вид, что принял).

Само собой, цензурные функции осуществляют руководящие органы Союза писателей, партийные органы (от райкома до ЦК КПСС), районные, городские, областные управления культуры, министерства культуры республик и СССР, многие другие организации, а в некоторых случаях и отдельные «заслуженные люди», то есть передовики производства, космонавты, генералы (меня «редактировали» все три категории) и многие, многие другие.

Но самым главным цензором в Советском Союзе является страх.

Каждый советский писатель, принимаясь за новое сочинение, всегда помнит, что вознаграждением за его работу могут быть не только слава и гонорары, но и запрещение части книги, запрещение всей книги, запрещение всех его книг, исключение его из Союза писателей и как крайняя мера заключение его в тюрьму.

1982

| ВЫСТРЕЛ В СПИНУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Как сказано выше, я когда-то писал стихи. Начал писать их во время последнего года службы в армии и писал лет пять после того, пока постепенно не перешел на прозу.

После публикации в шестьдесят первом году моей первой повести «Мы здесь живем» я, по выражению одного поэта, стал широко известен в узких кругах. Но некоторые мои стихи были известны гораздо шире. Я имею в виду стихи, которые были положены на музыку и стали песнями. Одну из этих песен — «14 минут до старта» (музыка Оскара Фельцмана) — знали все советские люди от младенческого до преклонного возраста. Ее пели по радио, телевидению, в театрах, ресторанах и даже, как известно, в космосе. А после того как в 1962 году, во время встречи космонавтов Николаева и Поповича, припев этой песни с трибуны Мавзолея пропел, или, вернее, провыл сам Хрущев, многие редакции газет и журналов стали обращаться ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, печатать их не хотел, но газете «Московский комсомолец» дал два старых стихотворения.

Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их охотно напечатали.

И разразился скандал. Стихи попали на глаза... даже и сейчас страшно сказать... министру обороны СССР Маршалу Советского Союза лично товарищу Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стишки. То ли в душе его разыграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего, но он взбелелся, надел штаны с

лампасами, сел в «Чайку» или бронетранспортер, не знаю уж, во что именно, поехал в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота и всем заседавшим там маршалам и адмиралам прочел мои стихи с выражением. После чего высказался весьма зловеще:

— Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской армии.

Надо же! Я и сейчас, когда вспоминаю, думаю, неужели у министра обороны Советского Союза не было более важного дела, чем выискивать в какой-то захудалой газетенке стишки (хорошие или плохие — неважно) и разбирать их на заседании маршалов и адмиралов?

Министр не успел сказать, в «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась, как могла другая газета напечатать такую пошлость. И в качестве примера привела последнюю строфу, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину Советской армии. То есть сама «Красная звезда», которую читает вся Советская армия, выстрелила этими стихами второй раз, уже покрепче.

Ну а после выступления такой важной газеты бывает что? Конечно, оргвыводы. В «Московском комсомольце» кое-кому дали по шапке. Кого уволили, кому выговор по партийной, кому по служебной линии.

А мне что? А мне ничего. Мое дело написать и по возможности напечатать. А за партийную линию я ответственности не несусь, я беспартийный.

Несколько месяцев спустя призвали меня в армию на два месяца, чтобы сделать из бывшего солдата офицера, не знаю, зачем им нужен был такой офицер. Поехал я в прославленный Дальневосточный военный округ, которым наш поэт (я имею в виду товарища Малиновского) до того, как стать министром, командовал. Ну служба была — не бей лежачего. Ездил я по воинским частям, читал солдатам свои старые стихи. И получал даже за это деньги. Рублей семь за вечер.

Надо сказать, командование частей к выступлениям готовилось хорошо. Как же, писатель из Москвы приехал, это у них там не часто случалось. В гарнизонный

клуб набивалось солдат — ну так примерно дивизия. А на сцене трибуна, стол, покрытый красной материей, и графин с водой для докладчика. На трибуне я, за столом замполит, полковник, иногда подполковник.

Говорил я примерно так:

— Я, товарищи солдаты, вообще-то говоря, прозаик. Но читать прозу не буду, боюсь, вам покажется скучно. Я вам лучше почитаю свои стихи. Я еще сравнительно недавно был таким же, как вы, солдатом и о своей службе написал стихи. Стихам моим повезло больше, чем моей прозе. Одно из них, которое стало песней, пропел с трибуны Мавзолея Никита Сергеевич Хрушев, а другое отметил в своем выступлении ваш главный начальник. Министр обороны Маршал Советского Союза товарищ Малиновский.

Как отметил, я, конечно, не говорил.

После такого вступления в зале устанавливалась полная тишина, солдаты открывали рты, а замполит приосанивался, вот, мол, какую птицу удалось ему заманить в этот отдаленный гарнизон.

Я читал стихи разные, но последними, на закуску, как раз те, которые маршал отметил.

В сельском клубе разгорались танцы.
Требовал у входа сторож-дед
Корешки бухгалтерских квитанций
С карандашной надписью «билет».
Не остыв от бешеной кадрили,
Танцевали, утирая пот,
Офицеры нашей эскадрильи
С девушками местными фокстрот.
В клубе поднимались клубы пыли,
Оседая на сырой стене...
Иногда солдаты приходили
И стояли молча в стороне.
На плечах погоны цвета неба...
Но на приглашения солдат
Говорили девушки: «Не треба.
Бачь, який охочий до дивчат».
Был закон взаимных отношений
В клубе до предела прям и прост:
Относились девушки с презрением

К небесам, которые без звезд.
Ночь, пройдя по всем окрестным селам,
Припадала к потному окну.
Видевшая виды радиола
Выла, как собака на луну.
После танцев лампочки гасились...
Девичьих ладоней не пожав,
Рядовые молча торопились
На поверку, словно на пожар.
Шли с несостоявшихся свиданий,
Зная, что воздастся им сполна,
Что применит к ним за опозданье
Уставные нормы старшина.
Над селом притихшим ночь стояла...
Ничего не зная про устав,
Целовали девушки устало
У плетней женатый комсостав.

Строгие ревнители поэзии найдут (и справедливо) в этом стихотворении массу недостатков. Но солдатам оно нравилось. Солдаты били в ладоши, стучали сапогами в пол и даже кричали «бис». А замполит, которому стихотворение чем-то не нравилось, тоже хлопал, да и как ему было не хлопать, если сам маршал Малиновский отметил. А я, признаюсь, каждый раз удивлялся: неужели никто из этих замполитов, не говоря уже о прочих военнослужащих, не читает «Красную звезду»?

Один осведомленный все же нашелся. Но это было уже в самом конце моей двухмесячной службы. Он тоже сначала хлопал, потом перестал, потом посмотрел на меня с испугом и не очень уверенно сказал:

— Мне кажется, я эти стихи где-то читал.

— Это возможно, — сказал я, — они же опубликованы.

— Да, да, — сказал он и написал в моей лекторской путевке: «Лектор образно и ярко говорил о трудностях и лишениях воинской службы. Лекция прошла успешно».

А потом написал на меня донос в политуправление округа, что лектор в своем выступлении протаскивал чуждые нам идеи. Вот ведь какой двурушник. А еще замполит!

1982

Его Высокопревосходительство Николай Федоренко — крупный государственный и общественный деятель и писатель. Был когда-то заместителем министра иностранных дел, затем представителем СССР в Организации Объединенных Наций, а теперь секретарь Союза писателей СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, главный редактор журнала «Иностранная литература».

Я назвал его высокопревосходительством, потому что он сам требует такого к себе обращения. Напыщенный и чванливый бюрократ, он в кругу своих друзей любит утверждать, что его звание посла Советского Союза приравнено к званию маршала. Один западный дипломат рассказывал мне в Москве, что Федоренко однажды гневно отверг приглашение на прием в одно из посольств, потому что в приглашении было написано «Ваше Превосходительство», в то время как, по его мнению, его следовало называть «Ваше Высокопревосходительство». Этот многолетний представитель пролетарского государства привык жить на широкую ногу и широтой своих замашек превзошел даже западных буржуев. На дипломатических приемах и званых обедах в Нью-Йорке супруга Его Высокопревосходительства неизменно занимала первое место по стоимости мехов, на нее надетых. Поскольку скромной зарплатой, получаемой на высоких постах, для такого высокого уровня жизни нашему Маршалу всегда не хватало, Ее Высокопревосходительство вынуждено было заниматься еще и частной торговлей, распространяя среди московской невыездной элиты тряпье, беспощинно доставляемое Его Высокопревосходительством из-за океана. (Мне рассказывали забавный случай, что, когда маршальская чета вместе с общественностью столицы прощалась с народной артисткой СССР Любовью Орловой, Ее Высокопревосходительство, приблизившись к гробу, невольно воскликнуло: «Ой, она лежит в моем платье!») Набравшись в свое время американского духа, наш Маршал раньше подписывал свои глубокомысленные статьи не иначе, как Николай Т. Федоренко. От этой манеры отучил его,

вероятно, я. После того как я высмеял Маршала в своей книге «Иванькиада», он стал подписываться более скромно: «Н. Федоренко, член-корреспондент АН СССР».

С литературным творчеством Федоренко я знаком лишь поверхностно. Будучи по профессии востоковедом, он в свое время издал какие-то книжки о культуре Китая и Японии, но злые языки говорят, что эти книги написаны за Маршала его верным ординарцем профессором Львом Эйдлиным. Впрочем, с одним давнишним произведением Маршала я ознакомился внимательно. Это горячее и восторженное предисловие к советскому изданию восемнадцати избранных стихотворений величайшего китайского поэта, правда, ныне в Советском Союзе, а отчасти даже и в самом Китае запрещенного. Имя поэта — Мао Цзэдун.

Покинув (наверное, не без горечи) дипломатическое поприще, Его Высокопревосходительство сосредоточилось на литературной деятельности и неизменно возглавляет советскую команду на регулярных встречах советских и американских писателей, которые происходили в Москве, Нью-Йорке, Батуми, Лос-Анджелесе, Киеве и последняя в калифорнийском местечке Малибу. В газетных отчетах об этих встречах Федоренко перечисляет всех американских и советских участников, забыв, впрочем, упомянуть участника первой московской встречи Василия Аксенова. Зато в список американских крупных писателей он включил действительно очень знаменитую на Западе королеву, я бы сказал, порнографического жанра Эрику Джонг. Сексуальные похождения героини ее романов написаны с таким знанием дела и с такими подробностями, что при знакомстве с ними неподготовленный советский читатель мог бы повредиться в рассудке. Причем писательница никакими многоточиями не пользуется, а пишет все как есть, употребляя все известные ей слова и выражения, существующие в современном английском языке. Если бы главный редактор «Иностранной литературы» действительно хотел дать читателям своего журнала полное представление о сегодняшней американской литературе, ему следовало бы опубликовать хотя бы самый безобидный из романов этой писательницы.

Впрочем, в своем отчете автор пишет: «Мы решительно отвергаем сочинения, в которых проповедуются идеи войны, насилия, расовой и национальной розни, порнография, пошлое мелкотемье». «И цензура, — пишет он дальше, — осуществляется не какими-то таинственными силами, а нами самими...» И хотя я бы никогда не заподозрил Федоренко в излишнем стремлении к правде, эти его слова полностью соответствуют действительности. Ими самими, Федоренко и другими прилитературными надсмотрщиками, и осуществляется цензура, удушающая каждое живое слово в нашей уже почти совершенно затоптанной отечественной литературе.

Само собой разумеется, что господин Маршал много говорит об озабоченности писателей судьбами мира и человечества — их тревоге по поводу милитаристского курса вашингтонской администрации и цитирует мудрые и миролюбивые высказывания очередного главы московской администрации, рассуждает об ответственности писателя и призывает к взаимопониманию, и повторяет, как много сделано в этом направлении советской стороной и как мало американской. И как всегда, приводит длинный список американских классиков и современных писателей, книги которых опубликованы в Советском Союзе, и, конечно, не может привести подобного же списка советских писателей, опубликованных в Соединенных Штатах. Но я ему помогу. Правда, вначале оговорюсь, что понятия американский и советский неоднозначны. Первое понятие — географическое, а второе — идеологическое. Американский писатель — это всякий американец, который писал или пишет книги в Америке или вне ее, а советский — это только тот, который писал при советской власти и был ею признан. Но если мы возьмем всех русских писателей, классиков и современных, не разделяя их по принципу угодности или неуждности господину Федоренко, то картина получится более оптимистичной. Ну возьмем для начала классиков. В Америке много раз издавались и широко известны Толстой, Гоголь, Чехов. Достоевский в Америке и вообще на Западе относится к числу самых читаемых и почитаемых писателей. Горький издавался

много раз и был популярен. Потом его популярность упала не только в Америке, но и в Советском Союзе. Из писателей советского периода широко печатались Шолохов, Маяковский, Леонов, Симонов, Зощенко, Замятин, Булгаков, Пастернак, Цветаева, Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Солженицын, Шаламов, Евгения Гинзбург, Аксенов, Лидия Чуковская, Ахматова, Бродский, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Вениамин Ерофеев. Список этот можно было бы продолжать и продолжать. Я включил в этот список писателей, которых Федоренко отвергает как не советских. Но его самого нельзя назвать никаким писателем: ни советским, ни нес советским, ни антисоветским. Пожалуй, единственное звание с прилагательным «советский», которое можно к нему приложить, это — советский антиписатель.

Я слышал, что в Москве кто-то из американских писателей заявил протест против присутствия среди них литературного ремесленника Артура Хейли. Если бы американцы имели хотя бы малейшее представление, каких «художников» выставляет советская сторона, если бы они могли вообразить уровень сочинений Ивана Стаднюка, Михаила Алексева или Анатолия Иванова, Артур Хейли, автор известных в Советском Союзе романов (может быть, и не блещущих талантом, но написанных, во всяком случае, со знанием дела) «Аэропорт», «Гостиница», «Колеса», показался бы им гигантом.

Больше того, американским писателям, которые встречаются, обсуждают проблемы мира и литературы с представителями Союза писателей СССР, я должен прямо сказать, что примерно половина их собеседников — самые настоящие уголовники. Они не только воруют, мошенничают, берут и дают взятки и спекулируют, но еще пишут тайные и явные доносы, клевету и политические обвинения против честных писателей, на основании которых писателей преследуют, лишают возможности печататься, лишают буквально куска хлеба и высылают за границу, а в прежние времена сажали в тюрьму и даже расстреливали.

А что касается самого господина Федоренко, то его

деятельность можно сравнить только с деятельностью доктора Геббельса (впрочем, на это сравнение претендуют еще некоторые начальники советской литературы). И, откровенно говоря, я совсем не понимаю, зачем американским писателям встречаться и обсуждать какие бы то ни было проблемы с Федоренко и ему подобными. В литературе он разбирается не больше тюремного надзирателя, а бороться с ним за мир тоже глупо.

Конечно, в Советском Союзе издано довольно много книг американских писателей. Но большинство из них издано именно потому, что их авторы критически описывают американскую жизнь.

Но если представить себе на минуту, что в Америке вдруг восторжествовало советское отношение к литературе, если бы писателей вдруг стали ценить по их преданности существующему в Америке строю, правящей партии и лично правящему президенту, а также чиновникам, управляющим литературой, если бы из несогласных — пару писателей расстрелять, десяток посадить, другой десяток выгнать навсегда из Америки, да пара десятков еще бы и сама после всего этого сбежала, и всех вместе этих писателей считать неамериканскими, вот тогда можно было бы на равных сопоставить достижения обеих сторон в области культурного обмена.

А впрочем, есть и другой путь, более естественный. Вот если бы Его Высокопревосходительство отошло от руководства литературой и занялось каким-нибудь более подходящим ему делом — торговлей джинсами, дубленками или подтяжками, тогда культурный обмен между двумя великими странами не представлял бы, возможно, никакой проблемы.

1983

| ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...

Пятьдесят лет тому назад, в августе 1934 года, в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялось грандиозное двухнедельное представление, которое называлось Первым Всесоюзным съездом советских писателей. Съезд торжественно объявил об объединении всех

писателей, «поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве»:

Один за другим поднимались на трибуну представители новой, дотоле невиданной в мире литературы. Писатели, которые взяли на себя роль коллективного Господа Бога и в кратчайшие сроки обещали создать нового человека. Время от времени под бой барабанов врываются в зал заседаний делегации передовых рабочих, колхозников, красноармейцев и пионеров. Они торжественно докладывают о своих небывалых успехах на трудовом фронте и призывают писателей немедленно отразить их подвиги и тем самым создать величайшую литературу, которая по своим достижениям могла бы сравниться с достижениями рабочего класса и трудового крестьянства. (Забегая вперед, скажу, что, если опустить все превосходные эпитеты, литература эту историческую задачу полностью выполнила и ее успехи вполне сравнимы с успехами советской промышленности и сельского хозяйства.)

Патока славословий густым потоком лилась на головы лидеров правящей партии во главе с лично вождем всего советского народа, всего мирового пролетариата, всего прогрессивного человечества, лучшим другом советских писателей товарищем Сталиным. Писатели в самых возвышенных и поэтических выражениях славили свое ныне узаконенное положение, задолго до Оруэлла объявив рабство высшей степенью творческой свободы.

Съезд вынес много замечательных решений, одним из которых было, что отныне и навсегда все без исключения писатели в своей работе должны пользоваться методом социалистического реализма.

Что это такое?

Официальная формулировка гласит, что социалистический реализм — это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии.

Были и другие формулировки. Один из партийных организаторов съезда на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил примерно так: социалистический реализм — это Шекспир, Рембрандт и Бетховен,

поставленные на службу пролетариату. Некоторое время спустя классик и теоретик соцреализма Фадеев на вопрос, что это такое, ответил: а черт его знает! И уже, вероятно, в наши дни появилась неофициальная, но вполне исчерпывающая формулировка: социалистический реализм — это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме.

Председательствовал на съезде основоположник нового реализма Алексей Максимович Горький. Великий пролетарский писатель ронял слезы умиления, видя, как под одной крышей мирно собрались и не грызут друг друга пролетарские писатели, попутчики, представители малых наций, народные акыны, которые, еще не овладев грамотой, уже научились уверенно ставить отпечатки большого пальца в гонорарных ведомостях.

Но пока Горький утирал слезы, смущенно просил не называть его слишком часто великим, бывший аптекарь Генрих Ягода уже составлял для него смесь смертоносных ядов, уже испытывал их на лабораторных крысах, а может быть, и на подобранных с научными целями малых писателях.

На сцене Колонного зала Горький доигрывал свою последнюю роль. История больше в нем не нуждалась. Ну и в самом деле, все, что мог, он уже совершил. Образец для подражания следующим поколениям соцреалистов — роман «Мать» — уже написал. Ленина и Сталина прославил. И свою знаменитую фразу: «Если враг не сдастся — его уничтожат» уже пустил в обращение. Что с него еще взять? Как живой организм, который может разъезжать по каналам, колхозам, колониям малолетних преступников, произносить речи, умиляться и ронять старческие слезы, он был больше не нужен. Нужно было его имя на вывеске. Улицы Горького, колхозы, заводы, театры, пароходы имени Горького. Ну и город Горький, в котором уничтожался несдающийся враг — Андрей Сахаров.

Съезд закончил свою работу, делегаты с гостинцами для родственников разъехались по своим городам и аулам, и началась будничная, кропотливая работа по уничтожению литературы и ее создателей.

Говоря о писателях — жертвах советского режима,

мы обычно перечисляем одни и те же имена: Бабель, Мандельштам, Булгаков, Платонов, Зощенко, Цветаева, Ахматова, Пастернак...

Одни поминают эти имена с горечью, другие с гордостью. Вот, мол, всегда настоящая русская литература жила, существовала, развивалась, несмотря ни на что. На самом деле, не несмотря ни на что, а благодаря партии и лично товарищу Сталину. Потому что товарищ Сталин мог это развитие прекратить в один день и сразу со всеми вышепоименованными писателями покончить. Но он терпел и проявлял индивидуальный подход и даже известную деликатность. Даже Мандельштама, который написал, что его толстые пальцы, как черви, жирны, он на полную гибель не сразу отправил. Он дал ему еще возможность в ссылке пожить, написать еще кое-что дал возможность. Он дал возможность Мандельштаму исправиться. Но Мандельштам и вышепоименованные не исправлялись. Советскую власть до конца не любили. Нет, они, конечно, против нее не выступали, они соглашались считаться социалистическими реалистами. В трудные для себя времена они даже пытались сочинить что-нибудь панегирическое о Ленине и Сталине. Но справедливости ради надо сказать, делали они это неохотно, неумело, не от души. Не было в их сочинениях о Сталине такого неподдельного восторга, как, например, позднее у Исаковского: «Оно пришло, не ожидая зова, пришло само, и не сдержать его... Позвольте ж мне сказать Вам это слово, простое слово сердца моего». Как бы высоко ни ценил я перечисленных мною писателей, но лъстя Сталину, такой проникновенности никто из них достичь не мог. На самом деле сердцем они новой власти не приняли, от политики партии и правительства в области литературы и искусства воротили нос, а сами еще что-то писали в стол или старались удерживать написанное в памяти и, не сдаваясь до конца, делали вид, что сдались. Поэтому их травили, не печатали, морили голодом, сажали и доводили кого до сумасшествия, кого до самоубийства. Если враг не сдастся — его уничтожают.

А если сдастся?

На этот риторический вопрос однозначно ответить нельзя. Сначала нужно определить, что считать сдачей.

Маяковский начал сдаваться задолго до самоубийства, когда начал наступать «на горло собственной песне». Горький, приняв советскую власть, еще не понял, что надо полностью, а не частично принять и новые правила поведения. Он все еще вмешивался не в свои дела: защищал чьи-то книги, кого-то вызволял из тюрьмы, кому-то выхлопывал квартиру, лекарства или дрова и даже что-то еще писал. То есть сдался процентов на девяносто девять, а один процент своей души пытался от партии утаить и потому оказался достоин уничтожения. Говорят, после его смерти у него были найдены некие записи, прочтя которые то ли Сталин, то ли кто-то еще сказал: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». На самом деле этот волк в лес уже не смотрел, а так, косился немного.

Я думаю, что некоторые цели советская власть не сразу зловеще вынашивала, а приходила к ним инстинктивно. И то, что литература в целом и всякий существующий в ней отдельный талант являются ее врагами, власть осознала не сразу, а в результате длинной серии проб и ошибок. Ну например, в самом начале некоторые писатели (Бунин, Куприн, Мережковский, Аверченко) новой власти не приняли, плевались, проклинали, эти ясно — враги. Колебавшихся она стремилась привлечь на свою сторону. Тех, которые приняли ее, но, не избавившись от пережитков прошлого, соразмеряли описываемое с реальной действительностью, она надеялась перевоспитать. Но были писатели, которые сразу без колебаний стали на сторону власти, честно и самоотверженно пытались приспособить свои книги к вновь выдвинутым требованиям. Оказалось, что и такой писатель, пока в нем остается сколько-нибудь таланта, — тоже враг, достойный уничтожения, причем вовсе не обязательно уничтожать самого человека, достаточно уничтожить заложенный в нем талант.

Всякое художественное дарование оказалось врагом советской власти. Некоторые дальновидные писатели это поняли сразу. Одни просто замолчали, другие уда-

рились в пьянство, Катаев, по-моему, сознательно тридцать лет притворялся бездарным, но некоторые настолько хорошо притворились, что стали бездарными навсегда.

Накануне 1967 года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский дал интервью «Литературной газете». Перечислив имена авторов, сочинения которых журнал намерен опубликовать в текущем году, Твардовский выразил особое удовольствие, что один из старейших советских писателей, крупный мастер прозы Константин Федин согласился дать журналу новые главы из своего романа «Костер».

За несколько дней до выхода номера с произведением выдающегося мастера в отдел прозы «Нового мира» пришел сотрудник «Недели» (приложение к газете «Известия») и попросил порекомендовать ему для его еженедельника какой-нибудь отрывок из «Костра». Сотрудники отдела прозы переглянулись и затем смущенно признались, что романа они не читали и поэтому никакого отрывка порекомендовать не могут. Сотрудник «Недели» пошел на второй этаж, где располагались в отдельных кабинетах члены редколлегии и главный редактор. Выяснилось, что никто из них тоже не читал печатаемого ими романа. Роман читали только корректоры, в обязанности которых входит исправлять грамматические ошибки. Но даже и они содержания романа не помнили, а одна из корректорш сказала гостю, что он может взять отрывок любой, потому что весь роман одинаково бессмыслен и скучен.

Само собой разумеется, что, как только новые главы были опубликованы, чуть ли не все центральные газеты и журналы разразились огромными статьями ведущих критиков о новом большом событии, происшедшем в советской литературе.

А ведь Федин, в отличие от некоторых своих коллег, не был изначально бездарным. Когда-то, в двадцатых годах, его романы «Города и годы», «Братя» были популярны. Их читали, о них спорили, кто-то их отвергал, кто-то превозносил, но они, так или иначе, возбуждали читательский интерес. Но вот однажды он, может быть,

после долгих колебаний решил стать образцовым советским писателем. Начал сочинять книги в соответствии с установленными литературными рецептами. И чем толще были эти книги, чем скучнее, чем большим убожеством отличалось их содержание, тем хвалебнее были рецензии, тем выше были правительственные награды.

К концу своей жизни Федин был академиком, председателем Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом всех высших литературных премий, Героем Социалистического Труда. Все эти награды он получил, лишь многократно доказав, что как писатель он полностью кончился и из-под его пера никогда не выйдет ни одной живой строчки. «Федин похож на чучело орла», — сказал о нем однажды Маршак.

У советской литературы есть свои классики не только мертвые, но и живые, или, точнее сказать, как бы живые. То есть они существуют, они участвуют в бесчисленных торжественных заседаниях, они произносят длинные и скучные речи, время от времени они издают книги, толстые, как кирпичи. Книги этих авторов уже никто не читает. Даже редакторы, даже цензоры. Все заранее знают, что эта книга не будет иметь никакого существенного содержания, что она будет изготовлена в точном соответствии с существующими рецептами, что в ней не будет ни одного живого слова, ни одной свежей мысли. Именно поэтому она будет напечатана немедленно, без каких бы то ни было задержек, советская критика встретит ее потоком панегириков, а Советское правительство отметит ее появление высокой наградой. Среди авторов этой категории есть бездарные от рождения, а есть и такие, которые когда-то подавали надежды. К этим вторым правительство даже больше благоволит, чем к первым, и щедро им платит за то, что они добровольно удушили в себе то многое или немного, чем их наделила природа.

Деградацией личности и таланта платили за благодеяния советской власти все признанные ею корифеи, включая Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова.

Падение последнего вообще катастрофично, если

поверить, что он является истинным автором «Тихого Дона».

Сначала ошеломительный взлет: в двадцать три года — первый том эпопеи, в двадцать четыре — второй. Когда он закончил последний том, ему было только тридцать пять лет. По существу, еще молодой писатель. Некоторые в этом возрасте только начинают. А он, оказывается, уже закончил свое развитие, и дальше пошло неуклонное скольжение вниз. Неуклюжее сооружение — «Поднятая целина», посредственный рассказ «Судьба человека», а потом уже что-то и вовсе беспомощное. Даже в советской литературе найти сочинение, равное по бездарности роману «Они сражались за Родину», не так-то просто.

Чем больше он спивался, чем бездарнее писал, тем неумнее становились официальные почести и восхваления. Только в последние годы, когда он уже вообще ничего не писал, его дважды наградили званием Героя Социалистического Труда.

Талант Шолохова уничтожался многие годы, настойчиво и планомерно. В конце концов он задолго до своей физической смерти умер духовно, превратился в спившееся, растленное, злобное и глупое существо.

Если враг не сдается — его уничтожают. Если сдается — его уничтожают тем более.

1983

ЦЕНЗУРА И РЕЦЕПТУРА

Что в Советском Союзе цензура весьма свирепа, известно всем. Она беспощадно вычеркивает из книг художественных и документальных упоминания о фактах или событиях, сыгравших иногда очень важную роль в советской истории. В длиннейший список запрещенных имен внесены вожди Октябрьской революции, Гражданской войны, Советского государства, писатели, художники, артисты, философы, диссиденты. Но кроме всех запретов, постоянных и временных, существуют хорошо разработанные рецепты, придерживаясь которых

писатель всегда может рассчитывать на благосклонность начальства и официальный успех.

Идеальное произведение социалистического реализма должно подводить читателя к мысли, что советская власть лучше всех.

В центре книги должен быть положительный герой. В прежние времена это был революционный фанатик, как Павка Корчагин, а сегодня законченный идиот вроде кочетковского секретаря обкома или сознательный рабочий, утверждающий, что настоящий революционер — это тот, кто перевыполняет производственные задания и слушается начальства. Положительный герой — это хорошо сложенный человек нордической расы (русые волосы, голубые глаза, простая русская фамилия, простое имя). Он всегда готов пожертвовать собой ради спасения Родины, знамени, социалистического имущества, ради выплавки стали или сбора урожая. Он много работает, много курит и мало спит. Его отношения с женщинами загадочны. Читает он только Маркса, Ленина и ныне живущего Генерального секретаря. Он всегда уверен в правоте своего дела, говорит негромко, но уверенно, руку жмет крепко, смотрит прямо в глаза. В редкие свободные минуты любимое развлечение — рыбалка.

Положительному герою противостоит отрицательный. Он обычно хилый интеллигент, и если даже не прямой вредитель, то Родину спасти не хочет, знамя спасать не хочет, от выполнения планов уклоняется. Руки у него потные, глаза бегают, изо рта пахнет гнилыми зубами. На рыбалку не ходит, вместо этого читает заумные стихи. Фамилия у него обычно смахивает на польскую, хотя совершенно ясно, что он — еврей. Само собой, он настроен антипатриотически, падок на все иностранное (виски, джинсы, джаз). Отрицательно изображаются иностранцы и верующие. (Я читал один антирелигиозный роман, в котором изображалась жизнь секты скопцов. Автор настолько увлекся очернением своих персонажей, что изобразил главу секты очень активным и успешным соблазнителем женщин.)

В образцовом произведении социалистического ре-

лизма должны быть обязательно так называемые «приемы нового». Скажем, если положительный герой объясняется в любви положительной героине, она в самый патетический момент прерывает его таким, например, возгласом: «Ой, спутник летит!»

Образцовый советский писатель должен проявлять особую чуткость в национальном вопросе. Если в произведении действуют русский и таджик, таджик должен быть обязательно хорошим, но русский должен быть чуть-чуть лучше.

Все эти рецепты примитивны и выглядят так же идиотично, как выглядело бы, скажем, требование строить космическую ракету в виде серпа или молота.

| ПРАВДА ФАКТА И ПРАВДА ЭПОХИ

«Пишите правду», — сказал как-то Сталин советским писателям. Неужели правду?..

А что такое правда? — спрашивает образцовый советский критик. И объясняет: нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. Есть правда факта, и есть правда эпохи. Сталинские лагеря, разорение крестьян, скудная жизнь рабочих, коммунальные квартиры, очереди, повальное пьянство, презрение людей к официальной идеологии — все это — правда факта. Цветущие колхозы, рабочие, которые думают только о невыполнении планов, массовый трудовой героизм, баснословно растущее благосостояние, беззаветная преданность народа идеям коммунизма — это правда эпохи.

Опять-таки вроде по Оруэллу, но на самом деле за долго до Оруэлла утверждено: правда — это ложь, а ложь — это правда.

Считается, что литература должна служить народу. А как служить?

Это определяет партия. Точнее, ее верховные руководители. Сами они книг, как правило, не читали и не читают. На родном языке изъясняются косноязычно. Иноязычные слова вроде социалистический, коммунистический, империалистический, повторяя в течение

всей своей затянувшейся жизни изо дня в день, не могут правильно выговорить, не вспотеет. Они искренне не понимают, для чего нужна литература и зачем тратить на нее государственные деньги. Они и того не понимают, что на литературу и денег тратить не нужно, что книга не только духовная (им непонятная) ценность, но и товар, который можно купить-продать иногда даже выгоднее, чем мешок картошки. Поэтому в конце концов они приходят к естественной для них мысли, что литература нужна для восхваления. А кого восхвалять? Ну конечно же, в первую очередь их самих. Они говорят писателю иногда более, иногда менее завуалированно: восхваляй нас — и ты получишь все. Если писатель уклоняется от восхваления, они его просто не понимают, они искренне думают, что он или дурак, или сумасшедший.

Некоторые люди попроще думают так же. Один мой родственник, узнав о моих невзгодах, специально приехал из провинции ко мне, чтобы научить меня, как выйти из положения. «Пиши про Брежнева», — сказал он, считая, что я, как человек не от мира сего, сам додуматься до этой нехитрой мысли не мог.

Впрочем, среди партийных начальников есть и такие, которые готовы допустить, что литература нужна не только для восхваления, но для чего-то еще. «Литература, — говорят они, — должна способствовать нашему движению вперед». Ну например, способствовать выполнению производственных заданий по выплавке чугуна, производству автомобилей или уборки урожая. Подобно герою твеновского «Янки при дворе короля Артура», они хотели бы использовать писателя, привязав к его пишущей руке хотя бы маленькую динамомашину для производства электроэнергии.

В свое время у меня был один знакомый секретарь сельского райкома КПСС. Он меня очень уважал и интересовался тем, что я пишу. Однажды я дал ему почитать свою повесть, которая кончалась тем, что герой сгорел в избе, случайно подоженной сумасшедшей старухой. Секретарю повесть понравилась. Он даже сказал мне, что, читая повесть, он плакал. Но ему захотелось тут же ее улучшить и приспособить к текущим нуждам.

Он сказал мне примерно так: «Ты знаешь, повесть хорошая. Но зачем эта сумасшедшая старуха? Она никому не нужна. А вот к нам в колхозы приходят калориферы с дефектами. И из-за них на полевых станах бывают пожары». Искренне желая мне помочь, он предложил мне переделать конец повести, чтобы пожар случился из-за дефектного калорифера. Дал адрес калориферного завода и назвал фамилию директора, чтобы я указал ее в своей повести. И очень огорчился, когда я отверг его предложение. Этот секретарь райкома занимался сельским хозяйством. Его советы были от чистого сердца и практических последствий для меня не имели. Но его вполне могли перебросить с сельского хозяйства на литературу, и тогда разговор был бы другим.

Впрочем, и переброшенным быть не обязательно. Вмешиваться в литературу, поправлять писателей, исправлять или даже запрещать ими сочиненное могут все, кому не лень, независимо от уровня их компетенции. Например, одна моя пьеса была запрещена потому, что не понравилась председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, который обычно всем видам интеллектуальных развлечений предпочитал домино. Редактор молодежной газеты получил выговор, напечатав мое стихотворение, которое не понравилось министру обороны СССР маршалу Малиновскому. В песне на мои слова одна строчка была исправлена по указанию космонавта Поповича. После разносной статьи одного маляра в газете «Известия» из моей книги был выброшен лучший рассказ.

ЛИТЕРАТУРА ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ПОБОЧНАЯ

Среди специалистов, изучающих русскую литературу советского периода, есть такие, которые достижения этой литературы оценивают весьма благосклонно. Они указывают, что даже в самые тяжелые времена литература не прекращала своего существования, в ней жили и работали... дальше идет уже приведенный мною список: Булгаков, Платонов, Зошенко, Пастернак... Это, конечно, так. Но нельзя забывать следующее: среди писате-

лей, состоявших в Союзе писателей и издававшихся в советских издательствах, всегда существовали две категории, которые были так же похожи друг на друга, как волк на овцу.

Первую категорию можно назвать государственной. Это писатели, которые прочно завоевали доверие советской власти, занимают или высшие должности в Союзе писателей, или являются главными редакторами толстых журналов. Кроме того, они бывают депутатами Верховного Совета СССР или РСФСР, членами или кандидатами в члены ЦК КПСС. Сочиняемое ими рассматривается как дело государственной важности. Никакой редактор не может отвергнуть их рукописи по собственному усмотрению. Если ему в рукописи что-то не нравится, он может поговорить с автором или обратиться в ЦК, а там уже решат окончательно, как быть. После выхода книги государственного писателя никакой критик, никакая газета не имеют права отзываться о ней негативно, если только на это не последует специальной команды сверху. Если все же оказывалось, что государственный писатель совершил ошибку, его поправляли только на уровне ЦК или сам Сталин. Ошибка могла быть только одна: государственный писатель недостаточно отразил роль партии. Такие ошибки в свое время совершили Фадеев в «Молодой гвардии» и Шолохов в «Тихом Доне». Партия их поправила, они свои труды переработали (Шолохов многократно), после чего книги их были приняты и навечно зачислены в список классических.

Теперь государственные писатели уже полностью созрели, подобных ошибок не совершают, роль партии отражают сверх всякой меры и Центральному комитету больше нет нужды не только поправлять, но даже читать их.

Вторая категория — это писатели побочные, идущие не по столбовой дорожке советской литературы, а где-то в стороне от нее. И пишут они обычно не о передовиках производства, не о тружениках полей, не о секретарях обкомов-райкомов, а о каких-то чертях, заключенных, самоубийцах, пьяницах и жителях коммунальных квартир, которые бьют друг друга сковородкой по голове.

С побочным писателем можно обращаться как угодно. Его можно печатать, можно не печатать, можно хвалить, можно ругать, можно и вовсе не замечать, пока кто-нибудь не обратит внимание, что побочный писатель приобрел непредусмотренную популярность у читателей, которым почему-то все эти черти, пьяницы и самоубийцы нравятся больше, чем секретари обкомов и передовики производства.

К литературе, которую я называю побочной, относятся самые лучшие писатели советского периода. Среди них нет ни одного, который бы прожил свою жизнь благополучно. Их убивали, сажали, травили, поливали помоями, обещали им место на свалке истории, от официальной советской литературы их отлучали. Поэтому они к ней не принадлежат.

Через некоторое время после смерти их иногда печатают, но неохотно. Почитают все же не их, а их палачей. В Советском Союзе есть улицы имени Павленко, есть Дом творчества имени Серафимовича, Дом литераторов имени Фадеева, библиотека имени Федина, музей Николая Островского и город Горький.

Но никакие библиотеки, музеи, улицы и теплоходы не названы именами Булгакова, Платонова, Зощенко, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой и Пастернака.

И правильно. Я бы лично очень не хотел, чтобы эти два ряда имен смешивались.

Истинной советской литературой является то, что Советским государством всегда поощрялось, признавалось и награждалось, что было создано в полном соответствии с научно разработанным методом социалистического реализма. В оценке достижений этой литературы я полностью согласен с самыми ортодоксальными советскими критиками и на вершину ее охотно ставлю «Мать» Горького и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Без сожалений отдаю «Разгром» Фадеева и «Чапаева» Фурманова. Парализованный Николай Островский сам втащил на эту вершину свой роман «Как закалялась сталь». «Тихий Дон» в литературу социалистического реализма не вписывается, он для нее слишком человечен и даже после многократного уродования

не отвечает ее основным требованиям. (Дикий казак Мелехов, который успешно рубает большевиков, вряд ли может считаться образцовым положительным героем советской литературы.) А вот «Поднятая целина» или «Они сражались за Родину» вписываются в литературу соцреализма очень естественно. С удовольствием уступаю этой литературе «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова, «Бруски» Панферова, «Костер» Федина, все романы Кочетова, Маркова, Сартакова, Бондарева, Стаднюка, Закруткина и еще тысячи книг-кирпичей, которые по отдельности можно подкладывать под шкафы, а из всех вместе можно сложить Вавилонскую башню как памятник этой мертворожденной литературе.

Из книг, написанных побочными писателями, башню не возведешь. Их, может быть, даже не хватит, чтобы заполнить одну книжную полку. Но они пережили своих создателей и уничтожителей. Эти книги нельзя ни расстрелять, ни утопить в помоях клеветы, ни упразднить постановлениями верховной власти, ни удушить замалчиванием. Горький был не прав. Если враг сдается, его уничтожают. Если он не сдается, его уничтожить нельзя.

| ДЕТИ ОТТЕПЕЛИ

Период советской истории, называемый оттепелью, достоин более подробного рассмотрения, но я коснусь его мимоходом. Некоторые люди утверждают, что вообще никакой оттепели не было. Другие относятся к ней более благосклонно. Я пойду еще дальше, сказав, что оттепель вообще была поворотным пунктом в истории Советского государства. Какими бы робкими и непоследовательными ни были хрущевские разоблачения Сталина, они независимо от истинных намерений Хрущева подорвали идеологическую основу государства, последствия чего государство еще не изжило и не изживет никогда. Когда оно рухнет или в корне изменится (а если не окажется способным измениться, то непременно рух-

нет), историки неизбежно вернутся к оттепели как к источнику, с которого все началось.

Оттепель есть оттепель. Это еще не весна. Но лед тает, превращается в еще холодную воду, а в воде возрождается какая-то жизнь.

Во время оттепели кое-что оттаяло в Советском Союзе, и в первую очередь это сказалось на литературе. Она стала оживать. В ней ожили старые организмы и появились новые. В литературу стали просачиваться писатели, существование которых еще недавно было немыслимо. В конце концов составила довольно большая группа, которую нынешний надзиратель при литературе Феликс Кузнецов назвал четвертым поколением. Принадлежа к этому поколению, я могу сказать, что все мы независимо от наших взглядов, вкусов и способностей были вроде как новые попутчики. Советскую власть формально признавали. Формально признавали и социалистический реализм. Но практически всю литературу, созданную с помощью этого метода, отрицали, к старшим своим коллегам относились с презрением, учились кто у Бунина, кто у Чехова, кто у Хемингуэя или Сэлинджера, но ни в коем случае ни у Федина, ни у Гладкова. Этот процесс расширялся и вовлек в себя писателей старших поколений, которые, отмерзнув, ожили и тоже побежали вдогонку за молодыми. Родилась и как-то существовала, лезла во все дырки литература, которую по установленным ранее признакам можно было бы смело назвать если не антисоветской, то очернительской. Власти время от времени спохватывались, затыкали одни дырки, но открывались другие. Процесс завершился приходом в литературу Солженицына, который уже даже и не выдавал себя за попутчика. Повесть «Один день Ивана Денисовича», в которой не было совсем ничего советского, была не только напечатана, но и выдвинута на Ленинскую премию.

Власти очень скоро спохватились, но было уже поздно: джинн из бутылки вылез. (Не будь оттепели, учитель на пенсии Солженицын в лучшем случае жил бы сейчас в Рязани, тайком переписывая свои «узлы» или «крохотки».)

Короче говоря, в результате оттепели родилась литература, с которой власти борются до сих пор.

Сегодняшние сколько-нибудь заметные писатели — «деревенщики», «горожане» и эмигранты — это все дети оттепели.

| СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА НОВОМ ЭТАПЕ

В процессе уничтожения литературы советская власть совершила много ошибок. Желая затмить Шекспира, она брала талантливого писателя и ломала его. Сломленного духовно производила в государственные писатели, несломленного сживала со света физически. Вся эта большая и напряженная работа оказалась совсем бессмысленной. Выяснилось, что книги физически уничтожавшихся писателей живут, а книги уничтожителей превращаются в макулатуру. Писатель, сломленный духовно, бездарел на глазах и начинал писать на уровне, доступном самому заурядному партийному номенклатурщику. Так зачем же тратить столько усилий на превращение писателя в номенклатурщика, если гораздо проще номенклатурщика произвести в писатели? Если номенклатурщик может руководить литературой, то почему бы ему ее не производить?

Литература всегда обновляется. На смену старым поколениям приходят новые. Когда-то по полуофициальной советской хронологии поколения считались приблизительно так: первое — послереволюционное, второе — предвоенное, третье — послевоенное, четвертое — оттепельное, послесталинское. Пятое поколение в советской литературе не появилось до сих пор. Вместо него на литературную сцену вышла новая порода писателей.

| КРУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ

В самом конце шестидесятых годов я был не только членом Союза писателей, но и членом Бюро объединения прозы. Однажды шло очередное заседание Бюро. Сначала обсуждались какие-то второстепенные вопросы, потом дошли до приема новых членов.

Как раз в это время в комнату вошли два секретаря Московского отделения Союза писателей, Лазарь Карелин и Виктор Ильин, бывший генерал КГБ.

— Товарищи, — объявил Карелин, — у нас сегодня радостный день. К нам поступило заявление от Николая Трофимовича Сизова о приеме его в члены Союза писателей. Товарищ Сизов — крупный государственный деятель и большой писатель...

Литературная карьера товарища Сизова началась почти на моих глазах. Когда-то я работал на радио, где Сизов был моим прямым начальником. Должность его называлась начальник главка политвещания Всесоюзного радио. Поскольку он был номенклатурным работником, партия его кидала, куда хотела. В один прекрасный день он вдруг был переведен из радиокомитета на должность начальника московской милиции и получил звание генерал-майора. Потом стал заместителем председателя Моссовета. Потом генеральным директором киностудии «Мосфильм».

Когда он был начальником милиции, к нему обратился главный редактор журнала «Октябрь», классик советской литературы Кочетов с просьбой прописать кого-то из его родственников в Москве. Начальник милиции не отказал. А главный редактор «Октября» напечатал роман начальника милиции. Потом пошли в печать другие романы, повести и рассказы. Героем одного из романов Сизова был секретарь обкома с деталями биографии Хрущева. Так родился еще один советский писатель. Справедливости ради надо сказать, что Сизов пишет не хуже того же Карелина и не хуже большинства секретарей Союза писателей, потому что хуже некуда.

При Сталине партийные чиновники, приставленные к Союзу писателей, оставались партийными чиновниками и называть писателями себя опасались. Сталину, который, между прочим, запретил печатать свои собственные юношеские стихи, это могло не понравиться. В хрущевские либеральные времена чиновники стали просачиваться в литературу, а при Брежневе повалили в нее валом. Сейчас в советской литературе коррупция процветает не хуже, чем в торговой системе.

Быть писателем почетно: сразу попадаешь в одну

компанию с Пушкиным и Толстым. Быть писателем выгодно, потому что толщина книг, тиражи, а соответственно и гонорары зависят не от качества и не от читательского спроса, а исключительно от места в советской иерархии. Быть писателем безопасно, потому что взятки здесь дают не из руки в руку, а из кассы в кассу. Ты меня напечатал, я тебя напечатал, оба пошли и получили гонорар самым законным образом. Гонорары, между прочим, в отличие от зарплат не ограничены. Коррупция развивается и совершенствуется. Раньше один главный редактор печатал другого, а тот наоборот. А теперь еще приходится печатать тех, от кого зависят другие жизненные блага. И пошли в литературу милиционеры, кагэбэшники, директора магазинов и финских бань, начальники жилищных управлений и председатели дачных кооперативов. И все с солидными рекомендациями. Генерала Сизова рекомендовал Леонид Леонов. Полковника КГБ Иванько — Виктор Шкловский. Восторженное предисловие к книге генерала армии от КГБ Цвигуна писал Вадим Кожевников. (Тут еще одна тема возникает попутная: растление литературы дошло до того, что совершенно стерлись всякие грани между профессиональным писателем и пришедшим по благу. Кагэбэшник Цвигун на самом деле писал не хуже «профессионала» Кожевникова, а Кожевников не лучше директора магазина.)

А уж когда маршал Брежнев начал издавать свою трехтомную мифологию, все советские классики, секретари Союза писателей, Герои Социалистического Труда и лауреаты в один голос устно и печатно объявили книги маршала неподражаемыми шедеврами, сравнимыми лишь с лучшими (а не любыми) страницами «Войны и мира».

1983

| ОРДЕН БЕЗ СПРАВКИ

Просматривая «Литературную газету» от 16 декабря минувшего, 1987 года, наткнулся на статью «Если говорить о чести», подписанную Михаилом Алексеевым, Егором Исаевым и Иваном Стаднюком. И заинтересовался. Я всегда знал, что подписавшие статью имеют о чести

весьма своеобразное представление, и вот теперь мне представилась возможность ознакомиться, что же они все-таки в это понятие вкладывают.

Прочел. Оказывается, авторы защищают своего коллегу писателя Ивана Падерина от необоснованных обвинений. Обвинения были высказаны в газете «Труд» от 16 сентября 1987 года ветераном Отечественной войны полковником Дунаевым и специальным корреспондентом этой газеты Дмитриевым. Статья в «Труде» называлась «Чужой орден», и в ней речь шла о том, что член Союза писателей Иван Григорьевич Падерин в течение сорока с лишним лет вместе с другими своими заслуженными или незаслуженными наградами носил орден Красного Знамени, который принадлежал не ему, а убитому в марте 1945 года на подступах к Берлину гвардии сержанту Николаю Кривonosову. Падерин носил этот орден, не имея на него никаких прав и никакого необходимого в подобном случае документа. С этим отличием, как говорится в «Труде», наш орденосец ходил на демонстрации, сидел в президиуме и даже фотографировался для своего личного дела. Когда дошло до разбирательства личного дела, Падерин стал утверждать, что этот орден он сам с убитого сержанта не снимал. Орден был вручен ему в конце войны командующим армией Василием Ивановичем Чуйковым, будущим Маршалом Советского Союза. Орден Чуйков Падерину дал, а никакой справки на награду не оформил. Сорок лет носил наш герой орден, выпятив грудь, и умалчивал об отсутствии справки, а тут вдруг дело почему-то раскрылось. Какие-то недоброжелатели стали требовать справку и, не получив ее, стали опрашивать боевых соратников орденосеца, полезли в архивы и в личное дело Падерина. Личное дело Ивана Григорьевича тоже, оказалось, изобилует сообщением о подвигах, которых наш герой никогда не совершал. Не водил он в бой за Москву четырехста замечательных сибирских парней, потому что упомянутые парни сформировались в батальон уже после того, как битва за Москву была окончена, а сам писатель служил уже не там и не комиссаром, как сообщал в своих вдохновенных воспоминаниях, а информатором в политотделе 62-й армии. Информатором — это значит

не стукачом, как некоторые прожженные и циничные читатели могут подумать, а инструктором по информации. Впрочем, эти две роли некоторые люди успешно совмещали: то есть информировали своих сослуживцев о том, что происходит на фронте и в тылу, а затем информировали особый отдел, кто и как реагировал на информацию. В воспоминаниях Падерина рассказывается и еще о многих подвигах, которых не было. Не падала возле его блиндажа на Мамаевом кургане авиационная бомба, не заменял он на Зееловских высотах раненого командира полка, не вылезал первым из траншеи, не увлекал в бой солдат и не бежал впереди всех с развернутым знаменем. И вообще, по мнению того же самого командира, который ранен не был и в замене не нуждался, Падерин на поле брани вел себя так, что «его не за что было награждать». А что касается конкретного ордена Красного Знамени, то в тот день, когда этот орден якобы был вручен, наш герой и будущий писатель получил не орден, а партийное взыскание.

Через сорок с лишним лет пришлось нашему орденосцу завернуть свою высокую награду в тряпицу и принести ее в военкомат по месту жительства. Такая вот славная история в изложении авторов газеты «Труд».

И вот Михаил Алексеев, Егор Исаев, Иван Стаднюк, сами за свои ратные, литературные и околотрудовые подвиги очень щедро осыпанные всякими орденами, званиями и премиями, три месяца терпели, а потом не выдержали и обрушились на авторов «Труда» со всей мощью своих незаурядных талантов. О возвращении героем ордена пишут так: «Полковник в отставке Падерин, человек дисциплинированный, отнес награду в военкомат. И принес его не в тряпице, а в колодке всех своих военных и мирных наград. На место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов, которого он был удостоен за писательский труд, и медаль «За боевые заслуги», которая раньше ему не была вручена».

Я хочу отклониться немного от сути дела и обратить внимание на стиль наших признанных мастеров слова, соединивших воедино свои таланты. Падерин отнес награду, а принес «его». Кого-чего? Награда всегда была словом женского рода, а у них перешла в мужской. Па-

дерин ее-его доставил в колодке, в которой на место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов. Это, как говорится, нескладушки-неладушки. Если он орден Красного Знамени нес в колодке, то как же на место этого ордена был прикручен другой? Причем на это самое место он прикрутил и орден, и полученную тут же медаль. Кстати сказать, медаль весьма малоценную. Так что вроде как бы получил сдачу.

Но вернемся к статье наших писателей-адвокатов. Защищая попавшего в беду собрата, они не только не развеивают, а, напротив, весьма усугубляют наши сомнения в моральных качествах подзащитного. Например, говорят, что Падерин обвинялся в незаконном ношении еще одного ордена, что на Зееловских высотах он не нес знамя, а сопровождал несущих (при этом всегда интересно знать, сопровождал на каком расстоянии).

В этой полемике есть еще кое-что интересное.

Авторы обеих статей, в «Литературке» и в «Труде», подкрепляют свои доводы ссылкой на письменные свидетельства сослуживцев Падерина. Один из них в «Труде» пишет так:

«...откуда и от кого взято, что Иван Падерин является активным участником сталинградских боев. Как мне известно, он все три месяца ожесточенных боев (сентябрь, октябрь, ноябрь 42-го года) находился на левом берегу Волги при втором эшелоне штаба 62-й армии, в 5—7 километрах от Волги, не имея в руках ни винтовки, ни автомата. Может быть, сам Падерин скажет, в какой роте, батальоне или полку он состоял в боевом расчете? Я уверен, на этот вопрос он не ответит».

Другой в «Литгазете» ему решительно возражает: «Ивана Падерина я лично знаю с сентябрьских дней 1942 года, с тяжелых боев за Сталинград. На моих глазах он, комиссар батальона, поднимал солдат в атаку, останавливал панику, рассеивал страх и растерянность... В последнем штурме Берлина он вел солдат на штурм имперской канцелярии, где располагалась ставка Гитлера...»

Этот второй свидетель очень авторитетный — тот же самый маршал Чуйков, герой Сталинградской битвы. Именно он упомянутой 62-й армией и командовал.

Значит, вопрос «от кого взято, что Падерин был активным участником сталинградских боев» отпадает? Он и мог бы отпасть, но дело в том, что первое свидетельство написано позже второго (я поменял их местами), причем оба они принадлежат Чуйкову.

Как это получилось? Авторам опровержения не хотелось бы вдаваться в объяснения, но — гласность, так гласность! — они объясняют, послушайте:

«Фронтовая дружба надолго связала писателя с прославленным командиром Чуйковым. Когда маршал, по горло занятый важнейшими оборонными обязанностями, задумал поделиться своим жизненным и боевым опытом, то о помощи он попросил Ивана Падерина. Могли отказать своему любимому командиру бывший комиссар!» — задают авторы патетический вопрос и ставят восклицательный знак. «И писатель, — продолжают они, — засел за работу. В издательской практике существует такой вид работы: литературная запись».

И вот в записи Ивана Падерина появляются книги Василия Ивановича Чуйкова «Начало пути» («Сражение века»), «Закалялась молодость в боях», «Конец третьего рейха». Объем написанного составил более 70 печатных листов.

Незнающим объясню, что печатный лист — это приблизительно 24 страницы машинописного текста. То есть примерно 1700 страниц печатного текста накатал наш орденоседец за любимого маршала. Можно произвести и еще один подсчет. По установленным в Советском Союзе ставкам писатель за обыкновенное по своим достоинствам произведение и при тираже до 15 тысяч экземпляров получает 300 рублей гонорара за печатный лист. Выдающиеся произведения (а произведения маршалов всегда бывают выдающимися) оцениваются в 400 рублей за лист, при двойном тираже, до 30 тысяч экземпляров, оплата удваивается, а за двойным тиражом следует оплата за массовый тираж (маршалы иначе как массово не издаются). Короче говоря, по самым скромным расчетам, за свои книги без учета переизданий маршал получил по крайней мере 70 000 рублей. А Падерин, имевший право на половину гонорара, не получил от маршала ничего. Но не возражал. Потому что в те годы,

как сообщают нам те же авторы, отношения маршала и писателя отличали «взаимная приязнь, дружелюбие, взаимопомощь». В чем проявлялась помощь Падерина маршалу, ясно. А чем маршал помогал Падерину, не говорится. Уж не сочинением ли свидетельств о подвигах сочинителя? Или, точнее, только их подписанием. Сочинить себе лучшие характеристики, набивши руку на маршальских мемуарах, Падерин мог и сам. Но почему за сорок лет дружбы маршал так и не выдал писателю справки на орден, непонятно. Он, конечно, мог и не помнить, что бог знает когда выдал кому-то орден, а справку не дал. Но судя по дальнейшему развитию событий, он это почему-то помнил.

Трогательная дружба между маршалом и писателем кончилась, не выдержав первого испытания. Видимо, восхищенные сочинениями маршала издательские работники предложили ему к его 80-летию написать еще одну книгу. Ну у маршала был уже немалый литературный опыт, и он знал, как это делается. Он снял телефонную трубку: «Иван, тебе уже все знакомо. Садись за работу».

Иван к тому времени перенес три операции, почти совсем ослеп и потому своих собственных книг уже почти не писал. Но любимому маршалу отказать не посмел и накатал еще 41 печатный лист (больше тысячи страниц!) под названием «От Сталинграда до Берлина». Всего, значит, написал наш писатель за маршала около трех тысяч страниц. Если эти страницы помножить на тиражи, то от Сталинграда до Берлина можно всю дорогу застелить. Написавши последнюю книгу, осмелел Падерин и потребовал у маршала полгонорара. Маршалу это не понравилось. Он стал отбиваться. Тем более человек с опытом. Он даже от фельдмаршала Паулюса в свое время отбил. А уж от своего Ивана отбиться легче.

И вот, лишенный литературной помощи, маршал сам стал писать по инстанциям, что под Сталинградом Падерина вообще никто даже не видел, а под Берлином орден Красного Знамени ему никто не вручал. А Падерину и крыть нечем, вручал маршал или не вручал, а справки-то нет. И пришлось нашему орденоносцу нести

в военкомат свой орден завернутым в тряпицу или в колдодке других орденов, в чем именно, не так уж важно.

А важно вот что. Защищая своего сотоварища, Михаил Алексеев, Егор Исаев и Иван Стаднюк сами не понимают, что пишут. А казалось бы, должны понимать, что искусство слова не прямо действует, а как-то иначе. Если, например, Гоголь пишет: «Хороший человек Иван Иванович», то это еще не значит, что Иван Иванович и нам очень понравится. Так вот и в сочинении наших писателей и Иван Григорьевич Падерин, и Василий Иванович Чуйков выглядят весьма отвратительно. Легендарный маршал, оказывается, снимает с убитых ордена и дает их кому попало без справки, эксплуатирует беззащитного и слепого писателя, деньги заживает и пишет об одном и том же человеке сначала одно, а потом совсем другое.

Но и писатель хорош. Ни чести, ни чувства собственного достоинства. Барин командует: «Иван, пиши!» Иван садится и хоть слепнет, а пишет. Три тысячи страниц. Да на такую каторгу не то что за орден Красного Знамени, а и за Золотую Звезду Героя не каждый согласится. Тем более что орден этот — снятый с убитого, да еще без справки.

Надо сказать, что и встающие из текста образы авторов симпатии не вызывают. Видно, что демагоги. Чувствуя, видимо, что их доказательства недостаточно убедительны, украшают образ бедного Ивана положительными анкетными данными. Из рабочей семьи, с детских лет «тянул семьюшу» из семи человек, женился на осиротевшей девочке-комсомолке, а потом совершал подвиги, а потом бескорыстно трудился. И одновременно бьют на жалость, сообщая о бессоннице, сердечных приступах и слепоте своего подзащитного. Это уже прием откровенно спекулятивный. Падерин находится в том возрасте, когда «люди часто болеют, слепнут и глохнут». Но и в таком состоянии носить чужие ордена все же не следует.

Тем более что ценность орденов со временем падает. Людей, получавших их за настоящие боевые подвиги, становится все меньше и меньше, а количество орденов не уменьшается. У меня есть один знакомый молодой

человек, немец. Он коллекционирует советские орденна, покупая их в магазине для нумизматов. Там — своя иерархия ценностей. Чем реже орден, тем выше цена. Так вот, орден Красного Знамени там относится к категории недорогих. А уж орден Ленина, который вообще дают кому и за что попало, тот и вовсе стоит всего ничего. Марок, если не ошибаюсь, тридцать. Так что, если Падерин после всей этой истории не занесен в число невыездных, он может приехать сюда и на сэкономленные деньги вместо джинсов или магнитофона купить себе высший советский орден. При этом ему обязательно выдадут справку, что указанный орден куплен там-то и там-то за столько-то марок. То есть приобретен на вполне законных основаниях.

1988

ГЕРОИ И КАВАЛЕРЫ

Публикация в журнале «Юность» первой книги моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» вызвала, как говорится, довольно оживленный поток читательских откликов.

Отклики самые разные. Есть весьма для меня лестные, есть так-сяк, а есть, не скрою, и очень ругательные. Чтобы не радовать ругателей, скажу сразу, что они все-таки проигрывают в количестве со счетом примерно один к десяти. Ну о тех, которые хвалят Чонкина, я сейчас говорить не буду, хотя это несправедливо; поговорим о тех, кто ругает или, например, недоумевает.

Один читатель написал мне так: «Мои дети говорят, что ваша книга смешная, а я этого не понимаю, а они надо мной смеются. Нельзя ли в следующих ваших книгах юмор выделить жирным шрифтом или курсивом, чтобы сразу было понятно, что к этому месту серьезно относиться не надо». Я ответил этому человеку, что не знаю, как отнестись к его совету, поскольку сам совет ни жирным шрифтом, ни курсивом из текста никак выделен не был.

Отсутствие чувства юмора или литературного вкуса — недостаток распространенный, но простительный

до тех пор, пока носитель недостатка не начинает учить, над чем нельзя смеяться и о чем можно писать. Между прочим, такой учитель — это, по-моему, чисто советский продукт. Нигде за пределами СССР я не видел, чтобы люди, не читающие книг, давали указания, как их надо писать. А наш продукт указания дает и точно знает, что именно литература ему задолжала и что задолжал писатель. Писатель, с точки зрения продукта, есть паразит, которого продукт кормит обильно и обычно зазря. Кормя паразита, продукт вправе ожидать, что тот, накушавшись, воспоет продукта всякие подвиги — трудовые и ратные, изобразит продукту его самого в самом лучшем виде и представит ему пример для подражания, списанный с него же. Вообще идеальное изображение продукта — это памятник на Новодевичьем кладбище, где изображенный, в мундире с выбитыми один к одному звездами, орденами и пуговицами, а в одном случае даже с гранитной телефонной трубкой, приложенной к гранитному уху, смотрит вдаль окаменевшим орлиным взором. Как будто он и с того света продолжает давать указания, где сосредоточить основные силы, куда подтянуть резервы и как писать книги. Продукт может еще сомневаться в своей компетенции, когда речь идет о математике, астрономии или музыке. Он готов допустить, что можно сбить сотню вражеских самолетов, но не понимать Бетховена, можно надоить от одной коровы цистерну молока, но не уметь извлечь квадратный корень из четырех. Но уж в литературе этот продукт разбирается, даже ее не читая. В литературе он готов всегда навести порядок, установить нормы качества, нормы выработки, поощрить отличившихся и сурово наказать провинившихся.

На такие вот мысли навели меня гневные письма моих новых читателей. Причем гнев выражается почти во всех случаях по одному и тому же стандарту. Как смеет автор глумиться над страданиями народа, потерявшего 20 миллионов? Кто он, этот автор? Сколько гонорару отхватил за свою писанину? В некоторых случаях есть даже попытка сурово наказать автора (при этом желающие наказать, видимо, даже недооценивают масштабов моей отдаленности от государственных границ СССР).

Один читатель написал, что «нам небезразлично, кто написал «Чонкина», какую пользу принес автор обществу, служил ли он в армии, а если увельнул (через «е»), то по какой причине». И дальше вопрос совсем уже «на засыпку»: «Не относится ли автор к той нации, которая не выговаривает букву «р»?»

Вот такие отзывы. Но особенно пикантным показалось мне письмо, которое помещается ниже. Письмо это, насколько мне известно, кочевало по многим центральным редакциям, в конце концов оно было напечатано в № 18 еженедельника «Ветеран» и перепечатано в газете «Правда Украины» от 5 мая. Этих двух публикаций было бы достаточно, но, к сожалению, авторский текст в них был приглашен до неузнаваемости. А мне кажется, что текст этот заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным в первоизданном виде. Вот он.

КОЩУНСТВО

Открытое письмо редакторам журналов
«Юность» А. Дементьеву и «Огонек» В. Коротичу

Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь — сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин В. Войнович сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его.

Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение.

Что же привлекло наших редакторов?

Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление?

Прежде всего — это первый день Великой Отечественной войны, это — кадровые командиры, политработники, бойцы Рабоче-Крестьянской Красной армии, это — колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года.

Мы, ветераны войны, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, члены клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» при Доме офицеров ОдВо, начавшие службу в РККА еще в довоенное время, выражаем свое глубокое возмущение публикацией этого кощунственного клеветнического измышления и свидетельствуем:

— Первый день Великой Отечественной войны остался в нашей памяти и в памяти всего советского народа как самый трагический день нашей 70-летней истории, как начало самой кровопролитной войны за всю историю человечества. В этот день бомбили наши города, в этот день вступили в бой передовые наши части, в этот день появились первые тысячи жертв, первые тысячи раненых и искалеченных. У всех нас, свидетелей того времени, в памяти рыдания и плач по всей стране матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну своих сынов, мужей, братьев, отцов, женов. У всех у нас в памяти громадные очереди добровольцев в военкоматах.

И этот день всенародной скорби взят западно-германским господинчиком под осмеяние, под сочинение анекдота?!!

Где предел цинизму и издевательству?!!

Неужели нашим редакторам непонятно это?!!

Клеветнически «описана» и осмеяна Красная армия периода 1941 года. В самом неприглядном свете выставлено поколение бойцов, командиров и политработников 1941 года, тех самых бойцов, которые приняли на себя первый, самый страшный удар самой мощной в истории войны армии, тех самых бойцов, которые прошли всю войну и от которых к концу войны осталось в живых только три процента. Это те самые командиры и политработники, которые первыми поднимались в атаку и первыми гибли, те самые командиры и политработники, которые стояли насмерть у стен Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя и других городов. Это они остановили мутный коричневый поток фашистской чумы, грозившей захлестнуть весь мир. Это они освободили Европу и разбили вдребезги многомиллионный вермахт.

Можно ли смеяться над павшими Героями? Над защитниками Родины? «Мертвые сраму не имут».

Советские граждане Коротич и Дементьев, неужели Вы не отдаете себе отчета в этом кощунстве?

Вот уж действительно подтверждение туркменской пословицы: «Если друг плачет, то враг хохочет».

Примитивизм мышления и поступков, животные чувства, плоская похабщина, умственная отсталость — вот что «приписал» деревенским женщинам и всем жителям деревни КРАСНОЕ «писатель» из ФРГ, все это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому, в духе геббельсовских «русише швейне». Издевательство, брезгливость элитарного господина к «черной кости» свидетельствуют об отсутствии у автора элементарной порядочности.

Ну а вы, граждане редакторы?

Где ваша гражданственность? Где ваша гордость?

Вы в трех миллионах экземплярах распространили злобную клевету на Красную армию, вы оскорбили память народа, память павших героев.

Мы, оставшиеся в живых, требуем прекратить глумление над самым святым в народной памяти — павшими ее защитниками — и требуем дать нам слово опровержения кощунственной и злобной клеветы на страницах тех журналов, которые ее опубликовали.

Это будет только справедливо.

От имени собрания клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», объединяющего 72 Героев Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы, настоящее опровержение подписали:

Председатель совета клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

Герой Советского Союза, полковник

В.А. ЗАВЕРТЯЕВ

Члены совета клуба:

Дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант

В.А. АЛЕКСЕНКО

Герой Советского Союза, генерал-майор

П.А. ГНИДО

*Герой Советского Союза, генерал-майор
Г.А. ШАДРИН
Полный кавалер ордена Славы, старшина
Л. БУЖАК
Секретарь клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», подполковник
Г. КАРГОПОЛЬЦЕВ*

Наш адрес: 270044, г. Одесса, ул. Пироговская, д. 7/9,
Дом офицеров ОдВо, клуб «Золотая Звезда», секретарю
Каргопольцеву Георгию Васильевичу.

25 февраля 1989 г.

А это мой ответ авторам.

Ваши превосходительства, господа герои и кавалеры!
Откровенно говоря, прочитав ваше письмо, я в его подлинность не сразу поверил, подумал — розыгрыш. Письмо-то из Одессы, а Одесса, все знают, город шутников. Там Юморина проводится, там Ильф и Петров развивались, там сам Жванецкий живет. Не Жванецкий ли и написал? Потом думаю, нет, это не Жванецкий, а Чехов. Потому что написанное вами больно уж смахивает на чеховское «Письмо ученому соседу», автор которого, войска Донского отставной урядник и дворянин Василий Семи-Булатов, критиковал своего адресата за предположение, будто человек произошел от «обезьянских племен». Отставной урядник с такой теорией не был согласен, но при этом скромно оговаривался: «Извините меня, неука, за то, что вмешиваюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе, чем в голове».

В письме же «Кошунство» мысли и идеи высказываются столь аляповатые, что они даже и в животе не помещаются, вылезают наружу. Причем изложено все таким дикообразным языком, как будто писали письмо какие-то неучи, а не советские генералы, из которых по крайней мере двое — Гнидо и Алексенко (об остальных

не знаю) — окончили по две академии. А по стилю письма кажется, что писали его, может быть, вояки времен Гражданской войны, которые не только что академий, а и полного курса церковно-приходской школы не одолели.

Вот взять хотя бы первый абзац.

«Сбежавший, — пишете вы, — в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин В. Войнович сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его.

Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение...»

Здорово! Словам тесно, а мыслям просторно. Нет, в самом деле, давайте разберем. Повторю еще раз: «Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис»... Обрываю цитату, потому что не могу сдержаться. Всего полторы строки, а сколько фантазии! И насколько избраженная картина богаче убогой реальности. Потому что в реальности я, во-первых, никуда не бежал, во-вторых, журналистом никогда не был, в-третьих, издательство «Ардис» не западно-германское, а американское, в-четвертых, слово «западно-германское» пишется не через черточку, а слитно, в-пятых, я вообще не являюсь сотрудником какого бы то ни было издательства.

Вы скажете, ну подумаешь, немного ошиблись. Для вас, может, и немного, а для меня много, ваши превосходительства. Для меня это так, как было бы для вас, если бы я о вас написал, например, что группа сотрудников мордовской газеты «Правда Белоруссии», приобретающая свои награды на барахолке, окопалась в клубе имени «Золотого теленка» при одесском кичмане.

Между прочим, господа генералы, я в ФРГ уехал легально, а затем нелегально, то есть незаконно, был лишен советского гражданства указом вашего любимого писателя, выдающегося соратника, Маршала Советско-

го Союза и четырежды Героя (интересно узнать, не был ли он почетным членом вашего клуба?).

Однако возвращаюсь к вашему тексту. Процитированный мною первый абзац вашего письма заканчивается замечательным перлом (повторяю): «Сам факт растилающегося пресмыкания советских журналов перед иностранным журналом...» Прекрасно! Факт растилающегося пресмыкания — это даже хочется заучить наизусть. Но интересно и вот что. Вы называете журналом то, что всего одной строкой выше называли издательством. Как это понимать? Ваши превосходительства, прикажите меня расстрелять, но я не могу поверить, что в столь представительной группе героев и кавалеров, где четверо из шести носят каракулевые папахи, никто не знает, что издательство и журнал — это не одно и то же. Спросите любого ефрейтора, он знает.

Когда я читал ваше письмо в оригинале и сравнивал его с опубликованным текстом, мне было, право, жаль, что в «Ветеране» и в «Правде Украины» вас так сильно поправили. Хотя в некоторых случаях поправили не зря. Например, в печатном варианте было опущено, и правильно, ваше сравнение меня с Геббельсом. Я на Геббельса не похож. Геббельс был хромым, а я нет. А вот с Герингом у некоторых из вас сходство есть. Он тоже летал на самолете и совершил много подвигов. И в искусстве разбирался, правда, в основном ударял по живописи.

Геббельса советские редакторы из вашего текста вычеркнули, но оставили ваши слова о брезгливости элитарного господина к «черной кости». Интересно, это кто же элитарный? Побойтесь Бога! Это вы, генералы, говорите рядовому солдату? Да я, ваши превосходительства, за четыре года своей службы в армии живого генерала видел не чаще, чем хвостатую комету. Для меня в те годы даже старшина Бужак был бы заметной шишкой. И я же элитарный! Хотя почему бы и нет? Я ваших рентгеновских снимков не смотрел и какая у вас кость, черная или зеленая, не знаю. Я только знаю, что для суждения о том или ином предмете надо иметь о нем какое-то представление. Вот вам такой пример. Во времена, когда Туполев был заключенным и работал в шарашке, ге-

неральным конструктором его самолетов был некий человек, который в технике вообще ни уха, ни рыла не смыслил. Так вот он, когда поступило предложение поставить на новый самолет не четырехтактный, а двухтактный двигатель, засомневался, не слишком ли смело. А может быть, говорит, для начала трехтактный поставим? Как, ваши превосходительства, заслуживает такой человек брезгливой ухмылки? По-моему, да. А вы думаете, вы далеко от него ушли? По-моему, нет. Если человек дает указания о деле, которого он не знает, то будь он хоть рядовым, хоть маршалом, хоть даже семижды героем, ему следует напомнить пушкинские слова: «Суди, дружок, не выше сапога».

Теперь давайте оставим в стороне тонкости, грамматику и стилистику. Перейдем к вашей критике по существу. Вы мое сочинение называете не романом, а «кощунством и клеветническим измышлением». Это, конечно, сильно. Вы задаетесь вопросом: «Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление?» И сами же себе отвечаете: «Прежде всего — это первый день Великой Отечественной войны, это кадровые командиры, политработники, бойцы Рабоче-Крестьянской Красной армии, это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года». Вы перечисляете факты, которые и без вас всем известны: о бомбах, боях, раненых и убитых, о рыданиях матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну «сынов, мужей, братьев, отцов, женихов».

Что из этих скорбных воспоминаний следует? Из них следует, ваши превосходительства, что, не усвоив грамматики, вы достигли высшего пилотажа в области демагогии. Не критикуя роман по существу (а скорее всего даже и не прочтя), вы создаете картину, в которой неискушенный читатель эмоционально воспримет меня как чуть ли не виновника описанной вами народной трагедии. А если не виновника, то хотя бы выродка, который, глядя, как одни уходят на фронт, а другие рыдают, сам стоит в стороне и, потирая потные ручки, хихикает.

Извините, господа генералы-демагоги, но я созданный вами образ слегка поправлю.

Я в боях не участвовал, потому что к началу войны

успел только окончить первый класс (а наше гуманнейшее правительство на фронт, спасибо, первоклашек не посылало). Но я относился к тем детям, которые плакали, когда провожали отцов. Мой отец в мае вышел из лагеря, в июне ушел на фронт, а в декабре был тяжело ранен. За что получил не золотую звезду, а золотистую ленточку. А потом на старости лет еще и прибавку к пенсии — пятнадцать рублей в месяц. Сам же западногерманский господин, как вы меня изволите называть, пережил бомбежки, две эвакуации, голод, холод, детский труд, колхоз, ремесленное училище и так далее.

Так что, ваши превосходительства, смеяться над народом я вряд ли стал бы. Я смеюсь и издеваюсь, но, увы, бессильно, над теми, кто разорил страну, обезглавил командование Красной армии, оставил на произвол судьбы миллионы пленных; потом перегнал их из немецких лагерей в советские, создавал штрафные роты, заградительные отряды, переселял народы, превратил страну в огромный концлагерь и вывел такую породу людей, которые, не читая книг, всегда знают, как их надо писать.

Кстати, перечисленных мною примет Великой Отечественной войны вы, судя по вашему письму, совсем не заметили. И после войны, летая на штурмовиках или бомбардировщиках, не заметили под своими краснозвездными крыльями заборов с колючей проволокой, вышек с автоматчиками и растянувшихся по всем дорогам колонн заключенных. А перечисленных вами жен, сестер, матерей (можно продолжить список родственных отношений) в очередях к тюремным окошкам вы сверху тоже не видели?

Напоминаю вам, герои и кавалеры, что, кроме односторонне обрисованной вами войны до нее, во время и после шла и сейчас еще не закончилась другая война, по количеству жертв превзошедшая даже ту, на которой вы отличились. Одним из постоянных объектов нападения в этой другой войне всегда была литература. Она на протяжении многих лет подвергалась варварским бомбардировкам, как Дрезден и Хиросима.

Опомнитесь, господа генералы, и посмотрите: под вами дымящиеся руины. Выходите из боя! Займитесь чем-нибудь мирным. Если вам в отставке нечего делать,

ловите кефаль, выращивайте баклажаны и тащите все на Привоз, торгуйте, обогащайтесь. Сейчас это очень поощряется.

В заключение хочу выразить два сомнения. Вы говорите, что выступаете от имени 88 членов вашего клуба. А почему же подписались только шесть человек? Другие что, постеснялись?

Второе сомнение вот в чем. В своем сочинении, которое вы называете то письмом, то опровержением, вы говорите, что выступаете от имени павших. А я сомневаюсь, что вы имеете на это право. Как бы героически ни вели вы себя сорок с лишним лет тому назад, вы все же остались в живых. Ваши жены не стали вдовами, ваши дети сиротами, и сами вы благополучно дожили до преклонного возраста. Больше того, вам за все ваши подвиги заплатили сполна и чинами, и орденами, и привилегиями. Недавно, будучи в Москве, заглянул я в кооперативный, извините за выражение, писсуар. Входная плата двадцать копеек. Там была надпись, которую я хотел (но передумал) взять эпиграфом к этому моему письму: «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы обслуживаются бесплатно».

Кстати, а вы не знаете, почему слово «Герой» пишется с большой буквы, а «кавалеры» с маленькой? Хотя даже в вашем клубе героев в четыре с половиной раза больше, чем кавалеров.

В заключение хочу вам открыть небольшую военную тайну. Вот меня часто спрашивают, где я нахожу героев для моих измышлений, из какого пальца я их высасываю. Посмотрите, ваши превосходительства, друг на друга и подумайте, зачем мне истощать свои пальцы, когда природа изготовила столь замечательных, живых и готовых позировать персонажей.

| НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Как только советский народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем или неподходящем месте.

— Рони, — скажу я ему (или, допустим, Джон), — давайте наконец поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу и откровенно, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль, и с нашей такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе. (Правда, при этом, если они хотят считаться порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирового конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга.)

Но если говорить по-честному, во всякой затяжной войне (а война без ядерного оружия будет обязательно затяжная) имеет значение не только военный, но и экономический потенциал. Насчет последнего даже буржуазная пропаганда не может утверждать, будто мы воспользовались разрядкой или еще чем и достигли превосходства над Западом.

Как раз наоборот. Придерживаясь миролюбивой внешней политики, наше государство с самого своего возникновения постоянно, неуклонно и в одностороннем порядке снижало свой экономический потенциал, в то время как капиталистические страны его наращивали.

Наш потенциал мы уже сейчас довели почти до нулевого решения. Я говорю «почти», потому что кое-что у нас еще есть. В некоторых магазинах даже можно еще купить кусок колбасы.

Это объясняется тем, что мы были первыми. Мы шли неизведанным путем. Кроме того, у нас, к несчастью, оказалось слишком много природных ресурсов, которые мы полностью исчерпать пока не успели. Но и в этом деле наши достижения грандиозны. Вы со мной легко согласитесь, если Ваши советники представят Вам правдивую справку, сколько золота, нефти, мехов и икры мы ежегодно продаем за границу. А вот проложим газопровод, так и газ весь на Запад перекачаем. Насчет валюты, которую мы от Запада при этом получим, беспокоиться тоже не стоит. Мы на нее какого-нибудь слож-

нейшего оборудования накупим, в чистом поле сложим, пусть себе там ржавеет.

До круглого-нуля нам уже осталось совсем недалеко. Вот еще Продовольственную программу выполним, дисциплину поукрепляем и останемся совсем без штанов.

Мы Америку много раз догоняли и перегоняли. Попробуйте и вы нас догнать. Доведите вашу экономику до нашего уровня, чтобы равенство было не только в вооружениях, а и во всем остальном.

Я не утопист и вовсе не думаю, что подорвать экономику такой богатой страны, как Ваша, можно немедленно. Но все-таки это возможно, если разработать разумную и долгосрочную программу действий. Мы с удовольствием Вам поможем. На всякий случай я составил строго научные рекомендации, основанные на нашем собственном историческом опыте. Если Вы последуете этим рекомендациям, полный успех обеспечен. Разумеется, рекомендации носят лишь общий характер, в процессе внедрения их можно будет дополнить и разнообразить.

Итак, для достижения экономического паритета с Советским Союзом Вам необходимо:

1. Произвести политический переворот, объявить Вашу партию единственной ведущей и направляющей силой американского общества во главе лично с Вами.

2. Остальные партии запретить, наиболее активных членов арестовать, лидеров сослать в Советский Союз или даже лучше расстрелять.

3. Арестовать членов Вашей собственной партии, которые будут противиться переменам, устроить над некоторыми из них показательные процессы и тоже расстрелять.

4. Конфисковать у частных владельцев банки, заводы, фабрики, магазины, рестораны, корабли, самолеты, автомобили, лошадей, коров, коз, овец и свиней.

5. Все отдельные квартиры превратить в коммунальные, а в особенно больших устроить музеи, общественные уборные, загоны для скота и что-нибудь еще, полезное обществу.

6. Капитолий взорвать, на его месте построить плавательный бассейн для трудящихся.

7. Всех фермеров отправить на Аляску для строительства Трансаляскинской стратегической железной дороги, а на их фермах создать колхозы, а также местные органы правящей партии и органы государственной безопасности, преобразованные из ФБР и ЦРУ. В колхозы привлечь людей, неспособных к производительному труду, решив таким образом раз и навсегда проблему безработицы.

8. Объявить какую-нибудь науку (например, ботанику) коммунистической лженаукой.

9. Принять меры по гигантскому преобразованию природы Соединенных Штатов и с этой целью повернуть реку Миссисипи в пустыню Невада, где впоследствии можно будет выращивать хлопок и рис. Бывший бассейн реки Миссисипи, само собой, со временем превратится в пустыню, где можно будет добывать песок.

10. Население Гавайских островов переселить в штат Мэн в целях использования на лесоповале.

11. Вам самому взять на себя непосредственное руководство всеми сферами политической, экономической и общественной жизни и постоянно давать указания, как доить коров, строить дома, развивать квантовую механику, разводить кроликов, писать книги, сочинять музыку и так далее.

12. Всем средствам массовой информации, включая газеты, радио и телевидение, ежедневно передавать и печатать целиком Ваши длинные и скучные речи.

13. Назвать Вашим именем города, поселки, заводы, колхозы, различные средства передвижения, улицы и дома.

14. Во всех городах, деревнях и поселках установить Ваши скульптурные изображения и развесить Ваши портреты.

15. Учредить пару сотен новых орденов за военную и трудовую доблесть и прежде всего наградить ими Вас лично. Разумеется, церемонии награждения должны самым широким образом освещаться органами печати и передаваться по радио и телевидению.

16. Ваши книги, статьи, заметки и отдельные высказывания должны изучаться во всех учебных заведениях, трудовых коллективах и воинских подразделениях.

Я мог бы, конечно, предложить Вам еще ряд полезных мероприятий, но если даже Вы ограничитесь исполнением вышеизложенных рекомендаций, то в течение довольно короткого исторического периода, лет в шестьдесят-семьдесят, экономика Вашей страны будет близка к нулевому решению.

Правда, останется еще проблема геостратегического равновесия, потому что, в отличие от Америки, мы окружены враждебными братскими странами, которые в случае мирового конфликта могут повести себя самым коварным способом. Но эту проблему решить совсем просто. Надо только половину китайцев поселить в Мексике, а половину поляков, чехов, болгар, румын, венгров и восточных немцев — в Канаде. Переселить их лучше во сне, чтобы они продолжали думать, что их старший брат Советский Союз по-прежнему живет рядом с ними.

Когда Вы все это сделаете, мы смогли бы опять встретиться и вплотную приступить к переговорам о нулевом решении в вопросе ракетно-ядерных вооружений.

| ЧЕШИРСКИЙ КОТ В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ

В середине июля мне в Мюнхен пришел пакет. Обратного адреса нет, почтовый штемпель размазан, марки на конверте английские, но бумаги внутри написаны по-русски и составлены в Москве. То, что сочинено в одном месте, а пришло из другого, раньше меня бы не удивило. В застойные времена люди опасались, что послание попадет не по адресу, и официальной почтой не доверяли. Некоторые, привыкнув к подпольному существованию, и сейчас не очень-то доверяют. Недоверчивыми оказались и отправители пакета, хотя люди они вроде совсем не подпольные и пишут от имени не кого-нибудь, а Верховного Совета России. В таком случае, как мне кажется, посылать бумаги не прямо, а с какой-то левой оказией даже и некрасиво.

Хорошо. Стал разбирать я эти бумаги, вижу: приглашение. На конгресс соотечественников, который состо-

ится через месяц в Москве. Вообще-то следовало бы известить меня об этом пораньше. Потому что у меня могут быть другие планы. Но попрекать, кажется, некого.

Приглашение начинается: «Уважаемый господин Войнович»... Честно говоря, меня такое обращение всегда немного коробит. Ну почему бы, шлю я мысленный вопрос безымянным устроителям конгресса, почему бы вам, если вы действительно желаете видеть меня среди вас, не выбрать эпитет потеплее? По неписаным правилам обращения одних лиц к другим, «уважаемый» обычно выдавливают сквозь зубы. В пределах минимального лимита вежливости для тех, кого на самом деле уважают не очень. (Раньше так бывало, если хотели пренебрежительно кого-нибудь окликнуть, употребляли: «Эй, уважаемый!»)

Я часто из многих стран получаю приглашения быть гостем чего-нибудь, и на всех языках приглашающие пишут «многоуважаемый», «глубокоуважаемый», «очень уважаемый», а на английском обязательно «дорогой». Причем в русской традиции вежливые люди обращаются к адресату не по фамилии, а по имени-отчеству. А тут авторы словно боятся, как бы не переборщить, как бы не слишком расщедриться на слова и не разориться душевно. Как начали, так и закончили. Ни «до свиданья», ни «до скорой встречи», не говоря уже о более сердечной форме, вроде как «с уважением» (глубоким, искренним или каким-то еще). Или как было принято у наших предков: «с совершеннейшим к Вам почтением». Или как пишут и сегодня американцы: «Предвкушаю удовольствие от встречи с Вами». Право, напиши приглашающие как-нибудь в этом духе, рука не отсохла б.

Куда там! Даже подписи никакой человеческой нет, даже и закорючки собственной своею рукой никто не потрудился поставить. Зато потрудились насчет другого.

Приглашая меня на конгресс, анонимные устроители сожалеют, что не могут оплатить дорогу. Я тоже сожалею, но понимаю. Соотечественников у нас за пределами Отечества благодаря многолетним усилиям партии и правительства очень много, а дорога стоит недешево.

Но зато все остальные расходы, гостиница, питание, театры, церкви, музеи, стадионы и поездка в один из семи городов, кроме Москвы, организаторы конгресса берут на себя.

Я хотел бы уже сказать «большое спасибо», но читаю дальше и вижу, что мне предлагается за бесплатные удовольствия в Москве заплатить 300 долларов. А если привезу с собою жену, то полторы сотни добавить и на нее. И указывается отделение банка, куда я должен направить эти самые доллары. Доллары американские, банк английский, а отделение его находится почему-то в графстве Чешир, которое для меня ассоциируется не столько с твердой валютой, сколько с мягким чеширским говорящим котом из сказки «Алиса в Стране чудес». Доллары я должен послать в это графство, а на что они будут потрачены — на покупку чеширского кота в мешке или на что другое, организаторы конгресса меня не информируют: это, видать, не мое дело. А я желал бы все-таки знать. Потому что эти зеленые листики долларов, они на дереве у меня не растут. А хоть бы и росли...

Однажды в столице восточной страны не успел я свернуть с главной улицы, как был окружен ватагой малолетних оборванцев, которые тащили меня за штаны и кричали: «Дядя, дай доллар!» Не то ли происходит в Советском Союзе? Третий год, как я стал въездным в собственное Отечество и охотно этой возможностью пользуюсь, но с первого въезда и доныне, ни разу ни от кого не услышав «извините», все время слышу: «Дай доллар!» То за гостиницу, то за железнодорожный билет, то за билет театральный, а теперь вот и за конгресс.

Мне и раньше приходилось бывать на разного рода конгрессах, конференциях или симпозиумах. Там мне иногда платили гонорар за участие, иногда не платили, бывало, я отказывался от него добровольно, из благотворительных соображений, но чтобы я платил за удовольствие быть вашим гостем, это уж, как говорится, извините, подвиньтесь. Я в этом вижу попытку меня унижить и поставить в неравное положение с вами. Я буду

платить за то, что я вас увижу, а вы будете смотреть на меня бесплатно.

Дальше неравенство углубляется. Из полученных бумаг я узнаю, что зачислен в список участников «круглого стола» «Литература и искусство России XX века и российского зарубежья». В списке четыре группы имен: советские участники, участники-эмигранты (я среди них), иностранные ученые и почетные председатели в количестве шести человек. Почему именно они, я не знаю. В составе шестерки есть одно лицо, которое я весьма почитаю, другое, которое не почитаю совсем, третье, которого я не знаю, оставшихся трех уважаю, но не больше, чем многих других.

Если бы кто-то поинтересовался моим мнением, я бы сказал: «круглый стол» потому и круглый, что за ним все равны, все одинаково почитаемы. Быть почитаемым ниже или даже выше других я не согласен.

Открытие конгресса состоится в Колонном зале, или, как указано в скобках, но не без намека, — в Дворянском собрании. Перед фамилиями некоторых участников конгресса обозначены их дворянские титулы. Два Толстых своих титулов не указали, хотя могли бы. А вот как остальные? Простолюдины, что ли? Если так, то откуда взялись? Я вижу, многие люди с тем же усердием, с каким раньше подбирали себе пролетарское прошлое, теперь бродят по архивным дебрям в поисках своих родословных дерев, а не найдя, рисуют их по воображению. По воображению же удлиняя корни и протягивая их поближе к Рюрику. По прочтении некоторых теперешних изысканий, мне уже порой кажется, что все российское население до нашествия большевиков состояло сплошь из родовитых дворян.

А на самом деле какие уж мы дворяне, если друг к другу даже обращаться с достаточным почтением не умеем! Никаких дворян у нас давно уже нет. А есть советские люди. Которые то крушат церкви, то расшибают лбы в молитвах, то делают партийную карьеру, то из партии картинно выходят и выходят из грязи в князи. Понятие «дворянство» в нашем представлении связано не только с благородностью происхождения, но и с бла-

городством души. А некоторые нынешние дворяне (те самые, с хорошими пролетарскими анкетами¹) еще недавно вели себя так гнусно, что по достоинствам своим заслужили место не в Дворянском собрании, а на конюшне.

Поедем дальше. В полученных мною бумагах нашим конгрессменам обещана обширная религиозная программа с богослужениями в храмах всех конфессий. В конкретном же расписании никаких синагог, мечетей, костелов, баптистских или буддистских молелен нет. Зато основной, как сказали бы некоторые, корневой, религией программа весьма и весьма насыщена. Или даже перенасыщена.

Вот как расписаны два дня накануне открытия конгресса: «18 августа (воскресенье). 8.00 — Завтрак. 8.30 — Религиозная программа: Отъезд в Троице-Сергиевскую лавру: в программе присутствие при богослужении в Успенском соборе, осмотр Московской Духовной академии и семинарии, церковно-археологического кабинета, просмотр церковных фильмов. 9.30 — Присутствие при богослужении в храмах: Патриарший Богоявленский собор, Троицкий собор Данилова монастыря, храм Воскресения Слоущего в Брюсовском пер., Троицкий храм на Ленинских горах, Преображенский храм на Ордынке, Николо-Кузнецкий и Николо-Хамовнический храмы. 10.00 — Посещение воздушного парада в Тушине...»

Не понимаю, что это значит. В течение одного часа махнуть за семьдесят километров от Москвы, отстоять службу в соборе, осмотреть два учебных и одно научное учреждения и просмотреть кинофильмы — неужто это возможно? Или, может, наших богомольных конгрессменов в Загорск будут доставлять на реактивных самолетах и там катапультировать? А затем бегом в собор, вприпрыжку по академии, галопом по семинарии, на повышенной скорости прокрутили церковные фильмы, и, быстрее звука, назад, в Москву. В Москве: за полчаса — шесть богослужений, и тоже бегом, потому что ров-

¹ Например, Сергей Михалков.

но в десять нам уже в Тушине будут показывать мертвые петли и затяжные прыжки.

Ну ладно, может, со временем в программе второпях как-то кто-то что-то напутал. Но все остальное — смешение несовместимого до пошлости. Бесконечные богослужения (даже для самого набожного человека чересчур), цыганский хор, казачья поэзия (что это такое?), показательные выступления парадной казачьей полусотни, дворянское собрание, почти переименованный Ленинград, совсем переименованный Театр имени Ленинского комсомола и сохранивший свое название теплоход «Михаил Шолохов» с немецким пивом опять же за американские доллары. В этой мешанине названий, символов ценностей, понятий и попыток не упустить своего, мне кажется, слишком много безвкусыя и бесстыдства.

Я считаю, что конгресс соотечественников — дело исключительно важное. И именно поэтому проводить его надо с умом и тактом. Программу его надо было сочинять не келейно, а посоветовавшись со всеми будущими участниками. Выяснить их пожелания, какое именно участие, в чем и в какой форме они хотят принять. Проявить по отношению к ним не минимальную вежливость, а максимальную. И не пытаться содрать с них доллары, которых у них может не быть. Я понимаю, что государство наше поиздержалось на том, что нас же давило. Ну если уж просить деньги, так у каких-нибудь американских, японских, немецких финансовых воротил или у чеширского банка. Или опять же продать на валюту нефть, иконы, алмазы, золото, икру, Курильские острова. Но обирать эмигрантов и нехорошо и бессмысленно: много ли с них возьмешь?

Почти одновременно с приглашением дошло до меня интервью Михаила Толстого (от 7.7.91), где он цитирует какое-то задевшее его замечание парижской газеты «Русская мысль» и говорит, что «как не доверяло российское зарубежье всем реформам, проводимым свыше в нашей стране, так и продолжает не доверять». Вот уж не понимаю, на чем строится такое обобщение. Помому, оно от привычки мыслить объединяющими место-

имениями «мы» и «они». На самом же деле российское зарубежье — это не страна, не народ, не класс, не партия, это люди, как правило, ничем не объединенные (только в некоторых случаях общими смутными воспоминаниями), люди очень разные: умные, глупые, хорошие и негодяи, недоверчивые и слишком доверчивые. Если какой-то Фома не верит в реформы, ну и что с того? Проведите реформы и оставьте Фому в дураках. Но нет, от Фомы требуют, чтобы он обязательно поверил вперед.

В Советском Союзе в некоторых кругах я вижу сейчас большую нацеленность на эмигрантов, которых можно назвать денежными мешками. Им наибольшее внимание, почтение и соблазны (вроде круиза на «Михаиле Шолохове»). Михаил Толстой в том же своем интервью говорит об этих людях: «Многие из них имеют высокий авторитет в мире бизнеса. Возможно, им предоставят двойное гражданство, чтобы они так же нормально чувствовали себя на родине предков, как и в той стране, где стали полноправными гражданами».

Значит, гражданство в первую очередь нужным людям? А ненужным как-нибудь попозже или вовсе не обязательно? Это меркантильное отношение к своим соотечественникам многим правда не нравится. И деловым людям тоже. Потому что деловые эти люди точно знают, что не стоит иметь дело с партнером, который, нороя у вас что-то урвать, сам при этом даже на вежливое слово скупится.

Деловые люди недоверчивы, но вовсе не в результате вредного влияния на них «Русской мысли». Они читают не «Русскую мысль», а *The Wall Street Journal* и *Financial Times*. И кроме того, они больше всего верят своим глазам. Они, конечно, могут приехать на конгресс. Могут потратить триста долларов за то, чтобы посидеть между Львом Копелевым и Виктором Тростниковым за «круглым столом», а вот насчет того, чтобы спустить три тысячи на речную прогулку на «Михаиле Шолохове», это уже как сказать. Деловые люди тем и отличаются от неделовых, что они попусту деньги и время не тратят. Поэтому на теплоходе роль делового человека скорее всего

будет играть обыкновенный спекулянт и мошенник. Который, если вы ему для чего-то нужны, купит вам банку немецкого пива и всучит свою визитную карточку, где он будет обозначен как президент или генеральный директор какой-нибудь мифической совместной корпорации по продаже рогов и копыт.

А истинно деловые, возможно, отстоят службу в соборе, полюбуются аллюром с гиканьем казачьей полусотни и посетят Театр имени Ленинского комсомола, может, слезу уронят, а может, раздраженно махнут рукой и отправятся восвояси. Видя, что здесь все еще слишком много гикают и с большим перебором тратят время на всякие церемонии и ритуалы, а дела, в которое можно поверить, пока что нет.

Впрочем, за деловых людей отвечать не буду, а сам я на конгресс не поеду. Я поеду тогда, когда меня пригласят заранее, приветливо и сердечно, с приложением достаточно уважительных прилагательных к моему имени-отчеству. Когда мне будет гарантирован почет не больший, но и не меньший, чем другим. Когда меня не будут считать дураком и вымогать деньги, которые я никому не задолжал. И вообще, когда на подобных конгрессах в своей стране я буду хозяином, а не гостем. Тем более что вот уже год, как мне возвращено мое советское гражданство, я его принял и с того дня эмигрантом себя не считаю. Впрочем, в своем безусловном праве на свое Отечество я не сомневался и до того.

Я заканчивал эту статью, когда дошли до меня публичные отклики критиков конгресса с другой стороны. Эти критики выражаются словоблудно, но из блуда вычленяется очень простая мысль, что среди участников конгресса слишком много не русских, а русскоязычных, то есть евреев. А из русских все — сплошные не патриоты, то есть еврейским вопросом не озабоченные.

В газете «Литературная Россия» приводится список неприглашенных, озабоченных. На что тот же Михаил Толстой в одном из следующих номеров «Литературной России» поспешно возражает, что приглашения им давно посланы. Среди перечисленных лиц и мюнхенский булочник, и бывший советский шпион (служил сначала

в ГРУ, потом в НТС), и участник Великой Отечественной войны, который доказал свою верность Отечеству, сражаясь на русской земле, но в немецком мундире.

Я должен сказать, что если скликать россиян со всего света, то в некоторых случаях можно подбирать и таких. Учитывая сложность обстановки, в какой им приходилось делать свой жестокий выбор между двумя тоталитарными монстрами, и за давностью лет, я бы простил им их заблуждения и даже некоторые (но не все) преступления. Но если они и сейчас проповедуют расистские бредни — это значит, давний их выбор был совсем не случаен и их покойный фюрер Адольф Шикльгрубер мог бы ими гордиться. Эти люди сеют ненависть и в то же время лицемерно призывают к согласию, которое на самом деле невозможно. Ни с той, ни с другой стороны. Лично я ни с одним фашистом ни к какому согласию приходить не намерен. С такого рода персонажами порядочные люди любой национальности не участвуют в одних и тех же конгрессах, не сидят за общими столами и даже не здороваются. В лучшем случае им протягивают два пальца и говорят: «Эй, уважаемый!»

1991

| КОМУ КОГО ЧЕМУ УЧИТЬ

Как-то лет восемь тому назад в Бостоне случилось мне быть участником международной конференции по правам человека. Были там в основном американские советологи и политические эмигранты из СССР. Некоторые из эмигрантов, выступая перед аборигенами, учили их, как жить, ссылаясь на свой печальный исторический и личный опыт. Поучения в основном сводились к тому, что американцы перед лицом советской экспансии ведут себя крайне беспечно и злоупотребляют свободой, которая досталась им по наследству.

Выступив на той конференции, я предположил, что американцы, очевидно, умеют решать свои дела без отказа от демократии и нам надо не учить их, а самим кое-чему у них поучиться.

В перерыве конференции ко мне подошел один из

участников и спросил: «А почему вы думаете, что я, например, не имею права их учить?» — «А чему вы можете их научить?» — поинтересовался я. «Я могу научить их многому, у меня большой жизненный опыт. Я 17 лет провел в лагере». — «Вы хотите научить их, как жить в лагере?» — «Нет, я хочу научить их, как избежать лагеря». — «Но вы ведь лагеря не избежали? Как же вы можете научить их тому, чему сами не научились?»

Давно замечено, что чем больше человек любит учить, тем меньше любит учиться. К советским людям (в том числе и к советским с приставкой «анти») это относится больше, чем к кому бы то ни было.

Уча Запад тому и сему, советские люди с порога отвергают встречные поползновения. «Не вам нас учить» — эту гордую фразу западные политики, экономисты, ученые, военные и писатели много раз слышали от своих советских партнеров.

Два года тому назад среди отвергнутых «ихних» учителей оказался и я. Я тогда приехал в СССР впервые после долгого отсутствия. Выступая там и сям, я рассказывал, где побывал, что видел и какие соображения извлек из увиденного. Публика, с которой мне приходилось встречаться, принимала меня, в общем, благожелательно. А коллеги-писатели — по-разному. Одни отметили мой приезд враждебно. Другие — с ограниченным дружелюбием. Один из этих других написал, что он не против того, чтобы такие типы, как я, приезжали сюда и даже, куда ни шло, печатались, но нам, заметил он между прочим, смешны их попытки учить нас жить.

Прочтя такое, я, честно говоря, несколько удивился: а что тут смешного? Я лично никогда не соблазнился миссией учителя, но все же, проведя 10 лет там, где люди живут по законам здравого смысла, нет-нет да и пытаюсь сказать: братцы, да почему же вы так живете?

Я давно уже заслужил репутацию злостного антисоветчика, поэтому не надо мне говорить про то, в чем виноваты партия, правительство или система, но вы-то (мы-то) разве не виноваты ни в чем?

Вчера я ехал на «леваке». Водитель рассказывал о шофере из их автопарка, который 16 лет назад уехал в

Америку и, видно, там помешался. Был человек как человек, а теперь приехал, пришел в гараж: ребята, говорит, пить вредно, курить вредно, в машине надо пассажира пристегивать и самому пристегиваться. Рассказывая о своем обамериканившемся друге, водитель громко смеялся, а я в ответ улыбался натужно, потому что был не пристегнут. И упирался ногами в пол, и вытягивал вперед руки, и вцеплялся в держалку над боковым стеклом, когда водитель, огибая выбоины, кидал свой «Москвич» то влево, то вправо или резко тормозил перед заглохшим внезапно грузовиком. Водитель мне, еще когда я садился, сказал «накиньте», и я накинул ремень на плечо, чтобы обмануть милиционеров, которые стояли на перекрестках по одному, по два и по четыре (наверное, потому по стольку, чтобы сразу как можно большее их количество обмануть).

Там, где я пребывал 10 лет, люди ездят на машинах с исправными тормозами, по ровным дорогам без ям, с четкой разметкой, с ограждениями и «мигалками» на поврежденных участках.

И всегда все до единого человека пристегиваются. Каждый знает, что у пристегнутого в случае чего намного больше шансов остаться живым, а может быть, и не калеккой. А здесь вот не припомню и случая, чтобы кто-нибудь хоть раз предложил мне не «накинуть», а пристегнуться. И я, стесняясь изображать из себя немца или американца, которому его жизнь для чего-то еще нужна, «накидываю». Хотя бывает довольно страшно.

Во всех странах за пределами нашего Отечества машины в ночное время даже по хорошо освещенным улицам или днем в пасмурную погоду ездят с ближним светом фар. В Швеции с фарами ездят даже при ярком солнце, так, говорят, машина больше обращает на себя внимание. А здесь при наших колдобинах, ямах, неогражденных открытых колодцах, оставленных на проезжей части асфальтовых катках лихие шоферы возят неприязанных нас на «лысых» шинах, резко виляя впотьмах и нажимая на тормоза, которые не держат.

Заметьте, я никого ничему не учу. Но если вы хотите знать, почему у них дела идут хорошо, а у нас совсем на-

оборот, следует обратить внимание на то, что у них никто не держит четырех полицейских на пустом месте, где нет потребности ни в одном.

У них там почти все поголовно пристегиваются, а многие даже бросают пить и курить, ибо знают, что человеческая жизнь во всех смыслах (в самом прямом смысле тоже) стоит исключительно дорого. И ее берегут не для того, чтобы обмануть полицейского.

1991

| КОМУ ВО ЧТО СМОРКАТЬСЯ

Некоторые мои соотечественники, желая как-нибудь ушучить, да побольнее, автора этих строк, говорят: ах, он, такой-сякой, будет нас еще учить, как нам жить, как держать себя за столом и в какой руке держать вилку. При этом даже, как в прежние добрые застойные и дозастойные времена, доносят устно и пишут куда нужно письменно, что своими поучениями автор занимается, сидя на чужой шее. К чему автору, прямо скажем, не привыкать. Раньше он сидел на шее наших колхозников и рабочих, а теперь, по утверждению одного бойкого желтого доносителя, перелез на шею американского конгресса. Доверия которого, естественно, никак не заслужил. Как не оправдал в свое время доверия партии и правительства.

Впрочем, насчет того, кто на чьей шее сидит, эту тему мы отложим на другой раз, а по поводу поучений замечу, что в реальной жизни, увы, попадают некоторые невоспитанные люди, которые вилку и в самом деле держать не умеют. Думают, что изготовлена она на каком-нибудь алюминиево-оловянно-литейном заводе исключительно для того, чтобы причесываться или ковырять ею в зубах. И хотя автор данного текста на самом-то деле особо заметной страстью к поучительству, по его мнению, не страдает, иной раз поневоле воскликнешь: «Эй, товарищ... или как вас по-нынешнему господин, сударь, да что же ты такое, мил-человек, делаешь? Ты же зуб сломаешь».

Я имею в виду зуб у вилки. И как же об этом можно

не говорить, когда еще недавно в предприятиях общественного питания, то есть в те времена, когда и предприятие было и питание тоже... Так вот там, бывало, вилки не найдешь нормальной, а какую ни возьмешь, у одной один зуб сломан, у другой два, а та и вообще с одним-единственным зубом осталась, как Баба-яга. В таком случае даже бесполезно учить человека, в какой ему руке такую дрянь держать, может, лучше даже вообще ни в какой. А взять кость, ежели она имеется, в руки и вгрызаться в нее с подобающим случаю урчанием.

Впрочем, ладно, об этом не буду, а то некоторые особо бдительные особы скажут, что американский конгресс меня нанял за СКВ со специальной целью: советского бывшего и нынешнего человека сбить с панталыку, чтобы он и вовсе, забыв про вилку, щи хлебал, как и прежде, лаптем, а лапшу с ушей через нос протягивал.

Хотя я на самом-то деле, заметьте себе, никого ничему не учу.

Но в жизни сплошь и рядом случаются разные поучительные истории, из которых каждый может сделать для себя определенные выводы.

Одна такая история приключилась давным-давно, в незапамятные времена еще Первой мировой войны.

Некий немецкий генерал попал в плен к русским. Фамилия его была, допустим, фон Айзеншток. То есть в переводе на русский язык — железная палка. Что, впрочем, в нашей истории роли никакой не играет. Тут важнее обратить внимание не на фамилию, а на приставку к ней «фон», означающую высокородное происхождение.

Попал этот фон Айзеншток в плен на Западе, но отправлен был в края не столь отдаленные восточные, а именно в Сибирь, где возбуждал собою всеобщее любопытство.

Потому что Сибирь хотя и большая земля и многое повидала, но немецких генералов даже там водилось очень немного. А именно два. Сам фон Айзеншток и еще некий, назовем его Шмидт, который тоже попал в Сибирь через плен.

Оба генерала друг о друге чего-то слышали, но не встречались, поскольку Сибирь — земля и в самом деле столь велика, что два генерала вполне могут всю жизнь

по ней туда-сюда ходить и ни разу не сойтись в одной точке.

Так что жили они поврозь и в новом быту совершенно погрязли.

Не знаю, как Шмидт, а генерал фон Айзеншток даже женился. Забывши про оставшуюся в стародевичестве саксонскую красотку Хайди, связал он свою судьбу с крупной сибирской женщиной Лукерьей Сикиной, которая родила ему за это двух близнецов.

Привык наш фон Железная Палка к новому житью-бытью, опростился, на местном сибирском диалекте говорил, как на своем родном мутершпрахе, а генеральство свое прошлое стал забывать, иной раз даже сомневаясь, было ли оно в самом деле или просто прибрелось.

Так бы оно шло и дальше, не случись в городе по-тогдашнему Петрограде катавасия, названная впоследствии Великой Октябрьской социалистической.

Пока катавасия случилась, пока слухи о ней докатились до сибирских далей, пока народ действительно понял, что катавасия эта в самом деле великая, и пока дошло это до сознания генерала фон Айзенштока, протекло определенно неопределенное время.

А потом слухи дополнительные поступили, что и в генеральском хаймате также имеют место отдельные перемены к лучшему, и, короче говоря, на фоне полного переворота жизни решил наш фон направиться в сторону родимого фатерланда. Чем показал положительный пример нашим вчерашним соотечественникам. Которые, несмотря на теперешнюю тоже довольно великую катавасию, возвращаться в свой хаймат не торопятся.

А генерал наш заторопился. Но при этом забеспокоился: а кто ему даст разрешение на проезд или проход в нужную сторону. Время поскользку суровое. Повсюду, в том числе и в Сибири, Гражданская война, власти меняются, попросишь нужные документы, и неизвестно наперед, какая будет на то резолюция: разрешить, отказать или приставить к стенке.

Короче говоря, решил генерал пробираться на Запад, никого не спросясь, кроме Лукерьи Сикиной, в замужестве Лукерья фон Айзеншток. Отпусти, мол, майн шатц (то есть мое сокровище), доберусь до родимого

фатерланда, как ни то обустроюсь, а там и тебя заберу с нашими маленькими будущими немецкими генеральчишками и на тебя тоже паспорт немецкий выпишу.

Ну баронесса наша, Лукерья фон, услышав такие слова, ненаглядному для начала пару тяжелых плюх отвесила. За то, что ему какая-то там Германия дороже оказалась ее, Лукерьи. Но потом все же поняла, что родина есть родина, и, маленько поплакав, напекла беляшей да шанег, подштопала запасные исподники, положила все это в котомку, прижала мужа к груди, перекрестила и сказала: «Ну что ж, иди!»

Чтобы тех людей, которые, возможно, встретятся ему по пути, красных, белых, зеленых и прочих, не искушать, порешили генерал с Лукерьей, что в дороге прикинется он простым русским мужичком, неграмотным и дураковатым.

Сказано — сделано. Генерал онучи на ноги накрутил, лапти на них насунул, армяк на себя напялил, бечевкою обмотался, а котомку с шаньгами, да беляшами, да сменой исподнего за спину закинул и отправился в путь-дорогу, в одиночный такой дранг нах вестен.

День идет, два идет, все лесом, все тайгой, открытые места огибая и к жилью никакому не приближаясь. Направление он то по солнцу, то по звездам, то по моху на деревьях определял, как его в академии генерального штаба в свое время учили, но все же на каком-то отрезке показалось ему, что с дороги маленько сбился.

Но ему повезло, что встретил он лошадку, везущую хворосту воз. А на возу, само собою, возница, здоровый такой мужчина, борода рыжая с сединой, брови густые, глаза пытливые. Наш генерал спрашивает: ты, мол, мужик, откедова будешь? А я, говорит, оттедова. А ты? А наш фон Айзеншток вымышленное название называет и говорит: вот, мол, пробираюся поближе к родным местам в Самарской, предположим, губернии.

А рыжебородый смотрит и говорит:

— А ведь ты, милоч, я вижу, не из мужиков будешь, не из наших.

— А с чего такое мнение имеешь? — удивился Айзеншток.

— А с того имею мнение, — говорит рыжебородый, —

что сморкаешься больно уж не по-нашему. Наш мужик — он в таком разе делает как? Он одну ноздрю большим пальцем зажимает, а в другую дует, а ты в платочек соплю свою выдуваешь по-культурному и потом так ее бережно, как локон любимой, вовнутрь заворачиваешь.

Смутился тут генерал наш и от смущения немедленно, говоря теперешним языком, раскололся.

— Да, — говорит, — отец, ты исключительно прав, не ваш я мужик, а немецкий генерал фон Айзеншток, по-вашему то есть железная палка.

Мужик как услышал такие слова, посмотрел на нашего генерала внимательно и начал так хохотать, что сперва с телеги свалился, да и потом еще долго катался по траве, держась за живот. А потом встал на ноги, но успокоиться никак не мог, все искал, пробовал что-то сказать, да обратно впадал в истерику.

— Да что ж тут такого смешного? — спросил его наш генерал, немного даже обидевшись.

— А смешного тут то, ваше превосходительство, — сказал ему мужик на чистом немецком языке с легким померанским акцентом, — что я, позвольте представиться, тоже немецкий генерал Дитер Шмидт.

При этом он вытянулся и шелкнул как бы каблуками, которых у его лаптей, конечно же, не было.

Что случилось потом с их превосходительствами, добрались ли они оба или хотя бы один из них до берегов Одера или Рейна, этого я, признаться, совсем не знаю. И как сложилась их дальнейшая жизнь или никак не сложилась, тоже неизвестно, но в любом случае осталась от них легенда о том, как немец немца узнал, и из этой легенды можно делать далеко идущие выводы.

А именно, что некоторые наши привычки сидят в нас так глубоко, что, как бы нас потом жизнь ни ломала, мы от них ну никак не можем избавиться. Если генерала нашего в детстве, может быть, бонна учила пользоваться носовым платком или потом в юнкерском училище ему линейкой по рукам давали, когда он пытался обойтись одним пальцем, то привычка к носовому платку въелась в него на всю жизнь и даже перешла в генетический код.

А у нас картина совершенно обратная.

У нас иных человек, воспитанных детским садом, пионерским лагерем и комсомольскими зорьками, легче застрелить, чем приучить сморкаться в платок, правильно держать вилку и не писать доносы. (Правда, как же их не писать, когда есть и не закрыто учреждение, где их принимают, как встарь, круглосуточно?)

И тоже, как от привычки употребления большого пальца в сморкательных целях, не можем отказаться от стадных местоимений. Привыкли мы на «мы» себя называть, и без этого ну никак. Несмотря на всякие едкие замечания по этому поводу и даже на специально Евгением Замятиным написанный роман «Мы». То гордо: «Мы советские люди». То самоуничижительно: «Мы совки». То, опять же впадая в большую спесь: не вам нас учить. Кому вам, кого нас? Нас, которые семьдесят лет строили, семь лет перестраивают и по семь часов стоят в очереди за «гуманитарной» помощью от них, кого сами всегда учили?

Иной такой Мыкин, пожелтевший, может быть, от перенесенного в юности комсомольского гепатита, выискивая пытливо возможности, как бы слинять на Запад, своего бывшего соотечественника тем попрекает, что тот не линяет в спешном порядке с Запада на Восток.

Впрочем, Мыкины разные, а вопрос все один и тот же и даже в одной редакции. Мы их так ждали, а они к нам не едут, вообще-то в них ничего хорошего нет, а мы, тем не менее, вымыли шею и раскинули для объятий руки, а они, сволочи, к нам не едут и это значит что? Это значит, что они не политическая эмиграция, а экономическая. Они туда на Запад умотали за колбасой и за джинсами.

Одни и те же стенания, в одних и тех же выражениях, даже с тем же сопливым всхлипом. Несмотря на то что уже тысячу раз было оговорено и объяснено, почему одни они к нам не едут, а другие они от нас ежедневно тикают. Но стенания продолжают и настолько совпадают в подробностях, что невольно наводят автора данных слов на определенные мысли. На мысли, что хотя и говорят, что нет, мол, нынче кабинетов, где нас учат, кому чего говорить, а они на самом деле, может быть,

есть и, может быть, находятся именно там, где заявления от граждан принимаются круглосуточно.

Потому что по простоте своей, по прежнему опыту и, конечно же, по тому же советско-совковому воспитанию, автор никак не может себе представить, чтобы совершенно как бы разные люди сами по себе одну и ту же глупую мысль выражали столь одинаково и без всякого инструктажа.

Нет, что ни говорите, а привычки наши глубоко в нас сидят, и ничего с ними не поделаешь.

Одна, например, независимая очень газета при своем основании попросила у меня тысячу рублей для первоначальной поддержки своего существования. Я дал. Газета стала выходить. И время от времени поминать мое скромное имя. Но все в каком-то таком не очень-то лестном для меня смысле. Что вот, мол, этот пустой имярек, живя на Западе, совершеннейшим образом исписался. Но если сказать правду, то и раньше ничего хорошего не писал. Да и в будущем вряд ли чего напишет. Надо сказать, что такое отношение печатного органа к своему скромному спонсору меня несколько обескуражило, но, с другой стороны, я думаю, газета-то принципиальная, и что же, она меня за мою тысячу рублей, если я ей не нравлюсь, хвалить, что ли, должна? Но все же свое недоумение одному из работников этой редакции высказал. А он за голову схватился: «Ой, говорит, извините, а мы совсем забыли, что вы нам деньги давали». Теперь вспомнили, и можно ожидать, напишут обо мне что-нибудь положительное. Что я еще не исписался и раньше тоже писал не так уж и плохо. А если им еще добавить определенную сумму, да с учетом инфляции и индексации, они, может, и вообще воспарят к панегирику. Потому что есть у нас привычка ко взаимному услужению: ты мне, я тебе.

Еще привычка распространенная: ждть от начальства указаний.

К моему знакомому американскому фермеру Дэвиду Орру (штат Индиана) приехала в гости не в период расцвета колхозного строительства, а всего лишь два года тому назад делегация кубанских хлеборобов. Которые сами нацелились на свободное фермерство. Ходили по

полям Дэвида, осмотрели его четыре трактора, три комбайна и два элеватора, все данные в блокнотик запротоколировали, сколько чего на скольких акрах произрастает, а потом спрашивают: «А кто у вас принимает решения?» Он не понял: «Какие такие решения?» — «Ну кто у вас решает, когда, например, начинать посевную кампанию?» Он сначала подумал, что переводчик, может, чего напутал. Попросил повторить вопрос. А потом объяснил, что, во-первых, никаких таких кампаний, или сражений, или битв за урожай он вообще не проводит, а когда сеять или убирать, решает сам. Иногда посоветовавшись, впрочем, с женой. И поступивши, естественно, наоборот. В соответствии, разумеется, с местным климатом, временем года и общими природными закономерностями.

Кубанские хлеборобы между собою понимающе переглянулись, фермеру сочувственно головой покивали. Они же люди умные и понимают, что правду он им сказать не может. О том, как вызывают его в индианский обком и стучат кулаком по столу: ты, мол, мать твою перемать, если ко дню рождения Джорджа Вашингтона кукурузу не посеешь, то мы тебя к именинам Гэса Холла посадим.

Что ни говорите, а привычки играют в нашей жизни очень большую роль. И если человек привык обходиться без вилки или носового платка, то так и будет пользоваться одним пальцем или всей пятерней.

1992

| ДВА МИРА, ДВА ШАПИРО

Вот давняя история или легенда.

Однажды в 40-х годах корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро.

— У вас пожар, — сказал ему Генри.

— А кто это говорит? — спросил Соломон.

— Шапиро.

Советский Шапиро решил, что его разыгрывают, и бросил трубку. Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телетайпу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врет — коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась в шутке: два мира, два Шапиро.

Шутка эта приходит на ум мне всякий раз, когда я вижу разницу в образе жизни двух миров. Разница была и осталась огромной. Несмотря на перестройку, конверсию, приватизацию, частное предпринимательство и прочие подобные вещи. Советская система рухнула, но советский человек остался советским человеком, он живет и действует по-советски. Переходя к рыночным отношениям, он надеется на то, что скоро станет миллионером, но не понимает того, что для достижения подобной цели надо работать и жить не так, как раньше.

Как-то пришел ко мне один новоиспеченный частный издатель. Раньше он работал в большом государственном издательстве и меня, как диссидента, не печатал. А теперь, став начинающим капиталистом, явился с улыбкой до ушей и надеждой заработать на мне кучу денег. Разумеется, я от него услышал, что он мой давний и страстный поклонник и ночи не спит, мечтая, чтобы моя книга в самое ближайшее время массовым тиражом вышла в его издательстве. Мы быстро обговорили условия, ударили по рукам, и он удалился, сказав, что завтра ровно в десять утра явится ко мне с договором. Завтра он не явился. Послезавтра тоже. На следующей неделе я сам позвонил ему. Секретарша ответила: «Его нет», — и бросила трубку. Я набрал тот же номер в третий раз: «А когда завтра?» Секретарша: «В четыре часа», — и бросила трубку. Мне пришлось пять раз звонить, а ей пять отвечать, чтобы выдать информацию, укладываемую всего в одну фразу. Завтра я четырежды соединялся с той же секретаршей, чтобы услышать, что ее шеф еще не пришел, и дважды, чтобы узнать, что он уже ушел. Я думал, что он пропал насовсем, но через месяц он

явился, как обещал, с договором. И был очень удивлен, что я уже отдал книгу другому издателю, который обещал мне напечатать ее к концу прошлого года. Впрочем, с тем, другим, тоже ничего не вышло. В начале этого года выяснилось, что у него нет бумаги, картона, клея, краски и чего-то еще, из чего делаются книги. Теперь появился третий издатель, который обещает меня издать к концу текущего года. Мой приятель, опытный человек, советует на столь длительный срок не соглашаться, требовать издания в течение двух месяцев. «Тем более, — сказал приятель, — что он тебя все равно не издаст никогда. Но зато ты узнаешь об этом через два месяца, а не через восемь».

Отвыкнув от советского образа жизни, к нему трудно приспособиться снова. И трудно понять, почему, несмотря на переход к рыночным отношениям, свободное такси не останавливается, официант уговаривает вас пойти в другой ресторан, в билете на поезд вам отказывают, а он отходит от станции полупустой. Всюду нечеткость, необязательность и нелюбезность, очень большое желание иметь деньги и очень большое нежелание их зарабатывать. От клиента, несущего деньги, все отбиваются, как от врага.

Пришла мне пора постричься. Зашел в парикмахерскую, только что приватизированную. Ну, думаю, частный бизнес, тут уж меня обслужат по высшему разряду. В коридоре за столиком сидит дама в очках и решает кроссворд. Иду мимо. Она меня останавливает: «Вы куда?» — «Постричься». — «Мужской зал не там, а там». Иду туда. Там под портретом Сильвестра Сталлоне в единственном кресле для клиентуры молодая парикмахерша старательно красит губы. Мне кажется, от этого процесса женщины обычно получают удовольствие, но на ее лице удовольствия не видно. Поворачивается ко мне и, не отрывая помады от губ, смотрит вопросительно.

— Здравствуйте, — говорю я ей.

— Здравствуйте, — печально отвечает она, предчувствуя нехорошее. — Что вы хотите?

Слегка удивившись вопросу, я объяснил, что в парикмахерскую прихожу обычно, чтобы постричься, а не для чего-то еще. Выслушала без улыбки.

— А у вас талончик есть?

— Какой талончик?

— Талончик на обслуживание.

— А разве нужен талончик?

— Да, нужен.

— А где его взять?

— В коридоре, у кассирши.

Возвращаюсь в коридор, к даме в очках.

— Оказывается, там нужен талончик.

— Да, нужен.

— А почему же вы мне сразу не сказали?

— А вы меня не спросили.

— Ну хорошо. Дайте мне талончик.

— А какой именно?

— А какие у вас есть?

— Это зависит от того, как вы хотите постричься, хорошо или плохо.

— Вы знаете, я еще не видел ни одного человека, который хотел бы постричься плохо.

— Если вы хотите хорошую стрижку, это будет стоить сорок два рубля.

Называя столь высокую для советского человека цену, она надеется, что я заахаю и уйду. Но не на того напала. Сорок два рубля по нынешнему курсу — это не больше одной дойче-марки, а в Мюнхене за такую же процедуру я плачу в пятьдесят раз больше.

Я заплатил за талон и вернулся в мужской зал. Парикмахерша, накрасив губы, приступила к ресницам. И в этот как раз момент опять появился я. Предъявленный ей талон она изучала долго, надеясь, очевидно, что он окажется поддельным. Потом с глубоким и откровенным вздохом уступила мне место в кресле, медленно оборачивала меня простыней и долго подбирала инструменты.

Наконец принялась за работу. Работала медленно и неохотно. В глазах — тоска и отвращение к обрабатываемой голове. Я тоже стал постепенно впадать в уны-

ние. Я понимаю, что мне далеко до Сильвестра Сталлоне, но и не столь же я отвратителен, чтобы смотреть на меня, как на лягушку.

Последний раз перед тем я стригся в Мюнхене. Там была точно такая же парикмахерша, но она выросла в другой среде и знала, что клиентов надо привлекать. И она делала это весело и естественно. Она со мной весело поздоровалась, поинтересовалась, кто я и откуда, расспросила меня о моих родителях, о моих детях и о внуках, которых у меня нет. Она выразила восхищение густотой моих волос (а если бы их не было, то восхитилась бы лысиной). В конце с помощью двух зеркал она показала мне мой затылок, спросила, доволен ли я ее работой, и содрала с меня пятьдесят марок. Несмотря на цену, я ушел с желанием прийти сюда снова. От московской ее коллеги я ушел с надеждой никогда к ней не возвращаться.

Московская парикмахерша тоже хочет иметь много денег. Но она не думает, что для этого надо работать с охотой, надо нравиться клиентам, надо вызывать в них желание прийти опять сюда, а не куда-нибудь в другое место. Не зная этого, она работала так, как будто с ней случилось большое несчастье. Как девушка из хорошей семьи, отданная насильно в публичный дом. Потом быстро и с явным облегчением отложила в сторону инструменты и стала стягивать с меня простынку, не поинтересовавшись моим мнением о ее работе.

— Вы уже закончили? — спросил я.

— Да, конечно.

— А вы не видите, что левый висок вы подстригли меньше, чем правый?

— Это вам кажется, — сказала она, почти не разжимая губ.

Ее состояние передалось мне настолько, что даже лень было злиться.

Но все-таки я сказал:

— Мне не кажется. Я смотрю в зеркало и правое ухо вижу, а левое нет, потому что оно закрыто волосами.

— Оно не закрыто, — возразила она.

— Но почему же я его не вижу? — спросил я.

— Наверное, потому, что у вас плохое зрение.

— Но почему же я тогда вижу правое ухо?

— Ой, — сказала она, не выдержав. — Надо же, какой вы капризный! Ну хорошо, хорошо.

Она опять накинула на меня простыню, сделала символический взмах ножницами и отложила их в сторону. Бороться дальше было выше моих сил.

Пришла пора мне ехать в Мюнхен. Недалеко от меня, на улице Большая Спасская, — немецкое райзебюро. Недавно оно еще принадлежало Германской Демократической Республике, а теперь там написано «Федеративная Республика Германия».

Пошел я туда. Надеюсь, что родные немцы обслужат меня по-немецки.

В бюро полная дама говорит с кем-то по телефону. По-русски.

— Люсь, ты представляешь, мясо. Двести рублей кило. Двести рублей кило. Это ж офигеть можно.

При моем появлении отрывается от телефона с большой неохотой.

— Здравствуйте, вам чего?

Объясняю, что пришел не стричься, а за билетом. Я понимаю, что говорить по телефону гораздо приятнее, чем работать. Делать, однако, нечего (все же немецкое райзебюро, а не российское), она кладет трубку и идет в другую комнату. Но на полпути остановилась.

— А вы знаете, мы здесь торгуем только за валюту.

— Я знаю.

Жаль, конечно. Идет дальше. Опять остановилась.

— А мы, между прочим, продаем билеты только иностранцам.

Она собралась уже вернуться к столу, позвонить опять своей подруге и обсудить цены на молоко, но я сказал ей, что я и есть иностранец. Мое сообщение настолько ее удивило, что она даже не рассердилась.

— Вы иностранец? Надо же! А так чисто говорите, что я бы никогда не подумала. Правда иностранец?

— Правда. Немец я.

— Да? А здорово как говорите! Небось долго учились?

— Очень долго.

Ради иностранца можно и пошевелиться. Она ушла в соседнюю комнату, оттуда некоторое время доносился до меня возбужденный и неразборчивый шепот, наконец дама вернулась, а с ней еще две, немка и русская, обе растерянные, как будто они никогда не видели человека, желающего обрести билет. Они меня напряженно выслушали и сначала неуверенно, а потом с возрастающей страстью стали по-русски и по-немецки уговаривать, чтобы я билеты купил не у них, а непосредственно у компании «Люфтганза», чей офис расположился в отеле «Пента».

— Зачем же вам зависеть от нас? Нам для того, чтобы принять ваш заказ, надо выяснить, есть ли у «Люфтганзы» билеты. А вы сами туда пойдете и сразу все узнаете.

Ну ладно. Отправился я в «Пенту». И вы, читатель этих заметок, думаете, что там-то, в капиталистическом учреждении, сразу стало все на свои места? Как бы не так! Там, господа, работают гордые советские люди, выросшие в условиях социализма. Получая зарплату в свободно конвертируемой валюте, они дорожат каждым своим словом и лишнего не говорят. С одной из них состоялся у меня примерно такой разговор.

— Мне нужен билет на Мюнхен.

— Дешевых билетов нет.

— А какие есть?

— Есть дорогие.

— А сколько стоят дорогие?

— Дорого.

— Меня интересуют конкретные цифры.

Она вздохнула.

— Семьсот шестьдесят пять долларов.

И посмотрела на меня с упреком. Зачем, мол, спрашиваешь, если все равно не купишь?

— А дешевые билеты сколько стоят?

— А дешевые проданы.

— Ну все-таки сколько?

— Пятьсот долларов.

— Чем отличаются билеты за пятьсот долларов от

билетов за семьсот шестьдесят пять? Они что, разного класса?

— Нет. И те и другие — экономический класс. Но дешевые билеты надо заказывать не меньше чем за семь дней.

— А я к вам пришел за девять.

— Ну и что?

Да, действительно, ну и что? Я должен был прийти за семь дней, а пришел на два дня раньше, и это ничего не значит. Я пытаюсь рассуждать вслух и логически:

— Раз я пришел к вам раньше, чем за семь дней, значит, вы мне должны продать эти билеты по льготной цене.

— Нет, — возразила она, — вы неправильно рассуждаете. Те билеты, которые продаются дешево за семь дней, проданы за двадцать дней.

— А еще через неделю есть льготные билеты?

Она постучала по клавишам компьютера и радостно сообщила мне, что и через шестнадцать дней тех билетов, которые продаются за семь дней, тоже не будет.

Конечно, будь я настоящим немцем, я бы ей поверил. Но будучи не немцем, я знал, что с настоящим немцем она разговаривала бы иначе. Поэтому, вернувшись домой, я позвонил своей знакомой настоящей немке и сказал ей: «Барбара, пожалуйста, позвони в «Люфтганзу» и на твоём хорошем немецком языке спроси, как там в действительности дела обстоят с билетами». Барбара позвонила, и ей сказали, что билетов на ближайшее воскресенье действительно нет. Но есть на субботу перед воскресеньем. И на всю неделю после воскресенья, на любой день, кроме, может быть, следующего воскресенья. Я понял, что действовал неправильно. Надо было спрашивать так: «У вас есть дешевые билеты на воскресенье?» И если нет, то выяснять насчет каждого дня. А на понедельник? А на вторник? И так далее, до тех пор, пока какой-нибудь день не совпадет с наличием билетов. А еще я понял, что в стране, где люди повсеместно тратят столько сил, чтобы не работать, положение улучшится еще очень не скоро.

Между прочим, вернувшись в Мюнхен, я немедлен-

но пошел поправлять прическу. Знакомая парикмахерша, принявшись за работу, деликатно спросила: «А где это вас так интересно стригли?» Не желая подрывать репутацию русских парикмахеров, я ей сказал, что время от времени меня стрижет моя жена.

— Оно и видно, — сказала парикмахерша и вздохнула. — Сейчас многие вроде вас стригутся у жен. А как же нам быть? Нам же тоже на что-то надо жить.

Я с ней согласился, но спросил, читает ли она книги.

— Нет, — сказала она, — работа, дети, муж, кино, телевизор, на книги времени не остается.

— В этом-то все и дело, — сказал я. — Вы книги не читаете и не покупаете и лишаете меня гонорара, на который я мог бы постричься.

Мы с ней посмеялись и посетовали на то, что наши профессии скоро никому не будут нужны. После чего я заплатил ей пятьдесят марок, на которые она могла бы купить две мои книги, но она этого, конечно, не сделала. Потому что у нее семья, большие расходы и стоит ли тратить деньги на ерунду.

1992

| ТВАРДОВСКИЙ

Твардовский был моим тогдашним кумиром. Им мог бы быть и Шолохов, но он, казалось мне, давно исписался, спился, а его публичные выступления, глупые и бездарные, отвращали от него окончательно и не только меня.

Твардовский же ничем себя не уронил (в моих глазах, по крайней мере), считался безусловно крупной личностью, а уж как поэт был признан всеми: властью, читателями и поэтами. Чуковский и Маршак сравнивали Твардовского с Некрасовым, но я ставил его ближе к Пушкину.

Я был человеком провинциальным, честолюбивым, но скромным и даже застенчивым, знаменитых людей еще не встречал и любого из них, а Твардовского больше, чем кого бы то ни было, не мог даже представить в виде живого человека. А вообразить себе, что я когда-

нибудь познакомлюсь лично с Твардовским, буду общаться с ним и даже выпивать, и даже о чем-то спорить, и что вообще он будет знать, кто я такой, на это моей фантазии не хватало.

Впервые возможность знакомства с Твардовским показалась мне не совсем гипотетической в 58-м году, когда неожиданно для себя я оказался участником совещания молодых писателей. Попал в семинар Льва Ошанина, к которому относился без интереса, и ничего путного на семинаре не услышал, кроме, может быть, двух высказываний идеологического толка. Объясняя нам, чем один поэт отличается от другого, Ошанин удивил меня сообщением, что мировоззрение у нас у всех одно. Второе высказывание касалось стихотворения Эдмунда Иодковского, в котором были строчки: «Не хочу синицу в руках, а хочу журавля в небе». — «Не наша идеология, — заметил Ошанин. — Наша идеология, — сказал он хищно, — журавля в руки». И изобразил руками соответствующее хватательное движение. Мои стихи Ошанину не понравились прежде всего как раз их идеологической направленностью, но я не удивился, не огорчился, я просто понял (да и с самого начала предполагал), что попал не на тот семинар и не к тому руководителю. А вот моему приятелю Игорю Шаферану повезло оказаться в семинаре Твардовского. И вскоре разнесся слух: стихи Шаферана Твардовскому понравились. Он автора хвалил и кое-что отобрал для публикации. Игорь ходил гордый и счастливый, словно его наградили орденом. Я ему завидовал. Я бы тоже ходил гордый. А поскольку мне казалось, что я пишу тоже «все понятно, все на русском языке» и не хуже Шаферана, я решил, что Твардовский должен прочесть и мои стихи. Как это бывает с застенчивыми людьми, я иногда сам себя преодолевал и бывал дерзок, а то и нахален.

И вот в порыве нахальства явился я в «Новый мир» и сказал секретарше (ее звали Софья Ханановна), что хотел бы встретиться с Александром Трифоновичем. «А он обещал вас принять?» — «Обещал», — сказал я. Она зашла в кабинет и тут же вышла. «Александр Трифонович вас ждет». Я вошел и, увидев перед собой своего живого

кумира, сразу же оробел. Он сидел за своим столом, грузный и хмурый. «Я в самом деле вас приглашал?» — «Не приглашали», — признался я. «А почему же вы говорите, что я вас приглашал?» — «Потому, — сказал я, — что мне очень хотелось показать вам мои стихи, но я боялся, что меня к вам не пустят». Я думал, ему понравится моя шутка, но он улыбнулся так, что видно было — шутка ему не понравилась (как же я его стал понимать позже, когда меня одолевали такие же молодые — да и старые тоже — нахалы). Тем не менее он разрешил мне оставить стихи и пообещал, что прочтет. Некоторое время спустя мне позвонил из «Нового мира» какой-то сотрудник, сказал, что выполняет поручение Твардовского. Александр Трифонович стихи прочел, считает, что в них что-то есть, но все-таки они еще незрелые и печатать их рано. На стихах, возвращенных мне редакцией, были пометки Твардовского. Совершенно справедливые. Я не обиделся, а огорчился. Но при этом мне льстило то, что он сам лично читал мои строки, вникал в них, делал пометки, по которым было ясно, что в стихах моих что-то есть.

Вторая встреча в 60-м. На ходу, в коридоре «Нового мира». Моя первая повесть «Мы здесь живем» уже принята редакцией «на ура». Но просили кое-что переделать. В повести у меня погибал главный герой, шофер самосвала. Мне сказали, что это никак не может пройти. У них есть повесть Владимова (будет напечатана через полгода), где герой — тоже шофер, тоже самосвала и тоже гибнет. Герой должен остаться живым. Я сначала сопротивлялся. Меня долго уговаривали. Анна Самойловна Берзер, Игорь Александрович Сац. Я упирался. Однажды мы с Сацем шли по коридору и вдруг навстречу — Твардовский. Сам! Я оробел. Сац: «Вот, Александр Трифонович, познакомьтесь, это и есть Владимир Николаевич Войнович» (Сац и потом Твардовский произносили мою фамилию правильно — с ударением на первом слоге). «Очень приятно», — сказал Твардовский доброжелательно, но не подавая руки, и повел разговор словно через переводчика (потом я эту манеру встречал не раз): «А вы ему сказали, чтобы он оставил в живых

шофера?» — «Сказал». — «Ну и что он?» — «Он согласен», — сказал Сац, и тут я не посмел возразить. «Ну, хорошо», — сказал Твардовский и пошел дальше.

На этом наше это общение и закончилось.

Повесть была напечатана в первом номере 1961 года. Вызвала много откликов. Гораздо больше, чем в постсоветской России «Чонкин». В редакции были мной довольны. Но вот в ноябре или декабре того же года я принес в «Новый мир» рассказ «Расстояние в полкилометра». Принес, отдал и затаился. Когда писал рассказ, казался он мне хорошим. А написал, понес в редакцию, и, как всегда, чем ближе я к ней подходил, тем больше сомневался в достоинствах написанного. Между прочим, по дороге встретил знакомого писателя. Остановились поговорить, он поинтересовался, куда и зачем я иду, я сказал, что вот несу в редакцию рассказ. «Хороший?» — спросил писатель. «Не знаю». — «А если не знаешь, зачем несешь?» — «Затем, что я никогда не бываю уверен в написанном».

Рассказ я отдал, но долго не было никакой реакции. Гораздо дольше, чем после сдачи первой повести. Вдруг звонок. Анна Самойловна: «Володя, вас просит к себе Твардовский».

Я порой очень жалею, что никогда не вел дневников, даже в дни очень важных для меня событий. Поэтому — вот по памяти. Был вечер. Я вошел в кабинет, тот самый, в который когда-то вломился по наглости. Горела только настольная лампа. Твардовский, седоватый и грузный, вышел из-за стола. Пожал мне руку своей большой и мягкой рукой, усадил и стал говорить мне такие комплименты, на которые я никогда не рассчитывал. Он меня цитировал, смеялся, пересказывал почти дословно спор двух персонажей по поводу количества колонн у Большого театра. Сказал, что ему приятно, что я знаю жизнь, особенно жизнь деревенскую, сказал, что рассказ у меня самостоятельный, хотя школа видна, школа бунинская (я был не согласен, но не возразил). Ну что ж, неплохая школа. И хотя вы учитесь у Бунина, но без эпигонаства. А то есть у нас, знаете ли, модные бунинисты. Да, вдруг спохватился он, а как вас величать?

Меня зовут Володя. — Володя? — переспросил он удивленно, будто никогда не слышал подобного имени. — А что, у вас разве отчества нет? — И я понял, что совершил промашку. Отчество? У меня? Да кто ж меня и когда звал по отчеству? Еще недавно кричали просто рядовой такой-то, ко мне, вольно, смиренно, шагом марш! А к тому же я вот слышал и поначалу удивлялся, литераторы сплошь и рядом зовут друг друга Миша Светлов, Сережа Наровчатов, Боря Слуцкий, а Маяковский Асеева называл даже Колькой. Я попробовал объяснить Твардовскому, что я еще молодой и прибавления отчества к имени покуда не заслужил. А кой вам годик? — спросил он уже довольно язвительно. Двадцать девять. Он помрачнел. Я потом много раз замечал, что он тяжело переживал свой возраст, хотя ему было всего лишь пятьдесят лет. Ну что ж, вздохнул он. Молодость — это недостаток, который быстро проходит. После этого опять ко мне расположился и сказал еще много хорошего, чего я, к сожалению, не записал. Перейдя к практической части, он сказал, что рассказ напечатает, но не один. Надо к нему добавить еще другой рассказ. Пусть даже не такой хороший. Пусть даже вообще он будет похуже. «Тогда мы им прикроем этот». Некоторое время я ходил у него в фаворитах, чем очень гордился. Я слышал, что и за глаза он говорил обо мне что-то положительное.

Потом начались наши встречи застольные. Вот первая. Я сидел у своего тогдашнего друга Феликса Светова и от него позвонил зачем-то Сацу. Сац сказал: Володя, хотите видеть Александра Трифоновича, приезжайте сейчас же ко мне. Я кинулся к выходу. Светов обиделся. Что же ты меняешь друга на начальника? Он мне не начальник. Представь себе, что тебя приглашает Пушкин. Я поехал. Начались наши встречи и сеансы взаиморасположения. Он курил сигареты «Ароматные» и я тоже. Несколько раз у Саца. Или у его подруги Инны Шкунаевой. Она была родственницей архитектора Жолтовского. От которого почему-то в ее распоряжение перешла, не помню уже, не то одно-, не то двухкомнатная квартира где-то в районе Смоленской площади. Там встречались Твардовский, Лакшин, Сац, Кондратович,

Дементьев. Все приходили с водкой (как мне помнится, приносили сразу по две бутылки). Садились за стол. Шкунаева готовила закуску. Первая стадия: пили, закусывали, балагурили. Твардовский, разумеется, был центром и душой компании. Рассказывал что-нибудь о своих столкновениях с начальством и цензорами или вспоминал деревенское детство. На второй стадии переходили к песням. Твардовский хорошо знал и пел белорусские песни. Лакшин (эти же песни, наверное, выучил) очень старательно подпевал. Некоторые из этих песен я тоже знал, но в украинском варианте, чем умилял Твардовского, он любил людей с опытом жизни среди «простого» народа. Иногда к концу застолья Твардовский начинал плакать, переживая (в начале шестого десятка) наступившую старость. Утирал слезы ладонями, повторяя: я старик, я старик. Остальные вежливо выдерживали паузу, хотя некоторые из них (Сац, Дементьев, Марьямов) были постарше.

В период моего увлечения кое-что меня в нем не разочаровывало, но удивляло. Например, его странная советскость. В частных разговорах он всегда ругал власть за колхозы, бюрократизм, за бесполезное освоение целинных земель, разумеется, за управление искусством и в то же время проявлял к этой власти почтение даже тогда, когда этого очевидно не требовалось. Например. Шестидесятилетие Саца. Отмечаем в «Новом мире», в кабинете главного. Твардовский произносит первый тост и предлагает выпить не за Саца, а «за нашу советскую власть», которая к рождению Саца была не причастна: он родился за пятнадцать лет до нее. Я был очень удивлен. Зачем Твардовский это говорит? Неужели он в самом деле эту власть так любит? А если и любит, зачем поминать ее при таком частном событии, как день рождения друга?

Я очень завидовал Твардовскому, что он пишет правду, но при этом такую правду (или не совсем правду, а то, во что сам верит), которую принимает власть. И поэтому уважаем властью, уважаем людьми и сам себя уважает. У меня такой гармонии не было. У меня не было ни малейшего желания входить с властью в конфликт,

но желание изображать жизнь как она есть было выше стремления к благополучию. Твардовский по складу своего характера и дарования был человеком государственным и мог писать искренне то, на что у меня не поднялась бы рука, вроде «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» или про ээка, который «по одному со мной билету»... бывал в Кремле. Многие из того, что писал Твардовский, мне было не враждебно, но чуждо. Я, однако, за Тёркина мог простить ему все.

Мне нравилась его нелюбовь к проявлениям всякого пижонства или того, что ему казалось пижонством. Ему очень не нравились стремления мужчин украшать себя крикливой одеждой, дорогими часами, перстнями, усами и бородами. Он ехидно расспрашивал Виктора Некрасова, как он заботится о своих усах: «Смотришь в зеркало, подстригаешь, подбриваешь, подравниваешь?» — «Да, — с вызовом отвечал Некрасов. — Смотрю в зеркало, подстригаю, подбриваю, подравниваю». Потом Твардовский неодобрительно относился к солженицынской бороде. Однажды мы закуривали, у него не оказалось спичек, я небрежно чиркнул газовой зажигалкой. «Зажигалка?» — спросил он насмешливо, и я устыдился, как будто был уличен в чем-то дурном. Он все еще ко мне хорошо относился и однажды, стоя, произнес тост: «Вот умирает писатель, я думаю о нем и думаю: не жалко. Я хочу выпить за вас, чтобы, когда вы умрете, вас было жалко». Я был польщен. И рассказал об этом тосте своему другу Камилу Икрамову. Камил ревновал меня к Твардовскому и злился на меня за то, что ведь он «открыл» меня еще по самым первым моим стихам, которые, кстати сказать, Твардовский не оценил, но ему я не верил, его оценками не хвалился, а от слов Твардовского надуваюсь, как индюк. Рассказ о произнесенном тосте разозлил его особенно. И тебе не стыдно это слушать? Ты разве не понял, кого не жалко Твардовскому? Василия Семеновича Гроссмана! Я к Гроссману уже тогда, еще не читавши главных его поздних вещей, относился с почтением. И мне было лестно, что Твардовский предполагает во мне возможность стать выше Гроссмана.

Гроссман умер в 1964 году. Значит, тогда Твардов-

ский еще ставил меня высоко. Но в промежутке был период его охлаждения ко мне и даже разочарования.

В начале 1962 года я написал повесть «Кем я мог бы стать», с эпиграфом из австралийского поэта Генри Лусона (перевод Никиты Разговорова): «Когда печаль и горе, и боль в груди моей, и день вчерашний черен, а завтрашний черней, находится немало любителей сказать: «Ах жизнь его пропала, а кем он мог бы стать?» Богат и горд осанкой тот я, кем я не стал. Давно имеет в банке солидный капитал. Ему почет и слава и слава и почет, но мне та слава, право, никак не подойдет. Мой друг, мой друг надежный, тебе ль того не знать: всю жизнь я лез из кожи, чтобы не стать, о, Боже, тем, кем я мог бы стать». Эти стихи для эпиграфа длинноватые, но, будь их автором я, они были бы моим автопортретом. Я читал эту повесть вслух Сацу и Инне Шкунаевой. Им обоим повесть понравилась. Понравилась Камилу Икрамову и Феликсу Светову. Понравилась и Асе Берзер, которой я сдал рукопись. Ася отдала рукопись дальше, а дальше была заминка. Долго из редакции не было ни слуху ни духу, и вдруг мне показывают внутреннюю рецензию, написанную «самим». Отзыв кислый. Повесть, мол, слабая и даже несамостоятельная, написанная «под Бёлля», конкретно под его рассказ «Бильярд в половине двенадцатого». Я стал искать Бёлля. Нашел, прочел, удивился. Да, вроде какое-то созвучие интонаций имеется, но кому докажешь, что я Бёлля прочел уже после написания своей повести?

Твардовскому повесть не понравилась, значит, не понравилась и членам редколлегии. Наоборот еще могло быть. Ему понравилась, а кое-кто из них кривит рожу. Но чтобы ему не понравилось, а им да, такого не помню. Короче говоря, все сходятся на том, что повесть слабая и печатать ее не стоит. А про «Расстояние в полкилометра» уже все как будто забыли. И не помнят хитроумной надежды Твардовского, что чем вторая вещь будет слабее, тем легче будет ее напечатать.

Но оказалось, у меня среди членов редколлегии есть два тайных сторонника. Первый Евгений Николаевич Герасимов, которого, несмотря на преклонные годы,

все звали Женей. В качестве поклонника он обнаружился так. Подавленный полным неприятием моей повести в «Новом мире», пришел я как-то в ЦДЛ, встретил там изрядно подвыпившего Женю, а он всегда был подвыпивши то просто, то изрядно, сам мне говорил, что имел дневную норму две бутылки водки, так вот встретил его, и неожиданно стал он мне объясняться в любви и говорить, как высоко он ценит мое дарование. Как же высоко, спросил я, когда вы не хотите печатать мою повесть. «Я не хочу? — искренне возмутился он. — Это они, — он понизил голос до шепота, словно говорил о политической власти, — не хотят. А я хочу. Я тебя вообще считаю надеждой нашей литературы», — добавил он и почему-то заплакал. На другой день он позвонил мне рано утром и сказал, что желает немедленно видеть меня в редакции. Утром он был трезвый и говорил на «вы». Я хочу бороться за вашу повесть, но давайте назовем ее рассказом, чтобы было два рассказа, и переименуем. Как? Давайте назовем просто: «Хочу быть честным». Тогда они (то есть власти) будут считать это как рассказ о частном случае. Какой-то чудака хочет быть честным, но на основы нашего строя он не посягает, и, больше того, он хочет, чтобы советская власть была даже лучше, чем она есть. Я спорить не стал. Для меня обозначение жанра большого значения не имело, а название... Оно мне не нравится, но если под таким названием вещь пройдет, то что ж. Я согласился изменить название и с сожалением убрал эпиграф. Тем не менее повесть не печатают. Твардовский по-прежнему относится к ней плохо, другие члены редколлегии — Закс, Лакшин, Кондратович — тоже, но и не отказывают. Появился Дементьев, большой, грузный человек в старомодных очках, похожий на разночинца. Про него говорили, что во времена космополитизма в Ленинграде он отличался особым рвением, выявляя этих самых космополитов, но я его таким не знал и с трудом мог таким представить. В солженицынском «Теленке» Александр Григорьевич изображен злобным большевистским комиссаром, приставленным к Твардовскому. Не знаю, может, он поначалу и был приставлен, но если даже и так, то впоследствии играл дру-

гую роль и роль эта была позитивной. Он был, кажется, единственным членом редколлегии, имевшим собственное мнение, но отстаивал его не всегда прямо, а применяя разнообразные дипломатические уловки. Твардовский его не боялся, но уважал. И иногда закрывал глаза на то, что в периоды его отсутствия (по причине, например, запоя) Дементьев брал управление на себя и решал спорные вопросы по-своему — печатал, бывало, вещи, не пропущенные главным редактором, а того потом убеждал, что автор много работал над рукописью и кардинально ее улучшил. Мне Дементьев явно симпатизировал и по крайней мере дважды печатал меня, преодолев сопротивление Твардовского. При этом делал много тактических ходов, терпеливо выжидал подходящий момент и меня уговаривал набраться терпения. Подождите, подождите, подождите, говорил он, и я ждал. С «Хочу быть честным» и «Расстоянием в полкилометра» ждал целый год. Иногда рассказы ставили в план, но присылал рукопись кто-то из «классиков» (Эренбург — мемуары, Панова — пьесу), и меня опять выкидывали из очереди. А я нервничал. Меня уже убедили, что «Хочу быть честным» — вещь слабая, но я хотел выйти к читателю с «Расстоянием в полкилометра». То время было временем Солженицына, куда ни придешь — только и разговоров было, что о нем, очень многие утверждали, что с его появлением все в литературе меняется и уже никто не сможет писать так, как раньше. Именно поэтому я опасался, что мой рассказ воспримут как написанный после и, может быть, даже под влиянием Солженицына и никто не поверит, что во время написания рассказа я этого имени и слыхом еще не слыхал.

В августе 1962-го произошло знаменательное событие: космонавты Николаев и Попович во время полета на своих кораблях «Восток-3» и «Восток-4» дуэтом спели «14 минут до старта». Хрущев, встречая их на Красной площади, процитировал припев этой же песни. Что тут началось! Издательства, журналы и газеты наперебой предлагали мне издать сборник, подборку или отдельные стихотворения. Меня стали безудержно хвалить в печати за мою прозу. Петрусь Бровка, белорусский го-

сударственный поэт, напечатал в «Литературке» большой панегирик о повести «Мы здесь живем». Меня хвалили критики из «правого» (то есть, по нашим тогдашним понятиям, плохого) лагеря (Евгения Книпович), очевидно, решив, что их полку прибыло. Мария Прилежаева, приближенная к начальству сочинительница рассказов для детей о Ленине, долго меня вызванивала, потом уговорила посетить ее и возмущалась, что я до сих пор еще не член Союза писателей. Меня тут же стали продвигать неведомые мне силы, и в сентябре я получил уже заветную книжечку члена Союза писателей за подписью Константина Федина. А Твардовского песня моя просто потрясла. «Как? Это правда ваша песня?» Известно, что он к песенному жанру был равнодушен. Любил Исаковского, сам мечтал написать песню, такую, чтоб запел народ, но у него, народного поэта, ничего не получалось. А у меня... «Как вы ее написали?» Я отмахивался, стесняясь текста, стесняясь вообще того, что я писал песни. Я говорил, что писал их просто так, по служебной необходимости. Твардовский сердился, возмущаясь моим несерьезным отношением к серьезному делу. Он был уверен, что сам ничего «просто так» не писал. Он сердился на меня, но сам же и предложил напечатать в ближайшем номере подборку моих стихов. Я отказался. Он спросил: почему? Я вам однажды давал свои стихи. Вы мне? ...А, это вы были. Да, помню. Ну что ж, с тех пор прошло время. Может быть, вы выросли. А может быть, я ошибся. Вы знаете, — он наклонился к моему уху, — ведь я в стихах ни... не понимаю. (Его все время ругали за то, что печатает плохие стихи.) Ну, так что? Дадите стихи? Нет? Но почему? Потому что вы напечатаете стихи и будете считать, что свой долг передо мной выполнили. А я хочу, чтобы читатели знали мою прозу. Не помню, что он мне ответил, но два рассказа пролежали в редакции и увидели свет в февральском номере журнала 1963 года, вышедшем в марте. Как раз подоспели к идеологической разносной кампании.

Меня так затравили в «Новом мире», что я и сам уверовал, что «Хочу быть честным» рассказ плохой. Огор-

чался, что он поставлен первым номером. Читатели, думал я, увидят, что чепуха, журнал откинут и не заметят «Расстояния в полкилометра». Мне было так стыдно за плохой рассказ, что я боялся показаться на людях. Но позвонил Светов и похвалил. Еще кто-то одобрительно отозвался. Была не была, я решил выбраться в ЦДЛ. Первым человеком, кого встретил по дороге в ресторан, был Борис Абрамович Слуцкий. «Только что прочел ваши рассказы. Первый очень хороший. Правдивый, умный, добрый, с юмором. И второй рассказ... — он подумал... — второй тоже хороший». «Хочу быть честным» имел серьезный и однозначный успех. Меня хвалили при встречах, по телефону и в письмах. Со мной хотели знакомиться Гроссман, Эренбург, Симонов, Маршак, Каверин, Ромм, Райзман и многие другие. Большинство из этих людей говорили о «Хочу быть честным», и только некоторые упоминали при этом «Расстояние в полкилометра». «Наверху» рассказ тоже заметили. На одном из идеологических сборищ Леонид Ильичев, главный хрущевский идеолог, сказал, что рассказ вредный, безыдейный, утверждает, будто у нас в Советском Союзе трудно быть честным. После этого была естественная реакция газет: три из них — «Известия», «Труд» и «Строительная газета» — разразились разносными статьями, подписанными «передовиками производства» (глас народа считался более весомым, чем профессиональная критика). Статьи назывались «Точка и кочка зрения», «Это фальшь», «Литератор с квачом» (квач, как мне объяснили, кисть для обмазывания чего-нибудь дегтем). Статьи эти были прочтены и обсуждены на кухне моими соседями по коммуналке. Бывшая трамвайная вагоновожатая Полина Степановна, ревниво относившаяся к моей карьере, оптимистически предрекала ее скорый конец: «Вот погонит его теперь Хрущев из писателей». Из писателей меня не погнали, но все-таки я впервые подвергся опале, правда, пока еще сравнительно мягкой (подумаешь, книгу выкинули из плана, закрыли сценарий, запретили пьесу). По существу, эта опала носила предупредительный характер и давала возможность «исправиться». Но не того от меня ждали читатели. Чем

острее была официальная критика, тем единодушной было мнение читающей публики. Из десятков полученных тогда мною писем все до единого были хвалебные.

В начале лета моя жена уехала в деревню, я жил один и порядка в комнате, конечно, не поддерживал. Деньги были, ходил в ЦДЛ, пьянствовал, возвращался домой далеко за полночь. Однажды пришел, смотрю: комната чисто убрана, на столе две бутылки пива и записка от Твардовского. Будучи еще сильно пьян, я осознал эту ситуацию так: приходил Твардовский с пивом, не дождавшись, убрал в комнате, оставил записку. Проснувшись, вспомнил вчерашнее и подумал: допился. Открыл глаза и теперь уже по-настоящему удивился. В комнате было чисто, пиво стояло на столе, и записка лежала там же. Чудо объяснилось просто: ко мне приходила моя сестра, купила пиво, убрала в комнате и — не удержалась — распечатала пришедшее по почте письмо. Я в ответ написал Твардовскому что-то восторженное и самоуничижительное: вот, мол, получил, не мог поверить своим глазам, и что-то еще в этом духе. Письмо мое его, видимо, покорило, и при первой встрече он поинтересовался, а в чем дело, почему письмо старшего литератора младшему кажется мне чем-то особенным. Я был смущен: и в самом деле мог бы быть сдержанней. Письмо то я, как и многое другое, потерял, но мой ответ у жены А.Т. не затерялся. Марье Илларионовне мое письмо понравилось, о чем говорит ее письмо ко мне, которое я теперь тоже найти не могу. Она писала, что прочла мое письмо, тронута моей преданностью Александру Трифоновичу, и предлагала написать о нем воспоминания. Для воспоминаний я еще не созрел, а степень моей преданности она преувеличила. Я к тому времени уже дошел до мысли, что писатель, который серьезно относится к себе и своему делу, не может и не должен быть предан другому. По молодости он может сбегать за бутылкой водки, но служить должен только себе и своему делу.

Побуждая меня к написанию воспоминаний, Марья Илларионовна, наверное, предполагала, что образ Твардовского получится у меня однозначно положительным,

но в моей памяти он был не совсем таким. Безусловно, со знаком плюс. Крупный поэт, очень незаурядная личность, удачливая и трагическая, истинный книголюб, с хорошим музыкальным слухом, с замечательно образным языком (не только в стихах, а просто в жизни), очаровательный собеседник, но все-таки ко времени получения этого письма к Твардовскому было совсем не то, что раньше. Восторг молодости прошел, а трезвый взгляд многого не принимал. Я не понимал отношения Твардовского к литературной работе как к государственному служению, уважения к знакам внимания к литературе и литераторам высшей власти и собственного уважения к чинам, орденам, правительственным почестям и привилегиям. Я ко всему этому относился с равнодушием, даже с презрением, и не мог понять, как его это все может занимать. Личные обиды тоже играли свою роль, хотя они были не совсем личными.

«Чонкина» я задумал в 58-м году, а начал писать в 63-м. Очень скоро понял, что этот замысел заведет меня далеко. В надежде легализовать роман, уже на начальной стадии заключил с «Новым миром» договор. В заявке немного схитрил, сообщив, что собираюсь написать роман о простом солдате, герое войны, прошедшем всю войну и дошедшем до Берлина. Впрочем, хитрил, но не врал. Сюжет именно таким был задуман, а что образ солдата получится у меня не вполне совпадающим с хрестоматийно-советским, это я никому не обязан был сообщать. Если бы я с самого начала сказал, что это будет нелепый, маленький, кривоногий и лопухий солдат, не видать бы мне этого договора, но он был со мной заключен, и я получил аванс, весьма, впрочем, скромный. Но в глазах некоторых членов редколлегии «Нового мира» он скромным не выглядел. Тут как раз к месту рассказать комическую историю, случившуюся как раз в то самое время. К весне 63-го года мое финансовое положение было сравнительно неплохим. Я получил окончательный расчет за «Хочу быть честным», аванс за «Чонкина», но главное денежное поступление было от «Мосфильма», где у меня был куплен сценарий по «Хочу быть честным». Там я получил денег примерно в де-

сять раз больше, чем в «Новом мире», после чего купил себе за 2000 рублей подержанный «Запорожец», тот первый, горбатый, с мотором в 23 лошадиных силы. На этой консервной банке (так «Запорожец» называли в народе) я подъехал к «Новому миру» и показал машину Асе, кому-то еще и Алексею Кондратовичу. Тот мне в глаза ничего не сказал, но после моего отъезда ходил по редакции и говорил осуждающе:

— Мы Войновичу помогаем, мы ему заплатили за «Хочу быть честным», мы заключили с ним договор, а он покупает... автомобили (множественное число. — В.В.).

Признаюсь, я был сильно обескуражен. Во-первых, я думал, что они мне не помогают, а платят заслуженный мною гонорар. Во-вторых, я купил всего-навсего «Запорожец» (не новый и в единственном числе), в-третьих, машину эту я купил не на их деньги, а если бы даже и на их, то какое их дело. Я порывался вернуть им договор вместе с авансом, но Ася меня отговорила.

Между тем Кондратович продолжал меня осуждать, и его дурацкая точка зрения была разделена другими членами редколлегии, включая Твардовского, который, кстати сказать, ездил на «Волге» со сменными шоферами, но, как он полагал, было ему по чину.

Как-то уезжая на юг, я оставил свой «Запорожец» в Красной Пахре, на даче у Владимира Тендрякова, с которым дружил. Однажды Твардовский, живший по соседству, зашел к Володе опохмелиться «после вчерашнего», и когда во время разговора зашла речь обо мне, стал меня ругать, повторяя обвинения Кондратовича, что вот, мол, они мне помогают, а я покупаю автомобили. Через некоторое время провожаемый хозяином А.Т. заметил в углу Володиного участка транспортное средство, которого он, кажется, до того еще близко не видывал. «Что это?» — спросил он. «Машина Войновича», — сказал Тендряков. Твардовский приблизился к машине, обошел ее, заглянул внутрь, засмеялся радостно, пнул колесо ногой и сказал: «А мне сказали — автомобиль».

На этот раз он меня простил, но его отношение ко мне исправилось ненадолго.

В 67-м году, закончив первую часть (половину пер-

вой книги) «Чонкина», я дал прочесть написанное Асе, а потом Сацу. Игорь Александрович сначала пообещал показать рукопись Твардовскому. Потом забоялся и собрался нести ее Кондратовичу. Я его вовремя остановил, понимая, что худшего адреса просто нет. Решился отнести сам.

Хотя я уже не был человеком с улицы, но просто так прийти к Твардовскому я не мог, надо было через Софью Ханановну просить о приеме. Твардовский встретил меня хмуро, но просьбе не удивился. Я не хочу давать рукопись членам редколлегии? Хорошо, он прочтет сам. Через несколько дней Софья Ханановна позвонила и сказала, что Твардовский готов меня принять. В «Новый мир» меня провожал Виктор Некрасов. Он уже выпил, был возбужден и, как мне показалось, в самом деле за меня волновался.

— Володька, не бойся, — говорил по дороге, — все будет хорошо. Конечно, твой Чонкин Тёркину не родня, и, может быть, он даже анти-Тёркин, поэтому у Трифоныча может возникнуть ревнивое чувство, но он все-таки одаренный человек и мозги еще не пропил. Он же художник, он широкий, ему «Чонкин» понравится.

— Мой юный друх... — не глядя мне в глаза, начал Твардовский и дальше мог бы не продолжать. Вот когда я пожалел, что разрешил не называть себя по имени-отчеству. Просто по имени он так ни разу меня, кажется, и не назвал (вообще никак не называл), а тут насмешливое саркастическое «мой юный друх».

Он стоял, опершись на крышку стола, глаза отводил, но говорил раздельно и жестко:

— Я прочел ваше это... то, что вы мне дали. Ну что можно сказать? Это написано плохо, неумно и не остроумно...

И дальше пошел крошить. Ну что за жизнь изображена в рукописи? Все дураки. Солдат не умен, баба у него глупая, председатель идиот и...

— Кроме того, что это за фамилия Чонкин? Тоже не оригинально. Сколько уже было таких фамилий в литературе? Бровкин, Травкин... — он улыбнулся... — Тёркин. Нет, мы это печатать не будем.

Я уже не робел перед ним и возразил. Вы это печатать не будете, но в вашей оценке вы ошибаетесь. Он засомневался. Ну не знаю. Может быть. А вот давайте пойдём к Александру Григорьевичу. Он мужик башковитый, пусть он нас рассудит.

Вместе вошли (без стука) к Дементьеву. Тот с кем-то говорил по телефону. Твардовский стал напротив и время от времени нетерпеливо стучал по спинке стула. Дементьеву явно неудобно было немедленно прерывать разговор. Он ерзал на стуле, потом встал, говорил в трубку и вертелся, всем своим видом показывая, что вот сейчас, сейчас... Наконец окончил разговор.

— Вот что, Григорьич, — сказал Твардовский, — у нас с автором несогласие. И ты нас рассудишь. Почитай и скажи, что ты об этом думаешь...

На улице меня ждал Некрасов.

— Ну что, что он сказал?

Я молча махнул рукой.

— Не принял? Ах, сука! Негодяй! Гад! Импотент проклятый! У самого давно не стоит, так он завидует всем, кто талантливей и моложе. Пойдем выпьем.

Несмотря на обиду, я все-таки не мог себе представить, что Твардовский отверг рукопись по каким-то нечестным соображениям, и не считал, что написанное мной должно всем обязательно нравиться. А насчет фамилий... Мне уже говорили и, может быть, даже не раз, что Чонкин идет от Тёркина, хотя это было не так. Если бы кто-то взялся честно исследовать мою прозу, он бы заметил, что Чонкин — это развитие образа, появлявшегося в моих предыдущих вещах. Тюлькин в «Мы здесь живем» и Очкин в «Расстоянии в полкилометра» были предтечами Чонкина, не имея ни малейшего сходства с Тёркиным.

После разговора с Твардовским я попытался заменить фамилию своего героя. Очень долго думал, подбирая. Пробовал даже назвать его Алтынником (герой «Путем взаимной переписки»). Но нет, не подходила Чонкину эта фамилия, и не подходила никакая другая. Живого человека легче переименовать, чем героя. В конце концов Чонкин остался Чонкиным, и по прошествии вре-

мени мало кому приходит в голову сравнить его с Тёркиным.

Дементьев был щедрее Твардовского.

— Я прочел вашу рукопись внимательно. Я вижу, что вы затеяли что-то очень значительное. Но мое прошлое не позволяет мне принять это. Наверное, я из другого времени. Вы знаете, у меня был такой случай. Однажды в двадцатых годах, будучи еще совсем молодым человеком, я плыл на пароходе по Волге с делегацией чешских учителей. Узнав, что я литератор, они спросили, знаю ли я чешскую литературу. Я сказал, что, конечно, знаю, и стал называть разные имена. А кто ваш любимый чешский писатель? Я сказал: Гашек. И на этом наша дружба кончилась. Гашек! — закричали они в один голос. Как может нравиться Гашек? Он очень плохой писатель, он оклеветал чешский народ. Вот, — заключил грустно Дементьев, — я сам себе кажусь сейчас тем чешским учителем. Понимаю, что вы взялись за что-то значительное, но не могу этого принять.

В 1968 году, незадолго до вторжения советских войск в Чехословакию, был пленум ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Обсуждались, как говорилось в официальном коммюнике, «произведения литературы и искусства и другие произведения». Пленум был секретный, что в точности там обсуждалось — до сих пор не знаю (да и знать не очень хочу), но результатом его были наказания подписантов, среди которых оказался и я. Меня наказали пуще многих других. На бумаге это был выговор с предупреждением. В реальности дело было не в выговоре, а в том, что я попал в черный список, согласно которому мои прежние вещи не печатались, сценарии были отвергнуты, пьесы сняты с постановки, а редакциям было дано указание не давать мне никакой работы, включая такую скромную, как внутреннее рецензирование «самотека», чем я в черные дни подрабатывал. И вот в это самое время я предложил «Новому миру» «Путем взаимной переписки». Эту повесть я писал летом 1968 года и закончил 20 августа, как раз накануне нападения на Чехословакию. Первыми повесть прочли, конечно, Ася, Сац и, наверное, Женя Гераси-

мов. Кто еще — не помню, но повесть одобрили и послали в набор. В это время «Новый мир» подвергался усиливавшемуся давлению, а сам Твардовский сломал ногу (или руку) и лежал в больнице. В это время и была ему доставлена верстка моей повести. Привез ее Кондратович, и, вероятно, со своими комментариями. Несмотря на все, что происходило в стране раньше и в последнее время, Твардовский еще не полностью отказался от своего убеждения, что талантливая рукопись не может быть «непроходимой». И когда не мог что-нибудь напечатать, злился на автора и придирался к написанному. Но и придираться можно по-разному. А тут прочел и написал на полях рукописи: «Удивлен неразборчивостью редколлегии, пропустившей в печать эту несусветную халтуру» (цитирую по дневникам Кондратовича, который со злорадным удовольствием эти слова воспроизвел). Прочтя это, я потерял интерес к каким бы то ни было суждениям Твардовского обо мне. Его мнение о моей повести было больше чем несправедливым, оно было нечестным. Повесть была одной из лучших моих вещей, лучше всего моего, что было напечатано в том же «Новом мире» прежде, лучше того, что Твардовский когда-то энергично хвалил, и выдержала бы конкуренцию с любым текстом, в то время печатавшимся в журнале. Суждение Твардовского было нечестным еще и потому, что я в то время был гонимым, полностью запрещенным писателем, вот где крылась главная, невысказанная причина отказа. Я всегда был скромным, не очень уверенным в себе человеком, я готов был понять Твардовского, которому самому в те дни было трудно. «Новый мир» подвергался все большим и большим нападкам.

Потом был разгон «Нового мира». Несмотря на то что «Новый мир» был уже журналом, так же недоступным мне, как любое другое печатное издание, я ходил туда, как на работу, вместе со всеми другими «новомирцами» — Некрасовым, Тендряковым, Трифоновым, Домбровским, Световым, мы там фактически дежурили и ловили новости.

Во всякой драме бывает место смешному. Однажды Твардовский написал письмо Брежневу. Через некото-

рое время Брежнев ему позвонил, говорил очень ласково, вспоминал «Тёркина», коего он, конечно же, был поклонником, обещал через короткое время пригласить Твардовского к себе — обсудить сложившуюся ситуацию. Твардовский срочно вышел из запоя и сидел в редакции с утра до вечера в темном костюме с галстуком, готовый немедленно явиться в Кремль. Это были дни непрерывного и напряженного ожидания. Как-то пьяный Некрасов поднялся на второй этаж, прошел мимо Софьи Ханановны, говорившей с кем-то по телефону, открыл дверь в кабинет Твардовского, крикнул: «Брежнев звонит!» Твардовский выскочил в приемную, выхватил трубку из рук Софьи Ханановны. Некрасов захохотал. Твардовский покрыл его матом.

Одно время поступило сообщение, что у Жоры Владимова через сохранившиеся у его жены Наташи цирковые связи, через любовника дочери Брежнева Цыгана (кончил свои дни в тюрьме) есть возможность передать необходимое обращение «самому» от какого-нибудь солидного лица в случае, если такое обращение будет написано. Солидное лицо нашлось — Константин Симонов. Он написал письмо Брежневу. Осталось только передать по назначению. Наталья Бианки позвонила Владимову и предложила приехать за письмом. Это не нужно, ответил Владимов, теперь пусть он отнесет и сдаст в окошко в шестом подъезде, в отдел писем. То есть предложил самый обычный путь, доступный всем и никак не гарантировавший доставку письма адресату.

Через некоторое время Твардовского сняли. Бывшие «новомирские» авторы написали письмо не помню кому с обещанием бойкотировать новую редакцию. Письмо приносили и мне. Я отказался его подписать — мне бойкотировать было нечего. Я и в том «Новом мире» был уже автором нежелательным. И при новом составе редакции мне в журнале печататься не грозило, даже если бы я захотел быть штрейкбрехером. (Так с тех пор я и остался в «Новом мире» персоной нон грата вплоть до нынешних дней в 2000 году, когда пишу эти записки.)

Вскоре подошло шестидесятилетие Твардовского. Опала его выразилась в том, что вместо «Гертруды» (зва-

ния Героя Социалистического Труда) ему дали всего лишь орден Ленина. Хотя у начальства колебания еще были. Был слух, что тогдашний начальник советских писателей Константин Воронков (сколько уже забытых, а в свое время облеченных властью ничтожеств руководили советской литературой!) сказал Твардовскому, что, если бы тот вел себя осмотрительней, ему бы дали «Героя». На что Твардовский с дозволенной ему по чину дерзостью будто бы ответил: «Никогда не знал, что Героя дают за трусость». На самом деле он это знал. Орденами «за труд» всегда вознаграждалась близость к начальству.

Свой юбилей Твардовский отмечал на даче в кругу коллег по «Новому миру». Я послал ему телеграмму. Помню, мучился, ее сочиняя, ничего не придумал, кроме пожеланий здоровья и творческих успехов. Подписался «бывший автор бывшего «Нового мира». Мне рассказывали, что телеграмма была зачитана вслух с полным уважением к автору.

Некоторое время спустя, заехав к Тендрякову, я застал у него А.Т. Он выглядел нездоровым и, насколько мне помнится, хромал и ходил с палкой. Ко мне отнесся с уже неожиданной для меня теплотой. Я спросил, как его дела. Он мне ответил: а что мои дела? Я пенсионер. Но при том все-таки государственный поэт, мне лично никто ничего плохого не сделает. А вот вас ждут серьезные испытания. Настают времена, когда надо уметь прогибаться. А вы этого, кажется, не умеете. Тут же стал довольно зло ругать Солженицына за то, что действует, считаясь только со своими собственными интересами, и за то, что отрастил бороду. Рассказывал, что недавно его «вызвал» к себе работник ЦК Павленок (еще одно забытое ничтожество, которое не ехало само, не приглашало, а вызывало к себе), спрашивал, как здоровье и настроение. Твардовский ответил, что здоровье по возрасту, а настроение... «Вы, кажется, белорус? — спросил он Павленка. — Так вот, как говорят в Белоруссии, «пережили лето гарчее, переживем и говно собачее».

Но говна собачьего пережить ему не пришлось. Вскоре у него был обнаружен рак (кажется, легкого), на фоне

рака случился инсульт, его тяжело лечили, но он был уже безнадежен. Как-то мы с Виктором Некрасовым приехали к Тендрякову и от него пошли втроем к А.Т. Нас встретила Мария Илларионовна, которая просила ни о чем серьезном не говорить и долго не задерживаться. Твардовский так похудел, что узнать его было почти невозможно. О своем диагнозе он, кажется, не знал. У нас тогда раковым больным всегда врал до конца, что они больны чем-то другим, излечимым. И странно (загадка человеческой психики), что больные охотно принимали эту ложь. Мы трое о чем-то говорили бодрыми голосами, он слушал, загадочно улыбался, но я не знаю, понимал ли он при этом что-нибудь. Только под конец в ответ на что-то, а может быть, даже и невпопад сказал почему-то раздраженно и по слогам: не и-ме-ю по-ня-ти-я. Все время курил свои «Ароматные», кашлял и сплевывал мокроту в баночку из-под майонеза. На его похоронах я почему-то не был.

| У ВЫМЕНИ МЕРТВОЙ КОРОВЫ

Под недавно опубликованным манифестом о создании независимого Союза писателей стоит и моя подпись. Я подписал этот документ потому, что считаю своевременным создание Союза писателей, который не зависит от властей, партий и всяких прочих указующих и карающих инстанций. Мне необходимо знать и то, что поскольку это не независимый союз, а союз независимых, то каждый вошедший имеет право быть независимым и от самого этого Союза.

Хорошо, что писатели из разных республик войдут в новый Союз не как представители каких-то сил, а как личности. Я надеюсь, что присутствие этих личностей в Союзе будет способствовать сохранению контактов между литературами разных народов распадающегося нашего Союза ССР. Я надеюсь на взаимовлияния этих личностей и литератур, на то, что это взаимовлияние будет способствовать атмосфере взаимной приязни между народами и личностями, как бы они ни отличались

друг от друга образом жизни, религией, языком, цветом глаз или волос. И что мы будем встречаться друг с другом как друзья и коллеги, а не как каждый для каждого чужаки.

С большой надеждой ожидаю я, что новый Союз в самом деле станет прибежищем новых дарований. Есть очень много молодых людей, талантливых и неприкаянных, которым надо помочь стать на ноги, но дальше не вести их за ручку, а — пусть идут сами.

Прочтя манифест, я обратил внимание на пункты, которыми я, скажем прямо, не дорожу. Но понимая, что большинство подписавших хочет видеть манифест именно таким, каким он получился, я решил, что потом выскажу свое независимое мнение по частностям. Именно мнение, а не призыв.

Мое мнение такое. Союз писателей СССР умирает. Его отход похож на агонию крестного отца мафии. Вокруг постели папаши столпились члены клана, из которых одни ожидают того мига, когда можно будет вступить в поножовщину за наследство, а другие уже вступили.

Впрочем, такому многоголовому чудовищу, каким является умирающий Союз, может быть, больше подходит сравнение не с крестным отцом, а с самой мафией. Он и был (и еще есть) мафия. То есть организация, которую можно назвать преступной. Разумеется, не все члены Союза были преступниками, но преступные элементы создавали и направляли организацию, и в конце концов вся организация достигала преступных целей преступными средствами. В манифесте об этом кое-что сказано, но там же есть и попытка установить некий баланс с помощью слов «...несправедливо огульно отрицать все, что сделано...».

Может, и несправедливо, но добрые дела Союза писателей не стоит преувеличивать. Силами некоторых активистов при молчании подавляющего большинства и от имени всех поголовно писателей преступления против литературы и ее создателей (чаще всего самых лучших) совершались на протяжении всей доперестроечной истории этого Союза: и в ужасные сталинские

времена, и в либеральные хрущевские, и в застойные брежневские. Союзом писателей столько погублено душ и книг, что на фоне этих злодеяний все добрые дела данного заведения стоят не больше, чем пятикопеечная свечка, поставленная убийцей за упокой души убиенного. Даже и того меньше, потому что свечка — это признак раскаяния, а в деятельности СП, его лидеров и участников расправ над писателями, за редчайшими исключениями, никаких признаков раскаяния не заметно.

В манифесте есть пункт, что писатель, входя в новый Союз, может не выходить из старого. Боязнь покинуть Союз писателей СССР напоминает мне картину из военного детства: теленок сосет убитую корову.

Я понимаю писателей, которые не хотят выходить из старого Союза, разделяю все их опасения и никого не осуждаю, но не надо выдавать стремление сохранить оба членства за следование каким-то принципам. Это что-то другое. Это все-таки вид конформизма. Притом конформизма, по-моему, бесполезного. Это как бы попытка стоять одной ногой в спасательной шлюпке, оставляя другую на тонущем корабле в безумной надежде (или в страхе), что вдруг он совсем не утонет.

Не знаю, согласится ли кто с этими моими соображениями или нет, но вот по следующему пункту, насчет Литфонда, я, наверное, и вовсе не найду единомышленников.

Дело в том, что я вообще против Литфонда как такового. Потому что наличие его создает в литературной жизни атмосферу богадельни. Писатель стремится достичь материального благополучия не своим трудом, а попрошайничеством: стоит с протянутой рукой и ждет, что в нее кто-то что-то положит. А когда одному кладут больше, другому меньше, это вызывает недовольство тех, кому положили меньше, и недостаточное довольство тех, кому досталось больше, потому что им и этого мало. Разумеется, допущенные к кассе (или дорвавшиеся до нее) кладут прежде всего и больше всего себе самим. Само по себе наличие общей кассы создает, я разрешу себе так выразиться, коррупциогенную обстановку.

Защитники Литфонда вспоминают, кто его создавал

и для чего. Поминают все имена Тургенева и Толстого. И напрасно. Советский Литературный фонд, рожденный в 1934 году, не имеет ничего общего с «Обществом для пособия нуждающимся литераторам», основанным в 1859 году. И сравнивать нечего.

Советский Литфонд, как остроумные люди заметили, это благотворительная организация, которая помогает не бедным, а богатым. А для небогатых это просто приманка, и чаще всего пустая.

Помню, когда в 1974 году я собирался прощаться с Союзом писателей, многие люди пугали меня не столько нечленством в СП, сколько тем, что я перестану быть членом Литфонда (мне и другим исключенным в застойные времена пастернаковской привилегии оставаться членами Литфонда не предоставили). Снявши голову, я по волосам плакать не собирался, но любопытства ради прикинул, что мне было дано за двенадцать лет моего пребывания в Союзе писателей и Литфонде и что отнято, кроме справки о роде занятий.

За эти годы я неоднократно наказывался всячески, в том числе материально: набор моих книг рассыпался, пьесы снимались с постановки, киносценарии клались на полку, и песни исполнялись без слов. Мои общие убытки в результате всех этих акций исчислялись по крайней мере десятками тысяч рублей. А как мне помогал в это время Литфонд? Когда я болел, мне платили больничные. Но каждому работающему человеку с достаточным производственным стажем больничные полагаются без всякого Литфонда. Еще что? Путевки в Дом творчества? Один раз, кажется, я получил бесплатную путевку, а остальные разы за свои денежки, и не такие уж маленькие. За такие же деньги я снимал где-нибудь дачу и чувствовал себя там не хуже, чем в Доме творчества. Ну еще ссуду дважды, может быть, я получил безвозвратную, рублей по двести. Так что за двенадцать лет всех литфондовских благодеяний, вместе взятых, было мне оказано рублей на шестьсот. Но если правда, что из каждого авторского гонорара государство вычитает 15% в пользу Литфонда, то это значит, что Литфонд отшипнул мне кроху от куска, у меня же отнятого. Ну а что ка-

сается пошива в этом заведении разных кожаных и трикотажных изделий, то к этому я выразил свое отношение в повести «Шапка» и повторяться не буду.

В том-то и дело, что Литфонд бедным писателям помогал очень редко, неохотно и нещедро, всегда сопровождая подачи свои разными унижительными условиями. А вот богатые получали практически бесплатно дорогие дачи, им давались и списывались многозначные суммы, постоянными должниками Литфонда были и Шолохов, и Фадеев, и Федин и прочие, прочие, прочие, вплоть и до наших нынешних отцов-основателей независимого Союза, которые тоже люди небедные. Согласны ли они изменить ситуацию, чтобы Литфонд помогал не им, а кому-то другому?

Вообще-то (это мое убеждение), писатель, как всякий работающий человек, должен жить самостоятельно и питаться плодами своего труда. В начале пути, или во время болезни, или в какие-то особо трудные минуты ему можно помочь. Но, как правило, деньги на жизнь писатель должен не получать, а зарабатывать. Это, может быть, не всегда под силу поэту или критику, но для прозаика или драматурга в такой огромной стране, как Россия, с многомиллионным читателем, все еще тратящим деньги на книжки, существование на литературные гонорары должно быть естественным. (В маленькой стране — другое дело. Там мало народа, мало читателей, мало покупателей.) Да, конечно, в условиях рынка на первое место по тиражам выйдут сочинители детективов или секс-романов, но и серьезный писатель на этом рынке найдет себе достаточно покупателей.

Мы знаем много примеров, когда очень хороший писатель нуждался в помощи, но его к этой нужде приводили насильно. Допустим, Булгаков, Платонов, Зощенко много бедствовали (а Литфонд безмолвствовал), но только потому, что их в эти бедствия ввергали. Если бы их книги не запрещались, они никогда не нуждались бы ни в чьей помощи и очень хорошо обходились бы без Литфонда.

Всегда могут найтись единицы (но не тысячи), которым на каком-то этапе стоит помочь, но для этого на За-

паде, например, существуют не один, а разные фонды. Разные и — что важно — не зависимые от тех, кому они чего-то дают. А кроме того, есть газеты и журналы, с которыми писатель может сотрудничать, есть университеты, где он может что-нибудь преподавать или получить место *writer in residence* (не знаю, как перевести на русский — писатель на жительство, что ли). Занимая такое место, писатель ведет семинары (примерно как в Литинституте) и за эту непыльную, но полезную работу получает очень недурную зарплату. И это нормально. Из 10 000 членов СП есть тысяч девять с половиной, которым вовсе не обязательно быть свободными художниками, они ничем такой привилегии не заслужили.

Есть и еще одно соображение. Конечно, Литфонд за время своего существования накопил большие богатства, и неплохо бы ими как-нибудь по совести распорядиться (лучше всего напасть на него ночью в масках, все захватить и поделить поровну). Но сейчас, в период развала всех структур, естественно желание стоящих поближе к кормушке урвать от нее как можно больше и убежать.

Я думаю, что в процессе борьбы за Литфонд разные силы раздерут его на части и от него ничего не останется. И чтобы ему оставаться богатым, нужны новые поступления. А откуда они возьмутся? Раньше государство сколько хотело, столько из нашего кармана вынимало, нас о том не спрашивая. А теперь если будет рыночная экономика, то мы, наверное, сами начнем решать, куда деньги вкладывать, куда нет. А с нас отовсюду будут тянуть. Члену Союза писателей надо заплатить взносы. Если он в двух союзах, то двойные. Если он еще член Пенклуба, то и туда. А в Литфонд?

Если эта организация существует в самом деле для помощи неимущим, то должно быть так. Богатые люди туда платят много, но оттуда не берут ничего. А бедные ничего не платят, но кое-что берут. Так вот я спрашиваю богатых: вы согласны платить и не брать?

Теперь перехожу к сути моего предложения, которое никем принято, конечно, не будет.

Рынок, как известно, наступает. Хорошо это или

плохо, но его уже никто не удержит. Он создает новую систему ценностей и общественных отношений. Кто был никем, может быть, и не станет всем, но кто был всем, вполне рискует стать никем. Это касается в первую очередь партийных боссов, преподавателей марксизма-ленинизма, секретарей Союза писателей СССР и, увы, большинства рядовых писателей тоже.

Рынок — дело жестокое. Правда, не такое все же жестокое, как социалистический образ жизни. На рынке писателя не убивают, не сажают, не ссылают, не выгоняют за границу и не заставляют придерживаться единственно правильного художественного метода, благодаря при этом партию, которая его этим методом вооружила. На рынке закон простой: пиши, что хочешь, хоть про секретарей обкомов, хоть про коров. А дальше — найдешь покупателей, будешь сыт, не найдешь, останешься голодный. И даже если партия и правительство тебя провозгласят величайшим и навешают на тебя всяких золотых знаков отличия, то и это потенциального покупателя твоей книги не соблазнит.

Как мы привыкли жить? Каждый писатель (не секретарь и не член парткома, а рядовой), если он никого не трогает и никому не мешает, время от времени должен издавать свои книги. Не потому, что они кому-то в самом деле нужны, а потому, что он член Союза писателей, ему скоро исполнится пятьдесят лет, у него больна жена, его два года не издавали и вообще товарищу надо помочь. Помочь — это значит много тысяч рублей потратить на издание его книги и, ничего за них не выручив, несколько тысяч заплатить автору. А саму книгу поддержать на каких-то полках, а потом сдать в макулатуру. На рынке, который живет по законам здравого смысла, такой номер не проходит. На рынке если уж какие-то благодетели пожелают помочь человеку, то они ему лучше заплатят в два раза больше, ничего не издавая. И это правильно. Издавать книгу, которая никому не нужна, не только коммерчески глупо, но и безнравственно.

Короче говоря, неизбежное наступление рынка — это для большинства членов Союза советских писателей

полная и неожиданная катастрофа. Моральная и материальная. Их писания коммерческой ценности не представляют, а художественной тем более. И что им теперь делать? Те из них, кто помоложе, возможно, переквалифицируются по примеру Остапа Бендера в управдомы. Но есть такие, кто до пенсии пока не дожил, а возраст, в котором еще можно овладеть другой профессией, уже перешли. Допустим, те, кому сейчас лет пятьдесят с лишком. Им без помощи просто не выжить. Но помогать им надо не изданием их не имеющих спроса книг, а просто деньгами. В какой форме, не знаю. Может быть, в виде пенсий: или в связи с потерей кормильца, или как инвалидам идеологической войны. А лучше всего до достижения пенсионного возраста выдавать им обыкновенное и распространенное в странах с рыночной экономикой пособие для неимущих. Конечно, такого пособия не заслужили секретари СП и другие приближенные к литфондовой кассе люди, которые высосали из нее все, что смогли, да и сейчас досасывают остатки, вроде того теленка, что припал к вымени мертвой коровы.

P.S. Кажется, я недооценил наших телят-писателей. Со дня написания этого фельетона прошло 13 лет, а они все еще сосут ту же корову и что-то еще высасывают.

1992

| БЕССОННИЦА

Всегда хотел овладеть методом, который называется поток сознания. Какой замечательный и удобный жанр. Не надо выдумывать никаких сюжетов, не надо заботиться о схождении нитей, об образах. Сидишь, думаешь. Или лучше лежишь, думаешь. Особенно когда лежишь, включив на сон грядущий телевизор, он что-то бубнит, ты о чем-то думаешь, мелькают кадры, глаза слипаются, «поток сознания» струится, захватывая всякий попутный мусор. Мешаются в голове впечатления прошедшего дня, память о чем-то сделанном или упущенном, мысль недодуманную вытесняет еще не созревшая, мелькнула в уме строка, фраза, шутка, надо бы встать, зажечь свет, надеть очки, найти клочок бумаги и карандаш, лень, лад-

но, утром запишу, а к утру уже все выветрилось, испарилось. Думаешь о вечном и текущем, о жизни, о смерти, о капризах моды, погоды и всякой чепухе вроде смены правительства, падения рубля и шатаний доллара, который сейчас наперегонки с рублем мечется вверх, вниз и в сторону, реагируя то на назначение у нас председателя Центробанка, то на показания у них президентской стажерки. Глупейшая история, чисто американское лицемерие. Если б у нас, предположим, президент переспал, ну и что, а если б соврал, то тем более, да он это и делал, и сколько раз, у нас вранье даже и малым грехом не считается.

Последний раз про девальвацию, что не будет, а она... что говорить! Ну, их-то лидер нации, допустим, да, переспал, тоже нехорошо, да ведь он не первый и вряд ли последний, но если уж грех попутал, что же должен сразу всех, жену, дочь, конгресс, большое жюри, весь мир оповестить, не упуская деталей? И все мало. Самое пуританское общество в мире, тривиальную бытовую историю превратили во вселенскую порнографию с вовлечением малолетних потребителей Интернета. Он уже признался, грешен, стыжусь, каюсь, было дело, но они прямо по Галичу, давай подробности, и не уклончиво «было дело», а в точном медицинском определении и когда, каким способом, сколько раз и сколько времени, что же он, к делу с секундомером приступал и в блокнотик записывал?

Охают, ахают, соврал! А что же ему было делать? Что благороднее в данном казусе — сказать правду или соврать? Профессора Пинского лет двадцать тому назад на допросе следователь КГБ, уличая, спросил: «Разве честный человек не должен говорить всегда правду?» — «Не должен, — уверенно ответил Леонид Ефимович. — Один человек, — припомнил он, — однажды сказал правду, и вот уже две тысячи лет его проклиняет все человечество». Сказал правду, получил гонорар. 30 сребреников. Сейчас гонорары возросли — стажерке за книгу предлагают миллионы долларов. С каким успешным писателем можно сравнить? А впрочем, писательство, литература, это что за занятие? Единственное дело, где про-

фессионализм и мастерство ничего не значат. Самые преуспевающие материально писатели — халтурщики со скудным запасом слов, убогими идеями и примитивными сюжетами. На книжном рынке ситуация выглядит так, как если бы бижутерия продавалась наравне с драгоценностями и при одинаковой цене раскупалась охотнее. В любой области смешно, если за дело берется дилетант. Не умея танцевать, не станешь солистом балета, а не имея голоса — оперным певцом. А в литературе не так. Здесь, не умея связать двух слов, можно стать автором книг и зарабатывать на них больше профессионального литератора. Спрос на книгу определяется не занимательностью, не качеством, а черт знает чем и числом неприхотливых читателей. В словарях сказано, что невежда — это необразованный человек. Не точно. Если сапожник не читал Пушкина, но хорошо тачает сапоги, он не невежда. Он становится невеждой, когда судит выше сапога или по принципу: «Я Пастернака не читал, но скажу». На меня еще недавно за «Чонкина» нападали генералы, которые рассуждали о литературе как полнейшие невежды. Из них многие кончили по две академии.

Если бы они не выходили за пределы своих знаний и говорили о том, как командовать полками или дивизиями, я бы их, наверное, невеждами не назвал. А так что ж. Писателей учили все, кому не лень. Генералы, генеральные секретари. В хрущевское время была колхозница, героиня Соцтруда Заглада. Тоже учила. Актер Грибов тогда сказал: у нас все разбираются в искусстве, от Хрущева до Заглады, а огурцы на рынке три рубля килограмм. Кстати, рубль все-таки падает. В другой стране такой обвал привел бы к полному краху, а у нас — я не думаю. Люди привыкли выживать на малом. Картошки на зиму накопили, огурцов насолили, грибов засушили, если и хлеб будет, то чего же еще? Мой отец, будучи крайним аскетом, всегда говорил: «Хлеб да вода — молодецкая еда». Так и жил, как говорил. Не ел мясо, рыбу, молоко, яйца, фрукты, овощи. Меня спрашивают, а что же он ел? Так вот же: хлеб да вода. Ну, иногда позволял себе картошку и кашу. И все. Я не аскет, даже всяких деликатесов множество вкушал, но, пережив в дет-

стве два или, точнее, полтора настоящих голода, всегда помню, что, когда очень есть хочется, самая простая еда вкуснее самой изысканной. Вообще нормально развитому человеку для счастья нужно не очень много. Академик Борис Викторович Раушенбах мне рассказывал, что лучше всего ему работалось в лагере. Он там сидел за немецкое происхождение, но не горевал, а занимался чем-то имеющим отношение к ракетостроению. Не из меркантильных соображений, а потому что был увлечен. Его за это освобождали от физической работы, а гонорар был — лагерная баланда. В другой стране он, имея штат сотрудников и помощников, получал бы большие деньги. Конечно, результат был бы, наверно, иной, но радость от труда вряд ли была бы выше. Я же не за лагерь, не за голод, но благополучное существование лишает человека самых острых ощущений, которые я называю первичными радостями. Первые полтора года армейской службы я провел в Польше. Наша часть была в городке за забором, частично каменным, частично из колючей проволоки. Увольнений нам не давали, и несвобода чувствовалась очень остро. Но, бывало, мы с моим другом Вовкой Грачевым пролезали под проволокой и гуляли на той стороне среди прилегавших к забору кустов. Никогда в жизни я не испытывал такой радости от свободы, как в этих кустах.

В сорок третьем году мне было одиннадцать лет, я жил у тетки в маленьком городке под Самарой. Был дикий голод, люди тощали, пухли и умирали, некоторые даже на улице. Я тоже чуть не умер. Может, и умер бы, но приехал отец. После тяжелого ранения и восьми месяцев госпиталя он с мамой жил в деревне и вот приехал с большим заплечным мешком, «сидором», как называли его в народе. Развязал «сидор» и стал вынимать из него куски вареного сала. Я увидел и чуть не заплакал от огорчения, помнил, что от вареного сала меня всегда воротило. Но все-таки взял кусок, лизнул, осторожно откусил — и... Я ни до того, ни после ничего вкуснее не ел. Разве могут с этим сравниться какие-нибудь артишоки, омары и устрицы? Можно ли сравнить счастье человека, переехавшего из коммуналки в отдельную

квартиру, с удовольствием богача, купившего десятую виллу на Кипре? А чтение! Сейчас купи любую книгу и читай. Но когда и зачем, если есть бизнес, компьютер, Интернет, телевизор и мыльные оперы. Мне было восемь лет, когда я начал читать не детские книжки с картинками, а настоящие, толстые. Это было в Ставрополе на степном хуторе, в хате, до крыши засыпанной снегом. День длинный, делать нечего, пойти некуда. А если б у меня бы телевизор, компьютер и Интернет, стал бы я читать? Ха-ха. Вон по телевизору оптимист объясняет, что теперь дети тоже читают книги, но начинают позже.

Читать книги, как играть на скрипке, надо с самого раннего детства. А они позже начинают и раньше кончают. Нет стимула. Во времена «Самиздата», какая радость была слепую рукопись, добытую на одну ночь, поглощать нетерпеливо с риском больших неприятностей. Говорят, одна бабушка, желая приучить внука к чтению, перепечатала на машинке «Войну и мир» и давала мальчику, как «Самиздат», потому что обыкновенных книжек он уже тогда не читал. Всегда я верил, что ничто не нуждается в свободе больше, чем литература. А оказывается, она в условиях полной свободы чахнет вроде кактус в черноземе. Конечно, свобода — высшее благо, и если она литературе во вред, я все-таки за свободу, но, ничего не скажешь, обидно. Раньше писатель был властителем дум, теперь над думами властвуют телевизионные комментаторы и еще эти... как их... ну, шоумены. Вот, кстати, Елена Ханга. Скажите, как вы относитесь к мастурбации? Девица, целомудренная на вид, отвечает: очень положительно. Ставлю кассету, смотрю порнофильм и... Бывший гэкачепист возмущается: вот видите, до чего дошло. Впрочем, ужас обуял не всех. Один мой знакомый написал в газете, что порнографию вообще-то смотреть вряд ли стоит, но лет до четырнадцати почему бы и нет. Девушка, красивая, хихикая, объясняет с экрана, что мастурбировать лучше всего под душем. Гибкий шланг, тугая струя — и оргазм наступает немедленно. Хорошо, что телевизором управлять можно на расстоянии. Нажал кнопку — тема мастурбации кончилась, и у камина дедушка-драматург жалуется, что они (кто?

американские империалисты?) его растлевают. Если так, то они сами себя давно растлили. А теперь взялись за драматурга. Показывают ему всякую чепуху, он сидит, смотрит, страдает, а раньше-то, раньше как было все хорошо. Читали хорошие книги, смотрели хорошие пьесы и передачи, ходили друг к другу в гости, и все были хорошие и очень добрые. Доброта, вот чего нам не хватает, говорит он довольно злобно. И я невольно вспоминаю, какими добрыми были эти ребята, когда кушали Ахматову, Зошенко, Пастернака, Солженицына, Галича, о себе по скромности умолчу. Эти кабинеты, закрытые заседания, открытые собрания, гневные письма трудящихся с добрейшими предложениями исключить, изгнать, расстрелять как бешеных собак. Нигде, сказал Мандельштам, так высоко не ценят поэзию, как у нас. У нас за нее убивают. А теперь не убивают — и скучно. Недавно мне один социолог сказал, что среди молодежи самой престижной сейчас считается профессия аудитора. Потом идут всякие банкиры, менеджеры, адвокаты, дантисты. Дипломат стоит на двадцать каком-то месте, после модельера, визажиста и повара в хорошем ресторане. Я его спросил: «А писатель на каком?» — он смутился: «До писателя я не дошел...» Говорят, мало у нас талантливых писателей. Потому мало, что писательский дар уникален.

Хороший писатель встречается гораздо реже, чем хороший банкир, или дантист, или даже хирург-кардиолог. Труд писателя один из самых тяжелых. А что хороший писатель чаще всего получает за свой труд? Дело не только в деньгах, а в них, впрочем, тоже. Я сорок лет работаю в литературе. Я этим делом занимался всегда много и добросовестно. Мне повезло быть не обойденным вниманием. Мои книги издавались большими тиражами, иногда я неплохо зарабатывал, но годами совсем ничего. Многим людям нравилось то, что я пишу, они мне об этом писали и говорили, но зато и злобных слов я услышал столько, сколько не доставалось ни одному самому плохому слесарю, плотнику или дворнику. Как меня только не называли: предатель, отщепенец, свинья под дубом, моська и таракан. Спасибо вам, добрые лю-

ди, вы меня не хвалили и правильно делали. Как мне, ссылаясь на какого-то марксистского умника, говорил когда-то секретарь Союза писателей и генерал КГБ Виктор Николаевич Ильин: «Если тебя хвалят враги, значит, ты делаешь что-то не то». Сам Виктор Николаевич был тоже моим врагом. Он меня не хвалил, но иногда, затолкав в угол своего кабинета и оглядываясь на предполагаемые микрофоны, шелотом спрашивал: «Неужели вы в самом деле думаете, что этого вашего «Чонкина» когда-нибудь напечатают?» Я отвечал: «Виктор Николаевич, я не думаю — я точно знаю: «Чонкина» обязательно напечатают!» — «Ну вы и самонадеянны!» — усмехался он. Я возражал: «Да нет, Виктор Николаевич, это не я, а вы самонадеянны. Вы думаете, что заведуете временем. А вы в нем только временно существуете и не можете понять, что все запрещенные книги всех времен и народов всегда и неизбежно переживали своих запретителей». Виктор Николаевич дожил до времени, когда смог убедиться в моей правоте. Говорят, он сидел в журнале «Юность» и, узнав, что со следующего номера здесь будут печатать «Чонкина», долго разводил руками и тряс головой. Бедный, бедный, до чего дожил! Но вскоре, правда, все-таки умер. Погиб под колесами грузовика при загадочных обстоятельствах. Меня спрашивают, что помогало мне пережить то, что я пережил. А вот как раз сознание временности запретов и понимание относительной ценности жизненных благ, которых можно было достигнуть отказом от того, что казалось мне ценным не относительно. Я раньше о себе всегда высказывался скромно, а всякую клевету, что смеюсь над страданиями народа и считаю всех дураками, игнорировал, считая дураками тех, кто так говорит, и над ними в самом деле смеялся. А сейчас порой злюсь и хочу сказать, нет, господа хорошие, какой бы я ни был, но в отличие от вас, добрых людей, не лгал, не воровал, не наушничал, не пресмыкался перед начальством, не делал карьеру на несчастье других, и в трудные времена, в те самые, когда очень добрые заседали в секретариатах и ходили друг к другу в гости, я истину... кому? царям? нет, не царям, а всякой сволочи с улыбкой говорил. По-

жалуй, эту фразу я отдам одному из персонажей моей повести «Монументальная пропаганда». Вчера звонили из толстого журнала, спрашивали, когда закончу. Говорю: скоро. Они: вы в прошлом году обещали скоро. Ну, я так думал, что скоро, а получилось не скоро, но теперь правда скоро. Ждите — и дождетесь. Скоро. Очень. А пока ночь, телевизор светится, на экране «Крутой Уокер», эротическая комедия, триллер, еще что-то и, может быть, хватит. Как там у Самойлова? «Человек идет в постель, сонный и осведомленный, телевизорная тень гаснет». Как это тень гаснет? Наверное, не тень. А что? Какая разница? Телевизорное что-то гаснет, и сознание гаснет. Или меркнет. Или... да... вспомнил. Телевизорная щель гаснет.

| СМЕШНЕЕ ДЖОННИ КАРСОНА

Теплым майским днем ехал я на своей «Тойоте» из Вашингтона в штат Мичиган, чтобы выступить с лекцией в тамошнем университете. Погода была хорошая, дорога свободная, я не опаздывал и не спешил. Такое путешествие обычно не доставляет мне ничего, кроме удовольствия, сейчас же оно было омрачено беспокойством по поводу предстоящего мне выступления. Казалось бы, о чем волноваться? Столько раз выступал в больших и малых аудиториях и весьма в этом деле поднаторел, но данный случай отличался от предыдущих тем, что впервые я решил употребить в дело свое знание английского языка. Прожив какое-то время в Америке, я уже довольно сносно изъяснялся по-английски в магазинах, на улице и в гостях, но выступать перед студентами и профессорами я до сих пор не решался.

Конечно, перед этим я изрядно потрудился. Написал всю речь на бумаге. Назвал ее «Писатель в советском обществе». Вставил в нее много фактов, цитат, исторических дат и статистических данных. Выучил все наизусть. Проверил выученное на жене, дочери и друзьях. Учел их замечания и с ощущением, что подготовлен неплохо, отправился в путь. Но чем ближе был пункт моего назначения, тем больше я волновался. Конечно, я, в общем, готов, но все-таки как именно выступать? Читать по бумаге плохо. Говорить без бумаги страшно. Вдруг что-то забуду. А еще ведь мне будут задавать вопросы. Сумею ли я их понять? Смогу ли кратко и находчиво ответить?

Полный неуверенности и сомнений, въехал я в кампус, нашел на плане, а потом и на местности нужное здание и у входа в него увидел большую афишу со своей фамилией. Текст, написанный крупными буквами, извещал студентов и преподавателей, что сего числа в таком-то зале выступит известный (и другие лестные эпитеты) русский писатель-сатирик, автор романа о солдате Чонкине и прочих (опять лестный эпитет) произведений. И дальше сочинитель афиши вписал от себя буквально следующее:

«О чем он будет говорить, я не знаю, но ручаюсь, что это будет очень смешно».

Прочтя такое, я не на шутку перепугался. Дело в том, что я никого не собирался смешить. Я подготовил серьезное выступление на серьезную тему. *

Первый импульс у меня был повернуть немедленно назад. Поддавшись второму импульсу, я сорвал со стены объявление и вошел в зал. Он был переполнен, что выглядело весьма необычно. Каждый писатель-эмигрант, выступающий с лекциями в американских университетах, только в начале удивляется, но потом принимает как должное, что его аудиторией бывает маленькая комната, а в ней пять-шесть студентов и пара преподавателей факультета славистики. А тут даже и мест не хватило, студенты сидят на подоконниках, стоят у стен и в проходах. Еще бы! Ведь им пообещали, что будет смешно, и даже очень, а посмеяться задаром кто же не хочет?

В ужасе и ярости взошел я на трибуну, поднял над головой сорванную афишу и спросил: «Какой умник написал это глупое объявление?» В зале наступила секундная тишина, затем пронесся легкий веселый гул. Публика поняла, что смешное уже начинается, и приготовилась, как говаривал Михаил Зощенко, «поржать и животики надорвать». Что меня и пугало. Сейчас они услышат не то, что ожидали, начнут покидать зал, и это самое страшное. Я повторил свой вопрос: «Какой умник написал эту глупость?» В первом ряду встал худощавый кудрявый человек лет сорока пяти и печально сказал: «Я, профессор Браун, тот умник, который написал эту

глупость». В зале засмеялись. Я немного смутился. Профессор Браун был как раз тот человек, кто пригласил меня сюда, и мне не хотелось его обижать. «Извините, господин Браун, — сказал я, — я не хотел вам сказать ничего неприятного, я просто подумал, что такое мог написать студент первого курса, но никак не профессор». Публикой моя нечаянная колкость была оценена по заслугам и отмечена взрывом смеха. Я подождал, пока смех утихнет, и стал объяснять, что здесь, кажется, имеет место недоразумение: «Вам обещали, что я вас буду смешить, но я этого делать не собираюсь. Поэтому, если кому-нибудь из вас хочется повеселиться, пойдите куда-нибудь в кабаре, варьете, в цирк, там вас повеселят. Там клоуны ходят в больших ботинках, у них штаны спадают, они корчат рожи, дают друг другу пинка под зад, это смешно, правда?» Публика смехом подтвердила, что правда смешно.

Прямо передо мной сидела парочка, студент и студентка, молодые, полные и смешливые. Пока я говорил, он показывал на меня пальцем, толкал ее локтем в бок, она толкала его и тихо хихикала.

— У меня, — продолжал я свое объяснение, — нет ни малейшего желания вас смешить. Может быть, в книгах моих попадают смешные места, но мои устные выступления — это что-то другое. Тема моей лекции «Писатель в советском обществе». Советское общество — это... Я не понимаю, чему вы смеетесь. Какое из произнесенных мною слов кажется вам смешным? Советское? Это смешно? Ха-ха? Или общество? Общество, это очень смешное слово?

В зале уже стоял хохот или даже гогот. Профессор Браун смеялся сдержанно и довольно. Его обещание сбывалось. Толстый студент хохотал, обхватив руками свой круглый живот, его соседка повизгивала, как поросенок. Кажется, все веселились, кроме двух охранников университетской службы безопасности, которые в черных униформах зачем-то стояли у двери, с видом суровым и неприступным, дающим понять, что они здесь несут службу, а не развлекаются.

Я глянул на часы. Уже прошло пятнадцать минут, а я

еще и не начал своей столь старательно приготовленной лекции. Придется ее на ходу подсократить.

Я выждал длинную паузу и, когда слушатели наконец успокоились, попытался подействовать на них своей рассудительностью.

— Мне кажется, — сказал я, — вы ложно настроились. Вы решили, что я сатирик и поэтому должен говорить смешно. Но вы путаете разные жанры. Сатира сатире рознь. Есть сатира, и есть эстрадные шутки. И есть шутники, которых называют сатириками. Они выходят на эстраду, рассказывают какую-то глупость из разряда «А вот был еще случай». Например, холостой мужчина увидел объявление, что продается машинка, заменяющая женщину. Побежал, купил, принес домой, оказалось, что это машинка для пришивания пуговиц. Смешно? Правда? Очень. Ну посмейтесь, а я подожду. Вы меня принимаете за кого-то вроде вашего телевизионного эстрадника Джонни Карсона. Он хороший, смешной актер, я сам смеюсь, когда его вижу, но я-то не Джонни Карсон. Я предпочитаю другую сатиру, в которой юмор горький, а смех сквозь слезы. Понимаете?

Конечно, они поняли. Только наоборот: у них были слезы сквозь смех. Соседка толстого студента просто рыдала сквозь хохот. Да и он тряс головой и смахивал слезу рукавом.

— Пушкин... — сказал я и сделал паузу.

Я до сих пор не понимаю, что смешного они нашли в слове «Пушкин», но и оно было встречено приступом смеха.

— Пушкин... — повторил я и в отчаянии умолк.

Когда они кое-как успокоились, я им быстро, скороговоркой, не давая опомниться, сообщил, что Пушкин, читая «Мертвые души», смеялся не хуже их, а прочтя, сказал: «Боже, как грустна наша Россия». А сам Гоголь свою смешнейшую повесть закончил словами: «Скучно на этом свете, господа».

Чтобы передать публике испытанное Гоголем чувство, я произнес последнюю фразу таким жалким голосом, что все опять залились хохотом. Профессор Браун, пытаясь сдержаться, хватался за затылок, который, ви-

димо, уже ломило от смеха. Толстый студент падал на свою соседку, корчился в конвульсиях и сучил ногами. Соседка отталкивала его и сама верещала, как милицкий свисток. В середине зала кто-то свалился со стула. Один из охранников не выдержал и тоже начал смеяться. Причем сразу бурно, хлопая себя по ляжкам и стукаясь затылком о стену. Зато другой был по-прежнему суров и неподвижен, как изваяние.

Стоит ли говорить, чем было встречено мое утверждение, что настоящие сатирики вообще очень невеселые люди. Гоголь был меланхоликом. Очень мрачным человеком был Михаил Зошенко.

— А вы? — спросил меня с места профессор Браун.

Я еще не успел ответить, а зал уже опять покатился со смеху.

— Но я все-таки хочу рассказать вам о том, что представляет собой советское общество и какую роль в нем играет советский писатель.

Я попытался объяснить им, что Советский Союз — это тоталитарное государство, которым управляет одна-единственная политическая партия. Там есть парламент, но в него избирают одного депутата из одного кандидата. Там есть десять тысяч членов Союза писателей, которые все до единого пользуются методом социалистического реализма, который предполагает правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. Советские писатели — это, как сказал один из них, люди, которым партия дала все права, кроме права писать плохо.

Надеясь все-таки переломить настроение публики, я перешел к совсем грустной теме и стал рассказывать о борьбе за права человека, репрессиях, но стоило мне произнести слова — КГБ, ГУЛАГ, психбольница, они заливались дружным, иногда даже истерическим хохотом.

Глянув на часы, я увидел, что время мое истекло, на тему приготовленной лекции мне не удалось сказать ни единого слова.

Я совсем разозлился на публику и сам на себя и сказал:

— Когда я ходил в детский сад, любому из моих ровесников достаточно было показать палец, чтобы вызвать неудержимый хохот. Вы, я вижу, до сих пор из детского возраста не вышли.

И переждав очередную волну хохота, закончил свою речь такими словами:

— Я хотел рассказать вам очень серьезные вещи, но вы все равно не поймете. Поэтому я заканчиваю, все, благодарю за внимание.

Мне приходилось выступать много до и после. Иногда мои выступления встречались публикой одобрительно и смехом и аплодисментами, но такого хохота и таких оваций себе я в жизни не слышал.

После лекции ко мне выстроилась длинная очередь желавших получить мой автограф.

Подошла женщина в темных очках, видимо, преподаватель:

— Вы выступали очень смешно. Я никогда в жизни так не смеялась. Тем более последний год, с тех пор как похоронила мужа.

Подошел толстый студент:

— Спасибо, вы имеете хорошее чувство юмора.

Его соседка сказала, что собиралась написать диссертацию о советских юмористах, но теперь, пожалуй, сменит тему и напишет только обо мне.

— Мне нравится, что вы очень веселый человек, — сказала она, и я не стал с ней спорить.

Охранник, который единственный в зале держался сурово, попросил автограф и пообещал:

— Я расскажу о вашей лекции моей жене. Она будет очень смеяться.

Последним ко мне приблизился профессор Браун. Промокая глаза бумажной салфеткой, он похлопал меня по плечу и сказал:

— Владимир, когда вам надоест писать, вы сможете выступать на сцене, как Джонни Карсон. Даже смешнее, чем Джонни Карсон.

Я уезжал домой, огорченный тем, что серьезные мысли, столь прилежно мной подготовленные, остались не донесенными до публики, принявшей меня за кого-

то другого. Но потом подумал, что такого успеха у меня еще не было и это стоит принять во внимание. Выступая в другом американском университете, я специально стал говорить, что приехал с серьезной лекцией и надеюсь на серьезное внимание зала, рассчитывая как раз на нечто противоположное. Но зал принял мои слова за чистую монету, и хотя по ходу дела я вставлял какие-то шутки, слушатели, кажется, ни разу не улыбнулись, лекция прошла при полном молчании зала и закончилась вежливыми аплодисментами. Я попробовал посмешить публику еще раз, другой, третий, и неудачно. Я вернулся к старому своему амплуа и, поднимаясь на трибуну, говорю только серьезно и только об очень серьезных вещах. И это бывает иногда довольно смешно.

Вечные вопросы

| В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Стояла длиннющая очередь за пивом, и я в нее сдуру стал. Прошел час, а путь до пивного ларька сократился не больше чем наполовину. Стою, раздраемый сомнениями. С одной стороны, черт с ним, с этим пивом, с другой стороны — час ведь уже отстоял, неужели зазря? Все же стал склоняться к тому, чтобы уйти, но тут в очереди, вижу, бунт назревает. Точнее, не бунт, а скажем помягче, ропот. Заволновались мужики, да что это мы не движемся? Небось там какие-нибудь нахалы без очереди лезут, или по десять кружек берут, или продавщица своим продает через задние двери. И так этот ропот распространился и, как по бикфордову шнуру, пошел от хвоста к голове. Дошел, видимо, до самого ларька, да там как-то затих, а потом от головы к хвосту пошло объяснение:

— Проблема в кружках, — услышал я впереди, то есть проблема в том, что народу много, а кружек мало.

— Проблема в кружках, — передавали передние задним, — проблема в кружках.

И все согласно закивали головами, все успокоились,

что никто их не надувает, не лезет без очереди, никому не выносят через задние двери, а проблема всего только в кружках. И так стояли, подобрев к передним и успокоившись. И я стоял. И часа через полтора достоялся. И хотя, не будучи особым любителем пива, я его никогда не пил больше одной кружки, в этот раз взял две, потому что как-то обидно было два с половиной часа стоять из-за одной.

| КТО ВИНОВАТ?

Начало 1953 года. Я служу солдатом в Польше. Учусь в школе авиамехаников. Обыкновенный армейский распорядок: подъем, построение, уборная, построение, утренняя поверка, завтрак («С места с песней шагом марш!»), восемь часов занятий (строевая подготовка, теория двигателя, физкультура, топография, уставы, теория полета, политзанятия), обед, дневной сон, три часа самоподготовки («С места с песней шагом марш!»), ужин, сорок минут личного времени (написать письмо, почистить пуговицы, подшить подворотничок), построение, вечерняя прогулка («С места с песней шагом марш!»), пять минут личного времени (старшина командует: «Покурить, постоять, приготовиться к отбою... Рррразойдись!»), построение, вечерняя поверка, отбой.

Газеты-журналы читать некогда, но куда ни сунешься, везде космополиты: и воруют, и спекулируют, и низкопоклонствуют перед границей, «а сало русское едят» (Михалков). Фельетон «Пиня из Жмеринки», поэма «Кому на Руси жить хорошо?» (ответ: евреям). И наконец, апогей кампании: «Убийцы в белых халатах», врачи, которые по заданию еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт» составили террористический заговор, убили Жданова, Щербакова, собирались убить несколько маршалов и генералиссимуса Сталина.

Я был далеко от Родины и не видел своими глазами, но узнал потом, что население было в панике. Люди отказывались лечиться у врачей-евреев, выбрасывали прописанные ими лекарства, русские ученики били своих еврейских одноклассников, сами евреи не только боя-

лись народного гнева, но и стыдились своей принадлежности к этому зловредному племени. Много лет спустя мой приятель рассказал мне об одном своем письме того времени. «Мне стыдно, что я — еврей», — написал он своим родителям.

А у нас в школе все идет своим чередом. И вдруг на уроке по политической подготовке встает курсант Васильев и, покраснев от напряжения, от сознания того, что хватит молчать, спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас, в Советском Союзе, евреев не расстреливают?»

Произошло некоторое замешательство. Класс затаил дыхание. Старший лейтенант помолчал, подумал, потом улыбнулся Васильеву.

— Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство, но вы вопрос ставите не совсем правильно. Конечно, преступления некоторых людей еврейской национальности вызывают наше возмущение, наш справедливый гнев, но все-таки мы должны помнить, что мы гуманисты, интернационалисты и мы знаем, что евреи бывают всякие. Бывают плохие евреи, а бывают хорошие, трудящиеся евреи.

— Вот как, например, Фишман, — радостно подсказал Казимир Ермоленко.

— Вот как, например, Фишман, — охотно поддержал старший лейтенант и церемонно поклонился сидевшему на задней парте смущенному Фишману.

Васильев покраснел еще больше, сжал кулаки и сказал решительно:

— Фишман не еврей.

Хотя у него не было никаких причин сомневаться в происхождении Фишмана, он знал, что Фишман, при всех его недостатках, в общем-то, свой парень. И Васильев готов был расстрелять всех евреев, кроме одного — Фишмана.

Год 1979-й. В одной московской компании знакомлюсь с неким доктором-психиатром. Он говорит, что только что прочел книгу писателя Ф. Это роман о том, как немолодой еврей, отрешившись наконец от своих

былых коммунистических иллюзий, пришел к православию, крестился и много размышляет об исторической вине евреев перед русским народом. Автор (сам, между прочим, еврей) говорит, что стыдно даже сравнивать ручеек еврейской крови с рекой крови, пролитой русскими.

Психиатру роман очень понравился.

— Чем же он вам мог понравиться? — спросил я. — Ведь он же просто очень плохо написан. Он скучный.

— А я, знаете, уже вышел из возраста, когда в книге ищут какого-нибудь острого сюжета или стилевых тонкостей. Меня интересуют только мысли.

— И какие же мысли вы нашли в этом романе?

— Я нашел в нем одну главную мысль и очень правильную. Он убедительно показывает, что во всем виноваты евреи. И в первую очередь — Бланк. Вы знаете, что настоящая фамилия Ленина — Бланк?

— Нет, — сказал я, — я знаю, что его настоящая фамилия Ульянов.

— Не Ульянов, а Бланк. Отец его матери был еврей Бланк.

— Хорошо, а кто был ваш дедушка по матери?

Мне случайно повезло. Оказалось, что его дедушка был татарин.

— Значит, и вы татарин?

— Нет, я русский.

На этом наш спор прекратился, потому что, если уже человек дошел своим умом, что во всем виноваты евреи, его с этой точки никакими доводами не сдвинешь.

1981 год, Германия. Женщина преклонного возраста, старая эмигрантка, пригласила меня к себе. Поставила мне и мужу, немецкому бизнесмену, водку, сама пьет чай. Очень интересуется тем, что происходит в России, и в частности национальным вопросом.

— Вот я тут со всеми спорю, со мной никто не соглашается. Скажите вы, правда ведь, никакого украинского языка не существует, а есть всего лишь малороссийский диалект русского?

— Нет, — говорю я, — думаю, что это неправда. Ес-

ли вы услышите украинскую речь, не зная ее, вы, пожалуй, ничего не поймете. Это значит, что украинский язык все-таки есть.

Она промолчала, но вряд ли согласилась. Поговорили еще о чем-то.

— Скажите, — говорит она, — а почему среди диссидентов и среди советских правителей так много нерусских?

— Вы хотите сказать, что среди них много евреев?

— Ну да, — сказала она, слегка замаявшись.

— Что касается диссидентов, — сказал я, — то среди них евреи, конечно, попадают. А вот среди правителей... Скажите, вы думаете, Брежнев еврей?

— А разве нет?

— Нет. Брежнев не еврей. И все остальные члены Политбюро не евреи.

— Ну как же, — говорит она и достает спрятанную за книгами советскую газету с портретами членов Политбюро, брезгливо смотрит на них. — Разве они русские?

— Во всяком случае, не евреи. Но если вы хотите подробнее, давайте посмотрим. Брежнев — русский, Андропов — русский, Гришин — русский, Громыко — русский, Кириленко — русский, Косыгин — русский, Кунаев — казах, Пельше — латыш, Романов — русский, Сулов — русский, Тихонов — украинец, Устинов — русский, Черненко — русский, Щербицкий — украинец. Эти четырнадцать человек являются реальными руководителями Советского государства. Из них десять русских, два украинца, один казах и один латыш.

Старушка бережно сложила газету и опять спрятала ее за книги. Возражать мне она не стала, но мнения своего, похоже, не изменила.

Лет примерно тридцать тому назад на известного советского поэта и антисемита Сергея Смирнова, страдающего от большого физического недостатка и комплекса неполноценности, была сочинена эпиграмма:

Поэт горбат,
Стихи его горбаты...
Кто виноват?
Евреи виноваты.

Однажды в половине одиннадцатого утра, идя по Минаевскому рынку с авоськой, я вдруг услышал за спиной:

— Ну что делать, что делать? — вопрошал какой-то человек возбужденно и страстно.

Услышав этот вопрос, который когда-то столь волновал российское общество, я тоже разволновался.

«Надо же, — думал я, — сколько уже раз ставился этот вопрос. Чернышевский с его хрустальными дворцами и снами Веры Павловны, Ленин с его наболевшими вопросами. И ведь кажется, все уже сделано: дворцы построены, вопросы решены, что еще надо? А вопрос остался все тот же».

Я обернулся.

Прямо за мной вдоль рядов, ничего перед собою не видя, шли два страдающих и отрешенных от мирской суеты алкаша.

Один из них, тот, что повыше, руками в нитяных перчатках обхватив голову так, словно у него одновременно болели зубы, виски и уши с обеих сторон, повторял вопрос, на который не видел ответа: «Что делать? Что делать?»

Тот, который пониже, такой же страдающий и небритый, трогал вопрошавшего за локоть и уговаривал: «Ну покружись, покружись! Через полчаса блокаду снимут, сразу две бутылки возьмем».

И я подумал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

И каким действительно словом, кроме «блокада», можно назвать это бедствие, ожидание открытия винного отдела, который (почему?) открывается не в восемь, как все остальные отделы, а в одиннадцать часов утра? И разве это не наболевший вопрос? И неужели сны Веры Павловны кажутся вам действительно серьезнее?

А каким другим словом, кроме как «покружись»,

можно обозначить это томительное движение вдоль прилавков и мимо, когда нельзя ни стоять, ни сидеть, ни разговаривать, ни думать о постороннем, а только ждать, пережить эти невыносимые и бесконечные последние полчаса.

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

1983

| ПРОГРЕССИВНЫЙ ПАПА

В октябре 1964 года известие о снятии Хрущева и назначении на высший партийный пост Брежнева застало его дочь Галину в Коктебеле, где она загорала в обществе известных писателей и артистов (известно, что дети больших советских сановников питают слабость и странную тягу к художественной богеме). Перемены наверху были неожиданностью для всех, в том числе и для Галины Леонидовны. Люди, наблюдавшие ее в тот день, рассказывали, как, стоя раздетая на ветру, она тряслась не то от холода, не то от возбуждения и повторяла одно и то же:

— Вот увидите, мой папа будет прогрессивным!

Прогрессивный папа вместе со своими прогрессивными соратниками немедленно начал крутить колесо истории вспять, поставив себе первой внутриполитической задачей реабилитацию Сталина и восстановление репутации КПСС как никогда не ошибавшейся ни в чем мудрой и безупречной руководительницы и наставницы советского народа. Советская пропаганда осторожными мазками стала наводить глянец на рябое и к тому времени порядком уже заплеванное лицо нашего покойного вождя и учителя.

В литературе негативные упоминания о Сталине и сталинском терроре исчезли. (Ну зачем тревожить старые раны? Партия об этом все, что надо, сказала, ошибки решительно осудила, и хватит.) Положительные упоминания, напротив, стали появляться все чаще, причем как бы стихийно (ведь у нас свобода, и партия не может желающим запретить любить товарища Сталина).

На экранах кинотеатров в документальных лентах

стали появляться кадры с бывшим Верховным Главнокомандующим, при этом в зале раздавались не очень дружные, но вполне наглые аплодисменты изображавших публику агентов КГБ.

Одновременно появились и художественные фильмы сталинских времен: «Трактористы», «Секретарь райкома», «Кубанские казаки». Все это замшелое старье вытаскивалось на экраны и преподносилось зрителю в качестве образцов высокого искусства. Делалось это отчасти из политических, а отчасти и из чисто вкусовых соображений советских вождей. Этим бездарным искусством сопровождалась их карьера, их бурная молодость, когда они в результате кровавых чисток толпами выходили из грязи в князи и вместо скромного чиновного продвижения по службе вдруг в очень молодом возрасте оказывались генералами и губернаторами и вершили судьбами тысяч людей, которых по своей собственной воле или прихоти могли казнить или миловать.

Попытка реабилитации Сталина не была доведена до конца, потому что неожиданно для советских правителей натолкнулась на довольно ощутимое сопротивление и значительной части советского общества, и западных компартий, и даже самого партийного аппарата, оберегавшего себя от сталинского произвола. Говорят, что в самом начале своего правления, потерпев неудачу в попытке открытой реабилитации Сталина, Брежнев обещал его реабилитировать «в рабочем порядке», но и этого в конце концов не сделал, потому что Сталин потом и ему оказался не нужен. Создание собственного культа личности показалось ему занятием более привлекательным, чем восстановление культа Сталина.

Однако сталинизм как метод управления государством был реабилитирован почти полностью, и это проявилось в показательных процессах над инакомыслящими с более мягкими результатами по сталинским меркам, но достаточно жестокими и достаточно отвратительными по обыкновенным человеческим понятиям.

Конечно, при Брежневе репрессии не достигли сталинских масштабов, но это объяснялось не личной добротой Брежнева, а слабостью его (по сравнению со Сталиным) характера. И еще тем, что после всех разоблаче-

ний при сопротивлении в разных формах различных сил и омертвлении идеологии они были попросту невозможны. (Я уже говорил, что массовый террор возможен только в условиях массового энтузиазма и при молодой, не потерявшей своего блеска идеологии.)

Как личность Брежнев был гораздо ничтожнее Сталина, хотя очень старался ему подражать. (Сталин родился 21 декабря, а Брежнев 19-го, чем заслужил прозвище недоноска.)

Положительное отличие Брежнева от Сталина заключалось в том, что он был меньшим преступником. Сталина интересовала сама власть ради власти, а Брежнева соблазняли сопутствующие ей возможности роскошной жизни. Сталин думал в основном о том, как и кого еще уничтожить, а Брежневу было некогда, он смотрел еще вокруг себя, где что плохо лежит.

Когда сейчас говорят о масштабах расцветшей при нем коррупции, то упоминают разных людей из его окружения, включая и его дочь, и его зятя, но это несправедливо. Во главе верховной мафии, которая не гнушалась ни воровством, ни взяточничеством, ни всякими другими способами присвоения чужого добра, стояли не дочь Брежнева и не зять Брежнева, а сам папа Брежнев, который коллекционировал «Роллс-Ройсы» и «Мерседесы», принимал всякие другие подарки от западных фирм и от коллективов трудящихся в родном Отечестве.

Есть анекдот про еврейского портного, который сказал, что, если бы он был царем, он жил бы лучше, чем царь, потому что он бы еще немножко шил. Брежнев тоже жил лучше, чем царь, потому что он еще немного прикрадывал. То же делали и его соратники. Почти всегда безнаказанно. Если и случались скандалы, как, например, с Фурцевой или Мжаванадзе, то только потому, что эти люди чем-то Брежневу не угодили.

А вот, скажем, бывший глава государства Подгорный был убран на пенсию без особого скандала, хотя тоже, как говорят, на руку был довольно нечист. Этот просто брал взятки за помилования приговоренных к смертной казни.

Кстати, раз уж речь зашла о Подгорном, стоит сказать о нем пару слов еще. Этот народный избранник вы-

делялся своим интеллектом даже на фоне своих товарищей в Политбюро. Не зря они, учитывая его умственные способности и успехи в игре в домино, называли его Пусто-Пусто. О его крохоборстве и вкусах ходили легенды.

Один кинооператор, которому часто приходилось снимать Подгорного, рассказывал мне, что, как только Подгорный оказывался перед столом, на котором стояли напитки и лежали сигареты «Кент», он тут же хватал одну пачку и клал в карман. Рассказывали, и в это можно поверить, что у Подгорного было двенадцать в ту пору еще редких в советском быту цветных телевизоров, они стояли у него в кабинете, в спальне и в других помещениях, включая уборную.

Почему-то многие западные политики еще недавно думали, а может быть, некоторые и до сих пор думают, что Советским Союзом руководят узколобые фанатики, которые ни о чем, кроме мировой революции и коммунизма, не помышляют. Поэтому, видя Брежнева, они удивлялись, что этот человек не чужд человеческих слабостей и вовсе не узколобый фанатик.

Канцлера Западной Германии Вилли Брандта он в свое время умилил тем, что рассказывал антисоветские анекдоты, героем которых был он сам, и анекдоты, за которые рядовые люди вполне могли схлопотать и срок.

Он не был фанатиком, потому что никаких фанатиков в его поколении руководителей вообще уже не было. Фанатиков ленинского типа сталинские циники уничтожали начиная с конца двадцатых годов и совсем уничтожили в тридцатых. На смену им были призваны в партию и расставлены на важнейшие партийные посты малообразованные, малокультурные и алчные люди. Их интеллектуальные возможности были настолько ограничены, что подавляющее большинство из них, включая Хрущева, Брежнева и Черненко, ежедневно повторяя слова «социалистический» и «капиталистический», так и не научились их выговаривать.

Все они не могли произнести без бумажки ни единого слова. Однажды я прочел записку Брежнева. В одиннадцати строках этой записки было одиннадцать грамматических ошибок.

Короче говоря, Брежнев, как и большинство сталинских выдвиженцев, представлял собой вполне мелкую личность, был малокультурен и необразован. Из тех, кто, по чьему-то остроумному выражению, кончил ЦПШ (трехклассную церковно-приходскую школу) и ВПШ (высшую партийную школу). Все они, или почти все, были наглы, алчны, тщеславны и беспринципны. О преданности их каким бы то ни было идеям смешно говорить.

Я вовсе не марксист и не собираюсь выступать в качестве адвоката марксизма, но и советских руководителей не стал бы подозревать в слишком большой приверженности этому учению. Марксизм как-никак провозглашает своими идеалами свободу, равенство, братство, отрицание государства. Марксизм, например, отрицает цензуру. Нет, я не думаю, чтобы Брежнев или кто-нибудь из его коллег стремился следовать этим идеалам.

Они прикрываются марксистской идеологией, как ширмой, просто потому, что она к их приходу уже была узаконена и менять ее не было никакой необходимости. Любая другая идеология могла бы быть приспособлена ими с таким же успехом. Они оперируют теми цитатами из Маркса или Ленина, которые им нужны к тому или иному случаю, а ненужное отбрасывают.

Как типичный вождь сталинского образца, Брежнев обладал непомерным тщеславием. Его бывший соратник Александр Шелепин, еще будучи членом Политбюро, рассказывал даже не очень близким знакомым (может, на этом и погорел), что Брежнев так восхищен собой, что не может пройти мимо любой полированной поверхности, чтобы не взглянуть на свое отражение.

Я уезжал из Москвы за два года до смерти Брежнева. Уже тогда советские люди прозвали ежедневную телевизионную программу «Время» — «Все о нем и немного о погоде». Было смешно, и больно, и стыдно изо дня в день смотреть бесконечные церемонии награждения Брежнева. То ему присваивают звание Героя Советского Союза, то награждают золотым оружием. По количеству наград он затмил всех своих предшественников. Одних только золотых звезд Героя Советского Союза и Социалистического Труда он получил столько, сколько

было у Сталина и Хрущева, вместе взятых. А те, как известно, тоже большой скромностью не отличались.

Непомерное тщеславие Брежнева не удовлетворялось, и он принялся за литературное творчество. Книжки, написанные за него бригадой мобилизованных литераторов, были объявлены литературными шедеврами, сравнимыми только с лучшими страницами «Войны и мира». Миллионы людей в принудительном порядке изучали и конспектировали эти книги. Когда специалисты подсчитывают, какой урон советской экономике наносят пьянство и прогулы, им следует также подсчитать, какой урон этой же самой экономике нанесли хотя бы литературные упражнения Брежнева.

Вилли Брандт и другие западные лидеры с похвалой отзывались о миролюбии Брежнева и даже называли его человеком мира, видимо, на том основании, что он не начал термоядерной войны. Конечно, он ее не мог и не собирался начать, потому что, во-первых, для такого дела даже его власти было недостаточно, а во-вторых, он был человеком ограниченным, но не сумасшедшим и хорошо понимал, что выиграть такую войну у него нет никаких шансов. А вот представить себе на минутку, что у Брежнева была бы стопроцентная гарантия выигрыша и что победа принесла бы ему лавры величайшего полководца, звание генералиссимуса и еще всякие усыпанные брильянтами ордена, я бы лично в подобной ситуации не спал спокойно. Ничтожной личностью владеют ничтожные страсти. Чем ничтожней личность, тем решительней и безответственней она пользуется всей полнотой имеющейся в ее распоряжении власти¹.

Не имея шансов начать войну, Брежнев удовлетворился малым: награждением себя высшими воинскими званиями и отличиями, включая орден «Победа», которым по статусу награждаются лишь высшие полководцы за операции, решившие исход войны.

Сам по себе Брежнев был настолько безлик, что не заслуживал бы столь подробного описания. Но он на

¹ Миролюбие, между прочим, проявляется в ненападении не на сильного, а на слабого. И в отношении Чехословакии или Афганистана никакого миролюбия Брежнев не проявил.

протяжении восемнадцати лет руководил сверхдержавой, способной уничтожить весь мир, и за этот долгий срок стал так же, как и Ленин, и Сталин, неким символом своего времени. За годы его маразматического правления советское общество разложилось окончательно. Все было доведено до своего логического конца. Надежды, вспыхнувшие во времена Хрущева и теплившиеся кое-как в первые годы его правления, сменились после полного разгрома правозащитного движения и всяческого затыкания глоток унынием, разочарованием, апатией и разрушением общественной морали. Народ, лишенный какой бы то ни было возможности политической, культурной и общественной жизни, ответил на все это пьянством, воровством (благо, пример руководителей на всех уровнях перед глазами), понижением производительности труда и ужасающе низким качеством продукции.

Можно даже сказать, что «брежневизация» общества была для него по-своему не менее ужасна, чем «ленинизация» и «сталинизация».

1982

* * *

Копия
Секретно
экз. 2
6.81 1488-А

ЦК КПСС

О лишении гражданства СССР Войновича В.Н.

Как ранее сообщалось Комитетом госбезопасности (2316-А от 4 ноября 1980 года), московский литератор Войнович В. Н. в последние годы активно занимается антиобщественной деятельностью.

В декабре 1980 г. Войнович с женой и малолетней дочерью по приглашению Баварской академии искусств выехал в ФРГ сроком на один год.

По прибытии в ФРГ он установил контакты с представителями антисоветских центров, что послужило оче-

редным поводом для муссирования всяческих клеветнических измышлений о нашей стране.

В течение непродолжительного времени Войнович дал ряд интервью политически вредной направленности, свидетельствующих об окончательной утрате им чувства советского гражданина.

С учетом изложенного представляется целесообразным лишить Войновича В.Н. советского гражданства.

Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного Совета СССР прилагаются.

Просим рассмотреть.

*Председатель Комитета
Ю. АНДРОПОВ*

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О лишении гражданства СССР Войновича В.Н.

Учитывая, что Войнович В.Н. систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Войновича Владимира Николаевича, 1932 года рождения, уроженца гор. Душанбе, временно проживающего в ФРГ.

*Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ*

*Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ*

*Москва, Кремль, 16 июня 1981 г.
5075-Х*

Господин Брежнев!

Вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства, благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу, никакого престижа нет.

Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее.

Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недалгом времени все Ваши указы, лишаящие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов Ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине.

*Владимир Войнович
Июнь 1981 года,
Мюнхен*

| ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Как-то еще в Москве я оказался в одной интеллигентной компании. Сидя на кухне, пили чай и, как водится, обсуждали все или почти все местные и мировые проблемы и события. Говорили о недавнем аресте двух диссидентов, об обыске у третьего, о повышении цен на золото (интересы присутствующих оно никак не затрагивало), о пресс-конференции Рейгана, о последнем заявлении Сахарова, о Северной Корее, о Южной Африке, уносились в будущее, возвращались в прошлое, стали обсуждать случившееся сто лет назад убийство народовольцами царя Александра Второго.

Одной из участниц разговора была экспансивная и храбрая молодая женщина. Она уже отсидела срок за участие в каком-то самиздатском журнале, ее, кажется, собирались посадить и второй раз, таскали в КГБ, допрашивали, она вела себя смело, дерзила следователю и не дала никаких показаний.

Теперь о событии столетней давности она говорила

так же возбужденно, как о вчерашнем допросе в Лефортовской тюрьме.

— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками.

— Вы на себя наговариваете, — сказал я. — Перовскую вы бы душить не стали.

Женщина возбудилась еще больше.

— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь, задушила бы, не колеблясь.

— Да что вы! — сказал я. — Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душить Перовскую, а наоборот, кидали бы вместе с ней в царя-батюшку бомбы.

Она ожидала любого возражения, но не такого.

— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?

— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой. А тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы, с вашим характером, непременно оказались бы среди бомбистов.

Я не знаю точно, какие идеи владели бы умом этой дамы в прошлом, но я догадываюсь.

В Москве и сейчас живет литератор, с которым мы дружили лет двадцать. Когда мы познакомились, это был еще сравнительно молодой человек, очень пылкий, романтичный и убежденный в том, что у него есть глубокие убеждения. На самом деле собственных убеждений у него никогда не было, те убеждения, которые он считал своими, были добыты не из непосредственного наблюдения над жизнью, а состояли из цитат основателей вероучения, одним из многочисленных последователей которого он был. Мир для него был простым и легко познаваемым, на любой сложный вопрос, задаваемый жизнью, всегда находил все объясняющий ответ в виде подходящей цитаты.

Как легко догадаться, его непогрешимым вероучением, его единственно правильным мировоззрением был марксизм, овладевший умами миллионов, но в то время уже начинавший выходить из моды. К моменту нашего знакомства мой друг уже разочаровался в Стали-

не и «вернулся» к Ленину. Маленький портрет Ленина в рамке стоял у него на письменном столе, на стене висел портрет Маяковского, а на подставке от цветов стоял большой бюст Гарибальди.

Мой друг считал меня циником, потому что я подтрунивал над его кумирами, мои язвительные замечания о Ленине воспринимал как богохульство, я был непрогрессивным, отсталым, не мог правильно оценить явления в их сложной взаимосвязи, потому что с трудами Ленина был знаком лишь поверхностно. «Если бы ты читал Ленина, — назидательно говорил мне мой друг, — ты бы все понял, потому что у Ленина есть ответы на все вопросы».

Я не был антиленинцем, но не верил, что один человек, пусть даже трижды гений, может ответить на все вопросы, волнующие людей через десятилетия после его смерти.

Шли годы. Друг мой не стоял на месте, он развивался. Портрет Ленина однажды исчез, его место заняла Роза Люксембург. Рядом с Маяковским появился Бертольт Брехт. Потом, сменяя друг друга, а иногда соседствуя во временных сочетаниях, появлялись портреты Хемингуэя, Фолкнера, Че Гевары, Фиделя Кастро, Пастернака, Ахматовой, Солженицына. Недолго висел Сахаров. Гарибальди продержался дольше других, может быть, потому, что бюсты менять дороже.

Как-то мы поссорились.

Появившись в доме моего друга несколько лет спустя, я увидел, что декорации резко переменялись. На стенах висели иконы, портреты Николая Второго, отца Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и других, известных и неизвестных мне лиц в рясах и монашеских клобуках. Гарибальди, покрытого толстым слоем пыли, я нашел за шкафом.

Мы поговорили о том о сем, и, когда я высказал по какому-то поводу свои отсталые взгляды, мой друг снисходительно сказал мне, что я заблуждаюсь и мои заблуждения объясняются тем, что я не знаком с сочинениями отца Павла Флоренского, который по этому поводу говорил... И тут же мне была приведена цитата, которая должна была меня совершенно сразить. И я понял, что

годы, когда мы не виделись, не прошли для моего друга даром, он уже вполне овладел новым, передовым и единственно правильным мировоззрением и мне его опять не догнать.

Схема развития моего друга характерна для многих людей моего и нескольких предыдущих поколений. Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православию, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой.

А когда-то это были романтически настроенные мальчики и девочки, с пылающим взором и мозгами, забитыми цитатами из сочинений классиков единственно правильного мировоззрения. Я лично их опасался гораздо больше, чем профессиональных чекистов или стукачей. Те по лени или отсутствию разнарядки могли что-то пропустить мимо ушей. А эти, преданные идеалам, с принципиальной прямоотой могли в лучшем случае обрушить на вас град цитат, а в худшем и вытащить на собрании, не пожалев ни ближайшего друга, ни любимого учителя, ни папу, ни маму.

Теперь эти бывшие мальчики и девочки в своих идеалах разочаровались. Некоторые из них отошли от активной деятельности, сосредоточились на своей работе, истину или не ищут или ищут, но не в сочинениях своих прежних кумиров. И ведут себя тихо.

Но есть и другая категория. Те, которые быстро раскаялись и сами себя простили. И теперь утверждают, что тогда все были такими, как они. А это неправда. Это даже клевета.

Конечно, мы все или большинство из нас подверглись невиданной обработке. Идеология вдалбливалась в нас с пеленок. Некоторые в нее поверили искренне. Другие относились, как к религии, со смесью веры и сомнения: раз столь ученые люди (не нам чета) утверждают, что марксизм непогрешим, так, может быть, им виднее. Большинство молодых людей, если они не росли в семьях религиозных сектантов, были пионерами и комсомольцами, потому что другого пути не знали. Даже невступление в комсомол было уже вызовом всесильной власти (ведь кто не с нами, тот против нас). Но вступая

в комсомол (а иногда даже и в партию), посещая собрания и платя членские взносы, большинство все-таки сохранило способность к сомнениям. И инстинкт совести не каждому позволял вытаскивать на собрании товарища, который шепотом рассказал анекдот о Сталине или признался, что его отец погиб не на войне, а был расстрелян как враг народа. Большинство, конечно, не возражало (возражавших просто уничтожали), но отмалчивалось и уклонялось. Многие люди совмещали искреннюю веру в марксизм-ленинизм с вполне порядочным личным поведением.

Бывшие пламенные мальчишки-девочки теперь иногда всерьез верят, что раньше все были такие, потому что они не слышали никого, кроме себя. Некоторые из них, провозглашая теперь антикоммунистические лозунги, опять кричат громче других, хотя именно им, хотя бы из чувства вкуса, следовало бы помолчать.

Я знаю одну немолодую даму, которая, будучи девочкой, так оголтело боролась в своем высшем учебном заведении с идеологической ересью, что даже парторгии ее останавливали. В пятьдесят третьем году она обвинила свою подругу на комсомольском собрании, что та не плакала в день смерти Сталина. И теперь, когда эта бывшая девочка пишет в эмигрантской печати: «мы христиане», меня это, право, коробит. Для меня понятие «христианин» всегда было связано с понятием «совестливый человек», но далеко не каждого из наших новообращенцев можно отнести к этой категории людей.

Я вовсе не против того, чтобы люди меняли свои убеждения. Напротив, я совершенно согласен с Львом Толстым, сказавшим однажды примерно так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. А я говорю: стыдно их не менять».

Придерживаться убеждений, которые стали противоречить жизненному или историческому опыту, глупо, а иногда и преступно. Впрочем, я лично (прошу простить за категоричность) никаким убеждениям не доверяю, если они не сопровождаются сомнениями. И в то, что какое-либо учение может быть приемлемо для всех, тоже не верю.

А вот мой бывший друг в это поверил. Перейдя из одной веры в другую, он верит, что изменился. На самом деле, каким он был, таким остался. Только выкинул из головы одни цитаты и забил ее другими. Но остался таким же воинственным, как и раньше. И оперируя новыми (для него) цитатами, намерен пользоваться ими не только для самоудовлетворения, не только для того, чтобы идти самому к новой цели, но и для того, чтобы тащить к ней других.

Мой друг и его единомышленники повторяют давнишнюю выдумку, что Россия страна особенная, опыт других народов ей никак не подходит, она должна идти своим путем (как будто она им не шла). Демократия создателей новых учений не устраивает. Демократические общества, говорят они, разлагаются от излишних свобод, слабы, они слишком много внимания уделяют правам человека и слишком мало его обязанностям, и руководят этими обществами фактически не выдающиеся личности, а серое большинство. Демократии противопоставляется авторитаризм не как компромиссная, а как наиболее разумная форма правления. Я многих сторонников авторитаризма спрашивал, что это такое. Мне говорят вполне невразумительно, что это власть авторитета, то есть некоей мудрой личности, которую все будут считать Авторитетом. Но если отбросить испытанную веками практику демократического избрания авторитетной личности путем всеобщих и свободных выборов на ограниченное время и с ограниченными полномочиями, то каким иным способом, кем и на какое время будет устанавливаться чей бы то ни было авторитет? Не будет ли этот Авторитет назначать на эту должность самого себя? И не превратится ли общество опять под мудрым водительством Авторитета в стадо оголтелых приверженцев с цитатами и автоматами? И разве для сотен миллионов людей не были авторитетами (причем вовсе не дутыми) Ленин, Сталин, Гитлер, Мао? А чем Хомейни не авторитетная личность?

Все эти мудрствования о просвещенном авторитарном правлении могут окончиться новым идеологическим безумием. Они не основаны ни на каком истори-

ческом опыте, ни на каких реальных фактах. Где, в какой стране существует хотя бы один мудрый авторитарный правитель? Чем он лучше правителей, избранных демократически и контролируемых «серым» большинством? Чем авторитарные страны лучше демократических?

Эмигрировавшие из Советского Союза проповедники авторитаризма красноречиво отвечают на этот вопрос, местами своего жительства выбирая демократические и никогда — авторитарные страны.

Авторитаристы, как и предшествовавшие им создатели единственно правильных мировоззрений, весьма склонны к риторике и демагогии. Они говорят: «Ну хорошо, ну демократия, а что дальше?» Можно и их спросить: «Авторитаризм, а что дальше?»

Некоторые авторитаристы уже сейчас, называя только себя истинными патриотами (что по крайней мере нескромно), всех несогласных с собой объявляют клеветниками и ненавистниками России (точно так же, как большевики своих оппонентов называли врагами народа), и мне совсем нетрудно представить, как и против кого они используют полицейский аппарат будущего авторитарного строя, если он когда-нибудь будет создан.

Пока этого не случилось, я рискну сказать, что никаких серьезных проблем без демократии решить нельзя. Вопрос «Демократия, а что дальше?» бессмыслен, потому что демократия не цель, а способ существования, при котором любой народ, любая группа людей, любой отдельный человек могут жить в соответствии со своими национальными, религиозными, культурными или иными склонностями, не мешая другим проявлять свои склонности тоже. Демократия, в отличие от единственно правильных мировоззрений, не лишает никакой народ своего своеобразия, при ней немцы остаются немцами, англичане англичанами, а японцы японцами.

Я вовсе не утверждаю, что Россия уже сейчас готова к демократическим переменам. Я даже подозреваю, что она совсем не готова. Я только знаю, что, если организм болен раком, глупо думать, что он может выздороветь без всякого лечения или при помощи лечения, не соответствующего болезни.

Ну вот и произошло долгожданное. Поколение прямых сталинистов практически сошло с исторической сцены.

Во главе Советского государства стал человек, созревший в иное время. И все мы, кому судьба этой страны (а с ней и всего мира) небезразлична, всматриваемся в его лицо и вслушиваемся в его речи с надеждой и сомнениями.

Оптимисты подчеркивают его решительное отличие от недавних предшественников: молодой, здоровый, энергичный, умеет говорить без шпаргалки, выходит на улицы к народу, произвел большие кадровые перестановки, объявил войну пьянству, выступает с необычной для советского руководства откровенностью. Говорит, что нужны реформы и даже не эволюция, а революция.

Но пережив первую эйфорию, взглянем на ситуацию более трезвыми глазами.

Горбачев, конечно, сравнительно молод и энергичен, но сидит в том же инвалидном кресле, которое оставили ему в наследство его немощные предшественники. Говорит с откровенностью необычной, но недостаточной.

Из введенных им новшеств в глаза бросается только одно: на официальных приемах пьют не шампанское, а минеральную воду.

В некоторых колхозах и на мелких предприятиях вводятся (при Брежневe это тоже было) «прогрессивные» методы организации труда, которые во времена крепостного права назывались барщиной или оброком.

Расширение прав начальников предприятий и скромные изменения в системе оплаты труда вряд ли будут способствовать решительному улучшению положения.

Призывы к стахановскому движению и вовсе чепуха. Это движение и в тридцатых годах было липой, и сейчас будет таким же липовым.

Ну а что еще?

Новый лидер, выступая перед партийными активистами, говорит, что надо коренным образом изменить отношение к делу, усилить дисциплину, увеличить ко-

личество и улучшить качество. Активисты раздражаются бурными аплодисментами и в самых возвышенных выражениях обещают усилить, увеличить и улучшить.

Но они всегда это обещали и всегда очень хорошо умели хлопать в ладоши. Ничего нового они пока что не демонстрируют.

Новый лидер обещал решительно покончить с парадностью и пустословием, но советские газеты по-прежнему заполняются победными реляциями о выполнении и перевыполнении производственных заданий, портретами Героев труда и указами верховной власти о награждении орденами особо отличившихся передовиков. Все это и есть главные приметы парадности и пустословия.

По-прежнему торжественно и с большим размахом отмечаются разные годовщины, строятся монументы и проводятся субботники, от которых вреда больше, чем прибыли.

В главном ничего не изменилось. Инакомыслящие, как и раньше, подвергаются свинскому обращению, война в Афганистане продолжается, антизападная пропаганда не утихает.

Но если в этих областях не произойдет существенных изменений, значит, и вся ситуация останется неизменной. Экономическое положение будет ухудшаться, и уже не только коммунизм, но даже убогая Продовольственная программа превратится в утопию. По части технологии с Западом нечего будет и тягаться. (Даже если советским агентам удастся украсть все западные секреты, отсталая промышленность не сможет ими воспользоваться.) В конце концов Советский Союз отстанет не только от Запада, но и от Китая.

В такой ситуации Советскому Союзу придется стремиться к еще большей самоизоляции, а она в условиях бурного развития средств информации (электроника, компьютеры, международное телевидение и видеоманитофоны) окажется попросту невозможной.

Улучшить общее положение можно только путем демократизации, прекращения войны с инакомыслием и активизации всего творческого потенциала советского общества. Вступление на подобный путь огромной стра-

ны, население которой к демократическим формам жизни никак не подготовлено, само по себе грозит непредсказуемыми последствиями. Но без демократизации ничего сделать нельзя.

Сто тридцать лет назад, умирая, Николай I сказал своему сыну: «Не в добром порядке оставляю я тебе свое хозяйство». Сын (Александр II) много сделал, чтобы это хозяйство улучшить. Отменил крепостное право, провел демократическую реформу судопроизводства, земскую реформу. Но на этой почве развилось разрушительное революционное движение. Сам реформатор пал от руки террористов, а при правлении его внука разразилась катастрофа, называемая ныне Великой Октябрьской социалистической революцией.

Но оглядываясь в прошлое, можно сказать почти уверенно, что избежать реформ Александр II просто не мог.

В похожей или даже еще более сложной ситуации находятся сейчас и руководители СССР.

1985

| РЕЧЬ БЮРОКРАТА

Дорогие товарищи бюрократы и бюрократки!

Вдохновленный историческими решениями очередного съезда КПСС, наш народ уверенно продвигается вперед. Мы с гордостью можем сказать, что за последнее время достигнуты большие успехи и взяты высокие рубежи, наши планы выполняются и перевыполняются. Благодаря последним указаниям, новому мышлению и взятому нами стратегическому курсу обстановка внутри страны и за ее пределами значительно улучшилась. Гласность и перестройка стали воистину зримыми приметами нашего времени. Возьмите, товарищи, телевидение, радио, почитайте наши газеты, и вы увидите, что наши партийные руководители, наши ученые, писатели, философы и публицисты выступают смело, по-боевому, с огоньком, иной раз при этом наговаривая на три года, на пять, а даже и на семь лет лишения свободы с последующей ссылкой и поражением в правах. В некоторых

выступлениях справедливо говорится, что, несмотря на общие достижения, на нашем пути имели также место отдельные крупные, значительные и даже вопиющие недостатки. Это, конечно, правильно, и мы этого никогда не скрывали. Но при этом, товарищи, порой допускаются и отдельные передержки. Так, утверждается порочная мысль, будто во всем виноваты якобы бюрократы. Причем ни для кого не секрет, что под бюрократами подразумеваются наши руководящие партийные работники. На глазах у всей страны и у всего мира происходят очернение пройденного нами пути и шельмование или даже, проще сказать, избиение партийных кадров. Но если, товарищи, смотреть на дело непредвзято и не путать причину и следствие, то можно нашу работу оценить и иначе. Теория учит нас, что, прежде чем приступить, надо подготовить необходимые условия и соответствующую почву. Как показала практика, наиболее подходящей почвой для перестройки является должным образом организованный, глубокий и всесторонний застой. Застой, товарищи, сразу не подготовишь. Для этого нужны годы и годы самоотверженного труда. Кто мог взяться за эту работу? Только мы, бюрократы. Семьдесят лет мы работали в этом направлении. Это была, товарищи, без преувеличения очень трудная историческая задача.

В наследство от царского режима нам досталась страна очень богатая плодородными землями, природными ископаемыми, лесами, запасами угля и различных полезных руд. Если бы нам досталась какая-нибудь бедная ресурсами страна, ну, допустим, Италия или Япония, — такую страну мы могли бы довести до состояния застоя в течение максимум одной пятилетки.

Имел значение также и человеческий фактор. В начале нашего пути застойным явлениям противились помещики и капиталисты. Мы их разгромили. Крестьяне. Мы их раскулачили. Наиболее долгое и упорное сопротивление оказывала наша трудовая интеллигенция. Мы с ней боролись все семьдесят лет нашего существования. Не секрет, что враждебные элементы проникли и в партию. Это были, конечно, отдельные элементы, но они составляли в ней большинство. Эти элементы пытались свернуть партию с правильного пути и вести ее к

застоем более долгим путем. Одно время им даже удалось уберечь нас от застоя путем введения так называемого НЭПа. От этих товарищей нам впоследствии пришлось избавляться.

К концу 20-х годов НЭП был своевременно отменен, и мы приступили к ускоренному созданию застойной ситуации. Наши достижения той поры всем хорошо известны, я их обрисую лишь в общих чертах.

С помощью коллективизации нам удалось достичь того, что прежде плодородные земли больше не плодородили, климат ухудшился, а урожаи уменьшились. Индустриализация привела к тому, что одна часть нашей промышленности производила продукцию, а другая часть перерабатывала ее в утиль. По запасам утильсырья мы вскоре вышли на первое место.

В 30-е годы благодаря нашим усилиям была создана широкая сеть лагерей общего, строгого и особого режимов и других исправительно-трудовых учреждений, которые стали хорошей школой трудового воспитания для миллионов наших трудящихся. При помощи наших замечательных заключенных были предприняты мероприятия по рытью мелководных каналов, заболачиванию сухих почв и запесочиванию плодородных. Однако нас поджимало время. Не секрет, что международная обстановка в те годы мало благоприятствовала нашим планам. В Германии в это время к власти пришли социалисты. Не скрою, мы надеялись на помощь германских товарищей, но они оказались национальными социалистами и действовали в эгоистических интересах своей нации. В этих интересах они напали на нас, добились разгрома своих войск и впали в застойное состояние на сорок лет раньше нас. Поэтому и перестройка у них началась тоже раньше. Нам же фактически пришлось начинать все сначала.

В послевоенные годы нам пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство и одновременно бороться с литературой, музыкой, живописью, с генетикой, кибернетикой, с низкопоклонством перед Западом и с уже тогда проявившим себя сионизмом.

Затем последовал период волюнтаризма, который задержал наступление застоя лет на десять. Тогдашнее

руководство тоже внесло свой несомненный вклад в создание застойных явлений, чему способствовали попытки перегнуть Америку, засадить кукурузою тундру и укрепление братских отношений с Венгерской Народной Республикой при помощи оружия. Однако те же годы для нас были омрачены массовым освобождением из лагерей граждан, еще недостаточно перевоспитанных, а также попытками подрвать наше единство путем введения принципа сменяемости кадров.

Мы нашли в себе силы трезво оценить ситуацию и принять неотложные меры. Волонтеры были отстранены от руководства, и наша партия взяла твердый и научно обоснованный курс на всеобщий застой.

С этой целью чуждый нам принцип сменяемости кадров был упразднен, и для руководства страной отбирались наиболее зрелые товарищи. Они трудились не покладая рук, до последнего, как говорится, дыхания, и некоторые не покидали свой пост вплоть до коматозного состояния.

В этот период в сельском хозяйстве был взят курс на дальнейшее упрочение колхозной системы, в результате чего мы приступили к широким закупкам зерна за границей.

Была проведена большая организационная и воспитательная работа в области литературы и искусства. Некоторым писателям была предоставлена возможность выступить с творческими отчетами в открытых судебных заседаниях с одновременной широкой рекламой их произведений за пределами нашей страны. Такие же условия были созданы и для других литераторов и лиц иных профессий. В результате по всей стране развернулось широкое диссидентское движение, которое способствовало расширению штатов в органах госбезопасности.

Одновременно в литературе внедрялся принцип единоначалия и научно обоснованный метод оценки произведений по должности, занимаемой автором.

В это же время мы не забывали и об угрозе со стороны международного коммунистического движения, которое еще непростительно медленно развивалось в сторону застоя. Наша бескорыстная помощь братской Че-

хословакии, а затем и неприсоединившемуся Афганистану сослужила хорошую службу резкому возрастанию застойных тенденций.

Говоря о других мерах, направленных на скорейшее создание застойной ситуации, необходимо отметить большую нашу заслугу в создании системы дефицита, в результате чего, товарищи, мы имеем, можно без ложной скромности сказать, бесконечный перечень товаров, которых в наличии не имеем.

И наконец, товарищи, не могу не отметить наших, прямо скажем, больших успехов в области коррупционализации нашего управленческого аппарата. Все эти годы мы работали дружно. Укреплялись дружеские, семейные и межсемейные отношения. Наши прямые доходы возрастали за счет повышения заработной платы, а непрямые — за счет добровольных пожертвований наших замечательных современников.

За время нашего правления в народе росла и крепла убежденность, что дальше так жить нельзя, что без перестройки обойтись никак не возможно. И поэтому, товарищи, очень обидно сейчас видеть и слышать, как некоторые несознательные, я бы сказал, элементы используют предоставленную им гласность в неблагоприятных целях очернения пройденного нами пути и умаления нашего вклада в дело перестройки.

На этом, товарищи, я заканчиваю, и позвольте ваши аплодисменты считать одобрением моей речи.

1986

| ЕЩЕ ОДИН СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В нашей стране, как известно, некоторые юбилеи принято праздновать с большим размахом. Юбилей советской власти, Вооруженных сил, Ленина, Ленинского комсомола. Наиболее запоминающимися для меня лично были юбилеи во времена так называемого брежневского застоя. В те годы, как раз в соответствии с тогдашней программой партии, должно было наступить полнейшее торжество коммунизма с предварительным перегонем Америки по мясу и молоку. Но, как говорит-

ся, партия предполагает, а Бог располагает; планы оказались несколько недоперевыполненными. В результате Америку не догнали, а тот уровень жизни, до которого постепенно дошел народ, коммунизмом назвать постеснялись. Хотя почему бы и нет? Основной идеал коммунизма — от каждого по способности, каждому по потребности — может быть вполне достижим, если потребности гражданина будут определяться сверху. Примерно такой коммунизм я даже и изобразил в одном из своих недавних сочинений. Но до столь простого решения вопроса власти сами не додумались, а меня не спросили, и поэтому, когда все обещанные и научно предсказанные сроки вышли, решили заменить светлое будущее бесконечным празднованием юбилеев. Не знаю, как на других, а на писателях и режиссерах в театре и в кино эти юбилеи отражались крайне болезненно. Потому что на время юбилеев все темы более или менее нормальные практически закрывались: партия требовала книг, фильмов, спектаклей о революции, о большевиках и о Ленине. На книги о чем-нибудь другом не хватало бумаги, на фильмы — пленки, а на театры... ну я даже не знаю, чего именно не хватало, но актеры и режиссеры страдали ужасно. И обычно в канун юбилея, если вы приходили в нужную инстанцию со своей поэмой, пьесой или сценарием не на генеральную тему, вам обычно говорили: «Ну что вы! Разве можно с подобной чепухой обращаться в такой знаменательный год! Вот подождите, юбилей отметим, тогда, конечно, тогда приходите, поговорим».

Один кинорежиссер, я помню, приступил к съемке фильма в очень неподходящее время — советская власть начала подготовку к своему пятидесятилетию. Он отснял уже несколько эпизодов, явилось начальство, требуя просмотра материала. Посмотрели, руками развели: «Да вы что, — говорят, — смеетесь! Да вы знаете, какой год у нас наступает? Что же вы не могли выбрать что-нибудь поближе к Ленину и революции? Нет уж, нет уж, очень жаль, но никак ваш фильм разрешить не можем, вот уже отъюбилеемся, тогда да, а пока что кладем вашу пленку на полку, авось не выцветет». Режиссер, понятно, очень переживал, потерял аппетит, бессонницей начал страдать, ходит, бормочет: «Скорей бы, — говорит, —

этот проклятый год кончился». Ну в конце концов желание режиссера исполнилось, проклятый год завершился парадом на Красной площади, вялым помахиванием ручек с мавзолейной трибуны, праздничным салютом и всенародным гулянием. Режиссер наш 8 ноября опохмелился, а девятого уже, отталкивая секретаршу, врывается в двери начальственного кабинета, не пора ли, мол, приступить к продолжению съемок. А начальство ему, фигурально говоря, фигу под нос, вы что, мол, милый, в календарь давно не заглядывали, не знаете, что ли, что у нас на носу пятидесятилетие славной нашей несокрушимой и легендарной Советской армии, то есть? Посмотрел режиссер в календарь, убедился, махнул рукой и заплакал. Хотя на что-то еще надеялся. Но напрасно. Потому что потом пошло пятьдесят лет комсомолу, сто лет со дня рождения Ленина, тридцатилетие Победы — пока весь этот круг прокрутили, а советской власти, глядишь, уже и шестьдесят годков стукнуло. А режиссер наш, кстати сказать, все это время тоже не молодец. Хотя жив остался, и за то спасибо. Тем более что один из двух сценаристов, писавших ему сценарий, за это же время помер. А режиссеру нашему повезло, он вместе с оставшимся сценаристом дожил до перестройки, увидел свой фильм в широком прокате и теперь сам вместе с ним катается. Даже и в наших краях побывал.

А вспомнил я об этой печальной, но с хорошим концом истории, наблюдая за советской литературой и культурной жизнью в нынешнем, юбилейном году. Юбилей, то есть семидесятилетие нашей любимой советской власти, собственно говоря, уже на носу, а ни о каких фильмах о Ленине или романах о большевиках я ничего не слышал. Они, конечно, где-нибудь там создаются, но пишут о них не так много, как раньше. Зато узнал я, что другой юбилей, семидесятилетие организации, которая в газете названа ВЧК—ОГПУ—КГБ СССР, будет широко отмечаться и в кино, и в литературе.

Чекисты, надо сказать, к грядущему торжеству стали готовиться загодя, за четыре года до его наступления. И тогда же объявили о литературно-кинематографическом конкурсе на панегирик самим себе. Кто в этом деле преуспеет лучше других, тому будут вручены дипломы и

премии до 3000 рублей. Об этом я узнал из попавшей ко мне поздравительной «Литературной России» от 24 июля. В этом номере газеты напечатаны два интервью — первого секретаря Союза писателей СССР Владимира Карпова и первого секретаря Союза кинематографистов Элема Климова. Интервью не одинаковы. Климов хотя и согласен, что чекистов следует изображать на экране, но критикует некоторых своих коллег, что они это делают халтурно. О чекистах он тоже отзывается как о людях, в работе которых есть отдельные недостатки. Например, прохлопали чужой спортивный самолет. Что касается Карпова, он в целом доволен как чекистами, так и писателями.

Судя по словам Карпова, литература о «воинах невидимого фронта» развивается неплохо. Только за последние три года было издано более 250 книг общим тиражом 18,5 миллиона экземпляров. Карпов совершенно справедливо утверждает, что «романтика и героика многотрудной, суровой, зачастую полной страстей и драматизма службы чекистов... всегда привлекала внимание писателей». Вот уж что правда, то правда. Всегда-всегда, с самого начала зарождения органов, писатели пристально следили за их деятельностью. Иногда даже так следили, что по ночам вслушивались, чьи это там сапоги грохают и к кому, уж не ко мне ли? Писатели следили за чекистами, а чекисты за всеми. В том числе и за писателями. Работа с писателями велась самая разная. Писателей сажали, ссылали, страшали, иногда даже убивали. По скромным официальным данным, в годы культа личности были репрессированы 600 членов Союза писателей. Если учесть, что за годы советской власти работники невидимого фронта уничтожили видимо-невидимо всякого другого народу (некоторые исследователи считают: 60 миллионов), число 600 может показаться кому-нибудь не таким уж большим. Не много, но не так уж и мало. Не все, конечно, но есть такие писатели, которых природа производит поштучно. И если взять таких уникальных и одного застрелить, другого посадить, третьего на воле замордовать, то, глядишь, от литературы ничего не останется.

Особое внимание чекистов к литературе проявляет-

ся еще и в том, что оно долговременно. Скажем, если интерес чекистов к сельскому хозяйству остыл, генетикой и кибернетикой они тоже больше вроде не занимаются, то литература из сферы их интересов пока что не выходила. И интерес этот самый разнообразный. Ведь писателей не только сажают, не только убивают. Допустим, в Союзе писателей просто разбирается персональное дело кого-то, кто написал что-то не то, а написав не то, напечатал не там. За таким разбором невидимые герои всегда внимательно наблюдают. Потому что персональное дело — это как бы предварительное приготовление жертвы к дальнейшей обработке.

Надо сказать также, что само по себе наличие органов госбезопасности отражается на форме и стиле сочинений писателей и, уж конечно, на круге избираемых тем.

Сотрудничество писателей с чекистами, в свою очередь, тоже отличается большим разнообразием форм. Многие писатели охотно или неохотно помогали чекистам в качестве стукачей и внутренних рецензентов. Надо, скажем, того или иного писателя замордовать, для начала зовут критика. Критик пишет внутреннюю рецензию, которая обычно отличается определенной направленностью и прямотой. Например, критик, разбиравший для КГБ сочинения Андрея Синявского, закончил свой ученый труд выводом, что таких авторов следует расстреливать как бешеных собак.

Если бы мне на празднике КГБ доверили выступить с юбилейной речью, я бы провел сравнение работы чекистов с работой писателей и выявил много общего. Дело в том, что и те и другие работают не только над документальным материалом, но одинаково широко используют художественный вымысел. Причем вымысел чекистов бывает более изощренным и изобретательным, чем писательский, и гораздо прямее влияет на саму жизнь. Не случайно многие чекисты впоследствии сами становятся писателями, так же, впрочем, как и некоторые писатели становятся чекистами.

Перечисляя количество книг о чекистах, Владимир Карпов не учел сочинений, которые не были напечатаны в Советском Союзе. И напрасно. Они могли соста-

вить немаловажное дополнение к основной Чекиане или даже войти в ее золотой фонд. А таких книг довольно много. Это, допустим, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова, «Путешествие в страну ЗК» Марголина.

Надо сказать, что огромный и поистине неоценимый вклад в литературу о чекистах внесен писателями-эмигрантами. Обладая разным прошлым, эти писатели создали много леденящих кровь сочинений о различных сторонах деятельности КГБ, о работе чекистов в стране и за рубежом, о подрывных операциях, провокациях, массовых расстрелах и отдельных убийствах из-за угла. Заодно скажу, что книги эмигрантов почти все так или иначе связаны с ЧК. На какую бы тему они ни были написаны, в них обязательно фигурирует или следователь, или заключенный, или стукач.

Ко всему этому следует добавить, что чекистской тематикой интересовались и интересуются и многие иностранные авторы. Тут я бы назвал книги «Большой террор» Роберта Конквеста, «Тьму в полдень» Артура Кёстлера и две книги Джона Баррона, одна из которых называется просто «КГБ», а другая «КГБ сегодня».

Я думаю, что если все эти книги включить в курс, посвященный славному юбилею КГБ, то он получится более представительным и более интересным.

1987

БОРЬБА ЛЫСЫХ И ВОЛОСАТЫХ

Советская государственная система одна из самых загадочных в мире. Она существует вот уже семьдесят лет, а до сих пор никто не может понять, что это такое. Одни говорят, это марксистское общество, другие утверждают, что оно с марксизмом не имеет ничего общего. Одни настаивают, что это и есть социализм, другие называют это государственным капитализмом или даже феодализмом. Много споров идет насчет истоков советской агрессивности. Проистекает ли она из коммунистического учения или это проявление исконного русского империализма? Но самым, кажется, спорным яв-

ляется вошедшее в моду деление советских руководителей на ястребов и голубей. Кто-то когда-то придумал это деление, и с тех пор из года в год идет выяснение, кто из советских политиков относится к первому, а кто к другому виду пернатых, каково соотношение тех и других, какие среди них идут разногласия и на какое направление советской политики следует при этом рассчитывать. Этим занимаются разведки, министерства, департаменты и исследовательские центры. Тысячи высокооплачиваемых советологов вглядываются в лица советских руководителей, вникают в их многочасовые и невнятные речи, отыскивая между строк смутные намеки на голубиное или ястребиное направление мыслей. С радостной надеждой обращают свои взоры на пиджак, сшитый у Диора или Кардена, приходят в восторг, замечая, что жена советского лидера расплывается за свои ожерелья карточкой «Америкэн экспресс», а про ее мужа сочиняют сладостные легенды, будто он в свободное от работы время слушает битлов, читает в оригинале Жаклин Сьюзен или Сьюзен Зоннтаг и вообще говорит с английским акцентом. (Справедливости ради надо сказать, что советские руководители, и голуби, и ястребы, даже по-русски изъясняются с элементарными грамматическими ошибками, а слова выговаривают так, как будто у них рот набит кашей. Впрочем, английский акцент тоже имеет место. Например, Брежнев русскую букву «в» произносил как английскую «дабл ю».)

Вся эта гигантская работа не дала до сих пор серьезных результатов, между тем как соотношение сил на советских верхах можно определить с первого взгляда, если воспользоваться моей новой и гораздо более правильной методологией и делить кремлевских правителей не на ястребов и голубей, а на лысых и волосатых.

Некий наблюдательный человек заметил, что смена лысых и волосатых руководителей в Кремле происходит с такой же неизбежностью, как смена дня и ночи. И в самом деле, Ленин был лысый, Сталин — волосатый, Хрущев — лысый, Брежнев — волосатый, Андропов — лысый, Черненко — волосатый, а какой Горбачев, объяснять не приходится, его портрет известен всем.

Из этого открытия, которое следует считать револю-

ционным и фундаментальным, можно вывести ряд определенных закономерностей. Вот они. Все лысые (Ленин, Хрущев, Андропов, Горбачев) революционеры или, по крайней мере, реформаторы. Все волосатые — реакционеры. Все лысые были утопистами и в конце концов терпели поражение. Ленин хотел построить коммунизм, не построил. Хрущев собирался засеять всю территорию СССР кукурузой, перегнать Америку по мясу и молоку и тоже построить коммунизм, но не достиг успеха ни в том, ни в другом, ни в третьем. Андропов намеревался укрепить дисциплину и повысить производительность труда, но не успел. Чем кончатся усилия Горбачева, мы пока не знаем, но опыт его предшественников наводит на грустные размышления.

Волосатые, напротив, всегда добивались того, чего хотели. Сталин хотел превратить Советский Союз в супердержаву, чего и достиг. Брежнев хотел стать маршалом и писателем, стал и тем и другим. У Черненко, когда он пришел к власти, могло оставаться только одно желание — быть похороненным на Красной площади, он там и есть.

К этому надо добавить, что от лысых всегда были одни неприятности. Они, по существу, не укрепляли, а расшатывали существующую систему, и волосатым приходилось упорно работать, чтобы уменьшить последствия разрушительной деятельности лысых. Ленин создал партию революционеров, с помощью которой сокрушили империю. Сталин потратил тридцать лет своей жизни на то, чтобы сначала уничтожить ленинскую партию, а затем восстановить империю примерно в прежних границах и даже расширить их. Хрущев десять лет восстанавливал ленинские нормы, Брежнев восемнадцать лет реставрировал сталинские нормы. Андропов успел очень немного, поэтому и историческая миссия Черненко оказалась короткой.

Теперь пришел к власти поистине выдающийся реформатор Михаил Сергеевич Горбачев. Он энергично взялся за дело и за два с половиной года своего правления успел сделать столько, сколько Хрущеву не удалось за десятилетие. Горбачев обещает перестроить советское общество, сделать его динамичным, экономически силь-

ным, демократичным, жизнеспособным и миролюбивым. Многие его планы вызывают симпатию разных людей, и я их охотно поддерживаю, надеясь, что они все-таки сбудутся. Но когда я думаю о перспективах, я исхожу из соображения, что Горбачев правит Советским Союзом не единолично, у него есть соратники и помощники. Я думаю, кто же они, и всматриваюсь в портреты руководителей КПСС. И вот мои наблюдения. В Политбюро ЦК КПСС самым лысым после Горбачева является активный перестройщик и реформатор Александр Яковлев. При внимательном рассмотрении можно заметить обнадеживающие просветы в курчавой шевелюре Эдуарда Шеварднадзе. Лысым его назвать никак нельзя, но лысоватым можно. Совсем недавно полным членом Политбюро был избран Виктор Никонов, которого с некоторой натяжкой можно тоже отнести к лысоватым. Остальные члены Политбюро — Воротников, Громыко, Зайков, Лигачев, Рыжков, Соломенцев, Чебриков, Щербицкий — вполне волосаты. Причем совершенно очевидно, что чем волосатей, тем реакционней. Подведем баланс: два лысых, два лысоватых и девять (!) волосатых. Положение лысых покажется нам еще более шатким, если мы посмотрим на портреты кандидатов в члены Политбюро — они все до одного волосаты. (Среди них был один более или менее лысый — министр обороны Сергей Соколов, но ему пришлось покинуть свой пост благодаря подвигу длинноволосого Матиаса Руста.)

Похоже, что главным представителем фракции волосатых является второй человек в Политбюро — Лигачев. Образ его мыслей вполне соответствует густоте волосяного покрова. То он призывает писателей к созданию еще более ярких образов коммунистов (хотя уже созданы такие образы, что ярче не бывает), то обрушивается на газету «Московские новости» за некролог об умершем в эмиграции писателе Викторе Некрасове, а то и вовсе ностальгически вздыхает по временам брежневского застоя: это, оказывается, для него были очень интересные и продуктивные годы. Со странными для времен перестройки и гласности речами выступает председатель КГБ Виктор Чебриков. Несмотря на большие залысины, он все-таки тоже относится к волосатым.

Состав секретарей ЦК КПСС, не входящих в Политбюро, тоже не обнадеживает. Один из них — Анатолий Добрынин — до степени оголенности черепа имеет шансы быть причисленным к реформаторам, но его влияние на ход событий вполне может быть уравновешено и даже нейтрализовано включением в число секретарей Александры Павловны Бирюковой, у нее прическа просто шикарная.

Короче говоря, хотя в целом влияние лысых значительно возросло, подавляющее большинство принадлежит волосатым, и это не может не настораживать.

Должен признаться, я тоже пока что не облысел. Я, однако, стою на стороне лысых и надеюсь на то, что они в конце концов окажутся в большинстве. Но как этого достичь, я не знаю. Подбирать руководящие кадры по степени лысости недемократично и пахнет дискриминацией. Выдергивать волосы — больно. Брить головы наголо, как это делают некоторые звезды рок-концертов, бесполезно: волосы отрастают довольно быстро. Так что изменить ситуацию практически невозможно. Но вполне возможно, наблюдая за соотношением в советском руководстве лысых и волосатых, научно предсказать вероятное направление советской политики на ближайшее время.

Я полагаю, что отныне этот мой скромный труд станет незаменимым пособием для западных лидеров, дипломатов, банкиров, промышленников, бизнесменов и советологов. Я надеюсь, что теперь люди, ведущие с Советским Союзом переговоры о разоружении, строительстве газопроводов, предоставлении кредитов и расширении культурных обменов, руководствуясь данным исследованием, будут обращать внимание на состояние причесок советских руководителей и только после этого принимать ответственные решения.

1988

| ДАВАЙТЕ ПОФИЛОСОФСТВУЕМ

Признаться, люблю на досуге пофилософствовать. Я даже учение философское создал, суть которого сводится к трем утверждениям, соединенным в одно: жизнь

коротка, соблазнов в ней много, а денег мало. Философия моя тем хороша, что бесспорна и в проверке не нуждается. А вот некоторые другие нуждаются. Помню высказывание одного советского философа. Оно было сделано на заре развития электроники, когда простейшие компьютеры еще не помещались в коробке от сигарет, а представляли собой сооружения величиной с шестизэтажное здание. Так вот в те самые времена, когда в Советском Союзе появился первый подобного рода мыслящий монстр, какой-то академик-философ, может быть, Митин, а может быть, кто-то другой, ознакомился с работой этой громадины и сказал так:

— Говорят, что электронно-вычислительная машина очень умна. Говорят, что, если заложить в нее все положения марксизма, она точно скажет, правильное это учение или неправильное. Но мы такой проверки, конечно же, никогда не допустим.

Я вспомнил это высказывание недавно, когда смотрел выступление по советскому телевидению группы ведущих советских философов, в составе которой были два академика, Фролов и Ойзерман, член-корреспондент Академии наук Степин и девять профессоров.

Речь шла о месте философии в жизни вообще, о месте философии в жизни советского общества и о той практической роли, которую философия может играть в условиях перестройки.

Откровенно говоря, передачу эту я начал смотреть без особого энтузиазма, потому что предмет дискуссии, во всяком случае, в тот момент, когда я начал смотреть передачу, лежал далеко от сферы моих интересов. Кроме того, я предполагал, что философы-профессионалы воспарят в какие-то недоступные высоты и заставят меня напрягать свою мысль, а напрягаться мне никак не хотелось. Но послушав немного, я заинтересовался, вник в предмет дискуссии и остался от нее под очень сильным впечатлением. Но... как бы это сказать поточнее... на меня произвели впечатление не высота и не глубина, а напротив, в некоторых случаях совершенно детский уровень размышлений. Хотя были выражены и серьезные мысли. Например, профессор Соловьев вспомнил послевоенное высказывание Сталина о покорности рус-

ского народа, который терпит такое правительство. Философ сказал, что покорность и терпеливость народа хороши в меру и что народ должен уметь отстаивать свои права. И это правильно не только с точки зрения народных, но и государственных интересов. Судите сами. Государство, которое постоянно давит народ и принуждает его к безусловной покорности, в конце концов проигрывает. Народ работает покорно, но плохо. В результате плохой работы всего народа государство слабеет и приходит к результатам совсем не таким, которых оно ожидало. Выступавшие философы много говорили о пользе и необходимости критики. Без критики, говорили они, никакой смелости мысли быть не может, без критики нельзя познать действительность, без критики нельзя развиваться. Но в последнее время в философии, как и во всем остальном, наблюдался некоторый застой, и философам приходилось, как они теперь признают, говорить чепуху. Например, именно философы в шестидесятые годы пришли к выводу и убедили в нем Хрущева, что нынешнее, то есть тогдашнее, поколение будет жить при коммунизме. Во-первых, это, по-моему, не точно фактически. Если не ошибаюсь, это еще Ленин говорил, что нынешнее, то есть существовавшее при нем, поколение доживет до коммунизма. Во-вторых, кто бы это и когда ни сказал, при чем тут философия? Это некое предположение (неважно даже, правильное или неправильное), некий план, который к философии никакого отношения не имеет. Академик Ойзерман рассказал, что еще совсем недавно его коллеги-философы пороли такую чушь, что даже уши вяли. Например, однажды он и его старший коллега (а раз старший, то, наверное, тоже в неменьшем чине) встречались со своим американским коллегой. Причем не каким-нибудь там антисоветчиком, а (Ойзерман это подчеркнул) другом Советского Союза. Но держались все-таки настороженно. Пока друг Советского Союза критиковал капиталистическую систему, наши философы ему охотно поддакивали. Но потом друг спросил: «А у вас есть какие-нибудь недостатки?» И тут философы растерялись и не знали, что ответить. И мне такая их беспомощность кажется странной. Чего там теряться? Нет никаких недос-

татков, да и все. Это же ясно. Потом от недостатков и достоинств двух систем перешли к обсуждению проблемы, что будет в случае мировой войны. Обе стороны согласились, что ничего не будет. Вернее, ничего не останется. Но и этот печальный вывод не поколебал убеждения старшего коллеги Ойзермана, что как бы то ни было, будет война или не будет, а социализм на Земле все равно победит. То есть победит даже в том случае, если наша планета превратится в пылающий шар или, наоборот, в насквозь промерзшую глыбу. Ну конечно, для произведения подобного рода мыслей быть академиком вовсе не обязательно. Достаточно закончить пару классов школы для дефективных. И я бы отнесся с сочувствием к критическим воспоминаниям Ойзермана, но и его собственные теперешние рассуждения поразили меня своей инфантильностью. Почему, говорит он, почему я не могу высказывать то, что думаю? Даже если я выскажу ошибочную мысль, разве я перестану быть советским человеком, разве перестану быть марксистом? Говоря это, академик разволновался, и мне захотелось его немедленно утешить и сказать: «Не беспокойтесь, товарищ Ойзерман, если вы будете таким способом доказывать свою правоту, то ни советским человеком, ни марксистом вы быть не перестанете, нет. А вот станете ли вы философом, это, несмотря на ваше высокое звание, еще не ясно». Мне кажется, что нормальный философ, доказывая истину, вовсе не должен беспокоиться, чтобы она вписывалась в пределы исповедуемого им учения. Больше того, если истина не соответствует учению или даже опровергает его, и философ это обнаружил, значит, он сделал открытие, значит, он имеет моральное право на время помешаться от радости и, как Архимед, с криком «Эврика» бежать по улицам, распугивая прохожих. А если он должен доказывать не истину, а свою приверженность учению, то ему будет трудно доказать свою принадлежность к профессии философа.

Мне скажут, конечно: «Как же? Как же?..»

А я скажу: «А вот так же».

Дело в том, что для нормальной философии никаких закрытых для обсуждения тем, никаких запретных тем не должно быть. Конечно, бывают времена, когда глу-

бина философских рассуждений соотносится со статьями Уголовного кодекса. В таких условиях человек имеет право от философии отказаться и найти себе более безопасную профессию, скажем, пойти в каскадеры. Или философствовать с женой на кухне. Или продолжать свое дело официально, в пределах установленных ограничений. Но в таком случае следует философски сознавать, что то, чем ты занимаешься, есть служение чему-то или услужение, что угодно, только не философия.

Как я уже сказал, участники дискуссии, ссылаясь, конечно, на Маркса, говорили, что философия невозможна без критики, причем не какой-нибудь критики отдельных недостатков, а критики буквально всего. Одна из участниц, профессор Гайдено, напомнила о Рене Декарте, который подвергал сомнению все сущее. А если все сущее, то, может быть, можно подвергнуть сомнению и... позвольте перевести дыхание... дайте воды...

Говорят, сказавши «а», надо сказать и «б». А сказавши «б», двигаться дальше до самого конца алфавита. До самой буквы «я». Если подвергать сомнению все, то следует подвергнуть ему и учение Маркса. Прошу товарищей марксистов понять меня правильно, и если очень хочется, то даже в чем-то поправить, но я далек от того, чтобы объявлять марксизм недостойной внимания ерундой. Говорить так о теории, с помощью которой был перевернут весь мир, было бы слишком неосмотрительно. Но ведь что говорят? Марксизм — единственно правильное учение. Само это утверждение есть с философской точки зрения совершенный абсурд. Если это учение абсолютно и бесспорно верно, значит, оно перестает быть наукой, а превращается в религиозное вероучение, которое развивать нельзя. Его можно только толковать, да и то в ограниченных пределах. Это значит также, что все остальные мировоззрения, которые возникли до Маркса, при Марксе и после Маркса, — неправильные. Ну допустим... Тогда, философствуя дальше, подумаем: а почему же в некоторых странах люди, не изучивши Маркса, вырастают большие урожаи, шьют добротные сапоги, делают отличные автомобили и за болгарской зубной пастой в очередях не стоят. Может быть,

они достигают этого с помощью какого-то неправильного мировоззрения?

Сколько существует марксизм, столько среди его толкователей идут жестокие споры, иногда даже с применением огнестрельного оружия. Противники уличают друг друга то в догматизме, то в ревизионизме. Причем споры ведутся на уровне средневековых дискуссий на тему о том, сколько дьяволов поместится на конце иголки.

И тут я подхожу к самому главному пункту моих ненаучных рассуждений. А может быть, вообще марксизм не надо ни догматизировать, ни ревизовать, а если что нужно, брать из него, а что не нужно, выкидывать. Мысль, конечно, кощунственная, но философия кощунства не признает и, как сказано выше, подвергает сомнению все. А я лично от сомнений перейду к утверждению, в котором не мог бы усомниться даже Декарт. А именно, что никакого единственно правильного мировоззрения в мире нет и быть не может. Больше того, оно вообще никому не нужно. Ведь, правда же, есть огромный мир, в котором все учения сосуществуют и по отдельности и в смешанном виде. Все они одновременно и признаются, и подвергаются критике, и отвергаются. Признавать только одно учение, даже очень хорошее, это все равно, что пользоваться, ну, допустим, аспирином для лечения насморка, рака, экземы, катаракты и облысения. Как говорили в былые времена сами марксисты, предполагать возможность единственно правильного учения — это идеализм, гегельянство и кантианство.

В другое время я, возможно, и не стал бы обо всем этом говорить. В конце концов, что мне до марксизма? Но дело в том, что, если люди, которые руководят перестройкой, хотят довести этот процесс до конца, они должны до конца все додумать, дойти, как говорится, до самой сути и признать, что никаких единственно правильных мировоззрений нет, быть не может и не надо.

Как-то мне пришлось разговаривать с одним очень ученым американцем. Я ему рассказывал о жизни в Советском Союзе, которую он себе представлял довольно смутно. И очень удивлялся. И спрашивал, а почему это

таким образом устроено, а не таким? А потому, отвечал я, что это соответствует марксизму. А почему нельзя сделать так-то? А потому, что это будет противоречить марксизму. Американец меня слушал-слушал, а потом с чего-то вдруг разволновался, вскочил, стал бегать по комнате, размахивать руками, хлопать себя по лбу.

— Я в вашей жизни могу понять многое. Но я не понимаю одного: почему в век компьютеров, лазеров, атомных реакторов и космических кораблей вы двумя руками держитесь за учение этого парня, который в жизни не видел даже простой стиральной машины?

1988

РЕЧЬ О СИОНИЗМЕ НА РАСШИРЕННОМ ЗАКРЫТОМ
ЗАСЕДАНИИ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА
«ВАШ СОПЛЕМЕННОК» С АКТИВОМ

Уважаемые товарищи сопляки... то есть, извиняюсь, я имел в виду соплеменники. Соплеменницы тоже.

Мы собрались здесь на закрытом заседании для того... Кстати, надеюсь, все двери-окна закрыты, никто посторонний не просочился. Нет? А то ведь они, те, о ком я буду сейчас говорить... Они имеют такую способность и пролезают повсюду. Пошарьте под лавками, оглянитесь вокруг себя, взгляните в своего соседа, загляните в собственную душу: не сидит ли там сионист? Это я говорю, потому что, увы... Сионисты — это такая порода... Все наши попытки защититься от их проникновения к результатам приводят плачевным. И это снова — увы. Закрываем двери, шпингалетами окна, заклеиваем форточки, конопатим все щели — все равно проникают, как радиация.

Некоторые беспечные люди считают: ну и пусть, мол, себе проникают, что в том плохого? А я спрошу так: а что в том хорошего?

Всем давно известно то, чего никто никогда не слышал, а именно что? Что сионисты хотят нас поработить и растлить наши души и вообще хотят, чтобы наша нация исчезла с лица Земли. С этой-то целью они (дважды и трижды — увы) достигли немало. Они распяли Хри-

ста, совершили революцию, уничтожили видимо-невидимо наших храмов и святых мест, а народ наш нещадно спаивают: пей, говорят, Ваня, истина в самогоне. Здесь они успехов достигли? Достигли, тысячу раз — увы. Также пытаются изменить наш генотип, а именно: жениясь на наших женщинах и выходя замуж за наших мужчин, делают нам полукровок. Пользуясь нашей безграничной доверчивостью, перекрашиваясь в блондинов, скрываясь под нашими именами.

Можно ли дальше такое терпеть? Конечно, нельзя. Тут встает старый вопрос: что делать? Некоторые рекомендуют методы: бей сионистов, спасай Россию. Выйдет из этого чего? Нет, не выйдет. А как же быть? Надо подойти научно. Первое — изучить проблему, второе — принять решение, третье — начать действовать. Так вот, изучение проблемы показывает, что мы (миллион раз, увы) действуем непрактично, прямолинейно, получается шуму много, а толку мало. А на самом деле надо учиться у них. Они действуют исподтишка, они к нам проникают, они нас разлагают, они делают вид, что они — это мы. Давайте и мы будем действовать так же, давайте противопоставим, давайте мы к ним проникнем, давайте мы их разложим, давайте сделаем вид, что мы — это они.

Некоторые вопрошают, как это практически. А практически это так. Давайте прямо сегодня перекрасимся в брюнетов и подкурчавим перекрашенные прически, потому что сионисты, как мы знаем, бывают обыкновенно курчавы. Второе, я знаю, что любой из нас готов для торжества нашего дела пожертвовать всем своим. Давайте, не впадая в крайности, пожертвуем для начала не всем, а только лишь крайней плотью. Это называется обрезанием. Скажу сразу, что операция эта почти безболезненная и полезная в гигиеническом отношении. Так говорят сионисты, а они знают, что говорят. Между прочим, операция и безопасная, поскольку будет производиться специалистом, приглашенным нами из синагоги. Некоторые товарищи спрашивают: а нельзя ли обойтись? Отвечаю: обойтись никак нельзя — на следующее заседание будут пропускаться только товарищи по предъявлению доказательств, что они все это проделали.

Ну конечно, вам всем хорошо известно, что сионисты — народ подозрительный и недоверчивый. Одним только обрезанием их не проведешь, тем более что мусульмане делают то же самое. Поэтому для усыпления их бдительности мы должны принять иудаизм, носить ермолки, отрастить пейсы, ходить в синагогу и соблюдать субботу. Это, кстати, означает, что отныне все субботники должны быть отменены и заменены воскресниками. К сожалению, мы подсчитали свои возможности и видим, что с кошерной пищей у нас не получится. Но тут, товарищи, нам поможет мировой сионизм. Как только они убедятся, что мы обрезались, приняли иудаизм, носим ермолки, ходим в синагогу и соблюдаем субботу, они нас завалят кошерной пищей. Что? Кошерная пища — это не вегетарианская пища. Кошерная даже водка бывает. И закуска к ней тоже. Так что с этим все в порядке.

Чтобы усыпить бдительность, надо нам подумать о том, на каком языке мы пишем. Пора, пора, товарищи, переходить на идиш и на иврит. Понятно, что оба языка нам совершенно чужды, поскольку даже писать, особенно в зрелом возрасте, задача не из легких. Но не секрет, что многие из нас, и нашим не овладев, все-таки что-то пишут.

И еще один аспект, тоже довольно важный. Как я уже сказал, они выходят замуж и женятся на нас, делая нам полукровок. Давайте ответим тем же, будем жениться на них, выходить за них замуж, делая им полукровок.

Ну вот, товарищи. Что еще? Ну больше ничего. Поговорили — пора за дело. Еще раз, увы, и шалом.

1989

| СКОЛЬКО СТОИТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

Когда 20 января 1990 года я прилетел в московский аэропорт Шереметьево, там шла обычная жизнь. На конвейере под вывеской «Мюнхен» кружился багаж, прибывший из Глазго, но его никто не брал, потому что пассажиров этого рейса направили к табло с надписью

«Стамбул», я же свой мюнхенский чемодан нашел на ленте, подававшей груз из Карачи.

Пройдя наконец через таможенный пост, я стал искать глазами встречавших, но никого из них не увидел. Уловив мои затруднения, ко мне тут же подбежал человек, посмотрел на меня, спросил, нужна ли машина. Я ответил: нужна.

— Оплата только в СКВ, — предупредил он.

— В чем? — Я после долгого отсутствия еще не освоился в Москве и из употребляемых аббревиатур знал СССР, КПСС, КГБ и другие, а о СКВ никогда не слышал. Предлагавший машину посмотрел на меня разочарованно и ринулся прочь. Человек, не знающий, что такое СКВ, стоит ли хоть какого внимания?

Я успел схватить его за рукав и переспросил еще раз, что значит СКВ.

— Свободно конвертируемая валюта, — объяснил он, явно сомневаясь, стоит ли на меня вообще тратить хоть какие-то слова.

Я ему сказал, что хотя я не знаю, что такое СКВ, но немного СКВ у меня при этом имеется. И спросил, сколько долларов он возьмет с меня за перемещение моего тела и чемодана отсюда до центра города.

Он посмотрел, подумал и ляпнул: два. Понимая, видимо, что заломил лишнего, и готовый сбавить ровно наполовину. Но я, вспомнив, что последнее путешествие в Нью-Йорке от аэропорта Кеннеди до Сорок четвертой улицы обошлось мне почти в пятьдесят долларов, спорить не стал и сказал, что согласен. На его лице сразу изобразилось разочарование, рожденное мыслью, не слишком ли мало он запросил. Но увидев приблизившегося конкурента, который мог бы подрядиться за доллар, схватил мой чемодан и побежал впереди, уверенно лавируя между сбившимися в кучу машинами.

Всеобщая охота за долларами — это то новое, что бросается в глаза приехавшему в СССР после долгой отлучки. Раньше владение этой валютой считалось преступлением даже большим, чем чтение запрещенных книг. Приобретать ее, хранить, а тем более тратить было очень-очень опасно. Теперь иностранная валюта почти

что легализована, советские деньги падают в цене катастрофически и скоро будут стоить не больше, чем бумага, на которой они напечатаны.

Лет пятнадцать тому назад анекдотическое армянское радио спрашивало своих воображаемых слушателей: «В каком соотношении находится английский фунт стерлингов к советскому рублю?» Ответ: «Один к одному. На один фунт стерлингов дают один фунт рублей». Теперь этот анекдот не кажется уже анекдотом.

Судя по рекламным приложениям к советским газетам, за рубли можно купить породистых щенков, отциклевать полы или нанять репетитора по подготовке в вузы. И это почти все. Объявления о продаже дач, автомобилей, компьютеров или стиральных машин часто заканчиваются кратко выраженным условием: «Только за СКВ».

Несколько советских газет я купил еще перед отлетом из Мюнхена и по дороге пытался вникнуть в суть возникших в СССР финансовых скандалов.

Кооператор Артем Тарасов публично высказал мнение, что Горбачев договорился с японцами и продаст им четыре маленьких острова Курильской гряды за 200 миллиардов долларов. Лично меня в этой сделке удивила только цена. Что же касается остального, то почему бы и нет? Советский Союз уже распродал немало своих ресурсов: нефти, золота, алмазов и прочего, почему бы и не продать какие-то острова? Тем более что такой опыт уже был. Сто с лишним лет тому назад тогдашний перестройщик царь Александр Второй продал американцам полуостров Аляска, продал, как говорят, за бесценок. А тут за какие-то ничтожные островки столько денег.

Я слышал, что для спасения всей советской экономики нужно всего-навсего 25 миллиардов долларов, а японцы дают сразу двести. СКВ у Советского Союза мало, а земли сколько угодно, и если за такую цену продавать ее по кусочку, то все советские люди могли бы, ничего не делая, немедленно войти в коммунизм и жить там, как арабские шейхи.

Я было совсем уже размечтался, когда в другой газете прочел об еще более крупной, но менее удачной сдел-

ке. Заместитель премьер-министра РСФСР Геннадий Фильшин, соблазнившись шелестом СКВ, одобрил намерение фирмы «Эхо» продать на Запад 140 миллиардов советских рублей за 7,7 миллиарда американских долларов из расчета 1:18,5. Тут же для устрашения читателя было подсчитано, что для перевозки такого количества рублей нужно, по крайней мере, десять железнодорожных вагонов. Сделка не состоялась. Она была вовремя (как всегда) разоблачена Комитетом государственной безопасности, а газета, которую я читал, обвиняла Фильшина, что путем этой сделки он хотел продать Россию.

То, что он хотел продать Россию, меня не удивило. Меня удивило, почему так дешево. Когда-то мой сын, будучи еще маленьким мальчиком, спросил меня: «Папа, почему автобус такой большой стоит дешево, а такси такое маленькое стоит дорого?» Теперь я тоже задал такой же вопрос самому себе: «Почему Россия большая стоит дешево, а островки маленькие стоят дорого?»

Начитавшись таких вещей, я решил тоже провести некоторую финансовую операцию и на другой же день побежал в сберкасса. Там стояла огромная очередь желающих получить даже не СКВ, а нашу валюту, которую люди в последнее время неуважительно зовут деревянной. Очередь нервничала, очевидно, люди хотели ухватить свои собственные деньги до того, как Фильшин распорядится погрузить их в вагоны.

Я провел в очереди полтора часа и, не выдержав, покинул ее, тем более что у меня были другие дела.

22 января я отстоял еще два часа, на этот раз не напрасно, и снял со своего счета тысячу рублей. Всю эту сумму мне выдали пятидесятирублевками, такими симпатичными зелеными бумажками, похожими на американские доллары, только с портретами не Джорджа Вашингтона и не Авраама Линкольна, а Владимира Ленина. Двести рублей я в тот же день потратил, восемьсот осталось. А тут вдруг правительственное сообщение об обмене пятидесяти- и сторублевых купюр, которые через три дня станут недействительными.

Что делать? Кто-то мне объяснил, что деньги надо менять по месту работы. А у меня никакого места работы нет, не считая собственного письменного стола. Да и

тот стоит пока что не в Москве, а в Мюнхене. Будь я пенсионером, я мог бы поменять деньги на почте. Но поскольку я неизвестно кто, мне надо идти в райисполком и доказать, что эти деньги я не украл. Я написал объяснение, что, будучи теперь печатаемым в СССР писателем, я получаю за свои книги гонорары, которые храню в сберкассе, откуда эти деньги и взял. Я указал номер сберкасси и номер счета, отметил время снятия денег и назвал двух свидетелей, которые при этом присутствовали.

На другой день я на всякий случай простился со своими близкими и отправился в райисполком. По дороге я видел длинные очереди у дверей сберегательных касс, почтовых отделений и еще каких-то контор, где меняли деньги. У одной очереди стояла «Скорая помощь», и санитары заталкивали внутрь носилки с бедно одетой старухой. Старуха лежала на спине, прижимая к груди холщовую сумку, из которой высывались зеленые, похожие на доллары бумажки. Я спросил, что случилось. Мне сказали, что старушка принесла десять тысяч рублей, а ей обменяли только двести. Она не выдержала такого разочарования и, прижавши свое богатство к груди, тут же без лишнего шума скончалась.

Увидев такое, я решил в исполком не ходить. Ну его к черту, подумал, не буду уподобляться старушке. Та за десять тысяч жизнь свою отдала, а я свою неужели отдам за восемьсот?

В райисполком я не пошел, а отправился гулять и вскоре оказался в подземном переходе под площадью Пушкина. Здесь шла бойкая торговля изданиями самого разного толка, от правоверных коммунистических до газеты «Эротический Вестник» и брошюры «Гомосексуализм и советское право». Я двинулся дальше и дошел до гостиницы «Москва», где живут народные депутаты. Там стояли, выстроившись в шеренгу, два десятка теток постклимактерического возраста со злобными лицами и плакатами в руках, где говорилось, что они решительно протестуют против нападков на КПСС, на КГБ и на армию, никогда не допустят развала Советского Союза и требуют отставки Горбачева и Ельцина. За последние

два года я уже пять раз побывал в Москве, а к открытости подобных призывов никак не могу привыкнуть, так и тянет самого себя арестовать за то, что я такое вот вижу и молчу.

Пройдя еще триста метров, я оказался на Красной площади, которая, очевидно, из-за холодной погоды была довольно пустынна. Человек с красной повязкой на рукаве останавливал прохожих и к чему-то их призывал. Подошел он и ко мне и, дыхнув на меня водочным перегаром, спросил, хочу ли я увидеть Ленина.

— А что, он воскрес? — удивился я.

— При чем тут воскрес? Я вас спрашиваю: хотите ли вы посетить Мавзолей?

— Нет, — сказал я, — я в очередях стоять не люблю. Я вот даже деньги менять не стал, потому что очередь.

— В том-то и дело, — сказал он, — что к Мавзолею никакой очереди нет. Раньше люди, чтобы взглянуть на Ленина, томились друг за другом целыми днями. А теперь никто не идет. Вы представляете? Чтобы обменять деньги, все готовы давиться сколько угодно, а на основателя нашего государства, на вождя мировой революции взглянуть не хотят. Никаких идеалов, особенно у молодежи.

Я ему сказал, что, если нельзя рассчитывать на идеалы, надо проявлять практическую смекалку.

— Если бы вы, — сказал я, — меняли деньги на выходе из Мавзолея или продавали там же гречку или стиральный порошок, тогда очередь у вас обвилась бы вокруг Кремля.

Несмотря на отсутствие очереди, я на Ленина смотреть не стал, я был обижен на него за то, что он создал систему, которая мне и раньше много неприятностей доставляла, а теперь еще и восемьсот кровных моих рублей зажилила.

И главное, для чего? Я долго терялся в догадках, пока не последовало официальное разъяснение премьер-министра Валентина Павлова. Оказывается, таким обменом денег удалось предотвратить большое преступление против Советского государства. Дело в том, что международные финансовые воротилы эти крупнорублев-

ки копили, надеясь ввезти их затем в Советский Союз, вызвать гиперинфляцию, свергнуть правительство, изменить существующий строй и произвести бескровную аннексию всей нашей страны, которая не получилась, а жаль, потому что в случае успешной аннексии мне бы тоже от нее что-то досталось.

Судите сами. Знающие люди подсчитали, что в ходе павловской операции государство восемь миллиардов рублей выиграло, а три миллиарда потратило на саму операцию. Чистой прибыли пять миллиардов рублей, включая мои восемьсот рублей. Если перевести эти миллиарды и мои восемьсот рублей на доллары с вышеуказанным соотношением 1:18,5, получится приблизительно 270 миллионов долларов, включая мои сорок три доллара двадцать четыре цента и три в периоде.

Вот такая интересная арифметика! Четыре маленьких островка стоят 200 миллиардов долларов. Россия не стоит и восьми, а аннексия всего этого вместе — и островов, и России, и других четырнадцати еще пока что советских республик — стоит всего лишь 270 миллионов долларов. Включая мои сорок три доллара с лишним. Как участник аннексии, эту сумму я мог бы легко умножить. Территория СССР — это двадцать два миллиона квадратных километров. Если она вся стоит двести семьдесят миллионов долларов, то один квадратный километр обойдется участнику аннексии приблизительно в двенадцать долларов. Значит, я на свои доллары мог бы получить какой-нибудь небольшой островок километра в три с половиной квадратных. Островок я бы продал японцам миллиардов долларов за пятьдесят. Ну пусть даже вполупину дешевле. Все равно на эти деньги, даже на часть их, я мог бы купить всю Россию. А потом я бы продал Россию и купил Советский Союз. А потом Советский Союз мог бы продавать маленькими кусочками за большие деньги и исключительно в СКВ.

Но, увы, премьер-министр Павлов мои коварные планы расстроил еще до того, как они возникли. И вот уже второй месяц разные люди выражают мне свое сочувствие, а над Павловым смеются. Но, может быть, смеются преждевременно. Потому что, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Недавно в голове Михаила Сергеевича состоялось совещание на высшем уровне. Встречались Президент СССР и Генеральный секретарь ЦК КПСС. Оба симпатичные, похожие друг на друга, как близнецы. Но по характеру разные. Один — демократ, реформатор и вольнолюбец, поклонник Вольтера, Монтескье и Томаса Джефферсона. Другой — коммунист, ретроград, аппаратчик, читал только Ленина, изучал Сталина, воспитывался у Брежнева, Андропова и Черненко. Первый явился со своими заместителями и министрами, а второй с секретарями по идеологии, промышленности, сельскому хозяйству и оргвопросам. Оба, конечно, с телохранителями и референтами.

Улыбнулись, пожали друг другу руки, сели по разные стороны стола.

— Ну вот, — сказал Генеральный секретарь, — рад тебя видеть. Особенно в таком окружении. Павлов, Язов, Крючков, Пуго. Хорошие ребята. Проверенные бойцы, стойкие коммунисты. Эти от генеральной линии и сами не отойдут, и тебе не позволят. Не то что эти твои радикалы... эти... как их... не буду о них вспоминать. Как идет перестройка?

— Как тебе сказать? — замялся Президент. — Сам знаешь, плохо идет.

— Плохо? — радостно откликнулся Генеральный секретарь. — Это хорошо, что плохо! Плохо было бы, если бы перестройка шла хорошо.

— Оригинальная точка зрения, — оценил Президент. — Значит, ты против перестройки?

— Почему уж так. Я не против. Я за перестройку, за самую радикальную перестройку, но только в рамках социализма.

— Что значит в рамках социализма? Свобода вообще никаких рамок не знает.

— Как это не знает? И что значит свобода? Свобода — это осознанная необходимость.

— А мне Крючков говорил, что «Свобода» — это такая радиостанция.

— Да, есть такая, очень, между прочим, враждебно к нам настроенная.

— И Крючков так же говорит.

— Крючков говорит правильно, как всегда. Ты вот его и слушай.

— А другие говорят, хорошая радиостанция. И гоно-рар платят валютой. Один раз десять минут выступишь — и сразу тебе дают денег столько, что можно телевизор купить.

— Правильно. Десять минут выступишь, купишь телевизор и потом десять лет будешь смотреть программу «Время».

— Вот уж чего я не хочу, того не хочу. Программ «Время» я еще в брежневские времена посмотрелся. А теперь я хочу смотреть только ТСН в Си-эн-эн. А «Время» мне твое и даром не нужно.

— Что значит твое? Мое? Это время наше, мой друг. И передача наша. Ты помнишь, как, бывало, при Леониде Ильиче все смотрели, и ничего. Смотрели, как его награждали всякими такими вот орденами.

— Смотрели и плевались.

— Плевались, конечно, не без того. Впрочем, плевались незаметным для других образом. Плевались, но при этом понимали, что, пока мы награждаем нашего вождя орденами, до тех пор ничего с нами плохого не происходит. Все хорошо, все правильно, сегодня ему орден дадим, завтра — премию, послезавтра — золотое оружие. Будет день — будет пища. Может, давай и друг другу начнем давать ордена. Нам с тобой по шестьдесят лет стукнуло. А у нас даже на двоих еще ни одной «Золотой Звезды» нет.

— Видать, не заслужили. Видишь, с экономикой что творится, цены растут, деньги дешевеют, продукты исчезают, дефицит расширяется, все по талонам, и за всем очереди.

— А кто виноват? Ты. Не надо было начинать перестройку.

— Нет, надо было. Но надо было начать и вести ее до конца.

— Но не выходить за рамки социализма.

— Да какие там рамки! Ты посмотри, что происхо-

дит. Донбасс, Кузбасс, Минск — везде забастовки. Народ требует твоей отставки.

— Извини. Они требуют отставки Президента. А Генерального секретаря они покуда не трогают.

— Они просто думают, что между ними никакой разницы нет, потому и не требуют. Если бы мне от тебя освободиться, я бы вышел к народу, сказал бы: «Братцы, вот он я, беспартийный».

— Этого я тебе как раз позволить не могу.

— А Ельцину позволил.

— Ну знаешь, ты мне нужнее.

— Я тебе нужнее, ты меня за горло держишь, а Ельцин тем временем очки набирает. За Россию держится.

— А ты держись за Союз. Он побольше.

— Да что толку? Союз-то разваливается. Литва откололась, Грузия откололась, Латвия и Эстония собираются, в Осетии война уже началась, а в Карабахе еще не кончилась.

— Что за упаднические настроения? Ты же все-таки пока еще коммунист. Должен обладать оптимистическим мировоззрением, сознавать, что, какие бы ни были трудности, мы их преодолеем и, как Ленин сказал, неизбежно придем к коммунизму. Ты сам-то в коммунизм веришь?

— Правду сказать?

— Правду говорить нужно в церкви священнику. А Генеральному секретарю нужно говорить то, что нужно. Если дело у нас так серьезно обстоит, как ты говоришь, какой, по-твоему, выход из положения?

— Надо идти дальше. Надо узаконить свободный рынок, частную собственность, частную инициативу, упразднить совхозы, распустить колхозы, разогнать коммунистическую партию и провести свободные выборы всех, включая президента.

— Но это значит — отказаться от всего нашего прошлого и от нашего строя. На это мы пойти не можем. Мы должны все-таки искать, что можно сделать в рамках социализма.

— Я тебе говорю, что в рамках социализма ничего сделать нельзя.

— Можно. Мы в рамках социализма создали вели-

кую державу, победили фашизм и первыми вышли в космос.

— Это было возможно с помощью командных методов, которые мы сами же решительно осудили.

— Надо было, осудили, а теперь одобрим. А потом снова осудим. Мой отдел пропаганды, слава богу, еще работает, газета «Правда» регулярно выходит и телевидение тоже, сам видишь, оно опять наше.

— Однако командные методы теперь не пройдут. Народ за эти годы кое-чему научился и поумнел.

— Слишком поумнел. Уже никто ни во что не верит. Бардов наших послушаешь: они поют про каких-то поручиков и корнетов, телевидение хотя и наше, но, как телевизор ни включишь, там то попы, то голые бабы.

— Это как раз ничего. Когда жрать нечего, пусть хоть на баб поглядят. Не нас же с тобой им показывать.

— Вот ты никак не поймешь. В том-то и дело, что нас. Я же тебе говорю, Леонид Ильич восемнадцать лет с экрана не слезал, и люди смотрели, и никто не бунтовал, не бастовал, никто его отставки не требовал. Был порядок.

— Этот порядок на страхе держался. А теперь люди ничего не боятся.

— Пока не боятся, а если одного, другого, третьего расстрелять?..

— Ни в коем случае. Забудь про такие методы. Я этого допустить не могу. Меня все знают как человека нового мышления. Как демократа и гуманиста...

— Тогда посадить.

— И это нельзя. Ты даже не представляешь, какой на Западе поднимется вой. Мы с таким трудом добивались доверия и тут же его потеряем. Возникнет новое противостояние, причем в худшей позиции. Уже без Варшавского Договора, без ГДР, даже без Никарагуа. К тому же нам будет немедленно отказано в финансовой помощи, а нам для того, чтобы восстановить экономику, нужно по крайней мере 25 миллиардов.

— Всего 25 миллиардов? Интересно. Семьдесят с лишним лет страну разоряли, а за 25 миллиардов можно все снова восстановить. Тогда, может, что-нибудь продадим? Золото?

— Почти все разбазарили.

— Нефть?

— Уже самим не хватает.

— Да, дело плохо. Слушай, но ведь у нас есть еще кое-какие ресурсы, которые мы пока что не трогали. Я имею в виду землю. Ведь у нас ее до черта. Александр Второй в прошлом веке продал Аляску американцам, и ничего, обходимся без Аляски. А у тебя японцы, я слышал, предлагали купить Курильские острова за 200 миллиардов долларов.

— Вранье это все, — нервно закричал Президент. — Никто мне ничего не предлагал. Это все кооператор Артем Тарасов выдумал. Совсем, совсем выдумал.

— Жаль. А я-то надеялся. 200 миллиардов — деньги большие. Если восстановить нашу экономику можно всего за 25 миллиардов, то на 200 мы могли бы еще восемь раз всю страну разорять и опять восстанавливать. Семьдесят лет разорять, потом восстанавливать, потом опять разорять. Умножь семьдесят на восемь, и выйдет, что пятьсот шестьдесят лет мы могли бы жить при социализме и без всяких твоих перестроек. А у нас же еще есть и Сахалин, и Камчатка, и Чукотка...

— Стоп! Стоп! — остановил Президент генсека. — Я Родиной не торгую. К тому же военные не позволят и, — он понизил голос, — КГБ будет против.

— Тогда какой же выход? — спросил генсек. — Продать острова невозможно, выходить за рамки социализма нельзя, а оставаться в рамках бессмысленно. Значит, все-таки надо возвращаться назад.

— Нет, — сказал Президент, — надо идти вперед.

Спорили, спорили, в конце концов пришли к компромиссу: делать шаг вперед, а потом шаг назад, а потом снова вперед, а потом снова назад. А в процессе движения туда и сюда повысит цены, ввести карточки, начать смешанное патрулирование, объявить президентское правление, перейти на военное положение.

На том порешили и на том разошлись. Генеральный секретарь вышел наружу через правое ухо. Президент пошел сначала в левое ухо, а потом передумал и вышел вслед за генсеком.

А Михаил Сергеевич остался в комнате один.

Ему было грустно, он задумался и стал перебирать в памяти совсем недавнее прошлое. Вспомнились первые шаги перестройки. Поездки за границу. Встречи с Рейганом, Тэтчер, Кодем и Миттераном. Вспомнился неизменный триумф в западных столицах, море голов, лес рук, восторженные и умиленные лица, заплаканные глаза. «Горби! Горби!» — кричали ему, забрасывая его и его супругу цветами. А потом стало вспоминаться все вперемежку. Встреча с Сахаровым, разговор с Гавелом, только что вышедший из типографии «Архипелаг ГУЛАГ», кусок Берлинской стены и золотой кружок медали нобелевского лауреата, которую не зря же он получил. Ведь с его именем связались и освобождение политзаключенных, и гласность, и свободная пресса, и освобождение Восточной Европы, и то, что люди перестали бояться войны.

«А зачем же я все это делал? — подумал он вдруг оторопело. — Ведь был же у меня, наверное, какой-нибудь план».

И в самом деле. План, кажется, был, но какой именно, Михаил Сергеевич, сколько ни напрягался, вспомнить не смог.

1991

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ОБ ОТМЕНЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА СССР НЕКОТОРЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ СССР

1. Отменить Указы Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР, принятые в 1966—1988 годах, в отношении ряда лиц, проживающих в настоящее время вне пределов СССР (перечень Указов прилагается).

2. Министерству иностранных дел СССР довести содержание настоящего Указа до сведения лиц, находящихся вне пределов СССР, в отношении которых отменены ранее принятые Указы Президиума Верховного

Совета СССР о лишении гражданства СССР, и обеспечить, по их желанию, выдачу паспортов граждан СССР.

Министерству внутренних дел СССР провести аналогичную работу в отношении указанных лиц во время пребывания их на территории СССР.

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

*ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль.
15 августа 1990 г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

к указу Президента СССР от 15 августа 1990 года
«ОБ ОТМЕНЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА СССР
НЕКОТОРЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ СССР»

14. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1981 года «О лишении гражданства СССР Войновича В.Н.».

ДЕМОКРАТИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ Из записи беседы Татьяны Бек с автором

— Проблема культа личности, которая в последнее время довольно монотонно решается у нас преимущественно на материале сталинщины, связана с широким спектром вопросов профессионального революционерства и диссидентства. Ведь есть тонкая грань, за которой «народный праведник» (особенно на российской почве) становится опасным явлением с чертами диктаторства и бесовщины...

— Это тема не простая. У нас говорят больше о бесовщине в среде, так или иначе противостоящей государству. А что было с другой стороны? Все эти идеологические кампании, которые мы или наши родители видели. Поиски врагов народа, кулаков, троцкистов, уклонистов, космополитов, диссидентов — разве это не бесов-

щина? Я сам неоднократно был свидетелем и жертвой подобных бесовских шабашей в нашем родном Союзе писателей. Я хорошо помню, как один за другим встают будто бы нормальные люди и вдруг начинают плести такую злобную чушь, такой бред, что смотришь и не возьмешь в толк, то ли ты чего-то не понимаешь, то ли эти люди все до одного свихнулись. Причем ведь не просто несут ахинею, а впадают в раж, до дрожи, до судорог, до пены у рта. Кажется, спусти его с поводка, он тут же зубами тебе в глотку вгрызется.

А что касается диссидентов, то там бесноватые тоже, конечно, водятся, но все же не только они. Это я хочу отчетливо подчеркнуть, потому что вижу много «премудрых пескарей», которые каждого, кто оказывает сопротивление насилию, готовы записать немедленно в бесы. Чтобы оправдать свое собственное покорное лежание под корягой.

Когда наступает период всеобщей покорности и люди ведут себя как загипнотизированные перед вселием и наглостью власти, то общество хотя бы впоследствии, хотя бы очнувшись, должно почувствовать благодарность к людям, которые этой власти говорят «нет». И тем самым защищают, иногда в одиночку, честь всего общества. И даже шире — жизнь общества, которое, пока в нем есть такие люди, еще может рассчитывать на звание живого, а без них оно мертво. Кроме того, движение протеста вовлекает в себя и тех людей, кому общество должно глубоко поклониться.

— Ты имеешь в виду Сахарова?

— Его в первую очередь, но не только его. Сахаров был самой заметной и крупной фигурой, но рядом с ним стояли люди, значение которых вольно или невольно преуменьшается...

— Например?

— Ну если взять и живых и мертвых, это Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Петр Григоренко, Анатолий Марченко... Кого-то я, может быть, пропустил. Это все крупные личности, которые пошли в так называемое диссидентство по велению души: с ними случилось то, что с Радищевым, который оглянулся окрест, и «душа его страданиями людей уязвлена стала».

Такими же были и многие революционеры.

Но, конечно, всякие такие движения привлекают и людей, не обладающих высокими душевными свойствами, но обуреваемых страстями, непомерным тщеславием. Желанием непременно сегодня же прославиться на весь мир. Я знал людей, которые упивались звучанием собственного имени по иностранному радио. Один, например, все время считал: «Сегодня обо мне шесть раз по радио говорили». Вот эта возможность немедленно прославиться бывает губительна в прямом смысле. Ну и, естественно, среди таких людей попадается немало типов тоталитарного образа мыслей и действий. В моем понимании большевизм — это не конкретная идея, а определенный образ действий. Идеи и цели могут быть разные, а пути достижения те же. «Большевики» борются против режима, кажутся большими свободолюбцами и на самом деле жертвуют собой, своей свободой, иногда даже и жизнью, но как только в их руках оказывается хоть малейшая власть, они ее тут же используют для подавления других, причем такими средствами, до которых их преследователи додуматься не могли. И это явление повсеместное. Это было и есть в России, в Камбодже, на Кубе, во всех странах азиатского коммунизма и антикоммунизма тоже. Потому что большевик может быть в равной степени и коммунистом, и коммунистом с приставкой «анти».

— Я недопоняла. Поясни.

— Вот тебе жизненный факт. А может быть, анекдот. Говорят, в Вашингтоне однажды разгоняли коммунистическую демонстрацию. Полицейский навалился на какого-то человека, бьет его резиновой дубинкой по голове. Тот кричит: «Что ты делаешь? Я антикоммунист!» Полицейского это не остановило. «Мне, — сказал он, продолжая работать дубинкой, — совершенно все равно, коммунистом какого рода ты являешься».

— Теперь поняла!

— Естественно, что «большевики» водились и в диссидентской среде. И меня несколько не удивляет превращение большевика из жертвы в тирана, который своих бывших единомышленников и сокамерников объявляет криминальными элементами и расправляется с

ними полицейскими методами. Если у него есть полиция. А если полиции нет, то он использует те возможности, какими располагает. Иногда даже очень мизерные возможности.

На карикатурном уровне это проявляется и в эмигрантском мире, от которого я, слава богу, не зависел, но который наблюдал с любопытством.

— Вот это очень интересно, поскольку нам здесь оно малоизвестно. Расскажи поподробнее.

— В этом мире каким-то образом со временем образовались свои кормушки, в основном в виде отдельных печатных органов. Эти печатные органы — некоммерческие. Они существуют не за счет подписчиков, а за счет богатых западных благотворителей. Кажется, это хорошо. Но поскольку издание от читателя, от потребителя не зависит, оно немедленно превращается в кормушку для угодных. Такой, я бы сказал мини-социализм в мире капитализма. Или антисоветский Союз советских писателей. Со своей, очень похожей на здешнюю, системой распределения символических благ и чинов по весьма условной иерархии. В том мире возможностей немного. Там человека нельзя арестовать, нельзя наградить орденом, дать дачу или машину с шофером. Но все же общее есть. Там тоже печатают своих. К фамилиям своих прибавляют нужные эпитеты: великий, большой, выдающийся, замечательный. Даже мелкие эмигрантские литературные премии распределяют часто среди угодных.

В этом эмигрантском мире главная фигура естественно и заслуженно — Солженицын. Но он постепенно, и это началось еще в СССР, из уважаемой личности превратился в неприкосновенную. Как в свое время Шолохов. В некоторых кругах нельзя критиковать ни его книги, ни мысли, ни отдельные высказывания. Как только это сделаешь, сразу же на тебя косятся: а что, а почему, для чего ты говоришь, уж не по заданию ли каких-нибудь органов?

Газеты и журналы, о которых я уже сказал, подчинены культуре Солженицына. «Вестник РСХД» или «Русская мысль» на каждую публикацию Солженицына отзываются с восторгом. В том, что он пишет, можно искать толь-

ко достоинства. И никогда не недостатки. Когда-то шолоховский роман «Они сражались за Родину» читали вяло, но печать хвалила. То же самое с «Красным колесом» Солженицына. Или даже с его опусом по поводу обустройства России. Сам опус подавался как чуть ли не величайшее событие века. Если о Солженицыне пишут, то обязательно с непомерным употреблением превосходных эпитетов. Великий Писатель. Великий Труженик. Великий Современник. Да, чаще всего с большой буквы и Великий, и Писатель, и Труженик, и Современник. В «Русской мысли» ни одна строчка Солженицына не появляется без его портрета, а то и без двух. Если печатают что-то им написанное, то текст и портрет. Если о нем написанное, то текст и портрет. Если им написанное и о нем написанное, то два текста и два портрета. Иногда даже одних и тех же.

— По-моему, это смешно. Это было бы смешно, о ком бы речь ни шла, хоть о Толстом или Шекспире!

— Говорят, культ культуры рознь и культ личности писателя не вреден. А по-моему, вреден. Ну может быть, не всегда, может быть, культ Толстого особенно вреден не был, но культ Чернышевского был вредный и долгий. Сейчас кажется смешно, как можно было любить Чернышевского. А вот любили. Поколения революционных романтиков выросли на Чернышевском, даже Есенин, уж казалось бы, куда как далекий человек от такого рода литературы, а и тот в юности был очарован романом «Что делать?». У Набокова главу о Чернышевском даже эмигрантские редакторы еще в 30-х годах выкидывали из романа и вообще недоумевали, как он посмел затронуть столь священную личность.

— Такое преувеличение значения поступков, действий, слов одного-единственного человека само по себе — разновидность бесовщины, она со страниц эмигрантской прессы в перестроечные времена перекочевала на страницы советские...

— Да, советская пресса перед Солженицыным (но не только перед ним) виновата, что нагородила о нем много лжи, однако непомерное усердие в другую сторону тоже приводит ко лжи. И кстати, самому Солженицыну не приносит ничего, кроме вреда. Тем более что у не-

го критическое отношение к самому себе развито не очень-то сильно.

— Зато у тебя критическое отношение к кумиротворению развито более чем сильно, болезненно сильно, причем тут ты всегда идешь «против течения» — значит, ощущаешь это свое противостояние принципиально важным?

— Некоторые считают меня заведомым недоброжелателем Солженицына, причем исходят из того, что мое недоброжелательство продиктовано завистью или какими-то другими мелкими соображениями. Но это неправда. Времена, когда Солженицыну стоило завидовать, увы, прошли.

Я и сейчас отдаю ему должное. (Как, кстати, и автору «Тихого Дона».) Солженицын — это не просто некий человек, это очень большое явление литературное, общественное и историческое. Он вошел в историю, и усилиями отдельных людей его оттуда не вычеркнешь. Но он все же человек со своими достоинствами и недостатками, а мне предлагают сусальный образ, икону, на которую я должен молиться. Причем началось это не сейчас, а давным-давно, когда и Солженицын и тем более я еще находились в Советском Союзе. Тогда уже Солженицын, подвергавшийся большой травле, стал объектом всеобщего поклонения, принимавшего с самого начала весьма безвкусные формы. Я помню его портреты, рассказы о нем, напоминавшие больше житийную литературу. Я тогда много раз настойчиво выступал в его защиту (и тоже иногда с неуместным пережестом), за что бывал неоднократно наказан. И уже тогда меня во всей этой атмосфере что-то коробило, и я в некоторых случаях уклонялся от актов внешнего поклонения. Но при этом, повторяю, я защищал Солженицына не однажды до самой его высылки и после нее. Я и сейчас готов защищать его, если бы вдруг понадобилось, но я должен сказать, что культы любых личностей мне всегда отвратительны и культ личности Солженицына тоже.

— Это отвращение к кумиротворению заложено в тебе «с молодых ногтей» или пришло с годами?

— Сколько я себя помню, меня всегда сильно принуждали любить неких кумиров и признавать за ними не-

существующие добродетели и сверхчеловечные качества. Я еще в детстве усомнился, что Сталин мог разбираться во всех науках, работать круглые сутки, руководить всеми сферами нашей жизни, командовать войсками и прочитывать ежедневно четыреста страниц художественной литературы. Эти сомнения я редко выражал вслух, потому что за них могли посадить. Но помню свои студенческих времен споры о Ленине. Я в то время никак не был антиленинцем, не сомневался во многих его достоинствах, но не верил в исключительную ленинскую прозорливость и в то, что он был «самый человечный из всех прошедших по земле людей».

Вздор, который я слушал всю жизнь об этих двух культовых личностях, меня всегда раздражал. А потом культ Солженицына — тоже. Но те два культа возникли без меня, а этот складывался на моих глазах и в конце концов заинтересовал меня как литературная тема. И не только как литературная. Считаю синдром кумиротворения застарелой хронической болезнью российского общества.

Об этой болезни я много думал и даже писал. А потом у меня возник некий образ, который в существенном виде кому-то понравился, а некоторых людей возмутил. Эти люди воспринимают мой роман «Москва 2042» чуть ли не как физическое нападение на Солженицына, считают, что я решил в таком виде изобразить Солженицына и делаю это для сведения личных счетов или для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Но у меня с Солженицыным никаких личных счетов нет и быть не может. Меня интересует не он лично, а явление, которое он представляет: все люди, которые становятся кумирами толпы, друг на друга похожи.

Но если даже кто-то в моем романе не видит обобщения, а видит только Солженицына, если это всего лишь пародия или даже карикатура на одного человека, то что в этом ужасного? Ничего бы ужасного и не было, если бы опять-таки речь шла не о культовой фигуре. А само по себе несуразное негодование некоторых читателей этого романа как раз доказывает наличие культа. И доказывает, что мой роман написан на очень болезненную и актуальную тему.

— А я была свидетельницей того, что именно от страха перед прототипом Карнавалова ни один советский журнал — даже на гребне перестроенной гласности и остром дефиците в современной прозе — опубликовать роман «Москва 2042» не решился. Сотрудник журнала «Нева» лично мне так и сказал: «Роман Войновича замечательный, очень хотим печатать, но опасаемся из-за Солженицына...» Так и проопасались. По той же причине воцарился теперь почти полный заговор молчания вокруг романа и в критике. Все же он вышел у нас книжным изданием, а критика точно в рот воды набрала. Почему и у нас тут все — и слева, и справа — так боятся кумира?

— Не знаю. Боятся здесь, боятся там. Но ладно, хватит о нем... Солженицын в литературе и истории есть и остается, и никому его оттуда не вычеркнуть, но культ его личности кончается, и это хорошо, потому что всякий культ личности — явление нездоровое. К сожалению, сама болезнь не кончилась, наше общество недоразвито, и в нем скоро и обязательно появится новый объект культового поклонения. Кто бы он ни был, он будет непременно напоминать Сим Симыча Карнавалова...

— Получается, что дело все-таки не только в том или ином общественном строе, но и в каких-то ушербных качествах человеческого духа, который склонен в уродливых и унижительных формах «творить себе кумира» и гнать из кумирни людей ироничных и независимых. Страсть толпы к культу одной-единственной сильной личности (или теории) зиждется, как я думаю, и на малодушном стремлении снять с себя напряженную личную ответственность за происходящее. Не здесь ли истоки того очевидного фиаско, которое потерпело наше многострадальное Отечество на данном этапе? Итак, виноват ли кто-то конкретно? Маркс? Нечаев? Ленин? Сталин? Или дело также и в массах?

— Ты в своем вопросе почти уже на него и ответила. Я вижу, как сказал бы вождь, «три источника» этого самого фиаско. Во-первых, народный характер, народное сознание жаждет вождя или учения, с помощью которого можно было бы решить все проблемы сразу. Сущест-

вует не только культ личности, но и культ теории. Скажем, культа Маркса как такового не было, но был культ марксизма, марксизмофрения.

— «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно»?

— Вот и дождалось общественное сознание всеильного и верного учения. Итак, первый источник — народное сознание. Второй — Маркс, марксизм, «изм» вообще. Третий — Нечаев, нечаевщина как способ внедрения любого «изма» в жизнь.

Тут вот что интересно. Любая утопия, будь она хорошая или плохая, непременно порождает мерзкие методы, потому что утопия неосуществима в принципе. Пытающиеся ее реализовать сталкиваются с невозможностью это сделать — и неизбежно применяют силу. Так, если ключ не входит в замок и не может открыть дверь, то начинают давить, вертеть и все в итоге ломают. Когда хотят совместить утопию с жизнью, применяют, повторяю, силу, отдаляя тем самым реальность от запрограммированного идеала. Кажется, ну еще, еще, еще немного, пожертвуем этим, убьем еще вот этих, а потом все у нас будет хорошо... а в конце концов утопия вовлекает в преступление все большее число людей. Сначала преступление совершает отдельный Нечаев, потом вовлекаются все новые круги людей — а утопия все неосуществима. Поэтому утопии лишь условно можно делить на «хорошие» и «плохие»; они при внедрении требуют преступных действий.

— Что ж, вредны даже такие гуманистические литературные утопии, как «Город солнца»?

— Это на бумаге ничего. На бумаге писатель может сочинять что угодно. Но когда реальное общество начинают строить в соответствии с утопией, то добра не жди. А кстати, твой «Город солнца» и на бумаге выглядит достаточно отвратительно. Например, там, в Городе солнца, все люди работают: если у него нет ноги, он делает то-то, если нет руки — то-то, для всех предусмотрена некая трудовая деятельность. А если у человека нет ни рук, ни ног, но есть хотя бы один глаз и одно ухо, то он отсылается в деревню и служит там соглядатаем. Нравится?

— Ужасно нравится! Но пошли дальше. Образ согля-
дательная без рук, без ног в деревне — это уже ближе к «Жиз-
ни Ивана Чонкина», которую ты пишешь всю жизнь и
которую нам с тобой давно пора вспомнить. Меня вот
что интересует: предтеча этого повествования больше
литературная (в «Чонкине» же масса переключек — со
Швейком, с Платоном Каратаевым, с Теркиным, на-
конец, — не знаю только, сознательных или иррациональ-
ных) либо сугубо жизненная, лишь преобразенная под
пером?

— Специально я никакого литературного контекста
в виду не имел. У Чонкина есть две основные предтечи:
это сказочный Иванушка-дурачок и совершенно реаль-
ный человек, которого я видел и знал в жизни. Это рас-
пространенный тип, и жил он не в одной деревне, и в
каждой есть свой Иванушка-дурачок, который, как за-
мечательно показано в русской сказке, на самом деле не
дурачок, а человек простодушный, у которого что на
уме, то и на языке и который не заботится о впечатле-
нии, какое производит. Этот простодушный и бесхитро-
стный человек другим людям кажется дурачком, потому
что он не понимает их мелких хитростей и уловок.

— А не является ли Чонкин в известной мере твоим
альтер эго?

— Является. Существуют вещи, которые мне хочется
сказать, но я все же опасаясь предубеждений как чело-
век, испорченный цивилизацией, а от имени Чонкина я
могу говорить что хочу. Мысли, которые кажутся глу-
пыми, зачастую не так и глупы. Например, Чонкин по-
своему опровергает Дарвина. Он говорит: если труд пре-
вратил обезьяну в человека, то почему он не сделал того
же с лошастью? Чонкинское опровержение звучит глупо,
но не глупее опровергаемой мысли! И напрасно ты улы-
баешься.

— Короче, Чонкин — это твой «сокровенный чело-
век», это как бы не реализовавшееся в тебе.

— Пожалуй. Только не знаю — лучшее или худшее.
Что касается литературных источников, то это не только
именно сказка, но и вообще старый жанр историй о сол-
дате — от фольклора до Салтыкова-Щедрина, «Швейка».
Я, конечно, ко времени работы над «Чонкиным» читал

и любил эту книгу Гашека, но думаю, что настоящего влияния и сходства тут, кроме поверхностного, нет.

— А как возникло имя Чонкина? Оно рифмуется с Теркиным, что позволяло, насколько я помню 70-е годы, некоторым людям усматривать здесь скрытую полемику или даже пародию на книгу Твардовского?

— Как возникло? Расскажу. Замысел Чонкина возникал постепенно. Сначала я написал рассказ о деревенской девушке, которая полюбила солдата (они встретились вечером накануне войны). Он служил в части рядом с деревней, а утром его разбудила сирена: он вскочил, побежал — и с концами. Девушка знала только, как его зовут, а больше ничего о нем не знала. Но она стала воображать себе, какой он, как бы могла сложиться их жизнь и всякое такое. Она долго ждала от солдата вестей, думая, то, что между ними произошло, для него очень важно и он просто так пропасть не может. А поскольку он пропал, она сама стала писать себе письма от его имени. И в этих письмах воображала его летчиком, героем, потом полковником. И так далее. По мере написания писем ее воображение смелело — она описывала его подвиги, присваивала ему звания и награждала его орденами. К концу войны он у нее стал Героем Советского Союза, и, поскольку он к ней никак не возвращался, она, Нюра, сама себе составила извещение, что он погиб.

— В каком году ты это написал?

— В 1958 году. Написал и задумался: а какой же он был на самом деле? Он же у меня не был описан — лишь тот солдат, которого сочинила Нюра. И я думал-думал-думал, какой же он был, и решил написать второй рассказ об этом человеке. Я догадывался, что «герой» должен быть написан по контрасту с тем, кого представляла себе Нюра, — простой и придурковатый. Но образа не было. Я и так и сяк, нет образа, и все. И вдруг я вспомнил — так ярко! — один момент своей службы в армии. Это было в Польше, в закрытом военном городке, на бывшей немецкой территории. Иду я солнечным днем и вижу: движется большая немецкая телега с надувными шинами. Смотрю, лошадь идет, а никакого седока в телеге нету. Я слегка удивился, но глянул под телегу, а там

какой-то солдат зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, его тащит, а он, насколько я помню, даже не пытается решить эту ситуацию. Через пару дней я увидел того же солдата уже сидящим на облучке — он сидел такой веселый, разухабистый и погонял лошадь. А голова у него была перевязана бинтами. Я спросил: «Кто это?» — и мне ответили: «Да это же Чонкин!»

Все. И больше ничего. На этом восклицании сложился образ. А настоящий Чонкин, кстати, вскоре погиб на охоте, его там убили вместо оленя... О Чонкине долго оставались воспоминания. Например, был у меня командир, майор Догадкин, который, когда особенно сердился, топал ногами и кричал мне: «Я тебя вместо Чонкина пошлю на конюшню». Так вот и остался на задворках памяти образ человека, которому самое место только на конюшне. И однажды я вспомнил этот образ зрительно и понял, кем был на самом деле воображаемый Нюрин полковник.

— Какая непокорная вещь — прозаический замысел! Со своими зигзагами и боковыми побегам...

— Замысел замыслом, а потом начались проблемы. Как только я написал первый большой кусок «Чонкина», то понес его в «Новый мир». Твардовский отнесся к этому критически и сказал: «Что за герой? Таких героев было много: Бровкин, Травкин...» Потом, подумав, говорит: «Теркин...»

— Обиделся?

— Не знаю, обиделся ли он, не обиделся... Но мне в ту пору многие люди это говорили (и твой отец тоже). Сейчас уже совсем не говорят, поскольку Чонкин стал образом самостоятельным, а пока я это писал, многие меня «ловили» на перекличке с Тёркиным. Причем одни считали, что Чонкин просто идет от Тёркина, другие же полагали, что это полемика, противопоставление, даже нарочитое снижение предшествующего образа. Хотя утверждаю: у меня не было и нет ни того, ни другого, ни третьего.

Меня, признаюсь, удручали эти постоянные сопоставления, и я даже хотел сменить герою фамилию. Придумывал и такую, и этакую, по-всякому с фамилией вертелся, но чувствуя, ничего ему не подходит. Только Чон-

кин! Есть у меня рассказ «Путем взаимной переписки», там герой сержант Алтынник...

— А я всегда считала, что Алтынник как бы литературный брат Чонкина, его самоценный эскиз, что ли. (Оба они солдаты, оба простодушные и беззащитные... Да и зовут их обоих, кстати говоря, Иванами.)

— Да, братья. Но все же двоюродные. Я даже пытался переименовать Чонкина в Алтынника — нет, не идет ему это имя. Алтыннику идет, а Чонкину нет.

— Смотри, ты у нас, получается, писатель армейский. Как опубликовался впервые в военной газете, так и пишешь всю жизнь об армии. Но думаю, в военно-художественную секцию (есть такая замечательная секция в Союзе писателей СССР) тебя бы вряд ли приняли. Ох, не любят тебя генералы — что с ними было, когда «Юность» опубликовала «Чонкина»!

— Ну да, многие советские генералы (не все, впрочем) меня не любят, но не по той причине, которая на виду. Они меня не любят не за Чонкина, а вообще за «выход из строя». За все, что я пишу. Дело в том, что генералы, которые лезут в литературу, это в большинстве своем не просто генералы, а военные аппаратчики, военно-партийная номенклатура, которая от просто партийной отличается только формой одежды, да и то условно. Аппаратчик (возьми хотя бы Брежнева), он то военный, то штатский — в зависимости от того, куда пошлет его партия. Что касается литературы, то он ее никакую не любит, но у него есть представление, какая она должна быть. А она должна быть унифицированная, как солдат. За солдата ведь все подсчитано точно, как и что он должен носить. Прическа не длиннее двух сантиметров, пилотка набекрень — один палец от правого уха, подворотничок выступает на полмиллиметра, ремень затянут так, чтобы можно было просунуть только два больших пальца, строевой шаг сорок сантиметров. Все просто, ясно и — с места с песней шагом марш. Вот такой, по мнению аппаратчика — хоть военного, хоть не военного, — должна быть литература. Всякая другая литература кажется ему подрывной. Да она такая и есть! Свободная литература и вообще духовность, так же, как

свободное хлебопашество, с властью номенклатуры несовместима.

— Одно из, увы, провидческих мест в твоей антиутопии «Москва 2042» и это предсказание относительно слияния партийной (и даже армейской) идеологии с православием. Чего стоит один только отец Звездоний — священник с генеральским званием! Как это ты догадался еще в начале 80-х, когда подобным слиянием и не пахло?

— Как я угадал относительно слияния православия с официальной идеологией? Православие православию рознь. Есть идеологическое православие. Я уже в 70-е годы заметил, что многие полагают, мы отошли от идеологии, придя в религию. На самом деле они сменили одну идеологию на другую, воображая при этом, что совершают героический поступок (чем питались их честолюбие и гордыня). Это все говорит как раз об идеологизации подобной «веры», ибо для человека, верующего органически, — неважно, есть ли в его вере героизм, «подвиг» или нет.

— На секунду перебью тебя. Послушай, какие хорошие слова об этом одного московского священника прочла я недавно в газете: «Обращение к религии в качестве смены идеологии — это тягчайший грех! Нельзя заменить Маркса на Христа. Вера — это не идеология. Это жизнь и смерть. Она стоит у колыбели и у гроба...»

— Точно сказано. В 70-е годы эти самые герои веры утверждали, что коммунистическая партия и религия — антонимы, что партия ни за что не признает православия: «Вот уж чего она никогда не допустит...» А я тогда же понял, что обязательно признает, непременно допустит, более того, с ее, партии, стороны будет очень глупо не овладеть этой выгодной силой. Я знал, что так оно произойдет — обязательно и неизбежно.

— Нет, но все же в те годы религия преследовалась действительно. Людей вызывали, мучили, сажали. Я знаю одну учительницу, которую как раз в 70-е годы выгнали с работы из подмосковной школы только за то, что она крестила в церкви своего младенца... Об этом забывать нельзя.

— А кто ж забывает? И сейчас религия может пре-

следоваться — зависит от ее формы. Вроде бы религиозной свободы прибавилось...

— А неугодных священников почему-то убивают и преступление все расследуют и расследуют.

— Да-да-да. Православие хотят приручить сверху и приручаемое православие ласкают, не убивают. Но есть православие другое, независимое — оно-то и неугодно. Однако в моем романе описан итог этого слияния, а мы сейчас свидетели лишь процесса. Мой роман, повторяю, предупреждение, и я не хотел бы подобного итога, но уверен, что коммунистическая партия желает именно такого результата — приручения и подчинения столь мощной силы, как религия.

— Скажи прямо, ты считаешь, что демократия в нашем обществе обречена на неуспех?

— Нет же. Я предупреждаю о худших вариантах. Но шанс демократического развития остается, он есть. Более того, в перспективе или обязательно демократия победит, или весь мир погибнет. Часто люди с наивностью говорят: «Ну, демократия, а дальше что?» Неверная постановка вопроса. А дальше — ничего! Демократия в отличие от коммунизма не цель, а способ существования, и при демократии разные социальные, национальные, классовые ли группы (как и отдельный человек) могут иметь свои цели или никаких целей не иметь. Она просто создает нормальные условия для развития общества и личности. Демократия — это способ естественного существования, и поэтому Советский Союз, как и все другие страны, рано или поздно к этому придет. Если не погибнет.

*Февраль 1991 года
Москва*

| ВАМ БАРЫНЯ ПРИСЛАЛА СТО РУБЛЕЙ

Скажу сразу, я не судья и объективным быть не обязан. Из всех ролей, которые распределяются между участниками данного судебного разбирательства, я себе выбираю роль потерпевшего. Разумеется, всего лишь одного из многих миллионов. Причем потерпевшего намного меньше других. Но все-таки именно потерпевше-

го, которому желательно быть правдивым, но не обязательно объективным.

В Конституционном суде разбирается вопрос, было ли конституционным решение Президента России Ельцина об отстранении от власти Коммунистической партии Советского Союза. В споре, где выясняют свои отношения представители КПСС и их противники, я стою на стороне противников.

Но...

Естественно, я, как и очень многие другие люди, ожидал этого суда с большим волнением. Я думал, что вот наконец-то будет сказано все. Я, честно говоря, ожидал чего-то вроде Нюрнбергского процесса. Ну не совсем такого. Тот состоялся после полного разгрома нацистов вместе со страной, в которой они верховодили. Тогда еще были живы главные нацистские преступники, а теперь главных, конечно, нет. Ленин, Сталин, Ягода, Ежов, Берия, Андропов уже находятся вне нашей юрисдикции. А к тем из партийной верхушки, которые выросли на наших хлебах в более поздние времена, к ним у меня отношение не столь однозначное, поэтому я был бы за то, чтобы судить не личности, а партию в целом. Но судить, разбирать все ее действия до конца не предвзято, не обходя никаких острых углов.

Однако не тут-то было. То, что я увидел, я сравнил с известной игрой, которая, как вы помните, начинается так: «Вам барыня прислала сто рублей. Что хотите, то купите, черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите...»

Вероятно, эта игра некоторым из судей в детстве настолько понравилась, что они и сейчас решили в нее поиграть. Облачившись при этом в черные мантии с выпущенными из-под них белыми манжетами.

Игра развивается по всем правилам. С упоминанием всей гаммы цветов, кроме черного с белым. С любимыми ответами, кроме «да» и «нет».

Идет процесс по делу об отстранении от власти КПСС. Какой он, этот процесс? Единственный ответ: политический. Судья стучит деревянным молотком по медной тарелке: стоп, вы проиграли, это процесс не политический, а правовой. КПСС является(лась) полити-

ческой партией. Стоп, звенит медь, мы судим не партию, а... (черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите) государственную структуру.

Ну да, то есть нет, то есть ни да, ни нет, партия была не только государственной структурой, а могла повторить слова Людовика XIV: «Государство — это я!»

Партия и была государством, но именно политическим, насквозь пронизанным политикой и политические цели ставившим превыше любых государственных.

Я, например, сколько жил (долго) под властью КПСС, столько слышал всякие слова с прилагательным «политический» (политический процесс, политическая пропаганда, политическое образование, политическое убийство) или с приставкой «полит»: Политбюро, политотдел, политорганы, политэкономия, политрук, Политиздат, политпросвет, политучеба, политизолятор, политзаключенный, а также с тем же скрытым эпитетом в аббревиатурах Главпур и ГПУ, что, кстати, означало одно и то же: Главное политическое управление.

В этом политическом государстве с рождения его и до смерти и всегда господствовала политическая полиция, которую сравнить можно только с гестапо. Члены этой полиции, как и гестаповцы, придумывали себе всякие возвышенные определения вроде «рыцари революции» или «карающий меч революции», хотя я бы лично назвал их, наверное, топором. Топором в руках КПСС.

КПСС была государством, но в то же время и партией. Говорят, что слово «партия» ей никак не подходит, потому что партия — это значит всего лишь часть чего-то целого. Но она и была частью общества. 19 миллионов человек состояли в КПСС, но еще 280 миллионов в партии не состояли.

В эти 280 миллионов следует включить и детей. Впрочем, детей партия тоже в покое не оставила и создала для них детские коммунистические партии октябрят, пионеров и комсомольцев. Эти детские партии имели один существенный недостаток: у них не было своей собственной Чека, что не давало детям возможности друг друга расстреливать. А все остальное — одобрять, поддерживать, всем сердцем быть вместе, стучать друг

на друга, разоблачать врагов, отрекаться от родителей — это им разрешалось.

Конечно, взрослая КПСС для обыкновенной партии захватила слишком много власти, но кто сказал, что она должна быть обязательно обыкновенной? Она была очень необыкновенной, она была партией тоталитарного типа. Она имела руководящую номенклатуру, разветвленную сеть корыстных активистов и некий балласт из рядовых членов, которые, впрочем, свою, нужную партии роль тоже играли.

В партию люди вступали по нескольким причинам: 1) по дурусти, 2) по идейным соображениям (то есть тоже по дурусти, но как бы на научной основе) и 3) ради карьеры.

Среди всех трех категорий попадались люди относительно (но не абсолютно) приличные, однако лицо партии определялось не ими, а теми, кто (из категории карьеристов) активно и с охотой проводил любое решение партии в жизнь, одобряя все ее злодейские и идиотские акции, будь то изъятие церковных ценностей, уничтожение кулачества как класса, истребление оппозиции, расстрел польских офицеров и новочеркасских рабочих, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», вторжение в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, расправы над инакомыслящими, внедрение социалистического реализма, заключение людей в лагерь, тюрьмы, психушки и прочее, изучение произведений Сталина — Брежнева и введение неписаных, но действовавших грамматических правил, согласно которым отдел райисполкома пишется с маленькой буквы, а Отдел ЦК КПСС с большой. Замечу к слову, что среди самых, как считалось, «идейных», то есть твердолобых, коммунистов был наибольший процент воров, взяточников, расхитителей общественного имущества в особо опасных размерах, казнокрадов, убийц, насильников и растлителей. Часто наиболее опасные уголовники именно преданностью КПСС или ее идеалам прикрывали свои мерзейшие преступления.

Любое сколько-нибудь серьезное разбирательство деяний КПСС никак не может не быть политическим.

А вот что касается Конституции, кто ее, когда и зачем нарушил, то тут, граждане судьи, прошу простить за резкое слово, но мне лично на эту Конституцию, как говорится, с высокого дерева наплевать. Да, именно так!

Мне скажут, разве можно так вот неуважительно о Конституции, а я на это отвечаю, что уважать ее никакой причины не вижу и в том, что стоит за нее непременно держаться, тоже никак не уверен.

Не странно ли было бы, если бы Международный трибунал в Нюрнберге, судивший нацистскую партию и ее главарей, руководствовался исключительно законами Третьего рейха?

Но не то ли мы видим в Конституционном суде?

Разбирается вопрос: соответствовало ли Конституции отстранение КПСС от власти? Какой Конституции? Ну конечно, советской, поскольку никакой другой у нас не было тогда и сейчас еще нет.

Некоторые считают, что сама по себе Конституция СССР была хорошая и будто бы даже самая лучшая, самая демократическая в мире, а вот исполнители были плохие. Так это же, граждане, мы уже проходили, то же самое слышали о всех наших «измах».

Марксизм-ленинизм-коммунизм-социализм в теории были прекрасны, а на практике испорчены. Конституция была хорошая, а партия плохая, впрочем, то есть не очень плохая, а не совсем хорошая, плохая только в том смысле, что хорошую Конституцию нарушала.

А вот мой вопрос: была ли она на самом деле так уж хороша, эта самая Конституция? Можно ли назвать хорошим автомобиль, который всем хорош, но имеет один недостаток — не ездит? Если он не ездит, значит, есть смысл подумать, достоин ли он вообще права называться автомобилем. То же и с Конституцией. Она должна существовать не только на бумаге. Она должна предусматривать инструменты, которые сами бы ее защищали. Если таких инструментов нет или они не работают, значит, грош цена такой Конституции.

Вопрос аналогичный предыдущему: можно ли считать передвижную душегубку хорошим автобусом? Даже если отключить подачу выхлопных газов в пассажир-

ский салон? Становится ли советская Конституция более уважаемой после исключения из нее статьи шестой?

Не становится. Вся эта Конституция, кем бы она ни сочинялась — Бухариным, Сталиным, Сусловым или Брежневым, с шестой статьей и без нее, имела своей целью не создание в стране конституционного образа жизни, а увековечивание партийного диктата. Утверждение, что программа партии не соответствовала Конституции, бессмысленно: с точки зрения партии Конституция должна была соответствовать программе построения коммунизма, а не наоборот. И кстати сказать, если бы теперешний суд назывался не конституционным, а, допустим, программным, то тогда партию можно было бы отстранять от власти с большим основанием, чем сейчас, поскольку она своей программы не выполнила и коммунизма нам не построила.

А с Конституцией как раз все наоборот.

По букве она, возможно, была чем-то другим, но по духу она была создана не для ограничения власти КПСС, а, напротив, для установления вечного владычества над нашими делами, телами и душами.

Партия эту Конституцию сама для себя сочиняла, сама ее толковала, сама приспособлявала под свои нужды и приспособила настолько, что Конституция нисколько не мешала ей вытворять с огромной страной все, что угодно. Именно эта Конституция в любом ее варианте была основой всех злодеяний, совершенных Коммунистической партией Советского Союза.

Таким образом, к чему мы приходим?

Сейчас я собираюсь высказать выношенную мною крамольную мысль, но прежде того выражу надежду, что узники, томящиеся в застенках Матросской Тишины, не подвергаются очень уж зверскому обращению, что у них, в их мрачных одиночках, есть если не цветные телевизоры, то, по крайней мере, коротковолновые приемники, которые они, как Горбачев в Форосе, из каких-нибудь кусков кроватей сварганили, и в их, как сказал поэт, «каторжные норы доходит мой свободный глас».

Так вот мой глас утверждает, что основной целью Конституции СССР с шестой статьей или без нее было

укрепление и сохранение советского строя всеми возможными и невозможными способами. Поэтому разрушители этого строя Конституцию нарушали, а гэкачеписты умно или глупо (по-моему, все же глупо, за что им большое спасибо) ее отстаивали. Опять же спасибо, что не отстояли.

И в попытке переворота их обвинять тоже не следует. Антипартийный переворот состоялся, но совершен не ими, а их противниками. Гэкачепистов если уж и судить, то за что-то другое, чему, впрочем, есть прецедент. В свое время советские суды судили своих противников за попытку реставрации капитализма, так вот, гэкачепистам можно вменить в вину попытку реставрации развитого социализма.

Нет, я не поклонник гэкачепистов и на демонстрацию с их портретами не пойду. Но не только они, а вся КПСС была политической бандой, она узурпировала всю власть в стране, поработила, унижала и тиранила весь народ, лишив его права и возможности выбора, вменив ему в обязанность постоянно выражать ей свой безмерный восторг, она сочиняла законы, которые сама не уважала, а почему мы должны уважать ее законы? Да пусть она провалится вместе со всеми своими законами и вместе со своей Конституцией.

Если, допустим, Конституционный суд, поработав своими тринадцатью головами, придет к выводу, что отстранение партии состоялось в результате переворота, то лично я скажу, ну и пусть! Тогда да здравствует переворот!

Вы скажете: «Ах, ах! Да разве ж так можно?»

А вот и можно.

Если тиранический режим не дает людям никакой возможности достойного существования и смены своих правителей путем свободных, обеспеченных законами выборов, то сам этот режим незаконен и свержение его путем переворота, восстания или революции с точки зрения международного права считается абсолютно допустимым.

В некоторых случаях отстранение от власти может быть произведено с помощью прямого иностранного вмешательства.

В 1945 году вооруженные силы союзников отстранили от власти нацистскую партию, не считаясь ни с какими установленными ею законами, а потом судьи из стран-победительниц судили главарей этой партии уголовным судом.

Правду сказать, это кое-кому тогда не понравилось. А некоторым не нравится до сих пор. Совсем недавно один немецкий юрист говорил мне, что Нюрнбергский процесс не был в правовом отношении приемлемым, потому что, мол, впервые в истории победители судили побежденных. На что я ему заметил, что побежденные, заталкивая в газовые камеры мужчин, женщин, стариков и детей, расстреливая из пулемета, сжигая живьем, тоже вели себя с юридической точки зрения не совсем безукоризненно, и если бы им самим доверить суд над собою, то они, вероятно, были бы полностью оправданы, а может быть, даже представлены к каким-нибудь высшим наградам. Они, кстати, в Нюрнберге в 45-м году на вопрос суда, признают ли себя виновными, один за другим вскакивали и нагло выкрикивали: «Нихт шульдиг». То есть не виновен.

Вернемся, однако, в Москву 92-го года. В Конституционном суде истцы, ответчики и сами судьи ходят вокруг да около, а главного не касаются. Защитники КПСС стараются преступную ее сущность затушевать. А противники?.. Казалось бы, вот сейчас им самое место и время резануть всю правду-матку как есть. Но и они дошли до какой-то невидимой нам черты и снова — стоп: черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите, это суд не уголовный, а правовой, мы судим не партию, а государственную структуру и решаем только вопрос, соответствовало Конституции отстранение ее от власти или не соответствовало. И ничего больше.

А почему ж это так? Потому что судьи сами для себя, по-моему, не уяснили, в чем состоит их задача. Если суд Конституционный, то опять же на основе какой Конституции, а если на основе филькиной грамоты, сочиненной идеологами КПСС, то и суд этот не конституционный, а филькин. Несмотря на белые манжеты и чер-

ные мантии. Это я говорю не для оскорбления суда, а для того, чтобы показать всю его бессмысленность.

Дело с самого начала загнано в рамки, в которых ему тесно. Из которых оно само по себе стремится вырваться. Но суд все время возвращает его назад, к второстепенным вопросам. Это как если бы, предположим, разбирая дело Родиона Раскольникова, суд опустил все, что касается убийства старухи, и ограничил себя только рассмотрением того, имел ли право Раскольников взять чужой топор и кто в этом больше виноват — он, взявший топор, или дворник, который топор не спрятал.

Адвокат Андрей Макаров рассказал нам историю о том, как Политбюро ЦК КПСС за два дня до выборов в Верховный Совет СССР уже знало (и торжественно одобрило) их результаты. Это звучит смешно, но не ново. О том, что очередные выборы закончатся полной и убедительной победой блока коммунистов и беспартийных неизвестно над кем, но со счетом 99,99 на 0,01, — мы все вместе и каждый в отдельности знали за два дня, за два месяца и за два года.

Сергей Шахрай говорит: суду будет представлен рассекреченный документ о деле одного из генералов КГБ, возглавлявшего отдел по убийствам политических и прочих противников этой организации внутри страны и за рубежом. Среди деяний этого одного генерала из одного из отделов есть убийство в одном городе одного священника.

Конечно, убийство одного священника или любого иного одного человека есть само по себе ужасное преступление, но, увы, затрагивая эту тему не по касательной, следовало бы рассказать не об одном священнике, а о десятках миллионов людей, которых расстреливали поодиночке и группами, из пистолетов и пулеметов, колоннами и эшелонами, и топили в баржах живыми, и закапывали в землю, и умаривали голодом, и превращали в лагерную пыль, и пытали в психушках. Речь должна идти о преступлениях, по бессмысленности, по жестокости и по масштабам не имевших равных во всей человеческой истории.

А нам говорят о подделках каких-то списков и от-

дельно взятом убийстве, да и тут судья стучит молотком: мы не об уголовщине, а о нарушениях пунктов номер таких-то и подпунктов таких-то.

Но тогда вообще стоило ли затевать суд?

Сколько бы участники процесса, истцы, ответчики и судьи, ни стремились этого избежать, суд над КПСС может быть только политическим, и никаким иным. Попытка превратить его в неполитический делает его фарсом. В игру типа «вам барыня прислала сто рублей...».

Впрочем, я не уверен, что судьям удастся удержаться в рамках. Уже стучатся в двери суда свидетели не нарушения пунктов, а ужасных массовых злодеяний, и, как в «Страшной мести» Гоголя, дрожит земля оттого, что поднимаются во всех краях мертвецы и тянутся грызть главного мертвеца, эту самую проклятую КПСС.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что настоящий беспристрастный суд, выслушав и оценив доводы сторон, пришел бы к неизбежному выводу, что КПСС была и должна быть объявлена преступной политической организацией. И достойна безусловного запрещения, независимо от того, какими правилами она руководствовалась и насколько прилежно пренебрегала своей собственной Конституцией.

То, что среди миллионов ее членов были и относительно порядочные люди, дела не меняет. Члены гитлеровской НСДАП тоже не все бегали с топорами и не все заталкивали людей в газовые камеры. Среди них тоже были такие, которые только платили членские взносы, очень неохотно вытягивали руки и молча открывали рот, делая вид, что кричат «Зиг, хайль!». Мне приходилось встречаться с такими людьми в Германии. Один старик мне незадолго до своей смерти рассказывал, как его, несчастного, после войны преследовали за то, что он, будучи всего лишь почтовым служащим и никого в жизни своей не расстреляв, вступил в нацистскую партию и состоял в ней, в душе ее осуждая. Единственное, чего он достиг, так это того, что из простых почтальонов был передвинут на должность заведующего почтой. За что после войны его жестоко покарали, передвинув назад, в почтальоны.

Таких людей, как этот почтальон, нацистов или ком-

мунистов, я лично строго бы не судил, но и в заслугу бы им пребывание в партии не поставил. Потому что партия эта была шайкой, а они — пусть пассивными, но все-таки членами шайки.

Кто не обманывал сам себя, тот знал, что это так.

Большевик Роберт Индрикович Эйхе, арестованный в 1937 году как «враг народа», на вопрос судьи, признает ли себя виновным, отвечал: признаю себя виновным в том, что состоял в преступной банде ЦК ВКП(б). Мой собственный отец состоял в той же ВКП(б) всего лишь четыре года, никакой партийной карьеры не делал, никого не убил, не зарезал, но, отбыв свои пять лет в заключении, говорил мне всегда, что получил свой срок вполне по заслугам. «Я, — говорил он, — состоял в преступной организации и должен был быть за это наказан».

Я не призываю никого присоединиться к столь строгим оценкам своего партийного прошлого и сам никому судьей быть не собираюсь, но если вдруг окажусь, не дай бог, под судом, то члену нацистской партии или коммунистической, даже бывшему, добровольно решения своей судьбы не доверю.

Некоторым слушателям мои высказывания покажутся, может быть, слишком экстремистскими, но я их оцениваю иначе. В своих рассуждениях я исхожу из того, что допущение людей к некоторым занятиям не может не сопровождаться определенными и даже повышенными моральными требованиями к их образу жизни теперь или в прошлом. Например, человек, не умеющий хранить чужие тайны, не может быть врачом или священником. Вора, даже бывшего, я бы никогда не назначил директором банка, а взяточника — милиционером и, уж конечно, никакому судье не доверил бы судить себя самого, членов своей семьи или партию, в которой он сам состоял.

А тут что мы видим?

В суде по поводу отстранения КПСС от власти участвуют три стороны: защитники КПСС, противники КПСС и беспристрастные судьи. Замечательность этого исторического и юридического казуса в том, что все три стороны представлены в основном бывшими членами КПСС. Одной стороне хочется свою партию полно-

стью оправдать, другой желательно частично ее осудить, судьи разрываются между теми и другими, но полную правду сказать не хочет никто. Потому что признать партию, в которой сам состоял, преступной — значит и себя не избавить хотя бы от моральной, хотя бы от малой ответственности за ее преступления, а на это способен не каждый.

И тут логика моих рассуждений неизбежно ведет меня к проигрышу в игре в барыню, которая прислала сто рублей.

На вопрос, может ли суд, в котором и ответчики, и истцы, и 9 из 13 судей были членами КПСС, вынести объективное суждение о КПСС, я не знаю никакого другого ответа, кроме ответа: НЕТ!

Тут я, пожалуй, еще добавлю, что в свое время учреждение Конституционного суда и избрание в него несменяемых судей меня очень удивило. Это было подражание другим странам, но в других странах конституции настоящие, в других странах от избираемого судьи требуются кристальная честность и в целом безупречная репутация. В Америке один из кандидатов в члены верховного суда не попал на это место только потому, что когда-то в детстве, да и то, кажется, всего один раз, выкурил самокрутку с марихуаной.

Но многолетнее пребывание в КПСС разве лучше одноразовой затяжки марихуаной?

Когда в Верховном Совете России обсуждались кандидатуры членов Конституционного суда, я сказал одному из своих друзей, депутату этого совета, что судьями не могут быть бывшие члены КПСС. Мой друг спросил: а из кого же их выбирать? Членами такого суда должны были быть высококвалифицированные юристы, правоведы, естественно, в прошлом большинство из них были члены КПСС.

Я сказал, что выбор, конечно, не слишком широк, но в таком случае нельзя избирать этих людей пожизненно, потому что они должны быть не только высококвалифицированными, но и высоконравственными. Друг мой сказал, что их можно и нужно выбирать пожизненно, в таком случае они будут лучше прежних судей, потому что, памятуя о своей несменяемости, не будут иметь при-

чин бояться начальства. Я возразил, что сама по себе несменяемость от страха перед начальством, по крайней мере, некоторых из них, никак не спасет. Начальство не может их сменить, но отказать им в случае их строптивости в каких-то благах все еще может. Я добавил, что важно, чтобы они не только не боялись начальства, но чтобы боялись своей совести. Потому что несменяемый негодяй гораздо опаснее сменяемого. У меня нет никакой уверенности в моральной чистоте всех конституционных судей, тем более что репутации некоторых из них весьма подмочены их прошлым пребыванием не только в КПСС, но и в других подвластных партии мерзких структурах.

И еще одно соображение, опять-таки связанное с нашей темой. Среди высшего руководства России очень много бывших коммунистов. Я не имею ничего против многих из этих людей персонально, но ясно вижу, что их прошлое отражается на их мыслях, решениях и действиях. Они — одни сознательно, другие инстинктивно — тормозят развитие процессов, ведущих к оздоровлению общества, и, уж конечно, только единицы из них готовы, как говорят американцы, назвать кошку кошкой и признать, что они сами состояли в преступной организации.

Но эти-то люди заняли свои должности не навсегда. С течением времени руководство страны неизбежно будет обновляться. На смену бывшим членам КПСС придут новые фигуры, не отягченные подобным прошлым. И через какое-то количество лет может случиться так, что в России останется только одна организация с большинством из бывших коммунистов. Это будет несменяемый Конституционный суд.

1992

ЗАКОН ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ
(проект)

Всякое государство, даже самое демократическое, не может обойтись без разделения своих граждан по рангам, определяющим их положение в обществе. Особенно

очевидным образом это проявляется в армии, где положение, права, обязанности и зарплата военнослужащего определяются его чином: рядовой, сержант, офицер, генерал. В гражданском обществе тоже было много попыток установления точной иерархии путем введения в действия перечня воинских званий, дворянских титулов и табели о рангах. В наше время тоже есть много советских и нынешних званий. Профессор, генерал, мастер спорта, народный артист, писатель, художник, советник юстиции, орденосец, гроссмейстер, Герой Советского Союза и Социалистического Труда. Званий хватает, но ценность каждого не достаточно точно прописана. Непонятно, в каком соотношении друг с другом эти звания существуют. Кто, допустим, главнее: профессор, мастер спорта, заслуженный артист или генерал? Кто с кем должен первый здороваться. Или уступать место в общественном транспорте, или пропускать в дверях. Недостатком многих званий является то, что для демонстрации их надо носить специальную форму, или орден, или удостоверение, что бывает затруднительно на пляже, в бане или других подобных местах. Предлагается революционное решение проблемы. Сделать так, чтобы имя человека соответствовало его званию и положению в обществе. Тогда ему не надо носить форму, знаки отличия и различия, указывать свой титул в визитной карточке. Достаточно назвать свое имя. Принцип прост (как все гениальное).

Всем гражданам без различия пола при рождении даются одинаковые имена по алфавиту и начиная с последней буквы «Я», которая является общим признаком данной группы населения. Все новорожденные называются Яшами. По мере развития физического (научился ходить, прорезались зубки) или интеллектуального (просится на горшок, говорит «мама — папа») гражданин переходит в группу «Ю» с именем Юра или Юля, потом группа «Э» — Эмма, Эдик и так по восходящей. Дальше в связи с успехами в учебе и примерным поведением присваиваются более высокие имена-звания, и в последнем классе средней школы какой-нибудь отличник, победитель олимпиады, викторины или шахматного турнира может достигнуть имени Гоша или Гриша, а от-

стающий при этом все еще называется Федей. Затем институт, аспирантура, опубликованная поэма, сыгранная роль, научное открытие, проявление воинской доблести, удачный бизнес — все тоже оценивается по единой шкале, и опять-таки один человек может оставаться еще в звании Толика или Степы, а другой уже Витя, Володя, а может быть, даже Вася. Самое высокое звание в государстве относится к группе «А» и дается, разумеется, Президенту, его можно назвать, ну предположим, Алеша. Или, лучше, Абраша — ближе к началу алфавита. Или совсем хорошо — Аарон (если фракция КПРФ допустит. Впрочем, нашему Президенту она это имя может присвоить охотно). Два «а» в начале имени — это значит, что уже выше ничего быть не может. Тогда Абрашей можно назвать премьер-министра, а Алешами спикеров палат, вице-премьеров и силовых министров. Просто министров можно именовать Андрюшами, заместителей министров, академиков, наиболее выдающихся писателей, артистов, художников и председателей думских комитетов — Антонами, а депутатов — Афонями. И далее. Или и так ниже, по всем буквам алфавита. Отдельных людей за особо выдающиеся исключительные заслуги специальным указом Президента или решением Нобелевского комитета и за большие деньги можно величать по имени-отчеству, зато совершившие проступки и преступления могут быть разжалованы в более низкие имена, иногда даже с применением уничижительного суффикса. И, скажем, какой-нибудь Боря может быть понижен в звании до Юры, а Юру можно разжаловать в Юрки, а может быть, даже в Яшки.

Для чего все это нужно? По-моему, ясно. Вы встречаете человека в бане. Или на нудистском пляже. На нем ни костюма, ни орденов, ни погон, ни почетной грамоты, попробуйте определить, кто он и как с ним себя вести. Но он вам протягивает руку и говорит: Вася. И вы сразу понимаете, что перед вами человек не из группы «А», но все же довольно важный. Вы говорите «О-о!» и с почтением пожимаете руку. А другой тянет руку и представляется Федя. Этому можно просто небрежно кивнуть, а руку не заметить. А если Яшка, то и кивать не обязательно.

Наш закон пока находится в стадии разработки. Всякие предложения, уточнения и дополнения будут с благодарностью рассмотрены.

1995

| ПЛАГИАТ В ОДНОЙ ГОЛОВЕ

Авторские права во всем мире охраняются плохо, а у нас и совсем безобразно. Но с книгами, фильмами, пьесами еще так-сяк. А вот есть совершенно не охраняемый жанр: бродячие из уст в уста анекдоты и афоризмы, хотя среди них попадаются настоящие шедевры. Но поскольку авторство этих шедевров часто нигде не обозначено, их более или менее откровенно присваивают все, кому не лень.

Один из таких шедевров я слышал неоднократно в исполнении разных публичных людей (например, по телевидению с ним выступал С. Доренко), но всегда в такой приблизительно манере: «А что такое, — спрашивает рассуждающий, — плюрализм в одной голове?..(пауза, рассуждающий мыслит вслух)... Плюрализм в одной голове... (пауза)... это, по-моему... (пауза, рассуждающий, наморщив лоб, ищет формулировку поточнее, пауза, нашел, умница)... это, по-моему, что-то вроде шизофрении. Плюрализм в одной голове — это шизофрения». И это безусловно замечательный афоризм. У него есть определенный автор: поэт Наум Коржавин. Однажды при мне шел кухонный спор, в котором кем-то было употреблено входившее в моду и употреблявшееся к месту и не к месту слово «плюрализм». Коржавин рассердился, вспыхнул, всплеснул руками и сказал запальчиво: «А что такое плюрализм? Плюрализм вообще, может быть, хорошо, но плюрализм в одной голове — это шизофрения». При этом он не морщил лоб, не напрягался, а выдал этот перл, как это с ним бывало и раньше, сразу, легко, не задумавшись ни на секунду. О чем я сообщаю всем желающим уснащать свою речь крылатыми фразами. Которых прошу: если вам придет в голову употребить афоризм вышеуказанный, не надо напрасно морщить лоб и имитировать движение мысли. Скажите просто: плюрализм в одной голове — это, как правильно

сказал (точно заметил, остроумно подметил) Наум Коржавин, что-то вроде шизофрении. А так, когда вы напрягаетесь и делаете вид, что вы сейчас, не сходя с места, сие *mot* в муках рождаете, это не является признаком шизофрении, но плагиатом попахивает.

1995

| ВЕДЬМЫ В ПАРЛАМЕНТЕ

Все люди на земле любят что-нибудь праздновать, но количество праздников не у всех одинаково. У нас, пожалуй, поболее, чем у других. Мы отмечаем праздники безбожные и религиозные, по старому стилю и по новому, молимся в церкви — Богу, венки возлагаем к Мавзолею — Антихристу, годовщина Советской армии переходит в Великий пост, а там Светлая Пасха и День международной солидарности трудящихся, в будущем году отметим 130-летие В.И. Ленина, а только что добрым словом помянули Ю.В. Андропова. О котором депутат А. Лукьянов отозвался: «Светлый ум», а его коллега по ГКЧП В. Крючков вздохнул: «Жаль, что он слишком рано умер». А я скажу (и буду в своем мнении не одинок): жаль, что он вообще родился. О нем написано много исследований. Говорили, что он личность загадочная, с одной стороны, наш советский Гиммлер, с другой — чуть ли не демократ западного толка, умен, знал английский язык и читал в оригинале американскую писательницу Жаклин Сьюзен. Интересно, читал ли он в оригинале Гоголя или Чехова? Вообще-то говорят, литературе был не чужд — у него в прихожей стояло скульптурное изображение Дон Кихота, с кем он себя, очевидно, сравнивал. Может быть, имел к этому основания. Тот в одиночку, надеясь победить всех злых волшебников, боролся с ветряными мельницами, а этот с помощью всей своры злых волшебников госбезопасности планировал искоренить инакомыслие и гробил живых людей. Говорят, он был умный. Чтобы определить, насколько он был умен, надо понять, чего он хотел. Если хотел как можно больше навредить своему народу, то на это его ума хватило. Если же намеревался улучшить

советскую систему, то умный человек мог бы догадаться, что она не улучшаема. Она была что-то вроде автомобиля без колес. Водителей можно менять, пассажиров награждать, нытиков наказывать, но без колес автомобиль все равно не поедет. А что надо поставить систему на колеса (тогда, впрочем, это уже будет другая система), на это у Андропова ума не хватило. Так что пусть земля ему будет пухом, но не будем слишком горевать, что его нет среди нас. Нам достаточно его наследников, которые все еще пытаются пересадить нас на тот же автомобиль. Упоминание об одном из наследников я нашел, перечитывая книгу «Записки диссидента», неблагодарным обществом нашим почти забытого, очень незаурядного человека Андрея Амальрика. Лет двадцать пять тому назад автор встретился в Лефортовской тюрьме с молодым прокурором Илюхиным, и тот сказал ему:

— Жаль, прошли те времена, когда к вам применили бы другие методы.

«Хотя, — вспоминал Амальрик в 1978 году, — я держался, по словам прокурора, «нагло», меня на протяжении всей этой сцены не покидало чувство ужаса. Илюхин, от которого я запомнил только потертый черный костюм и тонкие подошвы черных туфель, произвел на меня самое омерзительное впечатление из всех до и после виденных мной сотрудников наших разнообразных «органов»...

Вот какой человек заседает в нашей Государственной думе! Когда-то некоторые демократы (например, Галина Старовойтова) ставили вопрос о необходимости люстрации, а критики этой меры пугались: ах как можно! это же будет охота за ведьмами! И сами ведьмы им охотно в том подпевали. А теперь эти ведьмы сидят прямо в нашем вроде как бы парламенте и делают все, чтобы охотиться на нас и применять к нам другие методы. Продавца овощей, который проворовался, сажают, а потом лишают на какое-то время права работать в торговле. А если преступников против человечности лишить права управлять государством — это будет охота за ведьмами.

1995

С писателем Борисом Б. я познакомился в начале семидесятых годов. Уже тогда нас сближали не только профессия и литературные вкусы, но и то, что мы оба не любили советскую власть и оба предполагали, что она кончится еще при нашей жизни. Но разошлись в прогнозах, что будет дальше. Я допускал, что в конце концов в России восторжествует демократия западного образца, а Борис спорил со мной, что Россия по сути своей страна монархическая и именно к монархии рано или поздно вернется. Она и терпит советскую власть так долго, потому что ее вожди управляют ею, как цари. А если бы они еще руководствовались здравым смыслом, а не своей дурацкой идеологией! Как ни задурен народ, но чем дальше, тем меньше он понимает, почему ради рая на земле (коммунизма) власть перебила столько народу напрасно, а если не напрасно, то где же этот рай?

— Конечно, — рассуждал Борис, — люди могут долго пребывать в заблуждении. Но потом они все-таки начинают задумываться, почему крестьянин не может иметь свой надел земли или лошадь, почему городскому жителю нельзя носить узкие брюки, длинные волосы, танцевать твист, ездить за границу, слушать Би-би-си и рассказывать анекдоты про Ленина? И почему, если у нас такой правильный строй, мы должны покупать пшеницу в Америке, где строй плохой?

— Вот-вот, — говорил я, — люди поймут, наконец, что к благополучию они могут прийти только через демократию и свободу.

С тех пор много воды утекло. Я оказался неугоден советской власти и был выгнан за границу. Борис остался в России. Он там, а я здесь дожили до горбачевской перестройки, до народного восстания во главе с Ельциным в августе 1991 года и до Конституции, принятой несколько месяцев спустя.

Согласно этому основному закону страны, сочиненному призванными Ельциным молодыми реформаторами, тоталитарный режим превратился в демократическое государство как раз западного типа. С рыночной

экономикой, многопартийной системой, уважением к правам человека, свободной прессой, свободными выборами и разделением власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

В день, когда Конституция была опубликована, я как раз был в Москве, а с Борисом встретился в ресторане «Pizza Hut».

— Ну что, — сказал я ему, показывая газету с текстом Конституции, — кто оказался прав?

— Я, — сказал он.

— Ну и нахал! — возмутился я. — Ты читал Конституцию?

— Конституцию я читал. Она хорошая, но для других территорий. А у нас нет подходящего ей народа и некому будет ее исполнять.

— Ну что ж ты так в народ-то не веришь, — сердился я. — Ты же был у Белого дома на баррикадах? Ты видел, как сбрасывали с пьедестала Дзержинского? Ты видел тысячи людей, свободных и независимых, которые сходились на митинги и требовали свободы? Ты видел читателей, которые расхватывают наши книги, прежде запрещенные, а теперь изданные миллионными тиражами? Ты видел лица этих людей, их глаза? Неужели ты думаешь, что они уступят кому-нибудь свою победу?

— Уступят, — ответил он устало. — Сейчас у людей праздник. А завтра начнутся будни и кому-то надо будет этими людьми управлять, а кто этим может заниматься? Те же советские функционеры, коммунисты и кагэбэшники, которые, обрати внимание, никуда не делись. Они только приспособились к новым порядкам. Они себя называют демократами, реформаторами, иные даже рясы на себя натянули, но никто, кроме них, управлять этой страной не сможет, а они возьмутся. И те люди, которых ты называешь свободными, с этим в конце концов согласятся. Потому что они тоже советские люди, демократию умом понимают, а нутром к ней не приспособлены.

К сожалению, он оказался прав. Свободу люди восприняли как безбрежное право говорить и делать, что хочешь, не считаясь ни с чем. Законодатели в первую очередь стали издавать законы по расширению своих привилегий, а сами законам не подчинялись. Госдума

во главе с Русланом Хасбулатовым, не признавая границ своих полномочий, пыталась подчинить себе власть президентскую и в этой борьбе довела страну до путча 1993 года и почти до гражданской войны.

Тем временем ловкие люди, воспользовавшись неразберихой, безумно обогащались, неловкие впадали в полную нищету, страну сотрясали инфляция, коррупция, преступность, заказные убийства и война в Чечне. Естественно, во всех бедах люди винили высшую власть, президента Ельцина и саму демократию. Что было на руку противникам нового строя и президента Ельцина. Они говорили людям: вот видите, к чему приводит хваленая демократия или, лучше сказать, дерьмократия. Раньше не было очень богатых, но зато не было нищих. Все люди имели работу, все получали зарплату. Скромную, но на жизнь хватало. У нас была великая страна, которую боялся весь мир. А теперь мы нищие и над нами смеются. И во всем этом виновата «банда Ельцина» и сам Ельцин, который совершил много глупостей, ошибок и преступлений.

Ошибки Ельцин, конечно, совершал, но главной его ошибкой было то, что он, гарант Конституции, вообще позволил ошибки свои обсуждать. Поэтому противники Ельцина ругали его последними словами, плели против него заговоры, а журналисты подливали масла в огонь, подвергая его критике и высмеивая. В еженедельной сатирической телепрограмме «Куклы» он изображался как марзматики, алкоголик, лентяй и деспот. Его перестали бояться, а в России, кого не боятся, того не уважают и не подчиняются. К концу правления Ельцина свободы и демократии было много, но люди в большинстве своем стали приходить к мысли, что им нужна не демократия, а порядок и сильная личность, способная его навести. А поскольку спрос, как известно, рождает предложение, то и личность появилась.

| НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

Четыре года тому назад иностранцы еще спрашивали: «Who is mister Putin?», и, возможно, он сам еще не знал, кто он такой, но любовь к нему россиян уже рас-

пространялась от сердца к сердцу, как лесной пожар. Одного обещания Путина «мочить террористов в сортире» оказалось достаточно, чтобы общество встрепенулось, как старая полковая лошадь при звуке трубы (образ Льва Толстого).

Ясно стало, что это не размазня вроде Ельцина, а боец (я имею в виду не только дзюдо), который и себя защитит, и народ в обиду не даст. Покончит с войной, бандитизмом, воровством, коррупцией, инфляцией и стихийными бедствиями. Всех, кого надо, посадит, всех, кто заслужил, наградит.

Первыми ему раскрыли свои объятия женщины. Знаменитая певица сказала ему: «Я езжу по всей стране и вижу, что везде люди вас любят за глубокий ум и твердую руку». Другая обратила внимание на крепкие ноги: «У вас настоящая мужская походка». Третья приняла его целиком и по телевизору верещала: «Вот это мужчина! Мужчина! Настоящий мужчина!» При этом глаза ее горели, а слово «мужчина» произносилось с таким восторгом, будто она встретила существо этого пола после долгого пребывания на необитаемом острове. Военные сразу признали в нем Верховного Главнокомандующего (кого в Ельцине не видели) и в своих восторгах недалеко ушли от артисток. Один генерал, получая орден из рук президента, сказал ему: «Вы наш Владимир Красное Солнышко» (так называли Великого князя Владимира (X век), при котором Россия приняла православие).

Прониклись к нему почтением и священнослужители, потому что набожный, ходит в церковь и крестится. Интеллектуалы — писатели, художники, ученые — поначалу колебались. То, что он пришел из КГБ, все-таки многих смущало. Но вскоре он расположил к себе и эту публику, выразив свою приверженность рыночной экономике, демократии, свободе, правам человека и обещая способствовать формированию в России гражданского общества.

Отметив, что государственный механизм разболтан и не работает (и это была правда), он приступил к делу, которое назвал укреплением вертикали власти. Разделил страну на несколько крупных округов и послал в них

своих людей представителями президента. Эти люди не заменяют выборных губернаторов, но держат их под контролем и, если нужно, оказывают на них давление. Он пообщался с лидерами политических фракций, и неизвестно, что им сказал, но Дума присмирела и перестала противоречить ему в чем бы то ни было. Конечно, пресса еще позволяла себе некоторые вольности. На телеканале НТВ о новом президенте говорили с пренебрежением, иронизировали над его политикой и над ним самим, а программа «Куклы» изображала его как диктатора и сравнивала часто со Сталиным.

Сравнение было несправедливым. При Сталине таких журналистов просто расстреляли бы. При Хрущеве могли посадить. При Брежневе выгнать с работы. А Путин выпадов против него как будто даже не замечал. Но у двух олигархов, Гусинского и Березовского, владельцев газет и телеканалов, начались неприятности с прокуратурой по поводу финансовых (и думаю, что не мнимых) махинаций. У канала НТВ тоже возникли трения с его могущественным акционером — Газпромом. Теперь ни на одном канале никаких кукол и никаких критиков нет. А в обществе сложилось мнение, что президента и критиковать-то, в общем, не за что. Он все делает правильно. Ведет себя скромно. Ездит по стране, пьет чай с простыми людьми. На Западе налаживает отношения через личные контакты с другом Джорджем, другом Герхардом, другом Жаком и другом Сильвио. А когда он дома, телезрители регулярно видят его принимающим утром, днем, иногда и ночью министров, генералов, прокуроров, ученых, артистов, руководителей политических партий, председателей Конституционного и Верховного судов. Он сажает их поодиночке напротив себя, выслушивает доклады и дает указания: оборону укрепить, образование улучшить, пенсии повысить, жертвам наводнения помочь, законность соблюдать, выборы в Чечне провести, и обязательно честные.

Некоторые газеты еще критикуют Путина по мелочам, но прежней развязности себе не позволяют. Тем более что газетами владеют люди, у которых тоже могут возникнуть неприятности с финансовыми органами.

Так в России не любили ни одного правителя со времен Сталина.

Но Сталин насаждал культ своей личности силой, с помощью НКВД (в будущем КГБ). Своих противников, реальных и мнимых, он безжалостно уничтожал и гноил в лагерях. Массовая любовь к нему подогревалась массовым страхом, всеми средствами пропаганды тоталитарного государства и ежедневным воспеванием любимого вождя в газетах, по радио, в кино, в стихах и песнях.

Культ личности Путина творится с помощью той же организации (теперь она называется ФСБ), сотрудником которой он и сам был недавно. Но — никаких репрессий. Любовь народная растет без всякого кровопролития.

Художники пишут его портреты, скульпторы лепят бюсты, народные умельцы рисуют его на матрешках, вышивают на полотнах, ткут на коврах. Уже написаны книжки для школьников о том, каким хорошим учеником и товарищем был Вова Путин в детстве. Поэты и композиторы посвящают ему стихи и песни не хуже, чем Сталину, правда, в иной манере. Известная женская рок-группа исполняет шлягер: «Я хочу такого, как Путин». А недавно мне попала газета «Президент третьего тысячелетия», вся от первой строки до последней посвященная Путину. Главный ее материал — поэма-панегирик с такими, к примеру, словами: «Да здравствует народный Президент Владимир Путин! Да здравствует российский Президент! Для всех людей Земли настал счастливейший момент. Он самый лучший Президент по сути».

Путин говорит, что ему подобная лесть не нравится. Но что он может сделать? Ведь у нас демократия, и никто никому запретить выражать свои чувства не может. Ни в стихах, ни в музыке, ни в действиях. И поэтому не успел Путин стать президентом, как образовалось массовое молодежное движение в его поддержку «Идущие вместе». Участники движения — агрессивные молодые

люди (вроде «Гитлерюгенда») — ходят в майках с изображением Путина, организуют громкие и дорогие акции за порядок на улицах, за чистоту морали и реализм в искусстве.

А между тем экономическое положение в стране заметно улучшилось. ВВП (внутренний валовой продукт) растет, зарплаты и пенсии повысились, люди повеселели, прониклись к президенту еще большей любовью. И вновь стало расти ослабевшее при Ельцине чувство патриотизма и гордости за свою страну. Эта тема нашла свое отражение в истории с новым российским гимном. Девяностолетний поэт Сергей Михалков, всегда готовый служить любому режиму и любому вождю, в первом варианте этой песни, написанной в 1943 году, прославлял при Сталине Сталина, при Хрущеве Ленина, теперь, по предложению Путина, очередной раз переделал текст на ту же мелодию и славит Россию: «Славься, страна, мы гордимся тобой».

Обычно инициативы Путина не вызывают противодействия общества, но переделка на новый лад гимна тоталитарного государства многим людям показалась делом настолько бесстыдным, что против него выступили десятки представителей российской культуры и правозащитников. Я лично, считая, что России прошлым своим гордиться пока не стоит, написал на гимн злую пародию и напечатал ее в газете «Известия». Мой текст, несмотря на его явную пародийность, был внесен на рассмотрение Государственной думы в качестве наиболее подходящего недавно убитым депутатом Сергеем Юшенковым. Другие депутаты ужасно сердились, называли текст хулиганством и провокацией, но вынуждены были рассмотреть его и поставить на голосование. К моему удивлению, мой вариант получил 23 голоса, но прошел, конечно, михалковский, представленный президентом.

Теперь каждое утро хор по телевидению громко поет «Россия, великая наша держава...». Пожилые люди новых слов в памяти удержать не могут, но старые помнят хорошо: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил».

Несколько лет назад бывший премьер-министр Виктор Черномырдин точно заметил: у нас какую партию ни начнешь строить, все получается КПСС. В последнее время создано сразу несколько таких КПСС, которые, однако, своей политической целью провозгласили не построение коммунизма, а поддержку президента Путина. Несколько партий слились в одну большую. Эта партия — «Единая Россия», самая крупная, влиятельная и богатая, поэтому члены других партий перебегают в нее. Неофициально она называется партией власти. В нее входят мэры городов, губернаторы, президенты национальных республик, генералы, режиссеры, артисты, поп-звезды, дрессировщики зверей, художники и литераторы, все, кто хочет на поддержке власти что-нибудь заработать. На ближайших выборах партия рассчитывает получить большинство мест в парламенте, и у меня нет сомнений, что получит благодаря тому, что называется сейчас управляемой демократией. Выборы, стараниями так называемых политтехнологов и психологов из ФСБ, хотя и отличаются несколько от советских (тогда «выбирали» одного депутата из одного кандидата), но все больше превращаются в ритуал с заранее предсказуемым результатом. Другие партии тоже борются за любовь президента или просто проявляют лояльность. Никакой реальной оппозиции нет. Оппозиционная «Либеральная Россия» после убийства своего лидера Юшенкова практически развалилась. Коммунисты, играющие роль главных оппозиционеров, на самом деле всегда были конформистами. Слабого противника они готовы затоптать, но перед сильным отступят и даже пойдут к нему в услужение. Короче говоря, ближайшие выборы в Думу (7 декабря) будут нервными, но новая Дума станет еще послушнее этой.

Если подвести итог четырехлетнему правлению Путина, можно сказать, что оно было более чем успешным. За это время с помощью ФСБ и администрации президента (ее для краткости называют просто Кремль) ему удалось укрепить свою личную власть и систему управ-

ления государством на всех уровнях. Разделение власти осталось только на бумаге. Обе палаты парламента (Дума и Совет Федерации) не принимают законы, а технически обрабатывают их по указаниям президента. О независимости суда нечего и говорить.

Но война в Чечне продолжается, и террору конца не видно. Борьба с коррупцией ведется для отвода глаз. Несколько милицейских полковников арестованы, но это выглядит как предвыборная пиаровская акция. Что такое несколько человек, когда, согласно социологическим данным, в России 85 процентов чиновников коррумпированы (если эта цифра не занижена на 15 процентов)? Прокуроры разводят руками и говорят: не можем же мы арестовать 85 процентов чиновников. Конечно, не могут. Тем более что сами, как я подозреваю, на столько же процентов такие же.

Несмотря на все это, экономическое положение страны улучшается, инфляции нет, зарплаты и пенсии понемногу растут. Противники Путина (ряды которых сильно поредели) говорят, что это происходит благодаря не его политике, а высоким ценам на нефть, основе российской экономики. При Ельцине цена опускалась до 7 долларов за баррель, при Путине почти на 20 долларов поднялась.

А что касается всяких свобод, то их для человека с опытом жизни, в которой свободы не было никакой, теперь, можно сказать, достаточно. Если вы не олигарх и не имеете больших политических амбиций, то во всем остальном у вас руки развязаны. Можно заниматься торговлей, ездить по стране или за границу, читать книги, писать их, писать любые картины, даже абстрактные, слушать джаз, танцевать брейк, ходить в штанах любой ширины и носить любые прически. Газеты, радио и телевидение сообщают обо всех главных событиях в мире и стране, включая стихийные бедствия, аварии, теракты, криминальную хронику и новости из Чечни. Этим свобод человеку хватает, чтобы строить жизнь по своему плану и получать информацию, которая ему интересна.

Короче говоря, президентом люди довольны, и самый большой его успех состоит в том, что 60% населе-

ния относятся одобрительно к сосредоточению власти в одних руках и только 27% хотят видеть ее разделенной. Что приводит меня к некоторым предположениям.

| ПРАВОСЛАВИЕ, НАРОДНОСТЬ, САМОДЕРЖАВИЕ

Спикер Федерального Собрания Сергей Миронов чуть ли не на другой день после своего избрания на этот пост предложил увеличить срок президентского правления с четырех до семи лет. Аргументируя это тем, что: а) выборы президента обходятся налогоплательщику чересчур дорого и — б) четырех лет слишком мало, чтобы осуществить намеченные реформы. Двух четырехлетних сроков тоже не хватит. И вообще президент у нас молодой, по окончании второго срока ему будет только 56 лет, что ж ему делать после этого? Предложение было смелое. Общество замерло в ожидании, что скажет Путин. Если согласится или просто промолчит (русские говорят: молчание — знак согласия), бюрократическая машина примется за осуществление идеи с большими шансами на успех. Путин выждал паузу и сказал, что он категорически против. Конституция слишком серьезный документ, чтобы ее менять в пользу действующего президента. Идея, однако, не пропала. Она повторялась несколько раз в разных вариантах. Некоторые соглашались оставить срок в четыре года, но разрешить президенту избираться не два, а три раза. Путин и это отверг, чем укрепил уважение к себе и не дал опуститься рейтингу. Но все это он говорил, не отбив первого срока. А что он скажет после избрания на следующий срок?

Нетрудно предугадать, что, как только это случится, предложения о продлении полномочий повторятся и будут настойчивы. На него окажут давление все, кто может держаться у власти только вместе с ним. Этих людей очень много. Члены правительства, администрации президента, руководители ФСБ и армия чиновников, которых дата — 2008 пугает. Путину-то что? С огромной властью расставаться, может быть, неприятно, но все-таки он перейдет на почетное и комфортное положение экс-президента. С большой пенсией, шоферами, охраной, пова-

рами и иммунитетом от судебных преследований. А каково будет его команде? Они ведь тоже будут не старые, но места свои потеряют. До пенсии еще надо дожить и желательно на свободе, а иммунитета не будет. Значит, они станут на президента давить, уговаривать (а могут и угрожать), чтобы остался, страна, мол, без него пропадет. Если он согласится, все будет в порядке. Его поддержат обе палаты парламента, армия, ФСБ, духовенство и после пропагандистской обработки практически весь народ. Как недавно сказал Анатолий Чубайс: «Путин сейчас выиграет любой референдум с любой постановкой вопроса по конституции и по чему угодно — это 100%».

Так что продлить сроки Путину будет несложно.

Но есть еще более заманчивое предложение, и оно уже прозвучало.

Близкий Путину человек, бывший его начальник, Павел Бородин (тот самый, что сидел по подозрению в финансовых махинациях в американской и швейцарской тюрьмах) недавно высказался так: «Для стран СНГ гораздо лучше иметь во главе царя, так как четыре года президентского срока — это очень маленький период».

Идея восстановления российской монархии уже закидывалась разными видными людьми, и один из активных ее сторонников — кинорежиссер Никита Михалков (сын сочинителя гимна). Если поставить вопрос серьезно, многие охотно начнут его обсуждать. В этом будут заинтересованы больше других Кремль, ФСБ и церковь (тем более что многие церковные иерархи, включая патриарха Алексия Второго, при советской власти сотрудничали с КГБ, а иные были там кадровыми офицерами). Перед народом в газетах и телевизионных программах выступают ученые, политологи, писатели, поэты, композиторы и священники. Они научно и художественно приведут доводы в пользу того, что монархия — это наиболее естественная власть для России, что бояться этого не надо, монархия не обязательно диктатура. Приведут в пример Великобританию, Испанию, Швецию, Данию, Голландию и т.д.

Возможно, Путина такое предложение поначалу смутит. Но у него будет время подумать. Я не утверждаю, что он согласится (хотя соблазн будет очень большой),

но если согласится, то и тут сопротивления большого не будет. Уже сейчас создается (не знаю, стихийно или направленно) подходящая идеологическая атмосфера. Русская церковь, хотя и отделена от государства, но все больше выходит за пределы отведенных ей рамок и с самодержавием сочетается больше, чем с демократией. В разных речах и статьях утверждается, что Россия всегда была богобоязненной православной страной (как будто не было семидесяти лет повального и агрессивного атеизма), и основой существования государства было триединство: православие, самодержавие, народность. Так что, если идея Бородина будет принята за основу, кто будет решительно против?

Несколько диссидентов, Борис Березовский и еще, может быть, живущие на Западе и плохо говорящие по-русски отпрыски дома Романовых. Кто еще? Тысячи людей, умных и образованных, которые могли бы быть опорой российской демократии, страну покинули, на положение в ней больше никак не влияют.

Возможно, на Западе такое событие будет встречено неоднозначно. Но зачем Западу беспокоиться, если Россия при таком развитии событий подтвердит свою приверженность миру, рыночной экономике, правам человека и, естественно, расширению всех связей с цивилизованным миром. Вот и все.

А что будет дальше в России, можно себе представить. Опять-таки выступления писателей, художников, артистов, митрополитов и патриарха. Энергичная кампания в газетах и по телевидению, а после нее референдум, где подавляющее большинство (если надо, результаты можно будет подправить) проголосует за. А потом — большие торжества, связанные с коронацией. Народные шествия, карнавал, и главное — пышное действо в Успенском соборе в Кремле. Я не говорю, что это обязательно случится, но вынужден признать: фантазия Бориса была не беспочвенной. Но некоторые мои предвидения уж точно сбылись. В написанном мною почти 20 лет назад романе «Москва 2042» изображен Гениалиссимус, правитель России, которым стал свободно говорящий по-немецки бывший резидент советской разведки в Германии.

Еженедельные колонки в «Известиях»

| ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ

Завтра — День Дурака. Держите это в памяти и будьте осторожны. Вполне возможно, вам прямо с утра кто-нибудь позвонит с неприятным известием, что в результате аварии водопровод будет перекрыт на неделю и следует срочно заполнить все емкости. Или с приятным: что ваша двоюродная бабушка умерла в Чикаго и оставила вам наследство. Или с тревожным: что в подвале вашего дома обнаружены мешки с гексогеном и вам надо немедленно спуститься вниз, имея при себе документы, драгоценности и спальные принадлежности.

День Дурака хороший праздник, веселый. Предлагаю утвердить его в качестве всенародного. Тем более что он таким именно уже сложился давно и стихийно. И по справедливости. Другие праздники в большинстве своем разделяют людей по разным признакам. По религиозным: Пасха, Рамадан, Песах. По профессиональным: Дни летчиков, танкистов, рыбаков, чекистов, железнодорожников. По половому признаку: Международный женский и наш внутренний День защитника Отечества, каковым почему-то считается каждое лицо мужского пола, включая и то, что никогда погоны не носило и от воинских обязанностей уклонялось всячески и успешно.

А День Дурака — праздник объединяющий, потому что дураки водятся среди представителей всех профессий, конфессий, лиц разной половой принадлежности, сексуальной ориентации и даже среди депутатов Государственной думы.

Его называют еще Днем юмора. Юмор состоит в том, что все, кому не лень, врут всем, кому ни попадя. Разве, спросите вы, в другие дни не врут? Врут, но в порядке вроде бы тренировки и подготовки к 1 апреля. Каждый божий день какие-то люди пытаются нас обмануть, надуть, обвести вокруг пальца и оставить с носом. Всучить нам чего-нибудь такого с обещанием, что мы немедленно похудеем на двадцать кило, избавимся от диабета, укрепим потенцию, выучим английский язык во сне, вернем любимого и выиграем сто тысяч долларов по билету за пять рублей. Выгодных предложений вокруг нас так много, что даже странно, почему мы до сих пор такие бедные, тучные и больные.

Нам всегда кто-то чего-то врал, и мы всегда кому-то зачем-то или во что-то верили. Верили в скорое построение коммунизма. Потом — капитализма. Верили Кашпировскому, Чумаку и Джуне Давиташвили. Верили в быстрое обогащение через МММ, Властелину и Хопер-Инвест. А надясь атомный министр Евгений Адамов посулил нам новую халюву задолго до наступления Дня Дурака. Мы, мол, у них ядерные отходы возьмем, а они нам за это еще 20 миллиардов отвалят. Народ по ТВ опрашивают, выгодная ли это сделка, а народ, однозначного представления не имея, подозревает, что сам-то он облысеет, а денежки достанутся не ему. Деньги, как резонно предположил Григорий Явлинский, немедленно разворуют, а отходы останутся нам почти на вечные времена — у них период полураспада измеряется сотнями лет.

Интересно, что наши патриоты, которые обычно к западным предложениям относятся как к заведомо коварным уловкам, вдруг руки гостеприимно распахнули и готовы всю эту пакость у нас в невероятных количествах немедленно разместить. Обещая нам эти 20 миллиардов только в качестве первого взноса. Мы эти отходы не просто возьмем, а переработаем и еще 20 миллиардов наварим. А потом отходы от отходов и отходы от тех отходов еще, еще и еще, и получится двадцать на двадцать — рупь двадцать.

Кажется, при царе Горохе или при Брежневe был лозунг: Превратим отходы в доходы.

Однако попутный вопрос возникает: неужто те, которые хотят нам свои отходы отдать, настолько дурее нас, что сами упускают случай на них заработать? Немцы на желдорпути ложатся, к рельсам себя приковывают, конечности в бетон под шпалами замуровывают, не желая иметь даже собственные отходы-доходы на своей территории.

К счастью, у нас до этого пока не дошло и, может быть, уже не дойдет. Адамов из министерского кресла выпал (плохо приковался), и теперь его идея завтра может выглядеть среднего достоинства первоапрельской шуткой. Так что есть шанс нам халявы атомной избежать без того, чтоб ложиться на рельсы.

А пока с наступающим вас праздником, дорогие читатели! С Днем Дурака и юмора. С днем мелких обманов и безобидных розыгрышей. А водой, кстати, все-таки запаситесь. Потому что шутки шутками, а ее в любой день могут отключить. И 1 апреля тоже.

№ 57, 31 марта

| ПОД ОХРАНОЙ ШВЕЙЦАРСКИХ ГВАРДЕЙЦЕВ

Опять живем от митинга к митингу.

Скандал с НТВ заслонил все другие события, включая послание Президента Федеральному собранию. Признаюсь, на начальной стадии конфликта телеканала с его многоликим противником (Газпром, прокуратура, налоговая полиция) в масках и без я еще допускал, что причина в долгах или налогах. Теперь ясно, что цель атаки на НТВ — его полное уничтожение забытым советским способом — через «укрепление» кадров.

На фоне этого скандала прошло как новость второго разряда решение Бруклинского суда об экстрадиции Павла Бородина по его просьбе в Швейцарию.

Все время, пока Пал Палыч сидел в Америке, Россия, Белоруссия, Никита Михалков, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина и адвокаты требовали его освобождения под залог или без залога на том основании, что он большой человек, а тюремное заключение не позволяет ему исполнять должным образом обязанности госсекре-

таря российско-белорусского союза. Соображение серьезное, но судья не учел. Хотя давно мог бы заметить, что исполнять свой профессиональный долг, сидя в тюрьме, под силу разве что только нашему брату — писателю. Когда его помещают в одиночную камеру, не отнимая бумагу и карандаш. А если даже отнимают и запикивают в общую камеру с уголовниками, бьют и держат на голодном пайке — для него это ценный жизненный материал.

Что же до важных начальников, то, как показывает практика, их деятельности сидение на нарах тоже особого вреда не наносит. Взять того же Пал Палыча... Он, как сообщала печать, и в заточении времени не теряет, активно содействуя слиянию двух братских народов в один. Живет напряженной духовной жизнью: смотрит телевизор, читает русские газеты, общается по телефону с семьей, играет с нью-йоркскими урками в баскетбол.

Руководить чем-нибудь из-за решетки стало делом настолько обыденным, что Юлия Тимошенко, находясь под стражей, успешно направляла движение «Украина без Кучмы». Слободан Милошевич, не покидая комфортабельной одиночки, ведет за собой Социалистическую партию Югославии. Владимир Гусинский сначала из московской, а потом из мадридской тюрьмы управлял «Медиа-Мостом». Его опыт я бы посоветовал на всякий случай изучить Альберту Коху, Борису Йордану, Владимиру Кулистикову, всему совету директоров НТВ, руководству Газпрома и много кому еще. Возникает интересная мысль: а может, вообще всех нами руководящих разместить сразу по тюрьмам, и пусть там, в тиши, на наше благо работают. От дела отвлекаться не станут, нам обойдутся дешевле и охраняться будут надежней. К тому ж избежали бы психической травмы, наносимой переселенцу из дворцовой палаты в тюремную камеру.

У Бородина заступников много. Я бы сам стал в их ряды. Но перед тем хотелось бы знать: а все-таки приписываемые ему миллионы он украл или их на него вешают ни с того ни с сего? Я читал, конечно, что прокуратура провела расследование и не обнаружила. Да и как обнаружишь каких-то жалких два десятка миллио-

нов долларов, затерянных чуть ли не в миллиарде, потраченном на византийский евроремонт Кремля. Озирая который, Клинтон ходил и ахал: «Вот это да! Вот это да!» Небось завидовал. Ему такое в Белом доме устроить жадный американский налогоплательщик никогда б не позволил. А наш плательщик добрый. И прокуроры не злые. Не то что швейцарские.

Пал Палыч сидит, но знает, что он не один. Официальные лица делают заявления. Народ протестует. Участники акции «Родина за Бородина» на маршруте Якутск—Москва собрали тысячи подписей. Демонстранты у американского посольства в Москве сожгли звездно-полосатый флаг.

Но вот что вызывает сомнение. Все эти протесты, утверждения, заявления и недоумения выражаются как-то не очень уверенно. Не слышал я, чтобы хоть кто-то сказал решительно, что Павел Павлович Бородин кристальной честности человек, который никогда, ни при каких обстоятельствах не взял бы себе лишней копейки. Говорят другое и разное. Что это провокация, что Бородин «подставили», что он любит детей, что у него давление и диабет, и опять-таки, что трудно ему управлять союзом Белоруссии и России издалека.

Но теперь он будет поближе.

Переберется в Европу и заживет примерно как Папа Римский. Который управляет государством (правда, всего одним), тоже находясь под постоянной охраной швейцарских гвардейцев.

№ 72, 7 апреля

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
(пессимистические раздумья)

Под таким девизом НТВ проводит сбор подписей в свою защиту. Из всех песен Окуджавы мне, может быть, только эта одна не нравилась никогда. Призыв взяться за руки в советской реальной жизни всегда оказывался неисполнимым. Сколько раз я видел, как люди брались за руки, а потом разжимали пальцы и отходили

в сторонку. Молча или придумывая красивые оправдания.

Солидарность — это больше для тех, кому терять нечего. Ее проявляют чаще других заключенные и голодные. Кому терять есть что, на тех можно воздействовать страхом или соблазнами.

Я помню, как много лет тому назад разгоняли «Новый мир» во главе с Александром Твардовским. Хоть советская власть была еще крепка, но разогнали не мановением пальца, а долго то с той стороны подбирались, то с этой. Сначала критиковали журнал в печати, на собраниях и в парткомах. За то, что публиковал сочинения упаднические, проникнутые духом уныния, очерняющие нашу героическую действительность. В редакции на эту критику сначала реагировали пренебрежительно, свысока и насмешливо. Когда сообразили, что не до шуток, стали впадать в патетику, поминая осажденную Брестскую крепость и гордо тонущего «Варяга». Произнося при этом что-то клятвенное. Не изменим себе самим, нашим авторам, нашим читателям и нашему делу. Но осада продолжалась. И стали в редакции раздаваться разумные голоса в пользу тактической гибкости. Решили кое-где кое-что уступить. Одного автора поправили, другого сократили, третьему вовсе дали от ворот поворот, заменив его четвертым, которого раньше и на порог не пустили бы. Но осаждающие продолжали сжимать кольцо и требовали укрепить редколлегию путем замены ее идейно уравновешенными товарищами. Твардовский поначалу упирался: коллектив наш един, все вместе работаем, а если что, все вместе уйдем. Но враги не уставали, а друзья им помогали, уговаривая главного редактора обойтись малой кровью. К тому же клонили и члены редколлегии, которые думали, что сами они это дело переживут. Пришлось выдать пару жертв на заклатание, но у хищников во время еды аппетит разгорелся пуще прежнего. Стали требовать дальнейшей крови, и опять было уступлено второстепенное, чтобы сохранить главное.

В конце концов, когда от журнала не осталось ничего, кроме обложки, Твардовский хлопнул дверью и

капитулировал с остатками своего войска в составе, помнится, одного Владимира Лакшина. С наказом оставшимся авторам: покинутый журнал бойкотировать. Наказ этот никакого смысла не имел, поскольку лучшие авторы со старой редколлегией в порядке проявления гибкости были от журнала отторгнуты. И новая их к себе не звала, ибо не для того была создана. А другие авторы бойкотом пренебрегли, тем более что, пока были живые, хотели кушать. Журнал продолжал выходить под той же обложкой и под тем же названием, вроде тот же, да не совсем. Стал он чем-то вроде жеребца, превращенного в мерина. Тогда эта кастрация случилась при полном молчании публики.

Теперь, конечно, дело другое. Покушение на НТВ власть предпринимает в неудобное для себя время. Не имея в руках такого убедительного аргумента, каким был когда-то ГУЛАГ. Когда нет ГУЛАГа и ведущих к нему статей Уголовного кодекса, народ позволяет себе выходить на митинги и выкрикивать черт-те чего. НТВ клянется в верности народу. Народ клянется в верности НТВ.

Так что шуму много.

Но результат, я думаю, будет тот же, что и в той давнишней истории с «Новым миром».

Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!

И под эти гордые слова стали как раз пропадать. Уже покинула тонущий корабль команда передачи «Криминал». Уволились Пивоваров и Забузова. Две звезды исчезли с небосклона: Миткова и Парфенов. Первая ушла молча. Второй с объяснениями, которых я не понял. Не зная точно, в чем дело, я их не осуждаю, не одобряю, но думаю, что процесс, как говорится, пошел. Вот еще один-другой энтэвэшник уйдет — и что будет? Будет примерно, как в хоккейной команде. Уберите из команды тренера, перекупите пару нападающих и голкипера, и за эту команду можно уже не болеть.

Возьмемся за руки, друзья!

Подержимся, разойдемся и пойдем посмотреть по телевизору то, что нам покажут.

«Известия», № 67, 14 апреля

Пару лет назад в Москве пожилую американскую туристку задавил грузовик за то, что она слишком хорошо знала правила дорожного движения. Пересекая Олимпийский проспект, она воспользовалась переходом типа зебра и думала, очевидно, что уж тут от покушения на свою жизнь застрахована этими самыми белыми по темному полосами. Водитель же грузовика писанные правила, может, и помнил, но руководствовался неписаными, согласно которым эти полосы вообще ничего не значат, а при зеленом сигнале светофора можно поворачивать направо и налево, не пропуская идущих прямо на тот же свет пешеходов.

Писанные законы иногда что-то значат, но неписанные правила поведения тоже понимать не мешает. Что, однако, бывает непросто, поскольку они меняются на ходу, создавая в обществе нервную обстановку.

Еще недавно два олигарха, которых мы не избирали, фактически управляли страной, переставляли на политической сцене фигуры, как на шахматной доске, включая королей и ферзей, делая головоломные комбинации с эффектными, но не всегда корректными жертвами. Между собой они то крепко дружили, то топили друг друга в дерьме, и тогда Сергей Доренко показывал нам заморские владения Владимира Гусинского, а четвертый канал небеспристрастно следил за делом Аэрофлота и коммерческими операциями Бориса Березовского. Кушать только друг друга олигархам было невкусно, поэтому они своих телеведущих натравливали на высоко стоявших наших начальников и одних поднимали еще выше, а других спускали на землю и опускали. Что делало наши вечера у телевизора нескучными. Любопытно было полюбоваться дворцом, поднесенным за красивые глаза дочери президента, посчитать, сколько денег потрачено на кремлевскую роскошь, и увидеть в разрезе берцовую кость Примакова.

Глядя на все эти телеразборки, зрители радовались. Все-таки простому человеку приятно бывает видеть, как богатого или все сильного прижимают к стене. Некото-

рые радовались, но многие недоумевали: как же так — если этот украл, а этот убил, почему они не в тюрьме? Где закон? — спрашивали они. Иные люди возмущались, говоря, что они за свободу слова, но...

Я за свободу без всяких но, однако все чаще путался, не различая, где в этих передачах добросовестная и смелая попытка сказать правду, разобрать действия властей, разоблачить злоупотребления, а где борьба кланов и интересов за сферы влияния, за сургутскую нефть и красноярский алюминий, где независимое расследование, а где оплаченный заказ. Поэтому, когда дело дошло до конфликта власти с НТВ, я с выводами не спешил. Я думал, может, и правда дело в долгах и налогах. И сейчас не исключаю, что дело и в этом. Но вижу, что не только в этом, а в чем-то еще. Да, да, в покушении на свободу. Поэтому я подписал письмо в защиту НТВ.

Я не думаю, что Гусинский и Киселев в самом деле являются большими и бескорыстными светильниками разума, но за команду НТВ я болел и переживал по поводу ее ожидавшейся гордой гибели. Которая, к счастью, пока что не состоялась. Команда перепрыгнула сначала на ТНТ, а теперь перешла на ТВ-6. Сбросивши за борт тамошнюю команду. Которая, надеюсь, тоже не утонет и будет подобрана оставшимся на плаву НТВ.

Но под нами под всеми палуба закачалась.

Чует мое сердце, на нашем корабле творится что-то неладное. Олигархов от нас удалили, ну и ладно. Но Бородин, который не сильно от них отстал, за большие деньги выкупили. Хотя, как уже было сказано, он союзным государством и из тюрьмы управлял неплохо. Как-то все больше признаков, что дышло законов у нас к разным людям повернуто разными концами.

Власть первые победы над нами уже одержала (приняла советский гимн, разогнала НТВ) и, кажется, готова двигаться дальше. Вот уже разные партии в одну сливаются, чтобы стать руководящей и направляющей силой. Три независимых государства стремятся в единый могучий какой-то союз. Крепнет дружба с Ираном и Ираком. Судьи все чаще прижимают к уху телефонные трубки. Законы не работают, правила поведения неясны, а мораль...

Какая уж там мораль, если среди народных избранников есть уроды, которые не боятся оскорбить память миллионов погибших людей и чувства живых избирателей, не оторвав от депутатских кресел свои зады и не заткнув хотя бы на минуту свои поганые глотки.

№ 72, 21 апреля

| ПЯТНАДЦАТЬ ШАГОВ К МИЛЛИОНУ

Итак, несколько народных избранников не почтили вставанием память 6 миллионов зверски убиенных женщин, мужчин, стариков, детей и совсем младенцев и тем самым одобрили газовые камеры Освенцима, печи Треблинки, рвы, набитые трупами. Я бы заслуги этих невставших отметил, выдав им по железному кресту и по абажуру из человеческой кожи.

Главным невставанцем оказался, конечно, тот, который на букву Ж. Сын юриста и сам заслуженный юрист, он к шестидесяти годам собирается стать профессором и генералом. Судя по всему, в оценках своих возможностей будущий профессор постепенно трезвеет: помнится, к пятидесяти он обещал нам стать президентом всяя Руси, чего (Бог миловал) не случилось. Солидарно с профессором Ж. не поднял ж. и доктор дремучих наук Ш., которому, учитывая его внешний облик и образ мыслей, следовало бы присвоить звание заслуженного скинхеда Российской Федерации. Разумеется, Ж. и Ш. считают себя патриотами. Но при этом Ш. совсем недавно не вставал при звуках Патриотической песни великого русского композитора Глинки, чем заставил меня задуматься: патриотом чего же он является, неужто нацистской Германии? Если так, то ему и будущему профессору я советую быть последовательными и в дальнейшем ежегодно 20 апреля почитать вставанием, молчанием и вытягиванием вперед правой руки рейхсканцлера Г., который, попадись ему в свое время в руки наши герои, господина Ш. произвел бы, может быть, в полицаи, а заслуженному юристу мог присвоить звание почетного арийца, несмотря на строение черепа.

Что было бы да кабы, это можно вообразить, а вот

что сейчас делают юные единомышленники Ж. и Ш., вдохновленные примером старших наставников, воображать не надо: в день рождения фюрера они зарезали мальчика, которого родители, пытаясь уберечь, увезли от войны, привезли в мир, тоже достаточно страшный. Возможно, наши органы кого-то из бритоголовых юнцов изловят, посадят, станут судить, но осудят ли? Патриоты запротестуют, выйдут с плакатами к зданию суда, утверждая, что здесь судят не отдельных негодяев, а всю Россию, а соратник Ж. депутат М., исполненный приступа гуманизма, всем, кто кого-то зарезал, предложит амнистию. Ж. и Ш. его охотно поддержат, а им самим, закоперщикам всякой ненависти между людьми, амнистия не нужна, они у нас неприкосновенны вроде индийских коров: могут мычать, бодаться, лягаться и ляпать свои лепешки, где вздумается.

В Германии нынешней, в любой другой не дикой стране ни один депутат не посмеет оскорбить память погибших, кто бы они ни были: евреи, армяне, русские, жертвы войны, землетрясения или подводной беды. А на выходки неофашистов люди отвечают массовыми шествиями и митингами протеста, но у нас на это уже нету сил, мы изнемогли в борьбе за НТВ. Из чего, впрочем, получились полный пшик и комедия положений.

Сначала была героическая оборона. Знамя с тремя буквами гордо реяло из окна на осажденном восьмом этаже. На экране объявление, что бой продолжается, а дикторы предупреждали, что если завтра мы не увидим на экране Ольгу Белову или Петра Марченко, значит, случилось самое худшее. Мы были солидарны и готовились к подвигу или бойкоту захваченного врагами канала. Но, слава богу, худшего не случилось. Нажимая четвертую кнопку, мы видим лица все тех же ведущих, за исключением некоторых, кого видим, нажимая другие кнопки. Тоже не пропали, не сгнули и незастенчиво смотрят на нас с телеэкрана.

Я не был в Москве, но оба митинга видел по телевизору. Слушал и с волнением повторял за ораторами: Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Восхищался и умилялся до слез. Думал: какие

люди! Свободные, гордые и отважные! Бросающие в лицо власти бесстрашные слова. Мне было неловко, что я не с ними. Что не стою на трибуне, не произношу пламенных слов, не берусь за руки и не растопырываю пальцы в знаке виктории. А теперь думаю: Бог уберег. Сейчас ходил бы, потупивши взор.

А так что ж: Час мужества пробил, минул и — отдыхайте до следующего раза.

Тем же, кто еще на что-то надеется, советую явиться к семнадцатому подъезду здания в Останкино и записаться на игру «О, счастливчик!», как бы она ни называлась и кем на каком канале бы ни велась. Если ответите правильно на пятнадцать вопросов, получите миллион.

№ 77, 28 апреля

| СИЛА СЛОВ И СВОБОДА СЛОВА

Поэт сказал: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат»... У слов сила есть, иногда даже заметная, но все-таки не такая большая, как некоторым кажется. Три десятка лет тому назад союзписательские начальники, не имея справок от психиатра, обвиняли меня в том, что роман о солдате Чонкине я написал в угоду американским империалистам и по прямому заданию ЦРУ. Иные из этих оппонентов предрекали мне место на свалке истории и шли далеко, утверждая, что цель моего романа — подорвать мощь Советского Союза. Дойдя до подобной мысли, они впадали в сильное волнение, но тут же сами себя успокаивали посредством валидола и слов, что мое покушение на целостность нашего государства обречено на провал, как все предыдущие. Мы, мол, в свое время победили Белую армию, отразили нападение четырнадцати стран Антанты, разгромили наголову немецко-фашистские полчища и с вами (со мной) в конце концов как-нибудь справимся.

Оказалось, не тут-то было.

Когда месяца полтора тому назад я отвечал в «Известиях» на телефонные звонки читателей, двое из звонивших предъявили мне привычное обвинение, что я разва-

лил Советский Союз. Будь у меня мания величия, я мог бы и возгордиться. Развалить Советский Союз — это даже больше, чем завалить медведя.

Сила слов — страшная вещь, для измерения ее стоит ввести что-нибудь вроде шкалы Рихтера. В позапрошлом веке рабочий Петр Алексеев громогласно пообещал, что скоро поднимется мускулистая рука рабочего класса и что-то ужасное сделает. За эти слова он попал сначала на каторгу, а потом в ссылку. Однажды шел он по тайге и встретил двух охотников, представителей небольшого местного народа. Они, надеясь чем-нибудь поживиться, убили Алексеева. А у того ничего не было. Но, чтобы зря работа их не пропала, они сочинили песню со словами о том, как встретили в лесу огромного русского великана и одолели его в непосильной борьбе. После чего зарабатывали на кусок хлеба, распевая свою песенку в местных селениях. И все было бы хорошо, но песенку услышал какой-то следователь.

Вдумавшись в слова, он авторов арестовал и легко доказал, что их сочинение основано не на вымысле.

Это я к тому, что слова имеют большую силу, особенно когда за них приходится отвечать. Или когда они возбуждают большие массы народа. Допустим, на митингах. Я, признаться, митингов вообще не люблю. Они бывают очень разные и зовут нас порой черт знает куда. Видели вы в кино митинги с Лениным, Гитлером, Фиделем Кастро?.. Огромные толпы людей, нашедших свой путь. Восхищенные, одухотворенные, просветленные лица. Смело, товарищи, в ногу! Зиг хайль! Но пасаран! Советские люди при призывах расстрелять кого-то как бешеных собак хором визжали от радости. Сейчас в Европе и в Австралии анархисты и глобалисты кидаются камнями в полицейских, переворачивают автомобили и жгут резиновые покрышки. В Маниле беснуются толпы, которые совсем недавно требовали посадить своего экс-президента за то, что слишком много украл, а теперь столь же страстно желают видеть его на свободе. (Вот видите: красть надо побольше. Тогда есть шанс, что кто-то за вас заступится.)

Там люди горячие, они в силу слов не верят и пере-

ходят к делу. Мы ведем себя достойнее и боремся за главное, что у нас есть. За свободу слова. Которая, между прочим, имеет очень странные свойства. Пока мы говорим, что ее нет, она у нас есть. А когда мы все дружно начнем утверждать, что она у нас есть, это будет значить, что ее у нас больше нет. Другая странность: если можно защищать свободу без всякого риска, значит, нет риска ее потерять. Когда же есть этот риск, тогда защита свободы становится делом благородным, но опасным, и чем опасней, тем благородней.

Давно известно: свобода требует жертв.

О недавних наших митингах я говорить больше не хотел, но некоторые люди извели меня попреками, что я не восхищаюсь героями, которые отважно вышли защищать свободу слова.

Отважно вышли, да робко ушли.

Мне говорят: а что же нам делать? У нас же семьи, дети, долги. Это я понимаю. Но если вы хотите защищать что-то, ничем не рискуя, тогда не надо собирать митинги, поминать гордого «Варяга», браться за руки и показывать нам два пальца.

Тогда работайте спокойно на тех, кто вас купил, и говорите то, что вам разрешат. А о свободе слова мы будем беспокоиться без вас. Или вместе с вами не будем.

«Известия», № 79, 5 мая

| ПОБЕДА И ВЫИГРЫШ

В 1945 году Германии неслыханно повезло — она потерпела сокрушительное поражение. Тысячелетний рейх скончался, не дотянув до подросткового возраста. Не все это поняли сразу. Гросс-адмирал Карл Дёниц, сменивший Гитлера на посту рейхсканцлера, признал, что Германия проиграла войну, но объявил при этом, что государство остается прежним, а идеи национал-социализма живут и крепнут пуше прежнего. Сидя в своей канцелярии, он издавал указы, распоряжения и приказал расстрелять офицера, который за день до объявления капитуляции сложил оружие самовольно. На то, чтобы кого-нибудь расстрелять, у адмирала власти еще

хватало, но другим его указам уже никто не подчинялся. Тем не менее еще почти две недели он указывал и приказывал, пока его не взяли под белые руки и не увезли в Нюрнберг, где за свои заслуги он получил 10 лет тюрьмы.

Потом начался процесс денацификации, согласно которому, как было сказано в решении Берлинской конференции 1945 года глав союзных держав, «все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в частных предприятиях».

Активных нацистов и тех, кто с ними активно сотрудничал, увольняли с работы, подвергали бойкоту. Это касалось и деятелей искусства. Известных писателей, актеров, режиссеров, замаравших себя услужением рухнувшему режиму, не печатали, не давали выступать на сцене или в кино и не заказывали им государственных гимнов. Бывших эсэсовцев не брали на работу даже в охранные службы. Рядовых обывателей, которые, по их утверждению, ничего не знали и не видели, подвергли жестокому испытанию, показав им лагеря уничтожения людей, газовые камеры, крематории, рвы, набитые трупами, изделия из человеческой кожи и фильмы реальных ужасов на ту же тему. Вот где была настоящая шоковая терапия! Люди не хотели этого видеть, закрывали глаза, падали в обморок, сходили с ума.

После этого в Западной Германии были правление Аденауэра и реформы Эрхарда. Они удались потому, что ни в бундестаге, ни в бундесрате не было ни нацистской фракции, ни родственников им аграриев. Депутаты не противились законам о земле, не настаивали на усилении роли государства в экономике, не пытались вернуть символику Третьего рейха, не требовали запретить рекламу, ввести цензуру, поставить памятник Гимmlеру и стеснялись тратить слишком много времени на законы о повышении своих зарплат и улучшении жилищных условий. Нацистскую партию судил не суд

из бывших членов этой же партии, а международный трибунал.

Немцев надолго освободили от производства пушек, танков и самолетов. А также от соблазна чеканить шаг, бороздить Мировой океан или покорять космос. Им не пришлось устанавливать и кормить родственные режимы в Азии, Африке и Латинской Америке. Они меньше нашего воровали, отмывали деньги в офшоре, давали и брали взятки. Они не только вводили законы, но исполняли их. Смирившись с тем, что Германия не превыше всего, перестали тратить энергию на гордость собой. У них и сейчас того, кто скажет глупость вроде «я горжусь тем, что я немец», заплюют, заклюют и правильно сделают. Гордиться тем, что ты немец, русский, еврей или кто другой, глупо. Можно только радоваться, что ты на этот раз (может быть, случайно) родился человеком, а не лягушкой и не свиньей.

Забыв о своем превосходстве над другими, граждане ФРГ занялись строительством капитализма с человеческим лицом, с хорошими домами, дорогами и всем, что нужно для жизни. Теперь посмотришь на них и на нас и невольно думаешь: а кто же кого победил?

9 Мая моего приятеля из ФРГ на Ленинградском шоссе инспектор ГИБДД остановил за превышение скорости. Простив водителя за небольшую мзду, милиционер взял под козырек и произнес невинное: «С праздничком вас!» Чем ужасно возмутил поздравляемого: «Да как вы смеете меня, немца, поздравлять с вашей победой?» Инспектор смутился: «Да я вас не с победой поздравляю, а с выигрышем».

Мы их победили, а они у нас выиграли.

Потому что они от своего мерзкого прошлого отказались, а мы за свое все еще держимся.

«Известия», № 82, 12 мая

| НАС УЗНАЮТ ПО НЕПРИЧАСТНОСТИ

Мне рассказывали про одну русскую Машу, которая в конце войны попала в Германию и промышляла затем проституцией. В условиях послевоенной разру-

хи и дороговизны продуктов многие вещи там можно было купить за бесценок. Сотка земли под Мюнхеном стоила триста марок, и женское тело ценилось недорого. Когда удовлетворенный клиент говорил Маше «данке», она отвечала великодушно: «Нихт цу данкен. Цвай марк фюнфцих» («Не стоит благодарности. Две марки, пятьдесят»).

С тех пор вода текла, всё дорожало, сегодня квадратный метр земли там же стоит тысячи, литр бензина — цвай марк с лишним, а за платную любовь разброс цен, вероятно, большой, но в целом проститутки своим положением недовольны и время от времени бузят, требуя для себя признания, улучшения условий и оплаты труда и социальных гарантий. (Вроде пилотов «Люфтганзы», которые получают, я думаю, не меньше, чем проститутки.)

Правительство не знает, как быть. Проституция существует уже в настолько устоявшихся формах, что запрещать ее так же бессмысленно, как запрещать плохую погоду. Но как быть с моралью? Впрочем, мораль в наше время настолько быстро теряет прежние ориентиры, что женщины становятся священниками, мужчины носят серьги в ушах, гомосексуалисты вступают в официальные браки, на этом фоне проституция кажется делом вполне обычным.

Это всё сознание даже западного человека не может в себя вместить, а каково нам, бывшим строителям коммунизма?

Лет тридцать тому назад в «Литературке» были напечатаны стихи, лирический герой которых, попавши в Париже на пляс Пигаль, был остановлен проституткой, которая предложила (далее по тексту): «... месье, меня вы купите?». Ответил я: «Нет, никогда!»/ «Так вы, возможно, деньги копите?/ А может быть, вы русский?». «Да!» И — достойное завершение сюжета: «Вот и все. Замечу в частности:/ нас повсюду и везде/ узнают по непричастности/ к разной грязной ерунде».

(Непричастность, может быть, объяснялась не только высокой моралью, но и недостатком у советского туриста наличной валюты.)

Теперь же, в результате всех пережитых нами катаклизмов, мы ко всемирной цивилизации приобщились и в грязной ерунде сразу надежно погрязли. У нас тоже теперь свобода: в кино голую грудь увидишь чаще, чем дерево, ненормативная лексика стала нормой, а слово «трахаться» употребляется чаще, чем глаголы «быть» или «пить».

Что же до этих, которых поэт видел на пляс Пигаль, зачем нам переться так далеко, если они чуть ли не сплошной шеренгой стоят вдоль шоссе от Сокола до Шереметьева-2 и в газетах дают объявления, что готовы на всё и задешево?

У нас время от времени тоже возникает дискуссия, что делать с проституцией: запрещать, разрешить или закрывать глаза, как раньше. Сторонники разрешения прибегают к доводам рассудка, противники больше налегают на эмоции, подмену понятий и ложную логику: мол, если можно заниматься проституцией, значит, можно воровать и убивать. И задается вопрос «на засыпку»: «А вы хотели бы, чтобы ваша дочь?..»

Разумеется, подобной участи для своей дочери мало бы кто хотел. Впрочем, есть еще много разных неприятных занятий, которые мы своим дочерям не желаем. Между тем быть сторонником разрешения проституции — вовсе не значит быть ее почитателем. Просто надо трезво смотреть на вещи и реально оценивать ситуацию. Никакое нормальное общество не поощряет наркоманию, но, например, в Голландии, чтобы удержать ее в каких-то рамках, разрешается курить марихуану. Кажется, и у нас уже наркоманам дают презервативы и одноразовые шприцы, чтобы они общались между собой и даже кололись, но хотя бы без СПИДа. Явление существует, с этим ничего не поделаешь, значит, надо или его приспособить к законам, или законы приладить к нему. Узаконенная проституция тем лучше нелегальной, что существует под наблюдением власти, полиции и врачей. А иначе этот «бизнес» уходит в кусты, в подворотни, там простор для растления малолетних и принуждения к этому занятию силой. Там держат секс-рабынь, травят клиентов клофелином, заражают их СПИ-

Дом и сифилисом. Так что разрешать проституцию или нет, об этом все-таки стоит подумать.

Хорошо бы при этом нас узнавали не только по непричастности к грязной ерунде, но по причастности к уму.

№ 87, 19 мая

| ОСОЗНАННАЯ ОБХОДИМОСТЬ

На прошедших днях отмечали юбилей Сахарова, беспокоились о судьбе Ленска, Якутска, Савика Шустера, «Свободы» в кавычках, которая радио, и нашей собственной, с маленькой буквы, раскавыченной (слава гэкачепистам!) в 91-м году. О Сахарове было сказано много хорошего, но при этом кому-то приятно представлять его юродивым, не от мира сего, не сознававшим, чего он стоил. На самом деле он оценивал себя трезво, значения своего не преувеличивал, но и не сильно преуменьшал. Согласно Толстому, значение человека можно условно определять дробным числом, где в числителе стоит его реальная ценность, а в знаменателе — его собственное мнение о себе. В данном случае знаменатель был равен числителю, а сам Сахаров — единице, оценка, по Толстому, высокая. Живи он в иных условиях, мы бы о нем, вероятно, знали только как о ядерном физике, но ему повезло родиться и жить в обществе, где сила духа подвергалась максимальному испытанию, а слову «свобода» власть предпочитала понятие «осознанная необходимость». Я же всегда думал, что свобода — это не необходимость, а насущная потребность каждого живого существа, будь то человек, зверь или курица, жить, дышать, двигаться и кудахтать. Свобода, как погода, существует в единственном числе, и даже разбивая ее для удобства на мелкие составные, мы говорим не свободы, а свобода слова, печати, митингов, собраний, демонстраций и шествий. Свободы может быть больше или меньше, но полной не бывает никогда и нигде, о чем нам в советские времена постоянно втолковывали, чтобы объяснить, почему у нас не было ее никакой. Конечно, даже там, где свобода есть, она всегда ограничена рубежами, зона-

ми, заборами, блокпостами, светофорами, наличием денег, а также химерами долга, совести и морали. Свобода говорить, что хочешь, у нас есть, но вы будете вопиющим в пустыне, пока не прорветесь к трибуне, микрофону или печатному станку.

Поэтому благом свободы слова больше других пользуются публичные политики, теле- и радиокомментаторы, прочие журналисты и немного я — в пределах данной колонки. Свободе говорить противостоит свобода плевать на говоримое, что мы постоянно видим по телевизору и о чем читаем в газетах. Сколько нам представляли громких материалов об утекших за границу миллиардах, с показом шикарных вилл, яхт, банковских счетов, лиц и фамилий, потом все уходило в песок, и опять непонятно, украл Имярек миллиарды или у нас такая свобода слова, что журналисты могут на честного человека клепать что хотят, а ему остается только свобода помалкивать в тряпочку, как это делает Пал Палыч в Женевском суде. Вот только что (22.05.01) в газете «Зюддойче Цайтунг» опубликован материал о том, как какие-то фирмы, родственные Газпрому и контролирующие поставки газа в Венгрию на десятки миллиардов долларов, были приватизированы и куплены сыном Виктора Черномырдина, дочерьми Рема Вяхирева, Вячеслава Шеремета и еще чьими-то чадами где за четыре марки (меньше двух долларов), где за 4.20. И хотелось бы знать, буржуазная пропаганда врет нам про это, а если нет, то куда же смотрит прокуратура и лично ее генеральный начальник, призывая нас не слишком заботиться о правах обвиняемых?

Размышления о свободе привели меня опять к радио «Свобода», лишившемуся Савика Шустера, за двойную зарплату которого народ готов был снова выйти на площадь. С лозунгами: «Свободу» — Савику Шустеру» или: «Свободе» — Савика Шустера». Только неизвестно, где эта площадь. «Свобода»-то ведь не наша — американская.

Относительно самой этой радиостанции тоже много споров: кому она сегодня нужна, кроме ее сотрудников. Ведь она была создана для несения свободного слова туда, где свободы нет. Была чем-то вроде наших спецпод-

разделений, которые в жестяные рупоры трубили немцам через линию фронта: «Гитлер капут!» Но цель, к которой стремилась радиостанция (и я тому тоже скромно способствовал), достигнута в упомянутом выше 91-м году, а радио все еще вещает поверх барьеров, которые лежат под ногами. Вот если их снова воздвигнут, тогда она нам опять понадобится. Но тогда ее здесь не будет. Тогда она будет опять за барьерами. Но именно поэтому будет очень нужна. А пока можно обойтись без нее и даже без Савика Шустера. Тем более что и он без нас обошелся, устроился.

№ 92, 26 мая

Владимир Войнович

| БОГАТСТВО — ПРИЧИНА БЕДНОСТИ

Мы так бедны, потому что богаты. Богаты ресурсами. Вот у японцев полезных залежей нет, так им, чтобы выжить, приходится крутиться, изобретать и изготавливать разные мелкие вещи вроде телевизоров, магнитофонов, компьютеров, фотоаппаратов, часов и говорящих роботов. Нам надрывать так ни к чему. У нас где землю ни пробури, там из нее чего-нибудь вылезет: золото черное, голубое и самое что ни на есть золотое. И остается нам только трубу пошире протянуть и куда-то туда направить, а оттуда зеленую массу качать обратно через банковские счета. И если бы мы потом это с умом употребляли, не вбухивали в грандиозные проекты и в громоздкие сооружения, не закидывали в космос, не топили в морях, не гноили на полях, не рассыпали по дорогам и меж собой поровну распределяли, то уже давно жили бы все не хуже японцев. Правда, с распределением у нас получается не поровну, а по совести. У кого ее поменьше, тому побольше. Я имею в виду воровство. Оно у нас достигло таких размеров, что пора убытки от него обозначить специальной статьей бюджета и поставить их где-то между расходами на оборону и социальным обеспечением. Большое воровство надо немедленно узаконить и ввести срок давности покороче. Сегодня украл — спрятался, а завтра уже в звании олигарха по-

жалуйте на прием. Не в прокуратуру, а вовсе наоборот, в палаты, фирмой «Мабетекс» доведенные до полного шика. Конечно, на такие верха допускают не каждого. Я недавно встретил соседа, который в советское время был замминистра чего-то, а теперь тоже большими делами ворочает. В начале 90-х он очень жаловался на жизнь и проклинал реформаторов, которые страну разрушили, а его разорили. А тут смотрю: идет, с лица весь черный, как его «Мерседес». Я спросил: «Где это вы так почернели?» — «Да вот только вернулся с острова Фиджи». — «Значит, — говорю, — жить все-таки можно?» — «Вообще-то можно, но...» — «Что но?» — «Но если я скажу, — спохватился он, — вы же в «Известиях» напишете». — «Напишу, — сказал я, — но без фамилии». — «Ладно, если без фамилии, скажу. Живу я сейчас хорошо, лучше, чем прежде, но ведь воровать приходится». — «А раньше разве не приходилось?» — «Раньше? — подумал он и засмеялся. — Раньше, конечно, тоже. Но не в таких же размерах. Раньше нам столько партийная этика не позволяла».

И то правда. Раньше, бывало, слишком много украдешь, можно было получить выговор по партийной линии. А теперь в крайнем случае в газетах пропишут. Или по телевидению протянут. Правда, иногда кое-кого в прокуратуру все же тягают. Но это значит, что мало украл или от начальства неосмотрительно отдалился. А кто украл побольше да с начальством в ладах, того в крайнем случае переведут на другую работу с повышением и орден дадут, чтобы слишком не огорчался.

К крупным ворах можно относиться хорошо или плохо, но нельзя не признать, что это наиболее активные члены нашего общества. Всегда замечают, где чего откуды течет и куда это следует завернуть, чтобы до места дотекло, но не полностью. А когда случается что-нибудь: война, землетрясение, наводнение, подлодка утонула или город ушел на дно, они тут же спешат на помощь бездомным, голодным, больным, раненым, беженцам, вдовам, детям, диабетикам и паралитикам и большую часть расходов берут на себя. То есть себе.

Короче, воровство в особо опасных размерах стало у

нас делом настолько обыденным, что с ним надо считаться, убытки от него тоже рассчитывать.

Вот, например, выделено на восстановление Ленска и окрестностей четыре миллиарда рублей, надо сознавать, что до цели дойдет не более половины. Значит, два миллиарда надо сразу добавить и сразу планировать не четыре миллиарда, а шесть. Правда, если шесть, то украдут уже три и опять одного не хватит. Значит, надо добавить еще два, и всего будет восемь, и каждому жителю Ленска хватит на надувную лодку к следующему наводнению.

Теперь нам предстоит грандиозная реформа жилищно-коммунального хозяйства. Крыши будут чинить, трубы менять. Государство квартплату подымет и соберет с нас 550 миллиардов рублей. Я думаю, эти цифры у кого-то уже в глазах мерцают заманчиво, мысль, как их к себе приспособить, работает, и поэтому запланированную сумму надо сразу удвоить. А почему нет? Мы богатые. У нас на все денег хватает. Однако же не на всех.

1 июня 2001

| БЕЗУМИЕ РАЗУМА

Когда-нибудь пришельцы из космоса доберутся до безжизненной или заселенной стоухими мутантами планеты Земля и сначала удивятся, как много здесь всего наворочено, а потом, вникнув в суть дела, придут к выводу, что здесь жили высокоразвитые идиоты-самоубийцы. Которые напридумывали и настроили много чего хорошего, но при этом губили леса, отравляли реки, запесочивали болота, заболачивали пустыни, закапывали под себя ядерные отходы, а дырку в озоновом слое просверлили такую, что заткнуть уже не могли. Но главные усилия, умственные, физические и душевные, тратили на то, что постоянно и неустанно изобретали, изготавливали, улучшали и пускали в дело орудия убийства себе подобных поодиночке, группами и огромными массами. Начав с дубины, они в техническом прогрессе достигли больших высот и наклепали миллиарды ножей, штыков, пистолетов, винтовок, пулеметов, минометов,

гранатометов, самолетов, авианосцев, подлодок, бомб и ракет, наполнили пробирки и колбы ядами, вирусами и бактериями, начинили гремучей смесью банки, склянки, детские игрушки и рождественские посылки, чтобы взорвать отдельного человека, школу, детский сад, самолет или автобус. А в периоды затишья занимались спортом, который был тоже чем-то вроде войны и существовал не для укрепления физического здоровья, а чтобы победить противника, обогнать, положить на лопатки, сбить с ног и заколоченный гол сделать поводом для национального ликования.

На днях в телепередаче из Испании показывали корриду. Юный матадор не справился со своим противником, тот сбил его с ног и стал пырять рогами. Когда неудачника клали на носилки, из него кровь хлестала, как из пожарного шланга. Кто-то из зрителей закрыл лицо руками, а зачем же? Желаящим смотреть просто убийство лучше пойти на бойню, а если предполагается состязание, пусть победит сильнейший.

Человек, как и в древние времена, жаждет зрелищ, желательно с кровью и не только с бычьей. Ему мало стрельбы киношной. Он разочарованно зевает, если в теленовостях ему не покажут какое-нибудь кровавое зрелище. Но долго ему скучать не дадут. Не сегодня-завтра опять где-то кого-то пристрелят и кого-то взорвут. Может быть, его самого, и следующую передачу будут смотреть другие. Террор расползается по планете. В Чечне, Израиле, Македонии, Таджикистане... Это зло легко начинается, да не скоро кончается. Потому что люди могут додуматься до всего, но ни о чем не способны договориться. Одна сторона хочет победить и унижить, но другая жаждет не меньшего. А потом ведь надо ж и отомстить. Согласие на компромисс воспринимается как слабость или предательство. Возникает соблазн покончить со злом сразу и радикально. Генерал Трошев предлагает главных чеченских боевиков вешать на площади. То-то будет зрелище! Почтище боя быков! Мы будем смотреть с восторгом и ужасом на вешаемых, а мир с отворачиванием на нас. А конечная цель отодвинется еще дальше в сторону недостижимости.

120 лет тому назад в Петербурге, на Семеновском плацу, под барабанный бой были повешены пятеро политических террористов. Они убили царя, но прочих людей старались не трогать. Не взрывали жилые дома, рынки и дискотеки, не брали и не казнили заложников и не выставляли отрубленные головы вдоль дорог.

Вешал палач Фролов, который был из уголовников и — единственный на всю Россию. Второго просто найти не могли.

Казнь была совершена с целью устрашения, но устрашила только тех, кто и без того был пуглив. Других, наоборот, побудила к ответным действиям. Ненависть к врагу, жажда мести и славы, желание отдать свою жизнь за дело, которое кажется правым, готовность поигнорировать красиво на эшафоте, выкрикнув что-то пылкое в лицо своим палачам, все эти страсти, слитые воедино, становятся такой силой, которую казни только подогревают.

После зрелища на Семеновском плацу народ постепенно зверел, ряды террористов полнились, а палачей развелось столько, что хоть отбирай их по конкурсу. Но чем больше террористов вешали и стреляли, тем больше их становилось, и так все катилось, пока не докатилось до ручки 25 октября 1917 года.

Так что виселицами делу не поможешь. А чем поможешь, я не знаю. Говорят, разумные люди с обеих сторон всегда могут между собою договориться. Разумные-то могут. Но надо еще склонить к тому же безумных.

9 июня 2001

| 168:1 В ПОЛЬЗУ КАЗНЕННОГО

Шаркающая ногами бабуса остановила на улице девушку и попросила донести авоську с продуктами. Девушка — добрая душа — донесла до, а потом внесла и в квартиру. Там ее ждал сюрприз. Сын бабуся, всклоченный и вонючий, выскочил из закутка, схватил и уволок девушку вглубь. И началось для нее такое, что даже страшно писать. Он приковал ее к батарее, насилывал, бил, пытал для удовольствия много дней, покуда не запытал до смерти. Пока он терзал эту, заботливая мама-

ша разделявала предыдущую, готовя сыночку из молодого мяса пельмени, котлеты, бифштексы и антрекоты. Затем привела следующую жертву. На следствии она утверждала, что сама своих блюд не кушала, а сын говорит: лопали вместе. Мать обижалась, плакала и корила неблагодарного: «Зачем ты врешь, бессовестный?»

А одна бабушка, говорят, продала пятилетнего внука своего на «запчасти».

А некий Коля — помните? — сто женщин зарезал, признан был невменяемым, но очень вменияемо диагнозом пользовался, зная, что с такой справкой не расстреляют. Регулярно убегал из психушки и, пока его разыскивали для дальнейшего лечения, успевал заколоть еще несколько женщин, и тоже с гурманскими целями: он их свеживал, варил, жарил, вялил и не только сам ел, но и гостей при случае потчевал.

Злодеяния прошлых веков от Джека-Потрошителя до леди Макбет Мценского уезда блекнут по сравнению с тем, чем богато наше сегодня.

Что же делать с убийцами? Расстреливать? Вешать? Разрывать в клочья? У тех, кто против подобных мер, есть несколько аргументов, и сильнейший из них — непоправимость возможной ошибки. Но когда дело кажется из ряда вон выходящим и очевидным, тогда даже ряды противников смертной казни приходят в смятение. Насколько я помню, большая часть наших гуманных (говорю без иронии) членов комиссии по помилованию отказались просить снисхождения для Чикатило. И, помня свое тогдашнее настроение, допускаю, что тоже вряд ли бы снизошел, хотя и тогда не сомневался, что Чикатило был глубоко болен. Я видел фотографии его молодого и — последнего времени. На первых человек, а на вторых — монстр с лицом, искаженным гримасой безумия. Я думаю, он, потеряв человеческий облик, испытывал невероятные душевные страдания и собою не управлял. Страх перед возможным расстрелом его не остановил так же, как и других его соманьяков. Все серийные душегубы рано или поздно попадают и знают, чем это может кончиться, но ни одного из них это не остановило. Глядя на снимки, я испытывал жалость не к тому Чикатило, которого поставили к стенке, а к тому,

кто превратился в это чудовище. Для кого расстрел, может быть, стал избавлением от ужаса жизни. Что же до животных, вроде описанной выше старушки и ее сына, то для них смертная казнь даже какое-то, я бы сказал, слишком высокое наказание, приравнивающее их к людям. Зависело б от меня, я бы им жизнь сохранил. Но чтобы всю ее до последнего вздоха они провели в клетке, без малейших шансов на сокращение срока.

Я не собирался развивать тему предыдущей своей колонки, но она, увы, не остыла: из Нижнего Новгорода доставлены в столичный град коробки с миллионом подписей за смертную казнь распространителям наркотиков. Я спросил недавно одного из ревнителей смертной казни, а кого бы он ей подверг. Он тут же стал загибать пальцы: убийц, взяточников, олигархов (перечислил фамилии), наркоманов (всех), проституток (всех), держателей притонов (тем более), особо крупных мошенников (назвал приговоренного к 15 годам — мало! — основателя «пирамиды» «Тибет»). Надеюсь, многие согласятся, что это уж — через край. Но души растерзанных маньяками жертв вопиют и наполняют сердца людей, совсем не жестоких, желанием скорой и радикальной расправы. Но попробуйте освободить себя от первого побуждения и подумать: а ведь пожизненное заключение (если пожизненно исполняется) — оно ведь страшнее немедленной смерти. И гуманнее по отношению к нам самим, им, убийцам, не уподобившимся.

А что касается всякого рода террористов, я же говорил: их казнь, особенно публичной, не устрашишь. Она им, может быть, даже желанна. Исполнитель оклахомского взрыва перед казнью скушал две порции мороженого и принял смерть как герой. С открытыми глазами и сознанием, что победил со счетом 168:1.

16 июня 2001

| УРОКИ БЕЗ ПОЛЬЗЫ

На вчерашний день 22 июня минус 60 лет поэт Николай Глазков тогда же откликнулся стихотворением: «Господи, спаси страну советов, сбереги ее от высших

рас, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас». Гитлер был, как известно, большим патриотом своей страны, не хуже некоторых наших товарищей. Он старался, чтобы его Родина была превыше всего, и сделал все, чтоб она стала сильно пренеже. За 12 лет управления тысячелетним рейхом он успел достичь того, на что большевикам не хватило и семидесяти, — страна лежала в руинах. Мое недавнее утверждение, что Германии повезло быть разгромленной внешней силой, вызвало всплеск и возмущение в мозгах отдельных читателей, которые со мной не согласились, очевидно, полагая, что было бы лучше, если бы гитлеровский режим остался непобедимым. Но я все-таки утверждаю, что Германии повезло, и, конечно, Западной поболее, чем Восточной. Я, разумеется, никогда не думал, что России стоило проиграть войну Гитлеру, и только отъявленный лгун или лгунья может приписывать мне подобные мысли. Как и идиотские утверждения, будто я в Германии регулярно общаюсь с немцами, воевавшими против России. Основной контингент этих немцев находится уже в мире ином, до которого я пока не доехал, и в старческих домах, которых не посещаю. Но повторяю, что оккупационная власть, вроде установленной в ФРГ союзными силами, была бы к миллионам наших сограждан гораздо милосерднее наших отечественных супостатов в лице Сталина и управляемой им ленинской партии. К слову сказать, Германию через четыре года мы победили, а вот большевики свою войну гражданскую ведут с 1918 года и до сих пор. Землю, отнятую у крестьян, обратно не отдают, а надясь даже устроили за нее мини-побоище в Государственной думе. Полковник аграрно-секретной службы принес в Думу русский каравай, который, по его мнению, может стать последним ввиду предполагаемого принятия Закона о земле. К чему приведет Закон, мы, надеюсь, увидим, но насчет каравая полковнику и его единомышленникам следовало бы стыдливо помолчать. Наши коммунисты, а не чужеземные захватчики или инвесторы разоряли деревню, отбирали у крестьян последний хлеб, хлебобобов ссылали к чертям на кулички, загоняли в колхозы, где они, беспаспортные и бесправные, работали из-под палки за галочки, сами голо-

дали и нас, городских, прокормить не могли. В благополучные времена брежневского застоя они к нам в город ездили за колбасой и разевали рот на наш каравай из канадской пшеницы.

Возможность установления у нас человеческой судебной системы некоторых товарищей приводит в волнение не меньшее, чем Закон о земле. Народный депутат Райков, борясь против судебной реформы, сделал на днях большое историческое открытие: сообщил, что Вера Засулич убила царского генерала. Хотя до сих пор было известно, что Вера Засулич в 1878 году не убила, а легко ранила петербургского градоначальника Трепова, который в грамоте был силен, как господин Райков в истории, и, по свидетельству А.Ф. Кони, в слове из трех букв делал четыре ошибки: писал «исчо» вместо «еще». Вера Ивановна выстрелом своим не грамоте Трепова учила, а проучила за то, что он, посетив петербургский ДОПР и относясь к правосудию вроде нашего депутата, приказал высечь розгами заключенного Боголюбова (студента и дворянина), не снявшего перед ним шапку. После чего высеченный не выдержал унижения, тронулся умом и кончил свои дни в психушке. Вера Засулич вынесла Трепову свой приговор именно потому, что никакой надежды, что Трепова будут судить, у нее не было. Между прочим, оправдание Засулич судом присяжных не было признано властью. Уже через несколько часов после вердикта полицейские получили приказ: оправданную преступницу вновь изловить и заточить в тюрьму. Но она уже скрылась, оставив власти возможность подумать о том, что не ограниченное законом самодурство чиновников побуждает граждан к обратному беспределу. Власть же, подумав, дела с политической подоплекой у присяжных отняла и передала другим судам, судившим скоро, беспощадно и несправедливо. Такие суды не укрепляют государство, а способствуют его разрушению или превращению его в такое, где человеку живется хуже, чем при ином оккупационном режиме. Чему история нас учит настойчиво, но без видимой пользы.

№ 1106 23.06.01

Я уже написал очередную колонку и собирался отправить ее по электронной почте в редакцию, когда случилось событие, на которое не могу не откликнуться: выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу.

Пришлось сменить тему спешно и радикально.

Обычно в противостоянии Запада и Востока я стою на стороне первого, который не идеализирую, но считаю миром наиболее пригодным для обитания человека из всего, что мы имеем в наличии. Я безусловно одобряю идею создания, существование и направление деятельности Гаагского трибунала. В своей написанной несколько лет назад статье в «Известиях» «Сила против насилия» я ратовал за то, чтобы всяких деспотов, захвативших власть где бы то ни было и грубо попирающих права людей, всяких больших и маленьких гитлеров, сталиных, полпотов и некоторых из ныне живущих, виновных в насилии и убийствах в своей стране или чужой, свергать внутренней, а если надо — и внешней силой и предавать международному суду. Каждый тиран, верша судьбы людей, должен помнить, что есть не только Божий суд, в который он может не верить, но и человеческий, от которого он защищен до поры до времени и ненадежно. Что он, всесильный и всемогущий, может в один день стать ерзающим на скамье подсудимых, маленьким и плюгавым, не похожим на свои изваяния и портреты. И ему придется отвечать на вопросы, вскакивая и называя судью «Ваша честь». Но делать, я думаю, это следует только в том случае, когда своя страна своего диктатора не может наказать своими же силами. Я мало сомневаюсь в том, что Милошевич, которому так много вменяется в вину, должен быть обязательно судим и если (не забудем о презумпции невиновности) вина будет доказана, осужден, но зачем же обязательно в Гааге? Раз в Югославии установилось демократическое правление (может быть, слишком демократическое, если правительство действует без согласия президента) и страна сама может судить своего экс-диктатора, то пусть она сама это и делает. В присутствии, разумеется, иностранных независимых наблюдателей. Но в от-

ношении Югославии Запад делает глупость за глупостью. Бомбардировки страны и вытеснение из Косова югославской армии и полиции привели к тому, что бандитов одной национальности сменили другие, еще худшие. Албанские боевики ведут себя в Косове, как распоясавшиеся победители, убивают, насилюют, грабят сербов, разрушают сербские святыни, а теперь распро-
странили свой беспредел на Македонию и там действуют так, что правительственных войск и подразделений Кейфор не хватает для того, чтобы их остудить.

Поспешный перевоз Милошевича из Белграда в Гаагу, возможно, не преступление, но уж точно ошибка, и, кажется, очень опасная. Выражено не только неверие в способность самой Югославии осуществлять правосудие на своей территории, но и нанесено оскорбление, народу совершенно ненужное. По существу правы те, кто говорит, что Милошевича просто продали за деньги. Недавно мы дружно накинулись на генерала Трошева, предложившего платить за головы главных чеченских боевиков. Его предложение пока не прошло, и Арби Бараева убили бесплатно. Но в случае с Милошевичем исполнена та же идея и в худшем виде. На суверенное государство, в новом своем обличье пока ничем не провинившееся, оказано давление, чтобы оно своего преступника отдало на сторону, и это унижительное условие принято в дважды унижительной форме — за деньги. Вообще-то унижение противника, если он слишком жесток и нагл (каким был, допустим, Гитлер), — вещь иногда очень даже полезная в качестве исторического урока. Но в данном случае югославы такого урока не заслужили, и еще неизвестно, как его переживут. Союз Сербии и Черногории уже держится на волоске. Скандал с Милошевичем может оказаться той бритвой, которая волосок перережет, и что тогда будет — даже Каспарову и Крамнику всех возможных последствий не просчитать.

Гаагский трибунал тогда будет развиваться нормально, когда все страны и своих граждан признают подсудными этой инстанции. Бывает много дел внутренних, в которых легче разобраться суду стороннему. Исход громкого дела Симпсона в Америке зависел от расового со-

става присяжных. У нас дело полковника Буданова зашло, кажется, в тупик, вызывает у людей разные эмоции и вряд ли может нами же решиться по справедливости. Вот бы и отправить его в Гаагу. Но Милошевича, несмотря на громкость имени и размах деяний, можно судить на родине.

30 июня 2001

| УВАЖАЕМАЯ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ

Известно, что наша милиция самая культурная в мире. Особенно ГИБДД, которая только что, по западным меркам, достигла пенсионного возраста. Работники этой службы 65 лет культуру свою повышали и дошли до того, что, остановивши вас на дороге, честь отдадут, по имени-отчеству обратятся, а за взятку скажут спасибо. Должно быть, сказалось культурное влияние нашей творческой интеллигенции, которая всегда в тесном контакте с МВД работала. Помните, например, концерты ко Дню милиции ежегодные с песнями, шутками и специальным блюдом от студента кулинарного техникума? Художники кисти, пера и слова дружили с МВД, МВД дружило с ними. Я думал, что эта дружба, фальшивая и корыстная, уже в прошлом. Ан, нет. Недавно министр ВД Борис Грызлов встречался с некоторыми творческими интеллигентами, чем последние остались весьма довольны. Скульптор Зураб Церетели сообщил 26 июня слушателям «Эха Москвы», что творческие интеллигенты, имея «обостренные чувства, острые глаза», могут помочь МВД, и не критикой, а наоборот. И выразил твердую уверенность, что эта деятельность не будет подвергаться цензуре. Ясно, не будет! Заверяю скульпторов, живописцев, прозаиков и поэтов, что они могут смело критиковать наоборот милицию, пожарных, вохру, но особенно их генералов и их министра. И не обязательно иметь острые глаза и обостренные чувства. Имея мягкий язык, можно шуровать им вслепую, тупо, и чем тупее, тем доходчивей. У МВД-для таких критиков наоборот есть и наказание наоборот в виде разных специальных поблажек. Я знаю художников кисти, пера и слова,

особо угодивших милиции и за то отличенных спецно-
мерами на своих авто и «корочками», удостоверяющи-
ми, что предъявитель сего является важным сотрудни-
ком внутренних дел. Что помогает при превышении
скорости на дороге и нормы алкоголя в крови.

У меня, кстати, с нормой тоже как-то была наклад-
ка. Выпил я бокал вина и поехал. Вдруг сзади свист,
вой, машина за мной гонится с синей мигалкой и буквы
на крыше переливаются: «СТОП!» Признаюсь, я испу-
гался. Вино пил, депутатской и судейской неприкосно-
венности нет, и заслуг перед ВД не имею. Остановился.
Подходят двое служителей порядка, злые, как черти. До-
кументы проверили, меня обнюхали, любопытствуют:
сколько пил и чего? Говорю, как есть. Спрашивают: в
трубку дышать будете? Я согласился, ругая при этом не
их, а себя. Правильно, говорю себе, лишат прав, будет
тебе наука. Дыхнул. Они с прибором ушли за машину и
по сотовому телефону: алё, алё. Я понял: звонят туда,
где компьютер с базой данных. Возвращаются, словно их
подменили, улыбаются, вы, говорят, человек хороший.
Я пожал плечами: с чего бы мне быть плохим? И выпи-
ли, говорят, вы немного, так что езжайте дальше, но ос-
торожно. Когда я рассказываю эту историю, мои слуша-
тели удивляются и строят догадки, почему меня отпус-
тили. За взятку? Или у меня тоже номер особенный?
Или поняли, что я тот, который колонки пишет в «Из-
вестиях», и сильно спужались? Нет, друзья мои, дело со-
всем в другом. В том, что ехал я по городу Мюнхену,
был остановлен немецкой полицией, алкоголя во мне
было всего лишь 0,3 промилли (черт знает, что это зна-
чит) при разрешенной границе — 0,5. А хорошим сочли
меня потому, что главный полицейский компьютер не
держал на меня зла и за последние 20 лет не отметил за
мной ни одного нарушения. А взятку если б я предло-
жил, то вел бы сей репортаж аккурат из немецкой тюрь-
мы. Потому что германские полицейские взятку не бе-
рут. И это мнение о них создается не панегириками
творческих интеллигентов, а ими самими и именно тем,
что взятку они не берут. А творческим интеллигентам за
ваяние полицейских чинов и эстрадные шутки, кроме
гонораара с аплодисментами, никаких поблажек не дела-

ют, поскольку это считалось бы чем-то вроде коррупции. И будь ты хоть народным артистом, хоть с министром лично знаком, хоть колонки для «Зюддойче Цайтунг» пиши, но скорость превысишь — оштрафуют, а промили переберешь — потеряешь права. Их здесь, как и везде (такая профессия), не очень-то любят, и я воспевать их не собираюсь. Тем более что бесполезно. И вот эту бесполезность я уважаю. Прощаясь с полицейскими, я спросил, за что они меня все-таки остановили. Оказывается, я часто перестраивался из ряда в ряд, изменял свои московские навыки, а они к такой езде не привыкли, вот и решили, что пьяный.

№ 120, 7 июля 2001

| НЕ СОБАКИ И НЕ ЛОШАДИ

Основатель моей фамилии князь Воин жил в четырнадцатом веке и имел трех сыновей: Милоша, Алтомана и Воислава. Поминаю об этом не чтобы похвастаться древностью рода. Среди особ знатного происхождения встречаются такие выродки, что примазываться к ним чести немного. Тем более что мои предки по материнской линии простые местечковые евреи.

Воин был сербом. Второй сын его Алтоман принял мусульманство и стал основателем рода Алтомановичей, который по нынешнему раскладу можно назвать боснийским. Среди потомков Воина были русские адмиралы, австрийские генералы и даже венецианские дожи. Мой дед, привезенный в Россию в четырехлетнем возрасте, ощущал себя русским. В 19-м веке один из Войновичей — Коста говорил так: «Я по рождению серб, по мировоззрению хорват, а по вере католик». Он передал свою веру детям, и они — писатель Иво и дипломат Луйо — считались уже совсем хорватами. Луйо имел двух дочерей, Марицу и Ксению. С ними, приехавшими мне семиюродными тетями, я познакомился в конце их жизни. Когда я последний раз посетил Марицу в Нью-Йорке, ей было за 90, а мне около полусотни. «Ты принес чего-нибудь выпить?» — спросила она. «А надо?» — удивился я. «А как же!» Я сбегал в магазин, вер-

нулся с 0,75 виски, и пока мы с ней на равных бутылку опустошали, тетя мне сообщила, что, желая умереть сербкой, вернулась в православие. Разумеется, выдающихся людей спорного происхождения каждая сторона стремится записать в свои соплеменники. Нобелевского лауреата Иво Андрича сербы считают сербом, перешедшим в католики, а хорваты говорят: раз католик, значит, наш. Лет 20 тому назад в Мюнхене мы с моим приятелем зашли в югославский ресторан. Приятель, которого никто не тянул за язык, сообщил хозяину ресторана мою фамилию. Тот спросил меня, не родственник ли я Иво Войновичу. Я сказал, что да, дальний. Он был великий хорват, сказал рестораник. Сербского происхождения, уточнил я, чем собеседника сильно разгневал. В другом таком же ресторане тот же приятель сказал официанту в шутку, что я хорват. Официант нахмурился и сквозь зубы заметил: «Хрваты не добри люди».

Национальные различия многим людям нужны, чтобы было чем гордиться и кого ненавидеть. У понятий «нация» или «национальность» есть много разных определений, но на самом деле, что это такое, не знает никто. Сербы, хорваты, боснийцы, герцеговинцы и черногорцы живут на одной земле, говорят, пишут, читают, думают и поют на одном и том же языке. Разница между ними не больше, чем между туляками, орловцами и курянами. Чем же определяется национальность? Религией? А как же, допустим, немцы? Они католики и протестанты, а все равно немцы. Украинцы — православные и католики. А уж русских каких только нет! Православные нового обряда и старого, буддисты, кришнаиты, баптисты, молокане, жидовствующие. Значит, дело и не в религии. Значит, в крови? Помните пятый пункт? Если папа юрист, то и сын и внук и все пра-пра до любого колена при любых мамах будут юристы. А если сирота и сам не знает своих корней? А если смешанного происхождения вроде меня? У Булата Окуджавы отец был грузин, мать армянка, а сам он, не зная хорошо никакого языка, кроме русского, считал себя по национальности москвичом. И имел право. Потому что при неформальном определении национальности единственным критерием может быть только самоидентификация. Кем се-

бя чувствуешь, тот ты и есть. А формально национальность обычно совпадает с гражданством. Владелец немецкого паспорта, будь он по рождению кто угодно, считается немцем. А гражданин Франции — французом. Сотрудница «Голоса Америки» Зора Сафир, будучи когда-то гидом на выставке в Москве, была спрошена посетителем, американка ли она. Она ответила утвердительно. Спрашивавший попробовал уточнить: «Чистая американка?» Она сказала: да как будто сегодня душ принимала. Тот, не оценив иронии, двинулся дальше: «Чистокровная?» На что получил ответ: «У нас в Америке чистокровными бывают только собаки и лошади».

Это утверждение применимо к России и другим территориям, и чем дальше, тем больше. Границы рушатся, самолеты летают, народы мигрируют и мешаются, как речная вода с морской. Смешавшись совсем, будущие поколения утратят возможность гордиться своей принадлежностью к определенным почве, роду и этносу и лишатся причины ненавидеть друг друга за несходность происхождения. А впрочем, люди не собаки и не лошади, и кого за что ненавидеть — придумают.

14.07.01

| ДОРОГИЕ ПАТРИОТЫ

«Патриотизм последнее прибежище негодяя». Всегда забываю, кому принадлежит эта теперь уже широко известная фраза, но помню, что ее, как себе очень близкую, вписал в свой «Круг чтения» Лев Толстой. Несмотря на авторитет классика, наши негодяи не боятся именовать себя патриотами и активно противодействовать всяким попыткам сделать Россию местом, пригодным для благополучного обитания человека.

Разумеется, я говорю о людях, которые звание патриотов сами себе присвоили, а патриотизм свой сделали профессией прибыльной, безопасной и приносящей отечеству довольно заметный вред.

Произнося патриотические заклинания, они ложатся костями на пути всяких реформ. Гордятся самыми черными днями нашей истории. Проклинают Гайдара с

Чубайсом, но зато Ленина, Сталина, а заодно и Гитлера почитают. Последний некоторым из них тем особенно мил, что тоже был патриотом и уничтожал евреев. За что ему можно простить даже то, что русских хотел превратить в рабов. Он, правда, только хотел, а Сталин превратил, имея больше времени и возможностей. Государственными рабами в СССР были все, но самыми низшими — заключенные и колхозники, беспаспортные, бесправные и голодные.

Хотя патриоты вроде бы делятся на коммунистов, фашистов, аграриев и членов ЛДПР, я различия между ними не вижу. Но вижу, что к Сталину, палачу русского и других народов, негодяю из негодяев, любовь у них общая, о чем их лидеры высказывались неоднократно. Ну а воспоминания о советском прошлом у них вообще ностальгические, некоторые из патриотов не только тоскуют по нему, но даже надеются его возвратить. Эксгэкачепист Василий Стародубцев, готовясь ко второму сроку на губернаторстве, обещал избирателям, что советская власть (наверное, с лагерями и колхозами) будет непременно восстановлена (я только не понял, в Тульской области или, не дай бог, во всей России) и он сам приложит к этому много усилий. В советские времена намерения подобного рода назывались попыткой реставрации капитализма и наказывались сурово. Теперь у нас свобода, и само по себе желание реставрировать советскую власть наказываться никак не должно, но если глава одной из крупных областей России постарается (а он старается) провести свои желания в жизнь, тогда... Впрочем, тогда будет виноват не только он, а избиратели, отдавшие ему свои голоса (в этом, кстати, и есть достоинство демократии: народ за свой выбор должен отвечать).

Патриоты все критикуют Запад. Учиться у Запада ничему не хотят, а его поучить готовы (по песне Окуджавы: «Умный любит учиться, а дурак учить»). При этом ездить желают на «Мерседесах», летать на «Боингах», компьютеры иметь американские, телевизоры японские, холодильники финские, костюмы английские, а деньги держать в швейцарском банке.

Мы же сами всего того, на чем они любят ездить, летать и что натягивать на себя, делать не сможем до тех пор, пока не перестанем похвастаться своей самобытностью и игнорировать экономические законы, которые так же непреложны, как законы физики и математики.

Цепляясь за прошлое, патриоты, естественно, выступают против настоящего. Против реформ, свободного рынка, свободного предпринимательства и свободного хлебопашества. Разводя демагогию и в данном случае призывая на помощь Толстого (тут бы и вспомнили заодно, кем Толстой считал патриотов).

Забываясь о величии государства больше, чем о благополучии человека, они готовы и впредь разорять страну, сохраняя колхозы, наращивая вооружения, тратя народные деньги на поддержание мертвого тела вечно живого вождя. С западными партнерами они предлагают не церемониться: новые долги брать, старых не отдавать, а желающим узнать, какая у нас ведется борьба с отмыванием преступных денег, депутат Митрофанов (сам, что ли, много отмыл?) предлагает послать вместо отчета ракеты с ядерными боеголовками. Вот молодец! Хорошо бы, ответный подарок он получил лично, а не распределял между нами по килограмму, как ядерные отходы.

Помимо любви к Сталину, патриотов объединяет активно выражаемая нелюбовь к инородцам и опять же к евреям, что побуждает последних не забывать дорогу к ОВИРу. В результате чего Россия теряет, а Израиль, США и другие страны получают задаром специалистов, которые всем нужны и стоят дорого. Впрочем, содержание патриотов обходится еще дороже, только их у нас никто не возьмет и с приплатой.

21.07.01

| ИЗ АМЕРИКИ С ЛЮБОВЬЮ

До прибытия в аэропорт Дже-Эф-Кей (JFK — инициалы имени Джон Фицджералд Кеннеди) оставалось не больше часа. Стюардессы пошли по рядам, раздавая анкеты не гражданам США. Первая анкета для таможни

была простая и с простыми вопросами: не везете вы с собой каких-нибудь животных, растения или мясные продукты? Животных при каких-то условиях ввозить, кажется, можно, огурец или кусок колбасы лучше выкинуть в мусорный ящик до приближения к таможеннику, иначе могут быть неприятности. Вторая анкета для иммиграционной (пограничной) службы была сложнее и содержала специальную группу вопросов, которые я дословно записать не догадался, но смысл их более или менее запомнил. Располагались они по алфавиту, отвечать надо было только да или нет, а звучали они приблизительно так:

а) Не страдаете ли вы тяжелой, опасной для окружающих инфекционной болезнью и не являетесь ли законченным наркоманом?

б) Не были ли вы вовлечены в преступную деятельность, не подвергались ли за нее тюремному заключению на срок более пяти лет и не является ли преступная и аморальная деятельность целью вашего приезда в Соединенные Штаты?

в) Не занимались ли вы когда-нибудь шпионажем, саботажем, террором, не принимали ли в 1933—1945 годах участие в актах геноцида, не заняты ли этим сейчас и не собираетесь ли заниматься шпионажем, саботажем или террором на территории Соединенных Штатов?

г) Не ищете ли вы на территории США нелегальную работу и не является ли ваша виза поддельной?

д) Не приходилось ли вам когда-нибудь похищать и удерживать детей, находящихся под опекой американских граждан, и не намерены ли вы и дальше похищать и удерживать американских детей?

е) Не было ли вам когда-нибудь отказано в американской визе и не были ли вы депортированы из США?

Мне эта анкета показалась довольно смешной и превзошедшей по глупости даже те советские, которые приходилось заполнять в прошлой жизни. Я подумал: интересно, на что же рассчитывал ее сочинитель? Ну, конечно, в анкетах кому-то приходится признаваться в фактах своей биографии, которые где-то уже зафиксированы, и отвертеться хочется, да нельзя. Но можно ли

представить себе идиота, который признался бы, что да, еду, мол, в Соединенные Штаты специально для того, чтобы воровать, грабить, взрывать, убивать, шпионить и похищать детишек? Но все-таки автор вопросника сильно старался, и мне даже неудобно было перед ним, неизвестным тружеником, на все вопросы отвечать отрицательно. Но что делать, если я ничем перечисленным в анкете заниматься не собирался? Я всюду поставил «нет», тем более что последней строкой анкеты было требование при положительном ответе хотя бы на один из вопросов обратиться в американское посольство и быть готовым к тому, что во въезде в США будет отказано. К отказу я готов не был, да и посольства на территории самолета не обнаружил. С моими сплошными «нет-нет» я благополучно прошел паспортный контроль и был встречен моим американским приятелем. Уже сидя в автомобиле, я рассказал приятелю про анкету, уверенный, что он посмеется над ней вместе со мной, но он даже не улыбнулся и постарался мне объяснить подоплеку. А подоплека в том, что как только вас поймают на месте с фальшивой визой при попытке вынуть из дула микропленку с планами Пентагона или подложить мешок гексогена под здание Международного торгового центра и вам никак будет не отпереться, тогда вас еще уличат и в том, что представили ложные сведения. Так что всем въезжающим в США преступникам стоит быть честными и в своих криминальных планах признаваться заранее. В таком случае я бы анкету оосовременил, прибавив вопросы о планах угонять самолеты, брать заложников, взламывать компьютерные сети, подделывать кредитные карточки и распространять детскую порнографию по Интернету. Пусть все эти хакеры и порнографы тоже будут честными и признаются сразу во всем и авансом.

А что касается нашей страны, я бы подобный вопросник составил не для авиапассажиров, а, допустим, для некоторых соискателей выборных должностей: депутатских, губернаторских, мэрских и прочих. Пусть, приступая к предвыборной агитации, не говорят, что рады нас собой собираются жертвовать, а честно ответят,

какими делишками занимались в прошлом, какие намерены повернуть в будущем, что украсть, где отмыть и от чего прикрыться депутатским или каким там иммунитетом.

28.07.01

| У МОГИЛЫ ЮНОГО ФАРАОНА

В 1945 году на кладбище, расположенном прямо посреди колледжа города Мидлбери (штат Вермонт, США), был предан земле мальчик двухлетнего возраста. Его похоронили по христианскому обряду, хотя при жизни христианином он не был. И не мог быть. Поскольку умер он (не люблю многозначительных многоточий) за 1883 года до рождения Иисуса Христа. Мне могилу эту показал и историю рассказал здешний профессор Сергей Давыдов, прямой, между прочим, потомок Дениса Давыдова.

Покойный младенец был когда-то сыном египетского фараона, а потом стал мумией, как мама и папа, и пролежал в пирамиде под Каиром 3723 года. В 1840 году нашей эры пирамиду разграбили, а мумию принца продали за 15 долларов. После чего она была увезена в Америку и приобретена за 10 долларов музеем города Мидлбери. Оказалось, что мумии могут храниться вечно, но не при всяком климате. В Вермонте тельце ребенка стало медленно разлагаться, и в 1945 году остатки его останков решено было захоронить. Через 3828 лет после смерти!

На христианское кладбище покойники иной веры не допускались, и местный священник был категорически против захоронения нехристя. Но другой батюшка оказался милосерднее, и в конце концов сын фараона был за бутылку рома посмертно крещен, погребен, что и отмечено на поставленном над могилой камне с указанием точной даты смерти и изображением креста и египетских иероглифов. Могила эта, очень скромная, находится среди других давних захоронений, дата 1883 не кажется странной случайному посетителю, а следующую за ней аббревиатуру В.С. (Before Christ — До Христа) без посторонней подсказки мало кто замечает.

Стоя над этой могилой и предаваясь мыслям о вечном, я не мог не вспомнить другого покойника, который не тысячи, но десятки лет лежит непогребенный и выставлен напоказ. Душа его мается, витая над мертвым телом, и нас, живых, от себя тоже не отпускает. Я не собираюсь глумиться над мертвецом, кто бы он ни был, и не люблю, когда тело Ленина называют чучелом, чуждой или еще как-нибудь в этом духе. Но глумятся над ним и те, кто его, разлагающегося (там, говорят, уже ничего не осталось, кроме головы и рук), не отпускают к месту вечного упокоения. Так когда-то не давали хоронить только очень больших злодеев, уличенных в сношениях с дьяволом. Я не религиозный человек, на родстве Ленина непосредственно с Духом тьмы настаивать не буду, но не сомневаюсь, что злодеем он был крупным. Хотя Сталин своего учителя превзошел. Тем не менее Сталин лежит в земле, а Ленин остался музейным экспонатом. Говорят, что те, кто не желает похоронить Ленина, будут очень травмированы, если это произойдет. Я так не думаю. Эти старые люди на своих собраниях портреты носят как раз Сталина, чей вынос из Мавзолея в свое время пережили и восстания не подняли. Говорят, если Ленина похоронить, их жизнь покажется им прожитой зря. Ну что ж, если они в жизни не видели иной цели, как содержание Мавзолея, тогда в ней в любом случае смысла немного. А жизнь самого Владимира Ильича уж точно потрачена совершенно впустую. Мировой революции он не произвел, а Россия от намеченного им пути в конце концов отказалась и вот уже десять лет шагает в противоположную сторону. Так зачем он нам нужен, не просто мертвый человек, но еще и символ мертвой идеологии, которая принесла людям много беды и полностью провалилась? Не пора ли признать, что ленинские идеи были ложными, а практика их воплощения преступна? Не пришло ли время то и другое, и его самого осудить? Символы способны влиять на реальную жизнь людей и содержат в себе намек на то, в какую сторону данное общество будет двигаться. Ленин в Мавзолее намекает нам на то, что мы будем топтаться на месте. Старикам, которых есть страх обидеть, он внушает несбыточную надежду на возвращение

в прошлое, а людей молодых лишает веры, что мы от этого прошлого когда-нибудь оторвемся. Есть, впрочем, и другие намеки, внимая которым люди активные ищут себе применение и достойную жизнь вне России. Что вовне как раз и заметно. Вот я по Америке передвигаюсь, знакожусь с покинувшими Россию физиками, биологами, врачами, компьютерными вундеркиндами и каждый раз удивляюсь: сколько талантов наша страна произвела, растратила и тратит постоянно, цепляясь за мертвые символы, которые давно пора закопать, как младенца Амун-Хер-Кепеш-Эфа, сына Сен Уосета, 3-го царя Египта.

4.08.01

| СБИВАТЬСЯ ЛИ В СТАЮ

Он сидел у кабинета зубного врача и о чем-то бес-печно болтал со своей соседкой по лавочке. Но увидев меня, замолк и напрягся, может быть, ожидая с моей стороны какой-то агрессии. А я, неожиданно отреагировав на где-то виденное лицо, сказал «здрасьте» и потом только вспомнил, кто он. Он же немедленно отозвался поспешной улыбкой, несколькими кивками и изгибом шеи, выразавшим почти неподдельную радость от того, что я его узнал и не погнушался с ним поздороваться.

Когда-то он числился писателем «рабочей темы», то есть писал очерки о так называемых передовиках производства. Очерки были скучны, бездарны, их, может быть, никто, кроме корректоров, не читал, но коллеги относились к автору снисходительно, считая его до поры до времени безвредным занудой. Что зануда он не безвредный, стало выясняться в семидесятых годах, когда он запоздало начал делать административную карьеру и, наверстывая упущенное, сильно превзошел в своих стараниях даже очень отъявленных негодяев. Будучи произведен в ранг секретаря московского отделения Союза писателей, оказался он весьма кровожаден. Активно выступал на закрытых заседаниях секретариата, участвовал в исключении из писателей Галича, Чуков-

ской, Максимова, Корнилова, Владимова и авторов «Метрополя». Меня обвинял в том, что я антисоветский и антинародный, а пишу не иначе, как по заданию своих заокеанских хозяев, за что должен быть примерно наказан. Власть ценила его усердие, он был хвалим начальством и газетами, отчего возгордился и произнес однажды насмешлившую многих фразу: «Слава пришла, а здоровья нет». Здоровья, однако, хватило на то, чтобы дожить до полного крушения честолюбивых иллюзий. Теперь его никто не печатает, никто не хвалит, мало кто помнит, власть потеряла к нему интерес, а он потерял сам себя.

Видимо, опасаясь, что ему за его делишки когда-нибудь воздадут по заслугам, он как-то фальшиво покался, ссылаясь на идеологическое ослепление, хотя врет, дело было не в том, что дурак, а что подлец.

Теперь он и его коллеги по тогдашней охоте на инакомыслящих согласны жить дружно с нами, очевидно, заметив, что сами по себе они ничего не стоят. В. Гусев обратился к бывшим членам МО СП РСФСР, чтобы мы вспомнили родную организацию и снова скопом в нее влились. А Анатолий Салуцкий в статье «Можно ли возродить сообщество писателей?» («Литгазета» (№ 29) надеется, что можно, и тоскует по прошлому, когда писатели «активно проявляли себя на общественном поприще — в ладу или в споре с себе подобными». Лада мы в памяти не удержали, а спор, как не забылось, принимал часто формы своеобразные: одни травили других, и, бывало, до смерти. Травители одобряли расстрелы Бабеля и Бориса Корнилова и расправу над Мандельштамом. Сами без помощи карательных органов преследовали Булгакова, Платонова, Зошенко, Пастернака. С их единодушного одобрения Ахматову не печатали, Зошенко довели до сумасшествия, а Цветаеву до петли.

Семидесятые годы Салуцкий вспоминает с особенной теплотой. В «Новом мире» тогда печатались вместе Бакланов и Бондарев, Ахмадулина и Глушкова, Евтушенко и Ю. Кузнецов, Слущкий и Куняев, Вознесенский и Софронов. А у нас и об этом периоде другие воспоминания. Как раз в семидесятые годы некоторых из товарищей, поставленных Салуцким в перечисленных

парах вторыми, спускали с поводков, и они нас грызли, злобно урча и с большим аппетитом.

И после всего этого опять давайте жить вместе?

Нет уж, господа, лучше с волками, чем с вами. Тем более что как только мы с вами соединимся, вы опять начнете создавать правления, секретариаты, комиссии, сами туда первые влезете, а там уж неизбежно начнете доказывать, что вы нужны литературе больше, чем мы. Так что живите себе отдельно. Если можете, живите на гонорары. А не можете, есть более достойные занятия, чем заседания в президиумах и закрытых секретариатах. Для жизни можно разводить кур, водить такси, прислуживать в ресторане — все это труд, может быть, не очень прибыльный, но зато честный.

А писателям, тем, которые правда писатели, вы ни для чего не нужны. Писатель относится к тем, кто, по словам Окуджавы, ценит одиночество превыше всего. И сбиваться в стаю ему нет никакого резона. Он, конечно, может иногда, имея тот или иной общественный интерес, временно объединиться с людьми, близкими по душе и по духу. Но ведь не с кем же попало.

11.08.01

| ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЧА

В тот год сегодня было воскресенье.

Я проснулся затемно и нажал кнопку прикроватной лампочки, чтобы посмотреть на часы. Лампочка не загорелась. Я глянул в окно и увидел, что весь кампус Гаучер-колледжа (штат Мэриленд) погружен во тьму. Утром выяснилось, что на подстанции что-то перегорело, аварийная команда работает, но раньше чем к вечеру тока не будет. А стало быть, откажутся работать телевизор, электроплита, кофеварка, компьютер, не будет даже горячей воды, поскольку обесточилась и котельная. В таких условиях сидеть дома бессмысленно и невозможно, поскольку и кондиционер без электричества тоже не крутится. «Вот и хорошо, — сказала жена, — поедем наконец посмотрим Балтимор» (ближайший от нас и стоивший внимания город).

Ну и поехали. Посетили местный музей, рыбный рынок, гавань, где как раз стоял на причале советский парусный фрегат «Товарищ». Побывали в дельфинарии, поужинали в ресторане, вернулись домой, а там темно. У подъезда встретили охранника с фонарем, спросили, когда же будет свет. Он сказал: если повезет, то к полуночи. Нам не повезло, и за полночь мы легли спать в темноте. Около 2 ночи света все еще не было, но раздался телефонный звонок. Моя жена нащупала в темноте трубку: «Алё». Потом сказала сердито: «Миша, ты не можешь свои шутки оставить на утро?» — «В чем дело?» — спросил я ее. «Да опять звонит с дурацкой выдумкой. В Москве, говорит, путч, Горбачев арестован». Миша был известный любитель розыгрышей и часто общал нам что-то подобное. Мы собрались досматривать сны, но тут позвонил Илья, человек серьезный, и подтвердил сказанное Мишей. Наконец дали свет, мы включили телевизор и увидели то, что можно было принять за репортаж из Праги 1968 года. Танки, танкисты, толпа, «Лебединое озеро». Кроме прочего, показали участников «Конгресса соотечественников», которых совсем не задаром умельцы отмывания денег заманили в Москву. «Соотечественники», в основном старые люди, эмигранты «первой волны», выглядели растерянно, очевидно решив, что под видом путча большевики провели очередную операцию «Трест» и путь от Успенского собора в Кремле до подвалов Лубянки может быть очень недолог. Американское телевидение, большинство каналов которого всем новостям предпочитают местные пожары и наводнения, вело из Москвы непрерывные репортажи, сопровождая их комментариями разных специалистов, из коих многие обрадовались событию, возвращавшему им надежду, что они опять будут востребованы. Именно во время путча стало как никогда очевидно, что советский режим его профессиональным противникам нужен не меньше, чем сторонникам, предоставляя много рабочих мест с большими окладами, грантами и иными материальными вознаграждениями. Происшедшее событие многие толковали тогда и сейчас толкуют неправильно, называя его антиконституционными действиями или государственным переворотом.

На самом деле путчисты совершили отчаянную, но, по счастью, глупую и трусливую попытку восстановить на территории СССР порядок, как раз соответствовавший букве и духу Конституции государства, на верность которому они присягали. переворот был совершен не ими, а Горбачевым и его сподвижниками. Это я говорю не в отрицательном смысле, а наоборот, в положительном. Советский режим сам по себе был незаконен, удерживался силой, имел липовую конституцию, сочиненную в угоду самому себе. Советские граждане были по существу государственными рабами, лишенными элементарных человеческих прав и свобод, жизнь их была полностью во власти произвола правящей партии, поэтому они имели право на заговор, на восстание, на то, что называется государственным переворотом. Что же касается путчистов, то они Советского государства не переворачивали, а, наоборот, пытались его сохранить. При советской власти некоторые действия, направленные против нее, назывались попыткой реставрации капитализма. Действия путчистов следовало бы назвать попыткой реставрации социализма. Попытка эта завершилась неудачей, но не такой полной, как нам показалось вначале. Некоторые путчисты, претерпев мелкие неприятности вроде краткого тюремного заключения, вернулись к нам героями и заняли прежние позиции. Теперь они сами и их единомышленники, сидя в Думе и в других властных структурах, вполне откровенно стремятся к тем же целям, что и десять лет назад. В общем, путч продолжается, но без танков, а тихой сапой.

№ 150, 18.08.01

| ЦВЕТА ВРЕМЕНИ

Оказывается, наш триколор является символом примирения людей разных взглядов и означает союз красных, белых и голубых. Это не я придумал, а некая немецкая пропагандистка однополой любви. По одному из каналов ТВ она призвала соотечественников привыкнуть к новым реалиям и брать пример с передовых стран, в состав которых зачислила и Россию. Она же сообщи-

ла, что устоявшиеся представления о продажности проституток не точны. Женщины легкого поведения вовсе не продаются, а сдают себя напрокат. Продаются выходящие замуж по расчету. А кому с расчетом не повезло, отдают себя за просто так, утешаясь, что это любовь. На самом деле романтика чистой любви уходит в прошлое, вступление в брак люди все чаще рассматривают как долговременное деловое партнерство и свои отношения после пылких слов закрепляют контрактами, предусматривая возможный обман, нарушение обязательств и оговаривая, что кому достанется в случае чего. Это называется прагматизмом, который подразумевает, что всякое дело не зорно, если легально и кому-нибудь нужно. Можно лечить людей, торговать овощами, держать секс-шоп, и те же проститутки скоро станут уважаемыми государством налогоплательщиками. Подобные откровения бывшему советскому человеку кажутся еще дикими, он с трудом привыкает к рыночным отношениям, в которых прежде, чем что-то купить, надо что-то продать целиком или частично: тело, руки, ум, красоту, талант, рукопись, вдохновение или что-нибудь из вещей.

В современном обществе, чем бы и на каком уровне человек ни занимался: политикой, наукой, искусством, он без овладения торговыми навыками больших успехов вряд ли достигнет.

Мой знакомый американец изобрел микроволновую печь и, если бы продал свое изобретение с умом, стал бы мультимиллионером. Но он им не стал, потому что работал на фирме и за зарплату, правда, очень хорошую. Билл Гейтс стал несусветным богачом не только потому, что технический гений, а потому, что хорошо продал все, что изобретено было им самим или кем-то под его руководством.

Любой крупный ученый на Западе и у нас уже тоже знает: для того, чтобы пробить проект, надо его хорошо продать в буквальном смысле, найти какой-нибудь фонд или спонсора, который его исследования оплатит.

То же и писатель. Который, если он был советским писателем, к новым условиям приспособливается труднее других.

Раньше ему жилось лучше, когда надо было только продать душу и время от времени хвалить родину, существующий строй, вышестоящее начальство и голосовать за. И тогда — никаких неприятностей. Напишешь книгу, и если в ней ничего такого не обнаружат, то напечатают и гонорар заплатят приличный. На который автор мог жить несколько лет, не завися от читателя-покупателя. Лишь бы начальству нравилось, а будет ли кто читать — неважно. Конечно, приятно знать, что люди читают, но желательно, чтоб читали не слишком. Если слишком, то может возникнуть подозрение, что имеет место нездоровый интерес. Который может привести к неприятностям вплоть до обвинений автора в рыночных интересах иного рода — что он продает Родину. Теперь любовью к Родине еще торгуют отдельные депутаты, но для писателей она стала товаром бесплатным. Теперь писателю нужно именно на нездоровый интерес рассчитывать, но тут такая конкуренция, что не пробьешься и не поспеешь. Не успели выйти из моды герои теперешних книг — шпионы, бандиты, киллеры, олигархи и сексоманьяки, как вошли в списки бестселлеров воспоминания бывших жен и любовниц о закулисной жизни и постельных приключениях знаменитостей. Во всем мире всё на продажу и всё напоказ, а тех, кто прославился на чем-то одном, приглашают прославить что-то другое. Теперь наследные принцессы позируют голые для журнала «Плейбой», а президенты и чемпионы рекламируют зубную пасту или шампунь.

В рынке есть много непривычного для нас, пугающего и плохого, но каким бы он ни был, он лучше порядка, определяемого свыше. В отличие от утопического социализма, он нам не обещает идеальных условий, но создает естественные. Он дает нам свободу, ибо сам не может существовать без нее. Он не всегда справедливо, но по понятной логике определяет цену всему: товарам, людям, словам и идеям. Он вам лишнего не даст, но и от вас ничего не потребует. И ему безразлично, какого вы цвета в смысле кожи, политических убеждений или сексуальной ориентации.

№ 155, 25.08.01

Слава богу; народ нас больше не кормит, и мы не обязаны чересчур напрягаться, создавая достойные его произведения. Тем более что теперь, судя по спросу, чаяниям народа больше других отвечают сочинители боевиков, детективов, триллеров и те, кого писатель Валерий Попов называет фекалистами. Эти авторы производят много продукта соответствующего направления, но даже он предпочтительнее утопших в макулатуре романов-кирпичей классиков соцреализма. Авторы кирпичей в прошлом осыпались должностями, орденами, премиями, привилегиями, усиленными пайками, хвалебными статьями критиков и большими портретами в некрологах. Теперь назови молодому читателю их имена и титулы книг, напрасно он будет морщить свой юный лоб. Одних уж нет, а те недалеко, но кто их помнит? На слуху больше авторы, коих в литературу раньше не пропускали, а ошибочно пропущенных вытравливали на закрытых заседаниях и путем всенародного гнева в газете «Правда». По чему некоторые бывшие сильно тоскуют, но увы. У нас ныне свобода слова и рыночные отношения. Товар-деньги-товар. Каждый свой товар продает, чужой покупает. Книгу продал, купил булку. Булку продал, купил книгу. Все само собой регулируется, и нужно ли государству встревать в отношения пекущих булки и стряпающих романы? Я недавно одного удрученного государственным равнодушием литератора в колонке упомянул, другого не буду, потому что третий подлец обидится, что его не заметили. Но у них, упомянутых и подразумеваемых, сложилось мнение, что государство наше изнемогло в заботе о писателях «либерального крыла», а литераторы другого крыла, «отстаивающие национальную традицию, патриотизм, государственность» (то есть они сами), вытесняются в маргиналы. В литературе нынешней, считают они, — кошмар, прямо как в 20-е годы, когда бесчинствовал РАПП. Годы поближе к нам, когда они сами раппствовали, у них из памяти выпали. Бывает такой вид склероза: давнее помнится хорошо, а вчерашнее, как в тумане. Но помнящие могли бы

из личного опыта извлечь вывод, что писателя, коли он заслуживает этого звания, насильно в маргиналы не вытеснишь, а маргинал в литературе не удержится даже при вооруженной поддержке супердержавы.

В воплях, адресованных высшим ушам государства, содержится тревога, что необъединенность интеллигенции грозит стране ужасными бедами. Чушь! Интеллигенция не для того создана, чтобы шагать в едином строю. Интеллигенты могут собираться по очень разным своим интересам в институтах, лабораториях, оркестрах, театральных труппах, церковных общинах, клубах и в банях. Но жить в общей казарме им нет нужды, а писателям и вовсе противопоказано. Писатель, как крестьянин-единоличник, работает сам по себе и чем больше отличается от других, тем лучше. Ценность его труда определяется только художественными достоинствами, а не близостью автора к государству.

Государство может только тем помочь писателю, что не будет соваться в его дела.

Глядя, как представители «патриотического крыла» умело сочетают свои государственные заботы с хлопотами по закреплению за собой казенных дач и дележу городских особняков, хочется полюбопытствовать: а какому именно государству вы, товарищи, преданы? Нынешнему или тому, что было? Похоже, что любому, которое вас пригрет и через вас возьмется управлять литературой. Но как только оно этим займется, в стране немедленно упадет урожайность и ухудшится качество всей производимой продукции, кроме, может быть, ядерных боеголовок. То есть чаяниям вашим способно отвечать только тоталитарное государство, на возрождение которого вы уповаете.

Это, к счастью, вряд ли возможно. Но нужна ли писателям все-таки помощь? Бездарным нужна психологическая, чтобы поняли, что не тем занимаются. А для помощи время от времени талантливым нужны частные и общественные фонды, премии и стипендии. Недостаток литературного заработка писатель может восполнять чтением публике лекций или собственных рассказов. В некоторых странах писателю помогают, беря его

на должность литератора, живущего при учебном заведении. Где он за зарплату общается со студентами. Но и в перечисленных случаях он должен сначала привлечь к себе внимание как писатель и быть достаточно интересным чтецом, лектором, преподавателем или собеседником студентов. А то, что он любит государство или говорит, что любит (и еще вопрос, не врет ли), это его частное дело.

№ 160, 01.09.01

СТРАСТИ СВОИ И ИМПОРТНЫЕ

Прошедший август оказался сухим, жарким и негрибным. Прошел он относительно тихо, в России ничто большое не горело (горело в Америке и на Украине) и не тонуло, из катастрофических событий запомнился проезд Великого Чучхе по пути, проторенному Великим Александром Исаевичем, а так все было вроде бы ничего.

Из земных дел, кажется, горячее других обсуждалась школьная реформа, учиться ли школьникам двенадцать лет. Проблема, в основном волновавшая родителей мальчиков-первоклашек, но не сама по себе, а в соображении, успеют ли дети через двенадцать лет поступить в высшие заведения или их забреют в армию и отправят в Чечню, где война к тому времени мало кто верит что кончится. Хотя военные каждый раз утверждают, что ее уже нет сегодня. Родителей эта проблема волновала тем более, что первым уроком в каких-то школах, как я слышал, были уроки мужества, которые следовало бы назвать уроками глупости: прежде чем учить ребенка, как отдать свою жизнь за что-то, надо научить, как ее беречь.

Грибы не росли, но неудержимо возрастала народная любовь к президенту и доросла до крайних пределов. Люди, видя Путина, приходят в неопишуемый восторг, скандируют его имя, норовят облобызать руку, скоро, очевидно, будут и к ногам припадать. Одного влюбленного я встретил давеча на книжной ярмарке, он подарил мне свою газету под названием «Президент третьего тысячелетия». Она вся от первой строки до последней посвящена Владимиру Владимировичу и пронизана такой

любовью, которую под силу описать только Шекспиру и издателям газеты братьям Нестеровым Владимиру и Петру, посвятившим предмету своей любви поэму-панегирик размером почти в газетную полосу. Признавая в предисловии, что культ личности штука вредная, авторы согласились (цитирую) «с идеями Христа и всех святых церкви о том, что власть законную, которая проявляет заботу о своем народе, а такой именно является современная власть, наш Президент Путин В.В., такую власть всем необходимо уважать и поддерживать всячески». И тут же демонстрируют, как именно это делать. В первой главе «ПРЕЗИДЕНТ СЯТОЙ РОССИИ» есть берушие за душу строки: «Владимир Путин — он гарант прогресса./ Россия всех народов вера и оплот. /За Путиным народ идет вперед./ Ведь он гарант народных интересов». Следующая глава «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ» кончается словами «Да здравствует народный Президент Владимир Путин! /Да здравствует российский президент!/ Для всех людей Земли настал счастливейший момент./ Он самый лучший Президент по сути». Глава «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС» начинается и вовсе возвышенно: «Земельный кодекс депутаты обсуждают, /Полемика горячая идет. /За Путина российский весь народ. /На все вопросы он ответы знает. /Его все чтут и очень уважают». Вот какие таланты произрастают в условиях полной свободы слова!

На прошлой неделе власти не позволили народу насладиться небывалым зрелищем — вегетарианской корридой португальского образца. Бой запретили, хотя устроители обещали нам рогатых не убивать и вообще обойтись без кровопролития. Это обещание напомнило мне анекдот про двух деревенских матадоров, нанятых бабкой для зареза свиньи. Те с ножами вошли в хлев и после шумной возни с густым матом и страшным свинячьим визгом вышли. Когда их, потных и грязных, бабка спросила, зарезали ли они свинью, те ответили, что зарезать не зарезали, но отлупили (в оригинале глагол покрепче) от души. Запрет на проведение корриды расколол наше общество едва ли не как история с гимном. Он обсуждался в прессе и по ТВ как важное событие, в том числе в передаче Владимира Познера «Времена».

Ведущий меня удивил сообщением, что, если люди желают видеть корриду, никто не имеет морального права запрещать им подобное удовольствие, как нельзя запрещать чтение книг. Будучи решительным противником многих запретов, я, тем не менее, возражу, что смотреть нечто показываемое не возбраняется, но запретить демонстрацию кровавых потех власти имеют право и пользуются им не только в нашей стране. В очень свободных и демократических странах жестокое обращение с животными наказывается уголовно, и запрещены бои не только быков, но даже собачьи и петушинные. Что касается корриды, то она существует там, где является проявлением традиционной дикости, но другими странами не перенимается. У нас отечественных зверств хватает, и незачем разжигать темные страсти импортными.

№ 165, 08.09.01

| БЕЗУМСТВО ГНУСНЫХ

Еще недавно люди гадали, когда начнется 3-е тысячелетие. 1 января 2000-го или 2001 года. Теперь пришло время подумать, когда оно кончится. Не окажется ли оно короче тысячелетнего рейха.

Я был вскоре после землетрясения в Спитаке и Леникане. Кажется, катастрофа на Манхэттене выглядит страшнее. Страшен вид разрушенных небоскребов и раздавленных человеческих тел, но ужасны и невидимые разрушения в душах людей.

Говорят, служащие американских авиакомпаний были недостаточно бдительны при проверке пассажиров и их багажа. Это правильно. В небдительности американцев я недавно еще раз убедился, когда, опоздав в Чикаго на пересадку, узнал, что мой чемодан отправился в рейс без меня. Двадцать лет назад, впервые оказавшись в Штатах, я после советского опыта всеобщей подозрительности и вдолбленной в наши мозги уверенности, что враг не дремлет, удивлялся безмерной доверчивости и беспечности американцев. За эти годы они кое-чему научились, но недостаточно и все еще ходят по улицам без паспортов и не видя в каждом встречном возможного злоумышленника.

Но доверчивость перестает относиться у них и у нас к разряду прощительных человеческих слабостей, и мы готовы заподозрить в самом худшем растяпу, забывшего в трамвае кошелку. И сами причислены к подозреваемым. Во всех аэропортах нас без санкции прокурора обыскивают, заставляют выворачивать карманы, роются в чемоданах, а иной раз подвергают и вовсе унизительному досмотру с заглядыванием во все дырки. Теперь, говорят, будут снимать отпечатки пальцев.

Идет война новая, к правилам которой мы не привыкли, потому что никаких правил в ней нет. Вместе с небоскребами рушатся наши прежние представления о добре и зле. Поколения людей во всем мире, а у нас больше, чем где бы то ни было, воспитывались в сознании, что мужество, преданность идеалам и готовность к самопожертвованию — это положительные качества человека. Безумству храбрых мы пели песню. Мы почитали бомбистов прошлого, ставили им памятники и давали улицам их имена. Пришла пора посмотреть на их дела другими глазами.

Я уже прочел и услышал высказывания, что Россия никогда не поддерживала терроризм. Это правда, если речь о России до 1917 года. Но Советское государство само было главным террористом на Земле и школой международного терроризма. Вспомним хотя бы бандитов последних десятилетий: Ильича, который Шакал, немецкую группу Баадер-Майнхоф, итальянские красные бригады, японскую красную и Ирландскую республиканскую армию. Их советские инструкторы обучали, тренировали, снабжали взрывчаткой, оружием и идеями. Неуловимый Хаттаб, я думаю, тоже учился по советским учебникам. Вожди террористических организаций и государств вроде Арафата и Каддафи были зацелованы советскими лидерами, а с Саддамом Хусейном Жириновский целуется и сегодня. Террористические режимы вскормлены и западным миром, который построил им перегонные заводы, покупает их нефть и накачивает их деньгами на покупку веревки, на которой они его же мечтают повесить.

Теперь Америка объявила войну неизвестно кому. Люди опасаются, что в ней будут гибнуть не только тер-

рористы, но и мирные граждане. Но кого считать мирными? Гнусные твари, которые, видя гибель тысяч людей, прыгали от радости, не мирные. В их среде вырастают террористы и, ими подстрекаемые, идут на свой мерзкий подвиг. Не поощрять убийства других они начнут только тогда, когда поймут, что это может обернуться бедой и для них. В современных схватках государств участвуют не только армии, но и стоящие за ними народы. Которые своим трудом в тылу и патриотическими призывами поддерживают воюющих. Иногда, чтобы сокрушить вражеское государство, другая сторона прибегает к акциям устрашения народа, порой ужасным, но сильно остужающим патриотический пыл. Во время войны немцы, бомбя Ковентри или Лондон, убивая чужих детей, жен и матерей, надеялись, что противник не дойдет до такого же варварства. Когда же противник частично дошел и разнес в щепки Дрезден, воля немцев к победе была сильно подорвана. То же было с японцами после Хиросимы и Нагасаки. Бомбардировки тех городов многие и сейчас называют варварскими и неоправданными военной необходимостью. Это соображение спорное. Бесспорно то, что начинающие войну должны быть уверены, что получают ответный удар и он будет страшным. И что силой целей своих они никогда не достигнут.

№ 170, 15.09.01

| НА БОГА НАДЕЯСЬ

А еще говорят, люди Бога забыли. Как бы не так! Поминают его неустанно по делу и всеу, приспособляя к текущему быту и низким целям. Экс-воинствующие безбожники, вернувшись в лоно церкви, расшибают в молитвах лбы и святят что ни попадя: воду, куличи, соборы, дома, корабли, танки, бензоколонки, домашнюю живность. Мой знакомый, пригнавши издалека секундхенд «Мицубиси», на страховку денег пожалел, сигнализацию не поставил, но освятил «тачку» на случай ДТП и угона. После чего угон тут же и состоялся. На Бога понадеялся, а сам оплошал. Конечно, не все рассчитывают на милость Божью по мелочам. Воины ислама, стремясь

к раю кратчайшим путем, протаранили небоскребы и Пентагон во славу Аллаха. Что со всех сторон глупость и признак недостаточной веры. Если Всевышнему так уж неуютны были гяуры из Всемирного торгового центра, он сам, вероятно, нашел бы, как с ними распорядиться. Религиозный фанатизм ничем не лучше безбожного, а в чем-то, пожалуй, и хуже. Безбожник может в последнюю минуту хотя бы себя пожалеть, а этим чего жалеть, если впереди вечное блаженство среди райских куш? В мире людей верующих и неверующих добрых больше, чем злых, может быть, даже намного больше, но деяния злых всегда гораздо заметнее. Добрым нужны годы, чтобы построить, злым — минуты, чтобы разрушить. Злые ударяют по добрым, и добрые становятся злыми. Идиоты, ударившие по щеке супердержаву, неужели думали, что она подставит другую щеку? Мы давно заучили, что насилие родит насилие. Но нам открылось и то, что сопротивление насилию родит насилие еще большее.

Усама бен Ладен может гордиться: ни за одну бандитскую голову не предлагали миллиарда долларов. Ни на одного не охотились с помощью авианосцев, бомбардировщиков и прочей чудовищной силы. Если бы талибы его отдали, то получили бы миллиард и лишили Америку веского довода в пользу бомбардировок. Но теперь война неотвратима. Толпы безумцев беснуются по обе стороны пакистано-афганской границы, угрожая Америке кулаками. Во что превратится одна такая толпа, если на нее упадет одна бомба? Нет смысла в словах о том, что воевать с террористами надо адресно, чтобы не пострадало мирное население. Адресно сражались до позапрошлого века схождением в чистом поле одной рати с другой. Теперь не бывает войн без ударов по городам, штабам и таким местам, где бомбы не различают правых и виноватых. Война еще не началась, а миллионы бегущих от нее уже есть ее первые жертвы.

Когда кончается большая война, историки разбирают начало и не могут не удивляться, какие ничтожные причины лежали в истоках. Сейчас ради чего эти ублюдки напали на Америку? Что было поводом? Зависть бедных к богатым? На деньги, потраченные во зло, Усама бен Ладен мог бы накормить всех бедных афганцев.

Большинство арабских стран настолько богаты, что граждане их на том же Манхэттене небоскребы скупают кварталами. Вот бы и поделились своими богатствами с бедными единоверцами.

Как ни кошмарны были взрывы жилых домов в Москве, они не сравнимы с тем, что случилось в Нью-Йорке, ни по масштабу, ни по значению. Здесь это было эпизодом войны России с Чечней, там — нападение на весь мир. В Международном торговом центре работали граждане десятков стран, включая мусульманские. Там только русских было больше, чем в утонувшем «Курске». Радующиеся американской беде радуются бессовестно и преждевременно. Мировые войны развиваются по непрописанным сценариям, многие государства втягиваются в них вопреки начальным намерениям. Провокаторы из Госдумы предлагают православной России объединиться с талибами и мусульманским миром против Запада. Поскольку их совет вряд ли будет всерьез рассмотрен, я бы предложил для начала более реалистическое решение: самим им принять ислам и записаться в камикадзе. Вместо того чтобы толкать к самоубийству Россию. Я согласен с мнением, что у России сейчас есть как никогда реальный шанс присоединиться к западной цивилизации, наиболее приспособленной для достойного существования человека. Но мы этого, понятно, не сделаем и на Запад пока продвинемся не дальше Белоруссии. Где Александр Лукашенко избрал себя президентом на следующий срок. Он уже принес клятву верности своему народу на иностранном русском языке. Который перестанет быть для него чужим, когда он следующую клятву зачитает в Кремле. Отчего Бог нас убеждает, если сами не оплошаем.

22.09.01

| ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

Генерал предложил разместить на крышах высотных домов зенитные установки. Над генералом стали смеяться, и, по-моему, зря. Лично я ничего смешного не вижу. Пора не смеяться, а обороняться. От нападения со всех сторон и, особенно, сверху. Поставить на высотках

зенитки совсем не мешает. Тем более что им разницы нет, где стоять, что в лесу, что на крыше. Зенитчикам на крыше даже удобнее. Спуститься на скоростном лифте за бутылкой проще, чем самовольно бегать за ней из леса в сельпо. Если высотки будут надежно защищены, террористы на них нападать остерегутся. Они обычно покушаются на то, что защищено ненадежно: на рынки, вокзалы, метро, жилые дома, на Всемирный торговый центр, пока он стоял неохранный. Так что небоскребы с зенитками террористы не тронут, а нападут на дома пониже. Что для меня крайне нежелательно, поскольку мой дом как раз пониже и есть. Так что я не буду против, если и на моей крыше тоже дислоцируется небольшая зенитная батарея. Но если денег на все крыши не хватает, можно использовать опыт Великой Отечественной войны и привлекать к дежурству жильцов каждого дома. Тогда людей инструктировали, как тушить зажигалки, теперь можно научить обращению с переносными ракетными установками типа «стингер» или «стрела». Подобные штуки надежны и просты в обращении, но имеют тот недостаток, что снаряд благодаря реактивной струе летит вверх, а осколки — спасибо Исааку Ньютону — могут осыпаться прямо на голову тому, кто стреляет. Так что каждому дежурному по крыше и ходящему по улице я бы выдал еще по каске из прочного металла. Но защищенным от нападения сверху никто не даст гарантии против атаки спереди, сзади или с боков. Что часто бывает в американских школах, а теперь случилось в Швейцарии, где некий псих ухитрился перестрелять сразу кучу местных парламентариев. Жертв было бы меньше, если бы законодатели заседали в касках и бронежилетах. К чему я, собственно, и клоню. Граждане, покупайте бронежилеты! Правда, они не спасут вас от радиоактивного излучения, но для этого существуют свинцовые пластины, которыми следует обложить наиболее важные части вашего организма. Расположенные под бронежилетом, они значительно увеличат его пуленепробиваемость и от радиации защитят. Ну, а поскольку мы знаем, что у террористов есть и иные замыслы, каждому гражданину настоятельно рекомендую обзавестись противогазом и днем держать его наготове, а

ночью спать прямо в нем, ибо в случае чего надеть уже не успеете. Чтобы исключить возможность отравления пищи, следует закрыть все рынки, а в магазинах выставить усиленную охрану и расположить химико-бактериологическую лабораторию. Можно также создать штат предварительных опробователей пищи из числа лиц, помилованных Анатолием Приставкиным. Питьевую воду поставлять населению в запломбированных сосудах из надежно охраняемых водоемов. Разумеется, надо принять строжайшие меры по нераспространению всего, что имеет способность стрелять, взрываться, колоться и резаться. Кое-что в этом направлении уже сделано. Теперь в самолеты не пускают людей с ножами для резки бумаги, маникюрными ножницами, дамскими шпильками и канцелярскими скрепками. Хорошо пассажирам. Но как защитить пешеходов, если на каждом углу в хозяйственных магазинах идет бесконтрольная торговля холодным оружием всех видов? Ножи столовые, хлебные, мясные, секачи, тесаки, топоры, вилки, вилы и грабли. Торговлю подобным товаром следует запретить. В крайнем случае данные предметы можно продавать только по предъявлении справок из милиции и от психиатра, а орудия обработки земли нумеровать и регистрировать, как охотничьи ружья. Входы в вокзалы, метро, музеи, кинотеатры и жилые дома следует оборудовать рентгеновскими установками и тут же держать собак обученных унюхивать взрывчатку. Носимые по необходимости портфели, узлы, мешки, сумки и прочие подобные вещи должны предъявляться для контроля работникам милиции. В больших городах необходимо усилить паспортный контроль и ввести визовый режим для иногородних. Для большей безопасности я бы посоветовал населению во время, свободное от работы и дежурства на крыше, оставаться дома, а еще лучше — в ближайшем бомбоубежище, пристегнувшись к сиденьям. К читателям, которые пожелают дополнить список рекомендаций, просьба присылать их в письменном виде с указанием обратного адреса и паспортных данных, подтвержденных нотариусом.

№ 180, 29.09.01

Моему соседу Пете С. три хулигана испортили физиономию в половине первого ночи на коротком пути от метро домой. Петя, молодой и здоровый мужчина, владеет приемами карате и хулиганам всем троим непременно набил бы морды, будь он один. Но с ним были жена и сестра жены, они во избежание худшего пытались удержать его от ответных действий, висли на руках и кричали: «Петя, не надо!» С тремя Петя бы справился, пятерых не осилил и в конце концов был доставлен в больницу с треснутым ребром, перебитым носом и сломанной челюстью. И еще хорошо отделался с помощью случайно проезжавшей мимо милиции.

Это было настоящее проявление пацифизма на бытовом уровне: одни били, другие не давали сопротивляться и помогали бьющим. То же бывает в случае пацифизма масштабного и многоголового, который выходит на улицу с плакатами и транспарантами, с воинственными антивоенными лозунгами.

В наших окрестностях пацифизм еще не окреп, зато в «тамошних» очень заметен, что мы недавно наблюдали по «ящику». Еще не догорели остатки башен торгового центра, еще не осела пыль, еще пропавших без вести не перенесли в списки погибших, а народ уже кинулся — одни на призывные пункты, а другие на улицы городов с лозунгами «Нет войне!» и скандируя «Буш — террорист!».

Признаюсь, такая реакция на событие 11 сентября меня шокировала не меньше, чем само событие. Мне казалось, что в сердцах всех нормальных людей нью-йоркский апокалипсис должен был вызвать однозначные ощущения: сначала ужас и шок, затем, безусловно, гнев и жажду возмездия. Которая оказывается не очень-то утоляемой. Исполнители преступления, которых хорошо бы изловить и казнить, сами себя казнили, и теперь отомстить им может только Аллах, передавши их души дьяволу. У многих людей есть большое желание поймать Усаму бен Ладена и посадить его на электрический стул. Или повесить его на фонарном столбе. Но

достаточна ли будет плата за тысячи загубленных жизней и ужас, пережитый человечеством? Увы.

На смену чувству мести приходит сознание необходимости. Что к каждому порогу подступило зло, от которого есть только одно спасение — война.

Люди спорят, война кого с кем? Религий, наций, цивилизаций? Разумеется, цивилизаций. Если и дикость считать видом цивилизации. Дикость часто оформляется и осознается дикарями как единственно правильное мировоззрение. Оно не может быть религией, но может вытекать из нее. А может и из атеизма, что мы уже видели своими глазами. Это мировоззрение называется идеологией, согласно которой овладевшие ею знают, что мир устроен неправильно. И знают, как устроить его правильно и наиболее скорым способом. Надо только уничтожить всех буржуев, или евреев, или неверных, и оставшиеся будут жить хорошо. Сначала эти идеологии кажутся смешными и слишком нелепыми, чтобы быть претворенными в жизнь. Потом они овладевают умами. И тогда назревает война, от которой мирные люди, естественно, стремятся уклониться и вступают в соглашения с теми, кто хочет их погубить. Отсюда всякие промежуточные решения, вроде мюнхенских или кэмпдэвидских. Но вооруженным идеологией дикарям любые политические решения нужны только для того, чтобы выбрать время. И нанести удар. Начать войну. Не на жизнь, а на смерть. И когда эта война начинается, у нормальных мирных людей не остается выбора, как принять вызов. И тогда мирные люди бегут на призывные пункты и берут в руки оружие. А тем, которые уклоняются, сидеть бы тихо по углам. Но они ведь тоже хотят слыть героями. И тогда они смело выходят на улицы, где можно воевать против войны, ничем не рискуя, но хватая за руки воюющих против войны на войне.

А наш пацифизм имеет еще более извращенные формы. Сейчас, когда война объявлена действительно цивилизации, той самой, к которой все-таки принадлежим и мы, многие наши умники считают, что нас происходящее не касается, и по телевидению убеждают публику, что никакого терроризма нет, а есть коварные ин-

триги высших политиков и спецслужб, ЦРУ, Моссада и ФСБ. Путин взорвал дома в Москве, а Буш в Нью-Йорке из электоральных соображений. Израильтяне сами себя взрывают, чтобы иметь повод взрывать арабов. Сорок процентов опрошенных Светланой Сорокиной вообще считают, что последние события продиктованы стремлением Америки к мировому господству. Так вот пусть она воюет без нас. Однако без нас не получается. Мы уже в эту войну втянуты по уши. И словами ее не остановить.

№ 185, 06.10.01

| В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Ведущие были бездарны, ведомый бездарно самодоволен и пошл. Он сидел перед телекамерой, чмокал губами, о литературе бормотал что-то невнятное, но поедание экскрементов живописал со знанием, вынесенным, как сам признал, из личного опыта. Ну и как? — спросили его. Ничего, пожал он плечами, запах не самый приятный, но, в общем, съедобно. Он — это известный автор бестселлеров и инженер закоулков человеческих душ. Перед тем как его выслушать, я сидел и думал, с чего бы мне начать разговор о нашей цивилизации? А тут решил: вот с этого как раз и начну. У нее, цивилизации, есть много разных примет. С одной стороны, великие достижения человеческого ума и таланта: расщепленный атом, самолеты, ракеты, космоланы, компьютеры, небоскребы из стекла и бетона (увы, весьма сокрушимые), открытия медицины и генетики, а с другой — то, что в СССР считалось признаком буржуазного разложения: секс-шопы, стрип-бары, лав-парады, полная небрезгливость всех ко всему, раздевание на людях во всех смыслах полностью чуть ли не до выворачивания себя наизнанку и эти бесконечные ток-шоу, где участники публично смакуют то, о чем прежде и втайне помыслить стеснялись. По части бесстыдства мы идем все дальше, сметая остаточные табу. Уже мало телевидению голых сисек, попок, министров и прокуроров, мало кровений, кто кого где и как, мало демагогии либе-

рал-демократов и компромата на политиков, оно, кажется, дошло до предела, за которым начинается беспредел Интернета. Полная свобода во всех смыслах, к чему долго шла европейская цивилизация, а мы за последние десять лет тоже приблизились. А что до другого мира, то я с ним в одном из арабских эмиратов недавно познакомился короче и остался под впечатлением. Строгие нравы, женщины закрыты от макушек до лодыжек, громкоговорители разносят заунывные голоса мусульман, и мужской народ по нескольку раз в день полным списком валит то к мечети, то из мечети (непонятно, когда работает) на утренний намаз, на вечерний, на промежуточные, и среди ночи будил меня усиленный динамиком возглас «Аллах акбар!», от которого становилось не по себе, казалось, за ним последует что-то вроде залпа из всех орудий. Эмират за счет нефти и туристов богатый: виллы, фонтаны, парад дворцов местного университета, дорогие одежды и шикарные автомобили, произведенные, конечно, не здесь. Исламские государства, какое ни возьми, не умеют делать ни машин, ни телевизоров, ни компьютеров, ни танков, ни самолетов. Да и как это производить, если самые ученые люди заняты чтением Корана, из наук важнейшей считается богословие, а главные мысли устремлены к устройству не этой жизни, а вечной, для которой эта вроде как репетиция. Как ни крути, а мусульмане в целом веруют в Бога более массово и истово, чем христиане. На Западе люди Всевышнего тоже, в общем-то, почитают, но не поголовно и не так страстно. Может быть, потому, что цивилизация, называемая христианской, была заложена язычниками Древней Эллады и Рима задолго до Христа. В ней тоже было много всякого, но, пройдя через дикость крестовых походов и кошмар инквизиции, она сумела отделить кесарево от бога и в дальнейшем окормлялась не только верой, но и идеями вольнодумцев, открывших, что земля вертится, и додумавшихся потом до черт-те чего в смысле техники, законов и прав человека. Я верю, что ислам религия мирная. Но можно ли верить в мирность мулл, управляющих государствами, армиями и лагерями террористов? Как бы мы ни бы-

ли политкорректны, нельзя же не видеть, что исламские страны одни сами проповедуют терроризм, другие террористов поддерживают, третьи смотрят на них сквозь пальцы, четвертые не могут с ними справиться. Среди христиан тоже есть воинствующие. Североирландские католики не менее жестоки, чем ученики бен Ладена, и магазины или дискотеки взрывать умеют. Но их же не так много, и действуют они на ограниченной территории. А исламские камикадзе буйствуют глобально и угрожают гибелью всему миру. Значит, все-таки война. Нашей цивилизации, разнеженной, распутной, раздвешшейся догола, с закутаным по глаза мракобесием. При этом она оснащена тем, что сама изготавливает, но неохотно употребляет. А оно легко пускает в дело чужое, что купило или украдо: бомбу, самолет, штамм сибирской язвы. Чем все это кончится, известно только Аллаху, но будем оптимистами, взглядымся и увидим свет или конец света в конце тоннеля.

№ 190, 13.10.01

| ХИРУНДА ТИПА КАК БЫ В ПЛАНЕ ТОГО ЧТО

Отвлечемся от протекающего на наших глазах апокалипсиса и обратимся к языкознанию как к ерунде, которой люди начинают заниматься в самых сложных исторических обстоятельствах, то есть всегда не вовремя. Само слово «ерунда» пришло в русский язык неизвестно откуда, есть предположение, что от латинского герундиума, но это, я думаю, точно уж ерунда, мне ближе вычитанная где-то легенда, согласно которой слово это русское — плод скрещения трех немецких во времена Петра Первого. Переселившиеся в Россию немецкие рыбаки, сортируя на берегу очередной улов, раскладывали рыбку большую и маленькую по кучкам, приговаривая: хир унд да, хир унд да, то есть сюда и сюда (слова hier и da — синонимы). Местный народ это подсмотрел, подслушал и решил, что ловцы всю свою рыбу зовут ерундой. Немцы же, как известно, обогатили нашу речь не только ерундой в кавычках и без, но и словами военной и бытовой лексики (гауптвахта, шлагбаум, бюстгаль-

тер и галстук), а также калькой сложных, переведенных вместе с приставками, корнями и суффиксами существительных: председатель, представление, обновление и т.д. Когда б вы знали, из какого сора... Но даже зная, не стоит сильно пугаться засорения нашего языка иностранщиной, тем более что бесполезно. Западная техника развивается бурнее нашей, внося в наш быт их предметы и их артикулы, которые ни народ-языкотворец, ни ученые-языковеды не успевают перевести равноценно. Никто не придумал названий удачнее, чем компьютер, принтер, лазер, калькулятор. Да и нужно ли?

Соприкасающиеся между собой языки заимствуют что-то друг у друга и, вбирая, обогащаются, а отторгая, беднеют. Языкотворчество — процесс демократический, им занимаются все, включая воров и бандитов. Эти, сидя по тюрьмам, от общих работ отказываются, но лингвистикой заняты постоянно и язык свой довели до такого совершенства, что освоить его можно, как иностранный, только путем прилежного изучения.

Первый урок воровской речи был мне преподан в тринадцатилетнем возрасте, когда я попал из маленькой деревни в большой промышленный город. Местный шпаненок, решив наладить со мной контакт, поинтересовался, ботаю ли я по фене. На всякий случай я ответил утвердительно. И тогда он произнес речь, которой я совершенно не понял, а знакомые слова вроде «шары», «колеса» или «перо» имели явно не то значение, какое я с ними связывал. С тех пор, пройдя через ремесленное училище, я в этом языке более или менее поднаторел, но, как вижу, люди высокого образования тоже овладели им не хуже, чем изучаемым в Оксфорде. Уже все подряд, и даже поэты, пользуются словами шмон, шухер, хевра, халява. Во время дефолта крупные наши политики признавались, что подвели иностранных партнеров, говоря: мы их подставили, мы их одели, мы их обули. Что же касается наших депутатов, мэров, губернаторов, олигархов и корреспондентов ТВ, те за пределами ненормативной лексики вообще чувствуют себя неуютно, как чужеземцы, изучавшие язык по разговорнику для туристов. Путаются в предлогах и спряжениях, а при скло-

нении числительных испытывают муки, подобные родовым. Я некоторые выражения публичных политиков два дня записывал и вот даю без указания авторства: Надо посмотреть о путях на развитие перспектив. Поэтому я абсолютно подчеркиваю... К счастью, опасения оказались тщетны... И вы категорически отказываетесь, чтобы мы за это что-то заработали... Я представляю более чем трехсот компаний... Мы надеялись над тем, что об этом вопросе будет разрешено положительно... Рекорд ставят говорящие «о том, что»... Я убежден о том, что... Пусть запросит о том, что. Мы имеем проблему о том, что. Мы обдумываем о том, что... Даже члены Союза писателей России не все чувствуют разницу между «ничто» и «ничего» или «одеть» и «надеть». А еще сплошь и рядом употребляются вновь изобретенные глупые штампы вроде «мало не покажется», «дорогостоящий», и совсем некуда деваться от «как бы». Мы как бы об этом уже говорили. Я как бы являюсь председателем кооператива. Известная актриса, спрошенная, как она себя чувствует в новом браке, ответила: «Я как бы счастлива».

Еще у нас любят говорить «типа того» и «в плане того, что», но все языковые перлы не перечислишь. Тем более что все это чистая лажа на фоне о том, что происходит в Афганистане, Абхазии и Чечне, а также в смысле чумы и сибирской язвы. Похоже, что наступает хипеш типа вселенского, в плане того, что как бы полный атас.

№ 195, 20.10.01

| НАДЕЙТЕСЬ И ОПАСАЙТЕСЬ

Скоро все будет хорошо. «Курск» подняли, учителям зарплату прибавили, Аксененко обвинение предъявили, Березовского объявили в розыск. Что еще? Есть шанс, что американцы всей мощью авиации, флота, ракетно-ядерных сил, ФБР, ЦРУ и спецназа злого бен Ладена так или иначе достанут, тогда и у нас все постепенно уладится. Незаконные бандформирования, заключив мир с законными, гранатометы перекуют на орала, в

землю будут закапывать не фугасы, а съедобные корнеплоды для дальнейшего выращивания и торговли на рынках. Боевики переедут из пещер в родные дома, полевые командиры переквалифицируются в полевых бригадиров, а город Грозный будет сдан в долгосрочную аренду «Мосфильму» для съемок картин о Сталинградской битве. Нам же останутся только битвы за урожай и церемонии награждения особо отличившихся. Вот скучища-то будет, как при советской власти!

Только вряд ли такое нам в самом деле грозит. Потому что сторонам есть о чем поговорить, но мало шансов договориться. Поэтому на дальнее будущее будем надеяться, но не устанем ближнего опасаться.

Я хорошо помню времена, когда нас учили быть бдительными, не допускать излишней доверчивости, благодушия, ротозейства и головотяпства и смотреть внимательно, нет ли среди нас шпиона или вредителя, который не дремлет и готов наши секреты украсть, нас самих отравить или взорвать, а огороды наши уничтожить с помощью колорадских жуков. Все это рождалось в воспаленных умах фантазеров ЦК и ЧК и имело продолжение только в газетных статьях, в протоколах допросов и в приговорах врагам народа. Теперь этот бред материализовался, подтвердив предположение о том, что реальность не только служит основой художественного вымысла, но сама может стать его воплощением.

В начале 80-х годов я жил в США, когда какой-то вредитель всполошил американцев, подложив в упаковки тайленола отравленные таблетки. Это был как бы пролог к тому, что происходит сегодня. Тогда несколько человек умерли. Живые предпочитали головную боль риску умереть от ее утоления, фармацевтические олигархи Джонсон энд Джонсон, вынужденные отозвать свою продукцию из супермаркетов и аптек, терпели чудовищные убытки. Не успели несчастные янки избавиться от страха перед тайленолом, наступил (31 октября снова наступит) Хеллоуин (Halloween), праздник, приносящий много радости детям. Происходит он примерно таким образом. Дети в страшных масках ходят по домам, звонят в двери, кричат открывшим им хозяе-

вам: «Трит ор трик». То есть давайте угощение или пеняйте на себя. Дети при этом радуются и хозяева тоже, понимая, что это всего лишь шутка, что надо от гостей откупиться пряником или конфетой, чтобы не стать жертвой безобидной проказы вроде струи воды из игрушечного пистолета. Так Америка забавлялась все двести лет своего существования, пока в конце прошедшего века взрослый маньяк с криком «трит ор трик» не расстрелял открывших ему дверь из настоящего пистолета. После чего многие американцы, прежде чем откинуть защелку, стали спрашивать, кто там. А ведь весь смысл забавы был в том, что там должен был быть кто-то неожиданный. Под страшной маской, но с добрым лицом.

Детей раньше учили, что они живут в мире добрых людей, от которых не надо таиться и запираяться. Теперь их учат быть бдительными, взрослым не доверять, в чужую машину не садиться, из рук незнакомцев не брать ни жвачек, ни шоколадок. И взрослые учатся по ускоренной программе пониманию, что на каждом шагу их могут взять в заложники, застрелить, взорвать или прислать смерть по почте. После того как в Вашингтоне умерли почтальоны, доставлявшие письма в Белый дом, наши службы впали в повышенную бдительность и усилили контроль за корреспонденцией с адресом «Москва, Кремль». Хотя, по-моему, всю эту почту можно сжигать, не читая, потому что в Кремль пишут всякую чепуху в основном те, кого мы в просторечии называем «чайниками».

Что же нам делать? По улицам ходить страшно, в метро ездить неуютно, спать в постели так же опасно, как летать на самолете. Теперь что же, и письма не читать? Тогда и писать не стоит, чтобы не пугать тех, кому пишете. С близкими можно общаться по телефону, хотя, помнится, бывали случаи отравления через телефонную трубку. Пожалуй, в ближайшее время лучше не общаться ни с кем, опасаться всего, но надеяться, что скоро все будет хорошо. Или то, что есть, будем вспоминать как хорошее.

№ 200, 27.10.01

Ходит слух, что охота на чеченских боевиков завершается, скоро они вылезут из берлог и сдадутся. Сила солому ломит, но я не понимаю, как они до сих пор там держались. Ну допустим, они идейные, отважные, выносливые и самоотверженные. Жизнь готовы отдать за родину и Аллаха, умеют хорошо прятаться. Тем более в родных горах. А впрочем, хоть и в горах. Это ж не какие-то одиночные пещерные люди, а очень большой коллектив. Сколько их точно, никто не знает, а военные, чтобы объяснить, почему так долго не могут управиться, твердят, что достаточно. Недавно прозвучала цифра 10 000. То есть, говоря по-старинному, тьма. Или, по-нашему, что-то вроде дивизии. Но если даже и в пять раз меньше, где такая прорва народу может скрываться? Ну, летом им, говорят, помогают Аллах и зеленка. А зимой, когда снег? Люди не медведи, таиться в берлогах всю зиму не могут и вынуждены по разным надобностям передвигаться снаружи, оставляя следы на снегу. Надо же добывать пищу, жарить ее и варить, отчего поднимается дым, в зимнее время ух как заметный. И как все это можно не увидеть с само- или вертолета, когда даже со спутника спичечный коробок, говорят, виден вполне отчетливо? И еще того понять не могу: а как же они снабжают себя одеждой, оружием и всем прочим? Деньги у них, может быть, водятся (дядя Усама подкидывает), но ведь на них надо еще что-то купить и доставить. В пещерах супермаркетов и рынков оружия, я думаю, нет, а снаружи в авоське всего не натаскаешь. Нужны вагоны, грузовики или гужевой транспорт, которые тоже невидимыми не бывают.

Одна охота, может быть, и кончается, зато другая в самом начале. Пока генеральный прокурор, овладев профессией телеведущего, вел передачу из Рослякова, его заместители объявили войну коррупции, имея в виду не себя. В принципе дело давно назревшее, но безнадежное. Еще Петру Первому Меншиков объяснял, что тот, надеясь извести взяточников, рискует остаться без подданных. Тем не менее прокуроры взялись за дело рья-

но и сперва ударили по министерствам, отчего министры кинулись кто куда. Аксененко и Лесин в отпуск. А Сергей Шойгу, как ему и полагается по партийно-медвежьей принадлежности, залег в ЦКБ. Впрочем, охотники заверили больного, что ловят не его, а другую дичь вроде депутата Госдумы Владимира Головлева. На которого они накинулись с таким визгом, будто только что поймали с поличным. Хотя речь идет о работе Головлева в Челябинске, откуда он восемь лет как уехал. Не найдя ничего посвежее, генерал-прокурор Юрий Бирюков явился в Думу и, несмотря на то что перед ним был большой выбор из депутатов с очень непростыми биографиями, два дня уговаривал их выдать ему именно Головлева. Слуги народа смотрели на прокурора глазами честными-пречестными, но чувства испытывали противоречивые. С одной стороны, приятно коллегу скушать, с другой стороны, возрастает опасность быть впоследствии скушанным самому. Сами они никогда ничего плохого не делали, однако не настолько, чтобы жить спокойно, не прикрываясь депутатским иммунитетом. Все-таки прокурора спросили: а какие же доказательства? Тот обещал представить доказательства сразу же после ареста. Депутаты удовлетворили просьбу частично. С арестом решили повременить, хотя самый честный и неподкупный депутат Жириновский согласен был и на это. Говорят, пастухи у рек, где водятся пираньи, чтобы перегнать стадо вброд, сначала выше по течению загоняют в воду одну корову, и пока мелкие твари рвут большое животное на куски, стадо и пастух успевают перейти на другую сторону живыми.

Головлев считает (и это похоже на правду), что прокурорский наезд на него сделан по сигналу из Кремля, и причина не в челябинских давних делах, а в том, что сегодня он вместе с Сергеем Юшенковым создает оппозиционную партию «Либеральная Россия». Что из этого получится, я не знаю. Мне кажется, что сейчас реальная Россия склонна шагать вместе не к либерализму, а в противоположную сторону. Сегодня быть в оппозиции, как мы видим, значит нарываться на неприятности, а большинство людей идут в политику не для этого.

А нам, аполитичным, пожалуй, пора уже прятаться. Вы спросите, зачем, а я вам напомню анекдот про зайца. Помните, он спрятался, услышав, что объявлена охота на медведей? Его спрашивают: ты-то чего боишься, ты ж не медведь. А он отвечает: Я-то не медведь, но охотники этого могут не знать.

№ 205, 03.11.01

| ОРДЕН ЗА ЧЕСТНОСТЬ

Признаюсь, я до недавнего времени думал, что Счетная палата — это безобидное заведение вроде Палаты мер и весов, где люди занимаются сравнением единиц десятичной системы с футами, фунтами и градусами по Фаренгейту, хранят эталоны и следят за тем, чтобы метр не укорачивался, час не удлинялся и килограмм равнялся тысяче граммов, а не тому, что в магазине кладут на другую чашу весов. Оказывается, я ошибался: в ведомстве Сергея Степашина производятся измерения по более сложным схемам. Там вникают в дела какой-нибудь крупной структуры и начинают шелкать костяшками, прикидывая, сколько денег было выделено, сколько потрачено на дело и сколько ушло налево. А дальше подключенная к делу прокуратура полученную сумму умножает на статью Уголовного кодекса и предлагает суду определить, сколько лет получится в результате. Конечно, при этих подсчетах проявляется и человеческий фактор в смысле определения, к кому можно эту математику применить, а к кому следует воздержаться. Обычно тревожат исключительно стрелочников, но во времена диктатуры закона и всеобщего равенства перед ним дело порой доходит даже и до министров. А почему, собственно, даже? Разве министры не такие же люди, как мы? И зарплат им, что ли, своих хватает? Покажите мне такого министра, которому хватает его зарплаты, и я заплачу вам рубль.

Только не говорите мне про Цюрупу. Ну да, тот, будучи наркомом продовольствия, вез голодающим целый эшелон зерна, сам падал в голодный обморок, но ни одного зернышка не склевал. Так он же был большевик

ленинского закала, а теперь таких, слава Господу, нет. Теперь в том, что прокуратура наша добирается до министров, не было бы ничего противоестественного, если бы вовремя и до всех. А то ведь годами пребывает как будто в спячке, а тут на тебе — спохватилась. Такое ощущение, что где-то дан сигнал, а прокуроры рады хватать кого ни попадя, кроме себя. И уже звучат имена министров и замов, а Счетная палата допускает утечку, что и у других подобных начальников рыльце в том, чем набивают подушки.

Перечислять имена не буду, их много, и всё новые открываются. Один купил себе неизвестно на какие шиши квартиру, другой построил дачу, третий сынку собственному дорогой заказ оформил на постройку чего-то ненужного, а четвертый просто гребет взятки без зазрения совести. Кстати, насчет последнего — у меня еще в советские времена был знакомый, который, отсидев срок за мздоимство, говорил со знанием дела, что особи, не берущие взятки, в нашей стране водятся, и даже в больших количествах, но только среди тех, кому их не дают. А кому дают и кто сам может взять, с теми просто беда. С этими людьми чего только не делали! Их и сажали, и расстреливали, и по партийной линии строго журили, а им хоть бы что. Чем больше с ними борются, тем больше их есть, и чем больше их есть, тем больше им надо.

А у меня по борьбе с ними есть радикальное предложение, Поощрительно-угрожающего характера. Надо учредить особый орден «За честность». Не за доблестный труд на благо Отечества, а просто за то, что, трудясь на высоком посту и имея доступ к финансам и распределению благ, награжденный казенного или чужого имущества не присваивал, родственникам не раздаривал и взятками не увлекался. Орден этот следует ценить высоко и давать его крайне редко. Реже, чем Героя России. Героических личностей у нас больше, чем честных. Давать его следует только один раз в жизни, потому что дважды честных не бывает. Поскольку орден необыкновенный, то и представление к нему должно быть особым. Я бы предложил, чтобы соискатели ордена сами себя на него выдвигали, что некоторых сразу поставит в

щекотливое положение. Представляя себя к награде, кандидат в орденосцы неизбежно привлечет к себе повышенное внимание Счетной палаты, прокуратуры и прессы, а не представляя, навлечет подозрение, что чего-то боится.

Орден «За честность» должен приравниваться к полководческим орденам и присуждаться только высшим должностным лицам, прошедших чистыми мимо больших искушений.

Что же касается начальников поменьше, которые оформляют какие-нибудь участки, выдают лицензии или справки, производят набор на военную службу и прием в высшие учебные заведения и контролируют движение на дорогах, для них я бы изготовил нагрудные знаки, дипломы и похвальные грамоты, порядок награждения которыми пока обдумываю.

№ 213. 17.11.01

| «А КРИТИКИ ХОРОМ: «АХ, ФОРУМ! АХ, ФОРУМ!»

Я хотел взять эти слова Окуджавы эпиграфом, а потом подумал, что они годятся для заголовка.

Что же касается форума, то целью его проведения было его проведение. Это был, конечно, не съезд КПСС, потому что делегатов в кремлевском буфете не отоваривали, отчетный доклад был покороче, аплодисменты не слишком бурными, а от исполнения заветной песни устроители воздержались, опасаясь, что кто-то может не встать. И этим наше время отличается от того, когда вставали все. Теперь кое-кто кое-что может себе позволить, но гражданского общества у нас пока нет, и вылепить его силами даже столь заметного сборища так же невозможно, как ввести в действие указом верховной власти. Для гражданского общества у нас не хватает необходимого количества граждан, имеющих быть таковыми не только по паспорту. Существо, вылупившееся из тоталитарного прошлого, превращается в гражданина медленнее, чем гусеница в бабочку, и утечет много воды, пока оно начнет ощущать себя гражданином, то есть личностью, которая развивается не в стаде идущих вме-

сте, а сама по себе, питаюсь, как правильно сказано, духом свободы (у некоторых, правда, первым блюдом была лагерная баланда).

Гражданское общество — это то, в котором гражданин знает свои права и обязанности, а власть осознает пределы своих возможностей, полученных ею на время. Гражданин, идя на избирательный участок, должен понимать, что от него что-то зависит, и своего депутата, мэра, губернатора и президента изберет именно он, а не за него Волошин, Березовский или Павловский. Гражданин понимает, что лицо, избранное им во власть, является нанятым им работником, на которого всегда можно найти управу, а если что, и уволить. И нанятый тоже не должен этого забывать. В гражданском обществе должны быть обязательно и власть, и оппозиция, по влиянию почти равная власти и готовая поменяться местами. Не должно быть такой ситуации, чтобы власть была сама себе оппозицией, для чего ей надо самой себе давать по морде и самой себе тем же макаром отвечать, как бы имея две морды в одном лице. Увы, в нашем обществе крепнет, кажется, мысль, что оппозиции может вообще не быть никакой. Президент у нас молодой, умный и деятельный, сам во все вникает, сам все решает, а нам делать нечего, и руки свободны для аплодисментов. Хрустальная мечта Козьмы Пруткова о введении единомыслия в России сбывается на глазах. Политические партии сливаются в одну, большую и рыхлую, раздробленные силы несогласных могут им оказать сопротивление не большее, чем остаточные талибы обрушенной на них мощи. Страшными оппозиционерами еще недавно были у нас коммунисты. При предыдущем президенте они наращивали капитал политический и финансовый, крича об антинародном режиме и делая президенту «козу» в виде импичмента. Новый президент, обладая определенными навыками и приемами, охотников делать «козу» может кинуть через плечо и кое-кого уже кинул, так что остальным приходится быть осмотрительнее. А наиболее расторопные из недавно непримиримых, вроде Сажи Умалатовой, уже вошли с властью в клинч крепких объятий, и почин передовой электросварщицы имеет шанс быть подхваченным широко. Короче, оппо-

зиции у нас практически нет, не считая диссидентов из музея Сахарова и общества «Мемориал». Но диссиденты — это такие граждане, чей голос громко звучит, когда им затыкают глотки. А незаткнутых общество не слышит и даже не знает толком, кто они такие. И истории своей оно не знает, имея в массе смутное представление, что раньше кого-то где-то за что-то сажали, зато непосаженным зарплату платили вовремя и зимой отопление не отключали.

В Москве, Питере и других больших городах признаки зарождения гражданского общества разглядеть еще можно, но в провинции тамошние сатрапчики воротят, чего хотят, не боясь ни прессы, ни суда, ни совести, ни народа.

Где-то в Саратовской области поставили памятник Сталину, убийце миллионов наших сограждан. В гражданском обществе люди снесли бы к черту и памятник и того, кто посмел эту дрянь поставить. И деньги свои налогоплательщицки с поставившего обратно б слупили. Нашим же людям, пока зарплата идет, вода течет и батареи не стынют, все это, как говорится, до фени, до лампочки или по фигуре. Так что общество у нас, можно сказать, не гражданское, а пофигистское. А форум что ж, дело неплохое. Давали б еще бесплатно сосиски, было б совсем хорошо.

№ 218, 24.11.01

* * *

Приснилось мне, будто я сплю. Сплю и вижу во сне, будто сплю и вижу сон, будто сплю. Сон во сне, как матрешка в матрешке. Во внешнем сне мне снится, будто я сплю, а во внутреннем, будто спать мне что-то мешает. Какая-то знакомая громкая песня. Что-то вроде: «Вставай, нерадивый, на выход с вещами». И кто-то трясет при этом мою кровать. Я в конце концов просыпаюсь во внутреннем сне с большой неохотой, смотрю — шесть утра, по телевизору исполняется гимн, а надо мной стоят прокурор и понятые из фракции «Единство». И прокурор говорит: вы арестованы, попавшись с поличным на месте преступления. Да что вы, говорю, с каким по-

личным, какое преступление, я же спал. Вот именно что спал в лежачем положении, чем надругался над гимном, при котором надо вставать. Я, конечно, смутился-перепугался, простите, говорю, оплошка вышла, проспал. А мне говорят, что проспал — это не оправдание и не смягчающее обстоятельство, и тут же приговаривают меня к годичному содержанию под стражей с обязательным еже- и круглосуточным прослушиванием гимна. Я спрашиваю, нельзя ли проявить гуманность и заметить смертной казнь, а мне говорят, нет, у нас на высшую меру мораторий и вообще таким преступникам, как вы, на снисхождение рассчитывать нечего.

Тут я и от внешнего сна очнулся, дико озираясь вокруг себя. Гляжу: прокурора нет, понятые исчезли, а телевизор орет. Вчера я его, засыпая, не выключил, ночью он молчал, а теперь вот с утра пораньше запел свою главную песню. Ну врать не буду, что я тут же вскочил и встал во фрунт, но лежа, подтянулся. И стал думать, с какого бодуна мне такие кошмары мерещатся? И вспомнил, что какой-то депутат решил всю глубину своего ума выказать через заботу о священных символах нашего государства и предложил уголовно преследовать народ за надругательство над государственным гимном. Я бы, может, пропустил эту законодательную инициативу мимо ушей, если бы она прямо меня не касалась. Ведь именно я, как никто другой, над священной этой песней по недомыслию издевался и даже пародию на нее сочинил. И если примут этот закон, то кому, как не мне, первому, согласно его букве и духу, держать путь на нары? Понятно, я сильно забеспокоился и позвонил знакомому адвокату с вопросом, сколько мне залепят годов и нельзя ли как-нибудь откупиться. Он говорит: откупиться нельзя, поскольку теперь большая борьба с коррупцией, но и волноваться допрежь времени не спешите, поскольку совершил ты свое преступление на стадии обсуждения и до вступления в законную силу. Тут я немного успокоился, но прошу разъяснить на дальнейшее: а что считается надругательством над гимном и каким образом можно его совершить? Насчет флага и герба — это понятно. Флаг можно сжечь, разорвать, затоптать, облить серной кислотой или зловонной жижей, с гер-

бом еще проще разделаться, расколов, допустим, его молотком, а с гимном-то что? Посадят ли меня в тюрьму, если, распевая столь прекрасную песню, я буду фальшивить и не так возьму ноту «ля»? И можно ли писать на текст пародию? Адвокат справился в Профильном комитете Госдумы (есть, оказывается, и такой, а коли так, должны быть еще комитеты Анфасный и Затылочный), и там ему разъяснили, что пародию писать можно, но без матерных слов, что, конечно, сильно ограничивает возможности пародиста. А надругательство может состоять в невставании, в пении гимна в нетрезвом виде, а также при исполнении стриптиза и в казино (но не сказано, можно ли петь его, допустим, в туалете). Тут я понял не все. Ясно, что вставать при гимне обязательно всем (за исключением парализованных и инвалидов, имеющих справку о неимении ног). Но почему петь нельзя выпивши, то есть как раз тогда, когда петь хочется больше всего? Может, не совсем запрещать, а ограничить количеством выпитого? Предположим, ввести для подобных певцов норму, как на Западе для водителей, и разрешить пение гимна тому, кто выпил не более кружки пива и прошел проверку медэкспертизой. Или пусть поет в любом состоянии, лишь бы при этом не падал и не пел, скажем, из-под забора. Вообще стоит еще потрудиться, чтобы дать более четкое определение понятию «надругательство над гимном» и составить полный список возможных способов его совершения. Это задача серьезная, но наши законодатели постараются и сделают все, чтобы себя, государство и его символы выставить на посмешище. То есть совершить надругательство.

№ 223, 01.12.01

Еженедельные колонки в «Новых Известиях»

| МОЕ НОУ-ХАУ

В последние дни много чего случилось, но более прочего наша публика взбудоражена операцией «Чистые руки». В расставленные сети попались высокие чины МВД,

пограничной службы и генерал, начальник собственной безопасности МЧС. Опрошенный на улицах электорат данное событие в целом одобрил (мы любим, когда сажают начальство, в этом смысле наиболее радостным был год 1937-й), но массово склонился к мнению, что акция носит ограниченный характер и представляет собой лишь предвыборный пиар. Если это так, то выборы следует проводить не пореже, как считают некоторые, а, наоборот, почаще. Чтобы желающие стать слугами народа услужали ему не рывками раз в четыре года, а постоянно. Вынужденные в таких случаях расходы можно компенсировать за счет вытекающих отсюда же конфискации имущества. Через которые казна наша имеет шанс сильно обогатиться.

Если вы сядете в вертолет и облетите ближайшее Подмосковье, то вашему взору откроется бесчисленное количество краснокирпичных и каменных образцов причудливой архитектурной фантазии с прилегающими бассейнами, теннисными кортами, конюшнями, гаражами и прочими строениями, и цена каждого комплекса исчисляется семизначными числами в ненашей валюте. Эти сооружения принадлежат не только капитанам новорусского бизнеса, ворочающим миллионами на законных (может быть) основаниях, но и государственным служащим, существующим якобы исключительно на зарплату. Живут они здесь, ни от кого не скрываясь, и все вокруг знают, что эта вилла принадлежит заместителю градоначальника, эти хоромы префекту, этот дворец таможеннику, а тот особняк налоговому инспектору. Среди владельцев этой недвижимости заметное место занимают работники силовых ведомств, наблюдающие за исполнением законов в соображении, чего бы с этого поиметь. Они тоже до недавнего времени не боялись ни Бога, ни дьявола, ни прокурора, ни службы собственной безопасности.

Помнится, впервые услышав, что служба такая внутри внешних служб имеется, я себе сказал: это хорошо. Потом, впрочем, задумался. А что же, работники службы собственной безопасности разве не живые люди? Неужто смиренно перебиваются с хлеба на воду, пренебрегают Багамскими островами и не желают жить в особня-

ках природоохранных зон ближнего Подмосковья или дальнего зарубежья? Теперь я понял, что мои сомнения не были беспочвенными. Что даже и среди этих товарищей «кто-то иногда у нас порой честно жить не хочет». С чем, конечно, мириться нельзя. А посему стоит внутри каждой службы собственной безопасности завести другую такую же для контроля над первой, третью для контроля над второй, четвертую — над третьей, и чтобы называлось это приблизительно так: служба собственной безопасности службы собственной безопасности службы собственной безопасности и так далее до полного исчерпания людских резервов. Таким образом контроль над силовыми структурами будет усилен, занятость населения приблизится к ста процентам, а воровать работники служб безопасности, конечно, будут, но понемногу. Потому что помногу на всех не хватит.

04.07.03

| ДВЕРЕЙ-ТО МНОГО, НО ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

В Самаре есть бункер глубиной в двенадцать этажей. Построен во время большой войны для Сталина. На нижнем этаже зал заседаний и комната отдыха хозяина, который там никогда не бывал. В комнате несколько дверей, но все, кроме одной, фальшивые. У меня сейчас такое ощущение, что фальшивы все двери, предполагающие выход из чеченской войны. Конца ей не видать, потому что слишком много задетых, обиженных, жаждущих мести и имеющих свой интерес. От попыток слово «война» заменить приятными слуху эвфемизмами суть ее не меняется, а сама она грохочет уже в центре Москвы. Несмотря на референдум, Конституцию, амнистию, денежные вливания и грядущие выборы нового президента Чечни. Что будет после? Нетрудно предсказать: то же, что было до. Благоразумные люди призывают к переговорам с нынешним, условно еще легитимным Масхадовым. Условно, потому что понятие легитимный, то есть законный, после всех беззаконий с обеих сторон утратило смысл. На что способен Масхадов сегодня, если после Хасавюрта не мог предотвратить захваты за-

ложников, отрезание голов и вторжение отрядов Басаева — Хаттаба на территорию Дагестана? Если сейчас, как говорят, он осуждает, но не может остановить теракты против мирных людей, то вести переговоры с ним — все равно что со мной, я тоже осуждаю, но не могу. Стремиться к согласию с несговорчивыми (часто повторяемый совет) не так разумно, как кажется. Можно настроиться против себя тех, с кем уже договорились. А все же есть идея, к которой стоит прислушаться. Ее автор Ильяс Ахмадов, не к месту именуя себя министром иностранных дел республики Ичкерия. Для такого официального предложения должность его слишком мала, но как частного человека его можно выслушать. По его плану в Чечню надо ввести войска ООН и под их контролем установить временное правление. Впредь до образования там дееспособной собственной власти. В пример приводится Косово. Недостаток плана в том, что его предлагается осуществить без согласия России, как в Косове без Югославии. Это нереалистично. Россия все еще большая ядерная держава, и югославский сценарий к ней неприменим. Поэтому в поисках выхода можно обращаться в ООН, но Россию игнорировать глупо. А по сути предложение может быть интересным не только для нас, но и для других стран, борющихся с тем же злом. Но для нас в первую очередь. В Чечне войска ООН могли бы успешнее справиться с ситуацией, чем вызывающая страх и ненависть Российская армия. Отдав Чечню под международный контроль, можно оставить вопрос о статусе ее открытым (вернее, незакрытым) еще лет на 10—15. Пусть новые поколения вырастут, получают образование, научатся не только стрелять и взрывать себя вместе с другими, но и думать. И осознают, что быть независимыми они могут только в составе государства светского, демократического, уважающего внутри себя и вовне права человека и законы цивилизованного мира. А в самой России для многих было бы время дойти до мысли, что не стоит настаивать на удалении раковой опухоли на том основании, что она неотъемлемая часть нашего тела.

11.07.03

Федор Тютчев провел в Мюнхене лучшую часть своей жизни. Приехал в 19 лет, уехал 22 года спустя. Здесь дважды женился на немецких аристократках, увлекался не только ими, произвел на свет кучу детей и написал лучшие стихи, включая хрестоматийные «Зима недаром злится...» и «Люблю грозу в начале мая...». 15 июля в здешнем «Literatur Haus» (Доме литературы, а не литераторов) при заметном стечении народа было отмечено 130-летие со дня смерти поэта, а 23 ноября будет праздник по случаю двухсотого дня рождения. Приглашенный к участию в торжествах, я, естественно, перечитал Тютчева и устыдился, что долго, подобно другим собратьям по перу, относился к нему «с почтительной, — по выражению Александра Кушнера, — прохладцей». Хотя и раньше мог бы задуматься, почему Тютчева высоко ценили такие читатели, как Пушкин, Некрасов, Тургенев, Толстой, сказавший о нем: «Гениальный величавый дитя и старик». По свидетельству современников, Федор Иванович был человеком избалованным и безалаберным. Понимая, что в литературе чего-то стоит, к собственным сочинениям он относился без большого почтения, печататься не спешил, рукописи терял, а часть просто сжег. Не от отчаяния, как Гоголь, а по оплошности. Был не только поэтом, но дипломатом, философом, публицистом. Несправедливое, как ему виделось, отношение европейцев к России Тютчева сильно задевало, чувство протеста способствовало развитию его славянофильских настроений. К счастью, мировоззренческие пристрастия не победили в нем художника, не лишили ума и ироничного взгляда на жизнь.

Вникая в Тютчева, я, ходивший много лет спустя по тем же улицам, не мог не сопоставить его судьбу со своей и не вспомнить суждений, что талант литератора за границей непременно увядает, язык скудеет, а чувство родины теряется. Эти глупости Тютчев опроверг своими стихами, на качество которых география не влияла. И тут, и там писал он не много, но почти всегда ярко, кратко, афористично. Многие его строки, подобно гри-

боедовским, стали крылатыми. «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» «Мысль изреченная есть ложь...» «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» Ну, и знаменитое утверждение: «Умом Россию не понять...» Сегодня эти слова разными людьми толкуются по-разному, их вспоминают кто с гордостью, кто со смущением. Юз Алешковский откликнулся на них иронически: «Пора уже... мать, умом Россию понимать». Мать, положим, тут приплетена просто для рифмы, но со смыслом ответа я согласен. Пора уже и нам понимать Россию, и ей самой стать понятной. Иногда кажется, мы начали ее понимать, а ее вдруг опять трясет непонятное. Взять хоть последние события. ЮКОС, Дерипаска, Семья, Кремль, оборотни в погонах. Кто, кого, за что и почему сегодня, а не вчера? Переполох, падение акций, отток капиталов, неприток инвестиций. Журналисты, политологи, комментаторы, наши и посторонние, пытаются понять умом, что за этим стоит, кому это выгодно и с какой стороны. И опять выясняется, что умом этого не понять, а верить без ума все труднее.

18.07.03

| БАБУШКИНА ХИТРОСТЬ

Итак, группа деятелей культуры, в число которых затесался и я, в письме министру просвещения выразила беспокойство предстоящим изъятием из школьной программы произведений писателей, которые недавно были нехорошими, потом стали хорошими, а теперь никто не говорит, что плохие, но изучать их вроде не обязательно. Поэтому Платонова, Пастернака, Мандельштама, Ахматову и Шаламова намечено урезать или убрать, а классиков соцреализма втащить на привычные пьедесталы. Министр авторам письма объяснил, что они напрасно волнуются и прежде времени кричат: волки! волки! Ничего страшного не происходит, программу за счет одних в пользу других немного сократят с целью уменьшить нагрузку на голову школьника. Объяснение не показалось мне убедительным. Беречь голову школьника, конечно, стоит, но не до потери же в ней исторической

памяти. Потом я подумал, а не кроется ли за этим планом хитрый ход с целью возбуждения в школьниках реального читательского интереса. Который в последние годы резко упал. Чего мы вовсе не ожидали. Еще недавно мы думали, что наш самый лучший в мире читатель станет еще лучше, когда во исполнение надежд великих поэтов темницы рухнут и свобода нас примет радостно у входа. Тогда взойдет звезда пленительного счастья, а мужик не Блюхера и не милорда глупого, Шаламова с Платоновым с базара понесет. И вот темницы частично рухнули, звезда, как теперь говорят, как бы взошла, но воспетый авансом мужик понес с базара такое, что даже глупому милорду не снилось. Или ничего не понес, а уперся в телевизор и пропал в Интернете. Попытки просветить народ прежде запрещенной литературой имели успех кратковременный, и сегодня на вопрос, кто такой доктор Живаго, вам могут ответить, что это корабельный врач с парохода «Архипелаг ГУЛАГ». А ведь когда запрещенная литература была, люди, даже рискуя многим, интересовались ею в первую очередь. Помните байку про умную бабушку, которая, чтобы увлечь внука Толстым, перепечатала «Войну и мир» на машинке и выдала это за самиздат? Так не от бабушки ли идет идея программы, рассчитанной на то, что, если заменить в ней «Котлован» «Поднятой целиной», а «Реквием» «Песней о Буревестнике», школьник неизбежно потянется к тому, что ему не дают. Если так, предлагаю бабушкину программу поддержать и принять в облегченном виде. Оставив для приличия «Слово о полку Игореве» и «Песнь о вешем Олеге», добавить «Что делать?» Чернышевского, «Мать» Горького, «Цемент» Гладкова и статью В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Самого Толстого не надо. О нем достаточно сказал Ленин. А у него самого слишком много придаточных предложений (ученикам надо еще объяснять, что это такое). Что же до сочинителей, перечисленных в начале моих заметок, то их школьникам надо представить как писателей плохих, вредных, вообще даже неписателей, читать которых нельзя. Тогда школьники с уроков литературы сбегут, ри-

нутя в библиотеки, или к букинистам, или влезут в Интернет, и именно этих писателей будут читать с тем же волнением, с каким их читали мы.

25.07.03

| НАШЕ ИСКОННОЕ

Россия возвращается сама к себе. Что ни говорите, а с ее подлинной сутью советский режим совпадал не вполне. Он понуждал нас любить КПСС и ее вождей больше, чем маму и папу, запрещая при этом верить в Бога, иметь надел земли или лошадь, носить узкие брюки, читать «Доктора Живаго», ездить за границу, слушать Би-би-си и рассказывать анекдоты. Народ это терпел и даже хлопал в ладоши, но когда режим рухнул, кончину его не перенесли только министр Пуго и маршал Ахромеев. Народ же устремился к свободе, демократии и рыночным отношениям, воспринимая их по наивности как улучшенный вариант коммунизма. Тоталитарный строй сменился демократическим, западного образца. Оказалось, однако, что образец на нашей почве тоже не приживается. Не успела власть разделиться на три ветви, как две из них тут же затеяли спор, кто главнее. Спорили с применением пушек, процедуры импичмента и подключением третьей власти в лице Валерия Зорькина. Ельцин выстоял, но противников своих не преследовал, что было воспринято как достойная презрения слабость. Противники чуть ли не ноги о него вытирали, не рискуя ничем, но с видом героев, идущих в атаку под шквальным огнем. Авторитет главнокомандующего, неспособного дать по морде, рушился на глазах. Чему способствовали беспорядочный дележ власти и имущества, инфляция, обогащение одних, обнищание других, коррупция, война в Чечне, низкие цены на нефть и страх перед будущим. В сознании масс понятие «демократия» соединилось знаком равенства со словом «бардак». Росло желание крепкой руки. Тех, кто хотел бы видеть Россию страной в полном смысле слова демократической, у нас еще немало (я один из них), но число думающих, что эта цель в ближайшие лет сто достижи-

ма, тает на глазах (в списке этого меньшинства меня уже нет). Активные носители разных идей толкают страну в разные стороны, но перевес за желающими знать, кто в доме хозяин. Когда хозяин появился, все поняли (некоторые не сразу), что об этого ноги не вытрешь. Под его руководством жизнь понемногу налаживается. Тем более что нефть подорожала, а инфляция снизилась.

Общество хозяина в целом одобряет, поэты посвящают ему панегирики, художники пишут его портреты, идущие вместе идут вместе и тянут за собою других. Пока не насильно. Но разделение властей становится все более призрачным. Не далее как на этой неделе президент, по сообщению прессы, вызывал к себе председателя Верховного суда и давал ему указания. При разделении властей скорее верховный судья может вызвать к себе президента. Другая властная ветвь тоже пересыхает. Совет Федерации существует неизвестно для чего (этого не знает даже Сергей Миронов), а нижняя палата, недавно бывшая шумным базаром, уже превратилась в подчиненный Кремлю орган вроде департамента, который не вырабатывает законы, а обрабатывает. После грядущих выборов Дума, вероятно, в данном качестве еще больше застынет. Предвыборная рубка будет, без сомнения, жаркой, но с доступным предсказанию результатом. Партии-фавориты выглядят как близнецы-братья. Черномырдин верно заметил, что, какую партию ни строй, получается КПСС. Избиратель эти КПСС одну от другой не отличает, но политтехнологи его сориентируют. Так что демократия получилась своеобразная, приспособленная к нашему климату. Но свободы у нас достаточно. Сегодня человек без лишних амбиций может молиться любому богу, торговать, ходить в брюках желательной ширины, завести, если хватит денег, хоть табун лошадей, читать про доктора, ездить за рубеж, писать заумные стихи или абстрактные картины и даже твердить, что у нас нет никакой свободы. А что касается таких особенностей нашей жизни, как чудовищная коррупция, чиновпочитание, казнокрадство и лизоблюдство, так тут никуда не денешься, это ж наше исконное.

07.08.03

В понедельник мне позвонил давний знакомый и радостно сообщил, что Замоскворецкий суд оставил без наказания двух молодцов, которые в январе громили выставку «Осторожно, религия» в Центре имени Сахарова. «Мы выиграли, — кричал он в трубку. — Правда победила». Кажется, он не понял, что суд не оправдал погромщиков, а нашел, что дело возбуждено с процессуальными нарушениями. Когда его же возбуждают правильно, тогда может быть другой приговор. Чем позвонивший готов заранее возмутиться. Он считает, что выставка оскорбила его религиозные чувства и погромщики достойны не наказания, а восхищения. Интересно, что думал он так не всегда. Когда-то, будучи членом ВЛКСМ, а потом молодым коммунистом, он активно боролся с религией. Уверял, что Бога нет, это установлено наукой, а он может доказать это на практике. «Вот сейчас плюну в небо, — говорил он, — и никакого наказания мне не будет». И действительно плевал. И точно — немедленной кары не было. Хляби небесные не разверзались, молнии не сверкали, гром не ударял. «Ну и что ты скажешь?» — спрашивал он меня. «Скажу, — отвечал я, — что если ты плюешь на Бога, то ему на тебя тем более наплевать. Нечего ему больше делать, как трать небесное электричество на всякого дурака». Неисповедимы пути господни, но и человеческие исповедимы не очень. Возможно, Всевышний потому не казал свою силу, что провидел благие перемены, которые превратят богохульника в шибко религиозную личность. Но сам бывший безбожник, каким он был, таким остался. Ныне защищает погромщиков с той же страстью, с какой раньше оправдывал большевиков (в частности, своего папу, комиссара), громивших церкви с целью грабежа и во имя торжества научного мировоззрения. Эволюция банальная. Еще недавно миллионы таких, как он, вступая в КПСС, торжественно клялись бескомпромиссно бороться с опиумом для народа. Теперь многие из них надели на шею кресты. Иные при этом так и остались большевиками. Потому что большевизм как спо-

соб самовыражения легко совмещается с любым мировоззрением, псевдонаучным и якобы религиозным. Он может быть характерен для сидящих на собрании, стоящих в церкви и идущих вместе. Для антиглобалистов, оголтелых исламистов, иудаистов и прочих мракобесов, утверждающих свою правоту через насилие. Между прочим, верующим людям хорошо бы знать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А Центр Сахарова — это как раз и есть чужой монастырь для нарушителей прав верующих и неверующих. Если здесь вам что-то не по душе, пожмите плечами и идите домой. А чувствуя себя оскорбленным, обращайтесь в прокуратуру, в милицию или непосредственно к Богу. Пусть он покарает хулителей веры. Но самосуд — дело уж точно безбожное. И не надо кричать: уважайте наши чувства! Тогда уважайте и чувства людей другой религии или вообще никакой. Свобода совести предполагает, что мы все равны перед Законом. А может, и перед Богом, ведь он, как известно, судит не по словам.

Я в Интернете нашел речь священника, который в преддверии несостоявшегося суда объявил, что религия у нас подвергается сегодня гонениям, как при Троцком и Вышинском (о Ленине и Сталине батюшка не слышал). Это, конечно, демагогия и вранье. У нашего нынешнего государства есть недостатки, ряд которых я готов перечислить, но гонений на православную веру сейчас, ей-Богу же, нет. Церкви открыты, прихожане молятся, священники крестят, венчают, причащают, отпевают и святыя что придется. Воду, куличи, автомашины, домашнюю утварь и живность. Патриарх читает проповеди в главных храмах, а митрополит Кирилл — телезвезда. Да и президент наш, будучи христианином и гарантом Конституции, гонений на веру никогда не допустит. А что касается оскорбленного в своих чувствах вандала, который громит выставки или Макдональдсы или переворачивает надгробные плиты, то он, как вор, во что бы ни верил, должен сидеть в тюрьме. Отныне и пришло. Не вовеки веков, а на срок, определенный судом. Аминь.

15.08.03

В те дни я в Москве не был. Незадолго до того, сидя в деревне под Мюнхеном, я получил приглашение свидеться с Родиной и принять участие в конгрессе соотечественников. Открытие было назначено в аккурат на 19 августа 1991 года. Мне обещали хорошую гостиницу, кормежку, экскурсии, заседания, молебны, прогулки на теплоходе, посещение Дворянского собрания и показательные выступления казачьей сотни. Приглашение было написано в развязной манере, а главное скромно излагалось в конце. За честь участия я должен был заплатить, кажется, триста долларов, а молебны, речной каботаж, казачьи скачки и общение с неодворянами предлагались за дополнительную плату с переводом в офшорное отделение чеширского банка (где собранные денежки впоследствии и пропали). Прожив к тому времени десять лет на Западе, я знал, что английское слово offshore означает удаление от берега, но смутно представлял себе, какие вдали от берега могут быть банки. Не знаю, как других кандидатов в конгрессмены, а меня приглашение рассердило. Я Родину любил, как мать, а не даму легкого поведения, и платить сутенерам за свидание с ней не собирался. И отправился к другим берегам по приглашению американского колледжа Гаучер под Балтимором. Где сообщение о путче меня и застало. Так что мне пришлось волноваться за исход событий, находясь от них далеко. Но по телевизору я все-таки главное видел. Баррикады, танки, Ельцина на танке и незабываемую картину: кран, отрывающий от пьедестала Железного Феликса. Когда статуя, лишившись опоры, зависла в воздухе, мне (и, конечно, не только мне) показалось, что само зло вырвано из тела России с корнем и теперь выздоровление ее неизбежно. Восставший народ ликовал. Проигравшие битву рыдали. Их время кончилось, возврата к прошлому нет... Увы, история движется зигзагообразно. Со временем выяснилось, что одни радовались своей победе чрезмерно, а другие зря впадали в отчаяние. Пройдя через некоторые неприятности, они перегруппировались и после второй попытки 93-го года без всяких путчей, а путем просачивания

сквозь щели опять заняли привычные места на всех уровнях. И так приспособились к новым условиям, а условия приспособили к себе, что власть их все больше становится похожа на советскую. Те же рычаги, блаты, кумовство, воровство, словесный патриотизм, чиновничество и концерты для них эстрадных артистов. А для того чтоб себя уважать, они воображают, что всегда честно служили великому государству. Непонятно только, если честно служили тому, как же служите этому, идущему в противоположную сторону? Нет ли в таком представлении о себе чего-то шизофренического? И у сообщества людей, называемого народом, тоже в голове как-то все перепуталось. Двенадцать лет назад в революционном порыве народ сверг опостылевший режим и свалил его железного идола.

А теперь время прошло, пыль улеглась, жизнь как-то наладилась, прошлое кажется не таким уж плохим, а злодеи не такими ужасными. Тот же Дзержинский, оказывается, врагов уничтожал беспощадно, но очень заботился об осиротевших детишках. Да и площадь бывшая его имени без него выглядит сиротливо. Идея депутата Харитоновна вернуть Дзержинского на прежнее место несколько лет назад казалась просто смешной. Потом, при поддержке Лужкова, она стала выглядеть более реалистической. Не одобренная высшей властью, она на время заглохла. Но если завтра памятник все же поставят, что будет? А ничего. Ну, скажем, какая-то часть интеллигенции подпишет петицию против. А другая часть поставит подписи за. Ну, выйдут на площадь пять-шесть диссидентов с плакатами. Привлекут внимание десятка прохожих. И ничего им за это (не 68-й год) не будет. Даже по телику мельком покажут. Они постоят и разойдутся. А он, железный, останется. Может быть, надолго. Но не думаю, что навсегда.

22.08.03

| КОРРУПЦИЯ — МАТЬ БЕСПОРЯДКА

Говорят, 85% российских чиновников коррумпированы. Боюсь, цифра занижена процентов так на 15. Если представить, что в каком-то учреждении из 20 чело-

век взятки берут 17, то как могут они ужиться с тремя остальными? Никак. Семнадцать троих так или иначе выживут и по-своему правильно сделают. Какому жулику охота сидеть рядом с нежуликом, который, если честный, значит, принципиальный, значит, может наступать или жалить укоризненным взглядом? Мой знакомый уезжал от меня в сильном подпитии. Я спросил: «А вы не боитесь, что вас остановят?» Он сказал: «В этом случае меня выручит Бенджамин Франклин». И показал стодолларовую купюру с портретом изобретателя громотовода. «А что, если милиционер не возьмет?» — «Мне такие за тридцать лет за рулем ни разу не попадались».

Я езжу дольше и утверждаю, что в начале шестидесятых годов не бравшие взяток гаишники еще встречались, но с тех пор, кажется, полностью вымерли, как птеродактили. Сейчас, как говорил мне знаток этого дела, взятки не берут только те, кому их не дают. В газетах и по ТВ было много разоблачений того, другого, третьего. Приводились факты, фотографии, цифры.

Назывались громкие фамилии. И что потом? Ничего. Но должно же быть что-нибудь тому, про кого пишут, если пишут правду, или тому, кто врет, если врет. Видать, в прокуратуре и прочих органах сидят неграмотные и слепые, газет не читают, телевизор не смотрят, а борьбу ведут выборочную, с побочной подоплекой.

Когда хватают олигархов, хоть Гусинского, хоть Ходорковского, ясно, что вменяют в вину одно, а имеют в виду другое. Обратни — подполковники, полковники и даже эмчезовский генерал — это не крупная рыбешка в большом пиаровском неводе. Рыба крупнее на меченую купюру не клюнет. Лет двадцать тому назад в Мюнхене я знал одного тамошнего банкира. Будучи наивным во всем, кроме финансов, он представлял себе, что советские люди — это сплошь фанатики, до мозга костей преданные делу коммунизма и мировой революции. Но однажды его банк вел переговоры о многомиллионной сделке с советским министром. Министр, к удивлению банкира, оказался с некоммунистическими замашками.

Потребовал лучший номер в лучшей гостинице, и чтоб утром к подъезду обязательно «Мерседес», и обязательно черный. А когда дошло до подписания выгодного немцам контракта, поставил условие: ему два процента на счет в швейцарском банке. «Айн нормалер менш (нормальный человек)!» — восклицал изумленный банкир. «Не нормалер менш, — сказал я, — а нормальный преступник. И вы преступник, если идете на подобные сделки». — «Я — нет», — не согласился банкир и объяснил мне, что по немецким законам в отношениях с некоторыми государствами давать взятки можно, а брать нет.

Но я не о немецких законах, а о нашенских нравах. Многие оправдывают коррупцию низкими зарплатами. Но достаточных жалований, видимо, ни у кого не бывает, кроме учителей и музейных работников. Как-то по телевизору известный политик, говоря о коррупции, упоминал каких-то министров. «А премьер-министр?» — спросили его. Политик пожал плечами. «Разве может премьер-министр жить на зарплату в пятьсот долларов?»

Коррупция превращает нашу жизнь в хаос, в игру без правил, но общество относится к ней беспечно. Большого вора у нас почитают, если ворует, но дело делает. Меня образованный и либеральных взглядов знакомый уверял, что коррупция в наших условиях дело полезное, она компенсирует несовершенство законов. Ему удалось за взятку отмазать сына от армии (за него пошел неотмазанный). А кому-то удалось добыть фальшивую справку, устроиться на теплое место, обменять шило на мыло и получить госзаказ на мыльные пузыри. Но одному террористу удалось купить у своих врагов мину, другому доставить ее в Москву, суя по пути сторублевки дорожной милиции, третьему дать бутылку охраннику, чтобы он отвернулся, пока четвертый эту мину заложит. В чем басни сей мораль — разжевывать не буду.

29.08.03

Ну, вот и начинается предвыборная борьба. Или что-то вроде кикбоксинга. Или даже боев без правил. С подножками и подсечками, из-за угла, ниже пояса, в ухо, в пах и под дых. Чем нас наше телевидение, вероятно, скоро начнет развлекать. Даже если войн, терактов, падений, затоплений и стихийных катаклизмов будет, дай бог, нехватка, так нам дефицит острых ощущений предвыборные схватки с лихвой возместят. За выделенные казной 3,5 миллиарда рублей увидим много интересного, Гарантом чего является Александр Вешняков, давеча пообещавший, что осень скучной не будет. Хотя, с другой стороны, под его же руководством те же соперники дали вроде бы слово вести себя корректно, перед дверью в Думу не отпихивать друг друга, а церемонно топтаться, по примеру Чичикова с Маниловым: «Сделайте милость, Геннадий Андреевич, не беспокойтесь так для меня, я пройду после». — «Нет уж, извините, Владимир Вольфович, не допущу пройти сзади такому приятному образованному мужчине». Ну, конечно, это у меня такие фантазии романтические. Все хочется, чтобы в Думу пришли люди умные, образованные, воспитанные и даже, страшно сказать, деликатные. И, разумеется, честные. Чтобы прямо уже во время кампании каждый кандидат электорату своему честно объявил, ради какой личной выгоды стремится завладеть кабинетом в Охотном ряду, на какие рассчитывает зарплаты по ведомости и доплаты в конверте, каких ожидает поблажек и привилегий и от каких неприятностей надеется отгородиться депутатской неприкосновенностью. Увы, мы этого не дождемся. Честность нашим избранныкам, конечно, присуща, но не до такой же степени. Так что бои будут все-таки жаркие. К сожалению, не такие красочные, как во времена, когда царил на телеэкране Сергей Доренко. Теперь его нет, а кроме него, кто ж нам покажет искусственный сустав Примакова, испанские владения Гусинского, пасеки Лужкова и конюшни его жены? Никто. Да, может, и незачем. Потому что главная борьба идет под ковром, а на ковре это только види-

мость, как в гамбургском цирке. Что же касается электората, то наш гражданский долг — в декабре явиться и принять участие, поставив галочку в любой клеточке избирательного бюллетеня. А результат получится заранее определенный, как в карточном фокусе «наука умеет много гитик».

Я слышал мнение, что выборы проводить надо пореже, потому что они слишком обременительны для госбюджета. Согласен, нагрузка на бюджет большая и, чем дальше, тем более бесполезная. Так почему бы не сделать процедуру пореже и попроще, как в советские времена? Когда придешь на участок, возьмешь бюллетень, а в нем предложение: одну фамилию оставить, а остальные вычеркнуть. При этом те, кого вычеркнуть, не указаны, а тот, кого оставить, он там один. Удобно, однако. Бумажку вдвое сложил, в щелочку опустил и имеешь шанс приобрести полкило сосисок в целлофане по девяносто копеек. Но поскольку сосисками нас теперь не заманишь, не лучше ли решить вопрос радикально, по совету Егора Шугаева, депутата Среднерусской возвышенности? Сочиненный Сергеем Юшенковым сатирический персонаж давно имел идею сделать депутатство наследственным. И Окуджава призывал дать рвущемуся к власти навластвовать всласть. А всласть — это не меньше, чем до самой смерти. Так давайте выберем их раз и навсегда, а Думу из государственной переименуем в боярскую (если функционеры Совета Федерации называются у нас сенаторами, то почему бы этим не именоваться боярами?). И пусть властвуют без всяких выборов. Тем более что от выборов к выборам они у нас все хуже и хуже.

05.09.03

| НЕ ТАМ РОДИЛАСЬ

Кажется, ни один телеканал или печатный орган, включая «НИ», не прошли мимо смерти Лени Рифеншталь, легендарной немки, скончавшейся на сто втором году жизни в деревне Пёкинг под Мюнхеном. Жизнь ее была долгой, а судьба удивительной, полной приключе-

ний и драматизма. Напомню. Балерина, актриса, режиссер документального кино. В начале тридцатых годов, будучи молодой женщиной, увидела Гитлера, пришла в восторг, предложила свои услуги (профессиональные, разумеется). Фюрер, которому она очень нравилась, разрешил ей снимать где бы то ни было его самого, его окружение и все, что она пожелает. В 1934 году ей были предоставлены исключительные условия для съемок фильма о съезде нацистской партии в Нюрнберге. Съезд проходил с небывалым размахом, съемки — тоже. Около сорока операторов по ее заданию снимали грандиозное шоу со всех возможных и невозможных точек, включая крыши, деревья, фонарные столбы и дирижабли. Фильм «Триумф воли» с Гитлером, выступающим перед огромными толпами восторженных сограждан, стал и ее триумфом. Картина произвела столь сильное впечатление, что тысячи немцев пожелали вступить в нацистскую партию, а такие диктаторы, как Франко, Муссолини и даже сам Сталин, по слухам, добивались, но не удостоились чести быть снятыми ею. Следующим ее шедевром был фильм об Олимпиаде 1936 года в Германии «Олимпия», отнесенный к десятке лучших фильмов всех времен и народов. А ее саму журнал «Тайм» впоследствии вставит в список 100 деятелей искусства 20-го века, чьи произведения повлияли на ход истории.

Пока существовал нацистский режим, все у нее шло замечательно. Она была любимицей (но не любовницей) Гитлера, была вхожа к нему как друг дома. Ей доверяли снимать самые важные события в жизни страны. «Триумф воли» стал классикой Третьего рейха, а «Олимпия» считалась гимном национал-социализму. Но в 1945 году режим рухнул, и в Германии по решению Берлинской конференции глав союзных держав начался процесс денацификации, согласно коему, как было объявлено, «все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с общественных или полуофициальных должностей и с ответственных постов в частных предприятиях». Вот и она, обвиненная в активном сотрудничестве с нацистами, была удалена от возмож-

ности заниматься любимым делом. Ее фильмы были запрещены, а сама она подвергалась преследованиям, сидела в тюрьме и лежала в психбольнице. Она оправдывалась, говоря, что к преступлениям режима отношения не имела, сама в партии не состояла, была сторонницей чистого искусства, нацистские торжества привлекали ее только эстетически, и «Олимпия» была гимном не нацизму, а красоте человеческого тела. Объяснения мало ей помогали. Будь она бездарной, о ней могли бы и забыть, но черт (перефразируем Пушкина) догадал ее родиться с талантом не в то время и не в том месте.

Родись она не в Берлине, а в Москве, продолжение карьеры ее могло быть столь же успешным, что и начало, потому что старые гимны у нас не отменяют, а в худшем случае переписывают. У нас она могла бы снимать то же, что в Германии: парады, демонстрации, спартакиады, съезды, процессы тридцатых годов и красоту человеческих лиц, воодушевленно скандировавших: «Сталин-Сталин!» или: «Расстрел-расстрел!» А «Олимпия» 1980 года могла бы стать гимном социализму. Или дружбе народов. Никто не помешал бы ей потом перестроиться и снимать митинги с криками «Ельцин-Ельцин!». А сейчас какая-нибудь из ведущих партий заказала бы ей свой рекламный ролик и могла бы очень рассчитывать на победу. У нас ей не пришлось бы сожалеть о прошлом, оправдываться и говорить о чистом искусстве. На сколькие вопросы она могла бы отвечать гордо, что всегда служила своему государству, каким бы оно ни было. И готова так же верно служить тому, которое есть или которое будет. Зиг хайль!

12.09.03

| УСТАМИ ДИКТОРА

— Устами диктора глаголет ложь! — услышал я в восьмидесятом году от вагонного попутчика, прослушав с ним вместе радиопередачу о том, как советские воины-интернационалисты помогают афганским дехканам собирать урожай. Я вспомнил эту фразу на днях, когда смотрел телефильм о Юрии Левитане и его судьбе. Мо-

лодым человеком он приехал из Владимира в Москву, хотел учиться на артиста, не получилось, устроился диктором. К делу относился серьезно, работал над собой, избавлялся от оканья, вообще совершенствовал дикцию и т.д. Человеком был дисциплинированным, скромным и добрым, всегда готовым кому-то в чем-то помочь. Разумеется, в фильме было сказано много хорошего о его неповторимом голосе и воздействии читавшихся им текстов на умы и сердца миллионов людей. Но государство, как водится, оказалось к нему неблагодарно. Звание народного артиста СССР он получил только в 66 лет, а потом его и вовсе обидели, когда не дали прочесть сообщение о смерти товарища Брежнева (небось было много желающих). Эта обида так подкосила его здоровье, что он несколько месяцев спустя и сам умер. Умер во время встречи с ветеранами, отмечавшими сорокалетие Курской битвы, и факт этот подается с таким пафосом, как если бы он сам в этой битве участвовал и на ней же погиб. Наше государство в прежнем его образе и в теперешнем виде имеет свойство обижать всех. Обиды несоразмерные, но переживаются болезненно каждым. У кого дедушку расстреляли, кто сам полжизни сидел, кому квартиру не дали, кого орденом обошли, в чине понизили, за границу не выпускали или не впускали обратно. Особенно на государство обижаются те, кто ему как будто наиболее верно служил. Среди последних выделяются дикторы советского радио и телевидения. Они по ТВ нам часто рассказывают о своем прошлом, в котором было много хорошего. Тогда эфир вели настоящие профессионалы. Они обладали хорошей дикцией, не заикались, не шепелявили, не путались в склонениях и спряжениях и ударения ставили правильно. За что им, конечно, честь и хвала. У меня нет желания подвергнуть сомнению человеческие достоинства любого из них, но вряд ли стоит представлять их публике героями, как когда-то покорителей космоса или полярников. Они, может быть, честно работали, но сама их работа честной не была. Они порой говорят, что не могли отклоняться от текста, но выражали свое отношение к нему интонационно. В некоторых случаях это, может быть, правда. На-

верное, когда Левитан читал сводки Информбюро или приказы Верховного главнокомандующего об освобождении Киева или взятии Берлина, его торжествующий тон совпадал с его внутренним состоянием. Однако он же озвучивал не только победные реляции военного времени, но еще всякие вести с полей, строек коммунизма и съездов КПСС. А поскольку он работал на радио пятьдесят лет, от Сталина до Андропова, то вряд ли не участвовал в передачах о судах над врагами народа, о братской помощи Советской армии разным народам, о литературных успехах писателя Брежнева. И что же он в этих случаях выражал интонацией? Конечно, быть диктором в советское время было очень небезопасно. Можно было остаться без работы, а при Сталине и без головы за малейшую оговорку по радио или опечатку в газете. Мне рассказывали о редакторе газеты, покончившем с собой в конце войны в Запорожье. Однажды утром, начав просмотр свежего номера с очередного приказа Верховного Главнокомандующего, он увидел, что в слове «главнокомандующий» пропущена буква «л», и немедленно застрелился. То же могло случиться и с диктором. Короче говоря, я ничего не имею против Левитана и любого другого советского диктора, но думаю, что их работу романтизировать не стоит. Как и само то прошлое, которое романтизируют они сами и их биографы. Некоторые из них, возможно, были люди в быту правдивые, но государство платило им зарплату и присваивало почетные звания за произносимую без ошибок и хорошо поставленным голосом ложь.

19.09.03

| ПОКА НЕ ШТРАФУЮТ

Вот говорят, сатирикам уже делать нечего. Как имеющий отношение к данной профессии, могу подтвердить: определенные трудности в этой области есть, но не дефицит материала тому виной, а конкуренция, которую профессионалам жанра составляют представители класса VIP. Наши губернаторы, градоначальники и думские заседатели иной раз такое сморозят, что Гоголь

с Щедриным, будь они живы, лопнули бы от зависти. А теперь и предизбиркома отличился, поддержав идею штрафов для лиц, уклоняющихся от участия в выборах. Это уже ближе к идеям Козьмы Пруtkова. Кто-то как-то заметил, что худшие правительства создаются лучшими гражданами, которые не ходят на выборы. Эту же мысль Александр Вешняков выразил соображением, что людьми, которые дисциплинированно ходят на все голосования, власть формируется однобоко. Такого допускать нельзя, и поэтому недисциплинированных стоит привлекать к избирательным урнам через штрафы. Идея, как говорится, богатая, но заслуживает дальнейшей разработки. Возникает вопрос: если уж штрафовать, то кого, как и насколько? Штраф, я думаю, нужно назначить внушительный и увеличиваемый в случае рецидива. Не явился, скажем, первый раз — штраф. Не пришел второй раз — двойная сумма. Третий раз сумму утроить, а самого оштрафованного подвергнуть принудительному приводу к месту свободного волеизъявления. А для самых упертых создать штрафные роты. При этом дисциплинированных граждан в пример недисциплинированным следует награждать подарками, грамотами или даже медалью «Дисциплинированный избиратель». Но есть опасение, что и при таких мерах власть может формироваться все еще как-нибудь однобоковато. Ведь наш послесоветский электорат еще молод и разумно распоряжаться избирательным правом покуда не научился. Кроме части, осознанно поддерживающей с одного бока две правые партии и с другого одну левую, большинство голосующих потеряло ориентиры и не знает, чем «Единая Россия» отличается от «Партии жизни», от Народной партии и всех прочих, объявивших поддержку президента как отдельную высшую цель. Да и сами партийцы тоже того не знают, тем более что во младенчестве все сосали одну мамку — КПСС, и с молоком ее всосали одну и ту же идеологию, которая, потеряв прилагательное «коммунистическая», по сути не изменилась и предполагает, что государство превыше всего, а превыше государства превысший начальник.

О благосостоянии народа они на словах пекутся, но

права личности считают пустяком, с которым приходится иногда считаться в угоду европейским причудам. О том, что они все те же, свидетельствует и старая песня, новых слов которой они до сих пор не вызубрили, но с видимым усердием разевают рты «под фанеру». Не видя различий между программами, партиями и отдельными кандидатами, избиратель замечает, однако, что, как ни голосуй, а в думах, мэриях и губернаторствах заседают все те же лица, иногда лишь меняя кресла одно на другое. Поэтому избиратель уходит в пассив и машет рукой: провалитесь вы, мол, со своими выборами, лучше я воскресный день проведу на грядке или на лыжах. А еще пассивней он становится, когда ему заранее все распишут и наиболее удобного власти кандидата настоятельно порекомендуют, а менее удобного на всякий случай снимут с предвыборной гонки, предложив в утешение иное хлебное (или рыбное) место. В таких условиях послушное большинство придет и проголосует как надо. А меньшинство задумается. Если ему вообще не оставлены шансы влиять на формирование власти, которую он готов уважать, стоит ли вообще участвовать в этой игре? Чтобы обеспечить кворум и тем самым легитимизировать чужой выбор? Чтобы в страхе перед одной односторонностью укреплять другую (не видя между боками большой разницы). Да ну вас! — опять-таки скажет он. И я лично с ним, может быть, соглашусь, пока за это еще не штрафуют.

26.09.03

| ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ...

Если бы я до сих пор не слышал постоянно и без кавычек вздор про расстрел парламента и даже расстрел российской демократии, я не стал бы писать эту статью. Но пишу и повторяю вопрос, задававшийся многими, помимо меня: что же это за расстрел парламента, если ни один парламентарий не получил и царапины? И что за демократию представляли собой Хасбулатов, Руцкой, Макашов, Баркашов, Анпилов? Тем не менее вот уже десять лет слово «расстрел» повторяют не только те, кто

физически или мысленно стоял за перечисленных мной персонажей, но и люди противоположного лагеря, которые могли бы себе представить, что было бы, если бы...

Во-первых, что было бы, если бы свет, водопровод и канализация в Белом доме, отключенные по приказу из Кремля, не работали еще несколько дней? Некоторые не к месту пылкие защитники прав, наши и иностранные, тогда возмущались, что, мол, за метод? И — фи! — как нецивилизованно. Метод, конечно, был цивилизованный не шибко, но все-таки гуманнее, чем стрельба. Была возможность одолеть мятежников простой осадой, покуда не потонут кое в чем или не запросятся во двор с поднятыми руками. Вони было бы, конечно, еще больше, но отмыть здание было бы все же легче, чем после орудийных ударов.

Во-вторых, что было бы, если бы Егор Гайдар (по совету Сергея Юшенкова) в час мужества (по Ахматовой) не призвал москвичей к сопротивлению и оно не было бы оказано?

В-третьих, что было бы, если бы летчики, к которым в припадке безумия обращался по радио самозванец Руцкой, послушались бы его и сбросили бомбы на Кремль? Интересно, как это потом было бы названо?

В-четвертых, что было бы, если бы в России в результате путча установился режим, возглавляемый бунтовщиками и особенно Альбертом Макашовым? Этот в жажде власти при первой возможности товарищей по путчу бы слопал, а сторонников цивилизованных методов вполне мог бы повесить на фонарях. А что было бы со всей Россией, если бы осуществились бредовые надежды генерала, который и через пять лет после путча говорил (цитирую): «Цель нашего будущего сражения — восстановление великого государства Российского от Бреста до Курил, от острова Медвежий до Кушки во главе с русским народом...» Сколько на пути к этой цели, после 1991 года совершенно недостижимой, было бы пролито крови?

Слава богу, главари бунтовщиков были, как сказал бы Паниковский, жалкие ничтожные люди. Своих рядовых сторонников они, как только запахло жареным,

предали, и потом я не слышал, чтоб вспоминали. Генерал Макашов, возглавив штурм Останкина, в решительную минуту с поля боя трусливо бежал. Герой Советского Союза Руцкой, не увидев пикирующих на Кремль бомбардировщиков, впал в истерику и просил по радио друга Валеру (Зорькина) привлечь к его спасению иностранных послов. Хасбулатов в тюрьме хватал за пиджак генпрокурора Казанника, умоляя «как профессор профессора» выпустить его, несчастного, на волю.

Если бы победители были такими же, как побежденные, то слово «расстрел» обрело бы реальный смысл. Но слово прозвучало иное: «амнистия». В стране, где еще совсем недавно людей сажали за прочитанную книжку или рассказанный анекдот, поднявших вооруженное восстание не только освободили, но даже генеральских званий никого не лишили (а стоило бы). Амнистированным позволили вернуться к теплым местам, и все они живут лучше, чем хорошо.

Но до сих пор ходят слухи, намеренно раздуваемые, о тысячах расстрелянных во время путча и тайно где-то закопанных. На самом деле известна цифра погибших (может быть, не совсем точная) — 123. Раненых было побольше. Часть погибших была одурачена и погублена своими предводителями, другая часть сложилась из любопытных, которые влезли в заваруху, думая, что это кино.

В общем десять лет назад беда, нависшая над Россией, как-то ее миновала. Но если бы тогда победили путчисты, мы сейчас жили бы в другой стране. Или страны бы не было. Или бы мы не жили.

03.10.03

| ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ

Помнится, по Москве, начиная года примерно с восьмидесятого, усиленно распространялась приятная слуху легенда о личности тогдашнего председателя КГБ и члена Политбюро ЦК КПСС Юрия Андропова. Придешь, бывало, в какой-нибудь гостеприимный дом, а там среди прочих находится кто-нибудь, у кого знако-

мый знакомого работал с Андроповым, близко знает его и может рассказать о нем много хорошего. Что он не такое мурло и маразматик, как остальные члены партийной верхушки, а человек умный, интеллигентный, образованный (подчиненные называют его профессором), скромный, ранимый, непьющий и плюс ко всему либерал. Да, как посол СССР в Будапеште, он сыграл определенную роль в подавлении венгерского восстания 1956 года, но сам тяжело переживал случившееся, а жена его и вовсе тронулась умом, после чего постоянно наблюдается у психиатра. С диссидентами ему бороться приходится, но он предпочитает проявлять к каждому индивидуальный подход. (Кого посадить, а кого только выслать, только полечить в психбольнице, только под поезд толкнуть, только голову проломить в подъезде.) Со мной лично коллеги Юрия Владимировича обошлись и вовсе гуманно. Несмотря на мои ужасные преступления (книжки и некоторые письма в защиту кого-то), меня всего лишь исключили из Союза писателей. Ну не печатали, ну отравили (только один раз), ну отключили мой телефон. Но не посадили и не убили. И даже когда терпенье лопнуло, предложили всего лишь покинуть СССР. Оказавшись, благодаря столь деликатному со мной обхождению, на Западе, я и там много хорошего услышал об Андропове. Особенно от американских советологов. Они, предвидя скорую смерть Брежнева, возлагали на предполагаемого преемника большие надежды. Главного чекиста представляли себе крупным интеллектуалом (и потому, естественно, демократом), который любит детей, музыку, знает иностранные языки и американскую писательницу Жаклин Сьюзен перед сном читает в подлиннике. Да и сам пишет стихи, а в прихожей его квартиры стоит статуэтка не Малюты Скуратова, не Дзержинского, не Торквемады, а Дон Кихота.

В каждом человеке можно найти (если долго искать) что-то хорошее. Даже Гиммлер, как известно, почитал своих родителей и к младшему братишке относился с трогательной заботой. Допускаю, что и Юрию Владимировичу не чуждо было что-нибудь человеческое. Стишки он точно пописывал (правда, довольно убогие). Дон

Кихот у него в прихожей стоял, но сам он если и был похож на Рыцаря печального образа, то только тем, что тщетно пытался победить то, чего победить нельзя. Его ветряными мельницами была свободная мысль. Чекисты совали свой нос (сегодняшнее выражение Путина) в литературу, живопись, экономику, науку и шахматы — во все, в чем ни уха ни рыла не смыслили, и очень постарались, чтобы советский режим полностью прогнил и развалился. И если уж ставить памятник Андропову и его сотоварищам по Политбюро и КГБ, то разве за то, что именно они (больше, чем все диссиденты, империалисты и сионисты, вместе взятые) этот развал обеспечили.

Во главе СССР Андропов стоял недолго, но и здесь явил нам ум не государственный, а полицейский. Его попытки решить экономические проблемы страны путем вылавливания в банях и кинотеатрах прогульщиков были полезны только тем, что родили очередную серию анекдотов. Вряд ли большим достижением его политики следует считать расстрел директора Елисеевского магазина, самоубийство министра внутренних дел и уничтожение пассажирского корейского «Боинга».

Памятники можно ставить кому угодно. Реальным людям, литературным героям, пограничным собакам и чижику-пыжику. Но все-таки в этом должен быть какой-то смысл и какая-то логика. Если мы строим демократическое общество с рыночной экономикой, то при чем тут Андропов, погубивший тысячи душ (включая свою) ради того, чтобы этого никогда не случилось? Но если целью строительства является полицейское государство, тогда, конечно, дело другое.

10.10.03

| В ОДНУ ТЕЛЕГУ ВПРЯЧЬ НЕ МОЖНО...

Когда в следующий раз по ТВ увидите А. Лукашенко в профиль и без хоккейного шлема, обратите внимание: у него голова устроена не как у простых людей, а в удлинённом формате. Лоб переходит, естественно, в темя, довольно плоское, а затем следует отвесный спуск

(на картах горнолыжников такая крутизна обозначается черной линией). Затылка в том виде, в каком мы его себе представляем, то есть в виде внушительной шишки, практически нет. Существует теория, согласно которой люди делятся на круглоголовых (брахицефалов) и длинноголовых (долихоцефалов), причем последние относятся к наиболее умным. Если не ошибаюсь, именно так считали антропологи государства, которым управлял в свое время уважаемый белорусским президентом и его сподвижником П. Бородиным рейхсканцлер А. Гитлер. Изыскания эти оспаривать не берусь, но и в уме Лукашенко сомневаться не имею причины. Ума у него достаточно для понимания, что сделать общей для двух стран валюту одной из них не так-то просто, даже если очень хочется. Для этого надо совместить две экономики и две политические системы. Видимых вариантов совмещения всего два, и они уже обсуждены вдоль и поперек. 1) Белоруссия входит в состав Российской Федерации одним из субъектов и 2) создается просто союз двух государств. Оба варианта утопичны. Первое Лукашенко не примет, потому что в таком случае он превращается из президента, главнокомандующего и всебелорусского батяки в одного из временных глав подчиненной Москве администрации. После чего его можно сместить, заменить другим, а при случае и посадить. Второе неосуществимо, потому что реальным может быть только союз государств, живущих в соответствии с одними и теми же, признаваемыми всеми сторонами, законами, принципами и нравственными ценностями. Таков Евросоюз, на который кивают сторонники объединения. А Россия и Белоруссия страны, может быть, братские, но с режимами пока еще разными. В одной режим почти тоталитарный, а в другой почти демократический с почти рыночной экономикой. Классик сказал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». А Лукашенко на такой упряжке настаивает, имея в виду свое, сокровенное. Не союз его манит, а возможность стать батякой (по-русски говоря, паханом) и для нас. Это ему надо не только для утоления тщеславных амбиций, но и по более веской причине. В Белоруссии двойной срок его властвова-

ния истекает. Срок как-нибудь (допустим, через референдум), конечно, будет продлен. Но на сколько? Диктатору на своем посту нужно держаться до смерти. В противном случае (очень противном) можно дожить до неприятностей вроде выпавших на долю Милошевича, Живкова или (о ужас!) Чаушеску. Представляя подобные перспективы, лелеет батька мечту сменить белорусскую лань на российского битюга. Эта мечта еще недавно не казалась слишком несбыточной. На закате ельцинского президентства Лукашенко не только ездил в Москву, но совершал рейды по российским тылам, общался с братским народом, и это было похоже на негласную предвыборную или предпредвыборную кампанию. Сам выступал в российской Госдуме, и думцы ездили к нему на поклон. Наши губернаторы навещали его, отзывались о нем самым возвышенным образом и не исключали призывания его на российский престол. После появления в Кремле Путина шансы Лукашенко сильно уменьшились, но, похоже, он и сейчас надежды не потерял и вождьеленно поглядывает на великолепие кремлевских палат. А на днях смело (чтоб не сказать нахально) сыграл в Кремле роль хозяина, предложив Путину помолчать, пока он, Лукашенко, председательствующий на заседании, не даст ему слово.

Слово Путину он дал, но переговоры очередной раз провалил. Чтобы затеять следующие и снова их провалить. Для чего ему нужно тянуть эту резину, понятно. Можно представить, что имеют с этого Бородин и другие прилепившиеся к реальной кормушке призрачного союза. Но зачем это нужно России, вот чего не взять в толк обыкновенному круглоголовому человеку.

17.10.03

| ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО КОНТРАБАНДИСТАМ

На границе поймали контрабандиста. Об этом я узнал из передачи НТВ и прочел текст на сайте того же канала. Гражданин ФРГ, представившийся «писателем», нелегально пытался вывезти из России не алмазы, не наркотики, не оружие, не шедевры живописи и не ико-

ны, а «особенные раритеты», представляющие собой историческую и научную ценность. Раритеты, как сказано, из бывших засекреченных архивов Соловецких лагерей особого назначения. В их числе уголовные дела 20—30-х годов, протоколы допросов, фотографии заключенных, свидетельства о смерти и (о, ужас!) карты-схемы Соловецких лагерей.

Мне в этом сообщении почудился знакомый стиль сочинителей с Лубянки, которые в прежние времена, злоупотребляя кавычками, часто придавали тексту смысл, противоположный желаемому. То же и здесь. Я не знаю, кем является задержанный контрабандист, но если уж выдавал себя за писателя в кавычках, то подозреваю, что за этим стоит закавыченный журналист. Есть вопрос: эти бывшие засекреченные архивы теперь рассекречены? Если да, то где они и доступны ли? Почему специалисты, ознакомившиеся с контрабандой, были потрясены, увидев то, чего раньше не видели? Почему не видели? И почему контрабандист документы крал, а не сделал себе законные ксерокопии? Ой, что-то тут не то! Слишком похоже на советские рапорты о шпионах, из которых один, помнится, фотографировал здание центрального телеграфа, а другой из вагона вел визуальное наблюдение, то есть, говоря по-русски, смотрел в окно.

Контрабанда — дело плохое. Но не всегда и не всякая. В советские времена некоторые иностранцы помогали диссидентам и запрещенным писателям (мне в частности) вывозить из СССР рукописи или документы, которые в нормальном обществе не должны быть секретными. Подобной контрабанде лично я, бывало, способствовал, чего ничуть не стыжусь. И сейчас осудить такие действия не поспешу. По сообщению НТВ, против горе-контрабандиста возбуждено уголовное дело. Не знаю, насколько справедливо. Но хорошо бы ввести уголовную ответственность за незаконное хранение тайн о преступлениях советского режима против человечности на Соловках и где бы то ни было. В демократических странах для госсекретов есть разумные сроки. И — никаких сроков для дел, заводимых спецслужбами против отдельных людей. Гражданин США может затребо-

вать и получить свое досье из ФБР. Любой житель бывшей ГДР может узнать, что против него имела (если имела) ШТАЗИ (госбезопасность) и кто на него стучал. А наши чекисты по-прежнему крепко прячут от нас дела давно и недавно минувших дней. Мы не знаем полной правды не только о том, что произошло год назад на Дубровке, но многое из случившегося десятки лет назад от нас тоже скрывается.

На этой неделе Александр Солженицын в двух больших газетах клеймил своих недоброжелателей, распространяющих некий донос, написанный якобы им в 1952 году в Экибастузском лагере. Он утверждает: донос — фальшивка. Враги не верят. Но почему бы ему, пользующемуся особым расположением нынешней власти, не попросить ее, не потребовать, не стукнуть кулаком по столу, чтоб допустили к соответствующим материалам его самого и независимых специалистов, экспертов, графологов, чтоб защитили его наконец-то (не советские ж времена!) от клеветы? И общество наше должно бы его в этом требовании решительно поддержать. Он же не кто-нибудь, а человек, считающийся совестью нации. Но зловещие тайны по-прежнему скрыты в папках с грифом «хранить вечно», и это есть преступление перед страной, народом, историей. Пока это так, фальшивки будут приниматься за подлинные документы, а подлинные документы за фальшивки. А у людей не будет доверия не только к органам безопасности, но и к самому государству, которому эти тайны чем-то по-прежнему дороги. В таком случае контрабандистам в кавычках, которые такие тайны выкрадут, вывезут и предадут гласности, я лично желаю удачи.

24.10.03

| ЖЕРТВА ФЕРЗЯ

Жизнь миллионера, говорил Зоценко, проходит для автора, как в тумане. Для автора данных строк тоже. О жизни миллиардера нечего и говорить. С одной стороны, он живет хорошо: нам бы так. С другой стороны, завидовать нечему. Особенно в наших условиях, где надо

постоянно остерегаться покушений на жизнь, имущество и свободу. Огораживаться высоким забором, окружать себя, жену и детей телохранителями, без которых шагу ступить нельзя — пристрелят или возьмут в заложники. Приходится неустанно отбиваться от таможи, Счетной палаты, налоговой инспекции, конкурентов, завистников, искателей грантов, попрошаек, бедных родственников и приживал, которых у каждого богача, чем он олигархей, тем больше. А к прочим неприятностям и образ прокурора вдруг замаячит с вопросом: чем ты занимался до семнадцатого года и откуда чего нагреб? И надо думать и вспоминать, понимая, что не ответ чистосердечный прокурора интересует, а нечто другое.

Сейчас народ гадает, за что арестовали Ходорковско-го, и мало кому приходит в голову бредовая мысль, что арестовали за то именно, в чем обвиняют. Рассматриваются более правдоподобные варианты. Или начался тотальный пересмотр итогов приватизации, или олигарх лично кому-то чем-то не потрафил. Не дал взятку. Дал слишком мало. Лезет в политику. Поддерживает оппозицию. Имеет собственные амбиции. Или вслед за оборотнями в погонах стал козырем в предвыборной игре пиаровских шулеров. Или оказался жертвенной фигурой (ферзем, а не пешкой) в турнире семейных, питерских и лубянских.

Говорят, Ходорковский задолжал казне миллиард долларов, которые с него можно было спросить. Но на его аресте государство потеряло пятнадцать (а я слышал — 40) миллиардов, которые не возьмешь ни с кого. Признаюсь, меня убытки государства сейчас мало волнуют. Пусть весь мир рухнет, но справедливость восторжествует, это знаменитые слова Фердинанда Первого, полтыщи лет тому назад занимавшего должность императора Священной римской империи германской нации. Справедливость обращена равно ко всем. Одно исключение, будь оно сделано первому богачу или последнему бедняку, и справедливость превращается в свою противоположность. Если Ходорковского посадили за то, в чем обвиняют, то как же насчет других, которые ворушают никелем, алюминием, лесом, газом и промом?

Или как быть с чиновным людом, загромоздившим все Подмоскowie баснословно дорогими буржуйскими вилами? Это все на зарплате построено или прокуроров на всех не хватает? Закон на них позже распространится или, пока не лезут в политику, пусть воруют? Интересно, что о Ходорковском шумят в основном не олигархи. Солидарность — достоинство бедных. Богатым же богатеть, как и гибнуть, свойственно в одиночку. Каждому из этой публики ясно, что заступишься за соолигарха, и на тебя самого нацелится прокурорское око. Поэтому один богатей на вопрос журналиста, что он думает о Ходорковском, ответил, что не думает ничего. Другой повторил за президентом, что не надо никакой паники, все идет правильно. Третий согласился с первым и вторым, но шепотом сказал четвертому, что из России пора «валить». И не только богачей посещает такая мысль.

Я заглянул в Интернет, пошарил по разным «чатам», а там — развороченный муравейник. Участники миллиардами не рискуют, существуют в разных измерениях, выступают под псевдонимами, прокуроров не боятся, политкорректности не признают и украшают свою речь таким матом, какого даже у нынешних наимоднейших беллетристов не сыщешь. И все ненавидят всех. Олигархов, евреев, русских, арабов, чеченцев, чекистов, коммунистов, демократов, депутатов, Путина, Рашку (Россию), Запад и друг друга. Но из мыслей, выражаемых человеческим языком, яснее других проступает одна. Если ты родился с умом и талантом, надеешься достичь чего-то в науке, искусстве, бизнесе, политике, хочешь быть честным, свободным и не зависеть от произвола властей, то не лучше ли поискать себе место на какой-нибудь другой территории?

31.10.03

| ПРАЗДНИК НА ИХ УЛИЦЕ

К сожалению, мне опять придется прослыть пророком. Тридцать с лишним лет тому назад я задумал роман «Монументальная пропаганда». О пламенной сталинистке, которая страстно любила Сталина, а после смерти

вождя перенесла свою любовь на его изваяние. Статую, сброшенную с пьедестала, она, несмотря на недовольство властей и соседей, втащила в свою квартиру и берегла в безумной и казавшейся несбыточной надежде, что придет время — и чугунный идол займет свое привычное место на главной площади города. «Будет еще и на нашей улице праздник», — без конца повторяла она фразу, сказанную когда-то любимым вождем. И дождалась-таки своего. Написав первые главы, я решил, что тема устарела, и принялся за другую работу. Потом время от времени возвращался к своему замыслу и опять приходил к мысли о его неактуальности. В середине девяностых я все-таки плотно принялся за работу и закончил ее в 1998 году. И тогда мои первые читатели, даже отнесшиеся к моей работе благосклонно, сочли фантазию автора отставшей от времени, в крайнем случае подразумевающей некий аллегорический смысл. Да и мне самому думалось, что к моему прогнозу следует относиться отнюдь не как к буквальному. Теперь же благодаря инициативе товарищей из ордена «Знак Почета» города Ишима (орден получен городом в 1982 году) мой роман кажется злободневней, чем я сам ожидал. Ишимские сталинисты зарыли бронзовый бюст любимого вождя в землю, сорок лет ждали своего праздника, старея и вымирая, а теперь откопали и вернули на старое место на площади. Я не знаю истории Ишима, но, судя по его месту на карте, нетрудно предположить, что в сталинское время в городе и вокруг него было немало лагерных зон, да и вольное население в значительной степени составляли ссыльные. И вот на этом месте иваны, не забывающие своего родства с извергом рода человеческого, не постеснялись сделать то, на что после 1961 года не решались даже вожди КПСС. Казалось бы, подумаешь, какой-то глухой сибирский городишко! Но какой бы он ни был, а находится в стране, пострадавшей от Сталина больше, чем от всех врагов, вместе взятых, начиная с Чингисхана и кончая Гитлером. Лиха беда начало, и я не удивлюсь, если ишимская инициатива распространится по всей стране. Иной раз подумаешь, плакать хочется: почему такая судьба у России, кто делает и кто позволяет делать ее несчастной? Почему у нас люди го-

товы закопать живьем любого руководителя, проявившего склонность к либерализму? Почему с такой ненавистью произносятся имена политиков и экономистов, попытавшихся так ли, сяк ли, может, с ошибками, но реформировать страну, очеловечить ее, вытащить из болота и наставить на правильный путь? И на чем держится любовь к деспоту, превратившему всю страну в огромный концлагерь и действительно разорившему ее дотла? Я не думаю, что в народе поклонников советского режима, и особенно в его сталинском исполнении, больше, чем других людей. Но именно эти поклонники действуют последовательней и целеустремленней, чем кто бы то ни было. Они умеют затаиться, десятки лет выжидать и дожидаться того момента, когда можно воспользоваться слабостью общества, равнодушием народа и настоять на своем. Похоже, такой момент наступил, и ишимский прецедент — только мелкое тому доказательство. Символы и атрибуты советской власти одни никуда не ушли, а другие возвращаются на свои места. Люди в основном смотрят на это равнодушно, им кажется, что оттого, чье изваяние поставят на площади и чье имя будет носить сама площадь, их положение не станет ни лучше, ни хуже. На фоне этого мы замечаем все больше в нашей жизни не только материальных, но и духовных признаков советского прошлого и признаков растущего желания не свободы (что было бы естественно для человека), а сильной власти, которой неужто мы не наелись? Глядя на это, грустно становится, и невольно вспоминаются пушкинские строки: «Паситесь, мирные народы!/Вас не разбудит чести клич./К чему стадам дары свободы?/ Их должно резать или стричь./ Наследство их из рода в роды/ Ярмо с гремящими да бич».

14.11.03

| НЕБО В АЛМАЗАХ

В Бангладеш удав проглотил женщину.
В Ингушетии собаки загрызли ребенка.
В Австралии кенгуру напал на семью фермера.

В Германии (в зоопарке) гепард растерзал десять кенгуру.

На канале НТВ председатель ЛДПР бил своих оппонентов.

На канале РТР он сам получил по уху.

Нравы дикой природы одни: что в джунглях, что в зверинцах, да и в местах скопления человек они тоже встречаются. Особенно в среде наших потенциальных или настоящих народных избранников. Последних от буквального загрызания друг друга удерживает разве что существование Уголовного кодекса. Впрочем, человеческое общество устроено посложнее, чем звериные стаи, в нем прямое применение кулаков и зубов не всегда приводит к достижению цели. Но есть более сложные технологии морального устранения соперников, которое на некоторых этапах надежнее физического, хотя и физическое тоже, увы, не исключается, применяется и не слишком-то осуждается, но об этом — в конце.

Не знаю, как кто, а я никаких практических надежд на грядущие выборы не возлагаю, и для волнения, охватывавшего, бывало, при первых шагах нашей молодой демократии, в моей душе места не осталось. За предвыборной гонкой слежу больше из любопытства, интересуюсь не столько результатом, сколько тем, кто как будет бороться за мой одинокий голос. Так называемая партия власти особо не борется. Она заручилась поддержкой главного избирателя, оснастила себя мощным административным ресурсом и в борьбе с соперниками выглядит, как бронетанковая дивизия, выставленная против разрозненных кавалерийских отрядов. Уверенная в грядущей победе, она предварительных маневров не проводит, ограничившись прокручиванием по ТВ рекламного ролика, в котором колосятся густые хлеба, мычат упитанные коровы и нерестятся жирные рыбы. Свиноматка только что опоросилась, лежит на боку и лениво похрюкивает, поощряя поросят, дружно прильнувших к ее сосцам. Они сосут мамашу интенсивно и громко, на фоне карты страны и под звуки госгимна РФ, а наше ассоциативное воображение понуждает нас представить себе, что эта свиноматка и есть наша родина, которую мы,

поросята, будем сосать, повизгивая и урча, как только рекламируемая партия одержит сокрушительную победу. Правда, образ родины-свиноматки у начитанного человека может вызвать нежелательные аллюзии и напомнить ему о судьбе Александра Блока, который, умирая, назвал Россию чушкой, слопавшей своего поросенка. Что с чушками в жизни и правда случается. Однако отойдем от образа в надежде, что Бог не выдаст — свинья не съест, и посмотрим, а что же другие партии. Другие, не имея надежных ресурсов, вынуждены участвовать в теледебатах, носящих довольно странный характер. Чаще всего друг против друга выходят не хулиганы, подобные Жириновскому, а тихие псевдосоперники, которые плохо помнят свои программы и не знают, в чем уличить стоящих напротив. Похоже, что кампанию свою они вообще начали без видов на выигрыш, а с какой-то побочной целью, вроде петуха из анекдота, бегущего за курицей в надежде если не догнать, так согреться. Что же до имеющих виды, то их программные цели разные, а реальные — все те же, что раньше: на очередные четыре года захватить побольше мест, обеспечить себе до следующих выборов спокойное существование с солидными зарплатами от государства, большими доплатами от лоббистов, со всеми привилегиями, включая депутатскую неприкосновенность. Я не думаю, что, например, коммунисты всерьез надеются реставрировать советскую власть, а партия жизни улучшить качество жизни. К программам, которые привлекают меня больше других, относятся, понятно, те, что сулят людям свободу, демократию и развитие гражданского общества, но в обещание построить в обозримом будущем великую Россию (если не считать признаками величия бомбы и ракеты) и показать нам небо в алмазах я, правду сказать, не верю. Во-первых, политикам, готовым действительно строить такое общество, надо для начала получить не пять-шесть, а все сто процентов голосов и своего президента, что им пока не светит. Во-вторых, прежде чем построить, надо добиться мира в Чечне, покончить с терроризмом, с всесилием чиновников, с коррупцией, чиновпочитанием, придворными интригами и сделать много чего еще. На это можно надеяться, только

создав независимый парламент, независимый суд, независимую прессу, зависимую от общества, включая Думу, правительство и президента. Достичь этой цели невозможно, не заменив честными всех нечестных бюрократов, милиционеров, прокуроров, судей, генералов и, главное, самих политиков. Но откуда же их столько набрать? Из народа? Так и народ тогда надо сменить на какой-нибудь другой, многовекового европейского воспитания.

Когда-то, помнится, скептики говорили: с нашим народом разве коммунизм построишь? Вот и не построили. А великую Россию построить легко ли?

На канале ТВЦ в пятую годовщину гибели Галины Старовойтовой телезрителей, принявших участие в интерактивном голосовании, спросили, как они относятся к политическим убийствам. Как и следовало ожидать, большинство, 53 процента опрошенных, убийства подобные осудили. Но 35 процентов одобрили! И еще тринадцать процентов сказали, что им все равно. Увидев на экране эти цифры, я глазам своим не поверил. Я подумал, что если такой расклад мнений характерен для всего российского общества, то тогда дело плохо. Конечно, в каждом обществе есть свои уроды, которые не против убийства людей по тем или иным причинам или вовсе без оных. Но чтобы их было больше трети, а вместе с теми, кому все равно, даже почти половина, это уж слишком. Это значит, что мы живем в обществе больном, диком, с преступными наклонностями. С такими людьми не только что великую, а сколько-нибудь нормальную страну построить нельзя. Разве что, как мечтали чеховские герои, лет через двести-триста. Тогда, может быть, мы и увидим небо в алмазах. А пока как бы не показалось оно нам с овчинку.

27.11.03

| СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ

Хотел написать что-нибудь повеселее, поэтому начну со старого анекдота. В колхоз завезли фанеру. На общем собрании выступил председатель:

— Товарищи колхозники! Благодаря неустанной за-

боте нашей любимой коммунистической партии благосостояние тружеников села постоянно растет. Мы и так живем хорошо, а теперь нас государство, спасибо ему, еще и фанерой снабдило. Давайте обсудим, как лучше ее использовать.

Стали обсуждать. Покрыть ли крыши домов, которые протекают, починить ли нужники во дворах, залатать ли дыры в коровниках. Думали-рядили так-сяк: фанеры ни на что не хватает. Поднял руку старик с предложением:

— А давайте сколотим из нее самолет и улетим отсюда к такой-то матери.

Со времени сочинения этого анекдота много воды утекло. Жизнь стала еще лучше, чем раньше, но хлопотней. Тем колхозникам легко было выбирать одну партию из одной, а у нас вон их сколько, и все такие хорошие, что я проголосовал бы сразу за всех, но, говорят, так нельзя, это было бы что-то вроде многоженства, а оно у нас пока что не допускается. Вот и получается: их много, а голос у меня только один. И кому его отдать, сам не знаю.

Самое простое — проголосовать за Самую Лучшую Партию (СЛП), которую мне очень рекомендуют. Это соблазнительно потому, что, проголосовав за нее, я неизбежно окажусь в числе победителей. С другой стороны, зачем же я буду голосовать за СЛП, когда мне на самом деле больше нравится (или меньше не нравится) Партия Та, Что Похуже (ПТЧП), поскольку сам я для СЛП хорош недостаточно. Однако, чем больше думаю, тем сильнее одолевают сомнения. Умные люди мне объяснили, что, если я проголосую за ПТЧП, а она провалится и не наберет свои пять процентов, голос мой опять уйдет к СЛП. Хорошо, думаю, тогда вообще не пойду на выборы и голос свой единственный не отдам никому. Но умные предупреждают: ты его не отдашь, но его все-таки засчитают в пользу опять СЛП, а твоя ПТЧП и в этом случае останется с носом. Ладно, соглашаюсь, все понял. Буду голосовать против всех. Но, оказывается, и тут с моим голосом случится то же самое. Раз так, поступлю, как при советской власти: опущу бюллетень в ур-

ну, ничего в нем не отмечая. Совсем сдурел, смеются умные люди. Если так сделаешь, твой голос окажется недействительным и опять же достанется СЛП. (Тут интересный наблюдается парадокс: голос недействительный, а СЛП и он пригодится, как Чичикову мертвая душа.) Ну что ж, говорю, тогда вернусь к первоначальному намерению: во всех клеточках проставлю по галочке и проголосую сразу за всех. Хотя и тут мой испорченный голос достанется СЛП. Итак, у меня есть выбор из шести вариантов: 1) пойти и проголосовать за СЛП, 2) за ПТЧП, 3) за всех, 4) против всех, 5) опустить пустой бюллетень и 6) на выборы не ходить. А пока я так думал, сомневался и колебался, дошло до меня известие еще об одном выборе (вариант № 7) и о показателе, который вывел нашу страну на первое место в мире. Речь не о космических достижениях и не о предполагаемых успехах в области спорта, а о людях, у которых, как у тех колхозников из анекдота, крепнет желание улететь отсюда и к той же матери. Оказывается, только за последние 9 месяцев почти 24 тысячи наших сограждан сделали выбор в пользу эмиграции и обратились к другим странам с просьбой о политическом убежище. Казалось бы, что случилось? Ведь у нас вроде все идет хорошо. Олигархов сажают, нефть дорожает, зарплаты и пенсии повышаются, и рубль стоит крепко, как никогда. Тем не менее количество желающих, как говорится, «свалить за бугор» растет быстрее даже нашего ВВП. В этом году их на 65% процентов больше, чем в прошлом, и очевидна тенденция к дальнейшему росту. Почему? Причин много. Чечня, война, терроризм, бандитизм, коррупция, но среди других есть и та, что свобода наша становится все более регулируемой, демократия управляемой, а речи пустыми. И рядовой россиянин все больше ощущает себя пешкой или винтиком, от которого ничего не зависит и чей голос ничего не значит, как при советской власти. По которой он иногда тоскует, но не настолько, чтобы снова выбрать ее.

05.12.03

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРУ НУЗОВУ
12.06.2002 В НЬЮ-ДЖЕРСИ

— Владимир Николаевич, вы родились 26 сентября 1932 года в Душанбе. Он тогда еще не был Сталинабадом?

— Уже три года как был. Так что, если быть точным, родился я в городе Сталинабаде.

— То есть с именем вождя вы столкнулись, можно сказать, с пеленок. Оправилась ли Россия от сталинщины, как вы считаете?

— Не полностью. По телевидению на днях показывали парад, посвященный празднику Победы. И стоят советские дикторы Кириллов, какая-то дама с ним из тех времен и такими же сладкими голосами говорят примерно те же слова. Это краска, штрих. Много, конечно, переменялось, но много признаков советской жизни, советской атрибутики, советских манер сохранилось. Кроме того, есть еще много поклонников Сталина, кто-то хочет поставить памятники вождю, а где-то, в каком-то районе, уже и поставили. Так что дело его, к сожалению, живет.

— Я не первый, кто берет у вас предъюбилейное интервью. На сколько вы себя ощущаете, Владимир Николаевич?

— Иногда и на 100 лет! Мне просто не верится, я полагаю, каждому человеку моего возраста не верится, что дожил до такого. Утром встаю, смотрю в зеркало и думаю: что за ветхий старик там стоит? И отряхиваюсь: а, да, это же я...

— Нет, решительно с вами не согласен! Дух у вас молодой, чувство юмора — верный признак этого.

— Спасибо, но самому-то мне неловко так говорить.

— Хорошо. Расскажите немного о родителях, как их занесло в Среднюю Азию в начале тридцатых годов?

— Многие мои предки по отцовской линии были моряками, путешественниками, переезжали с места на место, из страны в страну — прадед мой приехал в Россию из Черногории. У отца «охота к перемене мест» была, стало быть, в крови, он постоянно передвигался. Даже в советское время ухитрялся довольно часто менять места жительства. Родился отец в городке Новозыбкове Брянской области, но что-то потянуло его в Среднюю Азию. По дороге, в поезде, он познакомился с моей мамой, которая ехала в другое место, ну и, конечно, не доехала. В Душанбе они приехали уже вместе.

— Судя по тому, что вы долго служили срочную — 4 года, — вы во флоте служили?

— Нет, служил я в авиации — тогда в ней так долго служили, впрочем, мой год был последним четырехгодичным. После нас в авиации стали служить три года, как везде.

— Написать «Чонкина» вам срочная служба помогла?

— Если бы я не служил в армии, не пас в детстве колхозных телят, не работал после армии инструктором сельского райисполкома, такой образ не мог бы возникнуть.

— Начало вашей серьезной литературной работы приходится на 1961 год, когда в «Новом мире» была опубликована повесть «Мы здесь живем». Твардовский принимал участие в публикации? Он ведь был тогда главным редактором.

— Я писал сначала, как все, стихи, но в 1960 году написал прозу — эту повесть — и принес ее в «Новый мир» с улицы. Там сидела знаменитая Анна Самойловна Берзер, редактор. Она попросила меня пойти и зарегистрировать рукопись. Я сказал, что регистрировать не буду, а хочу, чтобы повесть прочла она. Анна Самойловна удивилась: «Я же не могу читать все, что к нам поступает!» Я набрался храбрости: прочтите, говорю, 10 страниц,

если не понравится — вернете без всяких объяснений, я все пойму. Анна Самойловна таким предложением была удивлена, но прочесть 10 страниц согласилась. Разговор происходил в начале недели, а в конце я получаю телеграмму: «Прошу срочно зайти в редакцию «Нового мира». Когда я пришел, оказалось, что мою повесть прочла вся редколлегия, включая Твардовского. Обещали напечатать мою повесть в самом ближайшем номере, им стал 1-й за 1961 год.

— Поговорим теперь о вашей антисоветской литературной деятельности. Одного из ваших «скрытых» героев повести «Иванькиада» — поэта Андрея Кленова — я встречал в Нью-Йорке. Он-то мне и рассказал, что сырбор в кооперативе «Советский писатель» загорелся как раз из-за его квартиры, освободившейся в связи с его, Кленова, отъездом в Израиль. А господин Иванько работал, кажется, после выхода «Иванькиады» в ООН. Что бы вы стали делать, если бы жалобу на вас накатала ООН?

— Меня бы тогда исключили из ООН, а я написал бы ноту протеста. (*Смеется.*) Иванько, кроме всего прочего, был полковником КГБ, поэтому его засылали в разные организации, он был мастер на все руки. Своей повестью я его сильно засветил, он из Америки, а был он здесь чуть ли не резидентом советской разведки, вынужден был убраться в Союз, где служил, по-моему, главным редактором в издательстве «Художественная литература», потом каким-то важным референтом министра культуры Демичева и так далее.

— Вас в 1980 году выслали из Союза, исключили из Союза писателей. А потом-то в СП восстановили?

— В 1989 году мне прислали в Мюнхен из Союза писателей СССР, который еще не распался, письмо без подписи, в котором рассуждали о том, что, мол, пришло время, когда надо исправлять ошибки прошлого, то есть меня приглашают вернуться в Советский Союз и соответственно в СП. На что я ответил: когда мне пришлют письмо, подписанное каким-нибудь человеческим именем и содержащее извинения, тогда я подумаю. Ответа не последовало. Через некоторое время пришло письмо уже из Московского союза писателей с тем же пригла-

шением. Секретарем был тогда Юрий Черниченко, он и сказал, что приносит извинения, хотя сам меня не обижал. Я извинения принял, вступил в этот союз, но никогда там не был.

— Вернемся к «Чонкину». Извините за, быть может, стандартный вопрос, но кто из русских сатириков оказал на вас наибольшее влияние? А может, не русских, а, допустим, чешских?

— Намек понимаю, но все-таки — русских. Конечно, Гоголь. Что касается чешских и не только, мне нравились такого рода плутовские романы — «Тиль Уленшпигель», «Дон Кихот», ну и «Швейк». Но главное влияние шло, повторяю, от Гоголя.

— «Чонкин» экранизирован, Владимир Николаевич?

— Чешский режиссер Иржи Ментцель поставил в 1995 году фильм, считающийся английским, но играют в нем русские актеры и говорят по-русски. А попытка экранизировать роман Эльдаром Рязановым была безуспешной.

— Вашу песню «На пыльных тропинках далеких планет...» любили космонавты. А вот «Чонкин» им нравился?

— За «Чонкина» меня столько проклинали, что трудно сказать, кому он нравился. Все начальники Генерального штаба, министры обороны его проклинали, а насчет космонавтов — не знаю. Среди космонавтов есть хорошие люди, но — не все. Поклонники «Чонкина» есть даже среди чекистов. Вспоминаю такой случай. В 1992 году в Москве проводилась конференция «КГБ вчера, сегодня, завтра». После заседаний состоялся банкет, и кагэбэшники подходили ко мне, просили автограф, признавались в любви к «Чонкину», а в свое время готовы были за него убить — в прямом смысле.

— Второй вашей знаменитой песней стала обработка написанного на стихи генерал-майора Александрова текста нового гимна России. Все время вас, замечу, Владимир Николаевич, тянет на военных. Не могли бы вы привести один куплет (строфу) гимна и его припев:

— Приведу припев:

Славься, отечество наше привольное,
Славься, послушный российский народ,
Что постоянно меняет символику
И не имеет важнее забот.

— Спасибо, Владимир Николаевич. Сейчас мы шутим, а в 1980 году вам было не до шуток, когда вас высылали из Союза. Думали, что уезжаете навсегда?

— А вы знаете, как ни странно, я был уверен, что вернусь. Задним числом мне даже неудобно об этом говорить, ваши читатели могут подумать, что я вру. Покидая Союз, я говорил провожавшим меня друзьям: скоро здесь начнутся кардинальные изменения. На меня махали руками: что за чушь, некоторые друзья обижались на меня. Я даже заключил два пари: одно на дом в Лондоне, другое на 100 тысяч марок против 10 марок, которые ставил я на то, что скоро в Советском Союзе начнутся перемены. Я оказался прав, но дома и денег мне никто не отдал, конечно. Когда мне говорят сейчас, что это было непредсказуемо, я не понимаю: почему? Советский Союз напоминал организм тяжело больного человека. Видно было, что живет он не по правилам, не по законам, а когда тяжелобольной не лечится, ясно, что он умрет. Если вернуться в 1980 год, то видны были тенденции в экономике, в жизни, в полном цинизме, в омертвелой идеологии и так далее. Из всего этого можно было что-то предположить. Поэтому я не могу сказать, что совсем не верил, что вернусь.

— К тому времени за рубежом неплохая компания писателей собралась: Солженицын, Максимов, Гладилин, Владимов, вы. Могли бы организовать заграничное отделение СП. Вы никак там не организовались?

— Нет. Русские люди трудно организуются, возьмите тот же Нью-Йорк. Есть еврейские, китайские, итальянские, другие общины, очень сплоченные. А русской общины нет, не получается у нас солидарности. Мы не организовывались там, держались разобщенно. В редколлегию журнала «Континент» Максимов меня приглашал, но я считал, что это место будет для меня чисто церемониальным, а мне это не нужно было...

— Пьес вы написали, кажется, немного, но «Кот до-

машный средней пушистости» пользуется большим успехом. Ваш соавтор Григорий Горин рассказывал мне, смеясь, как вы когда-то «расшифровали» его псевдоним: «Гриша Офштейн Решил Изменить Национальность». Замечательный был человек, рано ушел.

— В сборник воспоминаний о нем я написал большую статью, пишу воспоминания о других людях, умерших и живых, частично они опубликованы в книге «Замысел».

— Есть ли у вас какие-то новые книги на подходе?

— Скоро выйдет книга «Портрет на фоне мифа» — о том, как появился Солженицын и так далее. Если говорить не о мемуарной литературе, то у меня есть роман «Монументальная пропаганда» — одна из наиболее значительных моих вещей, выходящая скоро по-английски.

— Много томник у вас тоже выходил, да?

— Пиратский пятитомник, поэтому я не хочу о нем говорить. Но есть и трехтомник, и четырехтомник. Издатели не обозначают их как собрания сочинений, дают возможность купить любой том отдельно.

— Читаете ли вы эмигрантскую литературу и есть ли в ней, на ваш взгляд, значительные имена?

— В литературе, условно называемой эмигрантской, значительным именем был Довлатов, в Лондоне живет Зиновий Зинник, в Израиле — Дина Рубина, в Берлине недавно умер Фридрих Горенштейн, я уж не говорю о таких крупных писателях, как Аксенов или Владимов.

— Сатирику в России есть еще работа, Владимир Николаевич?

— Сатирику работа есть всегда, причем и в России, и в Америке, и в других частях мира. Потому, что для сатирика главный объект исследования — человек, а человек — существо смешное, был и будет таким всегда. Есть еще политическая сатира, но я ею не занимаюсь.

— У вас трое детей. Кто они по профессии?

— Сын — архитектор и дизайнер, живет в Москве, здесь же живет одна из дочерей, выбравшая своей специальностью химию. В Германии живет вторая дочь, преподаватель немецкого языка и автор двух книг, одну из которых написала в 17 лет.

— И, наконец, ваше пожелание нашим соотечественникам, когда-то покинувшим родину.

— Тем, кто уехал и не жалеет, желаю устроиться так, чтобы не жалели, что уехали. А тем, кто жалеет, хочу пожелать вернуться и опять-таки не жалеть, что вернулись.

Я НЕ ХОЧУ «ТИШЕ, ТИШЕ». Я ХОЧУ «ГРОМЧЕ, ГРОМЧЕ»

Беседу вел Антон Кузнецов

— Мы все давно привыкли уже к разговорам о таинственной и загадочной русской душе, непонятной и не понятой на Западе. В то же время русская классика издается и переиздается почти во всех странах мира, а ныне живущие писатели из России, по тем или иным причинам оказавшиеся за рубежом, преподают в крупнейших мировых университетах. В чем же секрет? Может быть, имеет смысл говорить о глобальности русской литературы, о ее интернациональности, если хотите о распахнутости перед всеми той самой странной души?

— Дело в том, что та литература XIX века, которую мы называем великой, общечеловеческая. Интернациональность — это, на мой взгляд, нечто другое: примитивное и даже с каким-то политическим оттенком. А Толстой, Чехов, Гоголь, Пушкин — это литература всечеловеческая и всечеловечная. Наверно, потому она так широко распространена.

— Таким образом, Владимир Николаевич, вы полагаете, что всемирная слава русской книги, да и вообще литературы, зависит от качества издания?

— Ну, не совсем. Дело в том, что сейчас наиболее популярная литература, так называемые бестселлеры, очень низкого качества и порой выходит за пределы литературы, а поэтому собственно литературой называться не может. Но если говорить об изданиях, не просто широко известных, а долго живущих, тогда, конечно, это литература очень высокого качества. А популярная, так сказать, дешевая литература живет очень и очень недолго.

— Согласен с вами. Но вспомним, что говорили кри-

тики о романах Жорж Санд или знаменитейшем произведении Митчелл «Унесенные ветром». Мало кто тогда предвещал этим книгам долгую жизнь. Вместе с тем они многократно переиздаются, а имена неудачливых пророков давно прекратили поминать даже на воскресных службах.

— Да, «Унесенные ветром» — это книга, во всяком случае, с завышенными претензиями, но она не относится к той макулатуре, о которой я говорил. Это все-таки книга, написанная с честными намерениями. И хотя ее не поставишь вровень с «Войной и миром» или даже с «Тихим Доном», но все-таки это литература, примыкающая к классике.

— Владимир Николаевич, понимаю, что достаточно сложно рассуждать о значимости собственных произведений, но все-таки. Очевидно то влияние, которое оказали ваши книги на отечественного читателя. Чонкин стал практически нарицательным типом. А как вам кажется, насколько необходимы ваши книги на Западе, да и понятны ли они зарубежному читателю?

— Насколько книга нужна — это вообще трудно сказать. Я всегда стеснялся думать, что мои книги кому-то очень необходимы. Однако их читали миллионы людей, и сотни тысяч на иностранных языках, в переводах. Например, «Чонкин» вышел сейчас в восьмой или девятый раз по-английски, а общий тираж всех этих изданий перевалил за полмиллиона, что для России теперь огромное количество. К слову сказать, Виктор Ерофеев в одном из своих интервью удивил меня сообщением, что знаменитое англо-американское издательство «Пингвин» никогда не издавало никаких русских писателей, кроме него и Солженицына. Это чепуха. В «Пингвине» выходили и мои книги трижды. Кстати, в этом высказывании Ерофеева проявилась очень принятая в нашей литературной среде тенденция не упустить случая сказать, что я лучше всех, и заодно кого-нибудь из коллег своих укусить, лягнуть или облить грязью. А что касается «Чонкина», то он на Западе признан достаточно, а последнее американское издание вышло в серии «Европейские классики».

— Кстати, «Чонкин» впервые вышел на шведском, да?

— Да. Сначала на шведском, потом на немецком, а затем уже в России. Все это я подробно описал в книге «Дело 34840».

— Расскажите немного об истории создания этой книги и вашего последнего романа «Замысел». Как они появились?

— Эти вещи появились по разным причинам. «Дело» описывает реальный случай, происшедший в 1975 году, когда два сотрудника КГБ попытались меня отравить в гостинице «Метрополь». Это было настоящее покушение если не на жизнь мою, то на здоровье точно. История довольно зловещая, и я решил, что очень важно рассказать о ней людям. Уже тогда, в 75-м, я пытался доказать, что страна, в которой официальными органами применяются такие нечеловеческие методы воздействия на инакомыслящих, опасна. Частично мне это удалось, но частично. Дело в том, что сразу после первых моих попыток донести до мировой общественности факт покушения на мою жизнь КГБ и его помощники постарались дезавуировать мои высказывания. Мгновенно появилось множество людей, говоривших: «Войнович сошел с ума, все, что он говорит, это неправда». Имена их я называю в своей книге, в «Деле», именно они сделали все, чтобы моя попытка привлечь внимание мировой прессы сорвалась.

— То есть слухи об умственной неполноценности писателя Владимира Войновича распускались по всему свету.

— Конечно. Эти люди просто бегали везде и везде толковали: «Войнович врет, Войновичу нельзя верить» и т.д. Вы же знаете, как быстро распространяются слухи, буквально в геометрической прогрессии. На самом деле это очень известный способ дискредитации или, наоборот, протекции, и при этом способ весьма действенный. Так вот, даже спустя много лет некоторые мои знакомые, даже хорошо ко мне относившиеся, сомневались, не выдумал ли я всю эту историю. Поэтому мне было очень важно доказать, что не выдумал.

— Таким образом, книга «Дело 34840» написана ра-

ди собственного оправдания и по социальной необходимости, так?

— Да, толчком к созданию этой книги послужила совокупность социальной и личной необходимостей. Я отстаивал свои собственные интересы, интересы своей семьи и общественные интересы тоже. Я вынудил КГБ к признанию сквозь зубы, что они описанное мной преступление совершили, и я экспериментально доказал, что они секреты о методах травли людей раскрывать не собираются, а значит, этими методами собираются пользоваться и в дальнейшем. Впрочем, я заметил, что это мало кого волнует. Наше общество просто не понимает, насколько опасны для нас всех описанные мной эксперименты над людьми. Кроме того, эта книга — одно из свидетельств на гипотетическом суде чести над пытавшимися меня оболгать лжецами. Например, над одним очень известным поэтом, которого я, впрочем, не хочу называть.

— Почему?

— Потому, что я его уже называл в двух журналах и в упомянутой книге. Кому любопытно, может найти его там. Интересно, что теперь этот персонаж на каждом шагу рассказывает, как героически он боролся с советской властью...

— Да. Но все-таки, Владимир Николаевич, давайте говорить о более достойной литературе. Что такое роман «Замысел»? Огромные мемуары или попытка показать писательскую примерную, кухню создания законченного литературного произведения?

— В некоторой степени это попытка биографии, но дело в том, что в моей жизни было множество затей, идей и замыслов, так и не осуществившихся по разным причинам, и я считал невозможным описывать жизнь писателя без рассказа о его замыслах. Отсюда и родилась эта идея описать свою жизнь и историю создания «Чонкина» и других книг, и мне кажется, что многие сюжеты интересны, а порой даже детективны: ведь развитие замысла подобно распутыванию преступной цепочки. На самом деле «Замысел» только первая книга дилогии, а может, даже трилогии.

— Значит, «Чонкин» будет дописываться одновременно с рассказом об истории его создания?

— Почти так. Я собираюсь завершить сюжет «Чонкина» в одной из последующих частей «Замысла», то есть роман о Чонкине и рассказ о том, как писался он и как писались другие книги.

— И «Чонкин» завершится?

— Да, роман будет окончен, но сам персонаж Чонкин останется цел и невредим, он умирать не должен. Недавно, когда делался фильм о Чонкине, кто-то предложил его убить. Я сказал: «Ни в коем случае, если вы сделаете это, я снимаю свою фамилию с титров».

— То есть вы это запретили просто-напросто. А сами себе вы что-нибудь запрещаете? Вы писали как-то, в том же «Замысле», о необходимости неких литературных табу, запретных тем. В то же время в романе персонаж Элиза Барская всеми возможными способами пытается доказать право говорить абсолютно все, без ограничений. Так существуют ли на самом деле запретные темы для писателя Владимира Войновича?

— В принципе нет. Просто должно быть какое-то чувство меры, которое я ищу с помощью той же Элизы Барской. Думаю, что описывать можно всё, просто ВСЁ, только нежелательно употреблять определенные слова. Ведь есть нормальная речь, та речь, на которой мы с вами говорим, совершенно не нуждаясь в непристойностях. Этого стоит остерегаться, описывая даже казарменную жизнь. Когда я служил в армии, мы ввели штраф за употребление матерных слов, правда, потом все друг другу столько задолжали, что игру пришлось прекратить. Однако бывают ситуации, когда живую речь нельзя изобразить иначе: например, лагерный барак. Но все-таки необходима мера, такт. Я недавно подписывал письмо в защиту издателей газеты «Еще», почти порнографической газеты. Я считаю, что порнография, публичные дома — все это должно быть разрешено законом. Хотя бы потому, что, неразрешенные, они будут существовать подпольно и как запретный плод будут более соблазнительны, неконтролируемы и опасны. А так что ж... В основном порнографические фильмы и литература абсо-

лютно бездарны и неинтересны. Молодой человек из любопытства (вполне естественного) посмотрит порнографию раз-другой, и ему это дело наскучит. Но вообще литература не должна чураться никаких тем и не может, даже не имеет права отказаться от отражения сексуальной жизни людей. Если она подобных тем полностью избегает, то она заслуживает того, чтобы быть читаемой только евнухами. Мои представления о сексе в жизни и литературе основаны на личных наблюдениях над жизнью, но могут совпадать с теориями, в которые (включая Фрейда) я не вникал. Мы воспитаны в ханжестве и лицемерии, освобождаясь от которых впадаем в цинизм. Но если относиться к проблеме здраво, то можно исходить вот из чего. Нашими побуждениями руководят два начала: плотское и духовное. Если в человеке явно превалирует плотское, то он просто животное или даже мерзкий зверь вроде шакала. Но человек, не обуреваемый плотскими желаниями, есть тоже не совсем человек, это в лучшем случае личность с большими психическими отклонениями. Интерес к сексу является нормальным интересом здорового организма (хотя бы потому, что ведет к продолжению рода) и нисколько не противоречит наличию у организма развитого интеллекта и высоких духовных устремлений. Самая возвышенная и романтическая любовь подогревается побуждениями плоти (иногда подавляемыми), а если их нет, то это проблема для психиатра. Сексуальная энергия влечет человека не только к занятию самим сексом, но влияет вообще на все его поведение. Она может быть разрушительной (в войне и спорте) и созидательной, источником колоссального вдохновения и высших достижений в искусстве. Любое произведение литературы, музыки или живописи, сочиненное без участия сексуальной энергии, бездарно. Секс изображать можно и нужно, но именно потому, что это одно из наиболее сильных переживаний человека. Изображение это (как и изображение, например, смерти) удастся не каждому. Очень легко впасть в пошлость (что с большинством изобразителей и случается). Именно поэтому человеку не очень талантливому эту тему стоит обходить как недоступную.

А в литературе (нашей и ненашей) за нее берутся все, кому не лень, поэтому сексуальные сцены ничем не отличаются от физиологических отправлений, которые со стороны могут вызвать только брезгливость. Изображение секса в литературе и особенно в кино часто диктуется не наклонностями авторов, а практическими интересами. Каждый режиссер знает, что отсутствие в его картине постельной сцены обязательно скажется на количестве зрителей и на коммерческом успехе, фактор, который он, режиссер, игнорировать не может. Не будет коммерческого успеха — не будет денег на следующую картину, не станет режиссера.

— Очень кстати, что мы заговорили о кинематографе. Как вы, Владимир Николаевич, относитесь к экранизации своих произведений? Вот уже два из них, «Шапку» и «Чонкина», попытались сыграть. В чем недостатки и преимущества «экранизованной литературы»?

— Ну, как автору текстов мне вообще угодить невозможно. При переработке текста из романа в сценарий (я сам написал много сценариев) всегда приходится чем-то жертвовать, и вообще литература на экран непеносима, в большей степени это относится к «Чонкину», в меньшей к «Шапке».

— «Шапка» гораздо короче, а потому динамичней.

— Конечно. Но дело в том, что любая книга несет в себе гораздо больше, чем ее возможная экранизация, книга должна быть глубже, должен быть подтекст, авторская мысль. Да и вообще я считаю кино искусством вторичным и по преимуществу совершенно несравнимым с литературой.

— Владимир Николаевич, ведь литература — не только тексты, но и люди, эти тексты производящие. Как складывались ваши отношения с писателями старшего поколения — Слуцким, Смеляковым, Самойловым — до вашего отъезда?

— С Борисом Слуцким и Давидом Самойловым у меня были очень хорошие отношения, я их очень любил и сегодня считаю Слуцкого, например, одним из самых крупных поэтов последних десятилетий. Да и Самойлов, по-моему, замечательный поэт, просто Слуцкий

более резкий, отчетливый. А вот со Смеляковым отношения складывались довольно странно, как таковых отношений и не было. Просто, когда меня принимали в Союз писателей, Смеляков был одним из членов приемной комиссии, а несколько позже мы столкнулись с ним в дверях Дома литераторов (я вообще тогда частенько туда заглядывал, мне это как-то льстило, потом это прошло с возрастом); так вот: столкнулись мы с ним, а он мне: «Проходите, пожалуйста», — ну, я ему: «Да что вы, Ярослав Васильевич, это вы проходите», — а он мне: «Нет уж, вы проходите, ведь вы великий поэт, а я, — говорит, — говно». Ну я и прошел, хотя, честно говоря, у меня никогда не было никаких иллюзий насчет своего поэтического дара, да и в Союз писателей меня приняли уже как прозаика, кетати, хотя и упоминалась моя тогда знаменитая песня «Я верю, друзья, караваны ракет...». Но несколько позже я сидел в том же ЦДЛ, по-моему, с Самойловым, и подошел Смеляков, сел рядом, а я его и спрашиваю: «Ярослав Васильевич, что я вам сделал плохого, что вы ко мне придираетесь?» — а он начал извиняться, ссылаясь на свое нетрезвое состояние, так мы с ним и помирились. Но великим поэтом я его не считал и не считаю, хотя меня кто-то и пытался в этом убедить. А вот со Слуцким и Самойловым у меня были хорошие отношения, правда, наверно, близкой дружбой это назвать нельзя.

— А близкая дружба была у вас? Я имею в виду все-таки дружбу в литературе.

— В начале пути я очень близко дружил с Камиллом Икрамовым, человеком необычной судьбы даже для нашей страны. Он был сыном первого секретаря ЦК ВКП(б) Узбекистана, Акмаля Икрамова, расстрелянного в 30-е годы, мать тоже погибла в тюрьме, причем погибла от пыток, да и его самого в тринадцатилетнем возрасте тоже посадили. Мы с ним встретились в педагогическом институте. Я себя уже считал старым, мне было двадцать пять лет, я был после армии, а он был даже на пять лет старше меня, после тюрьмы, после реабилитации. Он производил впечатление очень благополучного человека, ходил в длинном суконном пальто с каракуле-

вым воротником и был поэтому похож на секретаря обкома партии. Но на самом деле это был трогательный, добрый человек, знаток поэзии, на первых порах очень поддерживавший меня своими похвалами, потому что я человек неуверенный, а это помогало мне обрести некоторую уверенность. Камил Икрамов был моей ранней литературной дружбой, а потом я подружился и сейчас дружу с Булатом Окуджавой, Татьяной Бек, Беллой Ахмадулиной, Борисом Мессерером, Бенедиктом Сарновым. Беллу Ахмадулину помню года с 58-го, когда она училась в Литературном институте, куда я приходил на семинары Коваленкова, а иногда чтобы специально посмотреть на Ахмадулину, она ведь очень красива. Но тогда мы с ней не познакомились, это произошло много позже, в 70-е годы, когда я был в опале и далеко не все хотели со мной дружить. Но некоторые все-таки хотели и поддерживали меня в самые трудные времена. Это были те люди, которых я перечислил, и другие. Из писателей еще покойный Владимир Санин. Очень близкими мне людьми были художник Борис Биргер, физик Валентин Петрухин.

— Говорят, стихи Ахмадулиной очень любил Юрий Андропов.

— Я не знаю, сомневаюсь. Дело в том, что этому человеку приписывают какие-то черты, которых у него, на мой взгляд, не было. Хотя все может быть. Он ведь сам пописывал графоманские стишата, даже был какой-то фильм о нем, это ужас просто. В прихожей у него стояла статуя Дон Кихота, а сам он был человек мерзкий и бездарный. Ведь это интересная тема для разговора — диктатор и искусство. Практически все мировые тираны сами чего-то творили и тянулись к прекрасному. Возьмите хотя бы Сталина. Сталин-то писал стихи, когда он еще не был диктатором, в молодости, и, между прочим, ему хватило вкуса отказать от предложений быть напечатанным, уже когда он был великим вождем. Один раз даже был составлен сборник, но он приказал его уничтожить. Сталин действительно читал литературу, он был человек злобный, но знающий литературу и русскую, и мировую в тех пределах, в которых ее тогда изучали.

А что касается Андропова, то такие изощренные полицейские, как он, обычно бывают о себе очень высоко-го мнения, они подобны Дон Кихоту, сражавшемуся с мельницами, только со злым сердцем, именно поэтому они сражаются со своим народом, используя для этого огромный карательный аппарат. Он был палач, а не Дон Кихот.

— Владимир Николаевич, что встретило вас в Германии, чего вы ожидали и что получили? Как складывались отношения в эмигрантской «окололитературной среде»?

— Дело в том, что, когда я попал на Запад, меня очень многое удивило: их незнание того, что происходит в Советском Союзе, и вообще плохое представление о нем. Даже в тех кругах, в которых мне пришлось вращаться, совершенно не слышали, кто я такой и как я сюда попал, что было для меня странно, потому что еще в годы моей жизни в Москве обо мне очень много и часто говорили всяческие их радиостанции. Отсюда я сделал вывод, что и «Голос Америки», и Би-би-си могут хоть надорваться, но ни в Америке, ни в Англии вас никто знать не будет. Еще я был очень удивлен странными вопросами, задаваемыми мне: однажды я выступал в Мюнхене, в Академии изящных искусств, и подошедший ко мне впоследствии очень известный журналист спросил: «Профессор Войнович, как вы думаете, будут в ближайшее время улучшаться отношения СССР и Германии?» А я ему и говорю: «Обязательно будут», а что еще можно ответить?

— Да, диалог не больно-то содержательный.

— Другой случай: приходит ко мне корреспондентка одной популярной газеты антикоммунистического направления. В то время наши знакомые предложили нам пожить в небольшом домике на территории их имения, домик ничего особенного: три небольшие комнаты и кухня. «Ой, какая у вас здесь квартира! Вы, наверно, никогда в жизни не видели такой роскоши?» — восклицает пришедшая журналистка. Я говорю: да нет, видел гораздо лучше, даже у меня в Москве была квартира качеством лучше. А дочери моей, семилетней Ольге, эта кор-

респондентка задает вопрос: ну ты ведь, наверно, не скучаешь совсем по своим московским друзьям? Оля отвечает: нет, как раз очень скучаю (а прошел, может быть, месяц, как мы приехали). Несколько позже эта газета написала, что я никогда в жизни не видел такой шикарной квартиры, не ел такой великолепной колбасы, хотя я говорил, что это все мне не интересно. То есть она написала то, что захотела, с таким же успехом можно было не спрашивать меня ни о чем, а просто написать, и все.

— Выходит, что журналистская непрофессиональность и бездарность — явление интернациональное и даже от социального строя не зависящее.

— Интересно, что, когда я приехал на Запад, обо мне писали только консервативные газеты, а так называемые «левые» меня игнорировали. Например, газета «Ди Цайт» вообще не заметила моего существования, хотя до моей эмиграции замечала. Из-за чего, впрочем, произошли разные нелепости. Однажды в Москве я давал интервью корреспонденту газеты «Ди Цайт», где обмолвился, что меня дважды не приняли в Литературный институт, и второй раз потому, что посчитали мою фамилию еврейской, хотя на самом деле она не еврейская. После моего приезда в Германию журнал «Штерн» сообщил, что Войновича всегда преследовали в СССР, потому что он еврей. Я написал опровержение, где сообщал, что несмотря на то что моя мать была еврейкой, мои разногласия с советским строем заключались совершенно не в этом. Тем более что по паспорту я всегда был русским. Но, разумеется, никаких письменных опровержений не последовало, и позднее я получил письмо от каких-то своих югославских старушек-родственников, которые говорили, что к евреям ничего дурного не имеют, но раз я еврей, значит, родственниками мы быть не можем. Кроме того, после этого мое «еврейское происхождение» попало в какие-то справочники, и статьи из этих источников выглядят примерно так: Войнович долгие годы страдал в Советском Союзе из-за своей еврейской фамилии и в конечном счете вынужден был эмигрировать. Мне было крайне неловко это читать: я

эмигрировал по другим причинам. Ведь совершенно очевидно, что евреев здесь все-таки преследовали не настолько, чтобы им приходилось бежать из-за одной фамилии.

— В любом случае ваше изгнание (все-таки в вашем индивидуальном случае это слово точнее, нежели «эмиграция») было вовсе не этого рода. Им завершилось ваше мощное одинокое рискованное сопротивление.

— Это вам ясно. А ведь было множество смешных случаев. Когда я пришел брать немецкое гражданство, уже прожив полгода в Германии, меня спросили: «А вы, собственно, кто, чтобы мы предоставляли вам политическое убежище?» Я им рассказываю, мол, так и так, я писатель. «А как вы оказались в Мюнхене?» — спрашивают. «Я прилетел по приглашению Баварской Академии искусств». — «Так не бывает, все, кого преследуют по политическим мотивам в СССР, сначала приезжают в Вену по приглашениям из Израиля». Меня это так возмутило, что я предположил, что они, вероятно, просто не компетентны разговаривать со мной и вообще плохо представляют себе сложившуюся ситуацию. На что последовал ответ: нет, мы готовы с вами разговаривать, просто мы вам не верим. Не верят и отказываются принять за доказательство политического преследования тот факт, что меня лишили советского гражданства. Я, разумеется, разозлился и сказал, что дальше с ними продолжать беседу не намерен. А со мной был немецкий адвокат, который постоянно шептал мне: «Тише, тише». Я говорю: «Я не хочу «тише, тише», я хочу «громче, громче», я с этими людьми разговаривать не желаю». А помимо этого, там необходимо было проходить несколько кабинетов и ставить какие-то штампы. В общем, все это напоминало советский ОВИР. В конце концов я попал к одному человеку, который, по-видимому, был из их службы безопасности и потому находился за соответствующей железной дверью. Внутри разрешили зайти только мне одному (добровольно согласившийся меня сопровождать адвокат остался за дверью), и начался допрос. «Закройте дверь. Вы говорите, что вас преследуют в Советском Союзе, а как вас преследуют?» Я говорю:

«Меня лишили гражданства». Вопрос: «А кто вас лишил гражданства?» Я отвечаю: «Брежнев». Он: «Прямо Брежнев, лично?» Я говорю: «Да, Брежнев, лично; подписал указ лично Брежнев». Он говорит, опешив: «Правда лично Брежнев? — вскакивает со стула, расплывается в улыбке. — А что же вы стоите, садитесь. А это там за дверью ваш адвокат, да? А что же вы сразу не сказали?» На этом мои хождения по коридорам закончились, но убежища и соответствующего паспорта мне пришлось ждать еще несколько месяцев, хотя мне ввиду очевидности ситуации должны были дать паспорт немедленно. А тут не только паспорт не дают, а еще объявляют о разных ограничениях. Полицейский чиновник сказал, что до получения убежища я не имею права покидать округ, в котором живу, не имею права даже ездить из своего поселка в Мюнхен. Я сказал, что ездить буду: на следующей неделе выезжаю в США и спрашивать разрешения ни у кого не собираюсь. Он, смутившись, сказал: «Ну, вам можно». Хотя у них там не принято, чтобы кому-то было можно, а кому-то нельзя, закон для всех одинаковый.

— Владимир Николаевич, а какие у вас сложились отношения с братьями-эмигрантами?

— С нашими эмигрантами у меня в основном не заладилось. Незадолго до меня приехал Лев Копелев. Он хорошо говорил по-немецки, дружил с Генрихом Бёллем и все такое. Он появился в Германии как самый крупный русский писатель, сотрясатель основ и властитель дум и начал везде говорить, что лучшие писатели остались в России, а здесь, мол, нет ни одного приличного. Его спрашивали удивленно: «А как же вы?» — «А я, — говорил он, — вообще не писатель» (что правда). Копелеву как эксперту очень верили, и у части немцев складывалась картина, по которой лучшие писатели остались в России, а худшие приехали сюда. Из худших лучший Копелев, но и он не писатель, а что же говорить об остальных! Вообще эмигрантская литературная среда выглядит смешно и жалко: то же соревнование, что и на родине, но в более мизерабельном виде на тему: «Я лучше всех». Я от своих собратьев держался в стороне. Жил в деревне и общался с местными жителями.

— В Америке вы работали, кажется, в Принстонском университете?

— Недолго. Со смешными последствиями. Однажды я где-то в шутку перечислил этапы своей карьеры: работал пастухом, плотником, солдатом, профессором Принстонского университета, и после этого мое профессорство попало в какую-то русскую энциклопедию (вместе с неверной датой моего рождения), и так это начало кочевать из одной статьи в другую: Войнович — профессор Принстонского университета, хотя профессором я был лишь год, причем профессором липовым и давно, лет пятнадцать назад.

— А почему вы вдруг обосновались в Германии, если сами говорите, что вас там не хотели принимать? Почему не Америка или не Франция?

— Дело в том, что еще за четыре года до моего отъезда из СССР меня приняли в Баварскую Академию искусств, и было приглашение в том числе и оттуда. А позднее я хотел остаться в Америке, но мы уже в Германии пожили, и жена захотела остаться там, в Европе.

— Позволила ли жизнь в Германии вам считать себя европейским писателем, в курсе ли вы немецких обще-европейских литературных процессов?

— Да нет, не очень. Несмотря на то что я читаю по-немецки, все равно это для меня напряжение, к тому же я не успеваю следить за событиями в России, а ведь все, что происходит здесь и в литературе, и в политике, гораздо интереснее. Интереснее по многим причинам: во-первых, в Европе жизнь уже устоявшаяся, во-вторых, неизменная, то есть от моего политического выбора там ничего не изменится, а тут изменится. Правда, мне присылают иногда книги на рецензию, но так или иначе это касается России.

— В таком случае задаю вопрос касательно общих тенденций развития литературы только в России.

— Я думаю, что вы это лучше меня знаете. Мне кажется, что литература до сих пор еще не оправилась от шока и находится в некоторой растерянности. Раньше, при советской власти, существовала некая система и все люди, и любившие коммунистов, и не любившие их,

прекрасно себя чувствовали. Присутствовала особая, всем понятная, семиотическая система: вы могли описывать ромашки или божьих коровок, а читатель понимал, что ваше произведение написано против советской действительности. Была очень распространена аллюзия, подтекст. Например, в моей повести «Два товарища» в одном из эпизодов диктор читает стихотворение Пушкина таким голосом, будто передает сообщение ТАСС, и понимающему читателю становится очевидно, что я вовсе не восхищаюсь «нашей» жизнью, несмотря на всю «советскость» написанного. По этому поводу был такой анекдот: «Что такое аллюзия? Это когда ты смотришь научно-популярный фильм о красотах Кавказских гор, великолепии ледников, чудесных водопадах и думаешь: а все-таки Брежнев сволочь». Таким образом люди жили в системе определенных знаков и ценностей, например, в театре играют «Гамлета», принц выходит и говорит: «Не все в порядке в Датском королевстве», и все понимают, что речь идет не о Дании, а о Советском Союзе, и либо совершенно замолкают, либо, наоборот, громко аплодируют.

Да, и вообще в СССР было множество нелепостей: в начале 80-х годов был запрещен фильм о Шерлоке Холмсе, потому что в первой же серии, когда Холмс и Ватсон знакомятся, детектив говорит: «Я вижу, что вы приехали из Афганистана, ибо, судя по палке, рану вы получили недавно, загар свидетельствует о том, что вы находились на юге, по выправке видно, что вы бывший военный, значит, вы ранены в последней кампании в Афганистане».

— По-моему, это тоже анекдот. Во всяком случае, в романе и фильме фигурирует Индия. Но все-таки раз появляются анекдоты, значит, есть некая традиция.

— Разумеется, и Конан Дойл как представитель антисоветской литературы тоже. И вдруг появилась необходимость отрешиться от этой привычки. Надо описывать новую, еще не устоявшуюся окончательно действительность. Как, например, описывать цены, если сегодня это сто рублей, а завтра тысяча? Так что мне кажется, что нынче для русской литературы очень неудобное вре-

мя, преобладает какая-то растерянность, чернуха, описание экскрементов и т.д. Но я думаю, что со временем все устоит и вольная литература еще даст о себе знать.

— А вы сами были антисоветским писателем?

— Я себя никогда антисоветским писателем не считал, поэтому мне кажется, что я сам при крушении Советского Союза немного потерял. Это само по себе было трагедией и для советских, и для антисоветских писателей, сделавших себе имя на защите или отрицании коммунизма. Меня же сделали антисоветским писателем просто потому, что я, по мнению одного критика, упомянутого в «Замысле», слишком реалистически описывал действительность. Что же тут подделаешь, если советская реальность по сути своей была антисоветской. Еще в начале 80-х годов в Нью-Йорке я говорил, что очень бы не хотел быть антисоветским писателем, потому что надеюсь пережить советскую власть. Что и случилось.

— Вообще, если поразмышлять, то все антисоветское. Все хорошее: кино, театр, литература — антисоветское. Все плохое: быт, служба, тюрьмы — тоже антисоветское. Может быть, тогда антисоветчики те люди, которые придумали этот термин, которые придумывают другие эпитеты с приставками «анти». Например, прозаик Есин ввел недавно новый термин «антирусский интеллигент», обозвав им прекрасного человека, правозащитника С.А. Ковалева. Может быть, теперь все, кого они раньше называли «антисоветскими ублюдками», должны перекалфицироваться в «антирусских»?

— Это ректор Литературного института, что ли? Ну, он может выдумывать все, что угодно. На самом деле люди, которые ищут везде русофобов, сами русофобы, пытающиеся навязать русскому народу образ жизни, ведущий к катастрофе. Агрессия по отношению к соседям, изоляция приводят любую страну в состояние упадка. Все эти ура-патриоты объективно действуют против своей собственной страны.

— «Патриотизм — это последнее прибежище подлеца», — писал Толстой.

— Это не его высказывание. Толстой его цитиро-

вал. Но это так. Ведь мир сегодня гораздо богаче интеллектуально, чем какая-либо нация в отдельности. Весь мир породнился. И те страны, которые не дают шовинизму развиваться, процветают. Америка, например. Презирать все иностранное значит не уважать собственную историю. Русские флотоводцы Беринг, Беллинсгаузен, Крузенштерн, тот же Войнович, наконец, все это представители нерусских национальностей. А филологи: Бодуэн де Куртэнэ, Даль!.. Иностранцы обогатили русский язык и дали письменность. Сколько сделали они для возвышения русской культуры в целом! Поэтому на все обвинения в «антирусскости» можно было бы не обращать внимания, если бы они порой не выглядели так зловеще. Но я не анти-какой. Может, я иногда излишне ироничный, но я ироничен и к самому себе, поэтому, когда я описываю Сим Симыча Карнавалова, я не анти-солженицынец, как меня многие представляют.

— Ну вот, хотя сегодня и не 2042 год, а ваш Сим Симиыч вернулся на родину. Произошло ли это так помпезно и харизматически, как вы описывали, или же все было как-то бледнее? Культ Солженицына прошел?

— Давайте для начала не путать персонаж и прототип. Культ личности Солженицына в значительной мере прошел, он сам его разрушил. Просто не оправдал ожиданий своих поклонников, народа, который его ждал. Такой колоссальный культ может сохраняться только в том случае, если предмет обожания находится в каких-то заоблачных вершинах, подобно Волшебнику Изумрудного Города. А он не Бог, а человек, и при этом очень противоречивая личность, заботящаяся о выражении собственного лица и лица своей супруги. А когда он начал выступать по телевидению, рассуждая о необходимости разделения Казахстана, об обустройстве казачьих станиц, об украинском языке, в общем, оказался специалистом во всех областях, большинство людей просто потеряло к нему интерес. Но если говорить более общо, то я бы хотел, чтобы в России исчезла почва для возникновения культа личности, чтобы все люди понимали, что Сталин или Солженицын не какие-нибудь сказочные богатыри (во что, кажется, они сами верили), а про-

сто люди. Такие же, как и все: просто президент или просто писатель.

— Или литератор. Андрей Битов недавно высказал мнение, что Пушкин был скорее литератором, нежели просто поэтом. Кем вы ощущаете себя — прозаиком, публицистом, поэтом или тоже литератором?

— Меня терминологические тонкости не интересуют. Несмотря на то что в основном я прозаик, я писал стихи, песни, пьесы, киносценарии, фельетоны, сказки, мемуары и критику. Да, я профессиональный литератор, просто это же можно объединить и в термин «писатель». А вот два года назад я начал рисовать, и по этим картинкам можно судить обо мне и как о литераторе. В живописи, как и в литературе, я пробую все. Мне говорят, что у меня нет стиля. Может быть, я художник начинающий. И все же я предпочитаю говорить, что все картины написаны в разной манере, но какой-то общий стиль, позволяющий определить авторство, есть. Я думаю, что в литературе то же самое.

— Существует ли для вас понятие родины, может, литературной родины?

— Я человек смешанного происхождения, а родился в Таджикистане. До какого-то времени мои сербские, еврейские и другие корни не имели никакого значения. Но объективно у меня не было ни одного места, где я бы жил больше шести лет: Душанбе, Украина, Ленинабад, где-то еще, где-то еще, потом Москва. В Москве до отъезда я прожил двадцать четыре года и считал себя москвичом. А вообще я всегда считал себя россиянином и даже русским, стопроцентно русским, потому что все эти подсчеты процентов крови абсолютно неверны. Мне в 1980 году сделали операцию на сердце, во время которой перелили всю кровь. Так что теперь во мне течет немецкая, а скорее всего турецкая кровь (турки — основные доноры в Германии). Мои предки по отцовской линии — сербские дворяне, венецианские дожи, австрийские военачальники (один австрийский генерал во время Первой мировой войны упоминается в «Похождениях Швейка», другой, Петр Войнович, был австрийским писателем и, наверное, считал себя австрийцем, а не сер-

бом). Вообще, что такое национальность, никто толком не знает, поэтому человек должен признаваться тем, кем он сам себя ощущает. В связи с происходящим объединением Европы есть предложение ввести новую национальность — европеец. Вот мне это подходит. Среди моих предков многие были путешественниками и любили переселяться из одной страны в другую. Мне тоже пришлось поездить. Когда я поехал по миру, мне было сначала очень непривычно, даже страшновато. А сегодня мне вообще все равно, где жить. Здесь жить интересно, потому что в России происходят самые драматические события, но сидеть и писать все равно где. Я сегодня в Мюнхен езжу, как на дачу: сажусь в самолет и через два с половиной часа уже там. Тише и проще жить в Германии, но интереснее здесь.

«ТЕПЕРЬ ПРАВДУ МОЖНО ПОИСКАТЬ В ДРУГИХ МЕСТАХ...»

Интервью Илье Мильштейну

КРОВЬ, ПОЧВА, МИЛОШЕВИЧ

— Что такое родина, Владимир Николаевич?

— С чего начинается родина? И чем кончается? На такие вопросы я, признаться, с трудом отвечаю. Моя фактическая родина — Душанбе, но никакой почти ностальгии я по этому городу не испытываю. Есть общий набор слов о книгах, культуре и языке, но если я начну говорить на эту тему, то ничего нового не скажу. Кроме того, сегодня это понятие усложнилось: огромные массы людей уезжают из своих городов, покидают свои страны и теряют чувство родины.

— Москва для вас — родина?

— Да, родина, но я переехал сюда в 24 года. И той Москвы давно уже нет.

— Есть точка зрения, что родина — это кровь, которая течет в жилах. И вспоминаешь о ней, когда дома, где живут соотечественники, творится что-то неладное. Помню, что вы довольно быстро и жестко откликнулись на войну НАТО против Югославии. Для вас лично тогда имело значение, что вы серб по отцовской линии?

— Свое происхождение я всегда помню. Но для меня кровь — дело десятое. Я был не за сербов и уж тем более не за Милошевича, я был за справедливость. Меня так родители воспитали. Если я приходил со двора побитый, то они не спешили искать обидчика своего сына. А если я кому-то вмазал, тоже не торопились меня поздравлять. Для них было важно, из-за чего случилась драка и кто был прав. И если оказывалось, что я не прав, то мне от родителей доставалось, и правильно! Если самый близкий мне человек кого-нибудь обижает, то я буду на стороне обиженного. Я считаю (и мое происхождение здесь ни при чем), что НАТО совершило чудовищную и бессмысленную акцию, которая нисколько не навредила Милошевичу, а, скорее, помогла подольше задержаться во власти. Запад, по-моему, действовал по очень глупому принципу: давайте, мол, набьем морду сербам, чтобы Милошевич из-за этого страдал. А Милошевичу было все равно! Да и теперь, когда его скинули, продолжают какие-то глупые и совершенно безнравственные попытки «перевоспитать» сербов. Запад дает Югославии 200 млн. евро, а если те выдадут Милошевича, то обещают добавить еще 2 млрд. Это же растление целой нации! Западные политики хотят, чтобы сербы живого человека продали им за деньги. А по-моему, Милошевича если судить, то только в Белграде. И когда-нибудь сербы его осудят, только не надо их покупать и подталкивать...

— А когда на Ближнем Востоке заваривается очередная каша, вы вспоминаете о своей еврейской «половинке»?

— Я о ней не забываю. Но, повторяю, я всегда сочувствую несправедливо обиженным. И ненавижу насилие, жестокость и суд толпы. Я ненавижу палестинцев, которые линчевали израильтянина. Ненавижу не за то, что они палестинцы, а за то, что они негодяи. Я ненавидел бы и израильтян, если б они сделали что-нибудь похожее с беззащитным палестинцем. Я с одинаковым отвращением отношусь к убийцам и погромщикам любой национальности.

— Короче говоря, родина — это вовсе не кровь. А дом, где вы живете, где вас любят...

— ...и где ненавидят, между прочим, тоже. С таким накалом ненависти, какой бывает в России, я никогда не столкнусь ни в Сербии, ни в Израиле, ни уж тем более в Мюнхене. И, конечно, только в Москве ко мне может подойти какая-то дура с телевидения и поинтересоваться, считаю ли я себя русскоязычным писателем или не считаю.

— Что вы ей ответили?

— Вежливо, к сожалению, ответил. А надо было сказать, что она дура.

— Мюнхгаузен рассказывал про Россию. Немецкого читателя вы себе представляете?

— Представляю. У меня все-таки среди немцев много друзей и знакомых, с которыми мы общаемся, как говорят, домами. К тому же бывают публичные выступления с вопросами и ответами. В целом у немцев заинтересованное, но довольно причудливое, ироничное представление о России, о русских, о русской литературе. Как и у нас о них, если судить по описаниям немцев нашими классиками, вспомним гоголевских Шиллера и Гофмана или лесковского Гуго Пекторалиса.

— Наверное, история так сложилась, что русские с немцами все время друг друга смешили?

— У меня есть теория на этот счет, связанная со знаменитым бароном Мюнхгаузеном. Ну, всем известно, что барон — это фигура реальная, он служил в России, потом вернулся в Германию и стал героем разнообразных анекдотов и небылиц. Так вот, я думаю, что это был правдивейший человек. Вернувшись, он честно рассказывал о том, что видел в России. Но это немцам показалось настолько неправдоподобным, что они стали над ним смеяться, а уж потом, после его смерти, начали придумывать небылицы, как им казалось, «в духе Мюнхгаузена»: про полет на луну, про лошадь на куполе церкви, про то, как он себя из болота вытаскивал за волосы...

— А с российским читателем у вас как отношения складываются?

— Читатель наш, конечно, изменился, но иначе и быть не могло. Дело в том, что стремительные переме-

ны, случившиеся в стране и в мире, не могли не сказаться на публике. Причем тут многое совпало: и освобождение страны, и компьютерная революция, и Интернет. Человек оказался в обществе, где резко уменьшилась потребность в чтении. Раньше ответы на коренные вопросы он искал в книгах, больше негде было... К писателям ходили, как к Ленину ходоки. Теперь правду можно поискать в других местах: в церкви, у адвоката, у психиатра, у сексолога. Раньше писателям, в особенности советским, совсем не мешал телевизор: он был хороший, маленький, черно-белый, по нему показывали программу «Время», а в ней выступал Леонид Ильич. Человек посмотрит-посмотрит на Брежнева и опять за книгу берется, да?

— А можно было и не выключать. «Чонкин» очень хорошо читался под отчетный доклад...

— Верно. А теперь телевизор у всех большой, цветной и набитый мыльными операми. Между прочим, любимое чтение нормального человека — это роман, а не рассказ и не стихотворение; мыльные оперы с успехом заменяют эту вымышленную долгую жизнь с вымышленными героями, превосходя книгу в смысле наглядности. Кроме того, раньше человек, особенно советский, ходил на работу, чтобы ничего там не делать. Ничего неделание — занятие тяжелое, и хотя бы от скуки совслужащий читал книгу. Теперь, в частной фирме — он бездельничать не может, потому что выгонят, придется работать. А если это человек инициативный, то он и после службы ищет возможность заработать, так что на книги просто времени не остается. И лишь когда у него выпадает время в отпуск съездить, он берет с собой на Канарские острова детектив, чтобы в самолете или на пляже прочесть и выкинуть.

ЧОНКИН ЖИЛ, ЧОНКИН ЖИВ

— Грустная картина. Не скучаете по брежневским временам?

— Не скучаю. Тем более что я в них был вообще запрещенным писателем и персоной нон грата в своей

стране. И особо хочу подчеркнуть, что я — сторонник свободы, хоть она и действует губительно на отношение людей к литературе.

— А почему так?

— Не знаю. Я бы сравнил писателя с врачом, который совершенно необходим людям во время чумы. Пока длится эпидемия, пока, рискуя жизнью, он ходит по чумным баракам, его имя у всех на устах, и он пользуется огромным уважением в обществе. А после эпидемии он никому не нужен, потому что всякие насморки и ангины другие врачи лечат лучше его. И он, наверное, чувствует себя потерянным. Но не может же он желать возвращения чумы. Вот я и не желаю.

— Все же книги ваши выходят регулярно, хоть и небольшими тиражами. На эти деньги писатель Войнович может жить?

— На эти деньги — нет. Но пока писатель жив, возникают разные побочные источники доходов, которые связаны с профессией. Например, вы написали роман, а вам предложили сделать по нему сценарий. Или пьесу. Или написать эссе для богатого журнала с глянцевого обложкой. Но в целом, конечно, в России гонорары очень скверные. А на Западе, если печатают и переводят, то как-то перебиться можно. Я иногда пишу для западных газет статьи. Кроме того, обычное дело для писателя — это выступления. Я выступаю и в России, и на Западе, причем даже у нас иногда платят вполне приличные деньги, особенно почему-то в провинции, а не в Москве. Иногда меня приглашают в Америку, реже в Израиль.

— Простите, задам неделикатный вопрос: у вас нет чувства, что слава ваша проходит и это — неотвратимый процесс?

— Хотите верить, хотите — нет, я никогда не стремился к широкой славе. Например, к тому, чтобы меня узнавали на улице. Хотя все равно узнают. Но это, правда, не писательская, а телевизионная «слава». И такой известности вообще грош цена. Должен еще сказать, что имя Чонкина по-прежнему кое-что значит, и я даже надеюсь, что его не скоро забудут. Потому что он не из тех героев, которых читатели сразу выкидывают из памяти.

Многих других моих героев, тоже дорогих мне и близких, возможно, забудут, а Чонкин пока останется... Ну, и я при нем.

— Вам нравится, когда вас узнают на улице?

— Мне это неприятно. Например, я часто езжу в метро, и мне вовсе не хочется, чтобы на меня там кто-нибудь пялился. Или приставал. Бывают такие люди, которые обязательно всплеснут руками и заорут на весь вагон: «Как? Это вы?! Неужели в метро...» Не знаешь, куда деваться. Так что я смиренно принимаю падение читательского интереса к литературе вообще и к себе в частности. Но в этом общем процессе я не стою на последнем месте. Меня все равно читают. Конечно, миллионные перестроечные тиражи, которые я захватил уже на излете, не повторяются, но по нынешним временам мои книги издаются совсем неплохо. И, главное, их все время допечатывают. А «Чонкин» вообще издается без конца — и в России, и в Германии, и в Америке. Четверть века эту книгу переиздают! Да и «Москва 2042» все еще популярна. Пьеса «Кот домашний средней пушистости», написанная в соавторстве с Григорием Гориным по моей повести «Шапка», уже больше десяти лет идет в «Современнике» и всегда с аншлагом. Театр «Игроки» поставил недавно очень хороший спектакль по моей повести «Путем взаимной переписки», и эта вещь, написанная тридцать лет тому назад, не выглядит устаревшей.

— Еще суровой спрошу: по-вашему, Чонкин сегодня смешон?

— А вы плохо спросили. Вы хотели сказать: смешной ли он? Ну, я не знаю! Читатели смеются. Некоторые даже хохочут.

— А кому интересен Сим Симиич Карнавалов, когда мало кого волнует даже его прототип?

— Нет, интерес к прототипу, я бы сказал, еще не угас. А если и угаснет, то это на книге отразиться не может. Жизнь литературного персонажа от прототипа никак не зависит, и вообще их можно друг с другом не связывать. Когда я читаю про писателя Кармазинова, мне все равно, похож он или не похож на Тургенева. Мне

просто интересно и смешно. А к «Москве 2042» интерес в последнее время даже возрос, многие вспомнили эту книгу после встречи Солженицына с Путиным. Кстати, у меня в романе Сим Симыч телевизор называет гляделкой, а Солженицын после встречи с президентом давал интервью Сванидзе, по телевидению ругал телевидение (и правильно), а телевизор назвал поглядкой.

ПИАР ПОСЛЕ ЧУМЫ

— Когда-то в диссидентских кругах точно, даже поименно знали, кто эти люди — «лучшие представители творческой интеллигенции». Сегодня все как-то неясно и размыто. Сегодня это те, кому Б.А. Березовский предложил акции ОРТ. Вам, кстати, не предлагал?

— Нет, к сожалению или к счастью, он мне свои акции не предлагал. Если говорить серьезно, то Борис Abramovich правильно про меня не вспомнил, потому что я бы точно отказался. И давайте не забывать, что этот список лучших людей отражает вкусы одного Березовского.

— Разве? А по-моему, «список Березовского» в небольшой степени отражает нынешние общественные вкусы. Потому что сегодня, при всеобщей нашей замороженности, почти всякий очень известный человек становится «властителем дум». Вне зависимости от того, почему он стал известен. Даже еще вопрос, кто знаменитее: Фазиль Абдулович или Доренко...

— А я бы опять воспользовался этой аналогией, сравнив время чумы и эпоху выздоровления. Конечно, в суровые времена определять лучших гораздо легче. Кто противостоит власти, тот и герой. Сейчас с критериями потруднее. Но все равно, взглядевшись и вслушавшись, можно разобраться. Сейчас, я смотрю, некоторые любимцы публики встали в очередь облизывать президента, в расчете, очевидно, на ответное благоволение. Обтупать кое-какие свои делишки им, возможно, удастся, но уважение людей на этом можно и потерять.

— Тут еще одна странность. Знаменитостей много, но подлинных авторитетов в обществе нет. Ни одного.

Лет десять назад мнение известного писателя или актера могло повлиять чуть ли не на исход выборов. Сегодня избиратель никому не верит, меньше всего — интеллигенции.

— Между прочим, я вообще против того, чтобы писатели влияли на мнение избирателей. Это не наше дело. Если американский литератор начнет расхваливать Гора или Буша, на него посмотрят как на сумасшедшего. Может, и мы приближаемся к американским стандартам?

— Как и в прежние времена, свободу слова сегодня зажимает государство. Тут никаких проблем... Но вот саму свободу почему-то олицетворяют люди типа Гусинского и Березовского. С кем быть, Владимир Николаевич?

— С истиной. Понимаете, вся эта наша свобода слова была неладно устроена. Почему некий олигарх должен влиять на политику и состояние умов в огромном государстве? Мы ведь его не выбирали, между прочим. Я не голосовал ни за Березовского, ни за Гусинского и не хочу, чтобы они вмешивались в политическую жизнь. Бывает, и в Германии финансовые и промышленные магнаты пытаются оказывать давление на власть, но делают это с предельной осторожностью. Может быть, они по-тихому подбрасывают деньги какой-нибудь партии, но стремятся, чтобы об этом никто не узнал. Если попадутся — скандал. И уж совершенно исключено, чтобы какой-нибудь немецкий телеканал открыто вел свою отдельную линию и пытался навязать избирателям свой собственный выбор.

— Немцы нам не указ, Владимир Николаевич... Вопрос поставлен в лоб: или ты за Путина, или за Гусинского. За государство, которое давит свободу, или за свободу, которая не платит налогов государству. Выбора никакого нет.

— Если такие люди, как Гусинский, не платят налоги, то тем самым они подрывают экономическую мощь государства. Под шумок, конечно, вместе с Гусинским можно задавить и свободу слова... Но, честно говоря, будь я президентом (не дай бог), я бы тоже требовал со-

блюдения законов. Свобода на самом деле не может быть обеспечена государством, которое не справляется со сбором налогов.

— Но вы же понимаете: если бы глава «МедиаМОСТ» не платил налогов и не отдавал долгов, но при этом поддерживал Кремль, то у него и проблем бы никаких не было.

— Он должен платить долги и поддерживать Кремль, то есть не пытаться играть роль самостоятельной политической силы. А политическая власть будет рыть сама себе яму, если попытается подчинить себе СМИ. Но вообще... когда телемагнаты громко спорят с государством и между собой, то это всегда лучше, чем одна советская власть и никаких дискуссий. Десять сомнительных источников информации лучше, чем один официальный, потому что один, не контролируемый другими, обязательно будет врать. А из десяти я могу выбирать и составлять, как из кубиков, правдивый портрет современности.

— Все к тому идет, что останется лишь один информационный источник. Когда власть добьет НТВ.

— Я думаю, что полностью задавить свободу слова в России уже невозможно. Для этого надо опять устроить в стране 37-й год, посшибать тарелки с домов, сбить телекоммуникационные спутники, вывести Россию из Интернета, изъять у населения факсы, принтеры... Я не могу себе такого представить.

ГИТЛЕРА УЖЕ НЕ ЖАЛКО.

— Недавно вам исполнилось 68. Вы ощущаете свой возраст?

— Такой возраст трудно не ощущать. Но, в общем-то, ничего еще, на ногах стою. Хотя молодые, бывает, при встрече спрашивают взволнованно: «Как здоровье?» Или в сберкассе недавно работница захопотала, глядя на меня: «Да что ж вы стоите? Сядьте, сядьте!» Я удивился: неужели ей кажется, что я вот-вот упаду? Но, в общем, еще держусь, много работаю, на четвертый этаж поднимаюсь без одышки, километров восемь-десять

прохожу быстрым шагом, то есть практически здоров, но возраст есть возраст.

— Бывает, что наедине с собой вы подводите, выражаясь торжественным слогом, предварительные итоги творческой деятельности?

— Знаете, надо с огромным уважением к себе относиться, чтобы в таких выражениях размышлять о пройденном пути... А я отношусь к себе без особого почтения, с чувством некоторой иронии и на некоторых других очень серьезных и уважающих себя граждан тоже позволяю себе смотреть теми же глазами. Имею право.

— «Чонкин» дописан?

— И да, и нет. Может быть, многие не знают, что я задумывал книгу как роман лирический и эпический, с сюжетом, растянутым на многие годы. Потом обстоятельства мне помешали. И я сейчас собираюсь приблизиться к первоначальному замыслу, издать окончательную версию романа, где история героя не подряд, а, как говорят, пятое через десятое рассказывается от 41-го года до начала 90-х годов. Кроме того, у меня понемногу складывается книга воспоминаний — это тоже подведение итогов.

— Эти предварительные итоги вас радуют, обнадеживают, огорчают?

— Я в жизни добился меньшего, чем мог, но гораздо большего, чем ожидал. Лет до 20 я вообще не предполагал, что у меня есть какие-то литературные задатки. Я очень неуклюже писал письма и вообще не любил их писать. Потом, когда начал заниматься сочинительством, я много времени потерял на разную ерунду. Иногда мне не хватало страсти, иногда честолюбия. Я никогда не мечтал о безумной славе, но хотел быть известным в кругу ценителей такой литературы, какую я сам считаю литературой. Это мне вроде бы удалось.

— А что вы называете потерянными временем?

— Ну, все то время, пока я сам не осознал своего призвания. В молодости много гулял, пьянствовал. Играл в шахматы, разгадывал кроссворды и вообще проводил время так, словно оно немерено. Совершал необдуманные поступки, за которые потом приходилось рас-

плачиваться именно потерянным временем. Или когда влюбился в эту женщину (*смеясь и кивая в сторону кухни*), долго бегал за ней, вместо того чтобы писать. А надо было не бегать, а написать такой шедевр, чтобы сама пришла.

— В недавней своей книге «Монументальная пропаганда» вы заметили, что человечество черствеет в процессе истории...

— Да, и отдельный человек в течение жизни тоже. Я это знаю по себе. Например, с детства я не терпел жестокости. И жалел всех людей подряд. Помню, еще в военные годы я вдруг задумался над тем, что бы я сделал с Гитлером, если бы его поймал. Пришла в голову такая идея: запрячь его в телегу и гонять кнутом. И мне его тут же стало жалко, даже расхотелось ему мстить.

— А теперь?

— А теперь — не жалко! (*Смеется.*) Нет, я не стал более жестоким, конечно, но я стал равнодушнее. Когда в течение жизни, особенно в последнее время и особенно в России, видишь столько жестокости, то поневоле сердце черствеет.

ПУТИНА ВЫВЕЛИ В ПАРАНДЖЕ

— Похоже на то, что предварительные итоги жизни, прожитой при демократии, подводит и Россия. Отчего они так неутешительны?

— Во-первых, потому, что демократию нам подарили, никто за нее почти не воевал. Во-вторых, после краткой августовской революции пришли и расселись во власти те же самые секретари обкомов, назначив себе новые должности. В-третьих, советское общество, которое всегда было воровским, превзошло само себя: новое-старое начальство дорвалось до таких кормушек, о которых раньше оно могло только мечтать. Вообще... это исторически закономерно. Когда распускают лагерь, на свободу выходят и уголовники, и честные люди, просто бандиты лучше приспособлены к жизни, чем интеллигенция.

— В той же «Монументальной пропаганде» после-

октябрьская история наша делится на эпохи террора, подвального (Ленин), Большого (Сталин), в пределах ленинских норм (Хрущев), выборочного (Брежнев), предварительного (Андропов) и террора без границ (нынешняя эпоха). Какая из них нравится?..

— Последняя все-таки лучше, но не хотелось бы стать ее прямой жертвой. После крушения советской власти я не устаю повторять: слава богу, что это произошло. Плохо, конечно, что не выплачивают пенсий и зарплат, что «новых русских» каждый день взрывают в их «Мерседесах», но хорошо, что с коммунизмом покончено. Знаете, я как те старушки, которые при Брежневе кричали на своих внучек: «А-а, колбасы вам не хватает, зажра-ались! А мы в войну в землянках жили, лебедой питались!..» Вот и я готов вслед за ними кричать: «Забыли, как при коммунистах пикнуть не могли?» Но, кстати, в наше время те же самые старушки почему-то забыли, как помирали в войну от нищеты и недоедания. И стали ностальгически вспоминать времена, когда за колбасой ездили из Ярославля в Москву.

— Это уже не утешает, Владимир Николаевич, ни молодых, ни старых.

— Да, и я тоже перестал кричать: «А зато свобода!» Порадовались — и хватит. Пришла пора огорчаться тому, что новая система еще не стала человеческой. Но все же она получше прежней, потому что свободней.

— А может, ну ее, демократию? Есть мнение, что самой органичной для нас эпохой была брежневская. Нечто подобное, по мере сил, пытается выстраивать Путин. Население его поддерживает...

— Я не знаю, что пытается выстроить Путин, я этого сам пока что не понял, но если, как говорят, он хочет создать государство с либеральной экономикой, но без гражданских свобод, то из этого ничего не выйдет. У нас многие повторяют, как попки, что Россия страна особенная и должна идти своим особым путем. Она уже это попробовала. Семьдесят лет шла своим путем. Некоторые говорят, что Запад сбил Россию с верной дороги, но было-то все наоборот: и сами шли, и других волокли, и Запад мечтали туда же перетащить. Мы отвергаем запад-

ный опыт, а ведь посмотреть открытыми глазами, и сразу видно, где люди живут лучше. И не только материально. Моральные устои там тоже повыше. Меньше воровства, взяточничества, разводов, аборт. Все-таки каждому, кто честно стремится к истине, пора уж понять, что за мироустройством западным стоят три тысячелетия усилий лучших умов человечества.

— Кто больше похож на вашего Гениалиссимуса из романа «Москва 2042» — Горбачев или Путин?

— Человеческие характеры не меняются, в этом залог бессмертия настоящей литературы... Например, когда я читаю про Обломова, мне кажется, что это про меня написано. Черты Гениалиссимуса можно найти у Горбачева и Ельцина, а уж Путина, как многие мои читатели считают, я предсказал почти один к одному. Можете сами сравнить. Мой Гениалиссимус — молодой, энергичный, генерал КГБ, участник Великой Августовской революции, герой Бурят-Монгольской войны и битвы за Улан-Удэ, много передвигается, решает все проблемы и свободно говорит по-немецки.

— По-человечески он вам понятен?

— Пока не очень. С тех пор как мы его избрали, он еще не успел как следует проявиться.

— Вы его избирали?

— Нет, не избирал, я вообще не ходил голосовать. Потому что я к выборам президента отношусь серьезно. Это ведь даже серьезней, чем выбирать жену. С женой можно расстаться на другой день, если не понравится, а с президентом брак как минимум на четыре года. А нам невесту в парандже Ельцин за ручку вывел и сказал, что она хорошая, но личико как следует не показал. И это личико нам до сих пор полностью не открылось.

— Еще откроется.

— Возможно. Пока сигналы от Путина исходят противоречивые. Я не знаю его намерений, но здравый смысл у него, кажется, есть, да и ситуация такая, что так или иначе ему придется считаться с законами цивилизованного общества. К тому же хилую нашу демократию просто отменить уже нельзя. Как грубо и грустно говорила одна моя знакомая, глядя на расшалившуюся дочь: «Обратно не засунешь».

— Владимир Николаевич, вы отсутствовали на Международном конгрессе писателей по принципиальным соображениям или личным?

— По лени. Я не хочу как бы то ни было обидеть организаторов конгресса, наверное, он был не хуже других, но мне вообще все сборища подобного рода напоминают съезды советских писателей, форумы борцов за мир, никакого реального проку я в них не вижу. Иногда я в чем-то подобном участвую, но сейчас у меня были свои дела, от которых я не позволил себе оторваться.

— Вы считаете, что Союз писателей сегодня бессмысленное учреждение?

— Почти. Допустим, молодому литератору членство в Союзе может быть моральной поддержкой, свидетельством, что его официально признают писателем, а мне это все уже не нужно.

— Писатели перестали быть «властителями душ» — об этом сегодня много говорят. Вас это не смущает?

— Смущает. Будучи лично знаком со всякими видами труда, в том числе и физического, я считаю писательский труд одним из самых тяжелых. Он вообще может считаться подвигом, даже когда происходит во внешнем благополучии. А чем его назвать, когда за него писателя поносят, карают, и иногда довольно жестоко? Перенести все это можно только тогда, когда писатель занимается своим делом, как высоким искусством, и воспринимает его как миссию и как бремя, от которого невозможно освободиться. А если литература становится для общества одним из второстепенных занятий, способом всего лишь более или менее приятного препровождения времени, в таких условиях писатель теряет ощущение высокой цели, а в невысокой не видит ни малейшего смысла.

— А почему так произошло, почему мысль перестала быть силой?

— Причин много. Одна из них в том, что свободное

общество не нуждается в мыслях писателя и его образах так, как закрытое общество. Я сравниваю писателя с врачом, который лечит чуму. Когда гуляет чума, люди нуждаются во врачах, который, сознавая свою миссию, готов войти в чумной барак, заболеть и умереть ради своих пациентов. Люди смотрят на такого доктора, как на Бога, но чума кончилась — и они немедленно теряют к нему интерес. Насморки и ангины другие врачи лечат лучше. «Чумолог» остается не у дел, но он же не может желать возвращения чумы. Вот и писатель не должен мечтать о несвободе. Хотя некоторые вспоминают с вожделием о больших тиражах, заседаниях секретариатов и государственном распределении званий, должностей, наград, привилегий, спецпайков и даже эпитетов, кому считаться великим, выдающимся, замечательным или кем-то попроще. Свобода преподнесла нам сюрприз. Поколения литераторов мечтали о том желанном времени, когда «взойдет она, звезда пленительного счастья», счастья для всех, включая писателей и читателей и того мужика, который «Белинского и Гоголя с базара понесет». А теперь посмотрите, что этот мужик понес!

Литература, конечно, будет существовать, но условий для рождения великого писателя сейчас просто нет, потому что великий писатель рождается в атмосфере, когда он является очень желанным и ожидаемым обществом. А теперь что? Раньше раз в полгода, ну в год появлялась какая-то книга, о которой все говорили, а теперь вот уже лет десять, как никто не замечает, что появилось в журналах или на прилавках. И происходит это совсем не потому, что нет сегодня в литературе ничего значительного. Я уверен, появись сегодня роман, равный «Войне и миру», никто не заметит. Ну появится в какой-нибудь газетенке какой-нибудь невнятный отзыв, и всё.

— Ваш Чонкин, как и Теркин, был носителем национального характера. Сегодня таких героев нет в литературе?

— В литературе их нет, но в жизни сколько угодно и Теркиных, и Чонкиных, и Швейков... Сегодняшние войны, горячие точки, вообще армейская жизнь когда-ни-

будь родят такого героя. Но прежде героя еще должен появиться писатель с определенным складом ума и таланта. Но я должен сказать, что если мир переболеет всеми сегодняшними болезнями и все успокоится, то национальные характеры вообще будут исчезать, нивелироваться. Каждый национальный характер формировался в условиях определенных границ, когда люди жили кучно, на одном месте, дальние путешествия позволяли себе единицы. А сейчас границы открываются, средства передвижения становятся все доступнее, миллионы людей мигрируют, познают друг друга, смешиваются, забывают о своем происхождении. В этих условиях национальные характеры будут неизбежно размываться. Я не вижу в этом ничего плохого. Национальное своеобразие — это часто повод для враждебного отношения к другим своеобразиям. Впрочем, для вражды друг к другу люди повод найдут всегда.

— Как писателя вас во многом сформировало противостояние власти. Сейчас вам это стало неинтересно?

— Ну, почему же неинтересно? Противостоять чему-то всегда приходится. Я вспоминаю, что, вернувшись из-за границы в 89-м году, я застал Москву ноющей и рыдающей о том, как раньше было хорошо, а теперь плохо. Меня это возмущало. Я говорил, что тогда было плохо, а сейчас пришло время надежд. При советской власти я считался безнадежным пессимистом, потому что ничего хорошего при ней не видел и ни на что не надеялся. А в начале девяностых годов жизнь была тяжелой, но и появились надежды, что в конце концов мы станем жить по-людски. В моем новом романе «Монументальная пропаганда» один персонаж сравнивает советских людей с обитателями зоопарка. В зоопарке открыли клетки, все выскочило на свободу, стали радоваться и кувыркаться, но вскоре травоядные увидели, что хищники пожирают их в гораздо большем количестве, чем раньше, когда они сидели в клетках. Травоядные захотели обратно в клетки, потому что там безопаснее. И хотя хищников все равно и в клетках будут кормить ими же, но все-таки по норме, а не беспредельно. Сейчас, когда какие-то этапы мы уже прошли, можно про-

тивостоять сегодняшнему времени, а тогда я противостоял нытью, потому что ныли не от того, что хуже стали жить, а от того, что разрешили ныть.

— Вы гóлосовали за нашего президента и, стало быть, полны оптимизма?

— Я не оптимист, а реалист, и поэтому за нашего президента не голосовал. Тем более что не видел в этом ни малейшего смысла. Выборы были почти советскими. Один кандидат реальный, а другие игрушечные. А реального мне уже выбрали без меня, оставив мне только возможность поиграть в комедию выборов, при этом даже не представляя себе, какими достоинствами обладает этот навязываемый мне кандидат.

— Но народ проголосовал за президента.

— Время, когда писатель во всем обязан был соглашаться с народом, слава богу прошло. Тем более что у народа есть сильная склонность к тому, что я называю кумиротворением, то есть к выбору себе в вожди человека, который народным воображением наделяется разнообразными достоинствами, несовместимыми в пределах одной личности. Это, кстати, одна из тем моего последнего романа «Монументальная пропаганда». Речь там, кроме всего, о памятнике Сталину. Со статуей, сброшенной с пьедестала, происходят всяческие приключения, а пьедестал (то самое свято место, которое долго не пустует) ждет своего преемника, коренастого, невысокого, скупого на слова и на жесты.

— Вы выступили в роли провидца?

— Мое провидчество заключается в том, что, внимательно наблюдая жизнь, я стараюсь замечать возникающие в ней тенденции. Иногда мне это удается. Я заметил, что народ не утратил своей безумной мечты о непогрешимом вожде, который придет и сразу устроит нам всем хорошую жизнь.

— Но все-таки вы наверняка ждете каких-то перемен, связанных с переменами наверху. Каких?

— Я бы хотел, чтобы землю все-таки отдали крестьянам, чтобы укрепились демократические нормы жизни. Я бы хотел, чтобы у нас люди начали понимать, что такое права человека. У нас этого совершенно не понима-

ют. И еще я бы хотел, чтобы у нас произошел разрыв с прошлым. Нынешняя пропаганда (она в каком-то виде все-таки существует) представляет нашу историю как непрерывную, как будто не произошло смены режима. А она произошла. Старый режим ведь обещал покончить с капитализмом, а сегодня мы строим капитализм почти с таким же энтузиазмом, с каким хоронили. Особенно меня беспокоит неразрыв с прошлым наших карательных органов. Огромное количество чекистов, пришедших к власти, гордится своим прошлым, они говорят, что ничего не знали о преступлениях прошлого (а кто же их совершал), и врут, что действовали по законам того времени. Но законы советской власти были лицемерны — в них не было записано, что человека за иной образ мысли надо сажать в тюрьму. Но ведь сажали, действуя по беззаконию того времени. Вот этот неразрыв меня смущает. Я возвращусь к своему роману не ради саморекламы. Там у меня власти одного из районных городов постановили восстановить памятник Сталину. Когда я работал над романом, многим казалось такое развитие событий уже совершенно невозможным. Теперь оно мало кого удивит. Один депутат Думы уже предложил поставить памятник Сталину в Москве, и его предложение ничьего удивления даже не вызвало. Другой давно уже предлагал поставить на место «железного Феликса». А в Грузии, говорят, уже выкопали из земли восемнадцать памятников Сталину. У нас очень много говорят о нравственности, но ни о какой нравственности нечего говорить, пока злодеяния прошлого и злодеи, их совершавшие, не будут обществом так же решительно осуждены, как злодеяния и злодеи нацистской Германии.

— Вас считают писателем-сатириком, и не безосновательно. Если драматург — это «чрево вещатель души», то что же такое сатирик?

— Я титул сатирика полностью не принимаю. Я сатирик, но и лирик тоже. История Чонкина — это история любви его и Нюры — и это главное, а силы, которые мешают им, я изобразил сатирически. Когда сталкиваешься с действительностью, то видишь, что она сатирич-

на. Сатирик всегда подчеркивает разницу между великим и смешным. Сам по себе великий человек не видит грани, за которой он становится смешным. А сатирик видит. И сатирику достается больше всех, потому что он видит зло там, где оно еще умело рядится в добро.

— А что сегодня, по-вашему, достойно осмеяния?

— Много чего. Например, люди, которые легко переходят от одних якобы убеждений к другим. Вчера еще были члены КПСС и воинствующие безбожники, а сегодня — богобоязненные прихожане. А каких карикатурных подхалимов нам прямо из жизни по телевидению показывают. Вот у нас часто осуждают, допустим, преклонение людей перед границей. Солженицын однажды написал (цитирую по памяти): «А иные, особо забегливые, забегивают перед Западом и многобрызно». Почему-то я сейчас вспоминаю эту фразу, когда вижу «забегливых» вокруг президента. Ну так уж его бесстыдно облизывают, что никакому сатирику не придумать. Недавно в статье для немецкой газеты я заметил, что Путин носит часы на правой руке, и предположил, что наши чиновники из подхалимажа тоже начнут перемещать часы с левой руки на правую. И что вы думаете? Уже Чистопольский часовой завод подключился к производству часов для ношения на правой руке. Часы называются «Кремлевские». Разве это не смешно?

— Вы считаете, что, живя между Россией и Германией, вы в полной мере можете уловить сегодняшнюю жизнь и понять ее?

— В полной мере никто не может ни уловить, ни понять. Тот, кто живет в Москве, не может понять, как живут в Рязани или Пензе. Мы все живем разными жизнями. Хотя я и уезжаю время от времени за границу, но когда я в Москве, я хожу в магазин и на рынок, езжу на общественном транспорте и знаю жизнь москвичей гораздо лучше тех, кто ездит по Москве с мигалками и не помнит, как выглядит метро изнутри. Я живу по личным обстоятельствам в Москве и в Мюнхене. Но душой я стопроцентно здесь, потому что тамошняя жизнь — я знаю точно — без меня обойдется, а здесь, мне кажется, я еще для чего-то нужен.

Сегодня, когда писатель, публицист и художник Владимир Войнович прилетает из Германии в Москву, десятки журналистов уже не устремляются в Шереметьево, чтобы встретить известного диссидента и засыпать его вопросами. С одной стороны, вопросы теперь можно отправить и по Интернету. С другой — в стране постепенно наступают такие времена, что честные ответы писателя снова начинают казаться диссидентскими. О причинах столь странных перемен, о прогнозах на будущее и о многом из того, что остается за рамками нашей традиционной колонки «Взгляд», мы и решили побеседовать с Владимиром Войновичем, встретившись в его уютной квартире на Соколе.

— Последние наступления на олигархию, небывалая прокурорская активность, арест самого богатого россиянина породили в стране новую волну разговоров о реваншизме спецслужб, о ползучем перевороте, об атмосфере страха, который неумолимо возвращается в нашу жизнь. У вас есть прекрасная возможность оценивать эти события не только изнутри, но и из спокойного далека. Кроме того, кому уж, как не вам — шестидесятнику со стажем, судить о том, насколько обоснованы разговоры о страхе. Вы сами ощущаете хотя бы признаки такой атмосферы?

— Ощущаю. Более того, я сам ловлю себя на том, что в последние времена, прилетая в Москву, напрягаюсь, когда прохожу пограничный, таможенный контроль, любые барьеры, где стоит человек в форме. Совесть как будто чиста, ничего не украл, ничего, кроме собственной квартиры, не приватизировал, деньги в офшоре не отмывал, наркотики и оружие не везу, а на душе неуютно. Все время ожидаю какой-нибудь пакости. Я опять начинаю воспринимать служивых людей, как тех безликих граждан в штатском из советских времен. Но дело даже не в моих ощущениях. Важнее то, что в стране у многих людей снова нарастает желание — уехать.

А сколько уже уехало! Мне, бывает, приходится ездить по Германии и Америке. Куда ни приедешь — в Гамбург, Берлин, Нью-Йорк, Бостон — везде слышна русская речь, везде, и особенно в университетах и научных центрах, столько наших соотечественников, иногда, кажется, даже больше, чем местного населения. Я как-то был в городе Пало Алто под Сан-Франциско, в так называемой Силиконовой долине. Это один из главных центров американской электронной промышленности. Так там тысячи ученых и инженеров — выходцы из СССР, в основном, естественно, из России. Так что эмиграция из России давно приобрела массовый характер. Но сегодня намечается новая волна. Пакуют чемоданы люди, которые уверяли всех, что из России никогда не уедут. Люди теряют надежду на то, что Россия может быть нормальным цивилизованным обществом, уважающим человеческую личность, умы и таланты. И это беда. К слову вспомнился Пушкин: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу...»

— Значит, разговоры о ползучем перевороте — это не просто разговоры?

— Я не знаю, можно ли считать происходящее переворотом или чем-то еще. Беда, по-моему, в том, что наше общество до сих пор не осознало, что оно собой представляет и чего хочет. Я, как вы знаете, большевиков не люблю, но они в своих действиях были логичны. Захватив власть, они сломали старый государственный аппарат, осудили проклятое прошлое, приняли новые гимн, символы и атрибуты, провозгласили какие-то цели, стали воплощать в жизнь свою утопию. У них была идея, к которой они пытались приобщить сограждан с помощью кнута, пули и пряника.

Сегодняшняя власть, конечно, лучше советской (хуже советской не бывает), но у нее в голове нет никакой направляющей идеи, никакой концепции. К каким целям мы идем? С какими символами? Страна живет с триколором, двуглавым орлом, советским гимном и красным армейским знаменем. Да при такой каше у любого нормального человека сознание замутится.

— Тем не менее это не мешает так называемой пар-

тии власти собирать голоса на выборах и преследовать единственную цель — близость к Кремлю.

— КПСС собирала голосов намного больше. Впрочем, власть КПСС окончилась лишь формально. А на деле партия разбилась на всевозможные фракции, которые теперь называются «Единая Россия», «Народная партия», «Партия жизни», «КПРФ»... Но все они дуют в одну дуду. Их разногласия — лишь видимость. Главное для них для всех — оставаться при кормушке до конца дней. Разговоры о необходимости создания сильного государства или забота о бедных для них не больше, чем патриотическая болтовня, которая ни к чему не обязывает, но очень помогает захватить место получше, урвать побольше и сохранить все это подольше. Голоса облапошенных сограждан в этом деле не более чем средство. Благо, сограждане окончательно дезориентированы. Я по этому поводу даже свой вариант текста к гимну предлагал, и там есть такие строчки: «...спутившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным, с орлом двухголовым и гимном советским шагает вразброд». Помоему, я точно отразил реальное состояние нашего общества.

— Но какая, в таком случае, национальная идея объединяет граждан в благополучной Швейцарии или в процветающей Швеции?

— В демократических странах граждан объединяют в основном не национальные идеи, а общегуманистические. К примеру, американцы такую идею выразили в Декларации независимости. Она начинается с преамбулы, в которой говорится, что все люди равны перед Богом и каждый человек имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью...

— На жизнь, свободу и стремление к счастью у нас тоже имеет право каждый человек. Даже сидя в зоне. И особенно это проявлялось в сталинские времена при его самой гуманной в мире Конституции.

— Но в Америке эти слова оказались не пустыми. Даже при всех переменах к худшему, которые произошли в этой стране, демократические ценности в ней остались незыблемыми. Власти исполнительная и законода-

тельная четко разделены, конгресс реально контролирует действия президента. Президент в Америке признается наиболее уважаемой личностью, высшим моральным авторитетом, но и требования к нему предъявляются, как ни к кому другому. Малейшее нарушение этих требований, и все уважение к нему катастрофически рушится. Он не имеет права даже жене изменить (видели, что было с Клинтоном?). Несчастный Никсон всего-навсего разрешил своим службам подслушать политических оппонентов. Ну, представьте себе, что наши службы в угоду президенту кого-то подслушивают (можно ли сомневаться, что они это делают?), ну даже попались, и что? Это никого не удивит, не возмутит и не взволнует. В Америке независимый прокурор вправе вызывать президента на допрос.

— У нас тоже вправе. Но одному, который о таком праве вспомнил, — устраивают телесеанс с девочками, а другому, который о праве забыл, — дарят квартиру и дачу на Рублевке.

— В Штатах, а я там тоже одно время после высылки из СССР жил, подобное просто немыслимо. Там все знают и о своих правах, и о своих обязанностях. От дворника до президента. Знают, что эти права можно отстоять в споре с кем бы то ни было. Взять хотя бы одно из сексуальных приключений Клинтона. Помните, еще до Моника Левински у него была история с Полой Джонс? Клинтон грубо ее домогался. Она возмутилась. Подняла скандал. И ни Клинтон, ни ФБР, ни ЦРУ — никто не смог заткнуть ей рот. Никому не известная девушка добилась правды, заставила главу государства оправдываться, юлить, извиняться и откупаться. А американское общество доказало, что слова о равенстве граждан перед Законом в Америке не пустой звук. Американцы верят в разумность и справедливость устройства своего общества и поэтому очень подвержены пропаганде. У нас ведь, если граждан очень активно к чему-то призывать, так они непременно будут именно от этого уклоняться. А в США призывают бегать трусцой — вся Америка бежит, объявляют борьбу с курением — вся Америка бросает курить...

— В результате получается какая-то казарменная демократия. Или, как у нас теперь модно говорить в верхах, — управляемая. Но для нашей страны подобная управляемость опасна тем, что, выстраивая вертикаль власти, с легкостью избавляется от самой демократии. И в таком случае до тоталитарного строя остается лишь шаг.

— А вы знаете, в этом виноваты не только высшая власть, но и само общество. Оно не научилось ответственно распоряжаться своей свободой. При Ельцине свобода переросла в полный беспредел. Президент издавал указы, менял чуть ли не еженедельно премьер-министров и вообще вел себя, мягко сказать, импульсивно. Дума со своей стороны ставила ему палки в колеса. Он своих врагов посадил в тюрьму. Дума их освободила и начала против него процедуру импичмента — больше им делать было нечего. Тем временем одни страну разворовывали, другие воруящих за взятки покрывали, а в тюрьму сажали только мелких воришек. А тут еще война в Чечне, террор по всей стране, бандитизм, заказные и никогда не раскрываемые убийства политиков и бизнесменов. В прессе было много замечательных журналов, но в ней же оказалось немало людей, продажных и лживых. Телевидение показывало Скуратова голого снаружи и Примакова голого изнутри. Люди смотрели, ахали, но не понимали, где правда, а где черный пиар, грязная политика и сведение счетов. Люди теряли веру в демократию, уважение к власти, президента не ругал только ленивый, чиновники на местах его указания не исполняли, армия его не уважала, государство превратилось в полупарализованный организм.

— Получается, вы — убежденный сторонник традиционной демократии западного типа и противник не контролируемой обществом власти?

— Я уверен, что лучше иметь сменяемого дурака во главе демократического государства, чем самого умного диктатора. Но я с грустью убеждаюсь, что, наверное, правы те, кто утверждает, что Россия до демократии не доросла. Но демократию, как выясняется, нельзя ввести указом и даже конституцией. Ее или веками вынашива-

ет все общество, лучшие его люди, включая правителей, воителей, мыслителей и поэтов, или она навязывается внешней силой, как это случилось в Германии и Японии.

Смотрите, как только президент стал выстраивать пресловутую вертикаль власти, так она тут же и выстроилась. Система немедленно приняла привычные с советских времен формы и заработала в знакомом режиме. Конечно, в нашем обществе есть свободолюбивые люди. Но их слишком мало, чтобы делать погоду. А большинство, посмотрите, довольно, что у нас опять все, как раньше. Опять есть начальник, который не спит, работает, думает о нас. Заботится о наших зарплатах, пенсиях, квартирах, электричестве и водопроводе. Посмотрите, как чиновники, генералы, прокуроры и судьи вернулись к своим бывшим привычкам и ждут указаний. Что делать, кого посадить, за что и на сколько. СМИ тоже постепенно усваивают новый порядок. НТВ и ТВ-6 разогнали, теперь никого разгонять не надо, и цензуры специальной не надо, телена начальники сами знают, что пропускать в эфир, а от чего лучше воздержаться. Вот на НТВ запретили говорить о книге Елены Трегубовой. (Кстати сказать, журналисты правильно сделали, что подали на запретителя в суд — посмотрим, насколько этот суд окажется независимым. Боюсь, не окажется ни насколько.) Ну, в газетах еще немного свободы есть, вот и мы с вами пока беседуем без протокола, но именно пока. Пока власть позволяет. Но как только она решит, что мы с вами слишком распустились, и перестанет позволять, мы свои мысли сможем излагать свободно опять не дальше собственной кухни. Если не камеры. То есть то, что мы видим сегодня, уже есть произвол. Пока относительно мягкий. И дело не в том, что президент у нас хороший или плохой, а в том, что судьба страны фактически зависит от его доброй воли. Захочет он стать полным диктатором — станет. В стране нет никакой силы, которая могла бы ему воспрепятствовать. Оппозиция у нас игрушечная, она действует в рамках, дозволенных властью. То же и все общество, похожее на ребенка в детском манежике, внутри которого можно

бузить сколько хочешь, а перелезть не хватает силенок. А что такое наша творческая интеллигенция? Может ли она быть у нас оплотом демократии? Увы! Посмотрите на наших знаменитых художников, скульпторов, артистов, певцов, режиссеров, как они льнут к партии власти, группируются вокруг любимого градоначальника и как вдохновенно выплясывают на кремлевских концертах в восторге от того, что они туда позваны, и в надежде что-нибудь с этого поиметь.

Такое общество никакого ощутимого давления на власть оказать не в силах, а без давления нет и демократии. Вот вспомнился дореволюционный афоризм: «В России две напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти». Короче говоря, ситуация, в которой находится сегодня страна, вызывает тревогу. У Путина стабильно высокий рейтинг. По телевизору выступают поэты, чиновники, генералы и наперебой хвалят президента, какой он хороший. Но если это даже и так, если он даже в тысячу раз лучше, чем о нем говорят, все равно радоваться нечему. Не должно никогда государство зависеть от одного человека, каким бы он ни был. У него должны быть реальные политические соперники, и борьба за высшую власть должна быть реальной, жесткой, но в рамках закона.

— Вам за державу не обидно?

— Когда-то, когда я был молодой, писатель Ефим Дорош сказал мне: «Мне-то что. Я человек старый и до светлого будущего не доживу. А вас жалко, вы доживете». С тех пор прошло много лет, я сам состарился, пережил много плохого, но и до чего-то хорошего дожил. Теперь мне от жизни ничего не нужно, кроме здоровья. Что касается свободы мыслить и говорить, я ею пользуюсь давно, меня ее раньше не сумели лишить, а теперь и подавно никто не отнимет. Но мысли у меня сейчас довольно печальные. За державу мне не обидно, за сверхдержаву тем более, а людей, живущих в державе, жалко. Никак у них не получается построить для себя нормальное общество. Но это вина не только власти, но и самого общества, и народа, про который Сталин когда-то издевательски сказал, что любой другой народ прогнал бы

такое правительство (каким было советское). В любой демократической стране, будь то Германия, Франция или Штаты, ни Шредер, ни Ширак, ни Буш даже не попытаются узурпировать власть. Им этого народ не позволит. Они вынуждены думать о будущих выборах и бороться на них всерьез — без большой надежды на административный ресурс.

— У нас тоже есть выборы. И есть электронная система подсчета голосов, которая находится под контролем ФСБ. Стоит ли питать иллюзии по поводу того, как они там насчитают, и по поводу возможностей общества? Выборы в Чечне все наглядно продемонстрировали. Кадырову, который в республике пользовался поддержкой лишь своего ближайшего окружения, насчитали 60 или 80 процентов голосов. С тем же успехом могли насчитать и 120. У него там демократией и не пахнет. А что толку? Как не было нормальной жизни в республике, так ее и нет.

— Тем не менее сильная власть греет у нас людей больше, чем демократия. Другое дело, что такая власть может оставить людям какие-то свободы, которые ей не мешают. Советская власть в свое время переборщила, решила ничего не оставлять. Меня однажды допрашивали в КГБ и спросили, почему я пишу такие грустные стихи. То есть власть следила, чтобы даже не было грустных стихов.

Ну так вот, возвращаясь к разговору о разрешенных свободах. Мне кажется, власть собирается построить общество не только с управляемой демократией, но и с дозированной свободой. Чтобы можно было писать грустные стихи, любовные романы, абстрактные картины, носить длинные волосы, узкие брюки, короткие юбки, торговать, путешествовать, но ни в коем случае не критиковать государство, президента, армию, ФСБ, прокуратуру, милицию и суд. Так будет, вероятно, в скором будущем.

— Так уже есть сегодня. Директора ФСБ уже сегодня лучше не трогать. Я попытался оценить его деятельность в Чечне и сравнить с Кутузовым, так потом год су-

дился. Впрочем, это было вполне интеллигентно, могли ведь и просто по голове дать в подъезде.

— Да, это у нас уже могут. И убить могут. Как Юдину в Калмыкии. Как редактора в Тольятти. Как многих других журналистов.

— С вашим отцом в 36-м поступили проще, бросили в лагеря, и все.

— Да, он тоже был журналистом, но получил срок не за свои статьи, а просто за разговоры в узком кругу на троих. Один оказался стукачом. Отца даже готовили к казни, но за два года, пока шло следствие, в органах сменилась власть, пришел Берия, и отцу повезло — он отсидел «всего» 5 лет.

— В своем романе «Москва 2042», написанном двадцать лет назад, вы предсказали, что в России появится гениалиссимус из органов, служивший до этого в Германии, что к власти придут сотрудники госбезопасности, что интеллигенция припадет к ногам этой власти, что церковь сольется с государством... Лишенный в 80-м году гражданства по указу Брежнева, вы в своем ответном открытом письме предрекали, что вскоре тома мемуаров вождя будут обменивать в виде макулатуры на ваши романы. Вы поспорили на 100 тысяч долларов, что СССР вскоре развалится и вы с триумфом вернетесь. Все так и произошло.

Скажите, а у вас есть прогноз на наше ближайшее будущее?

— Я не люблю прогнозов. Просто так получается, что я в конечном итоге оказываюсь прав. А с ближайшим будущим, думаю, не сложно определиться. Тут можно даже и не гадать. В новой Думе у президента будет в любом случае желаемое большинство. Даже если вдруг так случится и большинство наберет КПРФ, товарищу Зюганову велят быть послушным большинством, и он будет.

Теперь президентские выборы: они тоже пройдут при значительном перевесе. Правда, безальтернативность им будет мешать. Из-за нее многие люди на выборы вообще не пойдут. Лично я подумаю, идти ли.

А когда Путин победит, его власть станет абсолют-

ной. Дума, Совет Федерации, суд, прокуратура, силовые ведомства — все у него в кармане.

Дальше все аналитики смотрят на 2008 год — что там. А там ничего особенного не будет. Следующим президентом будет Путин. Его просто не отпустят приближенные. Конституцию к тому времени, по просьбе трудящихся, подправят. И даже если он захочет уйти — не позволят. Слишком много вокруг него собралось молодых и голодных. Он им нужен. И не только им.

Посмотрите ради интереса в Интернете, кто у нас сегодня за царя, кто призывает к восстановлению монархии. Вы увидите там много знакомых имен. И Михалков, и Бородин, и Захаров... Выступит, скажем, Михалков (а он с этой идеей давно носится), давайте, дескать, возродим монархию. У нас в кои веки такой удачный глава государства — молодой, образованный, спортивный, демократичный... Лучшей кандидатуры на трон не сыскать. Общественность тут же откликнется на призыв, телевидение дискуссию устроит, а в «Свободе слова» даже противоположные мнения прозвучат. Но идею поддержат писатели, ученые, церковь одобрит, Запад на всякий случай промолчит — и все, трудящиеся на руках к трону поднесут.

— Оригинальную вы нам перспективу нарисовали. А что же оппозиция? Она так и останется на туманном Альбионе?

— Она останется на своих кухнях, рассуждая о том, что политика — это искусство возможного, а невозможным заниматься, что толку? Ну, несколько диссидентов выйдут на площадь, после чего попадут в институт Сербского лечиться от вялотекущей шизофрении. Большой бизнес останется в стороне. Его всерьез напугали, и это уже надолго.

— При этом, наверное, не следует забывать и о том, что атака на бизнес вызвана прежде всего грядущими выборами. Политтехнологам в очередной раз удалось убедить власть, что наш электорат лучше всего «клюет» на образ врага. Во время прошлой кампании для этой роли избрали чеченцев, раскрутив антикавказскую истерию. На этот раз повторяться не стали, понимая, что

не сработает. И придумали охоту на «оборотней» — это для широких масс. И войну с олигархами — для мелкого и среднего бизнеса. Впрочем, как и для патриотов. Как вы думаете, случайно ли фамилии опальных олигархов чем-то неуловимо похожи: Березовский, Гусинский, Ходорковский?

— Я понимаю ваш вопрос. Но думаю, что сам Путин вряд ли антисемит. Бывает, знаете, у человека, даже если он не хочет этого показать, все же проскальзывает истинное отношение к теме. А у Путина я этого не вижу. Недавно, кстати, прочел в «Шпигеле» интервью с его бывшим сослуживцем еще по Дрездену. Фамилия, по моему, Усольцев. О Путине он в этом интервью говорит критически, но как раз затрагивает и тему антисемитизма. Так вот он тоже утверждает, что Путин не антисемит и что в частных беседах он говорил: «евреи такие же люди, как и мы».

Что же касается совпадения фамилий на «ский», то не следует, наверное, забывать о том, что Гусинский и Березовский реально влияли в России на выборы кандидатур премьеров, президентов. Они уже по сути стали управлять государством и даже не очень это скрывали. То есть — утратили чувство меры, и власть им этого не простила. И с Ходорковским похожая история. Действовал слишком самостоятельно, развивал широкие образовательные программы, активно способствовал созданию гражданского общества, поощрял либеральные идеи и даже стал поддерживать оппозицию, чем, наверное, вызвал очень большое раздражение, а то и испуг. Стал популярен не в меру. К тому же выстраивал прозрачный бизнес, который власти совсем ни к чему, она при этой непрозрачности кормится. Так что национальный фактор я бы пока отмел. Вот когда придут за Абрамовичем, тогда, пожалуй, задумаюсь...

— А чем вы объясняете повсеместное коленопреклонение творческих масс? Почему наша интеллигенция в таком экстазе от власти, почему она печется не о вечном и не о душе, а изо всех сил бьет челом, стремясь угодить?

— Потому что власть любит, чтобы ей угождали. И угождающих пригревает. Я частично живу в Мюнхене, провожу там много времени, но никогда не помню

фамилию бургомистра. Но даже если выучу ее и начну его повсюду расхваливать — у меня от этого ничего не изменится. То же самое с канцлером. А у нас, если буду хвалить, скажем, Лужкова, то что-нибудь мне за это так или иначе обломится. Чем ближе к любимому начальству, тем больше шансов стать лауреатом, получить звание, премию, заказ, студию, театр, галерею или чего-то еще. Так было всегда. И так, к сожалению, есть.

— Но ведь вы никогда в особой любви к власти не признавались. И даже были высланы из страны. Но Горбачев вам гражданство вернул. А Путин наградил Госпремией. Теперь же получается, что вы снова приходите к разочарованию.

— Моя душа подвержена сомнениям ровно так же, как и душа любого нормального человека. Я и в 80-м не считал себя политической фигурой. На допросах в КГБ я абсолютно искренне говорил, что аполитичен и даже газет не читаю. Я и сейчас не лезу в политику. И не пытаюсь переделать мир. Когда же мне говорят: «ваши книги изменили наше мировоззрение», я воспринимаю это с большим сомнением. Хотя и надеюсь, что в общем потоке, влияющем на течение жизни, есть и моя капля.

Но вот что для меня важно — это репутация. Я как-то написал рассказ «Хочу быть честным». Это о себе. Я очень дорожу званием честного человека. Никогда в жизни ни на кого не стучал, не наушничал, не плел интриги. Иногда готов был промолчать, но, говоря словами Твардовского, «случалось, врал для смеху, никогда не лгал для лжи». И свою человеческую обязанность вижу в том, чтобы до конца жизни говорить то, что считаю нужным. Я могу ошибаться, но если что-то считаю правдой, то должен об этом говорить. И говорю.

21.11.03

| ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЮШЕНКОВА

Теперь он больше не позвонит и не представится, как обычно:

— Здравствуйте, это некто Юшенков говорит.

На его убийство в письме ко мне мой добрый знако-

мый, бельгийский профессор русской литературы, знаток ее и историк Эммануэль Вагеманс, отозвался так:

«Судьба Сергея Юшенкова — ужасна и позорна для России. Меня всегда удивляет, что Россия думает, что идет нашим путем, что идет по пути демократии, но в лучшем случае это тот путь, который мы проходили в конце 19-го века. То же самое с капитализмом. Такого капитализма у нас давно уже нет, это примитивный капитализм конца 19-го века, когда все только начиналось. Почему россияне выбирают именно этот, давно пройденный путь, а не путь второй половины 20-го века? Уму непостижимо. Какая здравомыслящая цивилизация возвращается к прошлому?»

Ну да, здравомыслящая цивилизация, может быть, не возвращается, но наша здравомыслящая ли и цивилизация ли вообще? Применимо ли определение «цивилизация» к обществу, где процветают столь пышным цветом воровство и коррупция, где с ужасающей регулярностью происходят заказные убийства, часто в самом центре Москвы или Петербурга, среди бела дня, и дальше как насмешка следуют пустые реляции: введен план-перехват... и — привычное: раскрыть по горячим следам не удалось...

По горячим не удалось, по остывшим тем более.

Проходят годы, и остаются нераскрытыми убийства Влада Листьева, Дмитрия Холодова, Льва Рохлина, Льва Маневича, Галины Старовойтовой, Владимира Головлева... Ловят где-то по России предполагаемых заказчиков, но доверия к этим предположениям нет, да и что толку, если подозреваемый Гачияев или кто другой то ли на свободе, то ли на том свете, то ли черт его знает где? А когда кого и поймают, то еще не факт, что того. Вот и мальчика в убийстве Юшенкова заподозрили, задержали, подержали и отпустили, а с фигурантами-тяжеловесами и вовсе запутались. Дело о взрыве на Котляковском кладбище развалилось, процесс над обвиненными в убийстве Димы Холодова постигла та же печальная участь. Убийц Старовойтовой ловили много раз, да все не тех. Теперь, говорят, точно тех изловили, но мы в ладоши хлопать повременим, уже хлопали — и

напрасно. Самый большой успех последнего времени кажется очень мнимым. Следствие дозналось, кто заказал генерала Гамова, но заказчик в аккурат к моменту разоблачения (надо же как совпало!) сам оказался убитым где-то в Южной Корее. Так что опять есть повод усомниться, не предъявлена ли нам мертвая душа для победного рапорта, закрытия дела и убеждения публики, что наши сыскные службы хоть на что-то способны.

Между прочим, в Соединенных Штатах Америки, несмотря на отсутствие по всей территории прописки и других тотальных способов контроля за гражданами, громкие преступления не всегда (вспомним 11 сентября) предотвращаются, но раскрываются часто и иногда с удивительной оперативностью. Взорвавший здание в Оклахома-сити безумец был пойман немедленно. Недолго наслаждались своими подвигами два вашингтонских снайпера. Еще раньше были разысканы пытавшиеся взорвать Всемирный торговый центр снизу.

У нас же, глядя на все происходящее, иногда кажется, что убить любого заметного человека из числа не слишком усердно охраняемых государством вообще ничего не стоит, проще, чем стянуть в супермаркете пачку жвачек. Но самое ужасное или мерзкое — это то, что после убийства в дело вступит наиболее читаемая народом желтая пресса и непременно продолжит дело убийц, вылив на жертву ушаты помоев. Да и не только пресса. Обществу все настойчивее и с разных сторон внушается мысль, что в России никаких политических убийств не бывает, если убили, значит, было за что, а прокурор Колесников разъяснил, за что именно: «Воровать надо меньше, тогда не будут и убивать». Потом, правда, из прокуратуры последовало поспешное заявление, что Колесников просто оговорился и Юшенкова в виду не имел. Он не имел, а другие имеют без оговорок и выдвигают свои версии, одну мерзее другой, пытаясь облить грязью покойного, а заодно замарать и живых.

Но все-таки Юшенков был человек настолько честный и чистый, даже, я бы сказал, добродетельный, что грязь, швыряемая в него, я уверен, к нему не прилипнет.

Я последние годы близко дружил с Сергеем Николаевичем, и чем дальше, тем больше убеждался в редкой доброкачественности этого человека. Вышедший из простой крестьянской семьи и насмотревшийся многого, он с детства дал себе зарок не перенимать привычек среды, не пить, не курить, не ругаться матом и никогда не делал ни того, ни другого, ни третьего (я таких ни в деревне, ни в армии не встречал). Настоящий самородок, он окончил высшее военное училище, академию, в молодые годы дослужился до полковника, а от генеральского звания, которым его хотели купить, отказался. Стал глубоко образованным человеком, хорошо знавшим историю, философию, литературу. Относился к той породе людей, которых мы называем правдолюбцами, имел ясные политические взгляды и принципы и последовательно их отстаивал в ситуациях даже очень критических. Во время путча 1991 года был, естественно, среди первых защитников Белого дома. Это именно он обратился к командиру танковой роты с предложением сделать выбор между славой защитника свободы и позором ее душителя. После чего танки повернули свои орудия против путчистов. В октябре 1993 года Юшенков предложил Егору Гайдару призвать москвичей к сопротивлению. В политике он был, как говорят некоторые, идеалистом, романтиком и даже поэтом. Будучи деятельным и разносторонне развитым человеком, он, помимо исполнения депутатских обязанностей, редактировал газету, составлял коллективные сборники, собирал анекдоты и под именем выдуманного им народного депутата от Среднерусской возвышенности Егора Шугаева писал весьма едкие сатирические заметки и смешной законопроект «О наследственном депутатстве».

Желающие его опорочить распространяют сплетни о его материальном преуспевании. Мол, квартиру имел шикарную, а в последнее время дорогую иномарку купил и дачу большую построил. Чушь все это. Он и его жена Валя после отселения от них выросших сына и дочери жили в более чем скромной двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома без лифта и без охраны. Еще был родительский домик в деревне и

да, иномарка, подержанная, которую может себе позволить каждый неплохо зарабатывающий человек.

Я не знаю, кто его убил, за что, и не буду гадать. Некоторые из множества опубликованных версий кажутся мне достойными рассмотрения, но ни одну из них не могу принять просто на веру. Знаю только, что раздражать он мог многих.

Выступая публично по самым острым проблемам наших дней, задевая темы, кем-то очень болезненно воспринимаемые, выступая, например, против войны в Чечне и пытаясь, допустим, выяснить, кто на самом деле взрывал в Москве и Волгодонске жилые дома, конечно, он подвергал себя серьезной опасности. Но никаких видимых мер предосторожности не принимал. Поздними вечерами гулял по темным переулкам с собакой, был открыт для любых злодейских намерений, и даже странно, что его убийца выбрал светлое время суток и место, где его могли рассмотреть и запомнить.

Признаюсь, попытка Юшенкова создать новую политическую, а тем более оппозиционную партию не казалась мне слишком реалистической. Время, когда люди могли собираться в большие организованные группы по идейным, а тем более идеалистическим соображениям, явно прошло. Идеалисты отошли в сторону и замолчали. А если не молчат, то не имеют возможности быть услышанными. Рыночные отношения приняли такой вид, что обнаружение свежих идей или взглядов стало практически невозможно без больших денег или даже очень больших. Сегодня, чтобы изложить свои мысли и идеи публично, надо платить немалые суммы газетам или телеканалам, а без них кто же тебя услышит? Вот и был у Юшенкова и его однопартийцев выбор: то ли принимать в соратники олигарха с подмоченной репутацией, то ли обходиться слишком скромными средствами, очень недостаточными для создания новой политической силы. Я удивляюсь, что при всем при том Либеральная партия хоть и не слишком влиятельная, но сложилась и набрала по всей стране достаточное для регистрации количество членов. Но что с ней будет теперь, переживет ли она потерю своего выдающегося лидера и

чего добьется на выборах, не знаю. У нас выборы, благодаря большим деньгам и искусству политехнологов, стали хорошо направляемыми, а наше, избирателей, участие в них необходимо только для обеспечения кворума. А впрочем, и в нем особой надобности нет, при недостатке кворума технологи его дорисуют. Между тем регулярные отстрелы наших лучших избранников делают политическую активность российских граждан, избираемых и избирателей, просто абсурдной. Если депутата, которого я, избиратель, больше других уважаю за честность и правдолюбие, лишают жизни, значит, голосуя за него, я помогаю ему занять тот рубеж, на котором его скорее всего убьют. И способствую тому, что его место займет другой, кто и мной неуважаем, и киллеру неинтересен. Кстати сказать, я не только голосовал за Юшенкова, а и воззвание к избирателям писал специальное. И за Галю Старовойтову агитировал.

Стоило ли? Если наша цивилизация не достойна звания здравомыслящей, то, может, она и жертв таких не заслужила.

Я об этом все больше думаю, но представить себе до сих пор не могу, что в телефонной трубке уже никогда не прозвучит знакомый голос и не объявит:

— Здравствуйте, это некто Юшенков говорит.

Совершенно секретно.

Начато: 11 мая 1975 года. Окончено: 30 мая 1939 года.

Закрото: не закрыто

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ

Ниже излагаются история одного покушения, совершенного Комитетом госбезопасности СССР в 1975 году, и рассказ о расследовании, на которое автор потратил ровно восемнадцать лет.

Сама история была в свое время описана, но ожидаемого эффекта не произвела, поскольку состояла из фактов, в которые одни просто не верили, другие верить боялись, третьи не хотели, четвертые, когда заходила речь или сами ее заводя, помогали не верить первым, вторым и третьим. Автор оказался в положении джек-лондонского персонажа, которого соплеменники побили камнями за небылицу о том, будто белые люди плавают по морю в железных посудинах. Соплеменники знали точно, что железо не плавает.

Трудность усугублялась еще и тем, что иные даже косвенные доказательства своей правоты автор не мог полностью привести из опасения повредить некоторым людям, кое о чем вынужден был помалкивать и предпочитал не раскрывать своих ближних и дальних намерений.

Теперь, когда детективный сюжет развился, дотянувшись до наших дней, а в прежних умолчаниях проку не стало, автор решил изложить всю историю целиком, как она случилась тогда, с описанием обстоятельств, в которых она происходила, событий, за нею последовавших, с добавлением подробностей и документов, полученных в результате расследования, приведшего в конце концов к раскрытию тайны, которую хранил в свое время КГБ и изо всех сил пыталось сохранить нынешнее Министерство безопасности России.

4 мая 1975 года было тем самым Светлым воскресеньем, про которое народом или каким-нибудь членом Союза писателей была сочинена частушка:

Слава партии родной
 За любовь и ласку,
 Отобрали выходной,
 Обосрали Пасху.

Для идеологического отдела ЦК КПСС даты совпали исключительно удачно: 1 и 2 Мая официальный праздник, третьего — нерабочая суббота, а выходной с четвертого мая перенесли на десятое, чтобы, утопив религиозное чувство в патриотическом угаре, дать народу возможность три дня гулять по случаю тридцатилетия Великой победы, а следующее воскресенье, 11 мая, объявить снова рабочим днем для окончательного сбития с панталыку.

Возможно, изобретателю такой передвижки была объявлена благодарность, а если им был лично главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов (кто его помнит сегодня?), тут не думаю, чтоб обошлось без какого-нибудь высокого ордена.

Утром в половине девятого в моей комнате вкрадчиво зажурчал телефон.

Полдевятого утра — время, в которое люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают. Мы все обычно поздно ложимся и поздно встаем. А вчера я лег особенно поздно, засидевшись у Кости Богатырева на вечеринке по поводу приезда Костиного лагерного друга. Несмотря на свою постоянную бедность, Костя всегда и охотно что-нибудь праздновал: свой день рождения (два месяца тому назад как раз было пятидесятилетие), день рождения жены Лены Суриц, годовщину своего ареста или освобождения, какую-нибудь где-нибудь публикацию и даже книжную посылку из-за границы. А тут приехал из Донецка этот самый друг, который, несмотря на солидный (за пятьдесят) возраст и внушительную внешность, в узком кругу назывался Гришкой Агеевым, и никак иначе. О нем я был уже наслышан от

Кости: «Вот приедет Гришка, ты с ним обязательно должен встретиться, это чистый Чонкин. Между прочим, он спас мне жизнь. Один уголовник хотел проломить мне голову ломом, но Гришка подлетел и лом перехватил. Но интересен он не этим, а тем, что это чистый Чонкин».

И вот вчера звонок: «Если у тебя есть время, приходи. Гришка приехал». Я сказал: «Хорошо», — и повесил трубку. Он позвонил опять: «Если есть что-нибудь выпить, то принеси, пожалуйста».

У меня, конечно, кое-что было. Мои первые публикации на Западе принесли не только неприятности, но и открыли на короткое (очень короткое) время доступ к магазину «Березка», где скромных сертификатных гонораров хватало на всякие напитки, тогда еще очень дешевые: бутылка виски или джина стоила около одного сертификатного рубля (полтора доллара).

Моя жена Ира со мной пойти не могла: у нее на руках наша полутороговая дочка Оля.

Прихватив с собой 0,75 тогда еще диковинного «Джонни Уокера», я отправился к Косте, который жил на Красноармейской улице, в ста шагах от меня.

Это были еще времена, когда приезжавших иностранцев удивляло, что русские, постоянно жалуясь на жизнь и отсутствие в магазинах чего бы то ни было, выставляют на стол невероятное количество всяких напитков и закусок. Да меня, признаться, задним числом этот феномен и самого поражает. Уж на что были бедны Костя и Лена, а и у них если званый ужин, то стол просто ломился от обилия выставленных на нем блюд.

Сейчас за столом, кроме хозяев, сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного гостя и главного угощения — Григорий Агеев, крупного (вдоль и поперек) сложения, с лицом смуглым, асимметричным, простоватым и плутоватым. Под столом находилось еще одно существо — фокстерьер Прошка, подобранный где-то Леной. Был он, как и хозяйка, довольно нервный, но в отличие от хозяев агрессивный; лежа внизу, он иногда по-своему реагировал на поведение сидевших за столом, начинал вдруг зловеще урчать, а то и просто ни с того ни

с сего вгрызался в ногу кого-нибудь из гостей. При этом знал, кажется, меру — ботинки насквозь не прокусывал.

Агеев сидел во главе стола, как именинник, но держался поначалу скромно и скованно, его еще не рассказали.

Он порадовал меня сообщением, что в Донецке благодаря отчасти его пропаганде многие люди слушали по Би-би-си три передачи по «Чонкину», а один из его друзей записал передачи на магнитофон, с магнитофона перепечатал и теперь распространяет среди своих.

Питье разливал Костя. Когда он наклонял над рюмкой бутылку, руки у него дрожали. Они у него всегда дрожали, и это с ним стало после Сухановки, пыточной тюрьмы, которую, как говорили, никто не выдерживал, а он выдержал.

Выпили, закусили, еще раз выпили, и Костя стал подбивать своего друга, чтобы тот рассказал о себе.

— Ну давай, давай, — поощрял Костя. — На вот еще выпей для разгону. Ну рассказывай.

— Да ну, — вяло и привычно, но всего лишь для проформы артачился Агеев, — чего там рассказывать? И рассказывать нечего.

— Расскажи, как ты попал в немецкий лагерь.

— Ну как попал? Как все попали. Я тогда жил в Ростове, мне было семнадцать лет, и меня как раз только что призвали в армию. Меня, конечно, могли и не призвать, потому что я был неблагонадежный. Мать у меня умерла, а отец, как мне говорили, был изъят органами НКВД. Но мне это удалось от народа скрыть. Я жил у тетки и о том, что мой отец изъят органами НКВД, никому не говорил. А даже наоборот, как хамелеон, маскировался под нормального советского юношу и в самодеятельности читал «Стихи о советском паспорте». За что меня, как наиболее преданного советской власти, и взяли в Красную армию. Несмотря на то что мне было только семнадцать лет и не зная того, что мой отец изъят органами НКВД. Но мне Родину защищать слишком долго не пришлось. Когда немцы подошли к Ростову, товарищ Сталин, руководствуясь своими, значит, стратегическими замыслами, передвинул войска на заранее

подготовленные позиции, и так передвинул, что вся наша дивизия, со всеми командирами и комиссарами, попала в «мешок». А наш политрук говорит: умрем, говорит, ребята, но живыми врагу не дадимся. Но сам знаки различия со своих петлиц спорол, чтобы остаться живым даже и после сдачи.

Ну мне было, конечно, легче врагу отдаться живым, потому что я был не политрук и советскую власть, правду сказать, не любил. Почему не любил, не знаю. Может быть, на почве личной обиды. Потому что я был к тому времени уже сирота. Мать умерла, а отец был изъят органами НКВД. Что я, ясное дело, скрывал. Но когда немцы меня в плен взяли, стали, значит, расспрашивать, кто такой, я понял, что теперь скрывать ничего не надо, а надо наоборот. И на вопрос, кто мои родители, я отвечал прямо: мать, говорю, так и так, умерла, а отец изъят органами НКВД. Только раньше изъятие отца было как бы минус, а теперь как бы плюс.

Вкусив, и как следует, «Джонни Уокера», Агеев раскраснелся, разошелся, теперь никакой скованности в нем вроде и не бывало.

— Немцы меня сперва из других прочих не выделяли и отправили в лагерь для военнопленных под Тихорецк. Ну я там и был. А потом кто-то заметил, что возле меня все время народ. Где я, там толпа. Я им про советскую власть анекдоты рассказываю, какая нехорошая была власть, все в лежку лежат, смеются. Ну немцы сразу заметили, что я человек влиятельный, с тенденцией к лидерству и вообще могу быть полезен. Тем более при таких биографических данных — отец изъят органами НКВД. Ну значит, проходит какое-то время, вдруг вызывают меня к начальнику лагеря. А там сам начальник, какой-то еще ээсовец и переводчик. Ну опять стали расспрашивать, кто такой, откуда, где родители. Ну я говорю, как есть: мать умерла, отец изъят органами НКВД.

— Как относишься к советскому режиму? — спрашивает ээсовец.

— Яволь, — говорю, — к советскому режиму отношусь с большим отвращением.

— Ну что ж, — говорит, — мы тебя пошлем в Кенигс-

берг, там есть школа русских пропагандистов, которые согласны сражаться против коммунистов.

Ну и направили нас в Кенигсберг. Меня и еще одного. Дали нам немецкую форму без погон, дали документы, талоны на еду. Поехали. Ехали сами. С пересадками. На станциях везде полевые кухни для немецких солдат и для таких, как мы. Пюре картофельное и сосиски.

Правда, порции маловаты. Немцы жаловались, что им недостаточно, а нам ничего, хватало. У нас с напарником было такое большое ведро, я подхожу к повару и говорю: «Манциг цванциг». То есть на двадцать человек. А он же мне не поверить не может, не может оскорбить меня подозрением, что я, такой приличный молодой человек, ему вру. И накладывает почти полное ведро. Ну мы с напарником тут же за угол пойдем, по десять порций навернем, так еще ничего, жить можно.

Все это Агеев рассказывает с такими уморительными ужимками, что все хохочут, а больше всех Костя, открывая ряд стальных зубов, тускло сияющих, как патроны в обойме. «Манциг цванциг!» — повторяет он восхищенно и дергается в конвульсиях, словно слышит это впервые.

— Самое главное, — говорит он, утирая выступившие слезы, — что все это правда.

Агеев рассказывает дальше. В Кенигсберге будущих пропагандистов направили в общежитие. Поселили каждого в отдельной комнате, завалили антисоветской литературой, дали карточки на еду, на парикмахерскую, на кино и публичный дом.

Ввиду присутствия дам рассказывать о публичном доме Агеев не стал. Но зато рассказал об экзамене, который ему устроили, как будущему антисоветскому политруку:

— Вхожу в комнату, там за столом несколько офицеров и один генерал. Важный такой генерал с моноклем в глазу, точь-в-точь как в кино. По-русски говорит, как мы с вами. Расспросил меня, кто я такой и откуда. Говорю, из Ростова, сирота, мать умерла, отец изъят органами НКВД.

— Очень хорошо, — говорит генерал. — То есть не то

хорошо, что ваш отец изъят органами НКВД, а что вы придерживаетесь правильных представлений о сущности коммунистической власти. Ну а какой вообще круг ваших знаний? Литературой интересуетесь?

— Яволь, — говорю, — ваше превосходительство, очень даже интересуюсь.

Генерал переглянулся со всеми офицерами, все довольны, все головами кивают, вот какого образованного человека нашли! Даже литературой интересуется.

— Хорошо, — говорит генерал. — Значит, книжки читаете. И кто же, если не секрет, ваш любимый писатель?

— Маяковский, — говорю, — господин генерал.

Генерал так удивился, что даже монокль у него из глаза, как лягушка, выпрыгнул.

— Кто? — говорит. — Маяковский? А какое именно произведение Маяковского вы любите больше всего?

— Поэму «Владимир Ильич Ленин».

Костя Богатырев правой рукой схватился за живот, а левой машет и, давась от смеха, уверяет, словно сам он там был:

— И самое главное, это все правда. Он ведь ничего не выдумывает.

Все хохочут, кроме Прошки, который под столом начинает тихонько урчать, предупреждая нас о нашем плохом поведении.

— Интересно, — изображает генерала Агеев, — интересно. А писателя Достоевского вы читали?

— Так точно, господин генерал, читал.

— И что больше всего вам понравилось у Достоевского?

— Роман «Что делать?»! — прокричал Агеев, чем сразил в сорок втором году немецкого генерала, а в семьдесят пятом всех нас, сидевших за столом у Кости Богатырева. И прежде всего самого Костю.

Ясно, что карьера Агеева как пропагандиста не состоялась. Его и его напарника немцы зачем-то отправили обратно, и путь их назад был полон приключений. Сначала они попали в руки к бандеровцам, которые хотели их расстрелять как москалей и коммунистов. Гришка

рассказал, как сняли с него немецкие яловые сапоги и, разутого, повели на расстрел, и, уж казалось бы, что может быть несмешнее расстрела человека, но рассказчик так все подал, что слушатели опять помирают со смеху, а Богатырев схватился за живот и корчится, словно у него приступ язвы. И опять, смахивая слезы, подтверждает:

— Все правда, все правда! — будто при несостоявшемся расстреле лично присутствовал.

Расстрел не состоялся, потому что по дороге к месту казни Гришка убедил бандеровцев, что он сам украинец, но говорит по-украински неважно, потому что после изъятия отца органами НКВД попал в детский дом, где москали запрещали детям говорить на ридной мове. Кто-то из бандеровцев пожалел сироту, ему вернули жизнь и сапоги, взяли к себе на службу, на которой он пробыл два месяца с лишним.

— В конце концов, — сказал Гришка, — я к ним настолько вошел в доверие, — тут он приосанился и сделал значительное лицо, — что мне даже поручили ответственнойшее задание, в ходе выполнения которого, — на лице огорчение, — я и сбежал.

Тут Прошка не выдержал и вцепился Агееву в ногу, что (поскольку нога осталась цела) вызвало дополнительный взрыв смеха и предположение, не является ли Прошка агентом КГБ или цензором Главлита.

Агеев переместил ноги подальше от зверя и продолжил рассказ о своих похождениях и приключениях. Пока он возвращался в Ростов, город был отбит Советской армией, куда его снова призвали. Но воевать ему не пришлось. В это самое время, сказал он, отбирали людей в дивизию охраны Сталина. На кавказском побережье для Сталина держали несколько дач, из них самая главная была на озере Рица. Новая дивизия и должна была эти дачи стеречь.

— Ну естественно, — говорит Агеев очень серьезно, — туда отбирали людей кристальных, только с идеальными анкетами и чистейшими биографиями. Чтобы был обязательно из рабочих или крестьян, чтобы даже среди дальних родственников не было никаких репрессированных и чтоб сам никогда не был ни в оккупации,

ни в плену, вообще, чтобы прозрачен был как стекло... вот почему я туда и попал, — заключает он свои рассуждения, отчего слушатели опять дергаются, сползая со стульев, а Прошка рычит.

Дальше был рассказ о том (и Костя, ссылаясь на свидетелей и подельников Агеева, божился, что и тут все чистая правда), как в дивизии по охране Сталина составила подпольная группа, ставившая себе целью убийство охраняемого объекта, лишь только он вздумает в здешних местах отдохнуть и расслабиться. Возглавлял группу секретарь комсомольской организации.

Входили в нее рядовые, сержанты, офицеры и штатские лица, включая даже нескольких девушек. Группа вынашивала разные планы — от минирования дороги до снайперского выстрела. И все эти планы не состоялись только потому, что за много месяцев существования группы Сталин ни на одной из своих дач ни разу и не появился. В группе не нашлось ни одного стукача, и разоблачена она была случайно. А когда это случилось, чекисты просто ахнули: как же это они прозевали такой разветвленный заговор?

Обычно, когда им выпадало стряпать мнимое дело, они для придания ему зловещего характера и масштаба старались его всячески раздувать. Самого Костю, сказавшего что-то плохое о Сталине, судили, как за покушение, и первый приговор был — к расстрелу, а уж потом заменен двадцатью пятью годами. Но случаем Агеева и других, в самом деле замышлявших убийство Сталина и на суде нисколько своих намерений не отрицавших, начальство было настолько потрясено, что стало, наоборот, дело всячески заминать. Военный трибунал в Сухуми к расстрелу не приговорил никого. Всем дали по «четвертаку», но дивизию при этом расформировали, лишили знамени, старших офицеров — кого под суд, кого в отставку.

К концу вечера кто-то вспомнил о Пасхе. Религиозная Лена быстро собралась и ушла ко всенощной, Корниловы — домой, а Костя и Агеев перебрались ко мне, и здесь, перейдя с виски на водку, Агеев пытался прочесть свое изложение (стихами) «Анти-Дюринга», а

Костя, восхищенный талантами друга, рассказывал, как тот в лагере изобрел и пытался построить миниатюрную подводную лодку, чтобы с ее помощью через какой-то канал со сточными водами бежать на волю.

| ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ВСТРЕТИТЬСЯ

Телефон дребезжал, я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив.

Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и не соответствовавшим событию мрачным голосом возвещал: «Христос воскрес!» Чем заставлял меня неизменно врасплох. Я тут же начинал истекать суетливою мыслию: как? неужели опять Пасха? и что же отвечать? «Воистину воскрес»? А если я сомневаюсь, что воистину? А если даже не сомневаюсь, но язык мой деревенеет при необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления уставных конструкций вроде «слушаюсь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо «служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо». За что выводим был из строя и наказуем несоразмерно провинности.

Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянное уклонение — в устной и письменной форме — от употребления определенных правилами слов и движений было причиной многих моих передраг, в том числе и исключения из советских писателей и фактического объявления вне закона.

Однако наступали новые времена, религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно, но неуклонно вытесняла Передовое Учение, неопиты зверели и предписывали колеблющимся рапортовать четко, по-пионерски: «Воистину воскрес!» Причем именно «воскресе», а не «воскрес».

На максимовское «воскресе» я отвечал обычно: «Здравствуй, Володя», — никак не в порядке вызова, а, наоборот, в замешательстве.

Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и смущенного.

— Владимир Николаевич? С вами говорят из Комитета государственной безопасности...

Вторжения органов в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по их замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий.

К описываемому времени все у них вышло почти как надо. Диссидентство удушить полностью не удалось (и не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройства на теплые места ближайших родственников и корешей, для получения званий, орденов, премий, квартир и прочего), но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галич уехали сами, кто там еще? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер один.

Прощенный за прошлое подписанство и даже одаренный возможностью издать две книги повестей (а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка), я скушал подачку и, не сказавши спасибо, погряз во враждебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всесильному их человеку, полковнику КГБ (а я-то думал, он генерал) Сергею Иванько, затем написал открытое письмо председателю ВМП Борису Панкину, защищал Солженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось мое главное преступление: на Западе вышел из печати «Чонкин». Вышел и не собирался пропасть бесследно. Уже «Свобода» читала роман для советских слушателей полностью, Би-би-си сделало три больших передачи, «Голос Америки» и «Немецкая волна» тоже новинку вниманием не обошли.

Еще до русского издания появилось шведское, было накануне выхода немецкое, книга переводилась на английский и прочие языки, о чем было известно не только, конечно, мне.

Могли ли они такое терпеть?

Не могли, хотя и пытались.

Когда меня исключали из Союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет. И всё. Поэтому полное молчание, и даже у «Литературной газеты», всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того об исключении Лидии Чуковской, для меня не нашлось ни слова.

«Вы не знаете, как поживает Войнович?» — спрашивали пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: «Войнович? А кто это?» Иногда даже мусолил пальцем список наличных членов и предъявлял спрашиваемому: видите, нет такого.

Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их, меня это более или менее устраивало, а их менее или более наоборот.

Но вот «Чонкин» появился на западном книжном рынке, а оттуда отдельными экземплярами стал просачиваться и сюда. С возмутительно оформленной обложкой с изображением священной фигуры товарища Сталина в напыленном на него женском платье. Они были бы не они, если б стерпели и это. И вот:

— ...Государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени...

Исключительно для проформы, чтобы отстоять свое никем не подтвержденное право на независимость поведения, спросил я: а что, по какому, собственно, делу, и получил ожидаемый ответ, что дело хотя и короткое, но важное и, конечно, ни в коем случае не по телефону.

Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих.

У диссидентов были разработанные, записанные и распространяемые «Самиздатом» рекомендации: по звонку ни в коем случае ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд — ни ногой. Только исключительно по повестке. И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого: подозреваемого,

обвиняемого, свидетеля. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз они хотят меня видеть, то своего все равно добьются, но, добиваясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать, для чего оно.

Короче, я согласился.

Не успел положить трубку, опять звонок, и тот же Захаров:

— Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом поступите, как захотите.

— То есть как никому не говорить? Даже родственникам?

После некоторой заминки:

— Нет, ну родственникам, конечно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте, как хотите.

Тайна — первый союзник бандита. За предложением никому не говорить всегда стоят несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать все, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае (не при каждом) шантажировать.

Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду, но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь.

Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно.

Должен сказать, что никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор как сознательно пошел на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьезно, и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я несколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ, называемого романтическим мечом революции (я бы назвал

его топором), не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться. Для них не существовало ни закона, ни морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности.

Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом сажать меня, может быть, невыгодно, но придавить где-нибудь в темном углу — почему бы и нет?

20 февраля 1974 года, когда я послал свое письмо секретариату Союза писателей (на самом деле оно было адресовано вообще им, то есть той неопределенной структуре, которую мы, чуждые структуре элементы, обозначали условно словами «советская власть»), я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть еще один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более что он может оказаться последним.

Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни, но мое положение было далеко от нормального, я находился с государством в состоянии войны, а на войне психология любого человека меняется.

Всякому, кто, ступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом (а таких было немало), я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, еще недостаточно припекло. А проявившим настойчивость советовал ни в коем разе не рассчитывать на выигрыш, не оставлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость.

Меня провожала моя жена Ирина. Перед входом в приемную КГБ (Кузнецкий мост, 24) мы простились, договорившись, что, если часа через два я не вернусь домой, она начнет звонить иностранным корреспондентам. Я взял у нее три рубля на ларек. Она предложила

больше, но я сказал, что там и три рубля — сумма немалая, в чем я, как мне потом объяснили бывшие зэки, ошибался, трешка и там — не деньги.

В приемной меня встретил рыжеватый, конопатый, упитанный человек лет тридцати с обручальным кольцом на пальце. Это и был Захаров. Увидев, что я не один, он всеми своими конопушками, и плечами, и ушами выразил ужасное смущение. Ему неудобно, показал он, что он беспокоит не только меня, но и жену. Изобразив Ире быструю смену недоуменных ужимок с пришепетыванием («право, вам не следует беспокоиться... но... в общем... как хотите...»), он повел меня в их главное здание, где сердитый прапорщик долго ворчал, не желая пропускать меня по истрепанным водительским правам (паспорт я забыл дома), но затем смиловился.

В скромном кабинете на девятом этаже меня ждал старший соратник Захарова, высокий человек лет пятидесяти или больше. Вытянутое загорелое лицо, очки на горбатом носу, черные курчавые волосы коротко стрижены.

Вышел из-за стола, протянул руку (улыбка до ушей): «Петров Николай Николаевич, очень рад познакомиться, давно мечтал».

На столе журнал «Грани» с моим рассказом «Путем взаимной переписки», «Литературная газета» с интервью Бориса Панкина, номер «Русской мысли», еще какие-то вырезки из газет, машинописные тексты, плакат с портретами пациентов спецпсихушек (и я среди них).

Хозяин кабинета смотрит на меня приветливо.

— Вы кому-нибудь сказали, что к нам идете?

— Сказал.

— Жене?

— Не только. Сказал нескольким людям, вам не обязательно знать, кому именно.

Улыбается.

— Не доверяете органам?

— Не очень.

— А почему?

— Такая у вас репутация.

— Владимир Николаевич, а разве вы не замечаете, что мы меняемся?

— Не знаю. Может быть, изнутри меняетесь, но снаружи не заметно.

Слова мои явно его огорчили, он стал мне доказывать, что они меняются, что они совсем не такие, как прежде, хотя многие никак не хотят этого видеть.

— Ну ладно, — сказал он, примирившись с фактом, что люди — существа неблагодарные, сколько хорошего им ни делай, все равно не поймут. Может быть, когда-нибудь в исторической перспективе разберутся, а сейчас — что поделаешь. — Как праздник провели, Владимир Николаевич?

Я прикинул, какой именно праздник? Если Пасха, то она еще вся впереди, а если 1 Мая, то я, во-первых, о нем забыл, а во-вторых, к праздникам советским и не-советским (не считая Нового года) давно уже не относился никак, и вопрос о качестве их проведения в приложении ко мне был лишен всякого смысла. Что же касается наших дружеских попоек, то они если и бывали связаны с датами, то это были дни рождений, свадеб или смертей, но никак не официальные годовщины.

— Зачем вам знать, как я провел праздник? Вы лучше скажите мне: кто вы?

— Я вам сказал: Петров, сотрудник комитета.

— Я бы хотел знать должность и звание.

— Да зачем вам это нужно? Потом посмотрим, как сложится разговор, я вам, может быть, и скажу. А пока давайте просто поговорим.

В самом деле, какая мне разница, кто он? Он может сказать все, что угодно. Вот и фамилию, конечно, наврал. (Я тогда решил почему-то, что Петров — это псевдоним, а Захаров — фамилия, и в первом своем репортаже называл одного лже-Петровым, а другого просто Захаровым. Потом выяснилось, что оба были «лже», но пока пусть останутся теми, кем назвались.)

Достаю сигареты, спрашиваю, можно ли курить.

— Да сколько угодно. Вот вам пепельница, располагайтесь как дома. Забудьте, где вы находитесь. Хотите, окно откроем настежь, чтоб было прохладно, хотите, совсем закроем, чтобы было жарко.

В последней фразе была полуприкрыта угроза, но я ее пропустил мимо ушей, меня пугали и посылнее.

Закурив, кладу сигареты на столик, рядом с собой. Сигареты у меня болгарские, называются «Интер», цена — 35 копеек. Захаров тоже тянется к пачке: «Можно, я у вас возьму сигаретку?»

— Можно, конечно.

С лица Петрова не сходит благожелательная улыбка.

— Вот, Владимир Николаевич, смотрю я на ваши руки. Это рабочие руки. Это не руки писателя.

Думает, мне лестно, что у меня рабочие руки.

— Но я этими руками пишу, — говорю я на всякий случай.

— Да, вы ими пишете, но все-таки до сих пор видно, что это рабочие руки.

Я, понятно, настороже. Если это намек на то, что этими руками сподручнее держать не перо, а лопату, я не согласен.

А он гнет свою линию дальше: у меня такая трудовая биография, такая советская (прямо почти слово в слово по Галичу: «Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл...»).

— И как же это получилось, что вы с такой биографией вдруг оказались вне советской литературы?

Имей я желание говорить с ним всерьез и откровенно, я бы сказал, что моя биография как раз и была главной причиной, почему я терпеть не мог и советскую власть, и советскую литературу. Я от рождения был человеком интеллектуального склада, а рабочим стал потому, что отца у меня сначала посадили, а потом он с фронта вернулся инвалидом, и остался при этом небогонадежным, и занимал в маленьких газетах маленькие должности, и прокормить меня не мог. И как раз будучи рабочим и солдатом, я увидел, что реальная жизнь очень сильно отличается от ее изображения в совлитературе.

Но объяснять всего этого Петрову я не хотел и готов был вместе с ним удивляться, как же я с такой биографией так далеко зашел.

— Неужели они вас так втянули? — спросил Петров.

— Кто это «они»?

— Ну например, те, кто издает вас на Западе, рекламирует.

Тут мне и пришла пора делать ответный ход. Я в те годы выбрал для себя такую тактику: отвечать тем, кому приходилось допрашивать меня от имени государства, что вы, мол, сами во всем виноваты. Если бы вы печатали меня здесь, я бы не стремился печататься там (к тому же тогда бы это и не имело значения). Если бы вы не сажали людей, то западной пропаганде не о чем было б шуметь и все было бы хорошо.

В таком подходе было, конечно, некоторое лукавство, но в нем же была и правда.

— Видите ли, — сказал я Петрову, — меня в эту ситуацию не втянули, а втолкнули.

— Да? — оживился он. — И кто же?

— В первую очередь руководство Союза писателей.

— Как?

— А вот перед вами мои интервью, там все написано.

— Да, здесь написано. — Он грустно покачал головой, давая понять, что написано здесь нехорошее. — Но вы же советский человек?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— А так и не знаю. Был когда-то советским, а теперь и сам не пойму какой.

Для меня понятия «советский» или «антисоветский» давно уже были лишены всякого смысла, но вдаваться в дискуссию по этому поводу тоже не хотелось. Тем более что чем дальше от понятия «советский», тем ближе к Уголовному кодексу.

— Нет, Владимир Николаевич, вы советский человек.

— Вы так считаете? А я уже думал, что нет.

— Почему же вы так думали?

— Мне так говорили.

— Кто?

— Да в том же Союзе писателей неоднократно.

Петров досадливо морщится. Да, дураков у нас еще много. Стоит ли обращать внимание на то, кто чего ска-

жет. Кто бы что ни говорил, а он, Петров, в моей советскости нисколько даже не сомневается.

— Вот, посмотрите, это же вы писали. — Подсовывает мне одно из двух подписанных мною писем в защиту Синявского и Даниэля: «Мы, всем сердцем преданные идеям социализма...»

Я очень хорошо помню, что, когда мне давали это письмо на подпись, меня как раз эта строчка насчет преданности всем сердцем весьма покорибила, но я очень хотел, чтобы Синявского и Даниэля освободили, и ради этого готов был подписать все, что могло привести к этому. О чем и сказал сейчас Петрову. Но при этом добавил, что с момента подписания письма прошло девять лет, я это время развивался и теперь к слову «социализм» добавил бы определение «с человеческим лицом». Так я тогда сказал, а теперь мне даже неловко повторять сказанное, но, впрочем, я и потом говорил и сейчас в подобной ситуации мог бы сказать: покажите мне социализм с человеческим лицом, а не свиным рылом, и я его охотно приму. Тем более что по моим представлениям (и сегодняшним) социализм с человеческим лицом — это смешанное общество, социализм, в котором достаточно капитализма. А капитализм с человеческим лицом — это тот, в котором достаточно социализма, то есть приблизительно то же самое.

Держась выбранной тактики, я стал убеждать моих собеседников (а через них и их начальство, среди которого, я думал, есть такие, кто со мной согласится), что не те, кто подписывал письма, а те, кто к ним не прислушался, виноваты в ухудшении отношений с Западом и подрыве престижа СССР. Вас, мол, люди предупреждали, а вы не послушали, посадили Синявского и Даниэля. И что? Какая из этого польза? Может быть, вы теперь поймете, что нельзя писателей сажать за книги?

— Хи-хи, — неуверенно встречает Захаров. — Значит, бухгалтера можно сажать, а писателя нельзя?

— Если писатель что-то украл, то не только можно, а нужно. Кстати, среди руководства Союза писателей такие есть. Вот ими бы вы и занялись.

Но Петрова руководство Союза писателей не интересуется, его интересуют мои эпистолярные упражнения, в их числе — открытое письмо Борису Панкину, председателю ВААП.

| СО ШТАТОМ ОХРАННИКОВ И ОВЧАРОВ

История письма Панкину — дело давнее и требует пояснения. 27 мая 1973 года Советский Союз присоединился к международной (Женевской) конвенции по авторским правам и учредил новую организацию: Всесоюзное агентство по авторским правам — ВААП. Люди, стоявшие у колыбели этого заведения, преследовали сразу несколько целей: 1) авторов поставить под полный произвол государства и наиболее неприятных душиить, а менее неприятных грабить; 2) создать новую кормушку (в ранге министерства) с соответствующими креслами, окладами (частично в валюте), машинами, дачами и т.д. и 3) использовать эту шаругу в качестве крыши для советских шпионов, которые во всех западных столицах тут же пооткрывают свои офисы. Да и вообще, это агентство так же, как и агентство печати «Новости» (АПН), с самого начала и до конца было филиалом КГБ, и во главе его стояли, и отделениями его заведовали, внутри страны и вовне, гэбисты.

А что касается первого председателя ВААП Бориса Панкина, то, когда он, много лет спустя став на несколько дней министром иностранных дел СССР, пообещал очистить дипломатическую службу страны от агентов КГБ, один наш общий знакомый смеялся до слез и спрашивал, кто же тогда будет возглавлять министерство.

О рождении ВААП было объявлено в два этапа. Сначала в печати появился список неких учредителей во главе с председателем Госкомиздата Борисом Стукалинным (тоже, наверное, часть зарплаты получавшим на Лубянке), потом «Литературка» напечатала интервью Панкина.

На интервью я решил откликнуться, потому что оно, во-первых, было направлено прежде всего против таких,

как я, и потому, во-вторых, что как раз тогда, в октябре 1973 года, я искал повода для выхода из Союза писателей, что неизбежно вело меня к разрыву с государством и конфликту с КГБ. Это письмо было уже многократно опубликовано, но я его вставлю и сюда, чтобы не утруждать читателя отдельным поиском справочного материала (а кто читал это раньше, пусть извинит):

Председателю ВААП т. Б. Д. Панкину в ответ на его интервью, опубликованное «Литературной газетой» 26 сентября 1973 года

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше. А за рубежом...

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин, я сразу отметл это предположение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков, и т.д. С другой стороны, непонятно, почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав. Ведь на их авторские права за пределами нашего Отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создали необычайные по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в «Самиздат», в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность Вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сфере человеческого духа — дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Кем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав будет «хлопотно и незаконно». В подтексте Вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение Вашего агентства Лефортовской или Бутырской

тюреммы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку ваше агентство обещает гражданам государств — участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли Вашему агентству риск самому быть подвергнутому уголовному преследованию? Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать.

И еще одно предложение.

Поскольку Ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП — Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего лишь одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем Ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (и, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

(подпись)

2 октября 1973 года

Москва

Это письмо было написано, когда моя жена лежала в родильном доме, готовая с минуты на минуту произвести на свет нового человека, и мысли ее были заняты только этим надвигавшимся неизбежно событием. Через три дня после написания письма родилась наша дочь.

Оставлю для более важной книги свой рассказ, как ездил я в те дни к роддому. У нас мужья при родах не присутствуют, их даже внутрь роддомов во избежание инфекций не пропускают, с женами они летом перекрикиваются, стоя под окнами, а зимой общаются посредством пересылаемых записок. Детей им показывают первый раз, поднося к окну. Но в нашем роддоме было новшество: детей показывали по телевизору с ужасным качеством изображения. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошее черно-белое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени и потом еще не было несколько дней, пока мы перебирали варианты, поэтому мы называли его просто «девочка». «Ну как тебе девочка? — спросила Ира в записке. — И как вообще дела?»

Я отвечал, что девочка красавица, вся в меня, а дела лучше не бывают, но ничего не сказал о том, что письмо мое уже передает с повторениями «Немецкая волна», а из Союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стрехниным. Этот человек, с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать, и путем наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме.

Мое письмо произвело на нашу так называемую общественность заметное впечатление. Жанр открытых писем, на короткое время вошедший в моду, тут же стал раздражать своим почти во всех случаях гневным, патетическим, а иногда и истерическим тоном.

Я этот жанр оживил, внося в него насмешку.

Письмо без конца передавалось «голосами» и растекалось по незримым и необозримым просторам «Самиздата».

Все близкие мне люди сразу, естественно, поняли, что этим письмом я бросаю вызов властям и делаю шаг, последствия которого непредсказуемы. «Володька, — сказал мне один из моих друзей, — они тебя за это убьют».

Ира готовилась к выписке из больницы, все еще ничего не зная о моем безумном поступке.

В это время уезжал в Америку и прощался с друзьями навсегда Наум (Эмма) Коржавин (Мандель). Ира позвонила ему, чтобы проститься хотя бы по телефону. «Ирочка! — закричал он. — Не волнуйся и, самое главное, не слушай радио». Ире его совет показался смешным: надо совсем не представлять себе настроения роженицы и условий советского родильного дома, чтобы предположить там, в палате на несколько человек, слушание радио, да еще «враждебного», на коротких волнах, с воем глушилок, из которых человеческий голос можно вычленишь, только бегая из угла в угол, прикладывая приемник к батарее отопления или к кровати, переворачивая его и вообще производя много нелепых движений, достойных внимания психиатра.

Письмо свою главную роль сыграло: из Союза писателей я вылетел быстро и с треском, а публикация «Чонкина» и теперешний вызов стали дальнейшими следствиями того же поступка.

С тех пор прошло полтора года, и вот я в КГБ. И мое письмо Панкину лежит на столе в качестве то ли вещественного доказательства, то ли орудия преступления, и острое карандашика медленно продвигается над строкой.

— Вот здесь, — говорит Петров, — вы предлагаете передать в ведение ВААП Лефортовскую или Бутырскую тюрьму со штатом охранников и овчарок. Как это можно понять?

Объясняю: понять это можно так, что это сатира, а где сатира, там и гротеск. А впрочем, и не совсем гротеск, сама наша действительность гротескова. Если это гротеск, то его автор не я, а Панкин. (Вообще-то, конечно, не только Панкин, а Маркс, Ленин, Сталин и прочие, но в конце цепи и Панкин тоже.) В своем интервью Панкин прямо намекает, что у нас есть государственная

монополия на внешнюю торговлю. Кто отдает свои рукописи иностранному издателю, тот нарушает монополию, того ожидают некоторые неприятности в виде именно тюрьмы, а не что другое.

Кстати сказать, ответа на свое письмо от Панкина я не получил, но реакция на него была. Я в письме усомнился, может ли общественная организация пользоваться государственной монополией, и их, как я слышал, это соображение неожиданно смутило, они со всеми своими юристами сами до него не додумались, а потом на каком-то совещании было сказано, что да, мол, этот подлец, к сожалению, прав, монополия государственная, а мы организация общественная. Они, конечно, в любую минуту (своя рука — владыка) могли стать государственным агентством, но тогда их не признали бы другие участники конвенции.

| ЗАСУШИЛ СУХАРИ

Поговорили еще о ВААПе, перешли к моим писанинам. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу. Петров вспомнил, как в пьесе «Два товарища» бабушка смешно говорит вместо «петух» «хетуп», но наивысшим моим достижением он считает, разумеется, «Чонкина». Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель. Но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением.

— Третью часть пишете?

— Третью уже написал.

На самом деле написал, да не совсем. Но им говорю так, чтобы не искали и не пытались остановить. Поздно, мол. Хотя, увы, на самом деле не поздно. Рукопись не окончена и по свойственной автору беспечности существует всего лишь в одном экземпляре у него на столе.

— И там, в третьей части, — смеется Петров, — тоже про органы?

— Нет, там про другое.

— Ну мне вообще-то все равно. Я по профессии конструктор...

Все кагэбэшники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, были людьми скромных, но благородных профессий: инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не собственно кагэбэшниками. Партия их временно кинула на трудный участок, вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу.

— Я по профессии конструктор. Но книги читать люблю. И как читатель скажу: жалко. Жалко, что ваша книга вышла на Западе.

— Как будто она могла выйти здесь.

— А что, лет восемнадцать-двадцать тому назад могла бы.

Я мысленно отнял от семидесяти пяти восемнадцать и двадцать, но ни пятьдесят седьмой, ни пятьдесят пятый годы не показались мне подходящими для печатания «Чонкина» (для написания тем более).

— Так вот о чем я вас хотел спросить. Вы издаетесь на Западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь?

Я пожимаю плечами:

— Печатайте, не откажусь.

— Ну мы, правда, издательствами не заведем...

— Вы всем заведуете.

Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности. Но в чем-то, конечно, могут помочь.

Захаров опять лезет за моей сигаретой и спрашивает, можно ли. Я отвечаю «можно» и пододвигаю сигареты к нему.

— Но, — говорит Петров, — вот ваше письмо секретариату Союза писателей...

...Тут пришла пора вспомнить о втором письме, которому тоже, несмотря на прежние публикации, самое место здесь. Тем более что оно в каком-то смысле является прямым продолжением первого. После письма Панкину последовала процедура (довольно громоздкая) теперь уже окончательного моего исключения из Союза писателей. Сначала разговор с вышеупомянутым Стрехниным, потом заседание Бюро объединения прозаиков с активом (председатель Георгий Радов) и, наконец, на-

значенное на 20 февраля закрытое заседание секретариата Московского отделения СП, на которое и было вынесено мое «персональное дело»¹.

20 февраля за полчаса до секретариатского заседания адресату было доставлено это мое письмо.

| В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСР

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет проходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении.

Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга — вы же сами не знаете, что пишет сидящий рядом с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно доподлинно, что они вообще ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес или поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники Отечества и патриоты! Не слишком ли дорого обходится Отечеству ваш патриотизм? Ведь

¹ Само это заседание и затем следующее — секретариата Союза писателей РСФСР — состоялись в такой тайне, что никто из участников и доныне о нем ни разу не проговорился, а некоторые, не зная, что у меня есть протокол с их именами, уверяют меня в безупречности своего поведения во все времена.

инные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлебобобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы — союз единомышленников... Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку...¹ За двенадцать лет своего пребывания в союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и, когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести-триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогали, а он...»

Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас я сам был рабочим. Одиннадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место.

¹ Это все намеки на некоторые конкретные делишки тогдашних секретарей.

Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ее ряду.

(подпись)

— Но, — говорит Петров, — вот вы пишете, что могли бы выступить на открытом собрании рабочих и доказать, что вы не акула империализма... ну этого, конечно, никто не говорит... Но вот второе, насчет иностранных разведок... тут можно и поспорить. Я думаю, сейчас вам на таком собрании трудно пришлось бы.

— Даже если я скажу все, что хочу?

— Да, вы скажете свое, а мы свое.

— Давайте попробуем. Боюсь, что вы на это не пойдете.

— Как знать.

— Угрожаете?

— Кто угрожает? Что вы, Владимир Николаевич! Ну что вы!

— Я не возражаю. Можете угрожать. Только учтите, я ко всему приготовился.

— К чему приготовились? — спросил Петров с любопытством.

— Ко всему, — сказал я, не желая подсказывать варианты. Я уже тогда понимал, что, ломая человека, они всегда стараются подойти к нему не с той стороны, с которой он ожидает (что они в моем случае подтвердили).

— Ну а конкретно?

— Конкретно — ко всему.

— Сухари, что ли, засушили? — засмеялся Захаров, вытягивая из моей пачки очередную сигарету.

— Засушил.

Оба смеются. Их смешат мои дикие, устарелые представления о КГБ как о какой-то зловещей и черной силе. Конечно, и здесь работают разные люди, может быть, даже не всегда хорошие люди, но в целом КГБ — это очень гуманная организация и действует исключительно в рамках закона.

В этом я, естественно, усомнился. Привел им не-

сколько примеров выхода за рамки. Сказал кое-что о тюрьмах, лагерях и психушках. Петров выслушал меня благожелательно, а Захаров с явным удивлением. Его представление о КГБ очень с моим расходится. Вообще он держится скромно, смущается и от смущения часто хихикает. Хотя реплики подает, но неизменно сопровождает их застенчивым «хи-хи». Он как бы говорит: «Я, конечно, человек, хи-хи, еще молодой, может быть, по молодости чего-то не понимаю, но я люблю нашу партию и наше правительство и не понимаю, как можно, хи-хи, изображать их в таком нехорошем, в таком неприглядном виде».

Поговорили о Солженицыне. В письме секретариату Союза писателей я его слишком перехвалил, назвав величайшим...

— Неужели вы его правда считаете величайшим?

Теперь можно признаться, что насчет «величайшего» у меня и у самого были кое-какие сомнения. Этим эпитетом желал я их (в данном случае союзписательских боссов) поставить на место, кто, мол, вы, пигмеи, по сравнению с «величайшим»? А потом уже, отправив письмо, перечел его и смутился. Что значит величайший? То есть самый-самый, из всех великих великий? Толстой — великий. Шекспир — великий, а этот «чайший»? Написал бы тогда «великий», вот и было бы в самый раз и даже немножко на вырост, во всяком случае, сейчас объясняться б не стал. Но с тех самых пор, залепив такое, пребываю в смущении и к другим носителям высоких достоинств эпитеты примериваю с большой осторожностью.

Но тогда мог ли я поделиться столь деликатными сомнениями с этими крокодилами? Никак не мог, но для себя проблему оставил неразрешенной. Ведь я вырвался из Союза писателей, пошел на разрыв с государством, обрекая себя и свою семью на всякие больше чем неприятности, и ради чего? Ради того, чтобы говорить правду. А оказывается, и в этом случае правду говорить нельзя. Есть перечень событий, действий, явлений, имен, которые «прогрессивному человеку» полагается упоминать только в таком контексте, а не в ином, потому что в ином

это будет на руку им, и тогда вся наша «прогрессивная» общественность зашелестит, зашепчет из уха в ухо, что вы высказываете ваше отрицательное или недостаточно положительное мнение о том о сем не потому, что это действительно ваше мнение, а потому, что этим мнением вы хотите угодить им. И они сами поймут именно так. Поэтому высказывать независимые суждения позволяли себе только очень редкие люди, к которым я себя не всегда мог причислить, что меня самого в себе раздражало.

Года за полтора до описываемого момента был я введен в один диссидентский дом, где хозяйка, приветливо улыбаясь и поощряя к восхищению собою, расспрашивала меня о моих, как это говорится, творческих планах и в порядке установления точек совпадения взглядов (идейных взглядов, конечно) вдруг спросила: «А правда, Максимов очень хороший писатель?»

Я, самонадеянно решив, что ко мне обращаются как к эксперту (специалистом в данной области был все же я, а не хозяйка), попытался приблизить оценку к более реалистичной. «Неплохой», — сказал я, слегка смутившись. И вдруг полыхнуло из глаз диссидентки, словно из огнемета, и услышал я суждение, которое было предложено мне в качестве директивного и единственно возможного к употреблению (как «Воистину воскресе» и «Будь готов»): «Володя Максимов — прекрасный писатель!» Атмосфера дружелюбия тут же истаяла, и я, поерзав еще на стуле и осознав, что оплошное мое высказывание будет здесь надолго запомнено, поднялся и удостоился холодного кивка в ответ на свое «до свидания».

Покидая этот дом, я думал, что жизнь мне предстоит даже сложнее, чем я рассчитывал, и впоследствии оказался больше чем прав. В каждой среде, к которой меня прибывала судьба, были своя идеология, свои ценности, шаблоны, правила поведения и фразеология, с которыми следовало считаться, везде от меня требовали соблюдения принятых в среде ритуалов, поклонения кумирам среды, везде настаивали на том, чтобы мое мнение совпадало с тем мнением, которое в этой среде на данный момент считалось единственно правильным и прогрес-

сивным. А поскольку мнение мое слишком часто не совпадало с общим, то меня всю жизнь поправляли, одергивали и часто предписывали, что я на самом деле должен думать о том или ином предмете (а о некоторых предметах и вовсе запрещалось думать что бы то ни было), и при уклонении от предписаний имевшие власть наказывали, а не имевшие проклинали устно, письменно и печатно.

Особенно сильно мне попало от прогрессивной общественности за Сим Симыча Карнавалова в «Москве 2042», в котором все немедленно узнали Солженицына и спрашивали, как я посмел. Я говорил: это не Солженицын, а обобщенный образ. Мои критики возражали: не обобщенный образ, а именно Солженицын. «А что, похож?» — спрашивал я. «Нет, совсем не похож!» — «А как же вы тогда узнали?» От этого вопроса критики сперва слегка торопели, но и тут изворачивались и спрашивали, понимаю ли я, на чью мельницу лью воду. Но тогда, в семьдесят пятом году, я лил воду на правильную, на прогрессивную мельницу.

— Неужели вы его правда считаете величайшим? — спросил меня тот, кого мы в нашем рассказе условно называем Петровым.

— Конечно, величайшим, а каким же еще?

Не с тобой же, гадом, мне делиться своими сомнениями.

— Да какой же он величайший? — заволновался Петров. — Какой же он величайший, когда он — вы знаете это? — препятствовал выходу вашей книги.

| ИВАН ЧОНКИН И НИКИТА СТРУВЕ

Опять вставим маленький комментарий к прежде написанному.

Решая в семьдесят третьем году, в каком издательстве печатать «Чонкина», рассматривал я выбор из двух известных мне возможностей: «Посев» и «ИМКА-Пресс». Но у «Посева» было два видимых недостатка. Первый — в том, что он издательство определенно антисоветской,

очень узко ориентированной политической партии. Литература им нужна была только как подспорье в их пропаганде, а меня это коробило. Второй недостаток: они настаивали на передаче им мировых прав (беря себе 30%), от чего я после долгих колебаний уклонился.

У «ИМКА-Пресс» репутация была вроде бы поприличней. Хотя потом я понял, что и они определенной ориентации, с которой я не совпадаю, а таких, неориентированных, с кем совпал бы, среди русских издателей тогда не было. Не считая издательства «Ардис», которое в те поры меня не оценило, о чем покойный Карл Проффер потом жалел. Итак, подался я в «ИМКА-Пресс». Переслал рукопись и жду. Сижу как на иголках. Ужасно хочется, чтобы книга вышла до моего вполне вероятного ареста. Чтобы хоть подержать ее в руках, чтобы хоть посмотреть... Впрочем, если она выйдет, если привлечет к себе внимание, то, может быть, этого самого ареста удастся избежать.

Месяц проходит, два, три... роман не выходит. В чем дело? Ведь все говорят, что на Западе книгу можно издать очень быстро. Пытаюсь выяснить что-то, а как выяснить?

Надеюсь, что уже подрастает поколение, которое никогда не будет знать трудностей и опасностей попыток связаться с границей. Тем более связаться с издательством, которое хотя и не «Посев», а все же антисоветское, и не просто связаться, а по поводу издания книги, имеющей тот же эпитет — «антисоветская».

И вот я сначала терплю, а потом через каких-то людей, иногда верных, а чаще каких попало, шлю на Запад, в Париж, неизвестным мне главному редактору Никите Алексеевичу Струве и директору издательства Ивану Васильевичу Морозову кричащий вопрос: когда? Морозов отвечает нервно и смущенно¹. Струве нетороплив и несуетен. Скоро книга выйдет. Скоро, скоро. К Новому году. К Рождеству. К Пасхе. К Троице. Раньше советские редакторы обещали мне то же самое, но оперируя

¹ Некоторое время спустя И.В. Морозов повесился после какого-то, как я слышал, скандала в издательстве.

другими датами и, конечно, с предлогом «после». К годовщинам нам надо что-то «идейное» (о Ленине, партии, комсомоле), а потом протолкнем и вас. После Первого мая, после Октябрьских праздников, после Дня конституции, после 23 февраля, после столетия Ленина. После, после.

Несколько раз приезжали ко мне гонцы из «Посева», и я передавал разрешение на публикацию «Чонкина» им. (Одна из «посебовских» посланниц, очень красивая девушка, француженка, не понимавшая — или делала вид? — ни слова по-русски, потрясла меня тем, что мою записку сначала заклеила в целлофановый пакетик, а потом закатала в тубик с зубной пастой. Столь профессиональный шпионский прием я видел первый и последний раз в жизни.) Но как только намерение мое становилось известно в Париже, Струве приходил в возбуждение, тут же отыскивал возможности связи со мной, умолял: дайте нам еще месяц. Я опять отказывал «Посеву», опять ждал и ждал.

Так прошел весь семьдесят третий год. В семьдесят четвертом году, после высылки Солженицына, мою рукопись и вовсе задвинули. Я никогда не подумал бы на Солженицына, что он мне мешал как-нибудь специально, но и в развитости в нем чувства солидарности тоже его не заподозрю. Он охотно принимал заступничество всех, но защищал некоторых выборочно и с расчетом. (И в некотором специфическом смысле правильно делал. Великому человеку для того, чтобы прослыть таковым, нужно всегда и точно рассчитывать, когда, в каком контексте, на каком фоне, в каком списке и рядом с кем должно появляться его имя.)

С появлением Солженицына на Западе у «ИМКА-Пресс» появилось много новой работы. Я уже в полном отчаянии, наплевав на всякую конспирацию, стал звонить им открыто по телефону и спрашивать прямым текстом: когда? И заметил, что тамошние издатели ведут себя немногим лучше наших домашних. И обещаний не выполняют, и лгут, а когда с колоссальным трудом (и, напомним, с немалым риском) дозвонишься до Парижа, то каждый раз оказывается, что Никита Алексеевич толь-

ко что вышедши или еще не пришедши. Все как здесь, с той только разницей, что «здесь» если издадут, то, по крайней мере, гонорары не зажиливают. А там... Там зажиливают (да еще как!), проявляя при этом много ханжества, лицемерия и демагогии, но высказать в то время хоть малейшее сомнение в святости намерений этих людей... Да ни в коем случае! Как можно! Это же будет опять на руку им, на руку КГБ.

Я никаких сомнений и не высказывал, но год минул и второй пошел на убыль, а где «Чонкин»? Когда выйдет? Похоже, что никогда.

На звонки мои отвечают уклончиво, но доходит окольное известие: вынуждены были отодвинуть книгу, потому что срочно надо издавать «Бодался теленок с дубом», а следом за ним — последнее достижение общественной мысли, статьи нескольких, как сказано в «Континенте», смельчаков — сборник «Из-под глыб». Сижую, жду, надеюсь, что, может быть, после «смельчаков» найдется в издательских планах дырка и для меня. Но нет, хлынуло в дырку «Стремя «Тихого Дона», позже еще что-то. А мне все обещают то к Рождеству, то к Пасхе. После очередного религиозного праздника дозвонился до Струве: «Я, конечно, понимаю, я, наверное, не совсем ваш, вы можете меня вообще не печатать, но неужели вы не понимаете, в каком я положении? Неужели вы не понимаете, что «Чонкин» есть единственная моя хоть и эфемерная, но все же защита? Если не хотите печатать роман, отдайте, верните его мне немедленно». — «Ну что вы, как мы можем не хотеть печатать такой роман? Это же не роман, это чудо, и мы его обязательно издадим. Причем приурочим издание к Франкфуртской книжной ярмарке. Когда книга попадает на книжную ярмарку, тогда ей самое большое внимание».

В сентябре семьдесят четвертого опять с трудом дозвонился до Струве: «Так выйдет «Чонкин» к ярмарке?» — «Что? К ярмарке? Нет, не выйдет. «Чонкин» из тех книг, которые ни в каких ярмарках не нуждаются. Он сам ярмарка».

В январе семьдесят пятого я очередной раз позвонил в Париж и поздравил Струве с выходом «Чонкина» по-

шведски. Это известие его, кажется, несколько смутило. Перевод вышел раньше оригинала. Тут уж Никита Алексеевич расстарался, и русское издание «Чонкина» вышло очень скоро, всего лишь на несколько дней отстав от немецкого.

| «ДАВАЙТЕ ИЗДАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ»

Однако нам пора назад, на Лубянку. 4 мая 1975 года. Пасха, середина дня, «беседа» продолжается.

— Солженицын не величайший гражданин, он монархист, шовинист, ко мне лично плохо относится, к тому же аморальный, на своей крестной дочке женился. Разве же это можно?

— А вас, — спросил я, — почему это беспокоит? Вы что, верующий?

— Нет! — быстро открестился Петров. — Я нет.

— И я тоже нет, пусть он хоть на крестной внучке женится, мне все равно.

Обсудили лагерную тему и Сталина, который преступления, конечно же, совершал, но не надо забывать, что это был человек, тридцать лет стоявший во главе нашего государства.

— Николай Первый, — сказал я, — тоже тридцать лет стоял во главе нашего государства.

— Не может быть! — воскликнул Петров и удивился, когда я ему доказал, что было именно так. Или сделал вид, что удивился. Не думаю, что продолжительность царствования Николая — того или другого — его хоть сколько-нибудь занимала.

Поскольку мои собеседники продолжали меня уверять, что они не такие, я сказал, что готов им поверить, но они свое отличие от «таких» должны как-нибудь подтвердить. Например, выпустить на свободу всех политических заключенных, а на месте хотя бы одного из бывших лагерей устроить музей вроде Освенцима. И там же заложить могилу Неизвестного Заключенного. Чтобы родственники и потомки пропавших без вести могли прийти, поплакать, положить цветочек. Чтобы юные следопыты объявили поиск под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто».

— Вот тогда, — объяснил я, — про вас можно будет сказать, что вы совсем не такие.

Но они считают, что доказательства и так налицо.

— Согласитесь, — говорит Петров, — что в тридцать седьмом году здесь бы с вами не так разговаривали.

— Да уж, в тридцать седьмом и вы неизвестно где были бы.

— Да, — соглашается, — и работники органов многие тогда погибли.

Не успел я взгрустнуть по работникам органов, тема переменилась и коснулась издательства «Посев», к которому я, как уже ясно, имел очень косвенное отношение (дважды печатался в «посевоvском» журнале «Грани», первый раз не по своей воле, а второй — по своей).

У чекистов, похоже, была установка: делать вид, что на Западе вообще никаких издательств нет, кроме «Посева». А «Посев» ужасен тем, что за ним стоит политическая партия, которая стремится к свержению нашего строя. Печатаясь там, вы тем самым участвуете в попытке свержения.

Я не против такой трактовки, но говорю своим собеседникам, что этой ужасной партии помогают прежде всего они.

— Кто? Мы? — удивился Петров, а Захаров опять попросил:

— Можно закурить?

— Да берите, — сказал я раздраженно (он мне надел), — берите и не спрашивайте. Конечно, вы, — ответил Петрову, — больше других помогаете этой партии.

— Интересно, — засмеялся Петров. — Каким же это образом?

— Самым прямым. Запрещая талантливые книги, вы делаете все, чтобы они достались «Посеву». Хотите разорить «Посев»? Печатайте лучше здесь.

— Но нельзя же все печатать, что пишется.

— Все нельзя, а лучшее можно. Лучшее печатайте здесь, а худшее отдавайте «Посеву».

— Значит, вы считаете, — уточнил Петров, похоже, для доклада кому-то, — что мы сами помогаем «Посеву»?

— Еще как помогаете! Изю всех сил.

Как читатель увидит ниже, мой допрос был санкционирован очень большим начальством. Я не знал этого, но не сомневался, что разговор наш в записи (магнитофонной или бумажной) пойдет куда-то «наверху». Я не исключал того, что там, «наверху», есть люди, которым, пусть даже в их собственной борьбе за власть, моя аргументация покажется резонной. Но прислушивающихся к резонам людей «наверху» пока не было, они сидели еще в своих крайкомах-обкомах и выжидали, когда сойдет под Кремлевскую стену предыдущее поколение.

Перескочили на иностранных корреспондентов: зачем я с ними общаюсь, зачем даю интервью?

Спрашиваю простодушно:

— А разве нельзя?

— Нет, можно, конечно, — разрешает Петров, — но они же вас, наверное, искажают. Вот посмотрите, — показывает «Русскую мысль» с переводом моего интервью немецкой газете. — Вы здесь Ильина¹ называете генеральным секретарем Союза писателей. Вы же не могли так сказать?

— Не мог. Я, конечно, назвал его секретарем по оргвопросам.

— Вот видите! А они что пишут?

— Погрешности обратного перевода.

Крутит головой.

— Это не обратный, это тенденциозный перевод.

— Да, — подхихикивает Захаров, — генеральный секретарь, это, знаете ли, хи-хи...

Теперь уже, наверное, не только иностранцам, но и подрастающим соотечественникам следует объяснять, что генеральным секретарем назывался верховный вожьд КПСС и всея страны и название самой этой должности следовало произносить с благоговейным трепетом и ни

¹ Виктор Николаевич Ильин (1904—1990) в двадцатых-тридцатых годах служил в органах госбезопасности, достиг чина, соответствующего званию генерал-лейтенанта, был арестован, просидел лет, кажется, десять, в описываемое время был секретарем Московского отделения Союза писателей РСФСР по организационным вопросам.

в коем случае не приписывать никому другому. И опять же «Русская мысль» называет Ильина генеральным секретарем, а я не протестую и таким образом соучаствую в этом ужаснейшем преступлении.

— Но посмотрите, под каким заголовком они дают ваше интервью. «Глумление над талантливым писателем». Разве вы здесь не видите тенденции?

— Нет, я вижу здесь чистую правду.

Тут Захаров не сдержался:

— Но они же вас возвеличивают!

— А вы хотите, чтобы они вас возвеличивали?

Захаров смущается, потупляет глазки. Он человек скромный, очень советский, и, чтобы они его возвеличивали, этого — хи-хи — лучше не надо.

— А вот еще здесь, видите, они вас внесли в список жертв, как они пишут, советской психиатрии. Но вы же не сидите в психбольнице? Нет?

— Нет, — подтверждаю, — конечно, нет.

Петров продолжает исследовать лежащий перед ним текст.

— А вот здесь вы говорите, Владимир Николаевич, что вы человек аполитичный. Разве может писатель быть аполитичным?

— Может, — говорю я. — Чехов был аполитичный. И другие. И вот этот мой рассказ — «Путем взаимной переписки» — пример аполитичности¹.

— Ну да, — недоверчиво захихикал Захаров. — Этот рассказ не аполитичный. В нем самый отрицательный герой — член — хи-хи — КПСС...

— А что ж, если он член КПСС, я ему должен голову елею мазать?

Было выкурено много сигарет, произнесено много слов, после чего я понял, что никак угодить им не могу, все мои попытки отвратить от себя наказание провалились. Сейчас Петров нажмет кнопку, и вооруженные

¹ Я заметил, что многие люди воспринимают то или иное суждение автора о себе самом как неизменное на все времена. Между тем мое отношение к политике в течение моей жизни менялось много раз — от полного равнодушия к пристальному интересу (но без желания лично вовлечься) и наоборот.

люди отвезут меня на казенной машине в Лефортово. Ну что ж, я же сказал, что был готов ко всему, в том числе и к этому. И даже к худшему. Я думал, они меня так ненавидят, что, посадив, постараются подвергнуть каким-нибудь ужасным унижениям, но я этого не допущу и буду защищать свою честь любой ценой, даже ценой жизни.

Мне было жаль моих близких — жену, сестру, родителей и особенно детей, и особенно Олю. Дети от первого брака были все же постарше. Марине шестнадцать, Паше тринадцать, а она совсем крошка, вырастет, не помня отца, а какая это для ребенка травма, я знал по собственному опыту.

Что касается моих писаний, то хоть и тратил я свое время и силы бездумно на бесконечные общения, кухонный треп, пьянство, шахматы и прочие глупости, а все-таки кое-что написать успел.

В пятьдесят девятом году меня сюда притащили, когда я вообще еще делал первые шаги в литературе. Вот когда я боялся пропасть бесследно. А сейчас, ну ладно, хоть что-то останется.

Если просто тюрьма, если одиночка или общая камера, это ничего. Самое ужасное, если камера, где уголовники специально натасканы, чтобы издеваться, мучить и унижать. Некоторые считают, что «пресс-хаты» — это изобретение новейшего времени, но это не так. Году, примерно, в сорок девятом попал я в милицию, и там обещали мне камеру с уголовниками, где новичкам для начала устраивают «парашютный десант», то есть берут за руки, за ноги, поднимают повыше и бросают спиной на цементный пол. А потом еще серия упражнений в том же духе. Но я себе давно сказал: если так, буду сопротивляться при самой малой возможности, с помощью любого предмета, тяжелого или острого, буду драться, кусаться, царапаться до тех пор, пока хоть чем-нибудь смогу шевелить...

— Так как, Владимир Николаевич, — донесся до меня откуда-то голос Петрова, — вы хотите печатать свои книги в Советском Союзе?

— Что? — переспросил я. — Я вас не понял.

— По-моему, я понятно говорю. Я спрашиваю: вы что же, совсем не хотите больше печататься здесь? Хотите только на Западе?

Оказывается, меня не только не сажают, а еще даже торгуются.

— А разве можно и здесь?

— А почему же нельзя? Давайте издаваться здесь. Давайте сделаем так, чтобы не за границей, а у нас ваши книги шли нарасхват.

— Да я, собственно, не против. Давайте. С чего начнем?

— Вот об этом как раз и надо подумать.

Конечно, я не настолько лопух, чтобы сразу поверить.

— Вы небось хотите начать с того, чтобы я дал отпор Солженицыну, буржуазной пропаганде или себе самому.

— Да что вы! Разве я вам что-нибудь подобное сказал? Я хочу только одного: чтобы вы печатались здесь. Вы согласны?

— Если остановка только за моим согласием, я вам его даю.

— Но как практически?

Объясняю, что практически способ печатания книг известен приблизительно со времен Гутенберга.

— Но мне бы хотелось услышать от вас какое-то конкретное предложение. Может, для начала что-то переиздать?

— Переиздайте.

— Или издать что-то новое.

— Могу предложить и новое. Только что-то не понимаю. Вы же такие непримиримые, неужели будете печатать человека с моими взглядами?

— Вот видите, я же говорю, что у вас об органах устарелые представления. Мне бы хотелось, чтобы вы нас лучше узнали. Давайте еще раз встретимся. Ну не здесь (здесь, может быть, на вас эти стены давят), а где-нибудь в другом месте, в более непринужденной обстановке.

— В гостинице?

— Хотя бы в гостинице. А что?

Нет, ничего. Мне как-то рассказывал Виктор Некрасов о своей встрече с гэбистами в гостинице, мне показалось это интересным, и я захотел посмотреть, как такие номера выглядят. Заряд любопытства, которое кошку сгубило, во мне еще был немалый.

— Но все-таки, — говорю я, — ваши предложения выглядят как-то странно. А может быть, вы надеетесь завербовать меня в осведомители?

— Что вы! — всплеснул руками Петров. — Это я даже побоялся бы вам предложить.

— Побоялись бы? И правильно. Мне однажды предлагали.

Должен заметить сегодня, что слово «предлагали» к тому, что было на самом деле, в общем-то, не подходит. Во время моего первого вызова и допроса в КГБ еще в пятьдесят девятом году были некоторые туманные намеки («вы нам поможете, мы вам поможем») и был вопрос, что говорят наши профессора на лекциях в институте (я сказал, что на такой вопрос не всегда могу ответить даже на экзамене), но никакого внятного предложения все-таки не было.

Петров смеется:

— Вы все-таки нам не верите. Даже не знаю, как вас убедить, что мы хотим от вас только одного: чтобы вы печатались.

— И ничего больше?

— Ничего.

— Так возьмите и для начала напечатайте «Чонкина», если он вам так понравился.

— А что, я бы напечатал. Правда, я попросил бы вас выбросить одно только слово — ПУКС.

Одно слово я согласился выбросить немедленно, хотя, если бы дошло до дела, неизвестно, как бы себя повел. «ПУКС» все-таки слово в романе не лишнее.

Разговор подошел к концу. Последовало еще несколько вопросов мимоходом. Кого я знаю из молодых писателей? Никого не знаю. (Все-таки я был все время начеку и ни разу ни одной лишней фамилии просто так не назвал.) Как поживает Владимир Корнилов? Ничего, поживает.

— А деньги он из-за границы получает?
— Это вы у него спросите.
— А вы не знаете?
— Я не знаю.
— Ну так что, не хотите с нами встречаться?
— Да все не могу никак понять, для чего.
— Что ж тут непонятного? Подумайте, что именно вы хотели бы напечатать и где. И приходите со своими предложениями. Да что вы колеблетесь? Запишите телефон. Захотите — позвоните, не захотите — не звоните. Вы же ничего не теряете.

Ну конечно, я ничего не терял. Я помнил пословицу об увязшем коготке и пропавшей птичке, но верил, что не дам увязнуть и коготку. Никакой невидимой границы не перейду, ни в какие расставленные ими силки не влезу.

Поэтому я взял лист бумаги и записал: Петров Ник. Ник., 228-80-34.

Пока мы с хозяином кабинета жали друг другу руки, Захаров бегал подписывать пропуск и, вернувшись, пошел меня провожать.

Возле лифта в деревянной рамке висела бумага с машинописным текстом: «Дирекция, партком и завком завода «Борец» выражают глубокую благодарность работникам Комитета государственной безопасности за активное участие в коммунистическом субботнике».

Этот текст, такой обыкновенно советский, подействовал на меня расслабляюще, вызвав чувство, что я был в обыкновенном советском учреждении.

Но, наверное, все-таки стены Лубянки и правда на меня давили, потому что я был радостно удивлен обилием солнечного света и обыкновенностью протекавшей снаружи жизни.

Удивился и Ире, которую тут же увидел на тротуаре.

— Ты что, — спросил я, — так все время здесь и стояла?

— Так и стояла, — сказала она.

— Но ты могла бы зайти хотя бы в книжную лавку, чтобы занять себя чем-нибудь.

— А я и так была занята — я психовала.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Напрасно психовала. Все идет хорошо.

(Я ей всю жизнь говорю, что все хорошо, но она всю жизнь почему-то не верит.)

Вернувшись домой, мы освободили Анну Михайловну (тещу) от обязанностей няньки, и тут же задрезал телефон. Телефонистка сказала:

— Будете говорить с Парижем!

И в трубке зарокотал усталый государственный голос, словно передававший мне директиву в закодированном виде:

— Христос воскрес!

Я, как всегда, смутился и опять не нашел ничего лучшего, как ответить:

— Здравствуй, Володя.

— Ну как дела? — великодушно прощая мне мое ритуальное невежество, спросил звонивший.

Вопрос был не так прост, как казался.

Звонивший интересовался не просто моими делами, а обещанным отрывком для «Континента».

— Дела, — сказал я, — Володя, пока ничего, но то, о чем мы говорили, пока отложим.

| «ЗА ШАПКУ ОН ОСТАВИТЬ РАД...»

Итак, к описываемому моменту мне было почти срок три года, у меня было (повторяю) трое детей, шестнадцати, тринадцати и полутора лет. С матерью двух старших я разошелся, но ответственности за них с себя не снимал и заботой своей старался их тоже не обделять.

Занимаясь литературным трудом около двадцати лет, написал я много чего, но из того, что, как я самонадеянно думал, после меня может остаться, у меня были полторы книги «Чонкина» (вторую я как раз дописывал), повести и рассказы «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», «Путем взаимной переписки». Еще, имея я власть сам руководить оставлением своих писаний во времени, я бы включил в оставляемое кое-

что из других книг — некоторые главы, куски и строчки. Вот и все.

Я всю жизнь работал много и в любые часы суток, а если это не отразилось на количестве книг, то только потому, что все написанное (включая даже частные письма) я всегда по многу раз переписывал. В переписываемом часто зарывался настолько, что не улучшал его, а ухудшал и потом выкидывал. Десятки тысяч страниц, мною исписанных, выкинуты на помойку. Тысячи разбросаны и утеряны. Я всегда и неуклонно соблюдал завет Пастернака (даже когда не знал его): «Не надо заводить архива, над рукописью трястись». Вот уж чего не делал, того не делал, и даже слишком. (Недавно, в 1992 году, ЦГАЛИ¹ предложил мне сдать им мой архив на хранение, я окинул взглядом свои бумажки, подумал: «Разве это можно назвать архивом?» И вежливо отказался.)

Литературную мою судьбу можно назвать удачной, но вряд ли благополучной. О стихах говорить не будем, а проза, самая первая, была немедленно опубликована и замечена. Но я не умел «проталкивать» свои книги, дружить с критиками, ладить с начальством и скрывать свое отношение к советской власти, даже когда хотел. Зато умел попадать во все черные списки, которые за время моего пребывания в советской литературе были составлены. Иногда даже в списки, состоявшие из одного имени.

С самого моего литературного рождения я был среди тех, кого или почти не печатали, или полностью запрещали. В начале своей карьеры я очень мало интересовался политикой, не пылал гражданскими страстями и вообще не стремился «высовываться», но те из породы начальства, с кем мне приходилось соприкасаться, сразу же понимали, что я чужой.

Чужим я был не по идейным или классовым соображениям, а органически.

В возрасте шестнадцати лет в моей жизни произо-

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства.

шел забавный и знаменательный случай. Я, только что окончив ремесленное училище, работал на заводе. Приближался какой-то советский праздник, и дирекция с парткомом и завкомом готовились вывести своих трудящихся на демонстрацию. И решали, кто, где, в каком порядке будет идти и (поименно) кто чего понесет: знамя, транспарант, лозунг, портрет кого-нибудь из вождей. Наметили что-то всучить и мне, но парторг вмешался: нет, этому ничего давать нельзя, он то, что ему дадут, по дороге выкинет.

Помню, когда кто-то передал мне слова парторга, я был очень удивлен и обижен. Ну почему он обо мне так думает, разве я дал хоть малейший повод? И конечно, тогда, если бы мне доверили какой-нибудь портрет или знамя, я бы его один раз до места донес.

Но в принципе парторг разглядел во мне то, чего я сам в себе еще не видел. Всякая ритуальность меня всегда отталкивала, а позже я понял, что вообще нет таких символов и таких портретов, которые я хотел бы носить над единственной своей головой. Повторяю, мне не нравилась всякая ритуальность, и советская могла бы быть одной из всех, если бы ее, как единственно благодатную, не навязывали изо дня в день до рвотного рефлекса. Даже в самых безобидных формах она была мне отвратительна. В 1969 году, накануне очередного пушкинского юбилея, мне сначала прислали бумагу, а потом позвонил все тот же незабвенный Виктор Николаевич Ильин с приглашением участвовать в возложении венка к памятнику Пушкину. Я отказался.

— Ну почему? — удивился Ильин. — Ведь это же дело, с вашей точки зрения, чистое. Ведь это цветы не Маяковскому и не Горькому.

— В том-то и дело, — сказал я. — К этим-то я еще пошел бы. А к Пушкину в такой компании, да мне перед ним самим просто стыдно.

Будучи человеком (в свое время) аполитичным и лишенным гражданских страстей, я был зачислен во враги советского режима, как иногда мне самому казалось, по недоразумению, но потом понял, что никакого недоразумения нет.

Я не делал политических заявлений, но от вида всей советской атрибутики: знамен, досок почета, вождей на трибуне Мавзолея, свинок на первых страницах газет, хоккеистов, фигуристов, меня тошнило и часто подмывало, говоря словами Германа Плисецкого, «уйти в ряд небритых лиц от лозунгов, передовиц и голубых перворазрядниц...».

К тому же я был весьма невосдержан на язык и относился к тем, кто ради красного словца не только, по пословице, не пожалеет родного отца, но и себя тоже не побережет.

Есть люди, с которыми бороться почти бессмысленно. Человека, недовольного классово, можно перевести в другой класс, и он станет доволен, человека, несогласного идейно, можно подвинуть на перемену идеи, человека, органически несовместимого, можно только убить.

Надежда Яковлевна Мандельштам однажды сказала о своем муже (цитирую приблизительно): «Неправильно говорят, что Мандельштам не хотел врать. Он хотел. Но не умел». Мандельштам с советской властью был органически несовместим, хотя и пытался иногда совместиться.

Я тоже иногда пытался, но никогда не мог.

Солженицын где-то пишет, что, повернись его судьба иначе, и он сам мог бы оказаться среди «голубых петличек», то есть гэбистов. Ему, конечно, виднее (хотя он себя, должно быть, в данном случае недооценивает), но я про себя могу сказать, что со мной подобного ни при какой погоде произойти не могло, и вовсе не потому, что противоречило бы моим убеждениям (убеждения всегда можно к чему-нибудь подогнать), а потому, что к такого рода службе я не приспособлен был от рождения. Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать», ему же подошло бы название: «Кем я не мог бы стать». Я давно понял, что никогда не мог бы быть начальником, потому что стесняюсь кого-нибудь к чему-нибудь принуждать, никогда не мог бы быть хорошим подчиненным, потому что мой организм противится принуждению. Я никогда не был противником жиз-

ненного благополучия (мечта о котором, неосуществленная, у меня всегда сводилась к собственному загородному дому и огороду), но когда доходило до конкретной платы за это: поднять руку, поставить подпись, возложить венок, сказать комплимент начальнику, дружить с нужным человеком, от таких возможностей я всегда уходил, избегал, убегал.

«Er ist fluchtig»¹, — сказал обо мне один проницательный немец.

К политической или общественной деятельности я никогда не стремился. В интервью немецкой газете «Ди Цайт», данном мною незадолго до вызова в КГБ, я назвал себя диссидентом поневоле, но не столько в том смысле, что меня туда затолкали, сколько в том, что я с существующим режимом был просто несовместим² и диссидентство мое было неизбежным.

Впрочем, некоторые «диссидентские» поступки я совершил по причинам более низкого свойства, а именно, по убеждениям.

Когда посадили Синявского и Даниэля и начался возврат к фашизму сталинского образца, я решил, что общество, если оно у нас действительно есть, должно оказать таким планам властей сопротивление, должно восстать, а поскольку я так думаю, то я должен за убеждение свое отвечать и быть среди восставших.

Что я в некотором смысле и сделал.

Но восстания не случилось.

Процесс Синявского и Даниэля вызвал внутри страны хотя и острый протест, но среди очень ограниченного круга людей. Из двух-трех тысяч человек (на всю огромную страну), склонных к протесту, десятков посадили, сотню оставили на развод, а остальных, так или иначе, купили и успокоили: сидите, кушайте, думайте что хотите, но помалкивайте. Сталинские времена кон-

¹ Не могу перевести иначе, как «склонный к улетучиванию».

² Когда я находился на дне советского общества, моя несовместимость с ним в глаза не бросалась, но стоило мне чуть-чуть всплыть, она стала очевидной и вопиющей.

чилились, без разбору сажать не будем, но лезущих на рожон можем и пришибить.

Конкретно мое положение было такое. Пока я был членом Союза писателей, я чувствовал себя ответственным за все, что происходит в самом этом союзе, и за то, что им одобряется. Я встречал много людей, которые рассуждали примерно так: «Я художник. Бог дал мне мой талант, чтобы писать книги (картины или оперы), а все остальное — политика. Я занят своим делом. Оно нужно не только мне, оно нужно стране, народу, миру, человечеству, я занят этим делом. А что, вокруг меня разве что-нибудь происходит? Да? Правда? Что вы говорите? Не знаю, не знаю. Мне некогда вдаваться в подробности, у меня дело, от которого отвлечься я никак не могу».

В таких рассуждениях есть своя правда. Художественное сочинительство и гражданские страсти не так-то просто между собой уживаются. Как только писатель любого масштаба, хоть даже и Лев Толстой, погружается в пучину общественной борьбы, это тут же сказывается на качестве им сочиняемого. Но и с холодным равнодушием к судьбе своих современников настоящий художник несовместим.

Когда пошла полоса арестов и Шемякиных судов над инакомыслящими, я никаких оправданий своему стоянию в стороне придумать не мог, поэтому (очень неохотно) примкнул к протестовавшим.

Но самая большая вспышка моей гражданской активности была связана с Солженицыным. Когда его исключали, когда его преследовали, я почти физически ощущал, что, оставаясь в Союзе писателей, по справедливости должен быть причислен к преследователям. Когда над Солженицыным сгушались тучи, когда началась газетная травля (а шум от нее многократно усиливался «голосами»), я, возбужденный ею, за его жизнь иногда так боялся, как (читателю этих заметок придется поверить мне на слово) ни тогда, ни потом не боялся за свою собственную.

Вот когда его арестовали, когда я думал, что его неизбежно посадят, тогда и настал в моей жизни тот един-

ственный момент, в который я готов был взять портрет Солженицына и выйти с ним даже в одиночку на Красную площадь.

Но власти распорядились с неожиданной для них разумностью: Солженицына не посадили, а вывезли в безопасную жизнь. Пар из котла выпустили, взрыва не получилось. Ко всеобщему, как я заметил, удовольствию. К моему тоже.

У меня это событие совпало с исключением меня из Союза писателей. Я еще кипел, кидался Солженицына защищать и даже возвел его в сан величайшего, но тут же понял, что хватил лишку, величайшему уже ничто не грозит, а вот о своей голове, какая бы она ни была, пора самой этой головою подумать.

Надо сказать, что еще и до этого какие-то высказывания и поступки Солженицына вызывали мое не только почтение, но и иронию, и поводов для нее хватало.

В тот вечер (13 февраля 1974 года), когда Солженицына арестовали, мы (Бенедикт Сарнов, Владимир Корнилов и я) были у него на квартире, а несколько дней спустя Виктор Некрасов затащил меня проведать собиравшую чемоданы Наталью. Само по себе посещение никакого рассказа не стоит, но стоит телефонный звонок из Цюриха.

Наталья Дмитриевна, поговорив с мужем, передала телефон Некрасову, тот (конечно, он был, как, впрочем, и я, не совсем трезвым) прокричал в трубку что-то ободряющее, затем сказал:

— Вот здесь Володя Войнович, он тоже хочет с тобой поговорить.

На самом деле я вовсе этого не хотел. Обязанность говорить общие слова меня всегда угнетает, а необщих у меня не было. Солженицын, видимо, тоже к разговору со мной не стремился, и, должно быть, по той же, мне очень понятной, причине. Это нехотение он Некрасову как-то выразил, но Вика замялся, смутился (он-то человек деликатный) и сунул мне трубку.

Я в трубку сказал «алло» и задал глупый вопрос: «Ну как вы там?» На что мне было тут же провозглашено: «Володя, мое сердце с вами, мое сердце в России».

Великие люди так и должны отвечать, но я не люблю великих высказываний, а к тем, которые заведомо рассчитаны на скрижали истории, отношусь с непочтительной насмешкой. Но великие люди всегда смеются последними, их великие высказывания, несмотря на реакцию отдельных невеликих насмешников, все-таки на скрижали заносятся, и потом в течение десятилетий, а иногда и побольше, школьные учителя, ссылаясь на свидетельства вроде данного, с благоговением вдалбливают скисающим от таких слов ученикам, как великий имярек никогда не порывал своей связи с Родиной и всегда повторял: «Мое сердце в России!»

Мы с Некрасовым пробыли в разоренной квартире недолго, после чего нам обоим в качестве почетных даров были вручены по две фотографии, в большом количестве отпечатанные и приготовленные для поощрения отважных посетителей опального жилища. Я эти фотографии немедленно кому-то отдал. Я храню (в беспорядке) снимки только очень мне близких или случайных людей, а изображения великих и культовых личностей не держу. Ни на стене, ни на столе я никогда не держал не только Ленина или Сталина, но ни Пушкина, ни Толстого, ни Маяковского, ни Хемингуэя, ни Пастернака, ни Ахматову. Одно время я попытался приспособить к своей стене карточку Сахарова, но и она у меня не прижилась.

К моменту изгнания Солженицына культ его достиг уже высшей точки, и не только в соотечественной среде. В те дни приезжавшие в СССР иностранцы, за исключением некоторых, знали, что на этой территории находится Советский Союз, Брежнев, КГБ, Солженицын, и это, кажется, все. Остаточные люди, которые здесь иностранцам встречались, подтверждали, что все так и есть.

Незадолго до того я встретился на каком-то приеме с новым корреспондентом «Вашингтон пост» Питером Осносом и спросил его, о чем он собирается здесь писать. Он сказал, что собирается писать о многом, в том числе о русской литературе, о которой на Западе люди не имеют ни малейшего понятия и думают, что здесь нет никого, кроме Солженицына. Я подумал, перебрал в

уме известные мне названия книг и имена авторов и сказал, что, пожалуй, люди на Западе правы: здесь никого, кроме Солженицына, нет. Потому что он, единственный, совершенно пренебрегал всеми правилами писания (начиная с синтаксиса) и поведения, принятыми в советской литературной среде.

Но мое суждение имело все-таки претензию на некий парадокс. А многие иностранцы то же самое понимали буквально.

Когда настала очередь мне самому быть изгнанным из Союза писателей, многие иностранные корреспонденты сообщили, что я исключен оттуда как друг Солженицына. Не представляя себе того, что я могу быть интересен сам по себе. С этой не заслуженной мною репутацией «друга Солженицына» я боролся долго, настойчиво, лет примерно пятнадцать, и кое-каких успехов за это время добился. Хотя и сейчас в публикуемых где-нибудь моих биографических данных указывается, что я претерпел много лишений, главным образом за поддержку Солженицына.

С изгнанием Солженицына одна из причин моего внешнего «диссидентства» почти полностью отпала. Конечно, некоторых людей еще продолжали сажать, и это, говоря красиво, отзывалось в душе моей болью, но, не имея возможности остановить зло, я готов был успокоить себя тем, что я это зло не принимаю вообще. Мне казалось, довольно один раз в жизни сказать, что я отношусь к насилию с большим и неизменным отвращением, и это должно быть всем ясно даже тогда, когда я молчу.

Сказать это один раз и навсегда. А повторяться не обязательно.

В конце концов диссидентом может быть каждый и «другом Солженицына» тоже, а «Чонкина» без меня никто не напишет.

В постсоветской печати я читал о себе, и не раз, мнение, что все мое диссидентство было кратким и точно рассчитанным путем к отъезду. С людьми, которые это утверждают сознательно или по ошибке, я полемизировать не буду. Но тем, кому интересна правда, скажу,

что меня исключили из Союза писателей 20 февраля 1974 года. А уехал я за границу (с советским паспортом) 21 декабря 1980 года. В течение прошедших почти семи лет мне много раз и довольно грубо намекали, чтоб я убрался. Я свое противостояние в заслугу себе не ставлю, и больше того, если бы можно было задним числом исправить биографию и не будь я связан со всеми своими родными и близкими, то уехал бы еще году в шестьдесят восьмом. И нисколько бы этого не стеснялся. Но в своей реальной неисправленной жизни я ни в шестьдесят восьмом, ни в семьдесят пятом об отъезде даже и помыслить не мог, а ситуация у меня оказалась совсем тупиковая.

В литературных делах я до поры до времени проявлял ограниченную склонность к уступкам, но от меня потребовали не уступок, а безоговорочной капитуляции с полным отказом от всех моих литературных амбиций. Этого я им уступить не мог. Никак и ни при каких обстоятельствах. Как тот гонец из пушкинской «Полтавы»: «За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою и то лишь с буйной головою».

Я пошел на разговор с кагэбэшниками, потому что они оставались единственной инстанцией, через которую я мог бы обратиться к государству и оно ко мне. Они были парламентарями, посланными в осажденную крепость. Шансов на безоговорочную капитуляцию крепости у них не было, но на разумное решение в допустимых пределах — были. Я не просто хотел, я жаждал покоя и ради него готов был отдать им, фигурально говоря, «коня, червонцы и булат», оставив себе только «шапку». Я был согласен уйти из общественной жизни, поселиться где-то в провинции, писать, но не печататься ни здесь, ни там, не давать интервью и не мозолить глаза лет пять или даже десять (денег, которые у меня к тому времени были на Западе, на десять лет здешней жизни хватило бы). Мне казалось, что у них не было никакого выхода, кроме как согласиться на предложенный компромисс. Сдаться им полностью я уже и не мог даже с выдачей «буйной головы». Первая книга «Чонкина» вы-

шла, существует, и отменить ее существование не под силу даже КГБ. Как меланхолически и грубо выражалась, глядя на свою разбушевавшуюся малолетнюю дочь, одна моя знакомая: «Обратно не засунешь».

Мне мой план казался разумным, реалистичным и приемлемым даже для них (не кагэбэшников, а властителей, стоявших за ними). Поэтому я и решил встретиться с Петровым и Захаровым еще раз.

| ГОСТИНИЦА «МЕТРОПОЛЬ»

11 мая я позвонил Петрову.

— Владимир Николаевич? — обрадовался он. — Значит, решили встретиться? Ну давайте. Одну минутку, сейчас я определяюсь. Допустим, в четыре часа в «Метрополе». Вам удобно? Очень хорошо. Вы эту гостиницу знаете? Не очень? Ну чтоб вы там не путались, давайте встретимся у памятника Марксу. Договорились? Вот и хорошо. А как вообще настрой, Владимир Николаевич?

Сначала мне не понравилось слово «определяюсь», а слово «настрой» я почему-то так не люблю, что оно звало у меня очень неприятное предчувствие.

— Увидимся, поговорим, — сказал я.

Без пяти четыре я на площади Революции. Один. Ира на этот раз со мной не пошла, поскольку дело как бы уже рутинное. Солнечно, жарко, торгуют цветами. Очередь за пломбиром по 19 копеек. Очередь к тележке с газировкой. Голуби путаются под ногами. Я, между прочим, забыл у этого типа добиться, кто он все-таки есть. Да вот еще проблема — узнаю ли я его. У меня очень плохая память на лица. Помню, правда, что он высокий, смуглый, кудрявый, в очках.

Должен узнать. Выскажу им свои предложения и погляжу, что будет дальше.

Ира просила, когда буду возвращаться, зайти в хозяйственный магазин, там, на Кузнецком мосту, рядом с приемной КГБ, купить нафталин. Она в прошлое воскресенье, ожидая меня, видела нафталин, но тогда было не до него.

В такую жару хорошо бы достать пива. У меня есть сертификаты (за шведское издание я их еще получил, но на этом лавочку прикрыли), на обратном пути можно зайти в «Березку» на Большой Грузинской, купить несколько банок.

Чтобы попасть к памятнику, надо пройти мимо «Метрополя». Смотрю: возле гостиницы мечется чем-то взволнованный рыжий Захаров. Кому-то кивнул головой, кому-то махнул рукой. Резко повернулся, наткнулся на меня, смутился, сунул руку, тут же выдернул и со словами «там Николай Николаевич» (не сбился в имени-отчестве) кинулся к проспекту Маркса.

Тут бы мне насторожиться, а я — ничего. Вдруг смотрю: мимо, обогнав меня, туда же, к проспекту, идет Николай Николаевич. Спину выгнул и головой двигает влево-вправо. Оказывается, я узнал его даже сзади. Идет и кому-то как-то сигналил. И вот сзади он мне так не понравился, что не могу даже и передать. Спина мне его сейчас говорила больше, чем он сам там, на Лубянке. Он шел, чем-то выделяясь из толпы. У него был вид блатного, который вышел «на дело». Дошел до угла и через голову тычет большим пальцем в сторону Маркса, а из-за угла вылетает Захаров, показывает Петрову на меня, оба поворачивают и идут мне навстречу, на ходу торопливо прилаживая к собственным лицам человеческие выражения.

(Меня потом разные люди спрашивали, почему, заметив какие-то приготовления, я не сбежал. Мне такое и в голову не пришло. А надо было если не сбежать, то помедлить и посмотреть, что за переполох.)

Здороваемся. Поднимаемся в лифте на четвертый этаж. Молча проходим мимо дежурной. Идем по роскошному коридору с хорошо натертым темным паркетом.

— Ваши герои, — оборачивается ко мне Петров, — в такую обстановку еще не попадали?

— Пока не попадали. — Словом «пока» я намекаю, что могут еще попасть.

(И он, как я потом понял, намекал на то же.) Входим в номер 480. Большая комната. Посередине стол со

стульями. Справа от дверей, ближе к окну два глубоких кресла спинками к стене. Перед ними журнальный столик. (Мастера спецдизайна обдумывали, как расставить.) На стене между креслами и дверью высоко — картина. В левом от дверей дальнем углу — ниша, наполовину задернутая красной портьерой, там виден угол кровати.

— Куда сядем? — Петров пошарил глазами. — Ну вот, пожалуй, сюда.

Показал мне на одно кресло, сам сел в другое, слева от меня. Я достал сигареты. Захаров принес пепельницу, придвинул стул и сел по другую сторону столика, ко мне лицом, полным внимания.

— Ты, кажется, тоже куришь? — спросил его Петров.

— Да, курю, — сказал Захаров и вынул из кармана нераспечатанную пачку «Столичных», но я не помню (и это важно!), чтобы он распечатал ее и чтобы хоть раз за все время этого нашего разговора закурил. Хотя прошлый раз курил очень много.

Когда он показывал сигареты, я заметил, что у него на левой руке возле часов болтается прямоугольная штучка, что-то вроде брелока, но никак ею не заинтересовался.

Разговор начался с пустяков. Петров сказал, что в Москве жарко, и спросил, не собираюсь ли я на дачу. Собираюсь.

— Будете там работать?

— Буду работать и разводить огород.

— Как этот ваш селекционер? — засмеялся Захаров.

— Примерно так.

— И что же вы там выращиваете? — спросил Петров.

— Да так, всего понемножку. Огурцы, лук, петрушка.

— Да. Ну редиска, — заметил он мимоходом, — у любителей не всегда вырастает...

Самодовольно переглянулся с Захаровым и покосился на меня, предвкушая мое неизбежное изумление его осведомленностью о моих огородных неудачах. Но изумления не последовало (хотя, будь я похитрей, может, и стоило ему подыграть). О том, что у меня редиска

не вырастает, я недавно говорил кому-то по телефону, а что телефон прослушивается, я не сомневался.

— Между прочим, — сказал вдруг Петров, поднимаясь, — посмотрите, это очень интересная картина. По моему, это ваши герои, а?

Я тоже (прошу читателя сохранить в памяти этот момент) поднялся, подошел к Петрову и задрал голову (простофиля). На картине были изображены мальчики, тянувшие сетью рыбу.

— Это мои герои? — удивился я.

— Ну деревенские мальчишки, — объяснил Петров. — Мне кажется, это что-то в вашем духе. Это у них бредень, что ли?

— Не знаю, я не рыбак, — сказал я.

Мы сели на свои места, я закурил и сказал, что долго думал о нашем предыдущем разговоре, не знаю, что все это означает, но если это не ловушка и не провокация (Захаров при этом, конечно, схватился за голову), а мои собеседники всерьез думают о том, как вернуть меня в советскую литературу, то я готов предложить им реальный план. Для начала пусть будет издан сборник моих избранных повестей и рассказов на основе того, что было когда-то в «Новом мире», с включением повести «Путем взаимной переписки». Правда, повесть напечатана в «Гранях», но ее вполне можно опубликовать и здесь. В свое время ее чуть не напечатал «Новый мир», где она была даже набрана.

Объясню читателю этих строк, что, будь мое предложение обсуждено всерьез, я на подробностях настаивать бы не стал. Напечатают сборник или не напечатают, мне было, в общем-то, почти все равно. Главное было, чтобы оставили в покое.

— Хорошо, — согласился Петров. — А где издать вашу книгу? В каком издательстве?

— В любом, — сказал я.

— Что значит — в любом? Давайте подумаем, где у вас лучше связи.

— Связи есть у вас.

Он не согласился и продолжал настаивать на том, чтобы я назвал свои связи, что меня несколько насто-

жило. Потом спросил: а как быть с Союзом писателей? Я сказал: «А что Союз писателей? Он меня меньше всего интересует». Петров возразил, что без возвращения в союз ничего нельзя сделать, и предложил, чтобы я позвонил С.С. Смирнову (в то время первому секретарю Московской писательской организации). Я сказал, что никому звонить не буду и к восстановлению в союзе не стремлюсь. Тем не менее Петров стал допытываться о моих связях среди руководителей союза. Я от прямого ответа уклонился, хотя, правду сказать, никаких связей у меня там не было. Он опять спросил, кого я знаю из талантливых молодых писателей — он хочет им помочь. Я повторил, что никого не знаю.

Эти вопросы, думаю, задавались мне не в расчете на то, что я кого-то действительно выдам, а чтобы меня запутать и потом каким-нибудь случайно упомянутым именем шантажировать. А впрочем, не исключая, что при их специфическом воображении им мерещилась какая-то тянущаяся за мной сеть, которую почему бы не вытянуть попутно основному заданию?

Разговор чем дальше, тем больше принимал злоеший характер. Тем не менее я старался объяснить им реальную ситуацию в литературе и в стране и даже выразил готовность составить объективную записку, но с условием, что она будет передана... «вашему шефу», сказал я, имея в виду Андропова. Стыдно признаться, но я тогда еще верил слухам, что Андропов из всех членов Политбюро наиболее умеренный и трезвый политик. Потом я это мнение резко переменил. Потом я думал (и сейчас думаю), что это был человек примитивного полицейского ума и несложного душевного склада, а может быть, даже и с некоторым психическим сдвигом, о чем говорят его стишки и статуя Дон Кихота в прихожей (к тому интерьеру Гиммлер или Торквемада подошли бы как раз). Никаким государственным мышлением он не обладал и не случайно свои реформы в области управления государством ограничил ловлей в банях намыленных нарушителей трудовой дисциплины.

— Очень хорошо! — приветствовал мои намерения Захаров. — Записку вашу мы непременно передадим.

— Да, — сказал Петров, — такой документ, безусловно, необходим. Но мне лично хотелось бы, чтобы в этом документе вы рассказали подробно, каким именно образом вы выходите на связь с иностранными корреспондентами, как эти связи развиваются.

Этим предложением он поставил меня на место, я вспомнил, с кем имею дело, и понял, в какую смешную и жалкую ситуацию сам себя загнал. Петрову было, может быть, неизвестно, но я-то знал, что у него и у меня были предшественники по разговорам такого же рода. Кто-то из сыщиков прошлого (кажется, это был знаменитый Судейкин) на предложения допрашиваемого нигилиста по коренному переустройству России говорил приблизительно так: «План ваш мы непременно рассмотрим, а пока будьте любезны составить список всех ваших сотоварищей, их фамилии, клички, приметы и адреса». У меня у самого в одной из незаконченных глав «Чонкина» уже написан был эпизод, где селекционер Кузьма Гладышев, оказавшись в оккупации, приходит к немецкому коменданту с предложением обеспечить всю германскую армию овощами путем повсеместного распространения ПУКСа (теперь этот гибрид переименован селекционером в ПУКНАС, то есть ПУТЬ К НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ). На что комендант обещает обязательно предложение обсудить с высшим начальством, но пока желательно, чтобы господин ученый помог выявить в местности своего проживания партизан, жидов и коммунистов.

— А-а, — сказал я Петрову, — я думал, что с вами всерьез можно говорить.

— Именно всерьез, — подтвердил Петров. — Если вы хотите... то есть хотите нарисовать объективную картину, то для полноты ее...

— Ладно, — сказал я, — это, видно, разговор бесполезный.

— Нет, почему же. Нас сегодняшнее положение очень волнует.

— Непохоже, — не поверил я. Но все же стал что-то объяснять. В общем и на конкретных примерах. Стараясь ограничиться положением в литературе. — Вот,

представьте себе, один писатель принес в редакцию рукопись.

— Какой писатель? — перебивает Петров.

— Неважно. Вот он приносит рукопись.

— Как его фамилия?

— Войнович.

— А-а, — Петров теряет интерес к тому, что случилось с рукописью и с писателем.

Заходит разговор о Литературном фонде. Петров интересуется, член ли я этой организации. Я сказал, нет.

— Вам сообщили, что вы исключены?

Он мне опять дает понять, что ему про меня все известно, а я опять понимаю, что ему известно только то, что подслушал. Кому-то недавно я говорил по телефону о моем необъявленном исключении из Литфонда. Интересно, он думает, что я дурак, или сам дурак?

— Нет, не сообщили.

— А откуда ж вы знаете?

— Мне одна женщина сказала.

— Какая женщина?

— Которая там работает.

— А как ее фамилия?

— А зачем вам это знать?

— Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам.

— Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите.

— Нам самим неудобно звонить. Знаете, сразу пойдет слух, что вами интересуется КГБ.

— У вас там есть свои люди, вот вы им и позвоните.

— Какие свои люди? — изумляется невинный Захаров.

— Ну есть. Один, — говорит Петров, как бы выдавливая из себя признание.

— Вот у этого одного и спросите.

— Это тоже неудобно, он может разболтать.

— Ну я думаю, вы как разведчики уж куда-куда, а в Литфонд проникнуть сумеете.

Тут я посмотрел на Захарова и заметил, что он неестественно держит руки, вытянув их вперед и сжав кула-

ки. Глянув на его руки, я увидел, что предмет, вначале принятый мной за брелок, вывалился у Захарова из рукава и болтается, как мне показалось, на двух проводах.

— А это что? Микрофон? — спросил я и протянул руку, чтобы микрофон этот вырвать, но Захаров руку успел отдернуть, а с Петровым (внимание!) случилось что-то неожиданное. Он впал вдруг в какое-то странное состояние, захрипел, задергался, стал быстро и часто кивать головой и бормотать:

— Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно, мы с вами откровенно...

И так много раз. Я от неожиданности напрягся, смотрел на него, а он все бормотал одно и то же «Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно», вдруг завращал глазами, словно гоголевский колдун из «Страшной мести», стал приподниматься, тянуть ко мне руки с ужасной гримасой, возникшей будто от нехватки дыхания, прохрипел: «Хочешь, я тебе расскажу про свою семью?»

И тут же обмяк, сел и стал, словно только проснувшись, приходить в себя.

— Не надо про семью, — сказал я, потрясенный только что увиденным. — Скажите мне лучше, кто вы такой?

— Ну я начальник отдела, — сказал он уже совсем обыкновенным голосом.

— Ответственный сотрудник комитета, — добавил Захаров почтительно.

Я посмотрел на них обоих. Они сидели на своих местах, в той же комнате, ничего не изменилось. Как будто ничего и не было. Но что-то все-таки было. Я испытывал ощущение, словно я, или они, или я и они вместе побывали в каком-то ином измерении, а теперь вернулись и не можем вспомнить, о чем же шла речь до того.

О чем бы она ни шла, я вдруг понял, что наш разговор затянулся и никакого смысла не имеет.

— Ну так вот что, — сказал я решительно и намереваясь уйти. — Ни о какой откровенности нечего говорить. И не надо мне совать в нос микрофон.

— Да какая тебе... — Я посмотрел на него и хотел

сказать, чтоб не тыкал, но он сам поправился, — вам разница, где микрофон — в рукаве или в стене. Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны.

В словах его был резон. Я ведь не сомневался, что меня записывают. Что ж, своего образа мыслей я не скрываю. (Я тогда и в самом деле считал своим долгом говорить всем попадавшимся на моем пути функционерам «правду в глаза», хотя толк от этого был такой, как если бы я то же самое говорил столбу. Потом я думал, что все мои старания говорить им правду были большой глупостью. Им, партийным, союзписательским, кагэбэшным функционерам, поощрявшим ложь, надо было врать в глаза, во всех случаях и как можно больше, чтобы они в этой лжи потонули. При этом надо четко видеть и не переходить границу, где за ложью им начинается обман самого себя.)

Я остался (а интересно, что было бы, если б попробовал уйти?), и разговор наш продолжился.

Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод.

— Вот Дудинцев, например, — сказал Петров, — пишет так. У него к стене прибиты такие карманы. Напишет несколько листов — кладет в один карман. Напишет еще — кладет в другой. А вы не так пишете?

— Нет, — говорю, — я не так. Мой творческий метод состоит в том, что я свои листки прячу гораздо дальше. Так далеко, что, придя ко мне, вы ничего не найдете. После конфискации романа Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом.

На самом деле то, что я говорю, — чистый блеф. Подпольщик из меня не получается, я никогда ничего не умел таить и, видимо, не научусь. Все мои рукописи лежат у меня на столе. Иногда я пытаюсь их куда-нибудь спрятать, но потом забываю куда. Иные куски отдаю на хранение знакомым. А потом забываю, что кому отдал. А поскольку и они тоже забывают, то, может быть, и сейчас ключья моих рукописей заросли паутиной у кого-нибудь под кроватью.

Петров вдруг, развернув кресло, садится лицом ко мне.

— Вот представьте себе, — говорит он, — вы секретарь Союза писателей, а я писатель Петров.

— Представляю. Сейчас таких писателей очень много.

— Почему вы так говорите? — оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за Союз писателей.

Но Петров не обиделся.

— Вот вы узнали, что я, писатель Петров, печатаюсь в «Посеве». Вы меня вызываете к себе...

— Да не буду я вас вызывать. Печатайтесь, где хотите...

Между тем со мной происходит что-то необычное. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника, переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то не пытаюсь его прекратить. Петров пристально в меня вглядывается (для того, наверно, и развернулся), словно пытается что-то определить по моему виду. Но вот, может быть, определил, поставил кресло на место и опять ленивый разговор о том о сем и, в частности, о КГБ.

Многие к КГБ относятся с подозрением. Где что случится, валят на КГБ. Про Виктора Попкова тоже говорили, что его КГБ убил. Вы, конечно, слышали эту историю? Как? Про Попкова? Не слышали? Ну как же, как же... Как убили художника Попкова, не слышали? Вся западная пресса шумела (неужели вы пропустили?): чекисты убили левого художника (а он, между прочим, никакой не левый). И вот как будто чекисты его убили. А на самом деле как получилось? Попков пьяный ловил такси. Остановил машину, полез внутрь, а там инкассар, и тоже «под мухой». Он с перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда (Петров откинул голову и, косясь на меня с вожденной улыбкой, показал пальцем на точку между подбородком и кадыком) и вышла (стал как бы вытягивать что-то невидимое из затылка) отсюда. А потом говорят, мы убили Попкова. Чуть что — и на нас. Мы убили. А это не мы (и стал мне при этом подмигивать: мы, мы, мы).

Речь зашла опять о ВААПе. Я сказал:

— Мне ваш ВААП не нужен. У меня есть свой адвокат, американец, который мои права достаточно хорошо (это я по незнанию сильно преувеличил) защищает.

— А у вас с вашим адвокатом постоянная связь? — поинтересовался Петров.

— Прерывистая.

— Прерывистая? — Он так обрадовался, будто именно этого слова только и ждал. — И наша жизнь тоже, знаете, штука очень, очень (быстро закивал головой, замигал, перекашивая лицевые мускулы) прерывистая... да, прерывистая. Впрочем, — затуманил угрозу философским раздумьем, — что наша жизнь по сравнению с вечностью? Только миг. Да! — встрепенулся. — А вы знаете, что нам приказано вас предупредить?

— Так чего же вы дурака валяете? Предупреждайте.

— Но мы же хотим по-хорошему.

— Если вам приказано по-плохому, выполняйте приказ.

В разговор вмешивается Захаров:

— А я вот, хи-хи, насчет «Чонкина». По-моему, это очень антисоветская книга. Как-то у вас там, хи-хи, все странно. Записка «Если погибну, прошу считать коммунистом» оказывается вдруг, хи-хи, под копытом у лошади.

— А значит, вам все-таки не нравится, — говорю я. — Так бы и сказали. Я ведь и рассчитывал, что вам не понравится.

— Нет, вы знаете, как-то все-таки выпустить такую, хи-хи, книгу к тридцатилетию Победы...

(Интересно, он в самом деле думает, что я специально и именно к тридцатилетию, а не к двадцатидевяти-или тридцатиоднолетию выпустил эту книгу?)

Угрозы сменяются примирительным тоном. Несмотря ни на что, Петров надеется, что во мне (ну пусть на самом доньшке) осталось что-то советское.

— Вы же были рабочим. Не то что там какая-то гнилая (не нашел эпитета посвежее) интеллигенция. Может быть, вам еще повариться в рабочем коллективе?

— Хотите приставить меня к станку или к тачке?

— Да что вы! — восклицает Захаров. — Думаете, хихи, мы хотим воспитывать вас по китайскому методу?

— Да по китайскому методу надо, чтобы еще воспитуемый согласился.

— Одного не могу понять! — всплескивает руками Петров. — Ну было бы вам семьдесят лет, когда жизнь, по существу, закончена¹. Но кончать ее в сорок три... Нет, этого я не понимаю.

Его слова проходят мимо моих ушей. Смысл их я осознаю потом. А пока что-то говорю, спорю, иногда сбиваюсь на попытки убедить моих собеседников в полной безвредности своих писаний, другой раз говорю что-нибудь противоположное.

Пока я говорил, Захаров, чем-то озабоченный, высочил за дверь (интересно, зачем?), но вскоре вернулся и сел на прежнее место и заерзал нетерпеливо.

Я посмотрел на него, посмотрел на Петрова и вдруг совершенно четко осознал, что передо мной сидят два истукана, два неодушевленных предмета, исполняющих функцию, на которую их направляет руководящая ими рука. Они — топор, которым рука может колоть дрова или орехи, или забивать гвозди, или отрубить голову. Убеждать в чем бы то ни было бессмысленно, топор убеждениям не поддается. Но зачем же я сюда пришел? И зачем они? Если они вообще ничего не приемлют, то в чем состояла их задача?

Я посмотрел на часы и удивился. Было ровно семь. То есть я уже здесь три часа. А мне показалось — минут сорок, не больше. Я встал. Они тоже. Опять спросили меня, поеду ли я на дачу и что буду выращивать. Я сказал: «ПУКС». Они хихикали и предлагали позвонить через две недели. Я соглашался, жал им руки, хотя сам удивлялся, зачем это делаю. Потом я направился, но не

¹ Эти слова я тогда понял как намек на Лидию Чуковскую, которая очень раздражала власти, но ее тогдашний возраст (68 лет) и слабое сердце позволяли им надеяться на скорое избавление от нее. Сейчас Лидии Корнеевне 85 лет, она в добром здравии, и надеюсь, долго еще не оправдает надежд своих врагов.

к дверям, а к нише, наполовину задернутой красной портьерой.

— Нет, нет, не сюда! — испугался Петров и повернул меня к дверям, которые возникли передо мной, как из тумана.

| ПОСЛЕ «МЕТРОПОЛЯ»

В странном состоянии я вышел в коридор и опять направился в сторону, противоположную выходу. Дошел до стеклянных дверей. Они были закрыты, но я долго стоял перед ними, пытаюсь понять, как сквозь них проникнуть (и те, кто за мной наблюдал, наверное, были мною довольны). Наконец сообразил, что стремлюсь не туда, повернул обратно, прошел мимо дежурной, посмотрел на нее, любопытно было, как она реагирует на выходца из номера 480. Лица ее не разглядел. Оно как-то расплывалось, но меня это не удивило.

Я спустился вниз и вышел на улицу.

Мне было плохо. У меня все болело: голова, сердце, ноги. Икры ног словно окаменели. В таком состоянии надо было сразу ехать домой. И я бы поехал, если бы хоть чуть-чуть понимал свое состояние. Я его не понимал, но помнил: Ира просила купить нафталин. Обычно ее поручения тут же вылетают у меня из головы. Сейчас же мне казалось, я не могу вернуться без нафталина. С тупым автоматизмом я действовал по заранее намеченной программе.

Я шел, как глубокий и слабый старик, наклонившись вперед и еле переставляя ноги. Пересек проспект Маркса по подземному переходу. Вышел на Кузнецкий мост и повернул направо, к Лубянке. Там, чуть не доходя до главного здания КГБ, маленький хозяйственный магазин.

Я видел только то, что было прямо передо мной, но прямо оказывалось как раз то, что мне нужно. Магазин, нафталин — восемь копеек пачка. Долго множил восемь на четыре. Выйдя из магазина, вспомнил про «Березку» и пиво. Сейчас мне было не до пива, но я опять выполнял программу.

Такси не было, и я пешком — все так же, еле пере-

ставляя ноги, — поплелся на улицу Горького. В троллейбусе доехал до Белорусского вокзала. Пошел в «Березку». Она — закрыта. Где-то еще пива тоже не оказалось (да и откуда ему быть, если время было около восьми вечера?).

Как добрался домой, точно не помню, кажется, на метро. На расспросы Иры отвечал односложно (она, занятая ребенком, сначала ничего не заметила). Чувствуя, что мне как-то не по себе, я включил телевизор. Показывали хоккей. Я стал смотреть, но не понял, кто, куда и зачем бежит. Я отметил, что ничего не понимаю, но не испытал при этом ни досады, ни недоумения. Выключил телевизор, пошел к Владимиру Корнилову, с которым мы тогда дружили. Он и его жена Лариса, несмотря на то что в комнате было полутемно, сразу обратили внимание на мой необычный вид. На вопрос: «Что случилось?» — я ответил: «Ничего». Тут к ним зашла соседка, и я ушел, ничего не рассказав. Впрочем, на какой-нибудь вынужденный рассказ вряд ли я был способен.

Вернувшись домой, я лег спать и по привычке взял почитать перед сном какую-то книгу. Не мог ничего понять. Взял свою собственную книгу, и в ней ничего не понял. Видел отдельные слова, но не улавливал смысла фразы.

Будучи человеком от природы здоровым, я обычно никаких лекарств не принимал, а тут залез в домашнюю аптечку, принял две таблетки элениума — не помогло.

В первом часу ночи я вдруг вспомнил некоторые высказывания Петрова, и только сейчас до меня дошло их значение. Ира спала с дочкой в другой комнате. Я пошел, разбудил ее, попросил выйти на балкон и здесь сказал: «Ты знаешь, они обещали меня убить». Но своего состояния и сейчас оценить не мог.

Оля проснулась, заплакала, и Ира ушла к ней. Я лег и начал осознавать, что со мной происходит что-то необычное. Стал записывать свои подозрения.

«Что-то мне нехорошо. У них есть какой-то способ убивать так, что человеку становится плохо с сердцем. Так, говорят, убили Бандеру».

(Знаменитый украинский националист Степан Бан-

дера в 1959 году был найден мертвым на пороге своей мюнхенской квартиры. Вскрытие показало — инфаркт. За два года до того, и тоже от инфаркта, умер соратник Бандеры Лев Ребет. Кажется, у кого-то были сомнения, но медицинская экспертиза в обоих случаях не нашла ничего, кроме инфаркта. Несколько лет спустя в немецкую полицию явился некий Богдан Сташинский (подвигнутый на то своей невестой Инге Поль) и признался, что это он по заданию КГБ убил и Ребета, и Бандеру из специального пистолета, стреляющего синильной кислотой. Оба раза сработано было чисто: выстрел в лицо, инфаркт, а следы синильной кислоты улетучились в течение нескольких минут. Вскоре после этого Сташинский был вызван в Москву, и тогдашний шеф КГБ Александр Шелепин («Железный Шурик») лично вручил герою орден Красного Знамени «за выполнение особо важного задания». А потом Инге Поль, любовь, явка с повинной и суд в Карлсруэ. И если бы не это все, кто бы сегодня знал, что Ребет и Бандера умерли не своей смертью?)

По сюжету заключенное в скобки следовало бы поставить в конец рассказа, но мне важно показать и то, что я в своих рассуждениях стал сразу на правильный путь.

С часу ночи до пяти минут третьего я сделал девять записей, отмечая свое состояние, принятые лекарства и свои соображения, в некоторых случаях, может быть, не столь важные.

Был дерганый пульс, который я не мог сосчитать. Болела голова. Принял еще две таблетки элениума. Потом две таблетки беллоида, думая, что это тоже успокаивающее лекарство (мне потом объяснили, наоборот — возбуждающее).

Заснул после трех. Проснулся в пять. Пульс был 140 (теперь уже точно). И это после сна, пусть недолгого.

До восьми я провалился в постели, потом встал. Чувствовал себя мерзко, но что-то соображал. Сел за машинку и написал открытое письмо Андропову. Написал более или менее связно, но только о вызове, угрозах и странном бормотании Петрова после разоблачения

микрофона. Закончил, подражая некоторым образцам, в патетически-горделивом тоне, что, мол, Чонкин уже пошел по свету и всем вашим инкассаторам, вместе взятым, его уже не победить (что, впрочем, правда). Написал, что этим письмом обращаюсь не только к Андропову, но и за защитой к мировой общественности и к писателям Генриху Бёллиу, Артуру Миллеру, Курту Воннегуту, Александру Солженицыну и еще к кому-то.

Днем, занятый сочинением и распространением письма, на своем состоянии не сосредоточивался.

Вечером на квартире Сахаровых по моей просьбе была созвана пресс-конференция (я боялся, что дома мне ее провести не дадут). Я прочел письмо Андропову, а потом подумал и рассказал о своих подозрениях насчет отравления. Но сам в своих доводах сомневался, говорил неуверенно, а корреспондентам и подавно странно все это было слышать. Тем более что у меня не было никакого правдоподобного объяснения, как конкретно это могло случиться.

Я предположил, что предмет, принятый мною за микрофон, был чем-то другим, и попытался описать его. Небольшая коробочка, по-видимому, из пластмассы. Приблизительные размеры: 25 × 20 × 5 мм. Боковые стенки зеленого цвета, пластинка, обращенная ко мне, — кремового. В пластинке несколько рядов мелких отверстий. Два провода (так мне запомнилось, но потом я в этом усомнился) — зеленый большего сечения, белый — меньшего. Мои подозрения: коробочка не микрофон, а распылитель двух газов, подаваемых по двум шлангам.

Журналисты смотрят недоверчиво. Я бы на их месте смотрел так же. При этом все же думаю: в оборудованной для специальных операций комнате зачем прятать микрофон в рукаве? А если и прятать, то для чего же такой большой? Современный микрофон может быть величиной со спичечную головку, у меня у самого был такой. Неужели у них нет? (Потом знающие люди говорили, что могло и не быть. У них ограничения в бюджете, бухгалтерия и финансовые ревизии, поэтому техника используется и устаревшая.)

Из всех присутствовавших на пресс-конференции,

кажется, мне поверил один только Сахаров. Когда я сказал, что пробыл в «Метрополе» три часа, а мне показалось, что я был там не больше минут сорока, Андрей Дмитриевич предположил, что было выпадение памяти.

13 мая я все еще чувствовал себя плохо. Болела голова, закладывало уши, в ногах не проходило ощущение тяжести. Днем смерил пульс — 140. Выпил что-то сердечное, лег.

Видели меня в те дни Владимир Корнилов и его жена Лариса Беспалова, Бенедикт и Слава Сарновы. Сарнов сам мерил мне пульс — была та же цифра.

Вечером 13 мая пришли ко мне два медицинских светила — мой друг (ныне покойный) Борис Шубин, очень хороший врач, доктор наук, и его товарищ, профессор (которого и сейчас не назову, поскольку не знаю, согласен ли он на это). Оба они большие специалисты, но не того профиля. Борис — хирург-онколог, а его друг — гематолог.

Оба выслушали мой рассказ внимательно, и оба не поверили. Предположения насчет газа отменили сразу.

— А они что же, в противогазах сидели?

— Нет, но, может быть, они приняли какое-то противоядие.

— Это невозможно. Кроме того, газ непременно подействовал бы в первую очередь на дыхательную систему. Какие-нибудь неполадки с дыханием были?

— Не было.

— Галлюцинации?

— Нет. Не считая того случая, когда Петров кивал головой, бормотал и тарачил глаза. Мне тогда показалось, что он сошел с ума, а может быть, это со мной что-то случилось?

— Тошнота, рвота были?

— Не было.

— Ты там не пил, не ел?

— Нет.

— Сигареты курил свои?

— Свои.

— Володя, — сказал Борис встревоженно, — поверь мне, того, что ты рассказываешь, просто не могло быть.

Было жарко, ты разволновался, у тебя поднялось давление, от этого мог произойти какой-то сдвиг в сознании. Микрофон тебе показали нарочно. Они намеренно действовали на твою психику. Ты будешь говорить об отравлении, а они объявят тебя сумасшедшим. Вполне возможно, они только этого и ждут.

Все же он меня простукал, прослушал, посчитал пульс.

— Ну есть, конечно, некоторая тахикардия. Это от волнения. Ты и сейчас волнуешься.

— Я волнуюсь оттого, что ты мне не веришь. Там я не волновался. Наоборот, я был идиотски беспечен. Пойми, мне никогда ничего не казалось.

— Но и таких случаев у тебя никогда не было.

Случай у меня в жизни были разные, но это ничего не значит, потому что они происходили в другом возрасте и в иной ситуации.

Так мне Шубин и не поверил.

И я стал сомневаться. Может, и правда показалось. Меня, как и других общественно известных людей, время от времени посещали (и сейчас посещают) больные люди. Этих больных, каждого, травят газами, душат запахами, пронизывают невидимыми лучами. Один даже показывал мне свинцовые пластины, которыми он заслоняет от облучения сердце и другие важные органы (деталь, использованная в «Шапке»).

(Между прочим, среди таких ходоков был и один очень известный ныне человек. Называть его не буду, потому что не хочу помогать его политическим противникам. Он мне тоже рассказывал о попытках КГБ его уничтожить путем подмены жены, подбрасывания дохлой курицы и опять же с помощью воды, еды, гипноза, газов и излучений. КГБ, конечно, относился к нему так же плохо, как и ко мне, а может, и похуже, поскольку он был настоящий политический борец, а не липовый, вроде меня. Но все же теперь, видя на экране телевизора его в роли видного госдеятеля, я вспоминаю тогдашние его приходы ко мне и думаю, что, если бы это от меня зависело, я бы внес во все конституции требование — кандидатов на высшие государственные посты и канди-

датов в депутаты всех уровней допускать к участию в предвыборной борьбе только по предъявлении справки от психиатра.)

После ухода Шубина и его товарища я усомнился в своих ощущениях, накапал себе побольше сердечных капель и лег спать.

Утром проснулся успокоенный. Да, конечно, мне показалось. И неудобно — поднял панику, заставил Шубина и его друга тащиться черт-те откуда.

Посчитал пульс. 140. И голова болит. И в ногах тяжесть.

| ДОКТОР АРКАДИЙ НОВИКОВ

Теперь надо рассказать о посещении еще одного врача. В моем описании семьдесят пятого года я изобразил поликлинику, старичка профессора. Я вынужден был путать следы, чтобы не подвести доктора, который меня на самом деле осматривал. Теперь я его подвести не могу. Так вот, это был не старичок, а совсем наоборот, молодой человек, лет тридцати с небольшим. Звали его Аркадий Новиков, и мне рекомендовали его как выдающегося, несмотря на возраст, диагноста.

С Владимиром Корниловым я поехал к Новикову, и не в больницу, а домой, где он практиковал частным образом. Помню, он меня удивил своим возрастом и необычной для возраста дальновзоркостью — глаза за стеклами очков были очень большие.

Он предложил нам с Корниловым сесть, положил перед собой несколько листов бумаги и сказал:

— Прежде чем вы скажете, что с вами случилось, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.

— Видите ли, — возразил я, — тут случай не совсем обычный, поэтому, может быть, лучше сразу начать с него.

— Нет, нет. До вашего случая мы еще дойдем. Я вам буду задавать вопросы, они поначалу могут вам показаться странными, но потом вы поймете, что я ничего не спрашиваю зря.

Мне казалось, что он слишком юн и потому слиш-

ком играет во взрослого, но деваться было некуда, и я подчинился.

Вопросов было много. Болел ли в детстве малярией, тифом, коклюшем, скарлатиной, дизентерией? Занимался ли физическим трудом? Сколько времени? Теперешний образ жизни? Квартирные условия? Отношения в семье? Делаю ли зарядку? Гуляю ли? С какого возраста курю и сколько сигарет в день? Все я ему рассказал.

— Ну хорошо, — сказал Новиков, — а теперь расскажите про ваш необычный, — тонкая ирония, — случай.

Слушая, он несколько раз взглядывал на Корнилова, очевидно, желая знать, как тот относится к моим выдумкам. Потом сказал тоном старшего человека:

— Вот что, дорогой мой, прошу вас, никому этого больше не рассказывайте. Поверьте мне, я знаю многих больных, которые рассказывают подобные истории.

— Я сам таких знаю, — сказал я.

— Вот видите, и вы знаете. Сейчас я вас проверю, и вы убедитесь, что у вас все в порядке.

Он уложил меня на диван и стал укреплять датчики переносного кардиографа.

Включил аппарат.

— Гм, что-то тут дребезжит.

Поправил датчик на левой руке. Несколько раз считал пульс, мерил давление, простучал меня, прослушал и откинулся в изумлении.

— Да, есть!

— Что есть? — спросил я с понятным нетерпением.

— Есть признаки какого-то отравления. Для вашего вялого состояния пульс слишком велик. Да и давление. Вы небось гипотоник?

— Гипотоник.

— А давление 130 на 90. Для вас это много. Я в этом не специалист. Тут нужен токсиколог. Из того, что я знаю, похоже на реакцию после наркотика. Что-то вроде ЛСД или аминазина. Сколько дней прошло? Три? Вы считаете, что вас газом отравили? А они не выходили из комнаты?

— Один выходил.

— А другой был все время? — Покрутил головой. —

Нет, газ отпадает. Вы там не пили, не ели? А сигареты свои курили?

Шубин тоже спрашивал про сигареты, и я сказал, что курил свои. А тут подумал и вспомнил! Был ведь такой момент, когда Петров отвлек меня от стола, где лежали мои сигареты. Когда он показывал мне картину, в которой не было ничего интересного. Да, это самый обыкновенный, очень принятый у воров и мне знакомый со времен ремеслухи прием отвлечения. Простой, по-детски бесхитростный — смотри: вон птичка летит! Или: вон висит картина. Пока Петров меня отвлекал (а больше никакого смысла в показе картины не было), Захаров подменил пачку. При моей абсолютной беспечности ничего проще не было. Как же мне это сразу не пришло в голову?

Теперь становилось понятным, для чего еще во время первой встречи, на Лубянке, Захаров стрелял у меня сигареты. Примеривался и проверял мою бдительность. Может быть, там даже и отрепетировал подмену. Репетиция прошла успешно. Более чем. Я не только не следил за сигаретами, но сам их к нему пододвинул, чтобы он каждый раз не просил.

На самом деле Захаров скорее всего вообще некурящий. В гостинице он специально показал мне пачку «Столичных», чтобы я отметил, что у него сигареты другого сорта. Пачка была не распечатана. Не помню, чтобы он ее распечатывал и курил. Уже не нужно было — и не курил.

Почему я всего этого сразу не вспомнил? Потому что память ко мне возвращалась постепенно, как бы кусками.

До посещения доктора и после — всего приблизительно шесть дней — я чувствовал в себе последствия отравления. Шесть дней были круги под глазами, тяжесть и жжение в икрах ног, шесть дней я без всякой диеты худел.

Между прочим, я тогда записал, что похудел на пять килограммов. Такие данные задним числом не переписывают, но теперь, имея более надежные доказательства происшедшего, скажу, что назвал эту цифру из боязни

преувеличить. У меня были очень плохие весы. Их показания колебались в зависимости от того, как на них станешь. Так вот, они показывали потерю веса большую, даже, может быть, килограммов восемь, но я им не поверил (боялся, что другие не поверят тем более), сбавил цифру, и, может быть, зря.

| АНДРЕЙ АМАЛЬРИК ЛЮБИЛ ДЕНЕЖКИ

Еще одному врачу я показывался — психиатру Алле.

— Да, — сказала она, выслушав меня. — История, ничего не скажешь, и впрямь сумасшедшая.

— Значит, ты мне не веришь?

— Нет, я тебе верю.

— Веришь всему, что я рассказал?

— Всему верю. Не знаю, зачем было бы тебе врать.

— И ты не думаешь, что я сумасшедший?

— Нет, не думаю.

— Почему?

— Потому что ты самый нормальный человек из всех, кого я знаю.

— А где грань между нормальным и ненормальным?

— Ну знаешь, чтобы все это объяснить, я должна была бы прочитать тебе курс лекций, но такая грань все-таки есть.

— Но они все равно могут объявить меня сумасшедшим.

— Нет, не могут.

— Почему?

— Потому что ты не сумасшедший.

— Но они же сажают нормальных людей в психушки?

— Кто это тебе сказал?

— Ты собираешься отрицать, что они сажают нормальных людей?

— Отрицать не буду, но если ты согласишься не предвзято на тех, кого сажают в психушки, ты увидишь, что каждый из них отличается, ну скажем, неуравновешенностью характера, вспыльчивостью, стремлением к переустройству мира, повышенным самоуважением, все это, конечно, не клиника, но есть муха, из которой мож-

но сделать слона, а у тебя этой мухи нет. В твоём поведении нет того признака, который можно дотянуть до диагноза.

Я передал этот разговор Андрею Амальрику.

— Конечно, — сказал он, — в психушку сажают не каждого. Со мной, например, этого не сделают никогда. Знаете почему? Потому что у них самый основной тест — это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу, значит, чокнутый. А я им всегда говорю: «Я, гражданин следовательно, за бесплатно не работаю, а всегда только за денежки, денежки я люблю, и они у меня в швейцарском банке хранятся под очень большие проценты».

| ЭТО УЖ СЛИШКОМ И ОЧЕНЬ СМЕШНО

Так случилось то, что я описал. Как сказано выше, я послал открытое письмо Андропову. Мне позвонили из «Немецкой волны», и я начитал свое письмо на включенный в Кёльне магнитофон. Тогда, в 1975 году, еще не все позволяли себе выступать по западным радиостанциям. Я боялся, что связь прервут, торопился, читал без выражения, проглатывая слова. Но телефон не отключили, и мне самому удивительно было слышать уже тем же вечером свой рвущийся голос, которым я читал текст, обращенный к Андропову. Помня о высказанных мне угрозах, я сказал: «Убийство тоже неплохая оценка писательского труда. Если меня посадят, я не буду возражать, чтобы демонстранты на Западе кидали в наших дипломатов тухлые яйца или гнилые помидоры, что кому больше по вкусу. Если же что-то случится с моими близкими или инкассатор «под мухой» застрелит меня, весь мир будет знать, кто направлял его руку».

Конечно, элемент нелюбимой мною патетики здесь имеется, но иногда бывают в жизни моменты, когда человеку очень трудно от нее удержаться. Я и дальше развил свою мысль в том же духе (о чем выше упоминал): «Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович. За меня отомстит солдат Чонкин. В своих драных обмотках он уже

пошел по свету, и всем вашим инкассаторам его не победить».

(По крайней мере двум моим сочинениям повезло так, что действие их с книжных страниц перешло прямо в реальную жизнь. В книге Чонкин был атакован сначала районным отделением НКВД и регулярной воинской частью, а в жизни — сначала был КГБ под командованием самого председателя, за чем последовали нападения генералов и маршалов, включая командующего всеми Вооруженными силами СССР маршала Язова. Такой же эффект с другим романом. В «Москве 2042» персонажи романа хотят вычеркнуть из книги Сим Сими́ча Карнавалова, а как только книга появилась в Москве конца восьмидесятых годов нашего века, так тут же раздались требования не книжных героев, а реальных суровых критиков: вычеркнуть Сим Сими́ча Карнавалова.)

Сочиняя письмо Андропову, я еще не понял, что именно со мной случилось. Кое до чего стал додумываться потом, описал опять происшествие, теперь со всеми подробностями и более обоснованными подозрениями. Передал рукопись Максимову, и тот опубликовал ее в «Континенте» (5) в том же, 1975 году.

Откровенно говоря, я думал, что публикация эта обратит на себя внимание так называемой мировой общественности, но мировая общественность и ухом не повела. Включая всех писателей, к которым я раньше обратился, кроме, если не ошибаюсь, француза Пьера Эмманюэля, это он придумал всех нас, преследуемых в СССР литераторов, кто хоть немного что-то писать умел, принимать во французский Пен-клуб и тем предохранять от пропадания без вести. Старания Эмманюэля оказались не напрасны: ни один из тогдашних российских членов французского Пена в тюрьму не попал.

Что же касается мировой общественности, то она не заметила даже случившегося годом позже убийства Богатырева.

В моем же случае это все-таки не убийство, а так, неизвестно что.

Сами же кагэбэшники несколько забеспокоились. И делали все, чтобы мое заявление дезавуировать. У них были и помощники.

Я не знаю, действовал ли поэт Евгений Евтушенко по чьему-то заданию или сам от себя старался, но в те дни он каждого встречного-поперечного и с большой страстью убеждал, что никто меня не травил (интересно, откуда ж ему это было известно?), всю эту историю про отравление я для чего-то наврал. Зуд разоблачительства по отношению ко мне у него не угас с годами, он через пятнадцать лет после случившегося публично (на заседании «Апреля») и ни к селу ни к городу вспомнил эту историю и опять повторял, что я вру. Неосмотрительно хвастаясь своей осведомленностью: «Поверьте мне, уж это я точно знаю». Не буду говорить подробно о той роли, которую играл этот человек в годы застоя. Возможно, когда-нибудь еще будет написана его биография, а может, даже роман о нем (вроде «Мефисто» Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в лакея полицейского режима. «Талант на службе у невежды, привык ты молча слушать ложь. Ты раньше подавал надежды, теперь одежды подаешь». Эти написанные им слова ни к кому не подходят больше, чем к нему самому.

Известна его роль посланника «органов» к Бродскому и Аксенову.

Еще в свои молодые годы Евтушенко публично говорил, что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично ответит в КГБ. Уже в начале перестройки, приветствуя ее, но все еще распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, вспоминал в «Огоньке» о том, как был готов «набить морду» каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве.

Во время моего «диссидентства» Евтушенко очень старался подорвать мою репутацию и ухудшить мое и без того тяжелое и опасное положение, говоря, например, интересовавшимся моей судьбой иностранцам, что я плохой писатель, плохой человек, живу хорошо и их беспокойства не стою. (О том, как вели себя в эти годы купленные на советские «деревянные» рубли видные и морально конвертируемые западные интеллектуалы, тоже стоило бы поговорить, да ладно, в другой раз.)

Евтушенко был не одинок. Одна уважаемая мною

писательница говорила каким-то людям, что я помещался и горожу какую-то чушь. Очень многим другим людям (и не только в СССР) этот случай представлялся неправдоподобным, а некоторым даже очень хотелось, чтобы он оказался бредом сумасшедшего или выдумкой спьяну.

Интересно, почему все же люди не верили?

Отравление сигаретами неужели столь неправдоподобно, что нельзя его даже предположить? Или наши люди столь недоверчивы? Как же, очень даже доверчивы. Это ж они верили в маршалов-шпионов, инженеров-вредителей, врачей-отравителей, колорадских жуков и сейчас верят в инопланетян, филиппинских целителей, заряженную воду, экстрасенсов и мумие.

Многие поколения психологов разобьют себе лбы, попытаюсь понять загадку, почему люди так легко верят в то, чего нет, и не верят в то, что видят перед глазами. Самые несвободные люди в мире верили, что свободнее их нет никого на свете. В стране, где в мирное время в лагерях гибло больше людей, чем в годы войны на фронте, одна из самых распространенных фраз была: «У нас зря не сажают». И вот еще интересно, что дурак дурасть свою слепую имеет наглость воспринимать как вид доброты. «Что вы говорите? У нас? Миллионы? В лагерях? Каким надо быть злым человеком, чтобы такое говорить!»

Уж казалось, чего только не делала госбезопасность под всеми своими названиями! Уничтожала людей, как клопов, по любому поводу, в любых количествах, любым способом. «А что, — сказал мне недавно один бывший гэбэшник, — народ и сейчас к слову «чекист» относится с уважением».

Народ не народ, а дураков и сейчас хватает. Ну а еще недавно их было хоть забор из них города. Что? У нас? Посадили? Убили? Отравили? Не верим.

Дело вроде простое, а поверить трудно. Неужели возможно человека только за то, что он пишет какие-то выдумки, вот так всерьез и с самыми серьезными целями отравить? Может, и сама эта история тоже плод художественного воображения?

Моя американская редакторша Нэнси Майселас, ко-

торая привезла мне в Москву известие о своей работе над готовящимся изданием «Чонкина», сказала, что прочла «Происшествие в «Метрополе» перед самым отлетом из Нью-Йорка, и на мой вопрос: «Ну и как?» — растянула рот до ушей:

— Вери фанни. То есть очень смешно.

Но люди, которые умели смотреть правде в глаза и которым повадки КГБ были знакомы по личному опыту, приняли мой рассказ всерьез. Юрий Орлов и Андрей Амальрик в моей правдивости не усомнились.

И не только они. Белла Ахмадулина поверила моему рассказу безоговорочно и много раз говорила мне, что я ее убедил художественно. (Я-то как раз художественностью своих описаний был очень недоволен.)

А кагэбэшники на мои заявления реагировали нервно. Сначала, как и следовало ожидать, попробовали объявить меня сумасшедшим. Амальрик, вызванный к следователю в те дни на допрос, спросил, в чем ему лучше прийти — в скафандре или достаточно противогАЗа? Следователь сказал: «А, вы имеете в виду эту историю с Войновичем? Разве вы не видите, что он сумасшедший?»

Потом было сказано, что я написал злобную клевету на органы. «Клевета», очевидно, оказалась для КГБ весьма чувствительной, и поэтому заместитель председателя Госкомиздата СССР и близкий друг небезызвестного С. Иванько некто Чхиквишвили сказал (мне передали): «Войновичу последний раз дали возможность проявиться как порядочному человеку, но он эту возможность отверг и теперь сдохнет в подвалах КГБ».

(Интересно, как в моем случае должен был проявить себя порядочный человек? Что же касается подвалов, то их, как теперь вроде бы выяснилось, в здании на Лубянке никогда не было, но Чхиквишвили, работавший, вероятно, на более высоких этажах, этого мог и не знать¹.)

¹ Недавно я прочел отрывок из мемуаров А. Чаковского, где написано, что Чхи (так звали этого человека в его кругу) «был хороший доброжелательный человек... когда он стоял перед необходимостью (интересная перед некоторыми возникает необходимость... — В.В.) сделать журналисту добро или зло, Чхи выбирал добро».

Но поскольку время шло, моя публикация настоящего внимания не привлекла, кагэбэшники успокоились и подобрели. Проводивший «беседу» с Б. Сарновым чекист сказал: «Войнович написал на нас пародию, но в нее никто не верит».

Сами гэбисты в мою «пародию» все-таки верили. Юрий Идашкин, взявшийся в 1980 году быть посредником между мною и КГБ по поводу моего отъезда за границу (о нем подробнее когда-нибудь тоже расскажу), сказал мне, что люди, которые меня отравили, были наказаны. Разумеется, не за то, что отравили, а за то (я так думаю), что «засветились». Я спросил его: «А зачем они это сделали?» — «Ну мало ли, — отмахнулся он, — мало ли, что выдумает какой-нибудь старший лейтенант».

| ТОТ, КОТОРЫЙ ВО МНЕ НЕ СИДИТ

Но версию самовольства нижних чинов я отмел сразу. Мне было ясно, что тот человек, именовавший себя Петровым, не был старшим лейтенантом. Он назвался начальником отдела, а это должность, по крайней мере, полковничья, если не генеральская. Представляя себе более или менее чиновничью психологию, я не мог поверить, чтобы такой человек в присутствии подчиненного назвал себя чином выше, чем он есть на самом деле. И то, что это был достаточно большой чин, говорит о важности того, зачем он пошел в «Метрополь».

Я с самого начала думал и утверждал устно и письменно, что эта «операция» была разработана на самых кагэбэшных верхах и одобрена, по крайней мере, лично Андроповым. Вовсе не из тщеславного желания быть лично известным главному полицая, а потому, что (для меня это было косвенным доказательством происшедшего) с некоторых пор партийные верхи, опасаясь за самих себя, все террористические акции гэбистов держали под строгим контролем. Это, с одной стороны, давало им гарантию того, что террор не дотянется до них самих, но, с другой стороны, создавало то неудобство, что

вынуждало их всех по правилам круговой поруки брать ответственность на себя.

Вот и здесь «операция» была такого рода, что ни о какой инициативе старших лейтенантов речи быть не могло. И если акция была террористического характера, она не могла быть предпринята вне непосредственного контроля лично Андропова. Так что, появившись в нашей истории тень этого монстра, ее можно было бы считать хотя и немым, но достойным доверия свидетелем с нашей стороны (забегу вперед: на каком-то этапе нашего повествования тень Юрия Владимировича не только появится, но даже заговорит).

Мои тогдашние рассуждения привели меня к тому, что если даже конечной целью отравления было не убийство, то что-нибудь все-таки более зловещее, чем, предположим, одурманивание в надежде запугать или вызвать болтливость. Было покушение если не на жизнь, то на психику. На личность. А мне моя личность, правду сказать, всегда была дороже моего физического существования. И вовсе не по причине самовлюбленности. Будь у меня возможность участвовать в конструировании себя самого, я бы кое-какие (многие) параметры изменил в сторону улучшения. Но поскольку этой возможности нет, моя задача — остаться самим собой. В каждом человеке, помимо инстинкта самосохранения, сохранения себя как биологической единицы, есть инстинкт самосохранения личности. У одного больше развит один инстинкт, у другого — другой. У меня другой. Я это познал в процессе своего жизненного опыта. Начиная с мелочей. Я встречал много людей, у которых инстинкт 2 очень ослаблен. Такие люди без всякой натуги исполняют любые желания государства, начальников или хозяев и при малейшей необходимости отказываются от самих себя, легко меняя имя, национальность, религию и партийную принадлежность. Не говоря уже о принципах и убеждениях. За границей мне встречались супружеские пары, которые, торопя свое превращение в американцев, даже в общении между собой переходили на ломаный английский язык, хотя это бывало преждевременно и смешно. Мне такая готовность к превраще-

нием всегда была крайне чужда, а когда меня к ним понуждали, инстинкт мой противился и отказывался внимать доводам разума. Временами он настолько портил мне жизнь, что я пытался его игнорировать, но потом понял, что инстинкт умнее ума и раз он так хочет, значит, знает, что делает.

Человеческая личность представляет собой сложнейший сплав элементов с самыми разнородными свойствами. Изменить формулу этого сплава трудно и даже невозможно, если человек по тем или иным причинам сам этому не способствует. Но если способствует, то результаты превосходят все ожидания. Сколько мы видели случаев, когда кто-то, в угоду обстоятельствам, из соображений выгоды или страха, сам себя ломая, изменяет свое поведение, и на наших глазах происходит распад личности катастрофический и трагедийный. Разложить личность только внешними силами раньше было совсем невозможно, но теперь на помощь этим силам пришла наука, которая может все.

Сейчас в российской печати появились (например, статья Владимира Щепилова «Тот, который сидит во мне» в «Независимой газете» от 19 ноября 1991 года) сведения о преступных опытах по воздействию на психику отдельных индивидуумов с целью превращения их в «зомби», то есть в как бы прежних людей, но лишенных некоторых важных личностных характеристик. Поведение зомбированных людей можно программировать (кстати, описывая 18 лет тому назад выполнение мною заранее намеченной программы — нафталин, пиво, — я о подобных опытах ничего не слышал). Владимир Щепилов пишет, что среди шпионов-«возвращенцев» были обнаружены люди, подвергшиеся программированию психики. Щепилов пишет (и другие авторы тоже), что программирование осуществляется с помощью комплекса мер и средств; в дело идут химия, радиация, гипноз. Причем для полного успеха нужно несколько сеансов (вот, может быть, почему Петров приглашал меня прийти к нему через две недели).

Отвлекаясь в сторону, скажу, что зомбированием писателей советская власть занималась и до изобре-

ния всех чудес радиохимии. Если «Тихий Дон» написан действительно Михаилом Шолоховым, то ничтожный старик, который умер под этим именем, был зомбирован, возможно (а впрочем, химия — наука немолодая), такими простыми средствами, как водка, страх, лесть, деньги и привилегии, — все в безумных количествах. И не только Шолохов. Горький по возвращении из-за границы неуклонно и катастрофически превращался в полного дурака и отравлен был, может быть, потому, что глупость его все-таки не достигла запланированного предела. Есть и другие писатели, с течением времени утратившие талант и поглупевшие столь противоестественно, что невольно возникает мысль (сумасшедшая?): а не направлялось ли это поглупение опытными в подобных делах специалистами?

Возможно, попытка ускоренного зомбирования была предпринята по отношению и ко мне. Через сигареты ли, начиненные наркотиком? Вероятнее всего, да, но что же тогда случилось со мной, когда я потянулся к выпавшему из рукава микрофону?

Мне один западный врач тоже высказывал подозрение на ЛСД и говорил, что определенная доза этого наркотика может нанести повреждение психике при однократном приеме, но насколько он прав, не знаю, да и применение ЛСД — это не факт, а всего лишь предположение. Может, на меня воздействовали еще каким-нибудь способом. Я вот, например, не знаю, что скрывалось в описанном мною номере 480 там, в углу, за занавесками. Люди? Специальное оборудование? Или и то, и другое?

Выше сказано, что прямые симптомы отравления я ощущал примерно шесть дней. Говорить о других последствиях очень рискованно, но я не имею права упускать никаких подробностей, подозрений и соображений. Так вот, другие последствия, как я предполагаю, но точно утверждать не могу, продолжались гораздо дольше, может быть, даже несколько лет. Перед тем как меня отравили, я активно и, как мне казалось, успешно работал над «Чонкиным», но после происшествия в «Метрополе» и в течение долгого времени моя работа шла

значительно хуже, я терял нить сюжета, одни и те же сцены переписывал без конца, ни на одном варианте не мог остановиться и вообще топтался на месте гораздо больше, чем раньше. О чем, очевидно, наблюдавшие за мной гэбисты были осведомлены, поскольку мои рукописи, как я понял потом, хранились в очень доступном для них месте.

Творческий процесс — дело таинственное, подъемы и спады в нем случаются и без участия секретной полиции, поэтому я не настаиваю на том, что упадок, наступивший в моей работе, был прямым результатом воздействия на меня какими-то средствами в гостинице «Метрополь», но, раз уж начал, выскажу все подозрения, какими бы странными они ни казались. Подчеркиваю: подозрения, а не утверждения.

В 1980 году, соглашаясь покинуть СССР, я поставил властям условие, что моя кооперативная квартира будет передана родителям моей жены, а до того и до моего отъезда в ней будет восстановлена телефонная связь. Переговоры мои велись через посредника, которого звали Юрий Идашкин, а кто стоял за ним, я не знаю, может быть, тот же Андропов. Условия мои были приняты с легкостью, которая только поначалу показалась мне удивительной. Условия были приняты, но на рассвете 21 августа мать моей жены Анна Михайловна умерла в больнице от сердечной недостаточности. Двумя часами позже весть была сообщена ее мужу Данилу Михайловичу, и он на выходе из подъезда тоже умер (не с посторонней ли помощью?). Вечером того же дня со мной случился приступ неизвестно чего. Сердце? Мозг? Нервы? Самые квалифицированные врачи так и не нашли ни источника, ни причины. Подобные симптомы (слабые, в виде некоторого неудобства при засыпании) я впервые ощутил в ночь на 5 августа, но 21 августа разыгрался сильнейший приступ: дыхание останавливалось, и давление прыгало ежеминутно от верхнего критического предела до нижнего, и так продолжалось несколько ночей подряд, а потом в течение лет время от времени (и всегда по ночам) повторялось, а диагноза нет и поныне. А за границей вначале были случаи, когда, выступая пе-

ред публикой, я вдруг совершенно забывал, о чем хотел сказать, и это было очень мне несвойственно, потому что я выступать умею. Впрочем, можно предположить что-нибудь и попроще. Анна Михайловна умерла от сердечной недостаточности, Данил Михайлович от внезапного шока, а мои приступы развились на фоне нервной перегрузки (она, конечно, была).

Так или нет, я не знаю, но следует признать, что в любом случае кагэбэшники кое-чего добились. Хотели помешать окончанию «Чонкина», и так ли, сяк ли, а помешали. С тех пор прошло восемнадцать лет, а книга все еще не дописана. Что-то мне мешало ее закончить. Хотя, надеюсь, никто посторонний во мне все-таки не сидит, поскольку мне во мне для меня самого места мало.

| УБИЙСТВО ТУРИСТА В НЬЮ-ЙОРКЕ

Умные люди мне говорили, что тогда, в 1975 году, я повел себя неправильно. Пошел по звонку, не потребовал от Петрова и Захарова предъявления документов, согласился на встречу в гостинице, сигареты выложил на стол, картину смотрел и не подумал оглянуться, растяпа.

Все так, поступил я во всех смыслах неправильно, потому и остался жив. Видя, что я веду себя очень неправильно, они решили, что со мной можно провести неспешный эксперимент, в процессе которого я им помогу угробить себя самого чисто. Если б я их такой надежды сразу лишил, они бы придумали что-нибудь попроще да эффективней, вроде бутылки, которую истратили на Костю Богатырева.

Ну а после такой накладки доделать свое дело они все-таки не решились. Потому что тут уж кто-нибудь (допустим, Андропов) должен был взять на себя ответственность полную. Он бы, пожалуй, и взял, но мог и опасаться, что в случае дворцовых интриг или, не дай бог, нового возвращения к ленинским нормам социалистической законности кто-нибудь пожелает предъявить ему столь замечательный компромат. Так что в данном

случае мокрое дело было отменено, хотя планы подобные, насколько мне известно, в КГБ и дальше проигрывались и были в конце концов оставлены не раньше чем через пять с половиной лет, то есть только после моего отъезда в чужеземство, где я прожил много долгих лет в ожидании больших перемен на нашей туманной родине.

Осенью 1989 года я переселился на год в Вашингтон и издалека следил за развитием событий в России, в нетерпеливом предвкушении дня, когда наконец тамошняя перестройка дойдет до возвращения мне и другим гражданства и возможности вернуться.

Я думал не только о самом возвращении, но о разных его аспектах, в числе прочих о том, как бы мне все-таки проникнуть в загадку своего отравления. Для меня это было важно. Больше того, временами я думал, а стоит ли мне вообще возвращаться, пока эта история не открыта и не закрыта. Я надеялся, что приближается время, когда мне удастся докопаться до сути, и очень рассчитывал на встречу с человеком, который о моей истории в эти годы тоже, кажется, думал и мог иметь ценные соображения.

Границы СССР тем временем постепенно дырявились, я сам побывал уже с краткосрочной визой в Москве, советские туристы валом валили на Запад, в аэропорту имени Кеннеди звучала русская речь, наступил период неразборчивого братания всех со всеми, без разделения на советских и антисоветских, о чем с изумлением, возмущением и восторгом писала эмигрантская газета «Новое русское слово».

Проглядывая эту газету, я однажды наткнулся на заметку под названием «Убийство туриста». Сперва я даже внимания не обратил: ну убили и убили. В Нью-Йорке всегда кого-нибудь убивают. Я стал читать что-то другое, а уж потом, не зная, чем дальше себя занять, вернулся к этой заметке. Обыкновенная история. Приезжий из Советского Союза возвращался поздно из очередных гостей. (Как выяснилось, рассуждая при этом, что слухи о криминальности Нью-Йорка слишком преувеличены.) В подъезде двое бандитов с револьверами напали на его жену, стали вырывать сумку, а он сделал то, от чего полиция настойчиво предостерегает, — кинулся на

помощь жене. И тут же получил две пули в грудь, от которых по дороге в госпиталь умер. В заметке указывалась и фамилия погибшего. Она меня не заинтересовала. Обыкновенная и очень распространенная русская фамилия. Я перевернул страницу и стал читать объявления: советские писатели выступают в гостинице «Дорал Инн», дешевые кондоминиумы на Оушн Парквэй, доктор Оселкин лечит и удаляет зубы, «Вы можете себе позволить самое лучшее» (определение беременности и аборты) и Джек Яблоков, еврейский похоронный дом, самые низкие цены... Но в голове у меня вертелась фамилия убитого туриста, я опять обратился к заметке, прочел еще раз: Аркадий Новиков, врач из Москвы, сорока семи лет... и только сейчас сообразил: батюшки, да это же он! В памяти сразу возник худощавый молодой человек в полосатой рубашке с расстегнутым воротом и в очках с увеличительными линзами. Хотя в эти годы я о нем вспоминал, и не раз, но помнились только слова, а зрительного образа не возникало. А тут выплыл из памяти, как живой, и даже как будто заговорил: «Теперь расскажите про ваш необычный случай».

Тут некоторые проницательные читатели выйдут на след: важный свидетель, КГБ, длинные руки... но след этот ложный. Аркадий Новиков был для меня свидетелем важным, но КГБ в данном случае вне подозрений. Просто совпадение обстоятельств, говорящее, впрочем, о том, как много насилия совершается в мире.

| МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО

А я, между прочим, мысли о дополнительном расследовании давней истории не оставлял.

Недоверие к моему рассказу об отравлении высказывалось разными людьми, и не только такими, кого я мог зачислить в разряд бесчестных. Оно меня в некоторых случаях ранило, а в других оскорбляло, но дело было не только в этом. А еще и в том, что с некоторых пор террористические акции КГБ проходили без всякого отклика. Существовало даже мнение, что упомянутое мною

убийство Степана Бандеры было последним актом физического устранения политических противников советской власти. Возможно, это мнение справедливо для заграницы, где агенты КГБ стали слишком часто сдаваться и устраивать скандальные пресс-конференции (тот же Богдан Сташинский, а за несколько лет до него капитан КГБ Николай Хохлов, посланный в Германию, чтобы убить одного из руководителей НТС Георгия Околовича, но отказавшийся от своего намерения и сдавшийся американцам. После чего, кстати, сам ставший жертвой покушения. Выпил где-то чашку кофе с подсыпанным в него радиоактивным барием и был вытащен с того света американскими докторами). Так что заграничный террор был сопряжен с большим политическим риском. А внутри страны какой риск? Здесь агенту если уж поручат убить, он убьет, ему сдаваться здесь некому, а там он не бывает, поскольку невыездной.

А всякое расследование (да кто на него решится?) можно на любом этапе прекратить или завести в тупик. Вот и имели место происшествия, которые, конечно, могли произойти с кем угодно, но почему-то с теми, кем советская власть была недовольна, они случались чаще, чем полагалось бы по статистике. Какого-то человека после посещения Сахарова скинули с поезда, Виктора Попкова застрелил инкассатор, другой художник, Евгений Рухин, сторел в своей мастерской, Константину Богатыреву проломили череп бутылкой, а Александру Меню уже в перестроечные времена — топором. Но опять-таки вспомним о достижениях химии. Бандера — синильная кислота, Хохлов — радиоактивный барий, зонтик, убивший болгарина Георгия Маркова, был заряжен пулей, отравленной веществом, называемым ризин. А еще была серия непонятных ожогов, от которых пострадали Александр Солженицын, французский профессор Жорж Нива, в Москве — еврейский отказник Лев Рубинштейн, в Ленинграде — Илья Левин. Ожоги загадочные, а кто это сделал? И вот представьте себе, в свое время Солженицын, едва не умерший от ожога, предположил бы, что это дело рук КГБ, как бы отозвались наши доверчивые сограждане? Чокнулся писатель, крыша поехала, везде ему мерещится злобешая рука КГБ.

Об истории своего отравления я после тогдашних своих заявлений четырнадцать лет не поминал, но с тех пор, как открылись для меня вновь границы Отечества и отменилась цензура, снова попытался привлечь к нему внимание. Рассказал сначала по радио «Свобода», потом в журнале «Искусство кино», потом в интервью «Известиям» и ждал, что КГБ как-нибудь отзовется. Не могут же они этого не заметить. Пусть ответят как угодно, хотя бы разразятся опровержением. Еще я надеялся, что кто-нибудь причастный в порядке личного раскаяния, по пьянке или иной причине позвонит, пришлет письмо, пусть даже анонимное. Ну хоть какой-то отклик должен же был быть. Но его не было.

Не оставляя своих попыток, я в журнале «Столица» (2, 1992) писал: «Тогда, в 1975 году, допрашивавшие меня наследники Дзержинского говорили, что они не такие, какими были чекисты сталинского образца. Нынешние наследники Андропова уверяют нас, что и они, в свою очередь, не такие, как те, которые травили диссидентов. Ну вот, если не такие, пусть раскроют хотя бы дело, о котором я рассказал. Пусть опубликуют необходимые материалы и ответят на такие примерно вопросы: какая именно операция проводилась 11 мая 1975 года в номере 480 гостиницы «Метрополь»? Какие при этом применялись средства? Кто были ее организаторы и исполнители? Какую цель они ставили перед собой и чего достигли?»

Я прошу лично руководителя службы госбезопасности России и парламентские комиссии по контролю над этими службами не оставить мой рассказ без внимания, расследовать тот давний случай покушения на мою личность и обнародовать результаты расследования. Речь, подчеркиваю, идет, возможно, об опытах, которые не только представляли опасность для нашего общества в прошлом, но могут быть еще опаснее в будущем».

И на этот раз никакого отклика. Ну просто ни единого, кроме как от того же Евтушенко, который, как мне сказали, звонил главному редактору «Столицы» А. Мальгину и угрожал ему (почему бы не мне?) судом за клевету. Мальгин, очевидно, обеспокоенный этим звонком,

написал в своем комментарии, будто я прозрачно намекаю на сотрудничество Евтушенко с «органами». На самом деле я совершенно ни на что не намекаю, а привожу конкретные факты. При этом меня, правду сказать, не очень-то занимает, состоял Евтушенко в каких-нибудь кагэбэшных списках или, как я уже сказал, сам от себя старался. Как говорит одна моя знакомая, мне не нужно знать, в каком отделе и в каком чине работает человек, и не нужно видеть его служебное удостоверение, когда весь мой организм им брезгует.

А все-таки почему же не ответили на мой такой прямой призыв наши новые (обновленные) «компетентные органы»? Не читают журналов? Не заметили этой публикации? Или решили, что речь идет о чепухе, не достойной ответа? Если бы они не считали себя ответственными за прошлое и прочли мою публикацию, то естественной их реакцией было бы проверить, не лишнего ли автор наворотил, и затем отозваться заметкой: факты подтвердились или не подтвердились. Но молчание, оно, как известно, золото и само по себе тоже кое о чем говорит.

| РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

В попытке найти инстанцию, которая мне поможет добраться до моего досье, я обратился к моему старому другу адвокату Борису Андреевичу Золотухину, который в бывшем Верховном Совете России занимал очень важную должность (какую именно, я все забываю). А через его поспешество вышел на Сергея Михайловича Шахрая, в то время, помимо выполнения прочих обязанностей, контролировавшего КГБ, или по-теперешнему МБ (министерство безопасности), причем контроль, как выяснилось, был мнимый.

Договорившись предварительно с Шахраем, я явился к нему на прием, но впереди себя послал 21 февраля 1992 года письмо, в котором просил оказать на КГБ — МБ воздействие, чтобы они рассказали, какая именно операция, кем и по чьему указанию проводилась со мной в гостинице «Метрополь» 11 мая 1975 года, и выдали мне все мое досье.

Признаюсь, на назначенную встречу я шел с большим волнением. Я, конечно, думал, что я прав и добиваюсь правды, но все же время от времени и у самого закрадывалось сомнение. Ну а все-таки не показалось ли мне это на самом-то деле? Ну да, я, как мне кажется, не очень мнительный человек, и как-то непохоже, чтобы прямо так сразу мог помешаться ни с того ни с сего, но как-никак это был необычный и единственный для меня жизненный опыт. Может, и в самом деле страх, который сидел во мне глубоко, в котором я самому себе не хотел признаться, дал такую острую и незаурядную реакцию?

Вот, предполагал я с опаской, приду к Шахраю. Выйдет он в приемную, пригласит к себе в кабинет, а там на столе — толстая папка с подшитыми аккуратно листами. Откроет эту папку на нужной странице, а сам отвернется, испытывая неловкость от конфуза, в который приходится ввергать столь достойного и седого человека, как я.

Я прочту какие-то бумаги, из которых сразу станет совершенно ясно, что на самом деле не было ничего, кроме большого испуга.

Сесть в такую лужу было бы ох как неприятно, но я сам себе твердо сказал, что приму правду такой, какая она есть. Если бы даже выяснилось, что и в самом деле мне мое отравление примерещилось, это все равно не оправдало бы несколько подонков, угрозами доводящих мирных людей, пусть трусливых, слабых и мнительных, до сумасшествия или (как это случалось с некоторыми прямо на допросах) до инфаркта.

Но в лужу меня пока что никто не посадил. У Шахрая на столе никакой папки не оказалось.

— Письмо ваше я прочел, — сказал он мне. — И очень хотел бы вам помочь. Но дело в том, что я сам еще не видел ни разу ни одного досье. Буду рад взглянуть хотя бы на ваше. Но чтобы добыть его, моего влияния мало. Тут нужен сам президент. Напишите короткое письмо Борису Николаевичу, а я ему передам. И если последует его резолюция, то уж ему отказать будет трудно. Тогда вы будете первым человеком, увидевшим свое досье.

Признаться, слова Шахрая меня удивили. Что ж это за контроль над КГБ, если человек, уполномоченный на это дело президентом страны, не может своей властью добыть хотя бы одно досье?

Тут же, в приемной Шахрая, я написал короткое письмо Ельцину. И стал ждать с волнением и любопытством. Как отреагирует Борис Николаевич, и если отреагирует в желательном для меня духе, то что станется после этого?

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней мне позвонили из какого-то околопрезидентского кабинета и сказали, что есть — есть! — резолюция президента. Мне ее тут же прочитали по телефону, и вот она в том виде, в каком мне запомнилась: «В.П. Баранникову. Надо В.Н. Войновичу материалы показать».

Радости моей не было границ. Президент подписал, президент предписал, президент указал. Не кто-нибудь, а сам президент. Теперь они у меня не отвертятся. А впрочем, зачем им вертеться? Ведь этот Баранников, насколько я понимаю, из тех, которые пришли после путча. То есть свой человек и, конечно же, демократ. К тому же он, как я читал в наших постсоветских «желтых» газетах, ходит вместе с Ельциным в баню и там трет ему спину, ничем практически не защищенную. И уж, наверное, если он столь высоким доверием обременен, то и указания президента для него что-то значат.

| СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Наша история обогащается появлением в ней еще трех персонажей, нынешних работников того же самого заведения, которое теперь называется не КГБ, а МБ — Министерство безопасности (что в лоб, что по лбу). Поначалу я не хотел называть имена этих людей, но не вижу возможности и необходимости этого избежать. Тем более что они были мне представлены официально и никаких услуг, достойных сокрытия, мне не оказывали.

16 марта в моей новой московской квартире раздался звонок:

— Владимир Николаевич, здравствуйте, с вами гово-

рит сотрудник Министерства безопасности России Краюшкин Анатолий Афанасьевич. Мне поручено ответить на ваше письмо президенту. Я готов это сделать. Как, вы к нам приедете или я к вам?

Я сразу все понял. Если он ко мне, значит, приедет с пустыми руками. А мне он пустой не нужен.

— Конечно, я к вам, — сказал я.

И вот опять приемная КГБ—МБ на Кузнецком мосту. Кажется, только номер дома изменился. Был 24, а теперь 22.

Принимали меня, естественно, двое. Сам Краюшкин (кажется, он начальник архива этого самого МБ) и младший, его заместитель Сергей Сергеевич Нагин, которого по молодости лет сослуживцы зовут просто Серегой.

На столе перед Краюшкиным лежала тонкая желтая папочка без какой бы то ни было надписи. «И это все?» — подумал я с невольным разочарованием. Вспомнилась строчка из стихотворения Степана Щипачева о датах рождения и смерти: «И краткое тире, что их соединит, в какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит».

Тут же папочка была развернута, и за нею открылись две бумаги, которые воспроизведем полностью.

Вот первая.

Секретно
(гриф секретности)
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления «3»
КГБ СССР
(должность)
(звание)
(фамилия) (подпись)
«24»-Х-1990 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении архивного дела оперативной разработки № 34840 «27» сентября 1990 г.

Я, начальник отдела действующего резерва КГБ СССР, рассмотрев материалы архивного дела оперативной разработки 34840 «ГРАНИН»

Нашел: ДОР «Гранин» заведено в 1977 году. В 1980 году «Гранин» с семьей выехал в ФРГ и Указом Президиума Верховного Совета СССР за свои действия за границей был лишен советского гражданства. В октябре 1982 года дело было прекращено. В настоящее время материалы дела исторической и оперативной ценности не представляют.

Постановил: ДОР № 34840 «Гранин» в десяти томах (тт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) уничтожить, как не представляющие исторической и оперативной ценности.

«СОГЛАСЕН»

*Начальник 8-го отдела Управления «З» КГБ СССР
(подпись) (фамилия)*

Всего лишь один лист бумаги. И так мало текста. А как много он говорит! Три начальника над этой бумагой работали — один составлял, другой подписывал, третий утверждал. Как фамилия? — хотел бы я узнать про каждого, но фамилии нет ни одной. Аккуратно (не очень) вымараны. В самом низу охвостья еще каких-то недотертых подписей, и только одна сохранилась закорючка, похожая на целую подпись.

Есть вопрос: почему Гранин? Существует же настоящий Даниил Гранин, почему они мне дали его имя, а не, допустим, Бондарева, или Распутина, или кого еще. Почти всем, кому я потом эту бумагу показывал, приходила в голову близлежащая шутка, что Гранина они, очевидно, называли Войновичем.

Одного даже взгляда на эту бумагу достаточно, чтобы заметить, насколько она лжива. Как ни странно, именно это меня и обрадовало. Если в бумаге ложь по мелочам, то, может быть, и главное утверждение об уничтожении дела тоже ложно.

Следующее постановление на таком же стандартном бланке написано от руки, странным, неестественным и, может быть, даже специально отработанным почерком. Здесь правый верхний угол вообще убран — никаких грифов, утверждений, званий и фамилий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении оперативной подборки

26189 «20»-VIII-1991 г.

Я, нач. 1-го отделения 8-го отдела Управления «3» подполковник, рассмотрев материалы оперативной подборки 26189

Нашел: ДОР ОП 26189 заведена в мае 1989 года, систематизированные в ней материалы не представляют сегодня ни оперативной, ни исторической ценности (как-то, в основном, материалы радиоперехвата).

В ОСК: Войнович Владимир Николаевич по спецподборке 26189

Постановил: ОП № 26189 в четырех томах (тома 1. 2. 3. 4) уничтожить путем сожжения. Постановление и акт об уничтожении направить в 10-й отдел КГБ СССР для снятия с учета.

(подпись)

«СОГЛАСЕН»

(должность, отдел — управление, звание)

Фамилия составившего документ подполковника не указана, но внизу, где должна быть подпись составителя, стоит знакомая закорючка. И она же на обратной стороне листа, где написано той же рукой:

АКТ

Мы, комиссия в составе нач. 1-го отделения 8-го отдела Управления «3» КГБ СССР подполковника Сергеева В.А., зам нач. того же отделения майора Засорина С.В. и ст/о того же подразделения майора Калёкова Б.В., составили настоящий акт в том, что 20 (двадцатого) августа с.г. нами уничтожена путем сожжения оперативная подборка 26189 в четырех (тома 1, 2, 3, 4) томах.

Дальше подписи. На первом месте все та же закорючка, теперь ясно, что это — вышеупомянутый полковник Сергеев. Его же подпись и у нижней кромки первого постановления.

Дело, однако, не в Сергееве (мне его фамилия ничего не говорит), а в соображении, которое у меня возникло чуть позже.

А пока, едва глянув на первый же документ, я сразу понял, что это попытка того, что в народе называется вешанием лапши на уши.

— Анатолий Афанасьевич, — сказал я, — вы что, проверяете мои умственные способности?

— А что такое? — спросил Краюшкин.

— Я не могу поверить этой бумаге, потому что это самая настоящая липа.

— Почему вы так думаете? — Краюшкин напряженно улыбался, но изобразил готовность развеять мои недоумения.

Я ему объяснил, что здесь даты и те лживые. Дело на меня было заведено наверняка не в 1977 году, а значительно раньше.

Начиная с 1966 года я подписывал письма в защиту разных людей. В 1968 году получил за это строгий выговор в Союзе писателей. В 1969 году была опубликована первая часть «Чонкина», за которую в 1970 году был вынесен второй строгий выговор с последним предупреждением. В 1974 году я был исключен из Союза писателей. Неужели все эти события прошли мимо глаз и ушей КГБ?

Но если даже и так, то вот уж эта история с моим отравлением никак не могла оставить КГБ равнодушным. Пусть я сошел с ума, или мне показалось, или я все выдумал, но мною по этому поводу был устроен большой шум. Я собрал пресс-конференцию, говорил об этом во многих своих интервью, в том числе и записанном на магнитофон и тут же переданном на весь Советский Союз «Немецкой волной», подробный отчет об этом опубликовал в «Континенте». Фактически я обвинил КГБ в террористическом акте.

— Вы, — сказал я Краюшкину, — хотите, чтобы я вам поверил, что к таким обвинениям КГБ остался совершенно глух?

— Ну возможно, на вас собирались какие-то отдельные материалы, но специального дела не было. Если вы

нам не верите, у вас есть другая возможность высказать свои сомнения. Замминистра Василий Алексеевич Фролов готов вас принять и выслушать.

Краюшкин позвонил Фролову и договорился. Затем было высказано соображение, что перейти в другое здание лучше внутренним ходом, чтобы люди с улицы нас не видели. Не знаю, обычные ли это меры предосторожности или из прошлого опыта втягивания клиента: сделать вид, что он вместе с ними и заодно делает что-то потайное, что от людей надо скрывать.

Тем не менее мне было любопытно.

Прапорщик открыл своим ключом заднюю дверь, и из обыкновенного на вид учреждения в самом центре Москвы сразу попал я в тюремный двор с высоким забором, с батареей прожекторов наверху. Через двор прошли в новое большое здание КГБ, выстроенное рядом с самым главным. Пройдя по каким-то коридорам, оказались в просторной приемной, а потом и в самом кабинете замминистра с большими портретами Ленина и Дзержинского.

Невысокого роста седоватый человек лет пятидесяти, выйдя из-под портретов, протянул руку:

— Мне сказали, что вы чем-то недовольны.

— Я недоволен тем, что меня с самого начала пытаются провести на мякине.

— А что такое?

— Я не верю, что мое дело уничтожено.

— Разве вам не дали постановление?

— Постановление дали. Но если оно лжет по мелочам, почему я должен верить, что оно не врет вообще?

— А почему вы думаете, что оно лжет?

Объясняю конкретно. Вижу, он быстро прикидывает, стоит ли держаться версии Краюшкина, и решает, что не стоит.

— Да, — говорит он решительно, — да, здесь, пожалуй, что-то не то. Какой здесь год? Семьдесят седьмой? Нет, конечно, что-нибудь должно было быть раньше.

— Ну да, — держится за собственную версию Краюшкин, — раньше какие-то материалы тоже могли на вас собираться. Но дело открыто не было. Просто, мо-

жет быть, отдельные материалы время от времени собирались и складывались.

— А куда складывались?

— В какую-нибудь папочку.

— Но она, эта папочка, наверное, как-нибудь называлась?

— Почему вы думаете, что она обязательно должна как-нибудь называться?

— Разве у вас есть хотя бы одна папка, которая не имеет никакого названия?

Краюшкин дергается что-то сказать.

— Ну ладно, — останавливает его замминистра. — Ты же видишь, он все понимает.

— Правильно вы заметили, — говорю, — он все понимает. Во всяком случае, кое-что понимает. Обмануть его, конечно, можно, но для этого надо как-нибудь постараться, а не так вот просто.

— Но надеюсь, про меня вы не думаете, что я с вами хитрю?

— Как вам сказать? Откровенно говоря, я был бы очень удивлен, если бы на вашей должности обнаружил бесхитростного человека.

— Тем не менее лично я вас обманывать не собираюсь. Я вообще пришел из МВД.

— А разве вы не конструктор?

— Нет. А почему вы думаете, что конструктор?

— Так мне показалось. Но извините. Значит, вы пришли из МВД, и что?

— Я пришел из МВД, и на мне грязи нет. И мне незачем скрывать те безобразия, которые здесь творились. И мы не скрываем. У нас нет никаких секретов.

В это утверждение я тоже позволил себе не поверить: секретная служба без секретов — это абсурд.

— Но я, — сказал я Фролову, — во все ваши секреты проникать не собираюсь. Меня в настоящий момент интересует только собственное досье. Если оно даже и правда уничтожено, то следы того, как КГБ работал со мной, должны оставаться в каких-то других документах.

Краюшкин иронически улыбается.

— Видно сразу, что вы не понимаете принцип хране-

ния секретных документов. Секретные документы одного назначения, во избежание утечки, всегда складываются в одну папку, а не в десять.

— Да-да, — подтверждает чистый Фролов, — именно так. Всегда в одну папочку.

— Этого не может быть, — говорю я. — Никак не может быть. Каждое дело обязательно с другими делами так или иначе пересекается. Кроме того, есть какие-то побочные документы, распоряжения, например, направить на слежение за объектом «Гранин» таких-то людей (фамилии), выделить столько-то автомобилей (номера), выдать талоны на бензин (количество литров), выписать на отравление «Гранина» шестьдесят граммов крысиного яду. Или что-нибудь в этом духе. Что же, я вас буду учить? Ну например, вот комната в «Метрополе» номер 480. Ведь она где-то у вас в каких-то бумагах тоже фигурирует. Ее же снимали, оплачивали, оборудовали. Неужели все это было вложено в папочку «Гранин» и там сгорело?

Василий Алексеевич улыбается.

— Поверьте, здесь вас никто обманывать не собирается. Мы в прошлом не виновны и в сокрытии его не заинтересованы.

— Если не заинтересованы, поройтесь в ваших архивах, или давайте я пороюсь. Уверяю вас, я очень быстро найду то, что нужно. А если не можете найти нужные документы, вызовите людей, о которых я написал, их-то, я надеюсь, вы еще не сожгли.

Тут и Фролов и Краюшкин оба замахали руками.

— Что вы говорите? Это же было так давно! Где мы этих людей найдем? Да они же наверняка представлялись не своими фамилиями (как будто я думал, что своими). А сколько им было лет? Ого! Да они если даже и живы, давно уже на пенсии. Не только Петров, но и Захаров. У нас работа вредная, у нас рано на пенсию уходят. В пятьдесят пять лет. (Вот как им вредно было с нами работать. Им пенсию за нас дают рано, а нам за них нет.) Ну где, где их искать?

Бесхитростный Фролов сделал честное лицо и изобразил ужимку, означающую, что он готов хоть сейчас

лично отправиться в сложный поиск, но где же, где же ориентиры?

— Если вы сами не знаете, где искать этих людей, мне придется вам подсказать. Хотя мне даже неудобно. Я ведь никаких сыщицких школ не кончал. Это вы их кончали. Так вот, найти этих мерзавцев можно многими способами, и первый, который мне, невежде, сразу приходит в голову: через отдел кадров. Там же личные дела ваших сотрудников хранятся или и их сожгли?

— Неужели все личные дела перебирать?

Даже для начинающего милиционера вопрос слишком наивен.

— Зачем же все? Я повторяю: главный из моих отравителей сказал, что он начальник отдела. Я думаю, что он в такой приблизительно должности и пребывал. Может быть, чуть-чуть повыше. Если вы попробуете выяснить, кто занимался диссидентами, кто занимался писателями, и в частности мной, в мае 1975 года, то в конце концов у вас останутся одна, две, ну три максимум кандидатуры. Дайте мне фотографии, и я тех подонков обязательно опознаю. Я их очень хорошо помню.

В конце концов было обещано, что поиски будут продолжены, хотя и без особой надежды на положительный результат.

Мне ничего не осталось делать, как дать им возможность еще поискать. Хотя я, конечно, предполагал, что поиски зарытой собаки будут идти как можно дальше от места возможного захоронения.

Раз уж я сюда попал, я спросил, нельзя ли заодно поискать дело моего отца, который пять лет, с тридцать шестого по сорок первый, сидел. Тут они все трое охотно откликнулись; искать дело отца им гораздо приятнее, чем мое собственное.

— Но при этом вы, пожалуйста, не думайте, что одни поиски можно заменить другими и тем меня удовлетворить. Дело отца я бы очень хотел посмотреть, но мое собственное мне сейчас намного нужнее.

Да, да, поникли мои собеседники обреченными головами, они меня очень хорошо понимают.

Нет, правда, всего лишь несколько строк, а смотришь на них, и, как на переводной картинке, проступает изображение. И чем дальше трешь, тем яснее.

От Лубянки до дома (у метро «Проспект мира») я шел пешком, по дороге разглядывал полученные бумаги, думал и понял, откуда взялся «Гранин». В шестьдесят девятом году в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне) была опубликована первая часть «Чонкина», отчего пошли первые крупные неприятности, откуда, конечно, и псевдоним. Значит, и дело должно было быть заведено примерно тогда же.

Вторая бумага тоже была интересной. Оказывается, новое дело (четыре тома) было заведено во время моего первого приезда из-за границы. Я приехал в марте восемьдесят девятого, пробыл здесь два месяца, и к концу моего пребывания они открыли новое дело, тем самым показав, как они понимали перестройку и какой демократии собирались служить. А я-то думал: надо же, какая свобода! Что хочешь, то говори! Я тогда так расслабился, что в одном журнале спросил, а где тут у вас можно две страницы моей статьи скопировать. Они сначала оторопели — эвон у иностранца какие привычки, копию ему надо сделать! — а потом засуетились: сейчас, сейчас, у Верченко подпишем, у Кобенко завизируем и — сколько вам копий? одну? две?

Я думал — свобода. По клубам выступал, по улицам ходил, язык за зубами не держал, и, оказывается, совершенно напрасно — труженики невидимого фронта уже клепали на меня новое дело. Правда, в акте сожжения написано, что там в основном материалы радиоперехвата, но кто заподозрит чекистов, что они обязательно напишут правду? А что сказать о времени сожжения? 20 августа 1991 года, на второй день путча, сжигались бумаги только потому, что не представляют оперативной и исторической ценности? Есть ли на свете хоть один простак, который в эту глупость поверит? Я бы еще поверил, если бы 20 августа они жгли все подряд, но если выборочно, то, без сомнения, только то, что содержало

самые жгучие их тайны. Речи по радио «Свобода» или мои выступления перед московской публикой 1989 года вряд ли были достойны первоочередного внимания.

А еще вот что. Помните, кто подписал второе постановление? Подполковник Сергеев. А чья закорючка укрощает постановление, вынесенное в сентябре 1990 года? Да все того же Сергеева. Значит, в девяностом году одно дело он уничтожал, а второе продолжал пополнять. Для чего?

Оставим этот вопрос открытым.

Придя домой, я позвонил Краюшкину и сказал, что, по моим сведениям, псевдоним «Гранин» был мне придуман в шестьдесят девятом году. Таким образом я хотел внушить ему мысль, что имею доступ к иным источникам.

| ХОЧЕШЬ, Я РАССКАЖУ ТЕБЕ ПРО СВОЮ СЕМЬЮ?

— Вы попались! — сказал я Сергею, выделенному мне в качестве инстанции, через которую можно задавать вопросы и получать ответы.

— Что вы имеете в виду? — спросил он.

— Объясняю. То, что вы мне будете говорить, я обязательно опишу. С максимальной точностью. То есть как вы скажете, так точно я и запишу. Вы при этом можете обманывать меня сколько хотите. Но обмануть и меня, и всех читателей, вы же понимаете, вам не удастся. Значит, Сергей Сергеевич, что? У вас есть выбор из трех вариантов. Вариант № 1. Вы признаете, что я прав, и показываете мне соответствующие документы. Вариант № 2. Вы говорите, что я не прав, и мою неправоту подтверждаете документами. Разумеется, не фальшивыми, фальшивые в любом случае будут разоблачены. И вариант № 3, который вы уже задействовали. Вы будете врать, но тем самым докажете, что я прав. Вариант № 4 попробуйте сами изобрести.

Должен отметить, что Сергей Сергеевич человек умный, он понимает, что и я кое-что соображаю. И помимо прямой полемики вводит в оборот тонкий подтекст. Я, например, говорю, что мои отравители в связи с мо-

им делом были наказаны. Он сразу улавливает, что здесь спрятано косвенное доказательство, — раз наказаны, значит, было за что. И проведя, видимо, маленькое исследование, в следующий раз мимоходом бросает, что нет, они наказаны не были. Все мои соображения, как я понимаю, Серега честно переправляет по инстанции. А потом получает ответ и передает его в своей обработке.

Между прочим, дело моего отца, заведенное в тридцать шестом году, отыскалось. Разыскать дело было трудно, но Серега, проведя большую работу, обнаружил его почему-то в Ташкенте. Хотя велось оно в свое время в Москве и в Душанбе. Где бы ни было, а все-таки не пропало. Оперативной ценности оно больше не представляет (объект операции следователям уже недоступен), насчет исторической не знаю, а почему-то все-таки не сожгли. Две папки документов были доставлены в Москву, и два дня в кабинете Нагина я с ними знакомился. Документы эти стоят отдельного описания, которое и будет исполнено за пределами этой работы.

Пока я читал документы и делал мелкие записи, Серега заваривал кофе (ничего туда, похоже, не подсыпая) и рассказывал мне о себе.

Родился он в 1956 году (как раз когда я приехал в Москву пробиваться в писатели). Кончил (коллега) педагогический институт, лингвист (а не конструктор), здесь занимался графологией, кроме того, был контрразведчиком, я не понял: сначала графологом, а потом контрразведчиком или наоборот. И где, кстати, он учился на контрразведчика? В пединституте или самообразованием постигал? Рассказывал о своей семье, от которой сильно оторван работой. Приходится очень много заниматься реабилитационными делами, поисками пропавших американских летчиков и много еще чем по принципу «никто не забыт, ничто не забыто». Домой приходит поздно, уходит рано, дети его совсем не видят, уже младший сын старшего папой зовет.

Говоря о семье, вдруг спохватывается и смеется: «Ах да, я забыл, вам уже говорили: «Хочешь, я расскажу о своей семье».

«Да, — говорю, — правильно, именно так говорили.

А еще говорили, мы, мол, совсем не такие, как раньше, мы вообще по профессии инженеры-конструкторы и сюда попали случайно».

Так вот время проводим в шутках.

О недавнем прошлом своей организации Серега сокрушается. Был здесь всего лишь один очень плохой отдел, а из-за него у всего КГБ такая ужасная репутация. Ну те «орлы», из 5-го управления, примитивные были люди, топорно работали и грубые слова говорили, а ведь словом можно убить человека.

— Ну да, — говорю, — можно словом. Но еще надежнее бутылкой. Как, например, Константина Богатырева. Вы слышали про Богатырева?

— Нет, не слышал.

Иногда сам между делом интересуется подробностями моей биографии: «А у вас за границей с ЦРУ не было контактов? Правда не было?»

Иногда он мне советует про все просто забыть.

— Что было, то было, — говорит он философски, — чего там зря прошлое ворошить?

— Понимаете, Сергей Сергеевич, — пытаюсь я объяснить, — многие люди всегда меня считали честным и правдивым человеком. За что мне иногда приходилось претерпевать разные жизненные невзгоды. За это же ваши люди меня отравили, да еще подрывали мою репутацию, изображая меня чокнутым и лгуном. А мне моя репутация так дорога, что я уступить ее вам никак не могу.

Кроме встреч в кабинете, мы время от времени переговариваемся по телефону. Серега всегда начеку:

— Владимир Николаевич, а что это у вас там в телефоне шуршит? Вы магнитофон, что ли, включили?

— А почему это вас беспокоит? Вы же со мной не тайно разговариваете.

Тайно не тайно, но бдительность не ослабляется. Поскольку мы на время связались одной веревочкой, я решил пригласить Серегу на свой телевизионный вечер в Останкино. Он пригласительный билет взял, но не пришел. Я спросил почему. Серега честно объяснил: начальство не рекомендовало. Поскольку выступающий известен своим вздорным характером (даже о том, что

его отравили, не может никак забыть), от него можно ожидать любой экстравагантной выходки. А вдруг, вперив свой взор со сцены и выставив вперед указательный палец, завопит: вот он, кагэбэшник проклятый, тащите его и вяжите. И это при всем народе, при свете юпитеров, под прицелом всех телекамер...

— Слушайте, — говорю я, — а правда, что ваш министр очень большой виртуоз по части тирки спины начальству?

Что касается магнитофона, то я правда его не включаю. Мне играть в шпионы не интересно, да и не нужно. Маленький диктофон я приношу на Лубянку, чего не скрываю. Переписывать отцовское дело трудоемко, я кое-что наборматываю на пленку.

Через пару недель после нашей первой встречи в КГБ Серега принес мне домой вот что:

СПРАВКА

1 октября 1973 года 5-м управлением КГБ СССР было заведено дело оперативной проверки 3385 на Войновича Владимира Николаевича.

Материалы этого дела 3 марта 1977 года приобщены к вновь заведенному делу оперативной разработки 11049 на Войновича В.Н.

Указанное дело оперативной разработки в 10 томах уничтожено 10 января 1991 года управлением «3» КГБ СССР.

*Центральный архив Министерства
безопасности Российской Федерации
(круглая печать)*

*«31» марта 1992 года
Подписи — никакой.*

Чуть ли не всю жизнь у меня была репутация человека доверчивого, иногда даже слишком доверчивого, а тут восстал во мне Станиславский и говорит: не верю!

С 1966 года, повторяю, подписывал я всякие письма, в шестьдесят восьмом толком среди диссидентов у здания, где судили Гинзбурга и Галанскова, в том же году

стал одной из жертв идеологического постановления ЦК КПСС, когда были запрещены все мои вещи и по всей стране (в некоторых случаях с большим скандалом) закрывались спектакли по моим пьесам. В семидесятом году меня допрашивали в прокуратуре по делу Андрея Амальрика, два года спустя в Лефортовской тюрьме по делу Якира. В шестьдесят девятом году в «Гранях» был напечатан «Чонкин», в семидесятом я за это получил строгий выговор. Неужели все эти годы никакой материал на меня не собирался и ни в какую папочку не складывался? Это в нашем-то полицейском отечестве?

Но сомнений в данных, отраженных справкой, я ее составителям решил не выражать. Главным моим интересом было все-таки отравление в «Метрополе».

3 апреля я записывал свое телевыступление перед публикой в студии Останкино, а четвертого уехал в Германию.

Приехав через месяц, опять знакомился с делом отца и этой частью работы удовлетворен полностью. В это же примерно время на приеме у английского посла встретил Вадима Бакатина. Спросил его, думает ли он тоже, что дело мое сожжено, он сказал: «Да, да, я сам лично проверял, ваше дело действительно уничтожено».

Может быть. Хотя, насколько мне известно, Вадима Викторовича в бытность его председателем КГБ подчиненные обманывали так же, как меня. Может быть, чуть потоньше. Дело можно сжечь и прах его развеять по ветру, но все следы преступления убрать невозможно, их должно быть слишком много.

| НАМ ПОКАЗАЛОСЬ

Во время работы с делом отца Серега сказал мне, что меня скоро пригласят к начальству, кое-какая работа проделана, люди, о которых речь, разысканы, оба живы-здоровы, один последние годы служил в Караганде, там дослужился до генерала, вышел на пенсию, другой продолжает нести свою службу, он допрошен, все полностью выяснено.

— И что именно выяснилось? — спросил я.

— Владимир Николаевич, вам все скажут, но что касается того дела, то теперь ясно, — разводит руками и улыбается, — вам просто показалось.

— Правда? — Один человек (будет скоро назван) еще в 1976 году убеждал меня, что мне показалось, но он был детектив-любитель, а Серега, хотя и с педагогическим образованием, ничего не скажешь, профессионал.

— Конечно, показалось, — говорит Серега, улыбаясь смущенно. — Это понятно, Владимир Николаевич. В такой ситуации любому могло показаться. А впрочем, что я буду говорить, скоро вы во всем сами убедитесь.

Я не стал спорить. Решил подождать. Повторяю, я был готов узнать и подтвердить любую правду. Сразу бы не поверил, но, поверив, отрицать бы не стал.

| ЧАЕПИТИЕ НА ЛУБЯНКЕ

Вот наконец Серега позвонил и сказал, что руководство ждет меня в понедельник 8 июня.

В понедельник я прийти не мог, был в Риге. Вернулся во вторник, девятого. Позвонил Краюшкину. Оказалось, он и есть руководство. Договорились встретиться. В два часа я подошел к пятому подъезду, где меня ждал Нагин. Прошли в кабинет Краюшкина, просторный, с длинным столом для совещаний, с теми же портретами Ленина и Дзержинского на стене.

Мрачный не улыбочивый майор, очевидно, секретарь Краюшкина, принес нам по чашке крепкого чая. Я подумал, не предложить ли из озорства Краюшкину поменяться чашками, но решил этого не делать, понял, что шутка будет воспринята слишком всерьез.

— Ну вот, — торжественно прижмурил глазки Анатолий Афанасьевич, — мы для вас, Владимир Николаевич, поработали и вот что нашли.

На этот раз в папке лежала уже целая папка бумаги, листов, может быть, тридцать. Какие-то выписки, кото-

рые Краюшкин хотел мне прочесть вслух, но потом дал все же в руки, хотя переписывать не позволил. Выписки были, как я понял, из ежемесячных отчетов, очевидно, этого самого пятого управления КГБ высшему руководству.

Времени на прочтение их у меня было немного, к тому же два собеседника сидели над душой и не уставали мне что-то рассказывать (Краюшкин о том, как во времена застоя спасал своего бывшего учителя от наказания за то, что тот одобрительно отзывался о загранице), так что изучить читаемое не было никакой возможности, да, впрочем, это было и не столь интересно.

В выписках много того, что в народе называется туфтой. То есть заведомое преувеличение объема и качества проделанной работы. В данном случае для того, чтобы удовлетворить начальство, надо представить ему, с каким важным и опасным врагом они имеют дело. Например, сообщается об усилиях по раскрытию псевдонимов, под которыми я печатался на Западе, хотя я ни на Западе, ни на Востоке никогда псевдонимами не пользовался, не считая очень короткого периода в 1959 году. Тогда, работая в многотиражке «Московский водопроводчик», я часто подписывал свои фельетоны фиктивными именами или именами своих друзей. (Наиболее часто употреблялся псевдоним «О. Чухонцев», после чего иногда приходили опровержения типа: «Товарищ Чухонцев не вник, товарищ Чухонцев не разобрался, товарищ Чухонцев пренебрег мнением партийного руководства». Я пересылал эти отзывы Олегу Чухонцеву и на редакционном бланке писал, что, если товарищ Чухонцев не сделает определенных выводов, редакция будет вынуждена от его услуг отказаться.)

Отчеты общие. В некоторых случаях моя фамилия (вернее, кличка) должна стоять рядом с другими, но вместо других — многоточия. Выглядит это примерно так: «...марта «Гранин» встречался с... и имел с ним беседу о...» Впрочем, вот и реальная фамилия упомянута, а я ее вымышленной заменю, ну, допустим, Коробкина.

Я сначала удивился, что еще за Коробкина?

Потом вспомнил.

Если не ошибаюсь, в семьдесят четвертом году пришло (с оказией, естественно) известие от Наума Коржавина, что в Москву с коротким визитом прибывает Беатрис Коробкина и ее следует принять хорошо. Сочетание имени и фамилии меня заинтриговало, я стал ожидать не то чтобы с нетерпением, но с любопытством, представляя себе некую тощую старуху из первой эмиграции, нет, конечно, не княгиню и не графиню (титулованных особ с такими фамилиями не бывает), но, может быть, вдову какого-нибудь деникинского или врангелевского полковника (почему-то именно полковника), говорящую на хорошем старомодном русском языке с американской интонацией.

Потом были междугородный звонок и несмелый мужской голос: «Чи вы нэ знаетэ, когда приедет тетя Триша?» На мой вопрос, а кто ее спрашивает, было отвечено: «Родичи с Армавира».

Теперь воображаемый образ Беатрис слегка сместился в сторону вдовы какого-нибудь казачьего есаула.

Впрочем, я ни о какой Беатрис не думал, когда в телефонной трубке возник однажды сиплый и встревоженный женский голос, который сказал:

— Валодья, я есть Триша. Хади на мена.

В тон ей я спросил:

— Куда на теба хадить?

— Хотел Юкрейн.

— Кто хотел? — не понял я.

— Хотел Юкрейн, — повторила она, и я, слегка поднапрягшись, понял, что «хотел» это отель, а «Юкрейн» — «Украина», куда меня и просят прибыть как можно скорее.

Я приехал на такси, поднялся на какой-то этаж, нашел нужную комнату, там было несколько американок и среди них одна лет сорока, высокого роста и совершенно невероятных объемов, какие были нередки среди американцев в те времена, когда они в огромных количествах пожарили поп-корн (особенно в кинотеатрах) и

еще повально не озаботились подсчетом калорий на этикетках.

Не знаю, то ли я ей был предварительно отрекомендован как свой человек, то ли состояние было такое, но Триша кинулась ко мне, словно к родному:

— Ой, Валодья, я так не уметь, я так не хотеть. Тут везде глаза. Глаза, глаза, везде глаза.

Что еще за глаза? Оказывается, глаза, которые смотрят на нее из-за всех углов.

«О, боже! — подумал я. — Не успела приземлиться, а уже мания преследования».

Было странно, что такое большое существо и так беспокоится о каких-то глазах.

Триша приехала на неделю с группой туристов, и я стал ее успокаивать, что, как члена группы, ее никто не посмеет тронуть. Это был бы слишком большой международный скандал.

Потом предложил ей поехать к нам.

Она вытащила из-под кровати две огромные сумки с застежками-«молниями», одна сумка, синяя, была для нас и наших друзей, а другая, черная, с нарисованным на ней тигром, для родичей «с Армавира».

В гостинице «Украина» лифты просторные, но в дневные часы набиты бывают битком. И в нашем, пока мы в нем спускались, уплотнение с каждым этажом нарастало. Триша, оказавшись зажатой посередине, с откровенной подозрительностью разглядывала всех стоявших вокруг нее.

Не оставила своим подозрением и шофера такси, который нам тут же попался, как только мы вышли наружу. Он оказался лихач, каких за пределами нашей страны я потом ни разу не встречал. Он так несся по всей Москве и с таким визгом лысых шин поворачивал, что Триша приняла его за коммунистического камикадзе, который решил сам погибнуть, но и эту представительницу американского империализма угробить (я в этом раскладе вообще был не в счет). Не желая смиряться с уготованной участью, Триша всю дорогу визжала и хватала меня за руку.

Дома из содержимого синей сумки, вываленного на

пол посреди моей комнаты, образовалась целая гора всякого барахла, где, кроме прочего, было несколько норковых шкур. Кто-то из новых эмигрантов, желая помогать материально своим невыехавшим родственникам или друзьям, открыл, что шкурки, которые стоят в Америке три доллара штука, можно с большим прибытком продавать здесь. Наум Коржавин значительную часть своих скромных доходов тратил тоже на эти шкурки, посылал детям и друзьям, в их числе и нам, которые, по его представлению, нуждались в материальной поддержке. Принимать это барахло было неловко, а что делать, если власть обрезала все пути к легальным заработкам и костлявую руку голода избрала одним из главных своих помощников в борьбе с инакомыслием?

Писатели, художники и ученые (иногда выдающиеся), отстраненные от всех возможностей заработать на кусок хлеба, принимали подарки, а порой и собственные гонорары (которые официально не проходили) разными вещами, как то: приемники, магнитофоны, часы, калькуляторы, ну и носильные вещи, стыдясь своего униженного состояния и становясь потом жертвами фельетонистов, измывавшихся над отщепенцами, что продают родину за джинсы, дубленки и даже (как было написано про Юрия Орлова) за кальсоны.

Был период (к счастью, короткий), когда мы тоже получали подарки для продажи через комиссионку, но потом у меня оказались какие-то (даже приличные) гонорары в долларах, которые я обменивал на рубли по тогдашнему (казавшемуся очень выгодным) «черному» курсу один к четырем, так что потом все диссидентские годы мы нужды не знали и за чужой счет не жили.

Триша рассказала, что в аэропорту содержимое ее сумок было осмотрено очень тщательно, каждую тряпку таможенники подробно прощупывали, но бывшего при ней письма Коржавина не нашли. Теперь оно было вручено адресату, то есть мне, и из него я узнал, что Триша — жена Вани Коробкина, простого русского мужика, который в свое время сапожничал в Армавире, а теперь тем же самым занимается в Бостоне. А в промежутке были война, плен, власовская армия, лагерь перемещен-

ных лиц и перемещение в Америку, полное приключений. (Тогда, между прочим, прочтя коржавинское письмо, я и подумал: вот она, возможная судьба Чонкина.)

Ванино власовское прошлое, наверное, и было причиной внимательного наблюдения за Тришей.

Триша была учительницей в средней школе и получала зарплату по тем временам хорошую — семьсот долларов в месяц. Ваня тоже зарабатывал неплохо. У них был свой дом, две машины и... она охотно перечисляла свое имущество, в котором очень важное место занимала почему-то софа.

Все русские сумасшедшие. Ваня говорит: «Хочу на родину. Прогоним коммунистов, сразу вернусь домой».

Она говорит: «Куда ты вернешься, куда поедешь? Здесь у тебя дом, машина, софа, а там что?»

У меня к тому времени была описанная в «Иванькиаде» двухкомнатная квартира, хорошая, некоторые американцы говорили, что такая на Манхэттене стоила бы (тогда) сто тысяч долларов.

— Сколко комнат? — спросила Триша — Два? — И сделала презрительную мину. — У меня восемь. Два левела¹, восемь комнат.

Она никак не могла понять этих русских и меня спрашивала:

— Валодья, почему вы не захочешь иди на Америка?

Я ей объяснял (не очень серьезно): родина, родная речь, березки. Она фыркала: «Думаешь, в Америка нет березка? В Америка есть все. В Америка есть дуб, есть секвойя, палма, береза — все есть».

Ей не нравилась группа, с которой она приехала, ее не интересовала программа, предложенная Интуристом: Кремль, ВДНХ, Елоховский собор, Архангельское, Загорск и что-то еще. Кроме того, каждый выход за пределы нашей квартиры давал новую вспышку мании преследования. Но проведя у нас целый день, она успокаивалась и мягчела. На ночь я отвозил ее в гостиницу, а утром, когда приезжал, она выскакивала из номера в ужасе. Опять ей мерещились «глаза, глаза, везде глаза».

¹ Level — уровень (англ.).

На третий день после ее приезда появилась и представительница «родичей с Армавира», дочь Ваниного брата Нина, молодая блондинка в лыжном костюме, с комсомольским значком на плоской груди.

Сумку с тигром Триша Нине почему-то сразу не отдала. Но днем они вместе ходили в магазин «Березка», где для Нины и ее семьи была закуплена уйма разных подарков, в том числе и книга «Мастер и Маргарита», в то время мало кому доступная. Потом, уже у нас дома, Нина с вожделием перебирала покупки, а «Мастера и Маргариту» протянула мне: «Возьмите, это нам не нужно».

Недооценивая тетины познания в русском, Нина говорила прямо при ней: «Она некультурная. Ничем не интересуется. На выставку достижений не хочет, в метро не идет...»

Триша смотрела куда-то в сторону, словно не слушала и не слышала, но вдруг вставляла: «Сабвей из сабвей»...

Нину эти вставки не смущали, она продолжала обсуждать недостатки Триши при ней, словно она глухая.

— Ничего не хочет. Она ж училка, ей предлагают школу образцовую осмотреть, шо вы думаете? Отказалась...

— Скул из скул, — пробурчала Триша.

— Они вообще отсталые, — продолжала Нина. — Дядя Ваня тоже совсем чеканулся. В Бога верует, вы представляете?

Триша вдруг заволновалась, вызвала меня в коридор и возбужденным шепотом спросила:

— Валодья, што, Нина тоже есть камьюнист?

Я сказал, что да, это вполне возможно. Она в ужасе всплеснула руками. Я спросил: «А что вас удивляет? Разве вы не знали, что в этой стране есть коммунисты?» — «Ай-яй! — Триша схватилась за голову. — Хочу летай дом, Америка, Бостон».

Вечером Нина уезжала назад в Армавир. Когда пришло вызванное такси, я, собравшись помочь Нине, взялся за две сумки, но Триша вдруг подскочила ко мне и сумку с тигром вырвала.

— Разве это не для Нины? — спросил я.

— Нет, нет, — сердито сказала Триша, — это не для Нина, это я знаю для кто.

Возникло некоторое замешательство. Усадив Нину в такси, я поднялся к себе и услышал от Триши, что она не хочет таскать через океан вещи для коммунистов и просит меня отдать их кому-нибудь из диссидентов.

В ту же ночь в гостинице у нее разыгрался тяжелейший приступ астмы. Должно быть, на нервной почве. Ира по ее звонку приехала к ней, вызвала врача, тот явился с огромным шприцем. Триша следила за его действиями с ужасом, предполагая, что сейчас ей вкатят цианистый калий или проколют этим шприцем насквозь.

Уколы (их было несколько) давали только временную передышку, состояние больной ухудшалось. Она уже не могла к нам ездить, но и в гостинице оставаться боялась. Поэтому Ира, оставляя ребенка со мной или с бабушкой, приезжала к Трише, дежурила у нее в номере. Накануне отлета я пришел к ней, она, лежа на спине, задыхалась, закатывала глаза и вообще была синяя. Я спросил, может быть, попробовать поменять билет на более позднюю дату. «Ноу! — просипела она в ужасе. — Мэйби я умирай, но я умирай ин американская аироплэйн».

Потом я часто рассказывал о смешной толстой¹ американке, которой по приезде в Москву всюду мерещились «глаза; глаза», а теперь, читая гэбистские отчеты, узнал (но не удивился), что мерещенье это было прямым отражением яви.

| ЛИЦО ЖАР-ПТИЦЫ

В тех же, кажется, выписках мелькнуло один раз имя другой американки, Виктории Шандор. Я и в этом случае не сразу сообразил, о ком речь. А когда сообразил, вспомнил, как вскоре после метропольского приключения кто-то из знакомых передал салатного цвета и не нашего производства тонкую книгу, на обложке ко-

¹ Несколько лет спустя, оказавшись в Бостоне, я встретил Тришу и не узнал. Она долго держала диету, что ей пошло на пользу во всех отношениях, даже в отношении астмы.

торой были фамилия автора Алла Кторова и название «Лицо Жар-Птицы». Я тоже думал, старая эмигрантка, а прочтя, увидел, что это о нашей если не сегодняшней, то вчерашней московской жизни, тонко, со вкусом, с деталями, нюансами и с ностальгией по исчезнувшей с лица Москвы улице Соломенная Сторожка.

Я прочел книгу, написал несколько одобрительных строк автору, получил радостный ответ, а вскоре объявилась и сама Алла Кторова (настоящее имя Виктория Качурова), женщина по тем временам необычной и романтической судьбы.

В пятидесятых годах, будучи переводчицей Интуриста, она встретила, полюбила и была любима известным американским летчиком, героем войны, с большими трудностями оформила брак и с огромным скандалом покинула родину, по которой потом всегда скучала. Теперь явилась с подарками, с письмом Косте Богатыреву от Романа Якобсона (который знал адресата с момента его рождения в Праге пятьдесят лет назад), с желанием общаться со всеми моими друзьями и с просьбой пригласить в гости друга ее детства Шуру Межирова.

По случаю приезда столь именитой гостьи был, конечно, закачен пир горой с присутствием постоянных участников наших застолий Сарновых, Корниловых, Богатыревых, моего нового друга Вали Петрухина и — по желанию гостьи — поэта Александра Межирова.

О Вике все уже были весьма наслышаны и теперь расспрашивали наперебой, как и где она нашла этого летчика, сколько в ее квартире комнат, какой длины у нее машина и неужели правда название ее улицы состоит из одной буквы «О»?

Костя радовался письму не забывшего его Якобсона (которого между тем, как и всех прочих структуралистов, называл говноедом), был восхищен знакомством со столь необыкновенной иностранкой, выражал желание продолжать общение путем переписки и, будучи в ударе, рассказывал свои «швейковские» истории, которые с ним случались не реже, чем с Гришкой Агеевым.

Одна случилась сравнительно недавно: ему вдруг пришла из военкомата повестка — явиться для прохождения медицинской комиссии. Костя, будучи пуганой

(и сильно) вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать неотбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что забреют в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию Снегиреву. Тот уловил проблему с полуслова и посоветовал «косить на психа»:

— Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они тебя спросят: «Зачем блюдо?» Ты скажи: «А просто так». Я, например, в военкомате перед стенгазетой, как перед зеркалом, причесываюсь.

Блюдо Богатырев не взял и причесываться перед газетой постеснялся. Прошел терапевта, хирурга и рентгенолога и наконец явился в кабинет психиатра.

— Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: «Только не вздумайте строить из себя психа». — «А я, — говорю, — и не думаю». Она смягчилась: «Садитесь, на что жалуетесь?» — «Ни на что не жалуюсь». — «А почему у вас руки дрожат?» — «А руки, — говорю, — у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни». — «Вас? К смертной казни? За что?» — «За террор», — говорю. «Что вы выдумываете? Какой еще террор?» — «Террор, — объясняю, — это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает». — «И вы кого-то убили?» — «Нет, я только собирался убить Сталина». Она как услышала слово «Сталин», сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: «Значит, вы не хотите ехать на терсборы?» — «Терсборы? — переспросил я в ужасе. — Это что же? Сборы террористов?» Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: «Идите, вы свободны». Так я на терсборы и не попал и только потом узнал, что это территориальные сборы. После Костиного рассказа начался всеобщий галдеж, а Межиров вполголоса стал мне рассказывать о своей поездке в Индию и о том, как, будучи в Дели, купил журнал «Континент» и в гостинице прочел, не отрываясь, мой рассказ об отравлении в «Метрополе».

— Я, — сказал он, как всегда заикаясь, — б-был просто п-п-по-грязен. Замечательно написано, удивительная ты-ыочность деталей. И вы знаете, что я п-по-нял?

— Что? — спросил я нетерпеливо, готовый услышать ослепительную догадку.

— Я п-п-понял, что ничего этого не было.

— Как не было? — удивился я. После всех высказанных похвал вывод был слишком уж неожиданный.

— А вот так — не было.

— Вы хотите сказать, что я все это выдумал?

— Ни в коем случае. Вы ничего не выдумали, но у вас оч-чень развито х-художественное воображение.

Тем временем общий разговор уже свернулся на популярную и тогда тему, что в этой стране жить попросту невозможно, и госте были заданы вопросы, еще не подразумевавшие никаких серьезных намерений, но и не из праздного любопытства: а можно ли там жить на гонорары, и трудно ли выучить английский язык, и действительно ли в Нью-Йорке большая преступность, и сколько приблизительно стоит подержанный кадиллак.

Гостя разволновалась и стала страстно всех убеждать:

— Не надо никуда ехать. Вы что? С ума сошли? У вас так хорошо! У вас такое глубокое эмоциональное, интеллектуальное общение! Вы этого нигде не найдете. Нигде, нигде. Ну будет у вас там дом, машина, большой холодильник, но такого уровня общения вы не найдете никогда и нигде.

Богатырев был потрясен речью Вики и во многом с ней согласился, но, забежав ко мне на другой день, чтобы уточнить ее вашингтонский адрес, сказал:

— В чем-то она, конечно, права, и мне туда ехать не обязательно, но тебе об этом стоит подумать, потому что они тебя здесь убьют.

Недели через три после этого разговора его череп был проломлен тупым предметом, завернутым в ткань.

| ПОД ВЛИЯНИЕМ МНИТЕЛЬНОСТИ

Читая выписки, я нашел в них несколько докладов о принятии мер по недопущению моего общения с иностранцами и к воспрепятствованию передаче на Запад изготовляемых мною клеветнических материалов.

Насчет второго скажу чуть ниже, а общение с иностранцами они иногда предотвращали, и героем самого знаменательного случая был опять Евгений Александрович Евтушенко. Я не виноват, что это имя упоминается в моих записках столь часто, поэт наш сам в свое время постарался (и очень!), чтобы остаться в моей памяти таким, каким предстает на этих страницах.

Так вот. В 1979 году, если не ошибаюсь, летом приехали в Москву именитые американские писатели Вильям Стайрон, Эдвард Олби, кажется, Джон Апдайк и кто-то еще — не помню. Я ими особенно не интересовался, поскольку знал, что они приехали не ко мне. Ира, Оля и я жили в это время на даче, они безвыездно, а я мотался туда-сюда. И однажды в Москве явился ко мне первый секретарь американского посольства Игорь Белоусович¹ и спросил, не могу ли я принять эту делегацию у себя дома. Конечно, я мог. Для меня такая встреча была не просто интересной, но и важной с точки зрения безопасности: признание иностранными знаменитостями как-то все-таки защищало меня от слишком уж грубых действий КГБ.

Я поехал на дачу, привез домой дочь и жену, был приготовлен ужин, назначенный на семь часов вечера, с нашей стороны явились все те же Корниловы, Сарновы, Петрухин. Мы сидели, как говорится, с мытыми шеями, а заокеанские гости запаздывали. В девять часов мы сели ужинать сами, а в одиннадцатом часу ввалилась большая компания американцев, я пытался понять, кто из них Стайрон, кто Олби, оказалось — никто. Узнаваемым оказалось только одно лицо — Игоря Белоусовича, а все остальные были его коллеги из посольства. На мой вопрос, а где же писатели, Игорь смущенно объяснил, что всех их увел Евтушенко. Он сказал им, что я бездарный писатель, плохой человек, вообще не заслуживаю никакого внимания, увез их в Переделкино и ночью на могиле Пастернака при свете луны поил гостей водкой и читал, завывая, стихи, свои, а не Пастернака.

¹ Его вскоре обвинили в том, что он агент ЦРУ, и объявили персоной нон грата.

Бывали и другие случаи отваживания от меня иностранцев. С незначительными обращались попроще: одному прокололи шины, другому, встретив его в повороте, обещали переломать ноги, одну итальянку (о ней ниже), не разобравшись, в чем дело, стукнули чем-то тяжелым по голове.

А вот доклады насчет передачи мною на Запад клеветнических материалов — это уж чистая туфта. Если они действительно старались воспрепятствовать передаче мною чего-то на Запад, им эту задачу за все годы ни единого раза выполнить не удалось, и трудно понять почему. Изо дня в день они не спускали с меня глаз, днем и ночью за мной ездили, по крайней мере, в двух автомобилях с четырьмя пассажирами в каждом, следили за мной и за всеми, кто меня посещал. Тем не менее я, будучи не очень-то ловким конспиратором, передал на Запад сотни разных материалов своих и чужих, и всегда беспрепятственно, сам удивляясь тому, что так все выходит. Один только роман Василия Гроссмана (больше тысячи страниц) я переправлял за границу трижды. Почему они ни разу не предотвратили подобную переправку, представить себе не могу, при всем моем низком мнении о них, мне не казалась такая задача для них непосильной.

Отчеты о том, как они со мной боролись, напомнили мне давнюю историю, которую я, может быть, где-то уже пересказывал. Сто с лишним лет тому назад революционер-народник Петр Алексеев после десятилетней каторги отбывал в Якутии ссылку. Однажды в тайге, на пути из одной деревни в другую, он встретил двух якутов, которые убили его в целях грабежа. Преступление оказалось бессмысленным: в заплечном мешке Алексева не было ничего, кроме краюхи хлеба. Тогда, чтобы извлечь из совершенного дела хотя бы косвенную выгоду, убийцы (они были, конечно, поэтами) сочинили песню, как в дремучем лесу встретили страшного русского богатыря, вооруженного до зубов и, подобно дракону, изрыгающего огонь. Как вступили с ним в неравную схватку и в конце концов одолели. Они исполняли свое сочинение, переходя из деревни в деревню. В од-

ной из деревень полицейский исправник, послушав песню, тут же арестовал сочинителей по подозрению в убийстве, в котором они вскоре признались уже в прозаической форме.

Подобным же сочинительством всегда занимались чекисты, и в моем случае тоже.

Но вот наконец дошел я до самого главного. В отчете за май семьдесят пятого года сообщается, что «Гранин» был вызван для бесед (множественное число), во время которых обещал изменить свое поведение и даже принял меры к приостановке какой-то своей публикации. А дальше цитата (я позвонил специально Нагину и попросил продиктовать мне дословно самый для меня важный абзац): «Гранин» под влиянием своей мнительности, под воздействием Сахарова сделал заявление западным корреспондентам, в котором искаженно изложил содержание бесед с ним оперработников. Материалы доложены руководству КГБ и управления».

Не знаю, возлагали ли мои собеседники на этот абзац какие-то надежды, если возлагали, то зря. Потому что абзац ничего не опровергает. Во-первых, никакого воздействия Сахарова на меня не было, наоборот, в данном случае я на него и на Елену Боннэр воздействовал, попросив их на квартире собрать пресс-конференцию. А что касается моей мнительности, то даже здесь сказано, что я всего лишь искажил содержание проведенных со мною бесед. Пусть будет так. Я стенограммы не вел, записывал все по памяти, был, допускаю, не везде и не совсем точен. Но ведь речь идет не о точности передачи бесед, а совсем-совсем о другом. Я этих людей называю преступниками, я их подозреваю в покушении на убийство или, по крайней мере, в попытке превратить меня в калеку. Но об этом нигде ни единого слова нет.

Когда я высказал свое отношение к этому месту, Краюшкин почему-то занервничал и даже попробовал меня немножко пошантажировать.

— Вы, конечно, можете держаться своей версии, я вас ни в чем не пытаюсь переубедить. Можете печатать что угодно, но ведь и мы могли бы кое-что напечатать.

— Что именно?

— А вот, например, то, что вы обещали изменить свое поведение.

— Ах, это! — сказал я. — Ну во-первых, это ложь. Я обещал изменить свое поведение, но только при условии, что власти изменят свое. Кроме того, если бы и обещал, было бы не стыдно. Стыдно было бы сдерживать обещание.

Это нервничанье и попытка шантажа доказывают, по крайней мере, косвенно, что старые секреты нынешним чекистам все-таки раскрывать очень не хочется.

На этом маленьком столкновении наш спор обесмыслился. Никаких достойных доверия доказательств моей неправоты мне предоставлено не было, а без них о чем же спорить?

| С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СКАТИЛСЯ

Я уже собрался уходить несолоно хлебавши, унося с собой лишь некие новые соображения, когда Краюшкин меня остановил:

— А все-таки мы вам кое-что дадим. — Опять раскрыл ту же папку и вручил мне копию письма Андропова в ЦК КПСС «О намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение Международного Пен-клуба», уже известного читателю.

Не знаю, что думали они, готовя мне этот подарок, но он, мне кажется, стал достойным украшением нашей оперативной подборки. Во-первых, он мне напомнил о некоторых моих потугах насчет создания Пен-клуба, не пошедших, впрочем, дальше разговоров. Во-вторых, он показывает, насколько все советские инстанции снизу доверху занимались не только дезинформацией противника, но и друг друга.

Я помню уважительные слухи, что КГБ поставляет в ЦК так называемые «объективки», то есть беспристрастную информацию. Я в это никогда не верил. Я всегда знал, что феномен советской системы в том и состоит, что низы лгут верхам, верхи низам и сами от низов требуют лжи. Об этом можно судить даже и по этому письму Андропова. Пытаясь истолковать мои действия в наибо-

лее выгодном для себя свете, он злонамеренность и серьезность моих действий сильно преувеличивает.

Хотя я в те времена говорил с разными людьми (не только с Сахаровым, но и с Генрихом Бёллем) о создании Пен-клуба, мы все пришли к выводу, что дело это нереальное, и на том остановились.

У меня был приятель Игнаций Шенфельд, польский литератор, просидевший в советских лагерях семнадцать лет. До шестидесят восьмого года мы во время приездов его из Польши встречались несколько раз в Москве, а потом он эмигрировал на Запад, и я о нем долго ничего не слышал. Но в семьдесят четвертом один-единственный раз он позвонил мне по телефону из Германии с советом печатать «Чонкина» в издательстве не «Люхтерханд», а «Шерц», которое больше платит. А Андропов из этого звонка сплел преступную связь с польским эмигрантским центром.

Но заглянем в конец письма.

«С учетом того, что Войнович скатился... мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера».

Если бы имелась в виду только беседа (пусть даже с угрозами), председатель КГБ и член Политбюро вряд ли должен был об этом кому-то докладывать. Тут важна заключительная строка: «Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ».

Вот это оно и есть!

Андропов предупреждает ЦК, что меры против меня будут приняты. Чтобы потом не было лишних недоумений. Решить вопрос о вызове в КГБ мог бы кто-нибудь и намного ниже Андропова. А применить против меня специальные меры террористического характера он сам никогда не решился бы. Об этом надо поставить в известность более высокое начальство и разделить с ним ответственность.

Доставшаяся мне копия сделана с экземпляра № 2.

Думаю, что номером два для Андропова был Михаил Андреевич Суслов, а первый экземпляр был послан человеку номер один, то есть лично нашему дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

Придя к неким доморощенным умозаключениям, я позвонил своему другу, известному юристу, посвященному в мои поиски. Я спросил его, не считает ли он письмо Андропова косвенным доказательством моей правоты и того, что Андропов готовился к каким-то очень необычным мерам против меня. Мой друг сказал, что письмо интересное, возбуждает определенные подозрения, но доказательством все-таки не является. Предварительное извещение ЦК доказывает только, что мой предстоящий вызов считался важным событием, но, может быть, лишь потому, что я был к тому времени, как выразилась тогда же «Немецкая волна», «небезызвестным между тем человеком». Даже рутинный вызов меня в КГБ мог стать причиной некоего шума на Западе, о чем Андропов считал нужным предупредить ЦК.

— Допустим, — согласился я. — Но вот Андропов пишет, что дальнейшие меры относительно меня будут приняты в зависимости от моей реакции на вызов в КГБ. Как ты считаешь, это он написал просто так или действительно собирался принять меры, и если да, то какие?

— Но тебя же выгнали из СССР. Разве это не меры?

— Ты думаешь, меня сразу выгнали?

— А разве нет?

Чужие дети растут быстро. Сколько раз читал про себя в газетах рассказы, как я рассердился, хлопнул дверью и немедленно отчалил на Запад и с тех пор попрёкаю всех, кто примеру моему не последовал. А на самом деле еще и после отравления меня пять с половиной лет выпихивали всякими способами, и в числе прочих самыми безобидными были регулярные визиты нашего придурковатого участкового, который спрашивал меня, почему я нигде не работаю, то есть угрожал обвинением в тунеядстве. На пять почти лет был выключен телефон, было прокалывание шин и еще много чего, включая нападение псевдохулиганов. В 1977 году в горах Бакуриани ко мне и моему другу, физику Вале Петрухину, привязались четыре человека, выдававших себя за местных греков. Началось со встречи в хинкальной, с потчевания вином и с тостами в честь дорогих гостей. Через два дня

был затеян спор об идейной ущербности сочинений Солженицына (оказалось, что «греки», живя между скал, творчество Солженицына штудировали, и очень внимательно). Через три дня, вечером, на идеологической почве состоялась драка, из которой я вышел со сломанной ногой, но и «грекам» одного из своих пришлось увести под руки, сам он идти не мог. Я никогда в жизни не умел, не любил и не хотел драться, а тем более с применением подручных средств. Но эта драка произошла уже после моего отравления в «Метрополе», после убийства Кости Богатырева, после еще многих событий, которые меня очень ожесточили. Я знал, что передо мной не доморощенные хулиганы, а настоящие бандиты, которые не остановятся перед тем, чтобы искалечить меня и Петрухина или даже убить. И что наше возможное сопротивление (на него они, очевидно, очень рассчитывали) было бы для них подарком, которого они не заслужили. Сюжет драки развернулся очень остро, и нападавшим вскоре пришлось подумать, что дело у них казенное, а головы все же свои. И они с проклятиями удалились в темноту — трое, ведя под руки одного. После этого меня физически никто не трогал, но случались нападения на тех, кто меня посещал, и на тех, кто посещал не меня. Итальянская славистка Серена Витали побывала в гостях у моего соседа Виктора Шкловского, а когда вышла и села в троллейбус, была стукнута по голове чем-то тяжелым, завернутым в газету, при этом ей было сказано: «Еще раз придешь к Войновичу, совсем убьем». Для того чтобы читателю этих строк были более или менее понятны условия моей тогдашней жизни, приведу еще один документ из своего эпистолярного наследия.

Министру внутренних дел СССР
Н.А. Щелокову
от писателя Войновича В.Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

14 февраля с.г. к моим родителям в городе Орджоникидзе Днепропетровской области явился милиционер и потребовал, чтобы мой отец немедленно шел вместе с

ним в милицию. Пока отец собирался, милиционер обшарил глазами всю квартиру, заглянул в комнату, где после сердечного приступа лежала моя мать, и спросил: «Это кто там лежит? Ваш сын?»

Затем отец, старик с больными ногами, был доставлен пешком в местное отделение милиции, где начальник отделения и какой-то приезжий в штатском объявили ему, что 3 февраля я пропал без вести и меня, по всей вероятности, нет в живых.

Через две недели после этого известия мать моя умерла.

Теперь я узнал, что сведения о моей смерти работники милиции одновременно распространили и среди других моих родственников, живущих в разных городах Советского Союза.

Между тем никаких оснований для беспокойства за мою жизнь у работников милиции не было и быть не могло, хотя бы потому, что 4 и 5 февраля ко мне приходил участковый уполномоченный и интересовался, на какие средства я живу. О том, что я нахожусь в Москве в своей собственной квартире, было хорошо известно начальнику 12-го отделения милиции и тем шпикам, которые круглосуточно толкутся в подворотне моего дома.

Я хотел бы знать, для чего была устроена эта гнуснейшая всесоюзная провокация и кто был тот недочеловек, который ее придумал. Я требую привлечь этого бандита к ответственности, а если он параноик, то подвергнуть его принудительному лечению как социально опасного.

Если я не получу от вас вразумительного ответа в установленный законом срок, я буду считать, что ответственность за эту провокацию вы взяли на себя.

*17 марта 1978 г.
(подпись)*

Ответа я, конечно, не получил. Но мне было сделано много намеков, чтоб убирался подобру-поздорову, намеком был и организованный КГБ вызов из Израиля для меня и ближайших родственников, который я изо-

рвал и выкинул в мусор, позаботившись, чтобы они это отметили.

В те времена меня навестила какая-то еврейская активистка с вопросом, не желаю ли я написать какую-нибудь статью для «самиздатского» журнала «Евреи в СССР». Заодно рассказала, как ее вызывали в КГБ и угрожали, что посадят, если она не убавит своей активности. Я ей сказал, что статью сейчас писать мне некогда...

— ...А месяца через два-три почему бы и нет, если за это время вас, или меня, или обоих еще не посадят.

— А вас-то за что? — посмотрела она на меня, оскорбившись, что я ставлю себя на одну доску с нею.

— А вас за что? — спросил я.

— Меня, — сказала она с большим самоуважением, — за то, что я хочу уехать.

— А меня за то, что я хочу остаться.

Но я сильно отвлекся, прошу прощения, и возвращаюсь к моему другу-юристу, который, бывши свидетелем моей тогдашней жизни, удивился, что я не сразу после отравления уехал, но все же настаивал на том, что письмо Андропова ничего не доказывает. Ну собирались принять меры, ну передумали или отложили на после.

— Но материалы, которые ты собрал, — сказал мне мой друг, — приводят к другому, более серьезному доказательству. Представим себе, что тебя действительно всего лишь вызвали, поговорили, попутали и отпустили. Но ты вдруг устраиваешь такой скандал. Пресс-конференция на квартире Сахарова, открытое письмо Андропову, прямое выступление по «Немецкой волне», публикация в «Континенте». И вот тут уж я не могу поверить, чтобы столь серьезное обвинение не обеспокоило ни КГБ, ни ЦК. И не могу себе представить, чтобы из ЦК не последовало запроса Андропову, а Андропов не вызвал этих людей и не потребовал у них письменного отчета в том, что именно они с тобой сделали. Если твое отравление выдумка, то эти люди, вероятно, доложили бы, что с тобой проведена предупредительная беседа, но никакие специальные средства воздействия не применялись. Такой отчет мог быть не затребован только в том случае, если Андропов знал, что то, что ты пишешь, — правда.

Переварив всю полученную мною информацию, я позвонил Сереге и спросил, как бы мне опять встретиться с Фроловым.

— Владимир Николаевич, — удивился Серега, — а разве вы не поняли, что Василий Алексеевич не хочет с вами встречаться?

— Нет, не понял. А почему же он не хочет со мною встречаться?

— Он считает, что все доказательства вам предъявлены, и отчет об этом будет направлен президенту. Президент дал указание, и мы должны отчитаться.

— Хорошо. Я со своей стороны тоже пошлю отчет президенту и в связи с этим хочу спросить: мне предъявлены доказательства чего? Моей мнительности?

— В общем, да.

— Вы хотите, чтобы и я с вами согласился?

— Это было бы разумно.

Спорить с ним было бессмысленно, но он был пердаточное звено и в качестве такового выслушивал меня внимательно, мои аргументы, как я заметил, улавливал и, надеюсь, передавал их дальше без искажений.

— Сергей Сергеевич, — воззвал я к его здравомыслию. — Вы человек умный и, пожалуйста, подумайте вот о чем. Предположим, я вам поверил, и в отчете о своих розысках привел все предъявленные мне аргументы, и написал, что эти аргументы убеждают меня в том, что в семьдесят пятом году меня никто не травил, а вся описанная мною история есть плод моей мнительности. Это будет похоже на правду?

— Мне кажется, что да, — сказал Нагин.

— А как вы думаете, читатели мне поверят?

— Конечно, поверят! — отозвался он охотно и с надеждой.

— Нет, — сказал я, — не думаю. Читатели тоже не дураки. Я с вами спорить больше не буду, но прошу передать Фролову следующее. Факт, что мои дела сожжены, я допускаю с сомнением. Утверждение, что они сжигались, как не представляющие ценности, просто лжи-

во. То, что последнее дело сжигалось (наверное, в спешке) 20 августа 1991 года, говорит о том, что оно содержало наиболее чувствительную информацию, КГБ спешно заметал следы своих преступлений. Но не думаю, что полностью замел. В то, что не сохранилось никаких следов операции, проведенной 11 мая 1975 года, не верю. Не может этого быть. Если меня никто не травил, то свидетельства этого, наоборот, хранились бы очень бережно. Если меня никто не травил, то обязательно был какой-то запрос по этому делу и какой-то ответ. Неужели я поднял такой шум и никто не поинтересовался: что это Войнович там плетет и что было на самом деле? Неужели никакого запроса ни из ЦК в КГБ, ни внутри КГБ от верхнего начальства к нижнему не было, никакого запроса и никакого отчета?

— Не было, — стоит на своем Серега. — Ну может, начальник управления позвонил ребятам: что, мол, там у вас случилось, они объяснили по телефону, и все. Что там особенно разбираться!

— Сергей Сергеевич, а почему бы вам этих «ребят» сейчас все-таки не вызвать и не спросить их, что именно они тогда со мной сделали?

Он вздыхает:

— Владимир Николаевич, ну как же мы их можем вызвать? Я же вам говорю, один вообще живет в Казахстане, то есть в другой стране, а второй...

— Что второй?

— Он все равно не скажет.

Тут уж и я вздыхаю:

— Сергей Сергеевич, разве у вас есть такие люди, которые вам не скажут, если вы захотите? Да что же он, стойкий такой диссидент? Муций Сцевола? Зоя Космодемьянская? Допросите как следует, и, я вас уверяю, все скажет.

Наш разговор был долгим, и я спросил:

— Сергей Сергеевич, а почему вы лично так уверены, что меня никто не травил? Вы считаете, что ваша организация вообще на такие дела не способна?

— Владимир Николаевич, я не буду отвечать на этот вопрос. Но так, между нами, я бы еще поверил, если бы

с вами что-нибудь сделали во время оперативной разработки, но тогда разработки еще не было. Тогда еще было только дело оперативной подборки, а во время оперативной подборки... нет, это невозможно.

— Скажите, а вот дело Богатырева в какой стадии было, когда его трахнули по голове? Это уже разработка была или еще только подборка? Или вы думаете, что его стукнули не ваши?

— Я не знаю.

— Ну конечно, не знаете. А могли стукнуть или это тоже мои фантазии?

— На этот вопрос я тоже отвечать не хочу...

Тут, пожалуй, пришла пора рассказать об этом убийстве, которое когда-то взбудоражило многих, но прошло почти без огласки тогда и сейчас редко поминается.

| УБИЙСТВО БОГАТЫРЕВА

26 апреля 1976 года (был второй день Пасхи) Константин Петрович Богатырев, ожидая кого-то в гости, около семи вечера, перед закрытием магазина, вышел из дому купить вина. Дома оставалась мать Тамара Юльевна, которой было к той поре лет около девяноста. Через какое-то время она услышала жуткий крик и, когда выглянула на лестничную площадку, увидела существо, которое, обливаясь кровью и пронзительно крича, ползло к ней от открытого лифта. Тамара Юльевна, перепугавшись, попятилась и хотела закрыть дверь, но существо, обхватив ее ноги, втащило ее вместе с ней в квартиру, вплыло в луже собственной крови, и только тут старуха сообразила, что существо было человеком, и больше того — ее сыном Костей.

«Скорая помощь» отвезла Костю в реанимацию. Там было определено, что голова его проломлена тупым предметом (возможно, бутылкой), завернутым в ткань.

С тех пор прошло много лет, подробностей того, как развивались события, я тогда не записал, боюсь, что никто другой этого тоже не сделал, попробую восстановить то, что вспомнится, хотя и разрозненно.

Кто-то из врачей сказал, что удар был нанесен Косте явно профессионалом. Убийца знал точно, куда бить и с какой силой, но не знал только, что у убиваемого какая-то кость оказалась аномально толстой.

Нападение на Богатырева переполошило «весь «Аэропорт», то есть писателей, которые жили у станции метро с одноименным названием. Не то чтобы им так уж была дорога жизнь Кости Богатырева, но нападение на него делало их собственное существование не столь безопасным, как казалось до этого. Брежневские времена отличались от сталинских тем, что борьба шла в определенных рамках: хватали, судили, сажали не без разбору, а только не соблюдавших основное правило поведения, которое на полублатном языке формулировалось так: сиди и не петюкай. Писатели это правило очень усвоили и не петюкали, сами себе внушая, что это непетюканье объясняется их несуетным обитанием в мире высших замыслов и сложных вымыслов, а если и в сферах более приземленных кого-то сажают, казнят или чего-то еще, то, видимо, эти люди сами на то запросились, по каким-то мазохистским и саморекламным причинам желая быть в числе сажаемых и казнимых. И вдруг всем дано было однозначно понять, что не только Костю Богатырева, а любого можно вывести из мира художественных вдохновенных видений с помощью бутылки, завернутой в мешковину, или другим примитивным (что оскорбительно) способом. Писатели всполошились и забубнили между собой, выражая тревогу и даже недовольство тем, что власти выходят за ими же установленные рамки и нарушают неписанный договор. Уже на другой день некоторые оторвались от письменных столов, нацепили на рукава красные повязки дружинников и пошли группами по три-четыре человека обходить подъезды и другие места, где может совершиться насилие. Конечно, не все были уверены, что нападение на Богатырева — дело рук КГБ, высказывались предположения, что он, может быть, в очереди за вином повздорил с какими-то алкашами или был прибит неразборчивыми грабителями, но пребывавшим в таком заблуждении сразу дали понять, чтобы они подобные глупости даже и

в голове не держали. Критик Владимир Огнев был делегирован к Виктору Николаевичу Ильину. Судя по поведению Виктора Николаевича и некоторым его намекам, он с бывшим своим ведомством связи не потерял, поэтому в некоторых случаях к нему люди обращались не только как к секретарю СП, но и как к представителю органов. А он от имени органов отвечал. Как я слышал, разговор Огнева с Ильиным был примерно таким.

— Кому и зачем понадобилось убивать этого тихого, слабого, интеллигентного и безобидного человека? — спросил Огнев.

— Интеллигентный и безобидный? — закричал Ильин. — А вы знаете, что этот интеллигентный и безобидный постоянно якшается с иностранцами? И они у него бывают, и он не вылезает от них.

Даже в те времена, когда у людей мозги были сильно сдвинуты, многие понимали, что наказать человека за якшание с иностранцами, может, и следует, но убивать — это все-таки слишком. И уж во всяком случае, назначать за якшание смертную казнь обыкновенный бандит вряд ли станет.

Это странное высказывание Ильина укрепило многих в подозрении, что убийство было политическое и совершено скорее всего КГБ, сотрудники которого и дальше не только не пытались отрицать свою причастность к событию, а наоборот. Как мне в «Метрополе» кагэбэшник подмигивал, намекая: мы, мы, мы убили Попова, так и здесь они настойчиво, внятно и грубо навели подозрение на себя.

Тогда, рассказывали, к лечащей докторице пришел гэбист и, развернув красную книжечку, спрашивал, как себя чувствует больной, есть ли шансы, что выживет, а если выживет, то можно ли рассчитывать, что будет в своем уме.

— Ну если останется дурачком, пусть живет, — сказал он и с тем покинул больного.

Жена Кости Елена Суриц ходила в Союз писателей, кажется, к тому же Ильину, он и с ней разговаривал грубо и раздраженно, вникать в дело отказывался, и это то же укрепляло людей в тех же подозрениях.

Следствие велось с демонстративной небрежностью и словно бы понарошку. Придурковатый участковый Иван Сергеевич Стрельников обошел несколько знакомых Богатырева и задал им по несколько глупых вопросов. Никаких серьезных следователей, а тем более следователей по особо важным делам никто, кажется, и не видел, а здесь им было бы самое место. Я дружил с Богатыревым более или менее близко, меня о нем никто ни разу не спросил. Хотя я в то время был уже как бы вне закона и власти меня игнорировали, но все же ради такого из ряда вон выходящего случая они могли и должны были как-нибудь проявиться. Вряд ли я дал бы сколько-нибудь полезные показания, но в случае убийства, да еще столь неясного, с необнаруженными убийцами, следователь не имеет права упускать никакой ниточки. Здесь же было очевидно, что идет не выяснение истины, а что-то другое.

Кагэбэшники не только старательно намекали на свою причастность к убийству, но похоже было, что даже сердились на тех, кто пытался отвести от них подозрение.

Лев Копелев, например, был уверен — и уверенность эту громко высказывал, что убийство Богатырева — это обыкновенное уголовное дело. Так ему, жившему на первом этаже соседнего с Костиным дома, в один из ближайших вечеров вышибли окно кирпичом, чтобы не молл чепухи и не наводил людей на ложный след.

Костя в самом деле общался, и очень много, с иностранцами, у него я встречал американцев и англичан, но в основном его друзья были немцы. С немцами он водился потому, что был переводчиком с немецкого, потому, что обожал немецкий язык, немецкую литературу и самих немцев, и потому, что немцы время от времени дарили ему дорогие книги, а отношение к книгам у него было своего рода помешательством. Книги чужие он брал охотно, но своих не давал никому не то что насовсем или на время, но даже дотронуться не позволял. Особенно те, дорогие, присланные или привезенные ему из-за границы. Он очень любил хвастаться этими книгами и охотно их показывал, но всегда только из своих

собственных рук. Да и сам часто, прежде чем взять книгу, мыл руки, как хирург перед операцией. Дружа с немцами, он порой просил их передать кому-то какое-то письмо, обычно свое, иногда чужое. Его собственные письма, я думаю, были весьма безобидного содержания, да и другие письма тоже вряд ли угрожали безопасности Советского государства. Я сам для отправки писем пользовался Костиным посредничеством раза два-три, не больше.

Формально говоря, диссидентом он не был. В свое время он подписал несколько писем протеста, и последнее было против моего исключения. Но на этом он и остановился. И если возникала ситуация, что мне при нем приходилось подписать что-нибудь эдакое, он подходил ко мне и, волнуясь, говорил: «Знаешь, я это подписать не могу, ты на меня не сердись», — а я сердиться вовсе не думал. Мне эти письма самому надоели, но я их чаще всего подписывал, стесняясь отказать и еще потому, что мне терять уже было нечего.

Если в КГБ на него и злились, то, может быть, только за то, что он вел себя с их точки зрения независимо, не по чину. Не спрашивая начальства и не пытаясь угадать его мнение насчет того, с кем можно общаться, с кем нельзя и с кем о чем говорить. Поэтому у него и было много друзей среди иностранцев и опальных соотечественников, в их число входил Андрей Дмитриевич Сахаров, у которого Костя часто бывал.

Жертва была выбрана очень точно.

Костя был одновременно и многим знаком, и мало известен. Ясно было, что слух о его убийстве разойдется далеко и в то же время слишком большого шума не будет. Кроме того, это убийство покажет колеблющимся, что с ними может быть, если они будут себя вести так, как он.

Богатырев умер 18 июня. За все время нахождения в реанимации он почти не приходил в сознание, а когда приходил, то ничего вразумительного о происшедшем сказать не мог. Только однажды вроде бы прошептал жене: «Ты не представляешь, какие страшные вещи они мне сказали». Впрочем, очевидно, страшнее было не то, что они сказали, а что сделали.

Хоронили его на Переделкинском кладбище, неподалеку от Пастернака. Отпевали в тамошней церкви. Священник, желая, видимо, заодно обратиться к религии столпившихся в церкви безбожников, сказал над гробом, что религия и наука друг другу несколько не противоречат, существование Бога и потусторонней жизни подтверждено современными открытиями, и прежде всего теорией относительности Эйнштейна.

Он говорил долго. Не дождавшись конца проповеди, я вышел наружу. У церкви стояло большое количество иностранных автомобилей, а среди советских марок были «Волги» и «Жигули» прикативших на шабаш гэбистов. Сами они толкались среди народа и прятались, как обычно (это я уже не первый раз такое видел), словно черти, в кустах.

Среди людей, стоявших в церкви и около, было много известных. Ко мне подошел корреспондент «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Герман Пёрцген с блокнотом и стал спрашивать: «Рядом с Сахаровым это кто? Боннэр? А Ахмадулина с кем? С Мессерером? А Чуковская тоже приехала? А Евтушенко здесь нет?»

Недалеко от входа в церковь на лавочке сидел Александр Межиров. Я его спросил, почему не видно Евтушенко.

— А в-вы не б-бе-спо-по-койтесь. Как только п-оявятся телевизионные камеры, так возникнет и Евтушенко.

Меня поразила точность предсказания. Когда начали выносить тело из церкви, появилась команда телевизионщиков, я вспомнил слова Межилова и стал искать глазами Евтушенко. Но найти его оказалось легче легкого: он был первым среди несущих гроб и, наверное, на каких-то экранах показан был крупным планом в качестве главной фигуры события.

Гроб несли по узкой, кривой и склизкой дорожке, кагэбэшники с шорохом сыпались из кустов и, направляемые неким предводителем, который был хром и с золотыми зубами (что делало его еще больше похожим на черта), щелкали затворами фотоаппаратов с блицами (чтобы было заметнее) и снимали происходящее кино-

камерой, часто приближая ее вплотную к лицам наиболее им интересных людей.

Многочисленность народа и присутствие кагэбэшников делали обстановку нервной, было предощущение того, что вот-вот произойдет что-нибудь крайне непростойное, может быть, даже и страшное.

Начались речи. Не помню, кто что говорил. Я до того ни разу ни на чьих похоронах не выступал и в этот раз не собирался. Но присутствие кагэбэшников и их разнузданность подтолкнули меня. Я подошел к краю могилы и сказал примерно вот что:

— Когда-то Константин Богатырев был приговорен к смерти за покушение на Сталина, на которого он не покушался. Потом он был помилован, и смертную казнь ему заменили двадцатью пятью годами лагерей. Срок этот полностью Богатыреву отсидеть не пришлось, после смерти Сталина его освободили и реабилитировали. Но он, не очень доверяя судьбе, с тех пор постоянно ждал — и это распространенный среди бывших лагерников синдром, — что его в любой день могут арестовать и отправить в лагерь для отбытия неистекшего срока. Со всем недавно мы, его друзья, в его квартире отмечали окончание этого срока. Мы еще не знали, что тот первый приговор к смертной казни кто-то восстановит и что он так скоро будет приведен в исполнение. Совершилось преступление, участники которого и тот судья, который выносил свой приговор, и те палачи, которые двадцать пять лет спустя его исполнили. Я думаю, что убийцы сейчас здесь, между нами. И я хочу им сказать, что, убивая ни в чем не повинного чистого человека, они к высшей мере наказания приговорили прежде всего самих себя. Они в себе убили все человеческое и перестали быть людьми.

Я закончил свою речь обычными в подобных случаях словами, что Богатырев останется живым в нашей памяти и в своих стихах.

После чего один из поэтов сказал, что насчет стихов я загнул лишнего, стихи у Богатырева слабые и о них лучше было не упоминать.

А один критик сказал, что после такой речи мне, пожалуй, самому не сносить головы.

А Евгений Евтушенко опять не упустил случая меня угрызть и сказал Владимиру Корнилову, что Богатырев был скромный порядочный человек, а Войнович превратил его похороны в политический митинг.

Последним выступал, если не ошибаюсь, поэт Виктор Урин. Он сначала прочел свои стихи по бумажке, а потом, когда опускали гроб, бросил бумажку в могилу.

Сейчас мне это не кажется удивительным, но тогда я не мог понять, почему убийство Богатырева вызвало такой слабый отклик на Западе.

Я внимательно слушал все западные радиостанции и только по «Немецкой волне» поймал невнятный рассказ упомянутого мною выше Пёрцгена о похоронах Кости. Даже не столько о самих похоронах, а о том, какие важные люди на них присутствовали.

Исключение кого-нибудь из КПСС, арест на пять суток часто вызывали на Западе гораздо больше шума, чем убийство этого невеликого и незнатного человека. Одному известному поэту месяцев восемь не давали разрешения на поездку в Америку, это по меркам цивилизованного общества было в самом деле большое безобразие, и о нем справедливо трубила вся американская и отчасти мировая пресса. А убийство Богатырева стало темой нескольких мелких заметок, и все.

Случай этот показал наглядно, что убийство внутри страны было для КГБ очень удобным, радикальным, дешевым и наиболее безопасным способом устранения политического противника или неугодного лица. Для того чтобы посадить человека в лагерь или в психушку, его надо арестовывать, вести следствие, ломать комедию суда, писать статьи в газетах, отвечать на неприятные вопросы, отменять международные встречи или демонстративно покидать их с оскорбленным выражением на лице. А тут одна литая бутылка, один хороший удар, и — следов много (и это хорошо), но доказательств нет и не может быть никаких. Поэтому «мокрые» дела КГБ (на их языке, кажется, «активные мероприятия») за границей время от времени раскрывались (чаще, навер-

ное, все-таки нет), а внутри страны никогда. Ни разу! Может быть, в тот самый день, когда хоронили Костю, или через какое-то время пришлось мне зайти в дом одного видного советского диссидента. У него на кухне сидела миловидная женщина, жена известного американского советолога, и даже не просто советолога, а ближайшего советника будущего президента Джими Картера. Она пила чай с печеньем и благодушествовала о том, что в Советском Союзе постепенно дела сдвигаются к лучшему.

— В чем вы замечаете эти сдвиги? — спросил я ее.

— Ну например, у вас стало легче выезжать за границу, — сказала она и назвала упомянутого мною поэта, которому как раз в те дни дали паспорт на поездку в Америку.

И прогрессивная мировая общественность восприняла этот факт с чувством глубокого удовлетворения и с надеждой, что это есть хороший знак и признак постепенной либерализации советского режима.

А что касается убийства какого-то переводчика, то мало ли где, кого и за что убивают. Такое может случиться с кем и когда угодно, и не только с противниками КГБ. Виктор Николаевич Ильин был не противником, а сам собой олицетворял эту контору, но уже в благословенные перестроечные времена, приближаясь к девяносто годам, начал проявлять признаки старческой болтливости, что, может быть, и стало причиной отказа тормозов у грузовика, который сбил Виктора Николаевича, подмял под себя и размазал по асфальту липкое вещество, хранившее столько мудрых мыслей, важной информации и, может быть, даже несколько интересных догадок по поводу убийства Богатырева.

| ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С СЕРЕГОЙ

Во многих детективных фильмах я видел, как попавшие в руки ФБР советские шпионы легко проходят проверку детектором лжи. Я в это охотно верю. Не только шпионы, а все советские люди поголовно прошли боль-

шую школу лжи, которой их обучали родители, детсадовские воспитатели, учителя, газеты, книги, радио, телевидение, парторги и лекторы из общества «Знание». А уж в школах КГБ—МБ, я думаю, курсант получает столь высокое образование, что смутить детектор лжи сможет только случайно проговоренной правдой.

Такая примерно мысль пришла мне в голову, когда я общался с теперешними кагээмбистами. Лгут в глаза, не краснеют, не стесняются и не смущаются, когда ловишь за руку. Впрочем, Серега немного смущался, но и смущение переносил мужественно.

Я очень просил его дать мне телефон Фролова, и он дал. Я позвонил, там мне сказали, что это телефон не Фролова, у Фролова другой телефон, но номер они мне сказать не могут. Я опять позвонил Сереге, он опять мужественно смутился:

— Извините, может быть, я ошибся. Сейчас я проверю.

Он позвонил по другому аппарату, я напряг ухо и услышал: «Что? Не давать? Хорошо. Понял». Вернулся к аппарату, связанному с моим: «Владимир Николаевич, у Фролова сейчас ремонт, и прямой телефон не работает, но вы можете попробовать соединиться через коммутатор...»

Ну что, должен был я ему сказать, что он врет?

Испытывать на лживость лубянский коммутатор я не стал и сказал Сереге, что общение с ним и вообще с Министерством безопасности прекращаю. Но напоследок прошу меня выслушать внимательно и передать мое мнение Фролову, что Министерство безопасности намеренно уклонилось от расследования, санкционированного президентом страны. Объяснения по поводу сложности расследования смехотворны и доказывают только то, что Министерство безопасности заинтересовано в сокрытии по крайней мере данного преступления (и других тоже) и укрывает преступников. Это очевидно мне, очевидно каждому непредвзятому человеку и очевидно будет всем читателям того отчета, который я составлю. Я предоставляю министерству последнюю возможность повлиять на содержание моего отчета и доказать, что

оно отличается от КГБ и истины не боится. Предъявите, сказал я, мне какой-нибудь документ, запрос, отчет, рапорт, доклад 1975 года, содержащие ответ на мои обвинения. Если такой бумаги нет, пригласите меня и двух независимых экспертов (пусть одним из них будет Борис Золотухин), представьте экспертам те доказательства, которые вам кажутся достаточными (или объясните, почему их невозможно представить). Устройте очную ставку с «Захаровым» (если нельзя и с «Петровым»), и мы посмотрим, скажет он что-нибудь или не скажет, и, если не скажет, спросим, почему не говорит, а если скажет, подумаем, верить ему или нет.

Я дал Министерству безопасности достаточно времени, чтобы оценить логичность моих требований и сделать из этого нужные выводы. И один вывод они, видимо, сделали: что каждое их «доказательство» ставит их во все более глупое положение и лучше не говорить ничего, чем говорить что-нибудь. А тайна, которую я пытался у них выведать, настолько им дорога, что ради сокрытия ее они готовы выглядеть лгунами, мошенниками и саботажниками президентского указания.

| ВСЕ ОБЩЕСТВО БЫЛО ОТРАВЛЕНО

Пытаясь добыть нужную мне информацию на Лубянке, я и других источников не чурался и от одного из них (он просил меня его не называть) узнал (через восемнадцать лет!) реальные фамилии моих отравителей. Того, кто когда-то назвался мне Петровым, в миру зовут Смолин Пас Прокофьевич (наверно, папаша был футбольный болельщик). На день моего отравления Пас Прокофьевич был начальником отдела, но не простого, а (если мой источник не ошибается) исследовательского. «При чем тут исследовательский отдел? — спросил я. — Разве мое отравление имеет какое-нибудь отношение к исследовательской работе?» — «А как же! — возразил источник. — Конечно, имеет. Это же был как-никак научный эксперимент». Вскоре после моего отравления и, возможно, в связи с ним исследователь Смолин был

от «научной» работы отстранен и переведен (наказание с повышением) начальником управления в Саратов (а не в Караганду), там и правда дослужился до генерала, вышел на пенсию и, должно быть, вернулся в Москву. А так называемый Захаров Геннадий Иванович в свое время особо не фантазировал, произвел свой псевдоним из фамилии Зареев, а имя и отчество оставил свои. Чем занимается Зареев сейчас, не знаю, но несколько лет назад он исполнял должность, которая в полном виде называлась «заместитель начальника Управления по экспорту и импорту прав на произведения художественной литературы и искусства ВААП». Это я узнал из газеты «Советская Россия» от 13 сентября 1987 года, где этот поборник прав призывал западных издателей сотрудничать с ВААП «на честной, справедливой и гуманной основе».

Наш рассказ подходит к концу, и пора украсить его последними небольшими открытиями.

В конце мая этого года в Москве проходила международная конференция «КГБ вчера, сегодня, завтра», самая удивительная из всех, на которых автору пришлось побывать. Участвовали бывшие диссиденты, журналисты, публицисты, члены правительства и работники КГБ—МБ, бывшие и теперешние. Бывшие свою прежнюю службу критиковали, но часто не с той стороны, с которой мне бы хотелось. Одного, экс-директора научно-исследовательского института КГБ СССР (наука там была поставлена сильно), руководство КГБ огорчало тем, что мало внимания уделяло научным исследованиям (а я думаю, хорошо, что мало, а то бы они нас всех перетравили). Другой говорил что-то о бюрократизме и карьеризме.

Нынешние работники ГБ—МБ свою службу и свои старые кадры оправдывали, говоря, что каждое государство нуждается в защите своей безопасности, а этим успешно могут заниматься только хорошо обученные и опытные профессионалы, то есть они же сами.

Теоретически я с ними согласен, но конкретно в профессионалах из КГБ сомневаюсь. Они в основном обучены и натасканы стряпать выдуманные ими же дела (часто на основе измышлений стукачей-любителей),

они умеют заставлять людей клепать друг на друга и на самих себя, вымогать ложные показания, признания и покаяния, проламывать в подъездах головы слабых интеллектуалов и подсовывать отраву растяпе, которого можно отвлечь простейшим способом: смотри, вон птичка летит! А в то, что такие специалисты способны раскрывать реальные замыслы, бороться с реальными шпионами, террористами, диверсантами, я, правду сказать, не верю. Не говоря уже о том соображении (моральном и практическом), а можно ли доверять судьбу государства, еще не вставшего на ноги, людям, воспитанным на лжи, подлогах, коварстве и убийствах из-за угла?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» я рассказал о своих поисках и находках. Я добросовестно перечислил все предъявленные мне доказательства моего неотравления и сказки про отдельную папочку, про то, что не осталось никаких следов и что Смолина нельзя найти, а Зареев не скажет. Доводы моих оппонентов компетентной публике в зале конференции показались столь неуклюжими, что, кажется, каждый из них она встречала громким хохотом. И не успел я сойти с трибуны, ко мне один за другим стали подходить кагэбисты-эмбисты и — один громко, другой шепотом, третий с оттаскиванием меня в сторону женского туалета — стали выкладывать, кто что знал. Они подтвердили, что в 1975 году мною занимались Смолин (тогда еще полковник) и Зареев (капитан). Причем Смолин на это опасное (для кого?) задание сам napросился (хотел небось уже тогда выбиться в генералы), а за ним, вероятно, еще стоял некто Цуркан (по описанию одного из информаторов «черный такой, похожий на цыгана, но вообще-то по национальности молдаванин»), специалист, как я понял, по травле людей химией. Когда меня в гостиничном номере травили, он, возможно, прятался там же за описанной мной занавеской или находился в другом номере, куда и выскакивал к нему Зареев за консультацией по ходу эксперимента.

Там же, в кулуарах конференции, я узнал, что яды и способы их применения против людей разрабатыва-

лись(ются) лабораторией 12, которая находится где-то на 3-й Мещанской улице.

По окончании конференции был банкет, возлияния и братания всех со всеми. Ко мне подходили славные наши чекисты и просили поставить подпись, нет, не под протоколом допроса, а на моей книге, или на чужой, или на бумажной салфетке. Все они (кажется, даже без исключений) оказались читателями и почитателями моих книг и особенно «Чонкина», за которого в недавнее время по долгу службы могли бы и пришибить. Я смотрел на них с любопытством. Вроде люди как люди, и все-таки не совсем. Что бы они сейчас ни говорили, а в свое время (и некоторые по многу лет) занимались они тем, на что большинство людей не способны были никогда, ни при каких обстоятельствах. Что их туда привело? Слепая вера в идеологию (которую они путали с идеалами)? романтика шпионской жизни? цинизм? карьерные соображения? Может быть, то и это, но многих, я думаю, вели туда просто преступные наклонности и возможность удовлетворять их без риска наказания. И покинули они свою контору тоже по причинам разного свойства. Кто (наверное, немногие) устыдившись этой службы (а как их отличить от других?), кто разочаровавшись, что она не дала им того, чего они от нее ожидали, а большинство, должно быть, по инстинкту крысы с тонущего корабля.

Как бы то ни было, теперь все были вместе, пили, закусывали, переходили от столика к столику.

В конце банкета я оказался за одним столом с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, которого не преминул спросить, что он думает по поводу моего рассказа.

— Ну что ж, — сказал Калугин, — по-моему, вы все точно определили. Против вас, вероятно, было употреблено средство из тех, которые проходят по разряду brain-damage (повреждение мозга). Такие средства применялись, и неоднократно. Например, с ирландцем Шоном Бёрком. Он сначала нам помог с Джорджем Блейком. С тем самым английским контрразведчиком, который стал работать на нас, был разоблачен и посажен. Шон

Бёрк помог Блейку бежать из тюрьмы в Советский Союз и сам убежал вместе с ним. Но через некоторое время затосковал по родине и стал проситься обратно. Его долго уговаривали, чтобы он этого не делал, но он настаивал на своем. Тогда ему сделали brain-damage и пустили. Пока он доехал до Англии, уже ничего не помнил. Только пил и в пьяном виде молот какую-то чушь, из которой никто ничего не мог понять. И вскоре умер. А еще есть такое средство, что, если им намазать, скажем, ручку автомобиля, человек дотронется до ручки и тут же умрет от инфаркта. Сначала такое именно средство хотели применить против болгарина Георгия Маркова, но потом побоялись, а вдруг кто-нибудь другой подойдет и дотронется.

Мы оба были навеселе, и я спросил: «А если другой дотронется и умрет, разве жалко?»

— Нет, конечно, — засмеялся Олег Данилович, — но каждый лишний случай употребления этого вещества увеличивает риск разоблачения. Поэтому подумали и додумались до стреляющего зонтика.

Я решил извлечь из нашей встречи максимальную пользу и спросил Калугина, что он думает по поводу убийства Богатырева.

— Не знаю, — сказал он, — не думаю, что его убили намеренно. Может быть, хотели как следует проучить, но перестарались.

Может быть. Хотя я помню рассказ об утолщенной кости, о предположении врача, что убийцы как раз недостарались, и об активном стремлении гэбистов записать убийство на себя.

Другой бывший гэбист, просивший его не называть, сказал, что он удивлен, как после отравления точно я оценил свое состояние и насчет сигарет тоже не ошибся. Он же предположил, что средство, примененное против меня, не оказалось столь эффективным именно потому, что вводилось в организм через табачный дым, а не с едой или питьем. Но мои отравители работу со мной не считали оконченной, приглашал же меня «исследователь» Смолин встретиться еще через две недели. Однако после сделанных мною разоблачений получить

санкцию на продолжение операции им уже, наверное, было непросто. Тут уж было бы все шито белыми нитками, а под таким шитьем ни Андропов, ни те, кому направлялись экземпляры его письма номер два и номер один, прямо подписаться, наверное, не хотели.

Выше я рассказал о признаниях хотя и компетентных, но не вполне официальных, а официальное вывел из хронологического ряда и приведу теперь.

Откровенно говоря, выступая на конференции, я думал, что и на этот раз мое заявление будет пропущено действующими кагэбистами мимо ушей, но вышедший в конце третьего дня на трибуну их представитель Юрий Короткий сказал легко и лирически слова, которые следует занести на скрижали, выбить на гранитном цоколе лубянской цитадели, ну а мы, в пределах наших возможностей, просто выделим их жирным шрифтом:

— Да, — признал Короткий, — **Войновича отравили, но ведь и все наше общество было отравлено.**

Я знаю одну очень глупую женщину, которая, не понимая связи явлений, пересчитывает в дни полочки тысячные купюры и огорченно вздыхает:

— Эх, кабы эту зарплату да лет десять тому назад при тогдашних-то ценах.

Вот и нам бы это признание да лет восемнадцать тому назад.

А впрочем, и сейчас оно полностью своей ценности не утратило.

Насчет общества Юрий Короткий прав. Семьдесят лет в мозги общества средства типа brain-damage вводились с пищей, водой и воздухом и в виде пропаганды проникали через глаза и уши.

Что касается нашей конкретной истории, то за общее и запоздалое подтверждение ее Министерству безопасности спасибо, но желательно все же получить и прямой отчет с конкретными (а не вычисленными эмпирически) ответами на наши вопросы и указать поточнее, кто был инициатором описанной операции, какова была ее истинная цель, какое средство применено (химическая формула), кто разрабатывал и где (точно, а не приблизительно), против кого еще (не считая меня и Шона

Бёрка) применялась подобная химия, в каких масштабах и дозах? Какие гарантии того, что в будущем травить нас не будут? Меня лично также интересует: а почему это министерство, которому я лично ни на грош не доверяю, само решает, какие тайны и как крепко хранить, почему оно не подчиняется президенту, почему уничтожаются архивы, кто на каком уровне решает их уничтожать и нельзя ли это остановить? Любопытно было бы узнать, почему заместитель министра (насчет министра не знаю¹), хотя и пришел из МВД, врет не хуже профессионального чекиста и зачем врет? Почему он не боится не исполнить указание президента страны? Значит ли это, что указание дано не всерьез или там не всерьез принимают самого президента? Любой ответ на этот вопрос приведет нас к выводу, что органы госбезопасности остаются зловещей силой, которая в нужный момент опять может быть направлена против нас. Я не знаю, чем принципиально отличается нынешнее МБ от бывшего КГБ (по-моему, только составом букв и ограниченностью — надежной ли? — возможностей), но рассказанная мною история уличает это министерство, по крайней мере, в сокрытии преступлений и укрывательстве преступников. А это само по себе преступление.

¹ Эти строки были написаны до снятия Виктора Баранникова с поста министра безопасности.

На этом я решил свое расследование прекратить. Суть дела ясна, а деталями пусть кто заинтересуется, тот и займется.

Какие-то люди советовали мне не останавливаться на достигнутом, разыскать своих отравителей (может быть, даже просто через справочное бюро), но я этого делать не стал. Мне с ними говорить не о чем. Мне они в самом деле ничего не скажут. В лучшем случае будут врать или, как выражаются уголовники, уходить в неознанку. Сказать правду они должны в кабинете следователя, а для него данный текст является достаточным материалом.

Тут мы приблизились к вопросу о том, как быть со всеми людьми, которые в недавнем прошлом управляли государством, служили в КГБ штатно или нештатно, судили невинных, писали клеветнические статьи, подписывали шельмующие письма, разбивали семьи, упекали людей в лагеря или в психушки, убивали ядом или булыжником. Как быть с ними со всеми? Судить? Простить? Забыть?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» обсуждался вопрос о люстрации, то есть об ограничении допуска бывших партийных функционеров, штатных работников КГБ и тайных осведомителей на важные государственные посты. Разумеется, самыми строгими критиками идеи люстрации стали как раз бывшие партийные воротилы и кагэбисты. Они поголовно считают, что люстрация антидемократична, негуманна и аморальна. Слушая приводимые доводы (и со многими соглашаясь), я подумал, что, наверное, наиболее решительными противниками смертной казни являются убийцы,

ожидающие исполнения приговора. Противники люстрации говорили об опасности того, что люстрация очень легко может превратиться в «охоту за ведьмами», и это вполне вероятно — они сами эту охоту возглавят и будут ловить не себя. На конференции много раз звучало слово «милосердие», употребляемое чаще всего всуе и не к месту и при полном непонимании его значения. Милосердие можно проявить к любому человеку, и даже к преступнику, и даже к самому страшному преступнику, когда ему грозит суровое наказание. Но господа любители афоризмов, запишите себе в блокнотик: прежде чем проявлять к преступнику милосердие, его надо поймать. А он хотя всем известен, но гуляет непоиманный, охотно рассуждая об общей вине, которую он навсегда готов разложить на всех поровну.

В защиту нынешних кагээмбистов много раз приводился аргумент, что они есть просто некая, чуть ли не нейтральная, сила, которая раньше была направлена на защиту тоталитарного строя, а теперь с тем же успехом может защищать демократию.

Ну что ж... Говорят, в Индии дрессированные кобры, обвинившись вокруг стоек кроватей, надежно охраняют покой спящих младенцев.

Май 1975 — сентябрь 1993

Содержание

Часть первая	
САМОМУ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ЭТО ТАК БЫЛО	5
Часть вторая	
СВЯЩЕННЫЕ КОРОВЫ И СВЯЩЕННЫЕ РУБЕЖИ.	99
Часть третья	
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ.	242
Часть четвертая	
ЧТО ПРОШЛО И ЧТО БУДЕТ	366
Часть пятая	
НЕДЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЕЙ	473
Часть шестая	
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	590
Часть седьмая	
ДЕЛО № 34840	650
Послесловие	797

Владимир Войнович
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *А. Щербакова*
Корректор *Н. Хаустова*

В оформлении переплета использована картина *В. Войновича*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо», 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменная ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.

Информация по канцтоварам: www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Подписано в печать 26.02.2006.

Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 42,0.

Тираж 4000 экз. Заказ 1272

ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



Владимир Войнович

«Я в жизни добился меньшего, чем мог, но гораздо большего, чем ожидал».

«Как только... народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем или неподходящем месте.

– Рони, – скажу я ему (или, допустим, Джон), – давайте наконец поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу и откровенно, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль, и с нашей такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе (правда, при этом, если они хотят считаться порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирового конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга)».

ISBN 5-699-14571-0



9 785699 145713 >